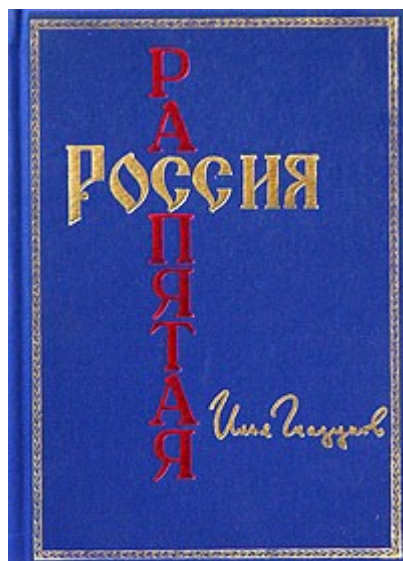


Илья Глазунов - Россия распятая



ОБ АВТОРЕ

ГЛАЗУНОВ Илья Сергеевич родился в 1930 году в Ленинграде в потомственной дворянской семье. По возвращению в 1944 году из Новгородской области, куда он был эвакуирован из блокадного Ленинграда, после смерти родных от голода, заканчивает среднюю художественную школу, а затем институт имени И. Е. Репина (1957 г.). В 1956 году, будучи студентом, получает Гран-при на международном конкурсе в Праге, в связи с чем в Центральном Доме работников искусств организуется его первая персональная выставка (Москва, 1957 г.), положившая начало всемирной известности молодого художника.

В его работах 50-60-х годов, передающих атмосферу большого города («Ленинградская весна», «Последний автобус», «Любовь» и др.) отразилась суровая правда жизни и чувствований молодых современников. Образ великой России на многовековой протяженности ее исторического пути воссоздан на широко известных полотнах в последующие годы («Русская песня», «Господин Великий Новгород», «Град Китеж», цикл полотен, посвященных Куликовской битве).

Вершиной художественно-философского осмысления места России в контексте мировой истории стал его триптих «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и «Великий эксперимент». Развитие этой же темы продолжено в монументальной композиции «Россия, проснись» (1995) и других произведениях 90-х годов.

В 1960–70-е годы Илья Глазунов создает цикл иллюстрации к произведениям русских классиков: Блок, Куприн, Некрасов, Мельников-Печерский, Лесков, начатый еще в студенческую пору иллюстрациями к роману Достоевского «Идиот».

Всемирную славу обрел И. Глазунов как непревзойденный мастер портрета. Им создана галерея образов соотечественников и «звезд» мировой культуры, выдающихся государственных и общественных деятелей (Д. Лоллобриджида, Ф. Феллини, Л. Висконти, У. К. Кекконен, Индира Ганди, короли Швеции, Лаоса, Испании, папа Римский). Особым свидетельством «всемирной отзывчивости» творчества художника стали его серии живописных и графических работ, созданных во время поездок во Вьетнам и Лаос, в Чили и Никарагуа, а так же монументальное живописное панно, выполненное по заказу ЮНЕСКО для штаб-квартиры в Париже «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию». Выставки Ильи Глазунова с триумфальным успехом проходили во многих столичных городах мира.

Творчество его многообразно: он автор ряда архитектурных проектов, декораций к театральным постановкам (в Большом театре, Берлинской опере и на других сценах).

Широкий общественный резонанс получила общественная деятельность художника как одного из основателей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, создателя Всесоюзного музея декоративно-прикладного и народного искусства (1981) и, наконец, Российской Академии живописи, ваяния и зодчества (1987), бессрочным ректором которой является.

Илья Глазунов – народный художник СССР (1980), почетный член старейших в Европе королевских Академий изящных искусств Мадрида и Барселоны (1979–1980), лауреат премии имени Д. Неру (1973), кавалер ордена Вишну (Лаос) и ордена св. Михаила (Португалия).

В оформлении обложки использованы фрагменты картины Ильи Глазунова «Сто веков».

ПРЕДИСЛОВИЕ

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Евангелие от Иоанна (гл. 1, ст. 5)

После распятия Сына Божия, как известно, следовало Воскресение. И сегодня мы все живем, работаем и уповаем на то, что воскресение России неизбежно.

Мы начинаем публикацию книги великого русского художника, нашего современника Ильи Сергеевича Глазунова, живущего вместе с нами в страшные апокалипсические дни русской смуты.

Книга эта не только исповедь художника и гражданина России, но и мыслителя, дающего свою концепцию русской истории, апеллирующего к историческим документам и трудам преданных забвению великих русских историков.

Общеизвестно, что творчество Глазунова имеет как ярых врагов, так и многомиллионных друзей, часами простаивающих на его выставках. Илью Глазунова называют феноменом, выразителем «загадки русской души».

Долгие годы, начиная со своей первой выставки, когда он, будучи еще студентом Ленинградского института имени И. Репина, получил Гран-при на международном конкурсе и показал свои работы в Москве, в ЦДРИ, и до своей последней выставки в декабре 1995 года в Санкт-Петербурге, художнику сопутствуют неизменный триумфальный успех у зрителей, равно как и продолжение травли со стороны идейных врагов и завистников. Бесспорно, Илья Глазунов – самый посещаемый художник в мире, о чем всегда свидетельствовала пресса Европы и Америки. Его портретами гордятся короли, премьер-министры, президенты, деятели культуры.

Можно любить или не любить творения Ильи Глазунова, но нельзя не уважать его беспримерную стойкость в борьбе за свободу творчества и право любить Россию.

Замалчивание, оскорбления и травля лишь подчеркивают силу его дара и любви к России, блеск и виртуозность рисовальщика, колориста и непревзойденного мастера композиции, создавшего такие новаторские по форме эпохальные произведения, как «Мистерия XX века», «Вечная Россия», «Великий эксперимент», «Россия, проснись!» и другие.

Многие из нас помнят уничтожающую критику в адрес Глазунова во «времена застоя» за его пропаганду «достоевщины», за то, что его искусство тормозит построение «светлого будущего». Илья Глазунов имел мужество неустрашимо говорить много лет назад о том, о чем мы можем говорить свободно лишь сегодня.

В наши дни его противники изобретают новые ярлыки: «кич», «черная аура национализма» и прочее и прочее. Разнообразная клевета в разных формах до сих пор обрушивается на художника, который никогда не принадлежал ни к одной партии, служе Богу, России и совести.

Но при всех поношениях тогдашней официальной и нынешней «демократической» критики по-иному оценивалось и оценивается значение творчества Ильи Глазунова в мировой прессе, где свидетельствуется о «гениальности и бесстрашии русского художника, преданного интересам России, говорящего о Боге в душе» (Германия), об искренности, подлинности его искусства, лишенного холодного академизма и фальшивого оптимизма (Италия), противостоящего официальному соцреализму и открывающего новые перспективы развития русского человека (США). И очень показательно, как воспринимают искусство Глазунова выдающиеся деятели мирового искусства. Великий испанский скульптор, классик XX века Хуан де Авалос, один из создателей всемирно известного мемориала в Долине павших близ Мадрида, посвященного памяти жертв гражданской войны в Испании, недавно сказал... «Он показывает, каким должен быть художник. Горе и страдания своего народа, исторические проблемы, которые он воплощает в своих картинах, отделяют его от сиюминутности, от политических интриг. Он идет своим путем. Он выделяется среди общества, которое имеет еще не вполне ясные представления о своих устремлениях, как гениальная личность. Его успех объясняется огромным талантом, искренностью, полной отдачей своей жизни искусству...»

«В течение долгих лет восхищаюсь Ильей Глазуновым: его сила, разнообразие при отображении действительности и эмоциональность воплощены в его картинах, самые сильные из которых... делают из этого великого русского художника символ современного искусства. Полностью разделяю его борьбу за благополучие человечества». Это отзыв Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора, посетившего выставку Глазунова в Московском Манеже в 1994 году.

Будучи почетным академиком испанских Королевских Академий (Мадрида и Барселоны), он не был удостоен чести избрания в состав советской Академии художеств, а в декабре 1995 года его снова «прокатали» все та же академия, которая ныне носит название Российской.

В трудные годы, когда уничтожались памятники русской культуры, Илья Глазунов был одним из основателей Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры.

Еще 25 лет назад он первый призвал к восстановлению храма Христа Спасителя. Напомним также, сколько сил и энергии он отдал и отдает ныне созданному им учебному заведению – Российской академии живописи, ваяния и зодчества, являясь не только ее основателем, но и, согласно указу Президента России, ее бессрочным ректором. Плеяда новых блестящих имен русского реализма – результат его подвижнической деятельности.

Поражают своей широтой исследования Ильи Глазунова-историка, отвечающие на главные вопросы, от решения которых зависит многое в понимании мировой и русской истории. Его размышления о древнейших книгах человечества – Ригведе и Авесте, отвергаемой «советской наукой» знаменитой «Влесовой книге», которую надо изучать, а не отвергать, об истории славянского племени, значении и смысле святого апостольского православия, создавшего святую Русь, и многом другом заставят читателя по-новому осмыслить нашу историю.

Да, Илья Глазунов – монархист, историк, выражающий свое миропонимание в образах, столь волнующих современников своей правдой нашего бытия.

Мы знаем также Илью Глазунова как театрального художника, как архитектора интерьеров, общеизвестен он и как иллюстратор русской классики, особенно столь любимого им Федора Достоевского.

Открывая этой книгой новую грань дарования художника, мы уверены, что многие его почитатели, как и его недруги, откроют для себя в новой ипостаси сына Великой России, несущей миру высокую духовность, добро и свет. Не случайно же один из русских писателей сказал... «Кто против Глазунова – тот против России».

Сам же художник, отвечая тем, кто обвиняет его в шовинизме, постоянно повторяет одну фразу, ставшую крылатой: «Русский тот – кто любит Россию».

«Наш современник», № 1, 1996.

ПУТЬ К СЕБЕ

В нерешительности, раздумье и даже растерянности остановился русский человек на пороге XXI века. Что он сегодня? Что его страна? Каково его будущее? И есть ли оно у него вообще?

А тут еще из всех телеподворотень несется: «Россия?! Отсталая, варварская!» «Оказалась без будущего», «Лишилась величия!» Но русский народ велик ведь не тем, что он еще совершит, и о чем мы, естественно, ничего не можем знать, а велик тем, что он уже сделал: создал свою духовную культуру, свою церковь, совершив подвижнический воинский подвиг во имя человечества, выстроив свою науку, свое искусство, проведя великую созидательную работу от Балтики до Аляски. Но в том-то и дело, что все это пытаются предать забвению, подменить, подвергнуть осмеянию. «Велико незнание России посреди России», – говорил Гоголь в свое время. Думаю, что незнание России в наше время возросло. И появление книги «Россия Распятая» Ильи Глазунова, нашего выдающегося художника смелого и мыслителя – явление неординарное. Оно необычно расширяет поле познания России, ее истоков, ее движения, ее истории, ее любящего и всеединяющего духа, ее пророческого дара, ее страдательного начала, ее великой культуры. Прекрасный чистый Санкт-Петербургский язык, строгий стиль, полнозвучные аккорды в описаниях истории, яркие картины нашей жизни, – явлений современной и прошлой культуры, запоминающиеся и впечатляющие образы людей эпохи делают книгу И. Глазунова серьезным художественно-литературным произведением, полнокровным историко-культурным исследованием, полемическим памфлетом и печальной песней Художника, находящегося в вечном поиске.

В 60–х годах я пришел работать в журнал «Молодая Гвардия» к мэтру и родоначальнику русского послевоенного патриотизма Анатолию Васильевичу Никонову. Там же в 1963 году и познакомился с Ильей Сергеевичем. Он внимательно вглядывается. Художник. Я менее внимателен. Все-таки не моя сфера. Я начинающий литератор, историк. Но оказывается, у него глубинный литературный интерес, он блестящий, хотя экстравагантный знаток истории, он знает бездну неведомого мне, он постиг многие художественные, общественные, эстетические явления, их связи, неподвластные моему вниманию, а скорее знанию. И связано это не только с тем, что я учился в Киеве, а он в Петербурге, то бишь Ленинграде. Киев тоже не деревня. Нет, его взгляд уходит в какие-то глубины, которые я еще не постиг, а приближаюсь к ним, скорее ощущаю, чем знаю. Я хожу в «Ленинку», изредка вылавливаю что-то в спецхране, беседую с людьми, кто-то из потомственных москвичей дает мне книги из второго ряда на полке. Умный и тоже постигающий глубины Отечественной истории, секретарь ЦК Сергей Павлов дает Никонову книжные спецвыпуски ТАСС, а тот – мне. Илья в большинстве случаев их читал, знает проблему. Я, как журналист и комсомольский издатель (более или менее проверен – не убегу) езжу нередко за границу: Австрия, Югославия, Швеция, Япония. Уже немало, чтобы взглянуть на мир по-другому. Я осторожно делаю выводы, приобретаю там книги русской мысли, а Илья почти все их уже имеет. Нет, я отнюдь не захлебываюсь от комфортных гостиниц, кондиционеров, «шведского» стола. Все это хорошо. Но ведь есть и была какая-то высшая человеческая суть жизни в России. Вот тут-то на этом поле, шли бесконечные разговоры и кипели наши с ним споры, когда ездили мы выступать в Киев, Днепрпетровск, Николаев,

Красноярск, другие места, когда посещал в 60-х годах его скромную квартирку, где я цепенел перед золото-красным разливом невиданных доселе икон, спасенных Ильей и Ниной Глазуновыми на Севере.

Время было непростое (кто бы мне назвал простое время на Руси?) никакие отклонения от линии социалистического реализма не прощались, разве что шестерке прозападного диссидентства, как тайно разыгрываемой высокими мировыми силами карте, которая должна была превратиться в будущем в козырную. Ну, а уж не дай Бог, некое проявление русского национального духа. Тут уж и журнал перезрелого социализма «Октябрь» и припудренный либерализмом и демократией «Новый мир» с остервенением кидались на отщепенцев, пару пинков всегда обеспечивала «Правда», «Комсомолка» и «Известия» и все раздражалось с фатально-неизбежным выводом на встрече в ЦК, когда в ежемесячном докладе один из секретарей или зав.отделом делал вывод об идеологической вредности выступления.

«Зачистку» (говоря языком сегодняшней чеченской операции) завершало КГБ. Маршрут был известен, прозападный диссидент под крики, плач и проклятия слегка заглушаемого «Голоса Америки» и «Радио Свободы» препровождался после небольшой, придающий ему вес ссылки на Запад, где получал щедрые субсидии, места на кафедре и издания, а «русский отщепенец» изгонялся с работы, лишался всякого заработка, оседал в тюрьмах, дальних поселениях, становился общественным изгоем.

Будем откровенны, общество не понимало и не принимало вторых (да и ныне в целом не осознало себя русским). А для власти главной общественной опасностью прочертился, собственно, и был всегда, «русский вопрос». Появились записки КГБ, постановления ЦК, статьи высокопоставленны лиц, которые громили «русский шовинизм», русский национализм, «патриархальщину» с классовых, марксистских, интернациональных позиций (почти все они, оставшиеся у различных рулей управления, громят ныне оный с позиций общечеловеческих ценностей, включенности в мировую цивилизацию, приспособленности к мировому сообществу). Поражаюсь, сколь великую титаническую работу по просвещению, образованию, ознакомлению с Великой историей и Культурой России провел тогда Илья Глазунов. Удивляюсь, как он остался на поверхности общественной жизни. Он приобщал к высоким национальным ценностям общественных и государственных деятелей, писателей и ученых, дипломатов и военных, студентов и профессоров. А его подлинный, великий подвиг по созданию Всероссийской Академии Художеств, очага, где готовится новое реалистическое поколение молодых русских художников – мы не переоценим.

Наверное, не всегда он был сдержан, не всегда точен, не всегда мог привести всю полноту аргументов, ибо многие из них можно было трактовать тогдашней идеологией и правом, как анти(советские, государственные). Его умственный напор не все могли выдержать, приводимые им факты ошеломяли, иногда вызывали отпор, но поражали одних новизной, других исторической обоснованностью, третьих логикой доказательства или неизвестности.

Илья Сергеевич – один из самых образованных людей нашего времени. Он боролся с исторической неправдой, с идеологией фальсификации, с раздутой неприкасаемостью лживых исторических и культурных авторитетов.

Его клеймили, высмеивали, придумывали ярлыки, обзывали имитатором и даже агентом. Сколько раз пускали гаденькие слухи. Вот и иконы-то вытаскивает из храмов, продает, деньги копит. Потом выясняется, что он в 60-е годы собирал их на свалках, чердаках, заброшенных амбарах, по сути спасал, реставрировал и нынче передает их в Академию, в храмы.

Люди перестали верить об этом, тогда объявили его казенным, дворцовым художником: пишет высокопоставленных особ. Это Илья-то Сергеевич казенный? Да любая власть хотела бы иметь такого художника при ноге. Но он-то художник России. Если он писал правителя, то писал и воина, если было «высокое», лицо, то был и самый простой, человеческий облик русского человека. Ибо художник свидетель у истории и в радуге его свидетельств могут быть все цвета и лица.

Его поездки за границу стали притчей во языцех: «Ездит, пишет титулованных и коронованных особ (королей, принцев, премьеров), и там останется». А он создавал облик шведского короля и контур вьетнамского крестьянина, великого олимпийца Самаранча и никарагуанского повстанца, Индиру Ганди и кубинского рыбака. Ныне те, кто говорил, что Илья останется за рубежом, живет вне России, а Глазунов тут. Он служит ей. Служит неусыпно, неукоснительно, ежечасно. Его творчество особый предмет для разговора. Но никто из нас, современников, не забудет шумную и первую выставку на Фестивале молодежи в 1967 году, ни его иллюстрации к Ф. Достоевскому, ни граничащие со скандалом выставки в Московском манеже.

Все мы знали, что организовать выставку русской по духу, по отражению живописи почти невозможно. Но И. С. Глазунов ставит перед собой недостижимые цели. Ставит и добивается их исполнения.

Помню 1966 год. Кто мог подумать о выставке в Манеже известного, но отрицательного по реакции художника. Правда она планировалась не во всем Манеже, а в его части, с тыльной стороны. Илья Сергеевич пригласил. Когда я пришел, в Манеж уже было не пробиться. Стояла конная милиция, десятка два иностранных корреспондентов и сотни три разъяренных зрителей. «Выставка закрыта. Расходитесь!». Пользуюсь своим журналистским удостоверением, проникаю в Манеж. «В чем дело, Илья?» – «Не разрешают! Не соответствует принципам. „И не позволим! Не позволим осквернять социалистическое искусство!“ – перебивает его какая-то руководящая дама, соответствующего типа. Ну, на каждую даму есть другая дама. Тихо подхожу к телефону, дозваниваюсь до первого секретаря ЦК комсомола Павлова, говорю, что собрались сотни людей, иностранцы (это, знаю, действует магически). Павлов говорит: „Стои у телефона. Звоню Фурцевой!“ Через три минуты: „Все, выехал ее зам Кузнецов. Выставку откроют“. Еще через пять минут (Ну и темп!) появляется запыхавшийся Кузнецов, зло посмотрел на даму, бросил в пространство: „Третью и пятую картину убрать. Выставку открыть!“ Толпа ввалилась в салон. Илья тихо пожал руку: „Спасибо. Так вот всегда с моими картинами.“

Да, так было всегда, когда он утверждал дело России, ее искусства, ее истории, которые он постигал с детства, утверждал всегда.

Собственно, об этом и книга. Любящий человек всегда видит в любимом больше хорошего, чем равнодушный. Любовь и есть познание. Поэтому так беспредельна красота, высота, одухотворенность, которые видит Илья Сергеевич в России, ее людях, ее природе. Родина для него светлая, единственная, великая и хочет поделиться истоками постижения их, своими открытиями, раскрыть путь движения сердца сына Отечества. «Дорога к тебе» называлась та его первая книга, которую мы начинали печатать в «Молодой Гвардии». Это было первое панорамное осмысление места Художника в жизни, в Отечестве. И вот «Россия распятая». Честно говоря, мне не очень нравится это название. Мне кажется, оно не включает все что хочет сказать Художник, все то, о чем он повествует. Да тут есть и рассказ о великой беде, о трагедии, о смерти. Но тут и восхищение апостолами Правды, в России, представление сокровищ Отечества, тут начертаны предначертания будущего Воскресения. Но будем думать, что это только первая часть.

Пронзительные по искренности страницы ждут читателя, глубокоумные размышления, изящные и грустные картины природы и городского пейзажа. И постоянно пульсирующая мысль. Многие найдут для себя, своего ума, своего сердца пристанище, а тот, кто не найдет его, вступит на поле полемики. Ну что ж, на земле нет полного согласия. Но пусть это битва, в которой можно будет услышать друг друга. Ведь и мы, публикуя «Россию распятую», далеко не во всем согласны с автором, оставляем пространство для раздумья, спора, другого мнения. И пусть внимание и пылливость, желание постичь судьбу отечества, любовь – будут Вашими первыми путеводителями по книге И. С. Глазунова.

Главный редактор «Роман-газеты» Валерий ГАНИЧЕВ

УВЕРТЮРА

После распятия следовало Воскресение.

Посвящается памяти моих погибших родителей, родных и близких.

Когда я сегодня вспоминаю свое детство, то мне кажется, что это было так давно, словно все это происходило не со мной, а с кем-то другим. Почти все, кто мог бы мне рассказать о нем и кого я любил, давно умерли. Безжалостное время уничтожило многие документы и свидетельства той, словно не моей, жизни.

Единственное, что у меня осталось, – мой город, в котором я родился и вырос. Великий город Санкт-Петербург! А ныне Москва – где я живу и работаю...

Несравненный по своей красоте, прямой как стрела «проспект веротерпимости» Невский, как когда-то его называли иностранцы из-за прекрасных по архитектуре храмов, принадлежавших людям разных вероисповеданий, самые великолепные в мире по своей гармонии и строгой изысканности ансамбли дворцов и старинных парков, где в густой листве скрыты мраморные боги Эллады и Рима, кварталы наемных домов, где жили униженные и оскорбленные, воспетые огненным гением провидца Достоевского, напоенные ветром балтийского приморья и криком одиноких чаек бескрайние гранитные набережные, о которые разбиваются холодные невские волны. Здесь каждый камень напоминает мне о моей жизни...

Глядя на пожарище багровых дымчатых закатов, ощущая всем сердцем таинство и магию белых ночей, чувствуешь, как покоренная красотой города душа уносит тебя в бытие давно ушедших времен, словно беседуешь с теми, которые давно ушли с лика земли. Где бы я ни был, на страшных и роковых поворотах моей судьбы любовь моя к великому городу Петра давала мне силу жить, работать и, несмотря на поражения, побеждать и верить...

Благодаря любовной заботе сестры моей матери, которая пережила блокаду, Агнессы Константиновны Монтеверде, у меня сохранилась заветная картонная коробка, набитая письмами, бумагами, юношескими дневниками, в которых я записывал впечатления о наиболее памятных событиях

тех лет – несмотря на все невзгоды, блокаду Ленинграда, ставшую страшной вехой в моей судьбе и унесшую с собой жизни матери и отца, многочисленных родственников; синий снег Невы, осенние шумящие парки Царского Села и вовсе не похожую на сегодняшнюю ту жизнь.

Мои друзья много раз говорили мне о том, что я должен записывать все, что помню, – о людях, с которыми я встречался и многих из них рисовал, о лютых временах, которые пережил. Ну что ж, начну с начала.

Бесспорно, что каждому человеку необходимо знать – кто он и откуда. Память о своих корнях делает человека достойнее и сильнее. Лишить его знания прошлого – это значит лишить его понимания настоящего и будущего. Укрыв, растоптав и оболгав историю русского народа – самой большой жертвы коммунистического террора – (впрочем, как и любого другого народа), – мастера геноцида прекрасно понимали смысл и цель своего преступления. Речь идет как раз о народе, а более точно – о племени, а еще шире – о расе, породе человеческой. В своей книге-исповеди, дорогой читатель, я хотел бы вернуть моему народу многое из того, что оболгано и оклеветано. Я постараюсь ответить (и считаю это своим долгом русского художника и гражданина) на многие вопросы, которые настоятельно требуют ответа именно сегодня – в дни страшной русской смуты и крушения нашего когда-то великого государства. «Тайна беззакония – тайна борьбы сатаны с Богом». В дни народной апатии и отчаяния, в дни краха и превращения нашей страны в колониальный придаток Америки и Европы, когда русские должны стать рабами новых господ, пришедших на место, подготовленное не знавшими пощады коминтерновцами, забыв о своем былом имперском великодержавном величии, я хотел бы вдохнуть веру и подлинное знание русской истории в тех, у кого они были отняты. «Верую, Боже – помоги моему неверию!» – воскликнул Ф. М. Достоевский. Отвечая на все «проклятые» вопросы, поставленные временем и историей, я выполняю свой долг перед Россией и нашими потомками, которые будут искать причины краха когда-то великой державы, позднее названной ее безжалостными завоевателями – коммунистами-ленинцами – СССР.

История славянства, как и русского племени, в большинстве своем писалась врагами. Я – маленькая частица нации. И горжусь тем, что более чем за тридцать лет своей творческой деятельности служил Богу, России и совести, и не отказываюсь ни от одного поступка, картины или напечатанного слова. Я не изменил России и себе, думая, как миллионы русских. И народное признание явилось надежным гарантом того, что меня не растоптали черные силы, несмотря на ненависть и клевету врагов. Я благодарен всем, кто помогал в моей, нашей общей борьбе за Россию. Моя исповедь – мои картины и эта книга, дорогой читатель. Упорное желание написать ее возникло у меня по велению гражданской совести, а не только из-за ненависти к клеветникам России и ко мне лично как к русскому художнику. Прочтя рукопись одной из книг обо мне, я понял, что должен написать о себе сам, выразить свой взгляд на добро и зло в мире, дать отпор фальсификаторам нашей истории и защитить ею себя – художника и солдата истерзанной и униженной России.

«ЕГО СОВСЕМ НЕ СЛЫШНО...»

...На пожелтевшем конверте рукой моей тети написано: «Письма о рождении Ильюши». Моя бабушка, Елизавета Дмитриевна Флуг, в девичестве Прилуцкая, происходившая из старинного русского рода, писала эти письма своей дочери Агнессе, родной сестре моей матери (до чего поразителен почерк старых людей, учившихся в гимназиях до революции, говорящий о совершенно ином строе духовной жизни!).

Я прошу извинения у читателей за то, что привожу эти письма. Думается, что, может быть, они представляют интерес не только как документальные свидетельства о рождении будущего художника, но и свидетельства, отражающие атмосферу жизни страны 1930 года, когда Россия была уже давно завоевана большевиками, как провозгласил миру Ленин. Страной правил верный делу Ленина Иосиф Джугашвили («Сталин – это Ленин сегодня»).

Говоря о себе, я хотел бы рассказать читателям о моем поколении, о нашей мучительной судьбе... Воистину – мы свидетели «страшных лет России»...

12 июня, четверг, 1930 г.

Дорогая Агенька,

сегодня получила твоё 2-е письмо... где ты пишешь, что я неверно адрес написала... Неужели пропадут мои письма, главное последнее, с известием, что у Олечки родился сын. Я обещала тебе на другой день, а вот и два прошло, все никак не успела. Расскажу все подробнее.

8-го, в Троицу, часа в 4 утра Олечка постучалась ко мне, говоря, что у нее очень живот болит. «Наверное, расстройство». Я, конечно, увидела, что это не то... И решила, что лучше идти. Часов в шесть – седьмом они с Сережей пошли пешком в больницу, а я со смятенной душой пошла к ранней обедне, выстояла всю, потом еще молебен был. Сережа вернулся, а к 9-ти, когда дают справки, снова пошел. Олечка писала письма, очень хотела домой. Ее даже перевели в отделение выздоравливающих, рано пришла. И 9-го навещали ее (т. е. только письмами обменивались). Когда приходила – слышала чужие стоны и душа надрывалась. Вечером 9-го она была уже в родильной палате, но схватки были слабые, все

же Сережа просил ночью позвонить, если что будет. Я долго не раздевалась, поджидая звонка. Утром пошли туда, и вот видела Скоробанского (я тебе писала), потом узнала, что у нее схватки сильные. Я места не находила, пошла побродить и сидела в церковной ограде. Вернулась домой, и Лиля сказала мне, что звонили: у Олечки сын и все благополучно.

Сережа уходил куда-то, и когда вернулся, я его обрадовала моим сообщением и поздравила... Сережа пошел в больницу уже позже назначенного для передачи часа и, так как там щедро давал на чай, ему сказали: «Подождите, сейчас вашу жену понесут» (ей зашивали швы) и ему удалось повидать ее. Он нашел, что она хорошо выглядит, бодрая была. Мне сразу же в 3 часа написала: «Ты, верно, огорчена, что вместо Елизаветы родился Елизавет-Воробей...»

Так он у нас и назывался Воробушкой. Мальчик здоровенький. 3500 гр. весу. Оля писала: «Ребенка видела мельком, кажется довольно пролетарским», а в следующем письме: «сегодня он показался мне лучше, волосы с пробором на боку, с голубыми глазами».

Как жаль, что не пускают родных. Так бы хотелось посидеть с Олечкой и посмотреть нового внука...

21 июня, суббота

Милая и дорогая Агенька!

Вот Олечка и дома. Приехала она вчера, часа в 2. Было очень хлопотливое утро, все хотелось устроить и приготовить. Сережа бегал в рынок за цветами, в аптеку, накануне купил хорошенькую кроватку, а вчера матрасик достал здесь в универсаме. Хлопотал по телефону об автомобиле со службы, но ничего не вышло, приехали на извозчике. Я смотрела из окна комнаты, а по Плуталовой под окнами уже ходила Ниночка, которой тоже не терпелось. Слышу, она кричит: «Едут, едут...» Вижу, Олечка кивает, а Сережа с малюткой на руках. Выбежала я на лестницу, и внесли вместе. Мальчик очень слабенький. Главное, умилило меня то, что рыженький в Олину породу. Ротик у него маленький, Олин, но; пожалуй, все же на Сережу больше похож или, вернее, на обоих: есть и Олино и Сережино. Вчера он поразил своим спокойствием. Долго не засыпал, лежал с открытыми глазами, зевал и все молчал. Дети его обступили, особенно Аллочка, которая прямо приникла к нему, смотря со страхом (так как он плакал в это время) и в то же время глядя его рукой. Оля очень спокойная мамаша, кормит его по часам, встает к нему... Сегодня такой чехольчик-занавеску смастерила на кроватку. Она очень похудела, но лицо такое хорошее, глаза стали большими, и какое-то новое выражение появилось – серьезное и мягкое...

Сережа не наглядится на сына. Оля говорит, сегодня он даже с обеда вскакивал, настолько рад, и приходил к «философу» (уж очень он серьезен, и помню, даже Лиля сказала: «Его совсем не слышно»). Меня умилила картина: кормилица Оля. Наша-то затейница и шуточница!... Она все делает без лишних слов и приговариваний, но как-то положительно и серьезно.

Сегодня устала, одолели визиты. Утром заходила Ольга К., потом пришли сослуживцы и сидели очень долго, накурили (удивляюсь бесцеремонности!), вечером Оля К. и потом Володя, который и сейчас тут, но пришел к Лиле. Вчера заходила и обедала у Лили Верочка...»

Начало моей жизни

Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, легкого, ажурного, с ослепительной белой пенистой накипью облаков. Дорога, тонущая в море ромашек, а там, далеко – загадочный лес, полный пения птиц и летнего зноя. Мне кажется, что с этого момента я начал жить. Как будто кто-то включил меня и сказал: «Живи!»

Каждое утро я просыпался от задорного и звонкого петушиного крика, который заставлял открыть глаза, увидеть залитую лучами огромного солнца маленькую комнату, оклеенную старыми, дореволюционными газетами вперемежку с плакатами, призывающими недоверчивого середняка вступить в колхоз. Белый юный петушок был необычайно энергичен – с восходом солнца жажда деятельности обуревала его голову, увенчанную красным пламенем гребешка. Он кричал беспрерывно, весело, надсадно, как будто осуждая спящих людей.

Маленький петушок был невыносим – гонялся за детьми и взрослыми, стараясь клюнуть как можно больше, жестоко изранил в драке добродушного соседского петушка, отнимая его добычу. Я полюбил неугомонного драчуна и не разделял общего возмущения его проделками. Однажды, проснувшись в комнате, тонущей в жарком мареве, я с удивлением увидел, что солнце было уже высоко, но никто не предупредил нас о восходе... Все ели суп из маленького петушка и были очень довольны наставшим покоем. Я один не мог есть... Взрослые смеялись и говорили, что это другой петушок, а наш уехал погулять к бабушке в город, в гости, и скоро вернется... Но я знал, что никто уже не разбудит нас с такой радостной настойчивостью, когда будет вставать солнце.

С дачи возвращались всегда к осени. После просторных лугов, стрекоз, дрожащих над темными омутами маленьких быстрых речушек, после мирных стреноженных лошадей с добрыми мохнатыми глазами, долго и неподвижно стоящих в вечернем тумане, дымившемся над рекой, после запущенных

садилов с ярко-красной смородиной и малиной удивительным миром вставал Ленинград с громадами стройных домов, с бесконечным морем пешеходов, трамваев и машин.

Помню извозчиков на элегантных колясках с поднимающимся верхом. Поражало, что в городе лошади были совсем иные, чем в деревне, будто совсем другие существа – тонконогие, гладкие, с трепещущими ноздрями, они не боялись автомобилей, уверенно и равнодушно смотрели на мир, безоговорочно подчинялись извозчику, радостно и звонко стуча копытами по деревянной мостовой Невского проспекта.

Сколько людей! Как цветов в поле... Какие огромные дома!

Но вот уже перед нами огромная площадь, и над ней, на высокой колонне, парящей в небесах, ангел. Это Дворцовая площадь. Зимний дворец, Нева, мосты, ветер... Дух захватывает от удивительной торжественности незабываемой минуты. Волнуешься так, будто весенним вечером, проходя по улице, вдруг услышал из чужого окна дивную музыку. Подобная легкому облаку, дрожащему над морем, она трепещет и тает, а сердце щемит и бьется, будто открылось непознанное.

Хмурая Петроградская сторона... Как на первый взгляд она прозрачна! Но каждый дом здесь имеет свое неповторимое лицо. Глаза окон смотрят то пристально, то печально, то равнодушно и пусто. Дома, точно люди после долгой разлуки: иные изменились, другие выглядят так, будто с ними не расставался, и словно подмигивают оконцами:

«Ничего, мы еще поскрипим». Третьи явно забыли тебя – смотрят холодно, как на бедного и нелюбимого родственника.

На берегу Невы за горбатыми мостами, в островке осенних деревьев, плотно сомкнутых, как солдатское каре во время боя, спрятался маленький домик, в котором жил великий Петр. Это был первый музей, виденный мною в жизни. Потемневший от времени портрет энергичного человека в римских латах, пожелтевшие карты, на которых нарисованы диковинные очертания неведомых архипелагов, проливов, морей, островов... Парусные военные корабли, изображенные на старинных гравюрах, – шхуны, баркасы, шлюпы; развевая на ветру флаги, пируют на невских волнах иноземные гости... С разных концов света едут в новую столицу Российской империи – Санкт-Петербург, выросший со сказочной быстротой на топких финских берегах... До нашего времени сохранились личный компас Петра и отлитая в бронзе могучая рука великого преобразователя России. Сохранились также одежда Петра и огромная лодка, сделанная им самим, – именно в этой лодке царь спас рыбаков, тонувших в сильную бурю на Ладожском озере...

Деревянный домик на берегу Невы, спрятанный, как в панцирь, в каменный защитный футляр другого дома, тихо и задумчиво поблескивает окнами, будто размышляя и удивляясь судьбе огромного города, который начался с него – маленького, но великого в нашей истории домика...

Я не мог не написать о домике Петра Великого, основателя города, где я родился и вырос. Но, думаю, что первыми музеями, которые я видел и которые остались в памяти, были Эрмитаж и Русский музей. Навсегда поразили залы Эрмитажа, с их торжественностью и великолепиям, звучанием образов великих старых мастеров, как звучит музыка Баха, Моцарта и Альбини.

В Русском музее мое детское воображение было пленено образами В. Васнецова «Боян» и «Витязь на распутье» с тревожным закатным небом. В картине «Боян» пронзительно поражал образ самого Бояна, вдохновенно поющего славу героям под бурным, по-былинному могучим небом, вторящим струнам и заставляющим юного княжича ощущать всем сердцем мир будущих битв славных внуков Дажь-Бога. К этой картине у меня на всю жизнь сохранилось особенное, интимное чувство восторга. А тогда, помню, я смотрел вокруг себя и тщетно искал лиц с орлиным взором, как у юного княжича.

Когда я гулял с отцом по спокойным берегам Волхова и видел там и сям поросшие буйной травой курганы, мне казалось, что набат огромных небес лучше всех увидел и запечатлел, дойдя до сокровенных струн души русского человека, Виктор Михайлович Васнецов.

Навсегда запомнил, как шел однажды с мамой по улицам старого Петербурга у Каменноостровского, мимо банка, возле которого жила тетя Лиля. Огромные, как горы, как замки, розовые миры, медленные и плавные, высились над городом... Это один из самых ярких моментов детства. Моя жизнь словно выложена разноцветными камнями мозаики разных жизней. И только это – облака и лес, синий и вибрирующий в лучах яркого летнего солнца, и ромашки (года четыре тогда мне было) прошли как лейтмотив жизни, даже тогда, когда мрак и горе переполняли душу.

Были разные годы, люди, настроения, и все объединяют облака – огромные, кучевые, вечерние. О них нельзя вспоминать без волнения, без подступающих слез. Небо и птицы! Как безжалостна река времен!

...А еще в детстве пели стрекозы, извивалась речка Луга. И Волхов, который загадочно цвел, покрываясь зеленым ковром. «Это Волхов цвете», – говорили местные жители-новгородцы.

А под землей – «ходы»-пещеры, вырытые Бог весть кем и когда; «могилы»-курганы – сколько душевного волнения и таинственного очарования в этом! История – жизнь предков – скрыта тайной времени и живет рядом с нами... Бушует ветер и могуче несет свои воды Волхов...

Недалеко от Плуталовой улицы, где мы жили, и Гисляровского проспекта находилось до революции знаменитое кафе, куда заходила блоковская Незнакомка, «И дышат древними поверьями ее упругие шелка»... «Серебряный век» – где многие искали Бога и нашли его в сатане...

Налево – площадь Льва Толстого и улица петербургских миллионеров с могучим зданием архитектора Щуко в духе итальянского Ренессанса. Когда в 1924 году случилось наводнение, тетя Ася, жившая неподалеку – в Ботаническом саду, запомнила, как всплыла деревянная мостовая, устилавшая роскошные улицы для бесшумного проезда извозчиков. Открылись канализационные люки мостовой. Переходя по пояс в воде, пешеходы проваливались в открытые люки. Петербургское наводнение...

* * *

Мы переехали недалеко – на угол улицы Матвеевской (названной в память бывшей здесь, а позднее взорванной церкви) и Большого проспекта, получившего название проспекта К. Либкнехта, несмотря на то, что он никогда даже не был в Петербурге, как и в других городах России, где столько улиц, проспектов, носящих его черное имя, как и имя Розы Люксембург, или, как ее называли в Германии, «Кровавой Розы». Они много потрудились над тем, чтобы превратить Германию в коммунистическую страну Советов под руководством Коминтерна. Как известно, национал-революционеры Европы сорвали планы всемирной революции марксистов-коминтерновцев, а Сталин был вынужден проделать известную чистку среди победителей-ленинцев, входивших в мировой Коммунистический Интернационал.

Матвеевская улица, пересекая проспект Либкнехта, становилась улицей Ленина (бывшая Широкая), где жил вождь мирового пролетариата Ульянов (Ленин) с супругой Н. Крупской. Наши родственники Мервольфы остались на Плуталовой улице, а мои родители, бабушка и дядя Кока (Константин Константинович Флуг – известный ученый-китаист) с женой – актрисой Инной Мальвини – выехали во двор на первый этаж в небольшую трехкомнатную квартиру. В комнате прислуги, повесив икону над кроватью, расположилась бабушка, сказав, что это лучше, чем тюрьма. Дядя Кока занял одну комнату у передней, нам досталось две: крохотная – мне, побольше – родителям. Бабушке Елизавете Дмитриевне Прилуцкой-Флуг достался чулан у кухни.

Помню, что дядя читал бегло по-китайски, и на его столе были разбросаны старые, написанные иероглифами манускрипты. Я очень любил рассматривать книги-картинки приключений забавных китайских людей – своего рода комиксы XVII – XVIII веков, древние маленькие скульптурки драконов. Над столом – портрет К. К. Флуга работы П.А.Федотова (ныне он в Третьяковской галерее). Над ним прекрасная копия головы Ван Дейка, строго смотрящая прямо на зрителя. На стульях, как в артистической уборной, разбросаны причудливые части женского туалета – пеньюары и лифчик, довольно помятый, в форме двух роз. У зеркала – открытые коробки с гримом. Отец брезгливо показал матери на все это, иронически улыбаясь: «Как твой братец это все терпит? Героиня Мопассана, а детей нет!» Посмотрев на меня, мама сказала: «Сережа, перемены, пожалуйста, тему». Я не мог знать, что в этой квартире они все умрут страшной голодной смертью – первый дядя Кока, а Инна Мальвини, его жена, исчезнет еще до смерти матери, уехав в 1942 году по «Дороге жизни», и навсегда выпадет из моей памяти. Где и когда она погибла, я не знаю. Фотография ее с надписью «Лучшей Анне Карениной от почитателя таланта» тоже пропала навсегда.

Окна нашей квартиры находились почти над булыжником двора, и я помню пересекающую двор фигуру матери с двумя авоськами и предупреждающий крик управдома: «Товарищ Глазунова, мы у вас воду перекроем – пора давно уплатить по жировкам Муж в шляпе, а за квартиру не платите вовремя. Одно слово – антилигенция!»

В каждый день рождения я получал столько подарков, сколько мне исполнялось лет. Помню четыре подарка, пять, шесть, семь, восемь... Солдатики, открытки, игрушки зверушки... Когда мне подарили ружье и пластмассовый пистолет, восторгу моему не было предела. Помню, бабушка-«царскоселка» Феодосия Федоровна – мать отца, подарила книгу Сельмы Лагерлеф, сказки в роскошном издании Девриен и «Басни Крылова» с чудесными иллюстрациями художника по фамилии Жаба.

Особым праздником было Рождество. За окном вьюга, трескучий мороз. Отец приносил маленькую елочку, большая и не вошла бы под низкий потолок бывшего «наемного» дома. Моя мама, как моя подруга, всегда была рядом со мной. Мы говорили обо всем. Она была, как может только мать, влюблена в меня, и никто не вызывал во мне такого чувства радости и полноты бытия. Отец не прощал моих шалостей и ставил меня «носом в угол». Его стол был завален рукописями и книгами. Споря из-за меня с отцом, мама наклеивала со мной картинки, мастерила наряды к елке. Родственники приносили старые игрушки,

сохранившиеся еще с дореволюционных времен. Томительные, упоительные минуты ожидания праздника... Кто может забыть эти минуты детства? Наверное, от них ощущение моего детства облекается в образ праздничной елки. Когда собрались все родственники, сестры и я ждали с трепетом звонка в дверь – прихода Деда Мороза. Когда мы стали взрослее, пыливый детский взгляд узнавал застегнутое на спине тети Инны пальто отца, шарф и вывернутую наизнанку шапку дяди Коки. Почему-то венчающая елку восьмиконечная рождественская звезда беспокоила родственников. Они тщательно закрывали окно занавеской.

Советская жизнь проходила под красными лучами сатанинской пентаграммы – звезды пламенеющего разума. Безжалостно карались те, кто видел в празднике Нового года рождественскую звезду Спасителя мира.

Бабушка читала мне вслух любимую книгу Сенкевича «В пустынях и дебрях», а я рассматривал многочисленные папки с репродукциями классической живописи, заботливо собранными братом бабушки Кокой Прилуцким, художником, которого называли «князем Мышкиным». Через, много-много лет, работая над Достоевским и моим любимым романом «Идиот» (таким петербургским!), я смотрел на старую фотографию двоюродного деда и поражался, до чего он ассоциируется, в самом деле, с образом князя Мышкина. Репродукции были маленькие, из немецких календарей об искусстве, но такие четкие, благородные по тону. Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, Тициан, Джорджоне, Боттичелли, Караваджо и другие великие имена «старых мастеров» сопутствовали моему счастливому петербургскому детству. Мама покупала мне альбомы для рисования и акварельные краски.

Засыпая, я смотрел на желтую круглую печь в углу. Краска облупилась во многих местах, и из-под нее сквозила черная старая покраска. Причудливые очертания пятен были похожи на профиль колдуна, иногда на вздыбленные черные облака, иногда на диковинные деревья, как в Ботаническом саду или в лесу у Волхова. На столе лежали любимые игрушки, книги. Одни названия их для меня, как музыка детства: «Царские дети и их наставники», «Рассказ монет», «Живчик», «Под русским знаменем» – о героях русско-турецкой войны.

Чтобы я скорее засыпал, бабушка пела мне старинные колыбельные, которые, наверное, пела ей мать: «Улетел орел домой, солнце скрылось под горой». Особенно я любил песни о бедном ямщике, о русском удалом крестьянине, выросшем на морозе, о дальних походах «солдатушек-браво-ребятушек».

Звонок звенит, и тройка мчится,

За нею пыль по столбовой.

На крыльях радости стремится

В дом кровных воин молодой.

Он с ними юношей, расстался,

Семнадцать лет в разлуке был.

В чужих краях с врагами дрался,

Царю, Отечеству служил...

Эти песни так же ушли из нашей жизни, как ушел мир доброй, привольной великой России.

Что сегодня поют наши бабушки внукам?

Засыпая, я старался представить себе Бородинское сражение, Илью Муромца, борющегося с Соловьем-разбойником, улыбающегося светлейшего князя Александра Васильевича Суворова, костры, горящие у стен Измаила, и лица суворовских солдат – точь-в-точь как на картине И. Л. Сурикова «Переход Суворова через Альпы», которая так поразила мое детское воображение вчера в Русском музее. Мое детство было детством, может быть, одного из последних русских «дворянчиков» на фоне развернувшихся гигантских политических событий – мятежа в Испании, фашистских путчей и подвига челюскинцев. Портреты Чкалова, пограничника Карацупы с собакой заполняли детские журналы. Отец становился все напряженнее. Он все чаще говорил с мамой шепотом, а когда я входил, он замолкал. «Вчера ночью взяли...» – отец называл имена своих друзей. Он ходил по комнате, как зверь в клетке, и все время мучительно думал, как мне казалось, не замечая нас с мамой, когда мы возвращались из детской художественной школы для дошкольников.

Моим маленьким миром была наша квартира на тихой Петроградской стороне. Это чувство огромной радости, неизбывного счастья и просветления сопутствовало мне и маме – Ляке, так я ее называл. У нее были золотые волосы, серо-зеленые глаза, маленькие мягкие руки. Мама и потом моя дорогая жена Нина – это две женщины, с которыми я был безмерно счастлив. Забегая далеко вперед, скажу, что как в страшном сне всплывает в памяти лицо моей матери, подернутое синевой и худобой, когда она умирала страшной голодной смертью. И я помню – кажется, это случилось совсем недавно – мокрый асфальт, с которого водопады дождя не смогли смыть едкий мел, которым был очерчен контур тела моей трагически погибшей жены. Боясь смотреть, но, невольно заглядывая в пролет арки дома, я видел во дворе на

асфальте в сумеречном свете черную кошку, которая неподвижно сидела, словно не находя выхода из очерченного мелом рокового мира смерти. Я всю жизнь чувствовал и знал, что за каждое мгновение счастья нужно платить кровью и страданием. Но когда тьма застилает глаза и уже не хочется жить, воля сопротивления должна поднять человека с колен и заставить продолжить свой одинокий загадочный путь бытия...

С мамой я впервые и увидел Эрмитаж, залы которого, как и все в этом дивном дворце, так поразили меня, открыв новый мир, такой далекий и непонятный, такой родной и близкий.

Боже! Сколько дивных воспоминаний оставило во мне детство! Русские летние дороги, закаты, бескрайние леса и синие горизонты, распахнутые небеса, грустящая вечерняя рожь, низко летающие ласточки...

И главное – Ленинград – Петербург! Петроградская сторона, Васильевский остров... Сердце замирает, и невольно перехватывает горло от этих воспоминаний. Изысканный, непонятный, родной и роковой город! Моя судьба связана и определена во многом трагизмом и красотой бывшей столицы Российской империи...

Мои первые уроки живописи в особняках Витте

Я был единственным ребенком в семье и, должен признать, поэтому считался избалованным. На моем первом рисунке изображался орел в горах, о чем любила вспоминать моя мать, уверенная, что я стану художником. Помню детскую школу искусств «в садике Дзержинского» на берегу Невки, размещенную в бывшем доме графа Витте. Дети рисовали незатейливые натюрморты, гипсовые орнаменты, композиции по впечатлениям. Мне было лет шесть, но отчетливо помню рисунок на заданную тему о Марине Расковой – женщине-летчице, имя которой не сходило со страниц газет и заполняло программы радиопередач. Как ни стараюсь изобразить женскую фигуру в синем комбинезоне – все мужчина получается. В душе поднялась волна отчаяния. Подошла учительница: «Ильюша, фигура женщины отличается от мужской тем, что у нее бедра шире плеч. Понимаешь?» Она ногтем провела линию по моей незадачливой работе. Я, набрав темно-синей краски на кисть, прибавил в линии бедер, и – о чудо! – передо мной появилась женская фигура. Ушел с ожидавшей в приемном зале мамой домой счастливый, глядя на вечерний синий снег, сгибающиеся под его тяжестью черные ветви старого парка с замерзшим прудом, где даже вечером, в тусклом желтом свете фонарей, гоняли юные конькобежцы под присмотром бабушек.

Потом мы стали заниматься в другом доме (почему-то тоже принадлежавшем знаменитому масону Витте, так много сделавшему для приближения революции в России), рядом с памятником «Стережущему» у мечети, затем в первой художественной школе на Красноармейской улице. С благодарностью вспоминаю учителя Глеба Ивановича Орловского, влюбленного в высокое искусство. Семья ликовала, когда в журнале «Юный художник» была упомянута моя композиция «Вечер» – за наблюдательность и настроение. Помню, что темой акварели был эпизод, как я с отцом шел домой через Кировский мост. Над нами огромное, тревожное, красное, словно в зареве, небо. Стоял страшный холод. Шпиль Петропавловской крепости, как меч, вонзался в пламенеющую высь. Отец шел в своем поношенном пальто с поднятым воротником. Это было во время советско-финской войны, когда бывший флигель-адъютант государя Николая II Маннергейм сдерживал агрессию советских коммунистов линией укреплений, носящей его имя. Многие годы спустя, находясь в Финляндии по приглашению президента Кекконена, где работал над его портретом, я увидел старое фото, на котором счастливый и трепетный Маннергейм запечатлен рядом с Государем.

Глеб Иванович Орловский показывал нам репродукции картин великих художников, ставил красивые натюрморты. Он благожелательно поддерживал мою страсть к истории Отечественной войны 1812 года. У него было такое «петербургское» лицо, строгий костюм, а на ногах серые штиблеты, чем-то похожие на те, что у Пушкина. Глаза добрые, но строгие. Однажды он меня обидел, сказав, что мою композицию «Три казака» «где-то видел». Но, честное слово, я не позаимствовал ее, просто мама начала читать мне «Тараса Бульбу» Гоголя. Меня потрясла история Тараса, Андрия и Остапа. «Батько, слышишь ли ты меня?» – кричал в смертных мучениях Остап. «Слышу, сынок», – раздался в притихшей толпе голос Тараса. Какая глубина и жуткая правда жизни сопутствовали нашему гениальному Гоголю!

В 1938 году я был отдан в школу напротив нашего дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Накануне этого события мать почему-то проплакала весь вечер, а дядя Кока утешал ее: «Что ты так убиваешься, не на смерть же, не в больницу?» Понижая голос мать возражала ему: «Они будут обучать его всякой мерзости. Он такой общительный... Чем это все кончится? Детства его жалко». В первый же день поручили разучить песню о Ленине: «Подарил апрель из сада нам на память красных роз. А тебе, январь, не рады: ты от нас его унес». «Но ведь тебе не обязательно петь со всеми, ты можешь только рот открывать», – печально пошутила мама.

Наступила весна. Мы, мальчишки, радостно играли во дворе у старого дерева. Дети жили дружно. Русские, татары, евреи – кого только не вмещал наш старый петербургский дом! Грустная, скорбящая женщина вместе с мужем выносила лежащего в коляске больного полиомиелитом сына. Он ползал по песку, движения его были нескоординированными, словно кто-то изнутри заставлял его, открывая рот, сведенный спазмом, выкручивать руки, ноги, закрывать глаза. Родители шептали нам: «Вы не обижайте его, не смейтесь. Это горе для него, и для папы и мамы». Но никто и не думал смеяться над ним. Детские души в сущности своей добры и чутки. Когда он начинал вертеться и биться на земле в падучей, мы словно не замечали его недуга, старались помочь его матери.

Много лет спустя в Москве возле Арбата, где я живу, спускаясь из мастерской на улицу, я увидел в лучах весеннего яркого солнца среди лотков, столов, где продаются все и вся, толпу. Она сбилась плотным кольцом, но что было внутри нее, я поначалу не мог разглядеть. Веселились и радовались все, но чему радуются, увидел, протиснувшись сквозь толпу. И тут сразу вспомнил впечатление давнего детства. На земле сидел, корчась в судорогах, словно мучимый бесом, мальчик лет пятнадцати. Движения его были, как в падучей – руки и ноги нервно двигались, скрещиваясь, как у робота. Мучительный стыд за людей охватил меня. Над чем же они смеются? Надо скорее помочь бедняге, убрать с асфальта... Но вдруг смотрю, еще один мальчик сел рядом – задергался, а первый, слово с испорченным механизмом, на чужих ногах встал. Боже! Оба смеются! Узнавший меня арбатский художник поясняет: «Это, Илья Сергеевич, такой современный танец, называется брейк. Каково?»

Всегда и у всех народов танец был олицетворением гармонии движения, выражением духа в жесте и образе. В наше же время его сменили имитации полового акта, движения, почерпнутые у дикарей Африки: Сегодня «современный танец» – падучая!

В ожидании Жар-птицы

Я не знаю, как ко мне пришла страсть собирать все, что можно, по истории Отечественной войны 1812 года. Может быть, толчком было посещение галереи 1812 года в Эрмитаже, где прямо в души нам смотрят с портретов глаза героев: Кутузова, Багратиона, Барклай де Толли, Тучкова, Раевского, Дохтурова, Кульнева, старостиhi Василисы и многих-многих славных сыновей и дочерей России. А какие до революции выходили книги по истории России, о славных героях ее, дающих вечный пример. Какие у них лица, какой великий дух и любовь к Отечеству двигали их жизнью!

Личность Наполеона тоже всегда вызывала во мне глубочайший интерес, даже в детстве. Помню, на старой открытке изображен эпизод, когда над юным Наполеоном смеются сверстники. Почему? «Потому что Наполеон, будучи корсиканцем, плохо говорил по-французски», – пояснил отец. А Наполеон на Аркольском мосту? Быть или не быть! Свищут пули, решается судьба будущего императора. «По наступающей сволочи – картечью – пли!» – отреагировал он на восставшую оболваненную толпу, идущую во имя бредовой идеи «свободы, равенства, братства» уничтожить мощь и благополучие Великой Франции.

Вторая моя страсть – великий Суворов. В церкви Александро-Невской лавры на полу мраморная плита. «Здесь лежит Суворов» – написано на ней коротко, как он завещал. Думал ли он, что озверевшая чернь под руководством врагов Отечества, сметая и оскверняя могилы великих предков, коснется его праха кощунственной рукой! А останки Александра Невского сложат в бумажных пакетах в подвал антирелигиозного музея, размещенного в Казанском соборе на Невском проспекте!

* * *

Я уже понимал, что Сереже – моему отцу – «не надо высовываться», как говорили знакомые. Мы жили бедно. Даже когда дядя Миша, брат отца, послал мне три рубля «на барабан и саблю» – до войны это были солидные деньги для подарка мальчику, единственному наследнику рода Глазуновых, – отец просил меня повременить с покупкой «подарка от Михаила», а дать деньги матери на еду.

Напротив нашего дома на углу улицы Калинина (бывшей Матвеевской) и Большого проспекта был Торгсин – все та же «торговля с иностранцами». Заходя в Торгсин, все, как в романе Булгакова, говорили в один голос: «Хороший магазин». Как сегодня говорят, заходя в бесконечные валютные «шопы», требующие доллары с отчаявшихся людей СНГ.

Помню, как однажды мама подала приемщику Торгсина три серебряных ложки. Приемщик в белом халате тут же согнул их дугой, положил на весы (ценился вес драгметаллов, а не изделия из них), бросил в ящик, в котором уже лежали портсигары с дворянскими монограммами, тарелки, брошки – все, как в сундуке Али Бабы. Дал купон на продукты. За него на соседнем прилавке нам выдали печенье и масло. «Это все?» – спросил я у мамы. «Да, все», – грустно ответила она. А мне так было жалко ложек с фамильной монограммой Флугов...

Помню, у гостиницы «Пекин» в Москве сквозь мокрую пургу, открывая дверь своего старого «мерседеса», ныне украденного, увидел трех людей – русских крестьян пожилого возраста и закутанную в платок девочку. Глядя мне в глаза, пожилой, обросший щетиной мужчина глухо и безнадежно обратился ко мне, протягивая руку, как нищий:

«Уважаемый господин, помогите нам, не побрезгуйте». Это не были нищие или «бичи», не желающие работать. Это были люди из русской резервации СНГ, мучимые голодом и безнадежностью. Они решили, что я иностранец. Мне потом снились их просящие сквозь пелену вьюжного снега глаза, и даже во сне я испытывал стыд, боль за моих братьев по племени. Дети когда-то великой державы... их прадеды, деды и отцы создавали ее потом и кровью. Кто ответит за сегодняшнее унижение их потомков?... Как я могу им помочь? Русские беженцы...

* * *

Мама повела меня в «Фотографию», которая находилась рядом с нашим домом напротив кинотеатра «Эдисон» (позднее, в период борьбы с космополитизмом получившего название «Свет»). Это была первая фотосъемка в моей жизни. И, придя к лысому старорежимному мастеру, работавшему в жилетке (как у Ленина в кино), с засученными рукавами рубашки, обнажающими мохнатые руки, я не знал, что нужно делать. «Мадам, дайте ребенку в руки игрушку и возьмите его на колени», – привычно сказал он. Я чувствовал, что происходит что-то необычное. «Мальчик, как тебя зовут?» – «Ильюша», – шепотом ответил я. «Кем хочешь быть?» – говорливо продолжал он, прилаживаясь к оранжевому ящику на ножках. («Почему он себя черной тряпкой накрывает?» – думал я.) «Летчиком, наверное, хочешь! Хорошо, что летчиком, а не налетчиком», – не унимался он из-под черной тряпки. Затем, высунувшись из-под нее, спросил: «Видишь эту дырочку?» – и показал пальцем на объектив. – Сейчас смотри туда, вылетит птичка. Птичка – Жар-птичка. Понял?» Я стал смотреть во все глаза. Он открыл круглую крышечку объектива. «Раз, два, три!» – победоносно, выделив слово «три», он артистическим движением закрыл черную крышку. «Вы свободны. Кто следующий?» «А где же птичка?» – спросил я. «Птичка? Какая птичка?» – вытаскивая что-то из ящика и уже не слушая меня, проговорил он. «Почему не вылетела Жар-птица?» – недоумевал я, забыв смущение и робость. «Возможно, в следующий раз и жареная птица вылетит, приходите почаще», – балагурил негодяй в жилетке, показывая на освещенное яркой лампой кожаное кресло своим новым жертвам.

Возвращаясь с мамой домой, я горько плакал. «Я так верил, я так ждал!» Это был первый обман в моей жизни, который я не могу забыть и сейчас, хотя прошли долгие годы!...

На фотографии, которая очень не понравилась маме, я увековечен с открытым ртом, ждущий по сей день сказочную Жар-птицу, которая так и не прилетела ко мне из оранжевого ящика на трех ножках...

...Иногда меня сковывала сильная робость, когда посылали в оформленный китайскими фонариками и литографиями магазин за конфетами к чаю. Я долго стоял у кассы, не в силах произнести: «Сто граммов „Бим-бом“ и двести граммов „Старт“».

После блокады, учась в школе, я несколько раз отвечал письменно, ибо подчас не мог выговорить ни слова. Когда от меня не ждали, что я буду говорить, я общался с друзьями долго, бодро и внятно. Меня поначалу дразнили Заикой. Но, видя, как меняется мое лицо и как я страдаю от этого недостатка речи, обостренного блокадой, перестали. Учителя же нередко обижали недоверием, думая, будто я не выучил уроки, – от этого я совсем становился немым.

Подытоживая эту главу о своем довоенном детстве, хочу добавить, что оно протекало в уже почти не существующем мире и было правдой сна. И, перефразируя Чехова, скажу: «В детстве у меня было детство!» Его прервала, как и у миллионов детей моего поколения, война.

КТО МОИ ПРЕДКИ?

Моя борьба художника и мой жизненный путь, история моей травли, замалчивания и унижения...

Пусть потомки узнают все это от меня, а не от тенденциозных «исследователей». Да, мы дети страшных лет России, и я один из миллионов верящих, гонимых и побеждающих. Не отступать никогда – это самая большая победа! Долг моей совести написать эту книгу-исповедь. Для многих с течением неумолимого времени мои свидетельства очевидца и художника будут приобретать все более и более возрастающую историческую ценность.

Итак, кто мои предки? Скажу сразу: со стороны отца русские крестьяне Московской губернии. Мой дед Федор Павлович Глазунов – почетный гражданин Царского Села, это та граница, за которой кончается моя родовая память и знание по линии отца. Здесь я только могу ощущать в себе силу и любовь к родной земле, уходящим в седую старину поколениям землепашцев и воинов, являющихся плотью народа русского...

Со стороны матери мой род древний, дворянский и, по семейному преданию, восходящий к легендарной славянской королеве Любуше, жившей в VII веке и основавшей город Прагу. С Россией его связал приглашенный Петром Великим сын священника из Шварцвальда, приехавший в Санкт-Петербург.

Как известно, происхождению многих родов, фамилий сопутствуют романтические легенды, восполняющие отсутствие точных исторических фактов, но, однако, не возникающие на пустом месте. Есть такая легенда и о начале моей родословной по материнской линии... Мне в детстве рассказала ее моя мать Ольга Константиновна Флуг. Помню, она рассказывала мне ее на Васильевском острове, стоя в сумерках около сфинксов на берегу Невы, напротив здания Императорской Академии Художеств. Мы тогда не знали, что ее мечта осуществится и мне суждено будет проучиться в священных для каждого русского художника стенах долгих тринадцать лет. Тогда, накануне войны, слушая мать, я смотрел в глаза запорошенным снегом сфинксам и запомнил пылающие светом окна Академии, которые отражались в черных полыньях незамерзшей Невы.

Но возвращаюсь к преданию. «Давным-давно в далекой Чехии жила прекрасная и мудрая королева Любуша, за мудрость свою прозванная вещей»... (позднее у одного из историков я прочел о Русе, Чехе и Ляхе, которые, как известно по преданию, дали название русским, чешским и польским племенам – многоликим и могучим племенам славянской расы).

Глядя на могучие волны Невы, где на другом берегу словно к нам протягивал бронзовую руку царь Петр, топчущий змея, как Георгий Победоносец, мать продолжала: «У королевы Любуши не было мужа, и она решила пустить своего златогривого коня в поле, всем объявив: „Перед кем он остановится, тот и будет моим мужем“. Конь мчался через поля и леса, королева Любуша ехала сзади со свитой в золотой карете. Наконец, конь домчался до бескрайнего поля, где пахал одинокий пахарь и пел песню. Конь остановился перед ним и ударил копытом в землю. „Да быть по сему“, – сказал пахарь, опираясь на плуг. Он воткнул в землю свой посох, из которого выросли три розы...»

На нашем гербе действительно из жезла растут – не три розы, а три обозначения плуга – словно напоминание, что наша родовая фамилия происходит от слова «плуг»...

«Не говори об этом никому, – добавила мать, – ты ведь знаешь, какое сейчас время: кто расстрелян, а кто – выслан».

Полную легенду о королеве Любуше, основательнице города Праги, любознательный читатель может прочесть в энциклопедии Брокгауза и Эфрона.

Многие историки говорили мне, что королева Любуша, жившая в VII веке, для западных племен славян имела такое же значение, как для русичей княгиня Ольга – мудрая «королева Ругорум» – «королева руссов», как называли ее византийцы, дивясь государственному уму приобщенной позднее к лику святых бабки князя Владимира, крестителя Киевской Руси. Сын ее Святослав был одним из великих правителей Европы и Древней Руси. Имя его овеяно легендарной славой!... Это он уничтожил иго Хазарии, разметав ее по ветру в борьбе за создание своей великой державы.

Корни родословной в России по линии матери начинаются с Готфрида Флуга, который был призван Петром Великим в Петербург для преподавания математики и фортификации.

Генерал Флуг участвовал с конными полками в битве под Лесной, где русские разбили войско генерала Левенгаупта, шедшего на помощь Карлу XII под Полтаву.

Я помню, что до войны у нас в шкафу под бельем хранился завернутый в газету рулон. На пожелтевшей бумаге тушью изображалось семейное дерево дворянского рода Флугов. Помню, что оно было могучим и уходило корнями в славянскую землю.

* * *

Где начинается и где кончается наша родовая память о нашем происхождении? Украсть, исказить и уничтожить историю народа – величайшее преступление. Не случайно ведь, что у большинства народов разных рас и цивилизаций, а особенно у славянского племени, память о предках переходила в религиозное начало. Стереть память о них, об истории народа – значит превратить его в стадо рабов, которым легко управлять. «Хлеба и зрелищ!» Это хорошо понимали коминтерновцы, завоевавшие Великую Россию и уничтожившие не только элиту сословий каждой покоренной нации, но и историческую застройку древних городов, прежние названия улиц и осквернившие старинные кладбища. Отнимали про будущее.

Знаменательно, что сказанное мне однажды русским православным священником словно повторила моему другу писателю знаменитая болгарская ясновидящая Ванга: «Почему ты второй год не празднуешь день своего рождения? Это грех. Тебе в этот день по милости Божьей отец и мать даровали жизнь. И могилы предков твоих разорены и не ухожены. Без предков не было бы и твоих родителей».

Вот, наверное, почему и я, слушая внутренний голос, вырвавшись из объятий неминуемой смерти во время ленинградской блокады, будучи двенадцатилетним подростком, записал все, что знал о своем роде со слов моей погибшей от голода матери Ольги Константиновны Флуг. Поскольку некоторые представители моего рода оставили определенный след в истории государства Российского, упомяну в следующей главе своего прапрадеда – историка, географа, основателя русской статистики Константина Ивановича Арсеньева, воспитателя Царя-Освободителя Александра II.

Мой прапрадед – воспитатель царя

На день рождения, когда мне исполнилось восемь лет, мама подарила мне роскошно изданную книгу «Царские дети и их наставники». Я залюбовался изящным рисунком виньетки, увенчанной царской короной. Благоговейно перелистывая страницы книги с золотым обрезом, узнавал лица царей, знакомых мне по портретам, виденным в Эрмитаже и Русском музее.

...Я уже слышал, что после революции детей-школьников возили в Петропавловскую крепость, чтобы они плевали в оскверненные могилы русских правителей. «Не показывай книгу своим друзьям во дворе. Это опасно», – предупредила, грустно улыбаясь, мама. Смотря на меня своими зелено-серыми глазами, она добавила, почему-то шепотом: «Ведь наш родственник Арсеньев преподавал цесаревичу Александру историю и географию».

Ты должен запомнить, что фамилия твоей бабушки и моей матери Елизаветы до замужества была Прилуцкая.

Ее сестра, Наталья Дмитриевна, как ты знаешь, вышла замуж за дядю Федю Григорьева, генерала, директора Первого кадетского корпуса у нас в Петербурге на Васильевском острове. А их мать, Мария, была дочерью воспитателя Государя Александра II – Константина Ивановича Арсеньева».

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона К. И. Арсеньеву (1789—1865) посвящена целая страница. Кроме высокой оценки его ученых трудов, обогативших историческую науку, там отмечается также: «В качестве учителя Арсеньев оказал бесспорное влияние на склад мыслей и характер Царя-Освободителя. Личные отношения высокого ученика к своему учителю были самые сердечные и близкие. Когда в „1837 году цесаревич предпринял путешествие по России, из учителей его сопровождали только поэт Жуковский и Арсеньев, который руководил образовательной стороной поездки и составил указатель мест, которые следовало осмотреть подробнее».

Очень большая статья о моем прапрадеде К. И. Арсеньеве помещена в Русском биографическом словаре. В ней, в частности, сообщается:

«Арсеньев Константин Иванович, географ и статистик, родился октября 1789 года в селе Мироханове, Костромской губ., в 15-ти верстах от города Чухломы... Сын сельского священника, Арсеньев получил первоначальное образование в Костромской семинарии, куда поступил в конце 1799 года. Отсюда он в числе лучших воспитанников был послан в 1806 году в Петербург, в педагогический институт. Тут он особенно усердно занимался историей, географией и скоро обратил на себя самое лестное внимание профессоров.

...Еще в феврале 1828 года Император Николай собирал комитет из приближенных к нему лиц для обсуждения вопроса: кому поручить преподавание наук Наследнику престола? При этом случае Его Величество сказал: «Для истории у меня есть надежный человек, с которым я служил в инженерном училище – Арсеньев. Он знает дело, отлично говорит и сыну будет полезен». Кроме того, Арсеньеву было поручено и преподавание статистики. Но так как печатных материалов по статистике России тогда почти не было, то 19 апреля 1828 года был дан следующий указ министру внутренних дел: «По требованию коллежского советника Арсеньева повелеваем доставлять ему все из всех министерств сведения, нужные к составлению статистики Российской империи для преподавания Его Императорскому Высочеству Великому Князю Наследнику престола». «По собрании сих сведений, – пишет Арсеньев в одном из своих писем, – Государю угодно было отправить меня по важнейшим губерниям России, чтоб я все видел собственными глазами, и потом послать меня в чужие края для сравнения отечественного с иностранным».

...В придворных сферах Арсеньев оставался все тем же глубоко гуманным человеком, и, конечно, он старался всеми силами подготовить почву, на которой зародились планы великих реформ Царя-Освободителя... Со 2 мая по 14 октября 1837 года Наследник путешествовал по России, и Арсеньев находился в свите, сопровождавшей Великого Князя.

...Этим путешествием воспитание Наследника закончилось, и Арсеньев всецело отдался своим служебным и научным занятиям. Еще 11 апреля 1832 года Арсеньев был назначен членом Совета Министерства Внутренних Дел, а 24 января 1835 года он был сделан членом статистического отделения, и вместе с тем ему поручено управление делами и работами его. На этой должности Арсеньев состоял до 1853 года, и его деятельность тут была столь важна, что он по справедливости может быть назван одним из отцов нашей официальной статистики».

Читая эти скупые энциклопедические строки, я словно опять вижу давно умерших во время блокады Ленинграда родственников, их родные лица, слышу их воспоминания о нашем прародиче. И понимаю тревогу о том, что не дай Бог, если «они», узнав, что он был воспитателем царя, доберутся и до нас.

* * *

Несмотря на все разрухи и огонь войны, у меня сохранилась «Выпись из метрической книги родившихся за 1897 год», свидетельствующая о том, что 13 августа родилась раба Божия Ольга – моя мать, а 26 сентября ее крестили. Родители – как отмечено в документе – «горный инженер, коллежский советник – Константин Карлович Флуг и законная жена его Елизавета Дмитриевна, оба православные и первобрачные. Восприемниками были: надворный советник Николай Николаевич Арсеньев и жена полковника Наталья Дмитриевна Григорьева».

«Совершал таинство крещения протоиерей в церкви святого Спиридона... в Санкт-Петербурге».

Читатель, надеюсь, не забыл, что Н. Д. Григорьева, жена генерала Ф. А. Григорьева (в девичестве Прилуцкая), была родной сестрой моей бабушки Елизаветы Дмитриевны Прилуцкой-Флуг, которая в семейном кругу звалась «Джабиком» и умерла в блокаду.

Образ дочери К. И. Арсеньева Марии, вышедшей замуж за Дмитрия Прилуцкого, – матери моей бабушки, сохранился на старом дагерротипе, который я храню и, рассматривая его, словно погружаюсь в атмосферу далекого прошлого.

Правда, должен отметить, что от ее образа веет не Петербургом униженных и оскорбленных, а Петербургом – столицей великой империи, духовные богатства которой создавались и множились поколениями, когда каждое сословие могучего государственного организма России имело свою честь и уверенность в правоте созидания.

Знали бы они, какая катастрофа ожидает их потомков, и какой мученической жертвой многомиллионного геноцида падут они в кровавой мясорубке «Великой Октябрьской революции».

Сколько пало их на полях братоубийственной гражданской войны! Сколько расстреляно и сослано!

Из всех войн я признаю лишь войны освободительные, войны в защиту Отечества. Из всех революций можно признать лишь одну – национально-освободительную. Только ее путь прям и светел, как у всех Божьих деяний. Все прочие революции – сатанинские, несущие нищету, вырождение и смерть.

Только национальная революция, а не эволюция может спасти угнетенный и подъяремный народ.

* * *

В архивных документах, которые недавно мне удалось разыскать, есть письмо К. И. Арсеньева одному из высших сановников, в котором он рассказывает о работе специальной комиссии по установлению места захоронения князя Д. Пожарского. Прах его был обнаружен 23 февраля 1852 года в одной из гробниц в Суздале.

Известно, какой прекрасный памятник из мрамора воздвигли затем над останками великого сына России. Ведь тогда, в дни подвига Пожарского, судьба русского государства висела (как и сегодня) на волоске. Русская смута кровавым кошмаром распростерлась над нашими бескрайними просторами. Воззвание Патриарха Гермогена, звучащее сегодня так же современно, как и несколько веков назад, явилось той закваской, что подняла волну национального возрождения, на гребне которой встали Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Напомню, что останки Козьмы Минина, славного нижегородского гражданина, были взорваны вместе с храмом в нижегородском Кремле в 30-е годы, а на том месте сооружено здание обкома партии.

Похожая участь постигла и надгробие князя Пожарского. Ставлю себе в заслугу, что если мой прапрадед К. И. Арсеньев открыл место захоронения народного героя, то я, его праправнук, впервые в советской прессе, в очередной период гонения на все русское, сумел напечатать материал о том, что на месте великолепного торжественного надгробия в Спасо-Ефимьевском монастыре (Суздаль), где вначале была тюрьма, а потом колония для малолетних преступников, ныне находится гора мусора, – и тем самым обратил внимание на этот вопиющий факт глумления над нашей историей и культурой.

Старожилы города и многоопытные ветераны борьбы за сохранение памятников русской культуры рассказали мне, что мрамор надгробия пошел на фонтан одной из дач Лаврентия Бери. А сейчас вместо горы мусора на унылом постаменте установлен бюст князя Пожарского.

Павел Андреевич Федотов – друг семьи Флугов

После революции в нашем доме, в Дибунах, принадлежавшем моему деду К. К. Флугу, был организован детский сад, а ныне и по сей день размещается какое-то учреждение. У деда Константина Карловича были портреты наших прадедов кисти Лампи, огромная коллекция старых русских монет и медалей воинской славы России. Но главное, о чем я скорблю, – это потеря многих рисунков и работ одного из моих любимых художников Павла Андреевича Федотова, который был другом семьи моего прадеда Карла Карловича Флуга. В Третьяковской галерее и Русском музее хранится множество рисунков и портретов семьи и знакомых К. К. Флуга. Когда умер член семьи Флугов Егор Гаврилович, то Федотов, используя натурный рисунок, сделанный со своего покойного друга, написал маслом портрет «Е. Г. Флуг со свечой» (широко известный читателям по многочисленным репродукциям и находящийся ныне в Русском музее), передав в опущенных глазах и освещенном свечой лице его ум и благородство. Помню семейное предание о том, что для «Утра свежего кавалера» позировала горничная Флугов, а при написании фигуры жеманной невесты в «Сватовстве майора» был привлечен для наброска Карл Карлович. Рисунки в саду с горничной, с гувернанткой сохраняют правду жизни давно ушедшего. Я помню, в нашей семье говорили о том, что когда А. И. Сомов (отец знаменитого мирискусника К. Сомова) работал над своей монографией о Федотове, вышедшей в Санкт-Петербурге в 1878 году и ныне ставшей библиографической редкостью, то мой прадед и, очевидно, дед давали ему какие-то справки и пояснения. Несмотря на революционные вихри, когда почти все, что было в семье, утеряно, чудом сохранились листы, вероятно, написанные моим дедом. Поскольку эти записи нигде не публиковались и представляют, как мне кажется, интерес для всех, любящих русское искусство, в частности Федотова, я предлагаю их вниманию читателя.

«Из рассказов моего покойного отца об известном русском художнике-жанристе и поэте Павле Андреевиче Федотове у меня сохранились о нем следующие отрывочные сведения.

Федотов, тогда (в сороковых годах) офицер Лб. Гв. Финляндского полка, приходил очень часто к родителям моего отца, в 15 линии Васильевского острова, в деревянный дом моей бабушки, который в настоящее время принадлежит мне. Познакомился он с ними случайно, если не ошибаюсь, зайдя однажды напиться, как-то идучи мимо, почувствовав себя дурно. Павел Андреевич Федотов очень некрасив собой, но при разговоре лицо его оживлялось и делалось красивым, симпатичным, приятным; глаза были у него умные и выразительные. Бабушку мою Шарлотту Францевну Флуг он очень уважал и любил за ее любезное и душевное обхождение и был дружен с моим отцом, посещавшим одно время Академию художеств и отзывчивым к поэзии и искусству. Несколько раз в неделю заходил он к ним, чувствуя себя, как одинокий человек, особенно хорошо в семейном кругу. Свои жанровые картины рисовал он по вечерам за семейным столом моей бабушки, а мой отец обыкновенно в это время читал что-нибудь вслух.

Павел Андреевич был большой юморист... Когда заходила речь о его материальном положении, а нужно заметить, что он всю жизнь свою страшно бедствовал, П. А. говорил моей бабушке: «Мой отец так неосторожно служил, что ничего мне не оставил».

Об одном умершем толстяке, любившем хорошо и много покушать, он говорил, что ему на кресте следовало написать соответствующую эпитафию, в которой, между прочим, находились бы следующие слова: «И пусть вырастет на могиле куст, и на каждой ветке пусть будет по котлетке».

Когда речь заходила об общих знакомых и он не мог припомнить фамилии того или другого лица, то брал мелок и несколькими штрихами быстро набрасывал на ломберном столе черты вышеупомянутого лица, и выходило так похоже, что сейчас же узнавали по рисунку, о ком шла речь. Раз П. А. присутствовал на похоронах какого-то немца и, придя к бабушке моей, стал рассказывать, как много было народу и кто был из знакомых. На вопрос бабушки, как понравилась речь пастора, последний ответил, что почти ничего не понял, так как по-немецки знал плохо, понял только некоторые слова пастора...

Когда же бабушка спросила об имени пастора, П.А., не зная его, подошел к ломберному столу и начертил мелком портрет, в котором сейчас же узнали пастора Яна.

По рассказам моего дяди, отец Федотова участвовал в Турецкой кампании и жил с одним приятелем в палатке, причем прислугой у него была турчанка, так привязавшаяся к Федотову, что по окончании кампании поехала с ним в Россию и сделалась женой Федотова, а потом и матерью Павла Андреевича.

Об этом, а равно и других эпизодах своей жизни, часто рассказывал П.А. моим домашним, разгуливая по аллеям нашего в 15-й линии сада или сидя на большой террасе под окрашенной в зеленый (а ля бильярд) цвет крыши. За обедом он всегда был душой общества, непременно читал свои стихи, между прочим, «Женитьбу майора». На существующей его картине «Сватовство майора» для фигуры жеманной невесты позировал мой покойный отец, а в лице жениха-майора он изобразил самого себя. Затем в картине «Утро после пирушки» женщина, показывающая дырявый сапог чиновнику с полученным накануне орденом в петличку, срисована с нашей старой прислуги Настасьи – жены артельщика Федора Яндовина, выкупленного моим дедушкой из крепостного состояния. Уходя от нас по довольно уединенным улицам, Федотов часто останавливался у кабачков и трактиров, вглядываясь в типичные лица гуляющих людей для своих эскизов.

Под конец жизни П.А. сошел с ума и был помещен в больницу Всех Скорбящих по Петергофскому шоссе. Он помешался от безнадежной любви и наяву и во сне говорил про какую-то Юлию.

У моего отца была драматическая картина Федотова, на которой последний изображен в больничном халате с наголо бритой головой, а на заднем плане в дверях – его любимый старый денщик.

Все этюды и картины рисования Федотова мой отец тщательно собирал, но, отдав однажды одному знакомому, обратно не получил и только спустя много лет случайно увидел свою коллекцию в магазине Бегрова, который просил за нее 1500 рублей».

«А. П. Федотов... бабушке моей Шарлотте Францевне Флуг говорил: „Дворник Ваш богаче и счастливей меня. Мне необходимо бывать на балах в Зимнем Дворце; что стоит один мундир, а должен он быть с иголки; шелковые длинные чулки стоят в Английском магазине 40 руб. ассигнациями, но я еще должен взять карету, а на „ваньке“ меня и к подъезду Дворца не пустят”.

Федотов любил аккомпанировать свои песни на гитаре, на которой очень хорошо играл... Матушка моя часто посылала ему на квартиру от обеда покушанье, зная, что у него изобилия не было».

* * *

Личность и великое искусство трагического и странного художника П. А. Федотова, тесно связанные с судьбой моей семьи, являются частью и моей жизни. Я помню, как в темной, холодной комнате (тогда как в других лежали мертвые родственники – бабушка, тетя – и жуткой пустотой зияла комната, где умер отец) при свете коптилки на меня неотступно смотрели с портрета кисти Федотова глаза моего прадеда К. К. Флуга. Словно времена остановились, и они до жути пристально внимали из 40-х годов XIX века всему ужасу катастрофы своих потомков в 42-м году XX века.

Много лет спустя моя тетя Агнесса Константиновна решила передать этот портрет по просьбе работника Третьяковской галереи в знаменитое национальное собрание. Несколько лет назад, придя в Третьяковскую галерею, я увидел под стеклом витрины все в той же знакомой рамке на глухом зеленом фоне незабываемые глаза прадеда. Почему-то мне стало страшно, мгновенно встали в памяти ушедшие страшные времена. Под этим портретом от голода умерла моя мать. И еще я вспомнил, как незадолго до войны стоял с матерью в Александро-Невской лавре на торжественном праздновании юбилея великого русского художника П.А.Федотова. Запомнилось грустное надгробие Мартоса, прекрасные траурные марши в мраморе, посвященные великим людям России. Помню, кто-то говорил, что когда вскрыли могилу А. Меньшикова, сподвижника Петра Великого, увидели, что он был похоронен в красных суконных штанах. После блокады, живя в пустом, безумно одиноком городе, где было так мало людей и так много скульптур, мы, ученики средней художественной школы при Академии художеств, любили рисовать в Александро-Невской лавре отраженные в воде храмы; оскверненные, заброшенные фамильные склепы великих людей России: Мусоргского, Чайковского... надгробие Федора Михайловича Достоевского. Надгробия прошлых веков поросли травой и были так непохожи на кресты и памятники XIX века. На кладбище стояла тишина, только за оградой на Неве кричали птицы и гудели пароходы. Старые кладбища навевают просветленную грусть и, читая заслоненные бузиной, сиренью, закрытые стволами могучих деревьев с трудом разбираемые надписи на могилах, приобщаешься к таинству неудержимо бегущего времени и бессилия человека перед загадкой смерти.

Запомнились державинские слова на одной из могил акрополя Александро-Невской лавры:

Река времен в своем стремленье

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей...

Или еще одна надпись, исполненная шрифтом XVIII века, прочитывалась сквозь мох и густые заросли травы: «Путник, остановись, я, как и ты теперь, гулял среди могил...» Много-много раз, в разные периоды жизни, смотря на черный мраморный крест, надгробие Федора Достоевского, старался вникнуть в высеченные на нем, словно золотом ржи, написанные по-старославянски мудрые слова Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

* * *

Памятники старины – старинные книги, гравюры, картины, мебель – всегда заставляли меня приходить в неопишное волнение, и не только, наверное, потому, что от соприкосновения с ними

будоражились некие генные токи, пробуждающие историческую память о наших предках... Сколько любви и духа человечество вложило в них и донесло до нас через века и годы! Я уверен, что существует огромная духовная энергия, помогающая жить, заключенная, скажем, в ладанке или в каких-то амулетах. Как недавно установили ученые, рыбы под водой кричат. Я уверен, что со временем люди создадут прибор, которым смогут измерять степень излучения доброй энергии, исходящей от старинных предметов.

Быт XX века создан машинами. Современная мебель, например, как и архитектура, – глуха и мертва. Все это не создано душой и энергией любящего, творческого человека. И потому не затрагивает чувства. А как в детстве я любил рассматривать словно вынесенные со дна Атлантиды старинные открытки, книги, гравюры, певучие и мужественные линии русской мебели, так потрясшей в свое время Стендала, который шел вместе с армией Наполеона к Москве. Он, как и Наполеон, в своем письме констатировал, что русские вельможи живут богаче и роскошнее французских. Красива и обильна была Россия...

Каждое сословие имело свою красоту быта. И если мы от хором богатых вельмож обратимся к крестьянской избе в нашей прекрасной Великороссии или на русском Севере, то можно поспорить, что красивее – ампирная мебель Павловска, например, или расписные шкафы русского крестьянина, стоящей рядом прялкой, пронзительно наивно-мудрым лубком и мерцающими в красном углу избы божественными «умозрениями в красках» – молитвами наших иконописцев.

Сегодня любят говорить о «наиве» в искусстве. Я в таких случаях всегда вспоминаю слова моего дяди Михаила Федоровича Глазунова, который говорил, что оставаться наивным после двадцати лет – это значит быть глупым. Художники, творящие «наив» в искусстве XX века, в большинстве своем далеко не глупые люди. Но как, например, югославская школа «наива», равно как и фабрика «наивного искусства» бывшего СССР, четко ориентированы на определенную тенденцию, ведущую к оглуплению людей. Один московский художник в ответ на мой укор сказал: «Сегодня немцы очень любят наивное искусство и хорошо за него платят. А жить-то надо!»

Я прошу извинения у читателя, что далеко отошел от темы Федотова, к которой хотел бы снова вернуться. В погоне за живым дыханием уцелевшей русской цивилизации, прерванной холостым выстрелом «Авроры», приехав однажды в мой родной город, без которого не могу жить (начинаю буквально болеть, как вдали от любимого человека), я зашел, как всегда, в комиссионный магазин на Наличной улице. Помню, в детстве первое мое посещение с отцом комиссионного магазина на Невском оставило в моей душе такой же след почти, как от посещения Эрмитажа. Великолепные люстры, огромные картины в духе Тьеполо, строгие голландские портреты с дивно написанными складками шелка и бархата, грустные руины Рима, с пафосом воспетые Пиронези, благородные образы русских вельмож – все это напоминало не магазин, а музей.

Сколько грабили Россию, грабят и до сегодняшнего дня! Но до чего же неисчислимы богатства, накопленные трудом наших предков. Взять, например, икону, или, как называли при коммунистах, древнерусскую живопись. Иконы жгли, уничтожали, продавали за границу. Думаю, что количество икон в России исчислялось миллиардами. Не случайно жена Троцкого – Н. Седова ведала награбленными ценностями русских церквей. Я сейчас имею в виду не живопись, а золото, серебро и драгоценные камни, которыми были так богаты даже наши даже сельские храмы. Сейчас, разумеется, уже не купишь за тридцать рублей, как я купил когда-то, туалет XVIII века; павловские стулья по 10 рублей, Боровиковского за символическую сумму... И вот, войдя под высокий потолок комиссионного магазина на Наличной, я увидел иконы XIX века с пестрящими от многочисленных нолей этикетками цен. Это было недавно.

Дойдя до витрины, я увидел дорогостоящую ростовскую финифть, разбитую, но тщательно склеенную. Перевел взгляд на маленький холстик, приблизительно 30х20 см; и в глазах потемнело: Федотов! Не веря себе, прошу открыть витрину и, сдерживая волнение, равнодушно спрашиваю у продавщицы: «А это что за барынька?» А про себя думаю: «Мать друга Федотова – Дружинина! Но ведь ее портрет находится в Русском музее». Перевернул темный от времени маленький холст. Читаю бирку: «Неизвестный художник XIX века. Портрет. Цена – 5 тыс. рублей». Кто-то в ухо из-за спины говорит: «Илья Сергеевич! С каких пор Вы „копирками“ стали интересоваться? Купите лучше эту икону Спаса. Сорок пять тысяч, по-нынешнему – даром! Хоть и XIX век, а красиво!» Сдерживая прерывающийся голос и не выпуская из рук портрет, говорю: «Выпишите, пожалуйста, чек».

И в библиотеке, где я провел столько счастливых дней, будучи студентом Академии художеств, в последней монографии о Федотове (очень скучной и вяло написанной, как и большинство книг советских искусствоведов) нашел портрет М. П. Дружининой. Около 1848 года. Сравниваю по миллиметрам: «Это не копия!»

Мчусь на первый этаж к реставратору. «Как ты думаешь, что это?» – спрашиваю его. Тот долго смотрит. «Уж больно на Федотова похоже, – говорит. – Оригинал-то вроде в Русском музее». «Да, но от оригинала-то отличается, – говорю я, – и детали отличаются, пол даже на два пальца ниже, но написано с таким же мастерством».

Через два часа темный лак был снят. Я уверен: Федотов! Реставратор, видя мой восторг, говорит, смотря на торговый ярлык: «В любом случае – даром. По-старому – 50 рублей».

В Москве я повесил портрет на стену напротив давно купленного мною другого портрета Федотова «Неизвестный», Когда с моим новым приобретением познакомились друзья-художники, все в один голос говорили: «Конечно, Федотов. Но почему два портрета?» «Почему, почему, – раздражался я. – Один написан для друга, а второй мог быть сделан для его матери. Авторское повторение. Подчеркиваю: не копия, а повторение. То, да не то».

И вот, когда я писал эти строки, мы вместе с моим другом Валентином Сергеевичем Новиковым пересмотрели все имеющиеся в доме книги о Федотове. У меня есть все монографии о нем, кроме, как считали в нашей семье, самой лучшей – Сомова. И если даже сам А. Дружинин, один из ближайших друзей Павла Андреевича, в своих прекрасных воспоминаниях о Федотове не упомянул ни словом о портрете своей матери, то вдруг в монографии Ф. И. Булгакова «Павел Андреевич Федотов и его произведения» (Санкт-Петербург, 1893) на стр.34 читаем: «Кроме перечисленных произведений П. А. Федотова, в списке А. И. Сомова значится еще несколько таких работ художника, которые принадлежали или принадлежат следующим лицам: Г.В.Дружинину в Петербурге – два портрета М.П.Дружининой (сидящая фигура в боскете из плюща)».

«Вот это да!» – воскликнули мы и с жаром кинулись вновь рассматривать портреты – репродукцию находящегося в Русском музее и недавно купленный в Петербурге.

Я не сомневаюсь в его подлинности. Но попутно не удержусь от замечания, что, к сожалению, наши искусствоведы в большинстве своем «ленивы и нелюбопытны». В истории искусства их учат скользить по поверхности, а если речь идет о живых художниках, то, принадлежа к определенной мафии, они привыкли свирепо замахиваться на инакомыслящих дубиной.

Как нам не хватает людей, подобных Дягилеву, как не хватает любви и уважения к миру и жизни художника! И если кто-то и понимает, с моей точки зрения, в атрибуции произведений искусства, то это или серьезные реставраторы-практики, или влюбленные в искусство коллекционеры.

Я не могу назвать себя коллекционером, но искусство – это моя жизнь. Я был вынужден несколько лет по причине нищеты заниматься реставрацией найденных и спасенных мною художественных произведений.

Что же касается экспертизы и экспертов – это больной вопрос нашего времени. Безусловно, существуют честные, знающие и бескомпромиссные эксперты. Но, к сожалению, мы все чаще и чаще сталкиваемся с фактами недобросовестно выданных экспертами сертификатов, определяющих достоинство того или иного произведения. Увы, и в эту область вторглась коммерция. Мне известны и случаи, когда за деньги давались заведомо ложные заключения эксперта. Так же печальны факты, когда ошибочное заключение дается невеждой, считающим себя экспертом. С каждым днем проблема научной экспертизы становится все более и более актуальной, а эпизоды, связанные с этой сферой, принимают иногда трагический характер.

Мой дед Константин Флуг, действительный статский советник

Константин Карлович Флуг – отец моей матери – по образованию был горным инженером. Служа в Министерстве финансов, в течение многих лет участвовал в работе комиссии по приемке золота на Санкт-Петербургском Монетном дворе. Дослужился до чина действительного статского советника, награжден многими российскими орденами и тремя иностранными – св. Даниила от князя Черногорского, Льва и Солнца от персидского шаха и Кавалерским крестом Почетного легиона Франции.

Известно также, что он автор книги о внешнем виде главнейших типов русских золотых монет и других трудов по истории нумизматики. Не скрою, для меня было приятной неожиданностью узнать, что в недрах главной библиотеки страны сохранилась также и книга его стихотворений, которые донесли до меня настроенность его чистой и благородной души моего деда и напомнили мне по своему духу поэзию автора, известного нам под именем К. Р., и строй русских романсов. Чтобы не быть голословным, боясь, с другой стороны, утомить читателя, приведу лишь одно стихотворение из этого сборника, изданного в Санкт-Петербурге, в 1914 году в типографии, носящей ныне имя Ивана Федорова. Не премину отметить, что в предисловии он скромно пишет о цели его публикации: «Если кто-либо найдет какое-либо хорошее чувство или проникнется, хотя и ненадолго, не прозаическим настроением, прочтя эти стихи, я буду совершенно удовлетворен и доволен, так как, исходя только из этих желаний, я решился напечатать их».

ЛЕТНЕЮ НОЧЬЮ

Светит волшебна луна,
Ночь так тиха, хороша,
Трепетом робким полна,
Внемлет той ночи душа.

Звезды мерцают с небес,
Запах левкоя и роз,
Мир откровенных чудес,
Мир упований и грез!
Счастья порыв налетел...
Где-то запел соловей,
Ночь все светлей и светлей, —
Дрогнул восток, заалел...

Интересы деда захватывали и проблемы русской истории. В 1909 году им была издана книжка «Викинги и Русь». Концепция книги отражает борьбу лагерей норманистов и антинорманистов, хочется лишь, говоря о книге деда, подчеркнуть, насколько был широк круг интересов русских интеллигентов той поры...

В детстве я много слышал о нашем загородном доме на станции Дибунь недалеко от Куоккалы, где жил Илья Ефимович Репин. Тетя Ася каждый день ездила на поезде в Петербург в гимназию и часто в вагоне оказывалась вместе с Леонидом Андреевым, который, сидя напротив и, видя смущение гимназистки, любил подмигивать ей. Он был любимцем публики, очень красив и статен. Помнила она и Илью Ефимовича Репина, тоже спешащего в Петербург на поезде из Куоккалы. Многие иронизировали над тем, что многочисленные гости Репина и Нордман-Северовой «разносили» все съестные припасы в буфете на станции в Куоккала, потому что никто не мог есть сенных котлеток, приготовлявшихся в доме Нордман-Северовой. Имя Репина было окружено ореолом, и аура великой славы постоянно сопутствовала ему. Помнила моя тетя, как на Каменноостровском мосту, что идет от Марсова поля, Иоанн Кронштадский силой взгляда останавливал идущую с революционным лозунгом толпу. И толпа пятилась. Великим подвижником и государственным деятелем был о. Иоанн, родившийся на далеком приволье русского Севера и ставший духовником русского царя. На его могиле была устроена свалка, и какое счастье, что ныне он причислен к лику святых и православная жизнь снова возродилась там, где царила мерзость запустения...

Мой дед Константин Карлович Флуг умер в 1920 году от голода в Петрограде. Однажды революционный солдат из симпатии к деду снял с него красивую шинель горного инженера и дал свою – рваную солдатскую. «Так тебя точно не прикокошат», – сказал он. Потом как-то на Невском деду стало плохо, и он присел на обочину панели. Какие-то девочки, видя нищего старика в рваной шинели, положили рядом с ним копеечку. Она хранилась у нас до войны. Его сын Кока – Константин Константинович Флуг, бывший белым офицером, чудом ушел на рассвете через крышу дома, в котором собранные там пленные офицеры к утру должны были быть сожжены заживо. Это была семейная тайна. Впоследствии он стал ученым-китаистом и работал с академиком Алексеевым. У дяди Коки были серьезные труды по китаистике. В предисловии к одному из них – «История китайской печатной книги Сунской эпохи X – XIII вв., изданному Академией наук СССР (1959 г.), написано: «Научные интересы К. К. Флуга заключались в области изучения китайской книги не только как таковой, но главным образом как источника обширнейших сведений по самым разнообразным вопросам. Его научные изыскания в области китаеведения и идут в основном по этой линии. Он являлся китаеведом с исключительным знанием этих источников, блестяще владеющим китайским языком, прекрасным знатоком китайской рукописи.

Имя К. К. Флуга в китаеведческой литературе хорошо известно. Им написано более 20 научных трудов...»

Я помню его лицо – дяди Коки, когда он смотрел со мной в кинотеатре «Аре» на площади Льва Толстого фильм «Чапаев». В эпизоде, когда русские офицеры гордо, в полный рост шли в психическую атаку, а красные, лежа в канаве, косили их из пулемета, он не удержался и захолопал. На него все зашикали, а я долго не понимал, почему же он хлопал. Может быть, он сам был участником такой же атаки, когда белое воинство, ввергнутое в братоубийственную войну, шло под барабанный бой на верную смерть. Далее по фильму, когда ночью подбирались к спящему часовому, кто-то из темного зала закричал: «Атас!» Это были мальчишки...

Брат дяди Коки, Валериан Константинович Флуг, был выслан из Петербурга вместе со своей женой Наталией и со всей семьей. Когда его старший сын был схвачен «за подготовку белогвардейского переворота и антисоветскую пропаганду» – у него при обыске обнаружили охотничий нож и старый штык, который мальчишка нашел на помойке, – средний сын пошел в Петроградское ЧК на Литейном и вступился за него, сказав, что он так же думает, как и его старший брат. Первому, по-моему, было 16 лет, а второму – 15; он тоже получил срок. Самый младший их брат Александр был выслан позднее. Сам Валериан Константинович давно умер в ссылке. Тетя Наташа – тоже (девичья фамилия ее Звонарева).

Несколько лет назад приехал симпатичный молодой человек лет двадцати. «Я Ваш племянник – Илья Флуг. Мои родственники в Волгограде Вас недолюбливают, но я хотел бы просить Вас дать мне немного

денег и помочь уехать за границу». Уходя, он сказал: «Я буду вам писать. Хорошо иметь такого дядю». Прискорбно, что он больше не появлялся, а адреса своего не оставил...

Великий Князь Константин Романов и мой двоюродный дед генерал Ф. А. Григорьев

Я помню сестру бабушки – жену генерала Федора Григорьева: бодрая, с миндалевидными глазами и седыми волосами, причесанными волной наверх, как у Нордман-Северовой на картине Репина. Я часто играл на полу в солдатики и первое, что видел у входящих гостей, – ноги. Мне запомнилась высокая шнуровка ее изящных сапожек, которых уже никто не носил в 30-е годы, – как у Незнакомки Блока. Ее муж, бывший директор Первого Петербургского кадетского корпуса, умер своей смертью, так как за него вступились некоторые красные командиры, окончившие когда-то этот корпус у всеми любимого «дяди Феди». Изменив присяге, данной государю, они, очевидно, не забыли свою кадетскую счастливую юность. Старший сын Григорьевых Артем остался в Финляндии, где служил накануне переворота. Я его никогда не видел. Говорили, что он позже эмигрировал в Швейцарию. Младший, Юрий, накануне Октябрьской трагедии стал старшим офицером на императорской яхте «Штандарт». Я хорошо его помню, и у меня до сих пор сохранилась маленькая, сантиметра два, серебряная мумия с открывающейся крышкой крохотного саркофага. Он, еще будучи гардемаринком, подарил этот сувенир из Египта моей матери, вернувшись из кругосветного путешествия. Я помню его всегда подтянутую фигуру, загорелое лицо, белоснежные, рано поседевшие волосы, аккуратно расчесанные на косой пробор, – типичный белогвардеец из советских фильмов. Даже, по-моему, всем дамам ручки целовал. Мне он нарисовал синим карандашом белого медведя. Я помню его быстрые штрихи и образ доброго зверя, подаренный на память, трехлетнему племяннику. Он был как враг народа выслан в Казахстан в 1934 году; время смерти его неизвестно. Говорили, что путь «дворянских» поездов, идущих из бывшего Петербурга в Азию по специально построенным веткам железной дороги, обрывался в песках Каракумов. Пленников выкидывали на раскаленный песок, а пустые составы возвращались за новыми жертвами в город Ленина.

Дочь Григорьевых – тетя Вера Григорьева, часто заходившая к нам, не была красавицей. У нее имелся любовник – дюжий пролетарий с усами, как у Максима Горького. Мама называла его иронически «Верочкин пролетариат» и говорила, что ее теперь не посадят.

Однажды я с мамой побывал у нее в гостях – крохотная комната, стол, стул, кровать, и во всю стену – портрет царского сановника в эполетах, грудь в орденах и медалях, с продырявленным пулей лбом. «Вот из-за этого портрета тебя и заберут, несмотря на связь с пролетариатом», – пошутила, помню, мама.

«Но это же мой отец – генерал Григорьев».

«Донесут и спрашивать не станут – типичный царский сатрап», – продолжала мама. Тетя Вера шепотом говорила (она работала на станции Ленинград-товарная): «Эшелон за эшелон отборного зерна идет к Гитлеру в Германию, что они делают?» Но посадили не тетю Веру, а ее друга – пролетария. Видно, не помогло рабочее происхождение другу дочери царского генерала. Когда я смотрю на портрет «Буревестника революции» – М. Горького, – всегда вспоминаю друга тети Веры. У него было доброе усталое лицо. Она понимала, что родственники не уважают ее за эту связь, и была с ним подчеркнуто, амбициозно простой. «Василий такой прекрасный человек», – говорила она утвердительно, не ожидая поддержки. В начале войны тетя Вера переехала к нам, потому что ее дом разбомбили.

Сегодня, когда я пишу эти строки, я хотел бы назвать единственного оставшегося в живых человека, который связывает меня с давно ушедшими предками, входившими в мир моего детства, человека, знавшего моего деда, бабушку, всех родственников со стороны матери. Это Ольга Николаевна Колоколова.

Говоря о ней, должен заметить, что генерал Федор Алексеевич Григорьев, директор Первого Петербургского кадетского корпуса, являлся родным дядей ее матери Ольги Константиновны Скуратовой (в замужестве Колоколовой).

Муж Ольги Константиновны – Колоколов Николай Александрович – был курсовым воспитателем Александровского Императорского лицея, бывшего Царскосельского.

После обыска на его квартире (который проводила дамочка в кожаной куртке с чекистами) был арестован и просидел несколько лет в заключении. Ольга Николаевна слышала много раз от отца такое признание: «Жизнь люблю, но смерти не боюсь».

...Последний воспитатель лицея Николай Колоколов умер в октябре 1927 года. Ему стало плохо, и смерть настигла его у решетки лицея на Каменноостровском проспекте, когда он пошел, в очередной раз, взглянуть через решетку на родное здание, с которым была связана вся его жизнь, как и жизнь многих воспитанников этого заведения, представлявших цвет русской национальной элиты. Задолго до революции семья Колоколовых даже имела дачу напротив нашей, флуговской, в поселке Дибунь.

Несмотря на разницу в возрасте, Ольга Николаевна, или, как ее называли, «Конек», очень дружила с моей матерью, которая и дала ей это прозвище за энергию и преданность в выполнении дружеских поручений и просьб. Вся мою жизнь, а мне уже немало лет, я помню нестареющую, небольшого роста, хрупкую, с благородным и умным лицом петербургскую дворянку, чудом сохранившуюся в вихрях истории послеоктябрьского периода. Первую нашу встречу я, естественно, запомнить не мог, поскольку меня с матерью только что привезли из родильного дома. Но Ольга К., упомянутая в письме бабушки о моем рождении, и есть Ольга Колоколова. Я помню ее, когда она приходила к нам накануне войны, и помню, как, вернувшись из эвакуации, у своей тети – Агнессы Константиновны – снова увидел не меняющуюся Олечку, чудом пережившую и ужасы блокады. Когда я стал учеником средней художественной школы, а потом студентом института имени И. Репина, я часто встречал ее на симфонических концертах в Филармонии. Она обожала Мравинского, глубоко и тонко разбиралась в произведениях великих композиторов. И я запомнил на одном из концертов ее лицо, скорбное, со взглядом, словно ушедшим в себя.

Я знал, что она одинока. Однажды произнесла: «Все, кого я любила, давно умерли или убиты». Она рассказывала мне об очаровательной, полной артистизма Олечке – моей маме, которую все любили... «О, я знаю столько ее тайн, которые никогда да никому не открою!» Мы говорили с ней в тот раз у беломраморных колонн бывшего здания Дворянского собрания, которое после Октябрьского переворота стало называться концертным залом Ленинградской филармонии. Взяв меня за руку, она сказала: «Когда я говорю с тобой, я будто общаюсь с Олей и Сережей; у тебя верхняя часть лица и глаза Сережины, а рот и овал лица – Олины. Мы с тобой оба так одиноки – и я понимаю, почему ты, как и я, так любишь музыку. Музыка – это дух, она разрушает одиночество, дает успокоение памяти прошлого и силы жить и верить в будущее».

Когда она говорила это, глаза у нее лучились, как у девочки, и я, глядя на нее, думал: «А ведь, действительно, „Конек-горбунок“».

«Ты единственный, – добавила она, будто прочитав мои мысли, – кто имеет право называть меня „Коньком“».

Помню, как однажды в белую ночь после концерта Н. Рахлина мы шли с ней пешком мимо Михайловского замка по Марсову полю, поднялись на мост, построенный императорским архитектором Леонтием Бенуа (братом Александра Бенуа, моего любимого певца Петербурга и великого знатока искусства, равному которому не знала история). В волшебном мареве ночей, которые превращают в мираж и грёзу образ великого города, где вот уже сколько веков на шпигеле Петропавловской крепости трубят победу России ангел, а Нева меняет свои краски – словно палитра неведомого художника, – случилось, что «Конек» стала мне рассказывать о первых днях революции, о том, как мой дедушка К. К. Флуг умер от голода. Как грабили Дибуну, и по рисункам Павла Федотова ходили солдатские сапоги, а портрет кисти Лампи, изображающий моего предка, был разорван штыком.

Она рассказывала, какое искусство проявляла моя мать, чтобы из оставшихся тряпочек сшить себе и ей платье; о начале великого террора – обысках, арестах и грабежах. «Олечка, – продолжала она, – работала в одном из учреждений, я часто навещала ее. Раскрою тебе только одну маленькую семейную тайну, – говорила она. – Когда после голода 20-х годов мы с твоей мамой стали посещать кафе, где продавались такие вкусные пирожные и кофе – совсем как до революции, у Оли был роман с одним художником, чуть ли не из круга „Мир искусства“. Я тебе его фамилию не скажу, но звали его Илья. И я думаю, не в память ли о нем Оля назвала тебя таким именем. У них были очень красивые и нежные отношения. Разумеется, это происходило задолго до встречи с твоим отцом. Оля очень любила Сережу, но ее тревожила непримиримость его взглядов, а также она боялась за круг его друзей».

Тетя Оля словно спохватилась и, оглянувшись, хоть за нами никого не было, попросила: «Только никому не говори о том, что я тебе сказала».

Прошло много лет, и совсем недавно, в 1991 году, мы с «Коньком», моим сыном и дочерью (Ваней и Верой) и друзьями поехали в Дибуну, «на старое пепелище», как заметила она. «С тобой двое друзей, я с ними незнакома и при них ничего не хочу и не могу рассказывать, – заявила Ольга Николаевна. – А мне есть что рассказать. Не забывай, мне уже девятый десяток. Я не вечна, и ты никогда не узнаешь того, что я знаю. Я верю в Бога и не боюсь смерти. На мою жизнь выпало столько горя, что ты даже не можешь себе представить». Она отвела меня к могучей столетней березе. Порывы осеннего ветра заглушали ее слова. Кружась по земле, неслись осенние желтые листья. Она посмотрела необычно серьезным, я бы сказал, волевым взглядом мне в глаза и стала говорить: «Ты, конечно, помнишь дядю Юру Григорьева? Это двоюродный брат твоей матери, сын, как ты знаешь, царского генерала, директора Первого Петербургского кадетского корпуса. „Они“ его выслали. Тетя Вера, его сестра, умерла во время блокады в вашей квартире. За вечную напряженность ее лица Оля окрестила Веру „Вагоновожатой“ – как всегда, очень метко. Ну так вот, – ее взгляд стал заговорщицки серьезным. – Дядя Юра служил офицером на

императорской яхте „Штандарт“. Я тебе раньше никогда этого не говорила. Как и того, что я ездила к нему в ссылку и дважды сидела сама.

Ты не представляешь, каким очаровательным человеком был мой любимый Юрочка Григорьев!... Но вот твои друзья уже подходят к нам, да еще и с видеокамерой». «Конек, – спрашиваю я. – Что так боишься? Сейчас времена изменились. Те события и люди уже стали историей».

Она грустно улыбнулась: «Ты так думаешь? Ты так всегда спешишь, Ильюша. Я живу, как ты выражаешься, у черта на рогах. Приезжай ко мне, в мою однокомнатную дыру, где помещаюсь я и моя собачка. Я тебе передам очень важные документы. И скажу, где найти другие. Должна признаться, что я никому не верю. Ты мой единственный родной человек. Можешь взять с собой Ваню и Веру. У них такие благородные лица. А Верочка мне чем-то напоминает Олечку. Я чувствую в ней такой же твердый характер, который был и у Оли, несмотря на ее искрящийся юмор и артистизм».

В феврале 1993 года, покинув гостиницу «Прибалтийская», где останавливался во время приезда в Петербург, я с моим старым другом Анатолием Алексеевичем Бондаренко поздним промозглым вечером позвонил в знакомую дверь, из-за которой тотчас де раздался лай маленькой собачонки. «Конек» засуетилась, стала предлагать чай, благодарить за подарки, присланные к Новому году, выговаривая при этом, что так, как живу я, жить нельзя, что я все спешу и спешу. «Публика, – наставляла она, – тебя так любит. Твоих картин ждут. Я понимаю, что ты делаешь благородное дело для России, создав Академию. Но подумай и о себе. Даже сейчас от чая отказываешься – все некогда. У меня болит нога, и я не выхожу из квартиры. Спасибо, соседи не забывают. Меня почему-то в этом доме все любят».

«Моя задача, чтобы он не опоздал на „Стрелу“, – тихо вмешался Толя Бондаренко. Она грустно произнесла: „Я знаю, что скоро умру. Вот эта иконка, висящая над кроватью, – „Георгий Победоносец“ – завещана тебе. Вокруг творится снова ужасное – голод и нищета... Да вот главное, – спохватилась она, услышав под окном гудки ожидавшего такси. – В московском архиве ты можешь получить рукопись твоего двоюродного деда генерала Григорьева. Она называется „Дед – внукам“. То есть прямо предназначена тебе. Понимаешь? А вот фотография Юры Григорьева, когда он был гардемарин. Он тогда оказался в числе русских моряков, которых Государь посылал на помощь Мессине во время землетрясения в Италии».

Таксист продолжал издавать надрывные гудки. «Толя, – обратился я к своему другу, чувствуя, что она хочет еще что-то сказать. – Поди, сядь в машину, я буду через минуту». Оставшись наедине со мной в крохотной передней, мой бедный «Конек» в порыве нежной материнской страсти стремительно прижалась ко мне и, целуя мое лицо, заговорила; выражение ее глаз, наполненных болью и страданием, я никогда не забуду. «Дуденька, мой родной, ты для меня всегда будешь единственным любимым Дудей, как ты сам себя называл, когда был совсем маленький. Подумай только, какая я старая. Вот как сейчас тебя – обнимала я твоего дедушку, которого ты никогда не видел». И я на своей щеке ощутил ее слезы. Проклятое такси вновь напомнило, что меня ждут. Вдруг она по-детски всхлипнула, словно душа ее хотела выплеснуть всю боль:

– Как «они» меня били, как глумились, какой пыткой были эти страшные ночные допросы. Я тебе расскажу все, никому ни разу ни о чем не рассказывала. А сейчас ты должен ехать... Какие кровавые ужасы мы пережили. Ты никогда ничего не боялся и нес в своих картинах Россию. И должен все-все знать.

С глазами, полными слез, я шагнул из подъезда хрущевской халупы в холодное, пронизывающее до костей петербургское ненастье.

Слезы не высыхали у меня до Васильевского острова, и я старался скрыть их от моего друга, который тактично молчал всю дорогу.

* * *

И вот копия архива генерал-лейтенанта Ф. А. Григорьева у меня на столе. Рукопись его мемуаров «Дед – внукам», никогда не издававшаяся и даже не упоминавшаяся в печати, а также его переписка с братом царя Константином Константиновичем Романовым, который был начальником Управления военно-учебных заведений царской России, составляют свыше тысячи страниц.

Читатель, ты не ошибся в своей догадке: это известный русский поэт, знакомый нам по инициалам К. Р., что значит Константин Романов. Его стихи – свидетельства такой чистой религиозной души, что сегодня, читая их, мы словно пьем воду из родника, когда вокруг все залито асфальтом и теснятся бетонные коробки, в которых живет племя «младое, незнакомое». Мне бы хотелось, прежде чем коснуться другой стороны деятельности К. Р. – деятельности государственного мужа, сделавшего столь много для развития и процветания доблестных российских войск, великой отваги и чувства долга русского офицерства, неукротимого бесстрашия русского солдата, напомнить читателю его некоторые стихи.

Одни из них стали хрестоматийными, на них написана прекрасная музыка. Ну кто не знает этот романс?

Растворил я окно, – стало грустно невмочь,
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени...

Другие стихи, написанные в Павловске, Царском Селе, Петербурге, Венеции, Риме, в древних германских городах, не менее прекрасные, еще скрыты от большинства читателей пеленой времени.

Распустилась черемуха в нашем саду,
На сирени цветы благовоновые;
Задремали деревья... Листы, как в бреду,
С ветром шепчутся, словно влюбленные.
А отливы заката, алея, горя,
Синеву уж румянят небесную:
На весну наглядеться не может заря,
Жаль покинуть ей землю чудесную,
Напоенный душистым дыханьем берез,
Воздух в юную грудь так и просится, —
И волшебных, чарующих полная грез
Далеко моя песня разносится!

О замечательном русском поэте К. Р. можно сказать, что он был поэт-воин. Душа истинного поэта, как и художника и музыканта, – таинство. Она обращена к Богу, вмещающая в себе ответы на жгучие вопросы истории и современного мира, сочетая служение музам и отечеству, что особенно свойственно русским поэтам.

Я понимаю, что читатель, хоть и с трудом, но может достать сборник стихов К. Р., как может найти его эпохальную религиозно-историческую поэму «Царь Иудейский». Прошу извинения, но не могу не привести дивную его «Колыбельную». Стоит представить себе, как, может быть, по-иному складывалась бы жизнь многих людей, если бы каждая русская мать пела бы перед сном своему ребенку такие чистые слова веры, надежды и любви:

Спи в колыбели нарядной,
Весь в кружевах и шелку,
Спи, мой сынок ненаглядный,
В теплом своем уголку!
В тихом безмолвии ночи
С образа, в грусти святой,
Божией Матери очи
Кротко следят за тобой...

А в завершение краткого раздумья о поэзии К. Р. стоит привести еще одно его стихотворение, чрезвычайно показательное для сегодняшних дней, когда обесчещенные «демократической прессой» офицеры разложенной армии недавней сверхдержавы стыдливо стирают плевки с лица, терпя оскорбительные клички «оккупантов», спасая при этом «оккупированных» в случаях стихийных бедствий, при вспышках классовой и межплеменной грызни, все более погружаясь в пучину распада и безысходности.

Наш полк! Заметное, чарующее слово
Для тех, кто смолodu и всей душой в строю.
Другим оно старо, для нас – все так же ново
И знаменует нам и братство, и семью.
О, ветхий наш штандарт, краса полка родного,
Ты, бранной славою увенчанный в бою!
Чье сердце за твои лоскутья не готово
Все блага позабыть и жизнь отдать свою?

Итак, Великий Князь Константин Константинович был начальником Управления военно-учебных заведений. Основную часть их составляли кадетские корпуса. Сегодня, когда слышится это название – кадетский корпус, – думается, немногие представляют себе, что стоит за ним. Между тем с деятельностью этих, на первый взгляд, сугубо специальных заведений связаны многие страницы истории отечественной культуры, педагогики и некоторых других сфер бытия. Особенно ярко проявилось это в истории Первого

Петербургского кадетского корпуса – первого не только по времени создания, но и по образцовости постановки воспитательного дела, служившей примером для всех заведений подобного рода. Недаром державными шефами его были российские Государи, а среди воспитанников – многие представители царствующей династии вплоть до последнего наследника Престола Цесаревича Алексея, принявшего мученическую смерть в мрачную июльскую ночь 1918 года в подвале Ипатьевского особняка. Стоит сказать несколько слов о причинах возникновения этого учебного заведения. Регулярная Русская армия, созданная Петром Великим, нуждалась в комплектовании национальными офицерскими кадрами. Существовавшие в то время военные школы не были способны справиться с этой задачей, и единственным путем подготовки офицеров оставался путь обучения их в чужих пределах. И вот в 1731 году указом Императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге был учрежден «корпус кадетов» – Шляхетный кадетский корпус – на 200 детей. Примечательно, что на корпус мудрой Императрицей была возложена задача готовить молодежь не только для военной службы, но и для службы на всех поприщах государственной деятельности. Таким образом, он с первых же дней существования стал высшим учебным заведением, сочетавшим признаки и военной академии, и университета. Для размещения корпуса Императрица пожаловала лучший дом в Петербурге (с садом и постройками), принадлежавший ранее знаменитому сподвижнику Петра I князю Меншикову. От нее же идет традиция неизменного заботливейшего участия российских монархов во всех делах «Рыцарской Академии» – как назывались кадетские классы корпуса. Разве не трогательно звучит, например, такое свидетельство первого Главного директора корпуса графа Миниха о том, что о наложенных на кадет «штрафах докладывается Ея Императорскому Величеству, дабы они по сему страх и стыд возымели и от того всяким образы воздерживались!» Еще при жизни Анны Иоанновны среди воспитанников корпуса возникло «Общество любителей русской словесности», членами которого были – внимание! – Сумароков, Херасков, братья Мелиссино, Свистунов, Остервальд, Елагин и другие, надеюсь, знакомые для русского человека имена. И вот, выступавший на заседаниях этого Общества с первыми поэтическими пробами Сумароков через семь лет после окончания корпуса написал первую русскую трагедию «Хорев». Поставленный по ней в корпусе спектакль произвел сенсацию.

Я хочу подчеркнуть значительность вклада воспитанников кадетского корпуса в разные и, казалось бы, весьма отдаленные от военной, сферы жизни, когда российский театр был создан за несколько лет до основания знаменитого театра Ф. Волкова в Петербурге. В Петербургском кадетском корпусе были созданы также балет и первый частный журнал. Но, прежде всего – там воспитывались доблестные офицеры, полководцы, умножавшие славу защитников Российской державы.

Вспомним лишь грозные для врагов Отечества имена Румянцева, Суворова и Кутузова! При этом хочется еще раз подчеркнуть, что исключительные результаты, обретенные сим «рассадником великих людей» – таким названием почтила кадетский корпус Императрица Екатерина II, – в подготовке высокопрофессиональных и высоконравственных защитников Отечества обусловлены исключительным, поистине родительским вниманием державных особ. Государь Николай I называл воспитанников корпуса своими детьми и принимал участие вместе с наследником Престола – тоже кадетом! – в их играх и учебных маневрах... Известен забавный случай, когда Царь изволил бороться с кадетами, которые уронили Его... и с криком «Ура! стали поднимать Его Величество на руках...

И, наконец, хочется снова вернуться к личности Великого Князя Константина Константиновича, который, руководя делом военного образования в целом, тоже испытывал особые чувства к воспитателям и воспитанникам Первого кадетского корпуса прежде всего потому, что его старший сын Иоанн был корпусным кадетом. Посещал его занятия и другой сын – Гавриил – воспитанник Первого Московского кадетского корпуса.

Приведу выписку из семейных воспоминаний дочери К. Р. – Веры Константиновны (кстати, живущей до сих пор в США, в штате Нью-Йорк, и передавшей много вещей отца музею русской военной истории и Белого движения в Джорданвилле):

«В 1900 году, по Высочайшему повелению, на отца было возложено ответственное дело воспитания военной молодежи. Всем в достаточной степени известно, какой это был счастливый выбор и на какую высоту мой отец поднял кадетские корпуса и военные училища. Все знают, как искренне любил он своих питомцев, как близко входил он в их нужды, интересы, личную жизнь, радости и горести. Он обладал замечательной памятью на лица, фамилии и даже прозвища, которые иногда давал он сам. Он знал и помнил множество кадет и юнкеров.

Кадеты и юнкеры обожали своего Шефа. Маленькой иллюстрацией их любви и доверия к нему может послужить следующий случай: один кадет по фамилии Середа за «тихие успехи и громкое поведение» был исключен из двух корпусов – Полтавского и Воронежского. Тогда он решил обратиться за помощью к моему отцу. Он отправился в Павловск. Швейцар его не допустил. Тогда, не долго думая, он обошел парк, влез на дерево, чтобы произвести разведку. Увидев, что мой отец находится в своем кабинете, он туда вошел. Услышав шорох, отец поднял голову и, сразу же узнав мальчика, спросил: «Середа, что ты тут

делаешь?» Середа, сильно заикаясь, ответил: «Ваше Императорское Высочество, выперли...» «Так, – сказал отец, – что же ты теперь думаешь делать?» На это Середа не задумываясь воскликнул: «Ваше Императорское Высочество, думайте Ввы!» Отец мой «подумал», и шалун был назначен в Одесский корпус, который он окончил, выйдя в кавалерию. В 1-ю мировую войну он отличился, заслужил Георгиевский крест и пал смертью храбрых».

В числе особо отмеченных вниманием Великого Князя Константина Константиновича воспитателей русского офицерства оказался и мой дед Федор Алексеевич Григорьев, ставший по его воле сначала директором Воронежского, а затем, в 1904 году, Первого Петербургского кадетского корпуса. Влияние Великого Князя на деда было многообразно.

Далее хочется познакомить читателей с некоторыми извлечениями из обширной переписки деда с К. Р., чтобы еще раз подивиться трогательному отношению Великого Князя к своим подчиненным.

«15.04.1902 года

Дорогое для меня милостивое внимание Вашего Высочества несказанно тронуло меня. Телеграмму Вашу подали мне в церкви в 12 часов 15 минут во время Светлой заутрени. Хотя, таким образом, я церковную службу простоял полковником, но все-таки очень рад, что доказательство дорогого для меня внимания Вашего Высочества получил при такой торжественной обстановке. Я не мог скрыть охватившего меня волнения, которое было замечено всеми присутствующими...

...В корпусе все, благодаря Бога, хорошо... мои первые попытки сближения с кадетами старших рот мне удаются и уже приносят плоды. Если же одна десятая того, что высказал мне сегодня инспектор классов в присутствии полного состава служащих по случаю поздравления меня с производством, верна, – то я сочту себя вполне вознагражденным за все мои старания быть полезным слугою Вашего Императорского Высочества...

Ф. Григорьев

22. 12.1904 года

Ваше Императорское Высочество!

Не могу отказать себе в удовольствии поздравить Вас, как от себя лично, так и от лица всего своего семейства с наступающим Новым годом и побеседовать с Вами.

Лично я, Наталия Дмитриевна, Юра, Вера, Артя с женою, двое внуков и внучки – здоровы и ни на что жаловаться не можем.

В эту зиму живем все вместе, так как Юра на зиму прикомандирован ко 2 фл. экипажу для обучения новобранцев. В корпусе также, благодаря Бога, все идет хорошо: кадеты ведут себя в общем отлично; никаких скандалов, бенефисов и т. п. и в помине нет. Какие-либо выдающихся проступков тоже нет...

Ф. Григорьев

25. 02.1913 года

Ваше Императорское Высочество!

Искренне признательны за письмо Ваше, которое нас всех очень обрадовало сообщением, что здоровье Ваше хорошо.

Парад наш, как всегда, прошел вполне благополучно и наш Державный Шеф также был бесконечно добр и милостив.

На прошедшей неделе имел счастье пять раз видеть Государя: 17-го, 19-го, на открытии закладки памятника Великому Князю Николаю Николаевичу, 21-го при поздравлении, 23-го на балу и 24-го на спектакле в Народном доме.

Как всегда на параде и потом на завтраке кадет более часа имел высокое счастье беседовать с Государем. 19-го и 24-го Державный Шеф оказал мне особенное внимание: здороваясь, подал руку.

Знаю, что таким высоким вниманием я обязан Вашему Высочеству».

* * *

Мой дед генерал-лейтенант Григорьев начал заниматься литературной деятельностью по совету своего шефа К. Р. – Константина Романова. Благодаря этому мы имеем сегодня записанные им свидетельства очевидца «страшных лет России».

Я удивлен, что рукопись генерала Федора Григорьева, которую чудом пощадило время, до сих пор не опубликована, а продолжает лежать в военном архиве. Суровая правда тех лет документально отражена в них, как и во многих опубликованных воспоминаниях Бунина, Гиппиус, Шульгина, Гуля и других. И какое счастье, что дед не оставил эту рукопись кому-нибудь на хранение, как это сделал он со своим архивом, доверенным «верному крестьянину» из витебской деревни, который, испугавшись

ожидаемого обыска, сжег его вместе с многочисленными документами, фотографиями царской семьи и другими свидетельствами служения государству Российскому моего деда. Историки, я уверен, еще займутся и судьбами воспитанников генерала Григорьева – доблестных русских офицеров, отдавших свою жизнь в борьбе с врагами великой России, хотя многие из них, изменив присяге, перешли на сторону красных. Федор Алексеевич Григорьев в предисловии к своим мемуарам высказывает надежду, что «будущий историк по ним увидит, как мы, заурядные обыватели, переживали нашу „Великую Русскую революцию“. Ведь я выражаю не только свои мысли, но и мысли известной группы, и при том значительно большой группы!» Знакомство с рукописью позволяет сделать вывод, что дед с этой задачей справился достойно. Трудно лишь согласиться со скромным причислением себя к «заурядным обывателям». Записи деда, говорящие о его нравственной высоте, здравости суждений, становились в тех условиях актом высокого гражданского мужества.

Дед был сыном своего времени, и я не имею права вступать с ним в дискуссию, когда он приводит определенные факты и по-своему освещает те страшные и роковые дни революции.

Хочу обратить внимание читателя и на то, что несколько поколений русских офицеров с благодарностью вспоминали своего «дядю Федю», хотя ураган великой ломки и раскидывал их в разные стороны.

* * *

«Хочу, если не для истории, то для сведения вас, мои дорогие внуки, занести в мои мемуары следующий факт, о котором я не говорил никому.

Около 1911 года, в котором Наследнику исполнилось семь лет, в обществе очень много говорили о предстоящем назначении воспитателя к нему и называли даже кандидатов. Помню хорошо, что на параде 6-го января я командовал взводами кадетских корпусов, которые стояли в маленьком зале, между Николаевским и Гербовым (кажется, он назывался залом 1812 года).

Ожидая входа Государя, я стоял против двери в Николаевский зал. При входе к нам Государь очень заметно прижал локтем руку Императрицы-матери, с которой он шел под руку, и глазами указал на меня. Императрица окинула меня взглядом с ног до головы и сделала это вторично при следовании Государя по фронту кадет в сопровождении меня. Я тогда не придавал этому особого значения, считая, что Государь просто хотел указать матери на директора ее внука, которого он очень ценил и баловал. Вскоре после этого, если не ошибаюсь, в феврале ко мне, в мои приемные часы, явился генерал-адъютант князь Васильчиков. По обыкновению приемная была набита битком. Я, извинившись перед публикой, принял князя вне очереди. Князь очень слабо мотивировал цель своего посещения, но очень прозрачно выяснилось, что цель князя – меня интервьюировать. В беседе, продолжавшейся около часа, князь очень часто вставлял иностранные слова, и я хорошо заметил его удивление, которое он не мог скрыть, когда я заявил, что не знаю иностранных языков. Заподозрив особую цель этого посещения, я умышленно титуловал князя по его погонам «ваше высокопревосходительство», а не ваше сиятельство», как следовало бы. Об этом посещении я, при первом же свидании с Вел. Кн. Конст., рассказал ему. И когда он очень прозрачно дал мне понять, что это посещение имело связь с вопросом о выборе воспитателя, я чистосердечно и откровенно высказал ему мою совершенную неподготовленность для занятия такого высокого поста и нежелание мое оставить в истории такую же бесславную память, как Данилович. Думаю, что и без этого моего признания Вел. Кн. не подал бы своего голоса за меня при выборе воспитателя для Наследника, хотя он и ценил меня как директора превыше моих заслуг. Как известно, воспитателя Наследник так и не получил, оставаясь до конца под влиянием матроса Деревенько, а обязанности воспитателя фактически исполнял преподаватель русского языка П.В.Петров. В мае 1916 года Наследник, зачисленный в списки Первого корпуса в 1909 году, с разрешения Государя был назначен мною в 1 класс, 1-е отделение (воспитатель подполковник Ф. С. Иванов), и перечисляясь из класса в класс со своими сверстниками, оканчивал курс. По этому поводу я с депутацией подносил Наследнику жетон этого выпуска. На приеме, как всегда. Государь очень милостиво и просто с нами беседовал. В разговоре с Государем я, по установившемуся обыкновению, говорил откровенно и просто и, между прочим, сказал, что очень сожалею, что не могу выйти в отставку в этом году, а должен дослужить до 28 февраля 1917 года, чтобы выслужить четвертую прибавку к пенсии. «Ну, это ваше дело, ваши расчеты, но я вас в отставку не выпущу». Когда я передал эти слова Вел. Кн., он сказал, что это, вероятно, обозначает желание Государя назначить меня в свое распоряжение в качестве педагогического советчика (или что-нибудь в этом роде) и дать мне квартиру в одном из китайских домиков в Царском, недавно освободившуюся за смертью генерал-адъютанта Арсеньева, бывшего воспитателя Вел. Кн. Алексея Александровича. Против такого назначения я не подумал иметь чего-нибудь и признаюсь, что, будучи в Царском, осматривал квартиру, в которой я мечтал покончить в покое свое земное странствование. Но человек предполагает, а Бог

располагает! 28-го февраля состоялось отречение, и мне пришлось переписывать прошение об отставке... – на имя Временного правительства!

* * *

...Завтра начнутся трехдневные праздники годовщины царствования большевиков. Приготовления шли давно. Красное сукно для флагов и украшений взяли из Пятницкой и других церквей. Предполагается завтра днем торжественное шествие с пением, а вечером – танцы в волостном правлении в Поречье.

* * *

16 ноября, суббота 1918 г. В 10 часов утра, идя в Полибино на почту, зашел Гриля и сообщил..., вчера он был свидетелем следующего. Из Ново-Алексеевской волости приехали два (!) белогвардейца, которые пришли туда из Смоленска. Рассказывали, что они имели битву с красноармейцами, по преимуществу, евреями (!), которые дрались отчаянно и убили их командира, но были побеждены. Идет их не много, но народ присоединяется к ним и получает от них оружие. В Ново-Алексеевской волости уже выбраны новые власти.

На обратном пути из Полибина Гриля зашел к нам, передал письма и сообщил, что Даниловы – под домашним арестом, к ним не пускают. Вчера к ним прибыли 6 красноармейцев, заняли дом, съели только что зарезанного борова и произвели грабеж. Хотят Даниловых выселить, а дом занять под собрание («клуб бедноты»).

* * *

...Теперешняя наша жизнь есть сплошная мука. Вечно голодный, думаешь только о том, как бы утолить голод, а потому не можешь заняться каким-нибудь другим делом. Кроме голода еще хуже одолевает холод: в комнатах от 4 до 7°, дров нет... Все грязные работы приходится исполнять самому... – на 69-м году жизни невесело. Такой жизни не жаль, и смерти ждешь, как избавления, тем более что знаешь: здесь, на этом свете, дальше будет все хуже и хуже! Признаю несправедливость прежней жизни, когда мы, «буржуи», пользовались жизнью, а народ страдал, потому что на его нужды обращали мало внимания. Знаю, что «что посеешь – то и пожнешь»: дикость, некультурность нашего народа есть главная причина теперешней нашей неразберихи, но все-таки считаю социализм и коммунизм утопиями и уверен, что к всеобщему счастью они не приведут! Еще раз повторяю, что считаю в порядке вещей, что мы, «буржуи», страдаем, но вижу, что и демократия страдает не меньше нас, а благоденствуют только ловкачи и мошенники, которые окружают утопистов, стоящих во главе. А тем приходится хвататься за соломинку, чтобы спасти свое дело и отступить шаг за шагом от своих утопических теорий. Уничтожили артельщиков, а теперь пришлось их восстанавливать ввиду бесчисленных краж среди комиссаров, кассиров и тому подобных лиц, о чем читаешь в газетах ежедневно. А что делается в провинции и чему я был свидетелем при выселении помещицы, моей сестры (с. Овсянкино Невельского уезда Витебской губ.): на ее заявление, при описи ее имущества, что хлеба у нее 30 пудов, а картофеля 20 пудов и т. д. – председатель комитета бедноты командовал секретарю: «пиши 15 пудов, пиши 10 пудов» и т. д. все наполовину меньше, конечно, для того, чтобы вторую половину обратить в свою пользу. Кстати, все эти мальчишки, – председатели и комиссары, – по всеобщему заявлению крестьян, уголовные преступники, сидевшие в тюрьмах, так как никто из солидных крестьян на эти должности не идет. А не то ли самое мы видим и здесь, в Петрограде? Всюду, а в том числе и из моих бывших сослуживцев, вперед выдвинулись ловкачи и пройдохи. Знаю, что «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет» и не обвиняю всех тех, которые по нужде служат новому режиму, но подчеркиваю, я говорю о выдвинувшихся вперед, занявших видные посты, а не мелкой сошке.

Знаю и верю, что всякая революция, сопровождаемая указами и всякими безобразиями, в конце концов делает исторический шаг вперед в жизни народа, и даже вижу и признаю, что наш народ за последние двадцать лет очень подвинулся вперед в своем развитии, но сомневаюсь: во-первых, стоит ли «овчинка выделки», а во-вторых, думаю, что и в движении вперед в жизни народа нужна также постепенность, и нельзя сразу прыгнуть вперед на два столетия. При таком прыжке можно и шлепнуться и очутиться «при разбитом корыте». Похоже, что дело и идет к этому... Верно одно, что каша заварена большая и конца не видно. Сомневаюсь также, чтобы наш пример соблазнил бы другие, более культурные народы, идти по нашим стопам.

* * *

С большим удовольствием заново в свои воспоминания тот факт, что все встречи с моими многочисленными питомцами, по Пиротехнич. и Технич. школам, по Павловскому военному училищу и по Воронежскому, и Первому кад. корпусам, оставляют по себе лучшие воспоминания, а иногда и трогают до слез...

* * *

Посмотрите, каким ореолом окружены лица, стоящие во главе правительства! Как они живут и чем питаются! И если это до некоторой степени присуще лицам, стоящим во главе правительства (Ленину, Троцкому, Зиновьеву и др.), то, казалось бы, не к лицу низшим агентам его. Но посмотрите, как живут комиссары... И вообще все власть имущие. А посмотрите, какие размеры приняли разного рода хищения и как они часты! Этого не скрывают даже правительственные газеты, хотя, разумеется, они сообщают не все. Например, нам достоверно известно, что наш ремонт не начинается до сих пор и доставка дров застопорилась потому, что комиссар, стоящий во главе Инженерного управления Петроградского военного округа (называю по-старому, не зная нового его названия), удрал, захватив с собой 6 миллионов. Его «залапали», но, говорят, без миллионов. В газетах об этом ни слова, и вряд ли его будут судить, так как он бесспорный коммунист... Хищения же в грандиозной степени увеличились!

* * *

7. 09.1919 года. Что ныне, в правлении большевиков, бросается особенно в глаза – это невозможная волокита и безобразные порядки, принятые как бы нарочно для того, чтобы возмутить народ.

* * *

На роль белых и Антанты я смотрю теперь так. Белые пользовались большим сочувствием в массах, но их тактика роняет их престиж. С мечтой вернуться к старому пора покончить. Старое погибло и не воскреснет! Надо признаться, что оно имело много недостатков, а по отношению к массе, крестьянству, было крайне несправедливо. Земельный вопрос в особенности вызывал недовольство крестьян. Поэтому возвращение земель полностью помещикам не может не восстановить крестьян против белых. Во-вторых, наступление белых, в большинстве случаев, встречается народом восторженно, но, наступая малыми силами, они опять отступают, а народ подвергается строгим репрессиям и расстрелу со стороны красных. И то и другое, конечно, уменьшает число сочувствующих белым. Кроме того, я уверен, что и без войны с белыми Советская власть не сделала бы Россию счастливой; голод, холод и вообще вся та разруха и настроение, ныне существующие, были бы и тогда. И все бы видели воочию, что виновата в этом Советская власть, которой никто не мешает. А теперь война с белыми дает возможность красным газетам обвинять во всем этом белых.

* * *

Не зная точной статистики о числе ежедневных смертей в Петрограде, а, только вспомнив число смертей в среде своих знакомых за последний только год (более полсотни наберется) – число их громадно! А число жителей, по официальным данным, уменьшилось уже наполовину! Присутствуя же на отпевании умерших в церквях на кладбищах (4 ряда, гроб к гробу, насчитал более ста гробов), не понимаешь, как это Петроград еще не весь вымер?! Но на этих темах останавливаться не следует. Давно решил жить сегодняшним днем: день прожил – благодари Бога. А завтра умрешь – благодари еще больше.

* * *

Я избегаю на курсах заходить в уборные ввиду невообразимо грязного их содержания но на днях зашел на минуту. Все стены исписаны нецензурными словами и среди них поэт из «малограмотных» поместил следующее четырехстишие:

Для царя здесь кабинет.

Для царевны – спальня,
Для буржуа здесь буфет,
Для курсанта – ср...ня!

Несчастный пиит не понимает, что это более всего пахнет иронией над некультурностью курсантов. Я видел, как содержались эти уборные во 2-ом корпусе. А в культурной Германии, зайдя однажды в маленькую бюргале, около Зоологического сада, я не отказался бы в ее уборной и закусить. Не говоря уже о больших ресторанах и гостиницах.

* * *

21. 08.1926 год. Нет, по-видимому, пока на свете будут существовать правящие и управляемые – без казней не обойдется. Пожалуй, анархисты в теории и правы. Но в теории и коммунизм выходит недурной, но, надо признаться, уж очень скучной жизнью. Если верить книге Нилуса («Великое в малом»), то самодержавие Иудейского царя, если сионистам удастся ввести его в жизнь в той форме, в которой они проектируют в теории, пожалуй, будет наилучшая форма правления на земле. Но сколько надо еще сделать преступлений, чтобы этого достигнуть! Но сионисты придерживаются иезуитского правила: «Цель оправдывает средства!» А, поверив книге Нилуса, не трудно допустить, что и наше советское правительство (в большинстве евреи) преследует ту же цель сионистов. Тогда, по крайней мере, многое непонятное делается понятным.

* * *

17. 03.1921 года. При своем воцарении большевики обещали «свободу, мир и хлеб». Эти заманчивые слова и привлекли, на первых порах, на их сторону темную массу. Ни одного из своих обещаний они не выполнили, вместо свободы – беспримерный в истории гнет, невозможно разинуть рта, аресты, расстрелы; свобода передвижению совершенно отсутствует, в делах бесконечная волокита и хвосты, хвосты, хвосты! Трамваи почти совершенно отсутствуют, а если ходят, то только по 4-5 линиям с 7.00 до 11.00 часов утра, и то постоянно останавливаются и рассчитывать на них, если надо прибыть к сроку, невозможно. Не говоря уже о том, что попасть в трамвай – уже большое счастье.

Крестьян обирают дочиста: хлеб, лошади, коровы и пр. остаются в очень ограниченном числе. За оставленную корову – налог молоком и маслом. Вообще грабеж в огромных размерах!

* * *

Мира нет. После Деникина, Юденича – поляки, Врангель, Махно, Антонов и пр. Хлеб в очень ограниченном количестве...

...Последние признаки культурной жизни в Петрограде исчезли! Дров нет. Стоимость сажени дров с доставкой доходит до 100 тыс.! Печи в комнатах всю зиму не топили. У нас в спальне, благодаря соседству кухни комиссара, температура держалась все время 9-7 градусов Р, а в комнатах сына и дочери – 7-5 градусов Р, и только благодаря тому, что в остальные две комнаты вселили заведующего ружейной мастерской (коммуниста), у которого есть дрова, и он топил часто свою большую комнату (быв. нашу гостиную), куда поставил железную печку...

Ватерклозеты не действуют. За чистой водой, а также для выноса мусора и испражнений надо спускаться на двор. Извозчиков нет. Почти полное отсутствие бань! Отсутствие лекарств, ткани, ниток, иголок и т. д. Скажите, намного ли эта жизнь отличается от жизни человека пещерного периода?

Под влиянием голода, всех этих антикультурных условий современной жизни жители Петрограда впали в апатию. По улицам ходят (а не по тротуарам) как сонные мухи. Редко кто не тащит на плечах мешка или узла или сани с поклажей. Неудовольствие современной жизнью общее. Нельзя встретить человека в народе, армии, среди курсантов, за исключением комиссаров и завзятых коммунистов (коих очень немного), довольного современным положением. Возмущение внутри России и у нас в Петрограде не прекращается. Но все это отдельными вспышками, без взаимной поддержки. А так как шпионаж, не в пример монархическому, организован отлично и жидам не жаль христианской крови, то все эти вспышки скоро прекращаются арестами и расстрелами... При этом жида прибегают к мерам воистину драконовским. За измену главы семьи арестуют жену и детей, до грудных включительно. Семья Козловского, начальника артиллерии в Кронштадте, арестована, а сын его, говорят, несовершеннолетний расстрелян! Можно удивляться, но нельзя не признать, что Троцкий, Зиновьев и К° люди гениальные в своем роде. Благодаря

им большевики, вопреки утверждению Талейрана, не только «опираются», но и «сидят на штыках» уже четвертый год.

На Шпалерной по ночам очень часто происходили сцены, при рассказе о которых у рассказчика на голове «волосы становились дыбом»! Приезжали на моторах люди, вызывали по списку арестантов, раздевали до белья, связывали попарно и как дрова укладывали их в грузовики и увозили на Ириновский вокзал! Здесь укладывали их таким же порядком в вагон и везли в артилл. полигон, около ст. Ржевка. Чтобы не тратить патронов, а главным образом потому, что красноармейцы очень неохотно принимали участие в расстрелах, приговоренных просто убивали из револьверов! В числе любителей-палачей отличалась одна женщина, фамилию которой, к сожалению, забыл!

* * *

18. 03.1921 года. С конца прошлого года и по сие время число краж, грабежа, мошенничества и др. сильно возросло. В ноябре появились «живые покойники», как прозвал народ шайку бывших акробатов. Эта шайка в масках, с горящими углями в зубах, с пружинами на подошвах сапог, которые давали им возможность делать большие прыжки, пугала по ночам на улицах народ и грабила. Шайку вскоре изловили и, по словам досужих людей, семерых закопали в земле живыми. Так как воровство, грабежи и другие преступления так же увеличились в последние дни царизма и накануне падения Керенского, то я подумал, что не означает ли это явление и падение коммунизма? Но, по-видимому, ошибался: большевики держатся и, вероятно, продержатся еще долго!

* * *

Пришел под американским флагом пароход «Феникс» (если не ошибаюсь) с пищевыми продуктами для русских (?) детей. Капитан немец. Начали разгружаться, но капитану пришлось разгрузку прекратить: рабочие (русские) начали систематически воровать груз. Капитан донес в Смольный, что возобновит разгрузку только под охраной воинской части. Прислали красноармейцев. В комиссии, руководящей раздачей провизии, два доктора – евреи. Сына М., а также другого из наших преподавателей с русской фамилией не признали достойными получить продукты. М. говорит, что раздают по преимуществу детям евреев. Очевидно, это помощь американских евреев своим русским соотечественникам! А евреи у нас, как я уже упоминал неоднократно, не голодают: в хвостах ни одного нет, все вновь открытые лавки – еврейские! Без погрома дело не обойдется, очевидно. Говорят, что в Польше и у нас в Западном крае они уже начались.

Немец, капитан парохода «Феникс», по словам М., говорит: «Антанта вас, русских, считает теперь самым позорным народом в мире! Не ожидайте, что кто-либо окажет вам какую-нибудь помощь. Чем вы скорее передохнете, тем для Антанты выгоднее!» Может, это по существу и справедливо, и подтверждает мои давнишние предположения, но надо принять во внимание, что капитан – немец (!).

* * *

А все-таки мы – голодающие миллионеры. Но многие теперь живут хорошо. Открыты всевозможные лавки, кофейни и ночные рестораны, в которых подают разнообразные блюда, ценою 70 тыс. порция и выше. И все это переполнено! Хорошо живется и музыкантам. Сегодня знакомый скрипач рассказывал, что он, играя в одном кафе на Невском с 7 час. до 12 ночи – получает 250 тыс. в день и обед, и ужин. После 12 час. идет в ночной ресторан, где за игру до 4 час. утра получает также 1/4 милл. Итого 1/2 милл. в день. Кроме того, перепадает малая толика от богатых и знатных посетителей (евреев и латышей по преимуществу), которых музыканты встречают «Интернационалом» или входным маршем! Вот он, «пир во время чумы!» Недаром Англия втайне поддерживает советскую власть, зная, что никто лучше ее не уничтожит России! Но, простите, я повторяюсь.

* * *

Спекуляциями и аферами занимаются чуть ли не все. Только и слышишь: «перепродал то-то», «спекульнул на том-то». Один мой знакомый, бывший лицеист... скопил оборотный капитал, а его жена ходит в бриллиантах. А нажил капитал на том, что покупал на вновь открытых фабриках и заводах товар и перепродавал в лавки на 50% дороже. Такие аферисты живут широко. У одного из таких финансистов

на Рождество был обед в старом стиле. В разнообразной закуске фигурировали: водка, икра, балык и пр. Обед из пяти блюд с вином; осетрина, индейка. Чай, печенье, пирожные. А вечером его жена проиграла 8 миллионов. Другой миллиардер на днях прокутил в ресторане 36 миллионов, дал «человеку» на чай полтора миллиона. Он, очевидно, расценивает миллионеры по современному курсу и дал на чай 10 рублей.

А мы, скромные обыватели, «голодающие миллиардеры», живем плохо. И едим пустые щи и кашу без масла. Мерзнем, водопровод не действует. К этому мы уже привыкли и носим воду из прачечной, благо она под рукой. Но когда и фановые трубы в уборной бездействуют, и заливаемая вода не уходит, наступает сущий ад!

...В дополнение к ранее описанным картинкам нашей культурной жизни прибавлю то, что рассказывал на днях помощник заведующего продовольствием на наших курсах, это простой донской казак. По обязанностям службы он, во время балов и концертов, присутствует в кухне: «Ну и „слабода“ теперь. Бога упразднили, и без всяких стеснений! Летом во время собраний парочки выходят и прямо под деревом... И зимой, заглянув в подвал, диву дался: три-четыре пары, не стесняясь и стоя... Ей-богу, не вру». Поистине, русские люди обратились в животных – и все свои потребности исполняют не стесняясь. Недаром преподаватели «политграмоты» начинают свой курс с происхождения человека по Дарвину. Ученики только подтверждают эту теорию и показывают, что русский человек еще и ныне недалеко ушел от обезьяны. К слову, об этих преподавателях. Это все молодежь, окончившая партийную (коммунистов) школу. Они, начиная с преподавателя «политграмоты», быстро повышаются по службе, получая назначение помощника комиссара, комиссара, начальника курсов и так далее. А потому преподаватели эти беспрерывно чередуются. Все они ужасно напоминают тип ломового извозчика: грязнейший полушубок, подпоясанный ремнем, и громадные валенки. При этом манеры и язык тех же ломовиков. Коллеги-преподаватели так и говорят: опять появился новый ломовик! Первые преподаватели этого предмета, интеллигентные еврейчики, давно ушли, поднявшись на верхние ступени служебной лестницы. Грязные полушубки и валенки встречаются нередко и среди преподавателей других предметов. Вчера и я купил за 300 тыс. старые сибирские валенки у своего племянника (а потому и дешево) и сегодня на уроке в неотопленном классе оценил их достоинство: ноги как в печке. На днях, разыскивая водопроводчика, попал в квартиру в нашей же лестнице, в четвертом этаже. Дверь отворена; прохожу коридор, кухню, никого. Вхожу в комнату, грязь которой меня поражает. В особенности бросилась в глаза железная кровать с грязнейшей подушкой, покрытая остатками ватного одеяла, еще более, если это возможно, грязного, чем подушка. Встречает меня человек неумытый, в грязной и изорванной ватной кофте, из-за которой выглядывают грязные в высшей степени остатки белья. Принимаю его за водопроводчика, которого я разыскиваю. Но оказывается, что я ошибаюсь. Передо мной бывший председатель военного суда на Кавказе генерал-лейтенант М.К.Л., на днях принятый к нам на курсы в качестве штатного преподавателя по русскому языку! Вступаем в беседу. Человек бесспорно интеллигентный, женат, пять человек детей, живут у тещи, где, по его словам, места ему не оказалось. Очень нуждается. Давно искал место и рад, что попал к нам, где ему и отвели комнату в квартире красноармейца, который имеет дрова, и он рад, что не мерзнет.

* * *

11. 02.1922 года. Цены, убегая быстрее ставок, дошли уже до 1/4 миллиона за фн. сахара, а золотой 10-рублевик приближается к 3-ему миллиону. Следовательно, мои 7 миллионов в месяц равняются 22 рублям! Умопомрачение! Действительно: «Редкий случай феноменального сумасшествия расы» (Р-С-Ф-С-Р). «По краям – розы, потом слезы, а в середине – фига».

На днях М. дал мне прочесть «Новое время», издатель М.А. Суворин, в Белграде от 13 декабря 1921 года. В нем напечатано, что к 1 декабря 1921 года в России выпущено 777 триллионов и 879 миллиардов бумажных денег!!! Сопоставьте это с одним миллиардом их в 1913 году.

Перефразирую Сократа и скажу: «Понимаю, что я ничего не понимаю».

* * *

Лично я остаюсь при том убеждении, что ничего хорошего мы не дождемся и лучше всего поскорее умереть. К слову. В ноябре умерла моя двоюродная сестра Ольга Коссаржевская; похороны ее стоили 1 200 000 руб. В конце февраля я хоронил сестру Ольги, похороны ее стоили мне 10 млн. А на Пасху умер мой друг и многолетний товарищ Г. М. Яковлев. Его похороны стоили без малого 200 миллионов. Если я проживу еще год и умру не на службе и не в больнице, то мои похороны, пожалуй, будут стоить миллиард рублей! Поэтому и надо умирать, пока не выгнали со службы. Надеюсь, что гроб сколотит, по бывшим примерам, столяр курсов, а лошадь и телегу даст заведующий хозяйством курсов. А, следовательно,

скорее умереть во всех смыслах выгодно: избавишься от этой беспросветной, томительной и некультурной жизни, и похороны будут стоить дешево.

* * *

12. 05.1922 года. До каких пределов разрушения дошел Петроград, до какой степени некультурности дошла наша жизнь – «этого ни пером описать, ни рассказать»!

Деревянные дома сожгли, добрались до старых каменных, из которых все деревянные части выбрали на дрова. Чудные, новые дома-дворцы с центральным отоплением приходят в негодность. Прежние владельцы, которым предлагали взять их обратно, не берут, так как на ремонт не хватит никаких средств. Дома стоят пустые и продолжают разрушаться. Редкие жильцы в них, занимая большие квартиры, за отсутствием дров ютятся в двух или трех комнатах. Крыши текут, потолки обваливаются... Вообще все приходит в разрушение.

... Водопровод всю зиму не действовал... в 4-этажном доме рядом, бывшем флигеле для служителей, из всех квартир всю зиму выбрасывали «пакеты», пройти мимо, не наступив на таковой, было невозможно. Никакие строгие приказы не действовали. Теперь «пакетов» не выбрасывают, но на днях, разыскивая в этом здании квартиру монтера-электротехника, я буквально задохся и меня стошнило!

...Нравы совершенно изменились: украсть, надуть считается в порядке вещей даже в нашей среде, не говоря уже о демократах... Простите, не воздержусь и сцитирую на память экспромт покойного Пуришкевича 1917 г.:

«Не видать земли ни пяди, вся покрылась: кони, б... и. С красным знаменем вперед обалделый прет народ. Нет ни совести, ни чести, все смешалось с г...м вместе. И одно могу сказать: „Дождались, е.....ь!“

Нецензурно, но характерно, и русский стиль выдержан! Надо отдать справедливость и русскому народу: насчет стихов на современные темы, анекдотов и подбора слов на заглавные буквы – мастер. Упомяну о злободневном, на современную тему ограбления церковного имущества. Обмен телеграммами: 1) Ленину – «Троцкий», 2) Ответ – «Ленин» и 3) Ленину – «Зиновьев».

Все поняли и расшифровали:

1) Трудно Работать, Отберем Церковную Казну И Исчезнем, 2) Левушка, Если Нужно, Исчезнем Немедленно, 3) Зачем Исчезать, Надо Обороняться, Ведь Есть Еще Веревка.

О результате сбора с церковью говорят, что собрали громадные капиталы. Возможно. Но сопротивления были. Сам видел (Владимирский собор у Тучкова моста), подростки избили комиссию при выходе ее из собора, едва добрались до мотора. Рассказывают о бунтах в Казанском соборе и на Сенной. А в Москве, уверяют, было хуже. Наши газеты косвенно это подтверждают, объявляя об аресте патриарха Тихона, митрополита и благочинных священников; уверяют, что последние уже расстреляны. Возможно и это. В твердости власти Советскому правительству отказать нельзя, а характер русского «быдла» они хорошо поняли и не боятся его

Да, «дождались» и еще худшего можем дожидаться. «Свобода, равенство и братство»!!! Думаю, что это будет на Земле только тогда, когда наступит Царство Божие и люди станут ангелами. Но вряд ли это когда-нибудь будет!

* * *

21. 05.1922 года. Приходит на ум историческая параллель. И против Великой Франц. революции восставали чуть ли не все европейские державы, а ведь она восторжествовала?... С другой стороны: к чему же привели ее лозунги – «Свобода, равенство и братство»? Вспоминаю «Панаму» и прочие прелести республики!

Допустим, что коммунизм – рай, в теории (в который нас, глупых, тянут за уши), но ведь практика не всегда подтверждает теорию? А ведь люди-фанатики всегда желают оставить память в истории (это так соблазнительно), а стоять во главе и играть главные роли приятно всякому человеку.

Остаюсь при старом: Рай наступит тогда, когда люди станут ангелами!!!

* * *

25. 05.1922 года. До какой степени нахальства и издевательства дошло наше правительство! Жалование своим служащим не платит: «Нет денежных знаков – и баста!» А Васька слушает, да ест и благоденствует. Он знает, что народ, который пережил Ивана Грозного и многое другое, все вынесет. И

верно, всем нам без исключения – цена грош ломаный! Посмотрите, как относится правительство к своей гвардии и жандармерии, к курсантам. Кормит впроголодь, одевает как нищих, зимой держало в холоде...

* * *

С 1–го июня лагеря. На этой последней учебной неделе были репетиции. В трех моих отделениях, из ста учеников, отвечали не более трети. Остальные говорят: «Ставь, дедушка, кол». «Красное командирство» их не прельщает, стремятся домой в деревню. Но начальство не желает делать поблажки и пугает оставлением на второй год: Посмотрим, что выйдет из этой борьбы. Многие курсанты прибегают к более радикальной мере. Побег постоянный... Они уверяют, что в деревнях таких принимают с распростертыми объятиями. А если поймают, назначают в рабочие роты в ближайшие части. А это их вполне удовлетворяет.

...Теперь все газеты переполнены предстоящим процессом эсеров, на котором защитниками допущены иностранцы. Всюду митинги по этому поводу, сегодня у нас, я не пошел. Надо отдать должное правительству нашему: энергии у них – хоть отбавляй! А публику свою они знают, врать мастера и за словом в карман не полезут. А потому:

«Да здравствует кто хочет, но только... дайте есть». Мы, быдло, доведены до того, что только о брюхе, в самом узком смысле этого слова, и думаем!

* * *

6. 06.1922 года. Злоба дня – процессы: над эсерами и духовенством. Патриарх Тихон отказался, и временно управление церковью перешло в совет из трех священников: Введенского и двух других, фамилии которых не упомянул. Все трое, конечно, ставленники правительства. Говорят, что первый из евреев и большой фигляр, но у него много поклонниц. Про двух других рассказывают невероятные вещи, но, может быть, и врут, не знаю. Петроградский митрополит Вениамин, избранный народом, арестован и будет судим за то, что отлучил от церкви Введенского. Часть арестованных в Москве священников приговорена к смертной казни. Но все это наш народ, «Богоносец», по словам Достоевского, вынесет, конечно, безропотно!

Барометр нашей жизни, цены, мчится в гору без удержу, только цена хлеба почему-то остановилась на 140 тыс. – фунт. Теперь денежная единица у нас – «миллион – рубль», но скоро перешагнем и его. «Пир во время чумы» продолжается и принял гомерические размеры. Под флагом помощи голодающим разрешены все азартные игры и скачки. Открыто множество игорных домов. Счет на миллионы. Счетчикам при игре в лото платят по три миллиона и более за вечер. Мы, мелкота, голодающие миллионеры, при игре в коммерческие игры рассчитываем с точностью по десяти тысяч, т. е. пять тысяч и менее отбрасываем, а 6 и более считаем за десять. А в бывшем клубе приказчиков (Владим. проспект, 12), в этом прибежище миллиардеров вновь нарождающихся буржуев, считают с точностью до десяти миллионов. При игре... закладывают в банк десятки миллиардов и выигрывают триллион! Вновь народившаяся буржуазия начинает копировать старые порядки... История повторяется, и возможно, что и наша революция кончится по образу Великой французской. Ничто не ново под луной!

* * *

Возмутительный суд над эсерами, главными создателями нашей революции, идет своим порядком. Подсудимые разошлись на два лагеря. Одна группа, интеллигенты, с Гопом во главе, держатся гордо, а другая, демократическая, «сознательные рабочие» по преимуществу, покаются и стоят на стороне обвинителей. Этим судом мало интересуются и мало о нем даже говорят! Суд над митрополитом Вениамином и священниками, возбуждает любопытство более, и о нем много говорят. Рассказывают, что Михайловская площадь была засыпана цветами. Большая толпа народа встретила Вениамина пением «Исполати деспота» и «Достойно есть». Многочисленные добровольцы-защитники встретили владыку в зале Дворянского собрания и подошли под благословение, а доброволец-защитник из Москвы, еврей (?) – поцеловал у него руку. Из толпы на Михайловской площади многие тысячи арестованы. Так ли было дело – не знаю, сам этого не видел, так как никуда не хожу, а винчу беспросветно, надеясь этим скорее приблизить себя к нирване. Не оправдываюсь, а признаю себя истинным сыном русского быдла! Умнее всех нас поступил один из служащих в ГУВУЗе (фамилию забыл), который в первый день революции, убив свою жену, сам застрелился (детей не было). Завидуя генералу Попруженко, который умер за две недели

до революции. А умница А.Д. Бутовский умел хорошо приспособляться к жизни и умер в первый день революции.

* * *

Мы уже в обрыве и повергли в прах все, что веками было накоплено. Теперь вопрос в том, какой из «недругов» «коня опять взнуздает и запряжет не в старую» (спасибо и за это) «телегу»? Я всегда был и остаюсь поклонником немецкой ориентации: француз легкомыслен и очень оптимистичен, англичанин уже очень строг, а немец все-таки помягче; себя, конечно не обидит, но, насаждая культуру, приобщит и нас к ней. Возможно, очень вероятно, что недруг окажется не один, а несколько, и тогда от России останется одно воспоминание. И это будет в порядке вещей. Мы показали свою полную несостоятельность вполне наглядно. А не есть ли все то, что происходит ныне, выполнение программы сионистов? Все возможно! Поверишь Нилусу («Великое в малом»).

* * *

21. 09.1922... В школах и на курсах, и у нас в том числе, средства для ремонта добываются оригинальными путями, 8-я школа комсостава (б Павл. в. учил.) эксплуатирует «Аквариум», наши 6-е советские пехотные курсы открыли кафе на Невском, пекарню на Петроградской стороне и открывают кинематограф; само «Гувузпетво» (Главн. Упр. Воен. Учеб. Зав. Петр. Воен. Окр.) открыло на Невском игровой дом и т. д. К слову, мой питомец, кадет выпуска 1911 года, ныне занимающий высокий пост инспектора пехоты «Гувузпетво», как один из членов этого клуба, дежуря через день и получая за это какой-то маленький процент с прибыли, зарабатывает по 100 миллионов в месяц! С января этого года нас заставили читать 32 урока в месяц бесплатно. А вчера (21 сентября) в «Гувузпетво» сказали, что число бесплатных уроков для нас повышено до 60 в месяц!!!...Казалось бы, можно заявить протест или объявить забастовку. Но это никому и в голову не придет ввиду продолжающегося существовать красного террора. Аресты и расстрелы продолжаются непрерывно. «Чека» работает отлично, в числе служащих в ней называются несколько громких фамилий бывшей аристократии, и в том числе некоторых женщин!

Я, помнится, уже писал, что вследствие участвовавших случаев преступности декретом были закрыты в один день все клубы и игорные дома. Через несколько дней самые «аристократические» из них... опять открылись. Скачки и бега опять процветают, а потому расстрелы опять участились. Наш бывший заведующий хозяйством Хв. арестован за растрату 3-5 млн. месяца два тому назад. На днях арестован мой бывший партнер, племянник преподавателя математики в первом корпусе С., азартный игрок (о нем я упоминал ранее, величая его «бешеной собакой»). Арестован за растрату 2 или 3 миллиардов. Ему поручили разменять в казначействе 100-миллионные бумажки, а он, имея такой куш в кармане, решил пустить его в оборот и проиграл его весь. Уверяют, что высокой марки коммунист, стоящий во главе продовольственного дела в Петрограде, проиграл 300 миллиардов, но ему, как коммунисту, говорят, сойдет даром. Продаю за то, что купил. Что коммунисты пользуются особыми правами, это факт. Вчера в нашей бане меня рассмешил мальчик 10 лет. Лезет не в очередь к крану с водой. Ему говорят: «Куда ты? Становись в очередь». А он торжественно заявляет: «Я коммунист!» Общий смех, и его пропускают. Он, конечно, не коммунист, но, очевидно, знает, что для коммунистов закон не писан.

* * *

Наша революция показала это вполне: роль нашей интеллигенции в ней плачевна. Малая куча людей энергичных захватила власть в свои руки и твердо держит бразды правления.

* * *

15. 01.1923 года. Прожили половину зимы. Живы! В политике все то же. Катимся по наклонной плоскости в бездонную пропасть. Политический барометр все падает. Цены растут ежедневно. Вся финансовая политика свелась на непрерывное повышение налогов: бани у Тучкова моста на Васильевском острове, которые в мае платили налог 1 миллион 200 тысяч в месяц – в декабре внесли 3 миллиарда! Конечно, и плата увеличилась с 500 тысяч до 7 миллионов. Все тресты трещат, а торговцы поднимают цены безостановочно. Мой ум отказывается понимать такую финансовую политику. На днях

встретил Н. И. Ковалевского, бывшего товарища министра финансов у Витте, он также говорит, что летим в бездонную пропасть.

С другой стороны, я уверен, что, если падут большевики, наступит анархия и будет хуже. «Куда ни кинь – все клин».

* * *

Воровство и мошенничество на каждом шагу. У нас арестован уже 3 заведующий хозяйством (Б). Вновь назначенный в Авиатехникуме (Д.) был уже у нас в 6-х комкурсах. Пьяница и был арестован уже два раза, но... он коммунист! «Дождались...»

* * *

30. 01.1923 года. Мы, все преподаватели, на днях будем держать экзамен из «политграмоты». Нам предложили одно из двух: или выслушать 36 лекций, которые прочтет для нас помощник начальника, или купить за один миллион брошюрку, знание которой, по словам помощника, вполне достаточно для выдержания экзамена. Все преподаватели предпочли внести по миллиону, и только 9 человек комсостава изъявили желание прослушать 36 лекций помощника.

...Один из бывших наших (6-х курсов) преподавателей политграмоты. Тр., предложил нам троим (мне, А. и Л.) сообщать нам сведения, необходимые для выдержания экзамена, и придет завтра. Собрали по 10 миллионов с брата. Купили дешево (по 8 рублей-миллионов), бутылку самогона и завтра после «лекции» будем угощать «лектора», который любит выпить.

* * *

Начальник школы – это человек бывалый, развитой, энергичный, но очень нервный и слабого здоровья. Выяснилось также его любезное отношение ко мне. «Я вас отлично знаю со слов наших учеников. Вы их любимый преподаватель „дедушка“. Когда предложили занять место за обеденным столом, я, по обыкновению, занял место в стороне от начальства. Речи, приветственные, начались с самого начала обеда. Так как в большой зале их не могли все слышать, то, по обыкновению, разговоры продолжались, и было шумно.

Когда после второго блюда началась «игра в свои козыри» (мое выражение), т. е. качание начальства, которое наши ученики заменили ношением вокруг зала в кресле (что, по-моему, гораздо лучше), перебрали все начальство, от начальника школы, комиссара, до ротных. Так как это был обед не выпускной, то я был убежден, что этим дело и ограничится. Вдруг, совершенно неожиданно, группа моих учеников подходит ко мне, бережно усаживает меня в кресло и, при дружном крике «ура» и аплодисментах всего зала, обносит вокруг. Никого из других преподавателей не обносили. Для точности должен прибавить, что многих из живущих в городе не было. Комиссар предложил мне сказать речь. Когда, получив мое согласие на это, он провозгласил, что слово предоставляется шт. преподавателю математики Ф. А. Григорьеву, – дружные аплодисменты всего зала встретили это заявление. Я попросил, в уважение моих 73-х лет, прекратить разговоры, наступила мертвая тишина. Каждое мое слово было слышно всем. В кратком слове я выразил уверенность, что при таком начальстве, которое они (ученики) имеют, при столь энергичном комиссаре и при таком, беспристрастном для меня, при моей 50-летней педагогической деятельности, старании учеников они вполне оправдают ожидания правительства. Кончил я так: «Дай Бог... Виноват, по старой привычке... (многократные крики: „Ничего, ничего!“) Вам здоровья. Учитесь, учитесь! Ученье свет, а неученье тьма». Опять единодушные аплодисменты и вторичное обнесение вокруг зала, после которого многие, даже мне незнакомые лица, подходили ко мне, жали руки и поздравляли с успехом. Бесспорно, вопреки всякого ожидания, я стал героем дня.

Признаюсь, что эти овации мне приятны и, главным образом, потому, что хорошо рекомендуют моих нынешних учеников, которые, несмотря на все мои крики и ругань (сапожники, а не математики), разобрали, что это происходит потому, что их «дедушка» искренне желает передавать им свои знания!

Мне, маленькому, не историческому человеку, на склоне своей жизни приятно убедиться, что я пользовался и пользуюсь любовью своих питомцев и учеников. Жизнь прожита не даром! Аминь и Богу слава!

* * *

21. 12.1923 года. Без малого пять месяцев ничего не заносил в мои мемуары ввиду беспроектного однообразия, тянущейся канители. Но теперь нахожу необходимым отметить следующее.

Во-первых – катастрофическое падение экономического барометра. Цена золотого рубля сегодня 2160 миллионов и ежедневно увеличивается на 50 миллионов. Это официальный курс, на черной бирже за бумажный червонец (21 600 млн.) дают 2 – 2 1/2 миллиарда и больше, а за золотой червонец дадут и 30 миллиардов! Параллельно с этим и цены скачут сногшибательно! Сегодня 1 фн. хлеба – 100 миллионов, ситник – 200 миллионов, мясо – 1 млрд., масло – 21/2 млрд. и т. д. О мануфактурах и говорить нечего: ботинки дамские 30 млрд. За переделку казенной суконной рубашки на «френч» 14 млрд.!!!

Во всех иностранных государствах отмечается сильный уклон вправо (в сторону фашизма), и это признают и советские газеты, но, по их словам, все это временно, а, в конце концов, пролетарии восторжествуют. Необходимо отметить, что последние дни наши газеты отвлечены от иностранной политики расколом, происшедшим в РКП (Русск. Комм. партии). Слухи об этом циркулировали в публике и ранее, но они, конечно, старательно скрывались. Первой ласточкой послужило письмо Л. Троцкого в «Петрогр. правде» «Новый курс». Теперь... выяснилось, что в партии происходит серьезное разногласие, причем на правой стороне стоит Троцкий, а на левой Зиновьев, оба люди настойчивые, неподатливые, и до чего дойдет эта история, трудно предсказать. Выясняется также, что разногласие это на почве спора эсдеков с коммунистами и сопровождалось оно массовыми арестами правых членов партии.

* * *

Январь 1924 года. «Дискуссия» в партии не прекращается. «Дискуссия», по-видимому, кончилась победой Зиновьева... Победе Зиновьева очень помогла смерть Ленина, которой Зиновьев очень хорошо воспользовался. Число членов партии очень увеличилось. Хоронили «Ильича» весьма торжественно: на 5 минут остановилось всякое движение, заводские свистки действовали 15 минут. Тело Ленина забальзамировали и похоронили его на Красной площади около Кремля, где устроен специальный склеп, в котором температура должна поддерживаться постоянно на 0 градусов.

Петроград переименован в Ленинград. Масса учреждений и заводов переименованы в Ленинские и пр. пр.

Что Ленин лицо историческое – никто не сомневается, но оптимисты, хотя и немногочисленные, не унимаются. Теперь сплетничают, что могила Ленина залита нечистотами: могилу устраивали во время сильных морозов (до 25 град.), а потому грунт пришлось взрывать, эти взрывы разрушили фановые трубы. Думаю, что это сплетни. Но курилка – жив, по-моему, укрепляется. Газеты наши опять подняли головы и наполнены статьями победоносными.

У нас в «пчельнике», в нашей школе, большие перемены.

Прежнее начальство заменено коммунистами, которые изгоняют своих помощников, замещая их другими. Ввели экзамены «политграмоты».

* * *

4. 05.1924 года. Если судить по нашим газетам, то дела наши идут прекрасно: наше международное положение укрепляется, буржуазный мир гибнет, а торжество коммунизма не за горами. Если же послушать людей, вернувшихся из-за границы, которых хотя и мало, но встречаются, то оказывается совсем другое: старый мир еще жив и крепок, жизнь бьет ключом, коммунистов в Европе надо искать «днем с фонарем», наша финансовая политика торжественно проваливается, денег нет и дни советской власти сочтены!

...Ввиду усиливающегося террора, арестов и обысков я решаю прекратить мои мемуары и сдать эту последнюю тетрадь на хранение в быв. Музей Первого корпуса.

Если мне придет охота еще заниматься бумагомаранием, то я буду писать дневник, и конечно, в совершенно другом тоне, и искренности в нем не ищите.

В заключение повторяю: «Я просто обыватель. Политики я чужд. Мне нужен лишь старатель моих насущных нужд». А потому философии в моих мемуарах не найдете, а смотрите на них, как на правдивое описание переживаний обывателя. Конец, и Богу слава. Заканчиваю пожеланием, чтобы мои мемуары дошли бы (хотя бы) до моих внуков».

Итак, дорогой читатель, я познакомил тебя с выдержками из никогда не печатавшейся и никому не известной до сего времени рукописи дневника воспитателя многих поколений доблестного русского офицерства. Печатаю лишь несколько десятков страниц из тысячестраничной рукописи моего

двоюродного деда, я хотел бы заинтересовать нашу общественность суровыми и горькими свидетельствами очевидца «страшных лет России».

Этим я хотел бы исполнить не только свой гражданский долг перед теми, кому дорога история России, но и долг внука генерала Григорьева, директора Первого Петербургского кадетского корпуса. Напоминаю, что рукопись, находящаяся в архиве, называется «Дед – внукам». Я единственный внук, оставшийся после смертоносных черных вихрей великой смуты в истории России. Я выполнил свой долг перед моим дедом, который мужественно вел свою летопись-дневник, обращаясь ко мне из глубины прошедших лет с верой, что нам нужно будет знать правду о тех событиях нашей истории, свидетелем которых он был.

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО»

В царскосельских парках, овеянных поэзией Пушкина, мой отец с братьями катался на велосипеде рядом с царевичем Алексеем и сопровождающим его повсюду матросом с серьгой в ухе – Деревенько. Каждый мальчик мог поздороваться с наследником престола и принять участие в общих играх царскосельских детей. Позднее они видели, как около Лицейской арки под разнузданным солдатским конвоем царская семья колола и убирала лед на улицах, словно не замечая в кротости своей этого великого унижения. «Любите врагов ваших...» Но их враги были врагами Божьими. А разве заповедовал нам Христос любить врагов Божьих, детей «князя мира сего»?

Построенный на окраине Царского Села по идее Государя Николая II «Федоровский городок», дивный по своей архитектуре, с богатым храмом, должен был явить собой образец русского стиля и национального возрождения. Во время войны в «Федоровском городке» (Мать Божия Федоровская, как известно, фамильная икона царской семьи Романовых) был расположен госпиталь, где о раненых заботилась императрица, а санитаром служил Есенин.

Много лет спустя знаменитая в Париже певица – цыганка Валя Дмитриевич – рассказывала мне, что, будучи в «Федоровском городке», царь, посмотрев ее детские пляски и пение, пожаловал золотой и погладил по голове, чем она очень гордилась.

Мой дед по отцу, Федор Павлович Глазунов – тот самый почетный гражданин Царского Села, был управляющим петербургским отделением шоколадного концерна «Жорж Борман», и когда он умер, его молодая супруга Феодосия Федоровна Глазунова – моя бабушка – оставшись вдовой, воспитывала пятерых детей. У меня сохранились документы, свидетельствующие, что с декабря 1915 года «жена потомственного гражданина Феодосия Федоровна Глазунова... зачислена в практикантки в царскосельский лазарет Петроградского Дворянства; присутствовала на производившихся операциях», а затем состояла сестрой милосердия того же лазарета.

Она рассказывала мне, что род Глазуновых происходил из села Петровского Московской губернии. У моего деда Федора Павловича был брат иконописец. «Тоже странный, как ты, и непутевый, – добавляла она. – Иконы писал, правда, прекрасные. Очень был набожный. Во время гражданской войны он исчез, и никто не знает, где, когда и как закончился его земной путь».

Наш двухэтажный деревянный дом в Царском Селе, расположенный неподалеку от вокзала, принадлежавший моему деду и сгоревший во время войны, запомнился мне плющом на стенах и уютными, как в старых усадьбах, комнатами. Мамины родственники называли их «царскоселами». Еще особенное волнение вызвало здание лицея, где учился великий Пушкин.

В 1937 году страна отмечала юбилей «Солнца русской поэзии» – 100-летие гибели поэта. Не удалось сбросить его с борта «парохода современности».

Выходило много книг и открыток, посвященных творчеству русского национального гения. В ныне открытой уютной церкви, прихожанами которой были лицеисты, до войны совершались богослужения. Я помню колеблющийся свет лампад (их было много, и они были разноцветные); стоящую на коленях старушку с удивительно интеллигентным лицом, в скромном пальто и такой изношенной трогательной шляпке; запах ладана и дивное пение вечерней службы. Помню, что отец не крестился – стоял прямо с особым растроганным выражением лица. Выходя из храма, он сказал мне: «Мой отец, твой дедушка, когда я был таким же маленьким, возил меня в эту церковь». Будучи здесь много раз после войны, я с прискорбием смотрел на заколоченные двери храма и слушал, глядя в бронзовое лицо юноши Пушкина, сидящего на скамейке, шум листьев вековых лип царскосельского парка.

Особенно запомнилась мне прекрасная по архитектурному замыслу лестница Камероновой галереи, где на парапете могучая фигура Геракла смотрела на гладь озера, посередине которого высилась знаменитая Чесменская колонна, а на другом его берегу виднелись построенные в конце XVIII века готические домики. Какие благородные профили у бюстов римских императоров, стоящих между колонн галереи. Как уместно здесь в роскошных парках резиденции русских императоров напоминание о силе и мощи Римской империи, равнявшейся лишь одной пятой империи Российской, которую, надеюсь, мы навсегда потеряли.

Каким был славным для России XVIII век! Победа над непобедимыми турками – освобождение Крыма и исконно наших причерноморских земель. Возвращение белорусских и украинских территорий, захваченных Польшей... Слава Суворова, триумф военных побед России определили во многом моральный климат русского общества. Создание Царскосельского лицея Александром! – яркая страница в истории культурной и государственной жизни России.

Для нас образ Царского Села – это также и образ Пушкина, который, подытоживая свои лицейские впечатления, написал в «Евгении Онегине»:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

И я помню, как отец, чуть сгорбленный, долго в одиночестве смотрел на отраженную в глади озера Чесменскую колонну. О чем он думал? Меня поражал его отсутствующий взгляд. Потом мы возвращались на электричке в Ленинград в свою квартиру, окна которой выходили в полутемный колодец двора, и я не понимал тогда, почему он часто спит в костюме и почему сразу встает среди ночи, когда в наш гулкий колодец двора въезжала машина. Это были 30-е годы... Я помню, как отец с любовью говорил о неизвестном мне Питириме Сорокине, которого называл своим учителем, предлагавшим ему навсегда уехать из СССР. Теперь понимаю, что значило тогда имя великого социолога и экономиста Питирима Сорокина... Сегодня его труды изучаются во всем мире. В старой газете «Царскосельское Дело» № 12 от 22 марта 1913 года я нашел заметку об одном из вечеров в Царскосельском реальном училище императора Николая II, которое заканчивал мой отец.

«В реальном училище 14 марта состоялся вечер исторического кружка учеников училища. Актальный зал представлял собою редкое зрелище. По бокам портрета Государя Императора были установлены два красиво декорированных щита, на которых помещены портреты всех царствовавших государей Дома Романовых, а над ними слова: „21 февраля и 14 марта – два дня равно важных, равно священных и памятных русским“. Вечер начался рефератом ученика IV кл. С. Глазунова на тему „Смута в Московском государстве“. Реферат произвел впечатление. С. Глазунов обладает редким даром слова. Во время этого реферата, как и реферата ученика III кл. А. Тургиева, на экране показывались эпидеоскопические световые картины – новинка училища... Молодые историки были выслушаны с глубоким вниманием собравшимися. Вечер закончился народным гимном и кликами „Ура“, после чего последовал осмотр исторического музея училища».

На войну с немцами за Великую Россию отец пошел почти мальчиком, после окончания VII класса училища 1915 году, если не ошибаюсь, ему было 16 – 17 лет. Окопы, грязь, кровь, лишения...

«Помню, – вспоминал он, – когда началась революция, приехали агитаторы. Три человека – уже тогда в кожаных куртках. Призывали офицеров убивать, брататься с врагом, „штыки в землю“. Хмурый день, лужи, траншеи. Я вышел из землянки и думаю: если солдаты не построятся по команде – уйдут и пойдут брататься с нашими врагами. Такие случаи уже были. „Рота, стройся!“ Нехотя встали в строй. „Солдаты, – обращаюсь я, – пусть выйдет вперед тот, кто скажет, что я не ходил первым в атаку, не мерз с вами в окопах, не жил, как вы. Мы вместе честно дрались за Отечество!... За Великую Русь!“

Стал накрапывать холодный дождь. Меня непримиримо и злобно сверлят взглядами агитаторы – стоят чуть выше, ухмыляются. Молчат солдаты. Наконец, доносится уверенный голос из строя: «Мы с Вами, Ваше благородие!» Голос мой обрел властную силу правоты. «Спасибо, братцы!» И даю команду первой шеренге взять оружие на изготовку. Затем «Огонь по врагам России!»

Три агитатора, как мешки, сползли в хлюпкую грязь окопного бруствера. После этого мы не раз в тот день ходили в атаку».

С фронта отец приехал больным, позднее ему выдали «белый билет». Я помню, как он ночами метался по комнате, держась за живот, и глухо стонал от боли – язва.

Среди материалов о блестящем окончании реального училища Сергеем Глазуновым я нашел несколько документов, связанных с деятельностью моего отца в 30-е годы. Один из них – заявление в квалификационную комиссию Академии наук СССР заместителя начальника НИСа Экономики и Организации труда при Ленинградском управлении Народного комиссариата пищевой промышленности С.Ф.Глазунова от 10.X.35 г.:

«Прилагая при сем ходатайство Управления Упол. НКПП СССР, список научных работ и последнюю работу: „Очерки экономики труда“, прошу установить мне соответствующую степень без защиты диссертации.

Сообщаю, что «Очерки» просматривались академиком С. Г. Струмилиным и часть работы (глава II) – академиком С. И. Солнцевым. Оба названных лица дали весьма положительный отзыв о работе».

Другой документ – заявление отца начальнику НИСа от 1.XI.35 г. о сложении с себя полномочий заместителя начальника этого учреждения. В числе мотивов, коими обосновывалось столь необычное для того времени решение, приводится следующий, думаю, заслуживающий особого внимания:

«При последнем разговоре со мной Вы советовали „громко кричать о себе“ и, указывая на модность темы, предлагали в месячный срок выпустить книгу о стахановском движении. Сомневаясь в целесообразности Вашего предложения, я остаюсь при том убеждении, которому следовал все 15 лет своей работы: „кричать“ нужно делами, а не словами. На мой взгляд, очередная задача НИСа – не брошюры того типа, который Вы имели в виду, а дальнейшее медленное и упорное накопление авторитета посредством:

- а) дачи промышленности серьезных разработок по частным (а не общим) темам;
- б) медленный перевод руководящего кадра работников НИСа на более углубленную научную работу и ориентация этого кадра на разработку вопросов, необходимых не только предприятиям...»

В те годы отстаивать такую позицию было Гражданским подвигом – замахнуться на стахановское движение, призывая «кричать делами»!

Накануне войны отец читал лекции по истории экономики России в институте имени Энгельса и был доцентом географического факультета Ленинградского университета. Придя однажды домой, помню, сказал, что его просили сделать доклад о «науке побеждать» Суворова. «Странно, – комментировал он. – Десять лет назад за такой доклад с работы бы сняли и в Соловки отправили бы. Вспомнили о Суворове, когда Гитлер пол-Европы отхватил. Удивительно, что и Эйзенштейн после лжи „Броненосца „Потемкина“ получил социальный заказ на „Александра Невского“. Воображаю, какую агитку состряпает! Как они боятся немцев! И при этом столь трогательная дружба антиподов. Что общего между Сталиным и Гитлером?»

Показывая на меня глазами, мама, как всегда, сказала: «Сережа, смени, пожалуйста, тему. Она, должно быть, далека от Ильюши. Ему еще так мало лет... а их уже всех в пионеры записали и вожатых старшеклассников дали».

Дома, сидя под репродукцией «Сикстинской мадонны» в широкой раме из карельской березы, он исписывал огромное количество конспектов. Из его материалов мне запомнился огромный атлас начала XIX века «Новгородские пятины».

Чудом сохранились несколько листков, относящихся к этому периоду, исписанных его мелким, твердым почерком с далеко отставленными друг от друга буквами. Приведу этот текст дословно как документ тех довоенных лет, написанный историком и экономистом, доцентом ЛГУ.

«1939 г.

1. «Будущая партия» – должна себя объявить социалистической (нац. – социалистической рабочей партией).

2. Советская экономика – больная экономика – в терминах экономики ее объяснить нельзя, ее развитие и движение обусловлено внеэкономическими факторами.

3. Основное противоречие русской жизни в конце XIX и в первые десятилетия XX в. – противоречие между отсталыми формами сельского хозяйства и промышленного. Крестьянский вопрос дал 1905 год. Он же дал 1917-й. Крестьянский вопрос дает очереди в городе в 1939 г. В этом же вопросе «зарыта собака» всего дальнейшего нашего развития и наших судеб.

Объективно – два возможных пути: один – колхозный, другой – путь капиталистической эволюции сельского хозяйства.

Достаточно 20-минутного сообщения по радио, за которым стояла бы материальная сила, чтобы полностью устранить 1-й путь и дать победу второму.

Эта «легкость» (радио!) органически связана с громадной – почти непреодолимой? – трудностью организации какой бы то ни было борьбы за капиталистический путь развития – теперь, в наших условиях.

Объективно даны две возможности победы второго пути:

а) внутреннее «перерождение» ВКП (неудача Пятакова – Бухарина – Рыкова ничего не доказывает, ибо они пришли слишком рано, а тот, кто рано приходит, всегда в истории платит своей головой);

б) внешний толчок (поражение, которое очень возможно при всяком столкновении ввиду нашей крайней слабости).

И в том и в другом случае капитализм «в городе» должен вводиться на тормозах, ибо среди темной рабочей массы живет ряд «социалистических предрассудков».

1940 г.

Основное: кризис ВКП (б) и ее политики – наши основы:

- а) демокр. диктатура,

- б) аграрный переворот,
- в) Россия и нация. Частная собственность в пропасти.

Народ гибнет окончательно, когда начинает гибнуть семья. Современная семья – на грани гибели. Субъективно это выражается в том, что для все большего количества людей семья становится «адам». Объективно дело заключается в том, что нынешнее советское общество не может экономически содержать семью (даже при напряженной работе обоих членов семьи).

Нищенский уровень жизни толкает всех более или менее честных людей к тому, чтобы напрягать еще больше сил для излишней работы. Поскольку и излишняя работа не спасает, все, кто может, теми или иными способами воруют.

Вор – это самый почетный и самый обеспеченный член советского общества и, вместе с тем, – единственный обеспеченный член общества, не считая купленных властью Толстых, Дунаевских и прочих».

* * *

Старшие братья моего отца – Борис и Михаил Глазуновы каждый день вместе ездили на велосипедах из Царского Села в Петербургский университет. Но как впоследствии «разъехались» их судьбы! В детстве я плохо запомнил дядю Бориса. Он всегда держался замкнуто. Он был инженер-путеец и очень любил классическую музыку, сам играл на рояле. Закончив институт, Борис, как его младший брат Сергей – мой отец, ушел добровольцем в первую мировую войну на фронт воевать с немцами. После революции он жил с семьей в Царском Селе до того момента, когда оно было захвачено немецкими войсками. Захват Царского Села, переименованного к тому времени в город Пушкин, произошел стремительно. Проснулись горожане – а на улицах немецкие танки и патрули на мотоциклах, входящая колонна войск. Комендатура предложила всем явиться, встать на учет и начать работать, как раньше, по своим специальностям... В семье при мне не поднимали тему, где семья дяди Бори – его жена и две моих двоюродных сестры, Таня и Наташа, хотя я и знал, что он, как и многие тогда, отхлынул вместе с потоком отступавшей немецкой армии на запад. Гораздо позднее я узнал о трагической выдаче всех русских антикоммунистов Сталину, прочтя душераздирающее воспоминание Краснова – внука прекрасного писателя и предводителя казачества, автора глубокого романа «Ларго», повешенного после 1945 года среди прочих военных преступников в очень преклонном возрасте. Я пока не касаюсь здесь темы генерала Власова и РОА – русской освободительной армии, которая создавалась в свое время как воплощение «третьей силы» и ждет своих объективных историков: «Против Сталина и Гитлера – за Россию!»

Итак, родственники скрывали от меня судьбу дяди Бори. Но я о многом догадывался, знал и другое, что его брат – дядя Миша – пострадал «из-за Бориса». Будучи выдан союзниками, дядя Боря получил срок, который отбывал в Мордовии, а потом в Сибири. Его жена и дети скрылись, чтобы через много-много лет объявиться в Америке и Канаде. Когда дядю и других русских антикоммунистов «союзники» выдали на расправу Сталину (сколько книг и мемуаров написано об этом очередном предательстве англичан!), многие из них были расстреляны или отправлены в лагеря, хотя и не являлись «военными преступниками», как и тысячи «остарбайтеров», угнанных насильно на работу в Германию. Сегодня, когда волны ни во что не верящих, изголодавшихся, обманутых бывших советских людей уезжают добровольно на Запад – хотя ничто не угрожает их пребыванию на Родине, – многое должно измениться в оценках того, кто есть предатель и кто кого предает.

Вначале на нас был надет преступный намордник «пролетарского интернационализма», и русский народ – «первый среди равных» – стал нацией-донором для «меньших» социалистических братьев, исполнителем мнимого интернационального долга. Сегодня под колониальный дурман нищеты и разгул преступности русские стали вторым сортом, русскими беженцами в своей стране.

Если мы сегодня попустительствуем распродаже всего и вся, порой считая подлинное предательство интересов Родины доблестью; если невольничьи службы увозят за рубеж наш генофонд – красивых девушек, чтобы пополнять публичные дома Европы, Азии и Америки, – почему русская молодежь, молодые парни, у которых похищают их невест и подруг, молчат?

Где честь и достоинство русского человека? Кто виноват, что наша страна оказалась на краю бездны? «В мире все за всех виноваты», – сказал Ф.М.Достоевский. Но осознать свою вину – это значит покаяться и начать новую жизнь. «Не хлебом единым!» Пора бы выйти из оцепенения от пережитого кровавого дурмана, отринуть щупальцы пропагандистского спрута, отрешиться от безволия. Ведь воскликнул же Суворов когда-то перед штурмом неприступного Измаила: «Мы русские, какой восторг! Ура!» И Измаил пал перед волей и доблестью наших предков, строителей великого государства Российского.

Но, простите за отступление, возвращаюсь к судьбе братьев отца.

Когда началось дело «врачей-убийц», дядю Мишу Глазунова вызвали в спецотдел института онкологии, где он работал с академиком А. И. Серебровым. Он отказался подтвердить, лично зная, например, одного из обвиняемых, Вовси, и других коллег, что они были агентами западных разведок и готовили ряд покушений на партийное руководство. Тогда ему и напомнили про брата, высказав категорическое предположение, что он, очевидно, разделяет точку его зрения на проблемы коммунистической пролетарской диктатуры: «Борис Глазунов – матерый враг советской власти и вы, как брат, несете ответственность за его деяния». Дядя Миша твердо ответил, что он не несет на себе бремя политических грехов родного брата и его личная биография иная. «Я с самого начала войны был на фронте, а до войны и после нее все силы отдавал русской науке. На фронте меня приняли в партию...» «Вы уже не член партии», – ответили ему в спецотделе.

В 1955 году я приехал к бабушке Феодосии Федоровне Глазуновой и тете Тоне, жившим на Охте, напротив Александро-Невской лавры. Я увидел на крохотной кухне койку, аккуратно застеленную байковым одеялом. Из комнаты вышел седой человек со смуглым худым лицом. («Очень похож на Рахманинова с последнего фото», – мелькнуло в моей голове.) Это был вернувшийся из лагерей дядя Боря. Он крепко пожал мою руку и, обняв, произнес: «Вот ты какой большой стал, дорогой племянник. Наслышан о твоих успехах в Академии».

После традиционного обеда дядя Боря подошел ко мне, положил руку на плечо и, став вдруг до жути по взгляду похожим на моего отца и его младшего брата Сергея, сказал тихо, чтобы никто не слышал, но строго, словно ввинчивая в меня слова: «Запомни, я никогда ни одному русскому человеку не сделал зла. Я действительно ненавижу коммунистов... Я всегда работал как инженер – строил дороги в Царском Селе и даже там, за проволокой. Я прошел ад – пойми правильно брата твоего отца!»

А через несколько месяцев дядю Мишу вызвали в партбюро и сказали, что очень уважают его как ученого и «есть мнение» восстановить его в партии. Дядя Миша, не садясь на предложенный стул, ответил: «В партию, которая меня выгнала, я не возвращаюсь». Михаил Федорович Глазунов умер в звании академика медицины, оставив многие научные труды по патологической анатомии и проблемам рака. По его учебникам учились поколения молодых медиков. Его дивная коллекция русского искусства, куда входили работы Сомова, Кустодиева, Рериха, Головина, Бенуа, С. Колесникова и других, была завешана им Саратовскому музею на Волге.

Брат отца – академик Михаил Федорович Глазунов

Дядя Миша был человек глубокий, принципиальный и разносторонний. Сегодня, когда прошло столько времени, я вспоминаю, как приходил к нему раз в неделю, испытывая неизменное волнение от самой обстановки его овеванной любовью к России и русской живописи квартиры.

Картину Николая Константиновича Рериха «Гонец», столь любимую женой художника Еленой Ивановной, мой дядя приобрел у брата Рериха.

В библиотеке моего дяди я впервые открыл для себя творчество гениального финского художника Аксена Галлена. Сколько поэзии и чувства в этих северных сагах, как близко нам дыхание моря Варяжского. Аксен Галлен – художник, не пропагандируемый у нас, может быть оттого, что его очень любил и дружил с ним бывший флигель-адъютант Государя Николая II маршал Маннергейм. Его имя известно всем по советско-финской войне и линии Маннергейма.

Дядя Миша очень любил «Мир искусства», «Союз русских художников» и ревниво относился к моим успехам, разжигая во мне страсть к великой духовности русских художеств начала XX века. Он не любил передвижников. А я боготворил Сурикова, Репина и Васнецова. Он не спорил со мной.

Помню, как он напустился на меня за эскиз «Продают пирожки» (заданная в СХШ тема «по наблюдению»)! Он напомнил мне о Федотове, о мелкотравчатости милых передвижников и стыдил меня, что я занимаюсь такой ничтожной темой, делаю работу, в которой нет мысли, чувства и... наблюдения.

Доставалось мне и за пейзажи. «Ты не чувствуешь в пейзаже поэзии. Посмотри хотя бы Рылова, не говоря уже о великом Саврасове, Левитане, Колесникове и Горбатове, – донимал меня он. – Ну вот, был под Дугой, красота-то там какая – просторы, дороги вьются в лесах среди озер! А ты опять сарай, лешишко сзади какой-то. Где же северная Русь. Посмотри Рериха! Работать надо! Учиться! Север – это былина, а не левитановские нюни...»

От справедливо нанесенной обиды у меня дрожали губы. Прощаясь со мной, он обнял меня, и я, в отражении ампирического зеркала передней, увидел, как его лицо – обычно суровое и серьезное, когда он не смеялся своим милым и добрым смехом, отразило отцовскую нежность и любовь ко мне. Ему очень понравился мой этюд деда Матюшки из деревни Бетково («Старик с топором»). Он повесил его среди работ великих и любил, как мне говорили, дразнить гостей: «А это – угадайте кто?» Гости делали разные предположения, называли разные имена. «А вот и не угадали! – победоносно провозглашал дядя Миша. – Это мой племянничек, единственный наследник рода Глазуновых! Он еще учится, а дальше-то что будет!» – загадочно улыбался он.

Дядя Миша очень дружил с семьей Д. Кардовского, и дочь покойного художника часто бывала в доме – строгая, высокая и несколько чопорная (в моем восприятии «сехешотика» – ученика СХШ, средней художественной школы, а затем студента). Я с интересом наблюдал за ней: дочь самого Кардовского! Творчество этого художника я очень любил и люблю. Его иллюстрации к «Горю от ума» Грибоедова просто чудо – окно в мир ушедшей навеки России! Но выше него для меня Александр Бенуа с его гениальными «Медным всадником» и «Пиковой дамой». Вот где душа Петербурга! А сколько счастья, творческой радости дают журналы «Мир искусства», «Старые годы», «Золотое руно», «Аполлон», «Светильник», «Столица и усадьба»! Как страшно, что большинство современной художественной молодежи сегодня оторвано от этих корней и родников русского национального гения, его всесторонности, широты, глубины и высоких чувств!

Как свирепо и безжалостно занесли и ухнули топором, затопив кровью и погрузив в безвременье наши национальные светочи, нашу великую духовную нить культуры России, оплодотворившую Европу и Америку, особенно после «Русских сезонов» С. Дягилева!

Много лет прошло с тех пор, как умер мой дядя – Михаил Федорович Глазунов. Он не любил со мной говорить о медицинских проблемах: «Рисуй-ка получше, племянничек, о раке меня не спрашивай, – не твоего ума дело», – как-то, смеясь, сказал он. Потом, на минуту став серьезным, произнес: «Рак – это вирус». С особенным вниманием я прочел в «Большой медицинской энциклопедии» о значении личности дяди в медицинском мире и о его научных трудах, которые выпущены в 1971 году издательством «Медицина» под редакцией академика Н. А. Краевского. В аннотации профессора Д.Н.Головина читаю: «В книге представлены основные работы покойного академика АМН СССР М. Ф. Глазунова, посвященные общим и частным вопросам патологической анатомии опухолей человека. Эти работы имеют очень большое значение для теоретической разработки проблем клинической онкологии».

В предисловии «Жизнь и научное творчество М. Ф. Глазунова» говорится: «Михаил Федорович Глазунов родился 12 ноября 1896 года в Петербурге. Отец его работал бухгалтером. Детей было пятеро, и все разные, внутренне и внешне. Врачом стал только Михаил Федорович. После гимназии он поступил в Военно-медицинскую академию, которую окончил в 1919 году. Началась служба в Красной Армии в качестве полкового врача. С первых шагов врачебной деятельности Михаил Федорович остро ощутил необходимость проверки своих клинических диагнозов и результатов лечения. По своей инициативе он начал производить вскрытия, причем в трудных, неблагоприятных условиях Восточной Бухары. Секционным столом служила снятая с петель дверь. Многое оказалось неожиданным, непредвиденным. Он потянулся к науке, приступил к патологоморфологическому изучению малярии. Но сказывалось отсутствие того, что он в дальнейшем приобрел и что так высоко ценил, – профессиональной подготовки. В 1923 году Михаил Федорович командировался для усовершенствования в Военно-медицинскую академию, а с 1925 года стал работать на кафедре патологической анатомии и до 1941 года прошел путь от младшего до старшего преподавателя. В 1935 году Михаил Федорович становится доктором медицинских наук...

1939 год оказался знаменательным – виднейший и старейший онколог страны Н. Н. Петров пригласил Михаила Федоровича заведовать патоморфологическим отделением Ленинградского онкологического института. Это вполне совпало с его стремлениями, с его внутренней потребностью. Специфика онкологического материала потребовала особенно четкой организации всего производственного процесса. И Михаил Федорович организовал работу лаборатории так, что она до сего времени служит своего рода образцом, по роду и подобию которого строит свою работу целый ряд лабораторий. Онкологический институт стал центром всей дальнейшей научной деятельности Михаила Федоровича. С июня 1941 года Михаил Федорович – в действующей армии, вначале в качестве главного патологоанатома Северо-Западного фронта, а с осени 1942 года – главного патологоанатома Советской Армии. Новая для большинства патологоанатомов область – патология боевой травмы – требовала новых основ для ее изучения... По существу, все крупные исследования военных патологоанатомов, выполненные как в годы войны, так и в послевоенный период, основывались на его положениях.

В 1942 году Михаил Федорович был тяжело ранен, с 1945 года демобилизован по болезни. Он вернулся в Ленинградский онкологический институт и одновременно, с 1945 года до 1950 года, заведовал кафедрой патологической анатомии ГИДУВа им. С. М. Кирова. В 1946 году – Михаил Федорович избирается членом-корреспондентом АМН СССР, а с 1960 года – действительным членом.

11 ноября 1967 года Михаила Федоровича не стало.

...О Михаиле Федоровиче Глазунове писать и легко, и трудно. Легко потому, что плоды его научной деятельности реальны и ощутимы, известны и признаны. Трудно – ибо как человек и как ученый он был необычайно своеобразен и ярок. Его облик не укладывается в рамки схематизированных привычных определений».

И в заключение хотелось бы привести несколько строк из его некролога, опубликованного в журнале «Вопросы онкологии»:

«В кратком изложении невозможно перечислить все вопросы, которые были предметом исследований М. Ф. Глазунова. Им написано более 70 научных трудов, причем 25 из них опубликованы в различных иностранных медицинских журналах...

Ценнейший многолетний труд М. Ф. Глазунова, изложенный им в единственной в своем роде монографии «Опухоли яичников», изданной дважды, является сегодня библиографической редкостью. Эта книга пользуется заслуженной популярностью не только среди специалистов-онкогинекологов, но и широкой массы научных сотрудников и врачей.

Его авторитет в этих вопросах настолько велик, что когда во Всемирной Организации Здравоохранения назрела необходимость в организации специального Международного центра по изучению опухолей яичников, то выбор пал именно на М. Ф. Глазунова, который и возглавил этот центр, организованный на базе его лаборатории.

...М. Ф. Глазунов активно участвовал в подготовке кадров, под его руководством защищено около 20 кандидатских и докторских диссертаций...

Глубина научных интересов, огромные и разносторонние знания, строгая объективность в оценке научных данных, высокая требовательность к себе и ученикам, принципиальность при решении возникающих вопросов – характерные черты М. Ф. Глазунова. Советская наука понесла тяжелую утрату, лишилась крупного ученого, а сотрудники и друзья – прекрасного товарища, благороднейшего и любимого человека, память о котором сохранится на долгие, долгие годы».

Мир праху твоему, дорогой дядя Миша!

* * *

После смерти дяди Миши его жена Ксения Евгеньевна Глазунова передала мне конверт с моими письмами разных лет, сказав: «Тебя очень любил дядя Миша, очень гордился тобой и верил в тебя».

Я с грустью смотрел на опустевшую анфиладу комнат – пустые стены, пустые шкафы. Стояли картины, упакованные для отправки, согласно воле дяди, в Саратовский музей. На душе у меня была тоска. Я ощущал всем сердцем, как переворачивается еще одна страница моей жизни, уносятся в безжалостную Лету деяния и судьбы людей. Бывая в моем родном городе и проходя мимо Летнего сада, выходя на набережную Кутузова, я дохожу до дома номер 12, где жил Михаил Федорович Глазунов. Через державную мощь Невы смотрю на здание Военно-медицинской академии, где я несколько раз бывал у дяди. В сумеречном небе с криками носятся чайки, волны бьются о гранит набережной города святого Петра, и водяная пыль разбушевавшейся Невы обдаёт меня, словно слезами. Когда я перечитываю мои письма к дяде, я вспоминаю давние суровые дни, согретые его теплом и заботой. Последнее письмо из тех, которые я приведу здесь, написано моей женой Ниной Виноградовой-Бенуа в 1967 году, когда мы с ней уже жили в Москве.

«15 марта 1952 года

Дорогой дядя Миша!

Я очень хочу тебя поблагодарить за то, что ты даешь мне возможность учиться спокойно, не думая о халтуре, зарплате и т. п. вещах, которые бы меня дергали и направляли ход мыслей и занятий по другому руслу, что, может быть, еще более раздробило меня. Пусть это будет лишним стимулом мне работать с чувством большей ответственности перед самим собою, перед совестью, перед людьми. Может быть, из моей способности и разовьется что-нибудь хорошее, нужное всем – это одно и заставляет меня думать и принимать твою помощь, хоть я и самого низкого мнения о своих возможностях и способностях к порядку и надежности, столь нужным в искусстве.

Крепко целую тебя, твой И.

9 сентября 1955 года

Ты меня, очевидно, совсем забыл? А я – нет, помню... но ждал более интересных событий, о которых можно было написать тебе. Событий же не было, нет и сейчас, но Нина едет, и к этому времени, я думаю, что-нибудь произойдет.

Я в это лето решил работать только над темой моего диплома и посторонними вещами (пейзажи, просто портреты) не заниматься.

Рисовал солдат, старуху одну хорошую. Но главное – это то, что я видел.

Сибирь – это сказочный край, удивительный край! Могучий, дикий и русский. Я очарован им, людьми и всем, что вижу здесь.

Был в Хакасии – это Рерих, красота несказанная. Прямо слов нет.

Написал эскиз «Юность Чингиза» – это сердце Золотой орды. Приеду в первых числах октября и все расскажу.

Умирал от голода, но в 5 дней заработал 1500 рублей. Благодаря чему и живу с женой, а то приехал с двумястами рублей в незнакомые места – Красноярск.

Сделал копию (с репродукции «Ленин с детьми» – забыл имя художника). Здесь работу достать легко в сравнении с Ленинградом, где за 250 рублей высосут всю кровь. Копия вышла намного лучше оригинала – как я это установил, спроси Нину. В общем, пока больше в голове, чем на бумаге... Извини за письмо карандашом – чернил нет.

Я тебя помню и люблю. Целую крепко. Твой Илья...

Привет нижайший т. Ксене...»

А вот мое письмо после первой выставки в ЦДРИ. Получив после нее тройку за диплом и назначение в г. Иванове учителем черчения, я за ненадобностью в этом городе жил в Москве, борясь за существование под обстрелом официальной критики и властей, видевших во мне заклятого врага соцреализма. Об этом я напишу в специальной главе.

«17 февраля 1957 года

Дорогой дядя Миша!

Для меня твое холодное лаконичное письмо было большой радостью. Потому что я всегда тебя помню и люблю. Зная о твоей болезни, был в лице Нины у тебя и осведомлен о твоём состоянии.

Мне писать нечего – живу почти как питекантроп – все зависит от успеха охоты. Живу в пещере 6 кв. метров. Спим на полу. Это огромное счастье, что есть пещера. Воду носим с этажа ниже нас. Комнату дал один приятель – «пока живите». «Пока» длится 3 месяца.

Государство от меня отказалось – ни одного заказа, ни рубля. Живу охотой – портретами частных лиц и долгами. Хожу в чужом пиджаке. Пишу это сейчас потому, что хочу тебе нарисовать картину моей жизни...

На фронте я был бы генералом за выдержку и проведенные рейды в тыл врага. Но для меня важно другое, как и для каждого солдата, – хожу живой. Пока не умер.

Художники меня люто ненавидят. Раньше лазили с Ниной через 5-метровый забор в общежитие Университета. Спали там на полу. Потом сорвался с забора – было очень холодно и дул ветер – ходил 2 недели с повязкой, не мог даже рисовать. Теперь есть очень хорошая пещера. И несколько друзей...

Все, что я делаю, рубится начальством (плакаты, книги и т. п.) потому, что я Глазунов. (Меня 10 лет не принимали в Союз художников. Травля велась умело и продуманно. «Такого художника нет и не будет!» – сказали мне в Главизо Министерства культуры СССР. – И.Г.) Но я очень счастлив, все хорошо. Должны даже прописать на один год. Прошу тебя всем говорить, что я живу хорошо. В том числе Нининым родным.

Спасибо за воспоминание обо мне...

Любящий тебя Илья Глазунов.

Москва.

23 февраля 1967 года

Дорогой дядя Миша!

Я пишу тебе из Владивостока – завтра уезжаю во Вьетнам спецкором «Комсомольской правды».

Как твое здоровье, дорогой дядя Миша? Нина мне рассказала, что была у вас, что ты меня немножко помнишь. Я тебя никогда не забываю, всегда с любовью и благодарностью вспоминаю тебя. Без тебя я бы не стал художником. Ты сделал для меня очень много в жизни – и не думай, что это когда-нибудь можно забыть...

Читал ли ты журнал «Молодая гвардия» № 10 и 12 за 1965 год и № 2 и 6 за 1966 год?

В 10 номере есть о тебе (вернее, есть та маленькая часть, которую оставила редакция из-за сокращения). Мне так хочется тебя видеть, и я надеюсь, если ты не против этого, навестить тебя после возвращения из Вьетнама (где, по печати, сейчас очень бомбят).

Ехать 7 дней на судне, которое везет хлеб во Вьетнам. Плыть мимо Гонконга, может быть, пристанем туда. Верещагин – был всегда среди боя – почему бы и мне... не побывать в огне?

Нина говорила, что ты был в Москве. Мне бы хотелось тебе, моему «основоположнику», показать свои новые работы.

Сейчас «пробиваем» мою монографию на 100 репродукций, может быть, что и выйдет.

Четыре недели назад я стал членом Союза художников, а то жил как собака, всеми распинаемый и оплевываемый. Желаю тебе, мой дорогой дядя Миша, всего самого хорошего, здоровья, многие лета и надеюсь скоро (через месяц) видеть тебя.

Целую тебя и обнимаю. Твой Илюша.

1967 год

Дорогие тетя Ксенечка, Тонечка!

Извините за исчезновение, хоть и невольное. Дело в том, что мы все собираемся приехать к вам и каждый день откладываем. У Илюши после Лаоса намечалась поездка в Париж, приблизительно в январе по линии Комитета по культурным связям. В настоящее время неожиданно этот Комитет был ликвидирован, и потому приходится срочно заново готовить все бумаги уже через Союз журналистов. Все это очень хлопотно и отнимает массу времени. Илюша оправился после своего гриппа, а у меня все еще болят ноги... но надеюсь, обойдется.

Пишу так сумбурно, т. к. времени очень мало. У нас всегда люди и бесконечные дела. Чем Илюша становится известнее, тем шире охват и больше дел. За портрет короля он награжден орденом Вишну. Это высший орден королевства в области культуры. Премьер министр Лаоса Сувана Фума написал письмо Косыгину с выражением благодарности и восторга перед советским художником! Это, разумеется, первый случай за годы советской власти. Я вам посылаю фотографии с портрета короля и королевы. Пишите нам, ждем вестей и очень вас любим. Жаль, что на Новый год не увидимся. Приедем, все расскажем подробно.

Целую крепко. Ваша Нина».

Судьба брата отца – антикоммуниста Бориса Федоровича Глазунова

Много лет назад, будучи в Париже, на моей выставке я познакомился с человеком тяжелой и сложной судьбы, моим земляком – петербуржцем Николаем Николаевичем Рутченко, известном многочисленными статьями по русской истории и книгой «КПСС у власти», которую я прочел в Риме во время моей первой поездки на Запад по приглашению Джини Лоллобриджиды, Феллини и Де Сантиса, Лукино Висконти.

Во время нашего разговора за столиком в одном из ресторанчиков Сен-Жермен де Пре Рутченко вдруг неожиданно, смотря мне прямо в глаза, спросил:

– А какое отношение к Вам имеет Борис Федорович Глазунов?

– Как какое? Это мой дядя – брат отца, Сергея Федоровича.

Глаза Николая Николаевича радостно сверкнули.

– Дорогой Илюша, я хочу поздравить тебя, что у тебя такой дядя. Он был яростный антикоммунист и великий патриот России. Ты давеча восхищался книжкой Ивана Ильина, которую я тебе подарил: «О сопротивлении злу силою». Мы с твоим дядей, будучи на оккупированной немцами территории, издавали на газетной бумаге этот вдохновенный труд величайшего русского философа. Это тебе не Бердяев с его подлой доктриной, что коммунизм детерминирован русской историей. Я помню, как Ильина зачитывали буквально до дыр...

Теперь, когда творения Ивана Ильина возвращаются на родину, о его современных трагических прозрениях говорят по телевидению, пишут статьи. А нынче готовится к выходу десяти томное собрание его сочинений. Тогда в Париже я зачитывался великим русским философом.

Как он верно, смело и точно выражал наши мысли! Как современно!

Боясь, что не смогу провезти эту книгу через границу, я по ночам в своем номере дешевой гостиницы на рю Босано, от которой, впрочем, было недалеко до знаменитых Елисейских полей и Триумфальной арки, конспектировал то, что меня особенно поразило в этом подлинно христианском философском трактате, вызывающем в памяти активную позицию Христа Спасителя, изгонявшего торгующих из храма и говорившего: «Не мир, но меч принес я вам...»

«Напрасно было бы ссылаться здесь, в виде возражения, на заповеди Христа, учившего любить врагов и прощать обиды. Такая ссылка свидетельствовала бы только о недостаточной вдумчивости ссылающегося.

Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных врагов самого человека, его собственных ненавистников и гонителей, которым обиженный, естественно, может простить и не простить. Христос никогда не призывал любить врагов Божьих, благословлять тех, кто ненавидит и попирает все Божественное, содействовать кощунствующим совратителям, любовно сочувствовать одержимым растлителям душ, умиляться на них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не помешал их злодейству. Напротив, для таких людей, и даже для несравненно менее виновных. Он имел и огненное слово обличения... и угрозу суровым возмездием... и изгоняющий бич... и грядущие вечные муки».

Но вернемся к нашей беседе с Николаем Николаевичем Рутченко. Глядя на его нервное, исполненное напора мысли и всепожирающего огня бескомпромиссности, диктаторской воли лицо, я будто перенесся в довоенное Царское Село, в маленькую кухню на Большой Охте, где в последний раз видел дядю Борю.

– Расскажи мне, Ник-Ник, все, что ты знаешь о моем дяде, – попросил я.

Николай Николаевич отодвинул от себя чашку кофе, и, оглядев меня присущим только ему пристально рассматривающим взглядом, вдруг улыбнувшись (причем глаза его не меняли напряженного выражения), положил свою руку на мою и произнес:

– Ну что ж, изволь! Я сугубо доверительно расскажу тебе, что я знаю о Борисе Федоровиче Глазунове.

Весной 1942 года Борис Федорович состоял в качестве переводчика и делопроизводителя в одном из подразделений гатчинской комендатуры под непосредственным начальством латыша-офицера из Риги Павла Петровича Делле (насколько мне известно, до недавнего времени он был жив и обитал в США). Делле, весьма прорусски настроенный антикоммунист, православный, был женат на русской эмигрантке. Тогда же в команду Павла Делле прибыл из Риги Сергей Смирнов, сын известного водочного фабриканта, бывший осенью 1941 года русским бюргермейстером города Калинина. Он рассказал, что, будучи проездом в Смоленске, близко сошелся с представителями НТС Околовичем и Ганзюком. Смирнов привез также литературу, распространявшуюся НТС, в том числе брошюру Ивана Ильина «О сопротивлении злу силою». Примерно в июле 1942 года с участием Бориса Федоровича и Смирнова состоялось тайное совещание нескольких человек, собравшихся из Луги, Сиверской и Гатчины, на котором было принято решение создать подпольную организацию для борьбы как против коммунизма и Сталина, так и против Гитлера, имея целью освобождение России.

Помимо вербовки новых членов, эта организация занималась распечаткой на ротаторе программных материалов НТС, а также сокращенных текстов других изданий, в том числе брошюры Ильина.

Эта подпольная издательская деятельность лежала целиком на плечах Бориса Федоровича. А в самой организации он, будучи самым старшим, являлся как бы судьей чести...

Поздней осенью 1942 года при тайном содействии Павла Петровича Делле представитель организации Бориса Федоровича вошел в контакт с группой русских эмигрантов в Риге, связанных с НТС, после чего было принято решение о формальном слиянии с этой организацией.

Тогда же была установлена постоянная связь и с представителями НТС в Пскове и Гдове.

В конце 1942 года Борис Федорович и многие другие, входившие в его организацию, были арестованы гестаповцами по доносу из ее членов – бывшего студента Ленинградского института имени Лесгафта Вадима Добочевского, заподозрившего их в связи с советской разведкой. В ходе следствия и очных ставок, в том числе с Борисом Федоровичем, Добочевский покончил самоубийством, выбросившись из окна четвертого этажа. Бориса Федоровича спасло лишь вмешательство Павла Делле и офицера при штабе 18-й армии барона фон Клейста – родственника фельдмаршала. Вместе с ним из-под гестаповского ареста были освобождены и его друзья, сумевшие, как и он, скрыть во время допросов истинное назначение их организации. Только один из арестованных был отправлен в концлагерь.

Это дело было закончено в феврале 1943 года. О дальнейшей судьбе Бориса Федоровича сведений у меня нет...

Рассказав все это, Николай Николаевич задумался, словно присущая ему энергия на мгновение оставила его.

– Как важно было бы написать историю русской эмиграции, – заговорил он вновь. – Всякий раз, когда я навещаю кладбище Сен-Женевьев де Буа, я долго брожу по рядам бесконечно дорогих могил, многие из которых – как памятники русской истории. Ни один народ не перенес такой великой трагедии, такого великого исхода, как русский! Как все запутано и сложно! Как все искалечено и смещено! Я как историк, прошедший годы учебы на историческом факультете рядом с твоей Академией на Васильевском острове, все время ощущаю свой долг заниматься теми взрывными этапами русской истории, которые обожгли наши судьбы адским огнем. Я тебе говорил уже, что свое детство провел в Крыму. Мой отец был военным.

Кстати, моя крестная мать – жена генерала Брусилова. И я помню, как моя мать, протискиваясь сквозь толпу таких же несчастных русских женщин, хотела приблизиться к уводимому на расстрел отцу. Ты, конечно, знаешь об этой провокации кровавой Землячки и ее компании, когда они объявили, что всем офицерам надлежит явиться в комендатуру для регистрации. Я был ребенком, но помню, как будто это случилось вчера: колонна русских офицеров, окруженная могучим конвоем, двигалась к месту расстрела. Многие, увидев в толпе родных, кидали через головы конвоя снятые с головы фуражки – последнюю память. Я помню, как моя мать, неистово рыдая, прижимала к груди последнее, что у нее осталось от мужа, – выгоревшую на палящем солнце нашего русского Крыма офицерскую фуражку...

Николай Николаевич замолчал, но я навсегда запомнил выражение его лица: скорбное и непримиримое.

* * *

Я уверен, что самое страшное для человека – это потерять Родину. Мы знаем о великом библейском исходе, на памяти так свежа кровавая история многих миллионов русских беженцев... Бывая на Западе, я зарекался общаться с эмигрантами. Искусно натравливаемые друг на друга, одинокие, обездоленные, они представляют глубоко трагичное и часто безысходное явление. Особенно в Париже, где судьбы эмигрантов переплелись словно в змеином клубке. Все друг другу не доверяют. Властвует атмосфера неприязни, переходящей в ненависть. Но при этом встречается и самое трогательное – дружба, свойственная именно эмигрантам, которых в единичных случаях сближает личная привязанность на почве неутоленной тоски по далекой Родине, ставшей в лице СССР для них злой мачехой.

Я помню, как только приехал в Париж – а это была моя вторая поездка за рубеж, – в пасхальную ночь отправился в русский кафедральный собор на улице Дарю.

Испытывая жгучее одиночество, я с трепетом вступил под своды храма, который посещали в изгнании все великие русские люди – от Шалыпина до Рахманинова, от Бунина до Коровина... Я шел с большим волнением на встречу с обломками великой духовности России, с остатками недострелянных русских аристократов, славных воинов белой армии, так трагично проигравших свой бой за Россию. Словом, я ждал встречи с чем-то очень родным и близким.

Золото иконостаса, колеблющееся пламя свечей... Прекрасно и благоводохновенно звучит пасхальный хор, который раньше в Москве я слышал в записи на пластинке.

Стараясь не проявлять нескромность, я жадно впивался в лица прихожан, толпившихся в храме. Как они были не похожи на лица их братьев, живущих там, за «железным занавесом». Хотя у пожилых людей, особенно у женщин, отражалось такое же безысходное горе и вера. А вот лица помоложе – это дети первой волны беженцев. И, наконец – совсем молодые...

Я наслаждался благородством их выражения, а когда увидел в пламени свечи стоявшего вполоборота юношу, он мне показался похожим на юного князя Андрея Болконского или Петю Ростова.

...И вот я стоял рядом с ними в эту светлую пасхальную ночь, ночь Воскресения Христова. Я слушал, как молодые люди тихо говорили между собой. Прислушавшись, я чуть не заплакал: они говорили по-французски. Один из них оповещал другого, что у него сломалась машина, и просил заехать за ним утром...

Мою душу всегда наполняло особым чувством сознание того, что сейчас на необъятном просторе Земли все русские, все православные повторяют одни и те же слова молитвы и представляют собой великое единение. Чем достичь его, если отнять у нас Бога? Достижение единения в этом случае возможно, как писал Достоевский, только железной палкой. Я уже говорил о щемящем чувстве, возникающем у русских людей при посещении русского кладбища в Париже. Боже, сколько русские дали миру, когда сливки нации под ударами железного лома революции разлетелись по всей планете. Не помогли большинству эмигрантов-аристократов масонские связи, от которых сотрясалась Россия. Несмотря на масонскую принадлежность, многие работали шоферами такси, пребывали в нищете и унижении. Русская колония в Париже жила хуже всех. Но славилась среди французской полиции отсутствием преступности, как рассказывал мне граф Сергей Михайлович Толстой.

Позднее, как я уже говорил, я стал избегать разговоров с представителями эмиграции.

«Ну, как у вас там в Совдепии живетесь?» – спросит меня иной из «бывших». Ответишь – «плохо», тот думает: «Смело говорит, наверное, его так уполномочили». Отвечаешь на тот же вопрос, что «хорошо живем, не жалуемся» – другой вывод: «Ну, ясное дело, коммунистический агитатор».

Помню, как в одном из кафе меня все пытал очень милый интеллигентный человек известной «столбовой» дворянской фамилии. Когда кончились сигареты, я устремился к бару, где можно было купить все то же «Мальборо». В зеркале за спиной бармена отражался весь зал. И я увидел, как мой почтенный собеседник, который сам вызывал меня на мучительные разговоры, надев золотые очки, внимательно стал изучать оставленную мною на столе розовую пластиковую французскую зажигалку. Рассматривая ее с пристальным вниманием, очевидно, думал: «Интересно, это портативный магнитофон или в самом деле зажигалка?»

Вернувшись на свое место, я посмотрел своему собеседнику в глаза – он уже был без очков – и, не сдержав своего раздражения, протянул ему зажигалку, предлагая подарить на память о нашей встрече.

После секундного замешательства, слегка покраснев, этот пожилой, чуть ли не вдвое старше меня человек ответил: «Спасибо, я не курю».

Второй раз сцена была обратного свойства. Неподалеку от моей выставки в кафе на рю де Варенн мы сели за столик с Аркадием Петровичем Столыпиным. Читатель может себе представить, как я был взволнован. Я не знал тогда, что он был одним из основателей НТС (которого потом, как оказалось, оттесняли все дальше и дальше от руководства этой организацией «новые силы»). Но встреча с ним в любом случае была опасной для советского человека. Через пятнадцать минут за соседний столик, учащенно дыша, приземлились двое, стремглав заказав себе пиво. У них был вид настоящих французов. Но меня насторожило не то, что они, молча, прихлебывая янтарный напиток, демонстративно не смотрели

на нас, а то, что у одного из них узкий конец галстука был засунут в разрез рубашки на груди между пуговицами. Да, это наши советские, подсказал мне инстинкт самосохранения.

Я вынужден был прервать монолог Аркадия Петровича о сути и смысле Октябрьской революции, понимаемой им как погром России, организованный тайными силами, и на улице объяснить ему, с чем это связано. Он с улыбкой отреагировал: «Вы оттуда, Вам видней». «Они» шли за нами...

А через три дня один из советников посольства, придя на мою выставку, сообщил мне, что ее желает посетить приехавшая с дочерью в Париж Галина Брежнева.

Прощаясь, он задержал мою руку в своей и, оглянувшись, тихо сказал: «Мы не советуем Вам общаться с сыном Столыпина. Вы можете стать невыездным. Что, забыли о „столыпинских галстуках"? Прочитайте Ленина».

Я был готов ко всем возможным предупреждениям и потому, как мне показалось, без запинки ответил: «Художник должен общаться на своей выставке со всеми, кто к нему обращается с вопросами. Я буду с нетерпением ждать посещения Галины Брежневой. Как кстати, зовут ее дочь? „Вика", – невозмутимо, но почтительно ответил советник посольства.

Об этом посещении я расскажу позже. Вспомнил я это все потому, что мой друг принес мне доперестроечную газетную статью, где под орех разделялась черная злобная фигура Н.Н. Рутченко.

Моя жизнь научила меня никого ни о чем не спрашивать. Обычно подопытным кроликом становлюсь я, кому на разных уровнях задают разные вопросы. Но я не могу и не хочу выносить безапелляционные приговоры многим политикам, с которыми встречался в своей жизни. Могу только высказывать свои впечатления художника и человека. Эти психологические зарисовки многочисленны и не претендуют на объективность. Жизнь подарила мне много интересных незабываемых встреч – от А. А. Громыко до Шамира, от Лоллобриджиды до Фурцевой, от Б. Н. Ельцина до Марио дель Монако, от короля Швеции до короля Лаоса, от Феллини до Бондарчука и многих других сильных мира сего, не считая моих личных друзей, которых не знает читатель, но которые вошли в мою жизнь, неся мне веру в добро.

На моей палитре – оттенки всех цветов; судьба в причудливых сочетаниях смешивала порой несмешиваемые краски, творя из них реальную правду моей жизни и творчества.

Да простит читатель мне это признание, но, действительно, я люблю людей – ближних и дальних. Священник, художник, врач и учитель не может не любить людей – образ и подобие Божие. На меня с детства произвела неизгладимое впечатление притча о милосердном самаритянине. Эта притча о любви к ближнему.

В наше время, когда разгул партий, группировок и мафии все более и более дробит общество на «наших» и «не наших», хочу еще раз сказать, что всю мою жизнь питали три источника: Бог, совесть и любовь к России. О творчестве не говорю – это суть моей жизни.

Меня часто спрашивают: «Как Вы можете писать портреты столь разных по своей психологии и политическим устремлениям людей?» На одном дереве нет ни одного одинакового листочка. Нет одинаковой песчинки в океане пустыни. Бесчисленны формы снежинок, тающих на ладони. И все люди разные. Но каждый человек имеет свою бессмертную душу. Задача художника – почувствовать внутреннюю музыку души человека, его склонность к духовному полету и передать все это через конкретный, ему свойственный физический образ. Красота неотъемлема от добра. Зло не может нести красоту.

Нет ничего выше и интереснее соприкосновения с так непохожими друг на друга человеческими личностями и их неповторимыми характерами... Ну вот, снова не удержался от лирическо-жизненного отступления...

Мои родственники-петербуржцы

Мамина сестра Агнесса жила в Ботаническом саду – на Аптекарском острове, как его называли встарь. Старинный разросшийся парк, черные пруды с таинственными кувшинками. За Невкой, на том берегу, знаменитая по событиям Октябрьского переворота – Выборгская сторона. Муж тети Аси – Николай Николаевич Монтеверде – всю жизнь прожил, занимаясь выращиванием лекарственных растений. Вначале они жили в деревянном доме на берегу Невки. Если перейти улочку, заросшую старыми липами, то на набережной можно было увидеть дом Петра Аркадьевича Столыпина. В нем после жуткого взрыва были убиты 27 посетителей, ждавших в приемной великого реформатора России, и ранены малолетние дети Петра Аркадьевича. Когда из-под развалин выносили семилетнюю дочку Петра Аркадьевича с перебитыми ножками, она спрашивала: «Это все правда или приснилось?» Революционеры, говорят, принесли взрывчатку в киверах. По обоснованным предположениям она была иностранного происхождения. Петр Аркадьевич тогда остался жив и вскоре в Думе произнес знаменитые слова: «Не запугаете! Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» Убийство Столыпина – убийство России.

Приезжая в мой город, я часто захожу на то место, где был дом Столыпина, и теперь чудом среди хлама и мусора высится памятник – обелиск с уничтоженной мемориальной надписью, хотя, может быть, благодаря неизвестно как случившемуся исчезновению надписи, обелиск и сохранился.

Я смотрю на отражающие петербургское небо окна дома, где жила моя тетя. Вспоминаю ее рассказы, как каждое утро после Октябрьского переворота на рассвете приводили к пирсу (который я еще помню) колонны лучших людей города – священников, профессоров, гимназистов и, прежде всего, офицеров, – грузили на баржи и везли к Ладоге или в Финский залив, чтобы в определенном месте открыть люки и затопить эти баржи вместе с «прислужниками царского кровавого режима и эксплуататорами мирового капитала». На другом углу парка, в полукилометре от памятного пирса – мост на Выборгскую сторону, где Александр Блок видел идущую в пурге свою Незнакомку. Сколько раз в ночной петербургской мгле я смотрел на черные полыньи возле старого деревянного моста...

Во время моего детства Монтеверде жили уже в другом доме – в центре парка у роскошного здания правления Императорского Ботанического сада и одного из лучших в мире гербариев, построенных перед первой мировой войной и говорящих о природном богатстве и мощи Российской империи. Приходя каждый день в гости к Анюте, как называла сестру мама, я видел установленные на постаментах в кустах у фонтанов перед фасадом здания и входа в БИН – Ботанический институт (так стали называть Ботанический Императорский сад) – две огромные мраморные сидящие фигуры Ленина и Сталина. Много лет спустя я видел, как кран, накинув цепь на шею «отца народов», демонтировал памятник.

Кстати, музей Ботанического сада был основан отцом моего дяди Николаем Августинovichем Монтеверде – ботаником, умершим в 1937 году. Многим людям, интересующимся лекарственными растениями, известны его капитальные труды на эту тему. О Николае Августинovichе Монтеверде можно прочесть в книгах «Русские ботаники (ботаники России – СССР)». Биографо-библиографический словарь. М., 1952 и «Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад за 200 лет его существования (1713—1913)». Петроград, 1913—1915. Не занимая внимания читателя спецификой научной работы, открытий, приведу оценки лишь одного из главных результатов его деятельности, данные в этих изданиях. «Огромное количество труда и энергии Николай Августинovich положил на создание и организацию в Ботаническом саду музея различных растительных объектов. Музей этот в настоящее время представляет солидное учреждение, первое в России по богатству и ценности собранных в нем коллекций; он является неисчерпаемым источником, откуда русские школы, от низших до высших, черпают музейные образцы всевозможных экзотических растений, а ученые находят материал для научных работ анатомического характера». «Монтеверде вложил много труда и энергии в создание музея Ботанического сада, который превратил в одно из лучших учреждений аналогичного типа в мире».

Сын Николая Августинovichа – Николай Николаевич – стал мужем сестры моей матери Агнессы Флуг. А корни этой родственной ветви идут от Августина Монтеверде – архитектора, приглашенного из Испании Императором Николаем I.

Уже нет того двухэтажного домика, разобранного на дрова во время войны, где жила тетя Ася. Я помню высокие потолки, обеденный стол красного дерева, ампирную люстру, очень много фарфоровых фигурок, которые собирала тетя, а над письменным столом – гравюры и восхищавший меня карандашный рисунок Ефима Волкова: дорога, склоненные ветром деревья, телега с одиноким возничим.

Каждый раз, придя в гости, я просматривал русские сказки с гениальными иллюстрациями Ивана Билибина.

Особенное впечатление производила на меня сказка о Бабе-Яге, она пронизывала ужасом темного леса, воплощением которого сама являлась. А всадники ночи! Однажды дядя показал мне кастет, он был очень тяжелый, из бронзы, и рассказал такую историю: «Я был молодой и держал его, возвращаясь по парку домой, в кармане. После революции начались дикие грабежи и обыски. Когда однажды ночью пришли с обыском, я с трудом успел выбросить наиболее опасный для хранения пистолет за окно, там кусты сирени и густая трава.

Как-то ночью проснулся от легкого скрипа входной двери. Успел заметить, включив свет, просунутую в дверную щель руку, которая хотела снять страховочную цепочку. Успел навалиться на дверь, прижать руку. Раздался топот убегающих людей. Я тихо освободил прижатую руку, чтобы ее хозяин тоже смог убежать. Каков был мой ужас, когда увидел, что обагренная кровью кисть упала на коврик передней. Видимо, грабители, боясь, что один из них попадется и всех выдаст, решили пожертвовать защемленной рукой сотоварища, а самого утащили с собой».

В Ботаническом саду многие посетители помнят дом с колоннами – точь-в-точь, как на картине Поленова «Бабушкин сад». Не так давно его подожгли – теперь дирекция БИН строит здание заново из кирпича, сохраняя старую планировку и внешний фасад. Образ Ботанического сада, с его вековыми старыми деревьями, густыми аллеями в рефlekсах солнечной игры, дикивинными кустами, привезенными из разных концов света, притягивали к себе своей поэтичностью многие поколения русских художников. Жуковский, Репин, многие другие художники любили гулять под шумящими сводами могучих деревьев. Я

помню в детстве виденный мною огромный дуб, по преданию, посаженный Петром Великим. Уже после войны могучий богатырь был сломлен ураганным ветром, и теперь кроме оранжерей и грустных прудов, заросших травой, оставался только один свидетель давно ушедшей жизни – тот старый деревянный дом с колоннами, который до революции, как говорил когда-то дядя, принадлежал его отцу – Николаю Августиновичу Монтеверде.

* * *

Мужем второй сестры матери, Елизаветы (Лили), был профессор Ленинградской консерватории Рудольф Иванович Мервольф, выходец из Германии, в жилах которого текла и еврейская кровь. Он не забывал немецкого языка, и в доме всегда звучала немецкая речь. В начале войны его даже отвели в милицию, решив, что, может быть, он – немецкий шпион. Тетя Лилия, помню, цыкала: «Рудя, говори по-русски, а то опять схватят». Р.И. Мервольф учился в Петербургской консерватории у А. К. Глазунова. Очень гордился этим.

Он был самым богатым родственником, потому что дружил с Дунаевским и мог за ночь осуществить заказанную им оркестровку произведений. Мервольфы жили на улице Бескова в доме 17 напротив Ситного рынка, где произошла некогда гражданская казнь Чернышевского. «Кровавый царизм» позволил себе за его труды, столь ценимые, в частности Марксом и Лениным (как известно, Маркс даже хотел изучать русский, чтобы прочесть их), всего лишь унижительно сломать над его головой шпагу и отправить в дальнюю благословенную провинцию. Затем его пошлейший и примитивнейший тезис о том, что «прекрасное есть жизнь», был взят на вооружение идеологами социалистического реализма, которые при этом боялись правды жизни как огня. Чернышевский считал, что в «Золотом» веке люди будут жить в домах из алюминия и стекла. Жаль, что он не дожил до своего возможного вселения в квартиру на Калининском проспекте в Москве. Как бы он ответил тогда на вопрос: «Что делать?»

Я очень любил моих двоюродных сестер – детей Мервольфов – Аллу и Нину, у которых после освобождения Ленинграда от блокады мне довелось прожить годы юности и учебы в Академии художеств. До войны мы жили вместе на даче под Лугой. Шумящие леса, бескрайние просторы и синие озера, оставшиеся в памяти деревни Кут, Мерёво, Бетково... Мой двоюродный брат – Дима Мервольф – был любителем джаза, который я сам никогда не любил. В начале войны Диму сразу же забрали в армию, и он погиб на острове Эзель, когда море горело, и Ад пришел на землю. Тетя и дядя умерли от голода в жуткую блокаду Ленинграда, о которой я расскажу в следующей главе.

«И горе, братия, тогда было...»

ВОЙНА

22 июня 1941 года

Мы играли в войну у глухой стены на задворках, среди дров, битого кирпича и сохнувшего белья, развеваемого ветром. Часть из нас была белыми, но большинство – красными, которые теснили белых, несмотря на их бешеное сопротивление. У забора мы «оглянулись и увидели на перекрестке огромную толпу. „Задавили!“ – крикнул кто-то из ребят, и мы стали перелезать через забор. Толпа была очень большая. В слепящих лучах солнца люди стояли напряженной и молчаливой стеной. Мы никогда не видели такой толпы. Из репродуктора неслись слова: „Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас“. Кто-то уже плакал. Подходили и подъезжали все новые и новые люди. Скоро вся улица застыла в немом молчании.

Это было 22 июня 1941 года. На следующий день все стало новым: лица людей, веселая до боли музыка по радио, солнце и голубое безоблачное небо.

Родители, несмотря на объявление войны, решили отвезти меня на дачу под станцию Вырицу, находящуюся ближе к Ленинграду, чем полюбившаяся нам за долгие годы сказочно красивая Луга. Если будут бомбежки города – отсидимся в Вырице; если быстрая победа – ближе возвращаться домой.

Тогда никто не думал, что в короткие сроки немцы захватят пол-России, подойдут к Москве и окружат стальным кольцом блокады Ленинград. Многие были уверены, что доблестная Красная Армия сумеет защитить «завоевания Октября» и счастливую жизнь нового советского человека. Довоенная пропаганда так громко трубила о военной мощи передового социалистического общества, о единстве партии и народа, о нашем гениальном вожде – товарище Сталине, который все знает наперед.

Как известно, первые же недели войны показали реальную расстановку сил: мощь германской национал-социалистской державы и полный провал первого в мире рабоче-крестьянского государства.

Я помню разговоры об одной винтовке образца 1914 год, выдаваемой на десять ополченцев – студентов Ленинградского университета, о бездарности политруков, о нежелании народа умирать за идеи Маркса и Ленина, за кровавый режим репрессий и геноцида. И вскоре Сталину ничего не оставалось делать, как обратиться к народу и назвать нас, как учили его в семинарии, «братьями и сестрами». Как мы помним, он призвал тогда советский народ вспомнить о своих великих предках, имена которых не вспоминались ранее при диктатуре «пролетариев, не имеющих отечества». Его политический опыт демагогии и реальная политика Гитлера, мечтающего разбить завоеванную Россию на «суверенные государства», – что достигнуто сегодня без войны и другими силами – помогли коммунистам мобилизовать народы России и бросить их на сокрушение немецкого национал-социализма и итало-испанского фашизма.

Итак, войне между коммунизмом и его антиподами был придан характер Отечественной войны, апелляция к патриотизму почти обескровленного геноцидом русского народа сыграла решающую роль в ее исходе. Во многих местах немцев встречали с цветами, ошибочно думая, что они освободители от террора большевизма, а не новые завоеватели просторов Великой России... Но нам никогда не помогали и не помогут.

Вырица^[1]

Прошу прощения у читателей за это невольное отступление от повествования и возвращаюсь снова к первым дням войны.

В Вырице, куда мы поехали семьей, дыхание войны ощущалось только по тому, как люди в избах напряженно слушали радио. Все так же грустили над быстрой и узкой рекой могучие ели и березы, которыми заросли берега. Отец рассказывал, что в этих местах была дача знаменитого русского философа и писателя В.Розанова, который и умер здесь в страшные годы после революции. По радио ежедневно сообщались сводки об оставленных нашими войсками городах, из которых явствовало, что немцы стремительно движутся на восток.

Прошло несколько долгих недель, и однажды, проснувшись утром, мы увидели на дороге гонимые ветром листовки. Запомнился на одной из них рисунок – карикатура, изображающая, как красноармейцы бьют ногами корчащегося на земле носатого комиссара, и надпись под ней: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича»; на другой – фотография: сын Сталина Яков между двумя немецкими офицерами и подпись: «Сын Сталина с нами». Запомнилась и еще одна листовка, призывающая население встречать своих освободителей от «жидо-масонской оккупации кровавых большевиков». Мать схватила меня за руку: «Не смей собирать их, кто-нибудь увидит». Сын хозяйки, у которой мы жили, выкопал яму приблизительно 3х3 метра, закрыл ее сверху досками и засыпал землей. Это было первое бомбоубежище, которое я увидел в своей жизни. Поздно вечером за рекой мы увидели зарево – где-то что-то горело. Вскоре стала слышна далекая орудийная канонада. Сын хозяйки, крепкий жилистый парень, который почему-то никогда не снимал кепку, ходил в майке и галифе, прятался в погребе, ожидая прихода немцев и не желая идти в Красную Армию. Скоро все власти – гражданские и военные – исчезли. В поселке воцарилась какая-то странная и гнетущая тишина. Из домиков, спрятанных за стеной могучих елей, никто не выходил. Может быть, потому, что большинство людей уже уехало в город.

Немцы совсем рядом – в деревне Утица, что за рекой, как сообщила наша встревоженная хозяйка. Я запомнил это название – Утица, потому что на карте сражения при Бородино тоже значилась деревня Утица, которая, если не ошибаюсь, была занята войсками Мюрата.

Когда летели на бомбежку немецкие самолеты, мы прятались в приготовленное бомбоубежище. Сидели в нем однажды несколько часов, когда немцы бомбили станцию Вырица.

«Я тебе раньше не говорила этого, – сказала мне моя мать, – но помни, что ты крещен и ты православный». Однажды мимо дома, где мы жили, по пустынной лесной улице прошли три человека в штатской одежде, но с военной выправкой. «Вот они и появились, – сказал отец. – Разведчики».

Ранним утром следующего дня отец, мать и я, попрощавшись с хозяйкой, вышли из дома. «Храни вас Господь», – напутствовала она. Ее сын, уже никого не боясь, пил чай, равнодушно смотря на нас. Мы шли к разбитой бомбами станции, чтобы оттуда по шоссе дойти до следующей, надеясь попасть на ленинградский пригородный поезд. Ручейками стекались люди на большую дорогу. По ее сторонам – знакомые дома поселка. Зияли разбитые, разграбленные окна магазинов. Людей становилось все больше и больше. Они шли в клубах пыли, тревожно смотря на небо, когда слышался шум моторов.

В памяти осталась первая бомбежка. Мама и я лежим на земле, а над нами хищными птицами кружат чужие самолеты. Слышен нарастающий змеиный свист летящих бомб и рев самолетов, идущих в пике. Рядом полотно железной дороги, а еще дальше – станция, которую они старались разбомбить.

Воздух наполнен каким-то звоном, тяжестью, каждое мгновение несет смерть. Рыжая собака, звеня цепью, прячется в конуру.

Наконец «он» улетает. Дымится земля, развороченные рельсы причудливо изогнуты, словно они не из железа, а из мягкого теста. На дно свежих воронок струйками осыпается песок, стволы сосен изранены

осколками – следы смолы еще не успели выступить, как и слезы на лицах людей. Я смотрю на осколок, лежащий в пыли, и силюсь вспомнить, что он мне напоминает. Кремневые наконечники стрел доисторического человека, изображенные в учебнике истории? Люди и тогда убивали друг друга. Огромно, как вселенская катастрофа, грозное небо. Под ним, поднимая пыль, бесконечным потоком идут люди вперемешку со стадами коров и овец. Коровы мычат, овцы блеют, люди стонут, повозки скрипят.

Пыль, жара, горе. Дети серьезны и молчаливы. Кричат и плачут только грудные. Никогда не забуду наших солдат 1941 года. Спустя много лет в рязанском музее я видел древнее изображение крылатого воина – архангела Михаила, которое заставило меня вспомнить первые дни войны. С деревянной доски на меня смотрел опаленный солнцем и ветром русский солдат с синими, как прорывы весенних небес, глазами, смотрел гневно, строго и смело. Его взор чист и бесстрашен. А под ногами родная земля. Кто вдохновил тебя, безымянный русский художник, на создание этого героического образа? Может быть, ты так же шел в толпе беженцев, и тоже была пыль, жара и горе? Тебя поразила на всю жизнь мужественная красота опаленного войной и солнцем солдатского лица? Или это был твой сын, умерший за землю русскую? Или брат, принесший победу через кровь и муки? А может быть, ты сам сражался в жарких сечах и остался живым? И запечатлел в едином образе силу и отвагу своего поколения?

Мы шли и шли, затерянные среди тысяч и тысяч таких же людей. Беженцы несли самые неожиданные предметы. Я нес в рюкзаке Наполеона, маленькую фарфоровую скульптурку, которую мне подарили недавно в день моего одиннадцатилетия. Поля мы проходили, испытывая судьбу: среди них нельзя укрыться от низко летящих над землей немецких самолетов, расстреливающих на бреющем полете беженцев, солдат, машины, скот... Единственным укрытием были многочисленные воронки от бомб. Пройдя многие километры пешком, мы успели к последнему поезду, идущему в Ленинград. Он шел уже в «мертвой» зоне, куда с часу на час должен был прийти враг. Рядом с домом, где мы обычно снимали дачу, повсюду были вырыты землянки, закиданные сверху листьями, землей и хламом. При первых же звуках все бросались в них. Многие уже разбирались в шуме мотора – это «мессер», а вот наш «ястребок».

Поезд, на котором мы ехали, был последним, уходящим из «ничейной» зоны с брошенными заколоченными домами, притихшими и безлюдными в ожидании врага; с убитыми на развороченных взрывах дорогах; с детскими куклами, втоптаннами в грязь и пыль среди изувеченных грузовиков. Солдаты занимали половину вагона, у них на всех был один пулемет, точь-в-точь как в кинофильме «Чапаев». В случае обстрела поезда было ведено лечиться на пол, а если поезд остановится – бежать под насыпь или заползть под вагоны. Проезжали родное до боли Детское (Царское – И.Г.) село. Солдаты, торопливо выходя из вагона, строились на перроне. Кричал плакат: «Родина-мать зовет!» Пассажиры продолжали рассказывать ужасы о вредителях, об обстрелах и убитых детях. Когда сложенная плотно ладонь плашмя шла вниз, было件нятно, что человек рассказывает о бомбежке. Моя мать, думая, что я сплю, тихо спрашивала у соседа: если она накроет меня своим телом» дойдет ли через нее пуля до меня или нет? Ее утешили: «Очевидно, не достанет!» Отец курил и смотрел в небо, затянутое тучами и дымом.

Враг у ворот Ленинграда

Ленинград неузнаваем. Улицы перегородились баррикадами, траншеями. Дома раскрашены пятнами, чтобы с воздуха их можно было принять за деревья. В парках стоят зенитные пушки, нацеленные в небо. Витрины заколачивают досками и засыпают песком. Окна заклеены белыми крестами бумажных полос. Очереди, очереди, очереди...

Черный дым горящих продовольственных складов застлал свинцовое небо. «Бадаевские склады горят, теперь конец – голод!» – шептали в очереди женщины.

Люди несут аэролаты. Медный всадник засыпан песком и заколочен досками... В парадных дежурят жильцы с красными повязками на руках. Всюду патрули.

Вечером дежурные осматривают, у всех ли «затемнение», не видно ли где в окнах предательской полоски света. Говорят, что на окраинах города патруль, увидев свет, стреляет по окнам без предупреждения. Где-то на Петроградской, рядом с нами, поймали шпиона, дававшего сигналы ракетами с чердака дома. Всех от старца до мала обучают тушить «зажигалки», на крышах постоянное дежурство жильцов, организованных в команды МПВО.

Во время первой мировой войны мой отец, как я уже писал, после училища ушел на фронт добровольцем. В эту войну он глубоко переживал за свой «белый билет». Военкомат признал его непригодным. Он, как и мать, решил ни в коем случае не уезжать из Ленинграда, несмотря на то, что нам все советовали эвакуироваться в Среднюю Азию. Мы с отцом, как и в мирное время, изредка заходим в наш любимый букинистический магазин на углу Большого и Введенской. Там было все как до войны. Сосредоточенные лица заметно поредевших книголюбов, шуршание старых пожелтевших страниц и всюду только что вышедшая из печати книга «Большие надежды» Диккенса. Говорят, что весь тираж остался в городе – вывозить некуда, город окружен, немцы совсем близко. На обложке маленький мальчик, держась за руку пожилого мужчины, смотрит на отходящий вдаль корабль. Паруса надул ветер. Кто-то уплывает навсегда и далеко...

Все ближе подкрадываются голод, горе и смерть. Скоро зима. Темнее и длиннее ночи, небо усыпано мириадами звезд, непроглядную тьму осенней холодной ночи время от времени разрезает длинный нож прожектора, ищущего вражеские самолеты. Все меньше народу на улице. Люди даже дома не снимают зимних пальто. Окна занавешены старыми одеялами. Тревоги, тревоги, тревоги... Сирена жутко воет в тесном дворе нашего дома. Все мчатся в бомбоубежище. Мы решили не прятаться – говорят, все равно бесполезно в случае прямого попадания бомбы. А бывает, что зальет подвалы водой, и заживо погребенные люди тонут под развалинами дома. Сидим в узкой передней, куда не долетят стекла, если взрывная волна ударит по ним. Все ближе и ближе ухают бомбы. Качается и гаснет лампа. Дядя Кока после бомбежки всегда шел туда, где упала бомба. Я однажды пошел с ним – бомба попала в соседний с нами дом. Дядя суеился среди плачущих, стонущих и мечущихся в дыму людей, помогая санитарам и команде МПВО. Проходя мимо, он указал мне на лежащую среди осколков стекла и кирпича обугленную книгу. Ветер перелистывал ее страницы. На черном от взрыва снегу, равнодушная к тому страшному, что было вокруг, лежала счастливая обнаженная, ждущая ласк Даная Тициана...

Немцы совсем близко. Линия фронта проходит по окраинам города, сжимая его железным кольцом блокады. По радио чересчур спокойный голос диктора, выдавая свое волнение, читает обращение к ленинградцам: «Враг ломится в ворота Ленинграда! Передаем обращение...»

Голод

Близится новый, 1942 год. Иногда к нам приходит из далекого острова детства – Ботанического сада – мамина сестра, тетя Ася, долго и неподвижно сидит, отдыхая после дороги от Аптекарского острова до Большого проспекта Петроградской стороны. Муж ее при смерти, ей часто снится еда, роскошные столы, ломящиеся от яств, издающих аромат только что зажаренной дичи, пирогов, горячего кофе. Она берет тарелки в руки и спешит к мужу, протягивая ему дымящуюся еду, и... просыпается. На улице морозное солнце. А у нас всегда темно – надо много сил, чтобы на ночь занавесить окно, утром снять с него одеяло... Решили не снимать вовсе, да и дует без одеяла сильнее, так и живем в темноте, как в пещере. Изредка топим маленькую «буржуйку», оставшуюся еще со времен гражданской войны. Воды нет, все замерзло, мы пьем растопленный снег.

В квадрате двора, если поднять голову (а это требует так много энергии!), видно морозное синее небо. Возвращаясь в нашу пещеру, набрав кастрюлю снега. Мама смотрит в потолок неподвижно и страшно. Холодея, спрашиваю, глядя в ее открытые неподвижные глаза: «Ты спишь?» Ее глаза оживают, она чуть слышно отвечает: «Не бойся, я не умерла – я думаю о тебе, что с тобой будет без меня, тебе ведь только одиннадцать лет».

Голод вначале обостряет восприятие жизни. Голова ясная, но очень слабая. Полузабытье. Иногда в ушах звон. Удивительная легкость перехода из одного состояния в другое. Оживают и материализуются образы прочитанных книг, увиденных людей, событий. Теперь вовсе не хочется есть. Состояние постепенно становится сходным с наркотическим оцепенением. Временами теряешь сознание... Как долго тянется время! Слышна близкая канонада. Иногда взрывы совсем рядом. Потом удаляются. Будто кто-то ходит по городу и ударяет палкой по крышам. Смерть замораживает нас своим холодным дыханием... А вот и новый, 1942 год!

Милая мама! Даже сейчас, когда для всех было мучением и подвигом дойти до магазина в нашем же доме (многие не вернулись из этого путешествия), где давали по карточкам по 125 граммов хлеба, мама решила сделать мне, как всегда, елку.

Никогда не забуду эту елку 1942 года! Ветка елки была воткнута в старую бутылку из-под молока, завернутую в белый лоскуток. Висело несколько старых довоенных игрушек. Нашли случайно одну свечку, завалившуюся на дно коробки, разрезали ее на четыре части. Закутанные в платки, шарфы, опираясь на палки, из соседних комнат медленно пришли неузнаваемые родственники – как будто они явились на новогодний маскарад, надев жуткие маски... Зажгли свечки... На минуту наступила тишина, нарушаемая легким потрескиванием крохотных огоньков... И вдруг все заплакали. Первая – мама. Все смотрели на слабо освещенную огарками елочную ветку, на вершине которой красовалась звезда. А слезы, отражая огни свечей, текли и текли... Это была последняя минута, когда мы все были вместе.

Все страшные дни Ленинградской блокады неотступно и пугающе-ясно, словно это было вчера, стоят непреходящим кошмаром в моей памяти. Много я не помню из-за состояния голодных обмороков небытия. Первым в нашей квартире умер мой дядя Константин Константинович Флуг. Помню, был январь, я открыл дверь в его комнату и видел пустую постель, закиданную тряпьем. Горела «буржуйка». В пальто с вылезшим мехом (хорошее поменяли на хлеб), освещенная пламенем догорающих ножек стула из красного дерева, ко мне повернула голову его жена – Инна Мальвини. Оглядев их маленькую комнату, со все теми же китайскими рукописями на столе, и встретившись со взглядом с портрета Ван Дейка, я спросил: «А где же дядя Кока?» Бесстрастно разгребая отломанной ножкой стула угли в печурке, труба которой выходила в топку старой печи в углу комнаты, жена дяди тихо сказала, глядя на красные, в седом пепле сгоревших книг угли: «Он умер, и его утром увезли на Серафимовское». В моей памяти пронеслись

мгновенные обрывки образов довоенной жизни, когда мы с дядей Кокой, одетым в его старый, горчичного цвета макинтош, который он носил с выправкой белого офицера, сидели на берегу Карповки, тогда еще не закованной в гранит, недалеко от стен оскверненного храма, где был похоронен Иоанн Кронштадтский. Все та же Петроградская любимая сторона. У берега все дно реки поросло водорослями. Под водой они оказались лесом, волнуемым ветром текущей воды, а мы, словно великаны, с высоты смотрели на странную жизнь подводного царства... Дома, видя, как дядя сверху вниз на листах бумаги пишет черной тушью китайские иероглифы, не переставал восхищаться непонятной мне премудростью столь далекого от нас мира древнего Китая. «А как по-китайски написать „Илья“?» – спросил я у дяди Коки. Погруженный в свою работу, он, не подымая глаз, и, видимо, не склонный читать мне лекцию о китайских иероглифах, быстро нарисовал: «2». «Можно и так. Китайское и европейское значение букв и их прочтение несовместимы... Посмотри-ка лучше вот эту книгу с рисунками – юному художнику это полезнее. Там не надо объяснений – она как кинолента». Нарисованные очень давно на рисовой бумаге и, действительно, понятные всем своим глубоким реализмом, эти, как сегодня сказали бы, «комиксы» складывались в гармошку и повествовали, иногда с большим юмором, о приключениях изображенных китайских персонажей. Линия рисунков была строгой, живой и очень линейной...

* * *

В полумраке тонула холодная комната, где гаснувшие угли освещали все тот же стол, заваленный китайскими рукописями и книгами, над которым висел все тот же портрет моего прадеда К. К. Флуга работы П. А. Федотова, и пустую кровать, на которой никогда уже не будет спать мой странный, ранимый, непоколебимый в ненависти к Совдепии и такой добрый дядя Кока... У него не было детей...

* * *

Каждый умирал страшно и мучительно. Отец – с протяжными и нестерпимо громкими криками, от которых леденела кровь, и поднимались дыбом волосы. Он лежал лицом кверху на кровати, в пальто и в зимней шапке, надвинутой на лоб. «А-а-а-а!» – не переставая кричал он на высокой ноте. Пламя коптилки, дрожавшей в маминой руке, жуткими крыльями теней заметалось по стенам, потолку и отразилось желтым тусклым блеском в закатившихся белках отца, который продолжал кричать на той же высокой ноте и смотрел стеклянным взглядом в потолок. Долгое время потом каждую ночь меня преследовал этот жуткий протяжный крик, и я вскакивал, в ужасе срывая с себя шарф, которым мама укутывала меня на ночь поверх зимнего пальто...

Через пятнадцать минут отец замолк и, не приходя в себя, умер – после «голодного психоза», как определил доктор, сам еле державшийся на ногах от слабости. Доктор этот, несмотря на вызовы, больше никогда не приходил в нашу квартиру...

– Бабушка! Бабушка! Ты спишь? – говорил я, боясь своего голоса в гулкой темноте холодного склепа нашей квартиры. Закрывая рукой пламя коптилки от сквозняка открытой двери, я старался разглядеть бабушку. Мне показалось, что из-под полузакрытых век она пристально посмотрела на меня. Холодея от ужаса, больше всего боясь тишины, я с усилием подошел к постели и положил руку на ее лоб. Он был холоден, как гранит на морозе. Я не понимаю, как очутился рядом с матерью, лежащей в старом зимнем пальто под одеялом. Стуча зубами, прошептал:

– Она умерла!

– Ей теперь легче, чем нам, мой маленький, – сказала тихим шепотом мать. – От смерти не уйти, мы все умрем – не бойся!

...Отец и все мои родные, жившие с нами в одной квартире, умерли на моих глазах в январе – феврале 1942 года. Мама не встает с постели уже много дней. У нас четыре комнаты, и в каждой лежит мертвый человек. Хоронить некому и невозможно. Мороз почти как на улице, комната – огромный холодильник. Поэтому нет трупного запаха. Я добрался однажды с трудом до последней комнаты, но в ужасе отпрянул, увидев, что толстая крыса скачками бросилась в мою сторону, соскочив с объединенного лица умершей две недели назад тети Веры...^[2] Крошечное пламя коптилки. Могильно тихо. Если включить радио, то играет бравурная веселая музыка. Но чаще в тишине мерно тикает метроном... Это значит – объявлена тревога. Бегут темные тени по потолку. Сознание обрывается, день и ночь сливаются в одну линию, в одно состояние мертвенного равнодушия ко всему. Жизнь – так жизнь, смерть – так смерть.

Мама и тетя Ася решили первой похоронить бабушку. Хоронили только за хлеб. Они долго уговаривали толстую до войны, а теперь неузнаваемо тощую, как скелет, добрую тетю Шуру, дворничиху, взять вместо 350 граммов хлеба 250 (два дневных пайка) и 100 рублей. После долгих уговоров она

согласилась. Бабушку зашили в простыню. На углу простыни было вышито Е.Ф.^[3] – бабушкины инициалы. Затем дворничиха веревкой крест-накрест, как мумию, привязала бабушку к моим детским санкам. И увезла бедную бабушку из нашей незапирающейся, холодной, как склеп, квартиры на Серафимовское кладбище.

Через несколько дней я, как всегда, вышел во двор, чтобы набрать чайник снегу. Во дворе у соседнего подъезда стояла грузовая машина. Люди выносили из подъезда окоченевшие трупы, вернее скелеты, обтянутые зеленовато-сизой кожей. Некоторые были раздеты, некоторые в грязном нижнем белье, другие в пальто, запорошенные снегом, с перекинутыми через плечо противогазными сумками – их смерть застала на улице. Жуткий склад помещался прямо под лестницей, в парадном подъезде. Трупов было много, их, как дрова, перебрасывали через борт машины, а гора все росла и росла. Я уже собирался уходить, коченея от холода, как вдруг увидел, что из-под лестницы выносят зашитый в простыню труп, привязанный к знакомым детским санкам. Сердце сжалось болью ужасной догадки... Я рванул к машине и успел прочесть две буквы, вышитые на углу простыни: «Е. Ф.»

* * *

За нами пришли, чтобы на машине перевезти на Большую землю. Дядя Миша был на Северо-Западном фронте. По его просьбе машина, которая привезла в военный госпиталь медикаменты, возвращаясь на фронт, должна была взять нас. Дядя не знал, что мой отец, его брат, уже умер. Из нашей семьи осталось двое: мама и я. Мама не могла даже пошевелиться, глазами следила за чужими людьми, пришедшими за ее единственным сыном. «Я поправлюсь и приеду к тебе», – тихо говорила она. Глаза ее были полны слез, которые она пыталась скрыть. «Я плачу потому, что мы расстаемся... На месяц. Не больше, только на месяц», – говорила она, как будто убеждая себя. Мама попросила меня принести из шкафа маленькую коробочку. Там, как я знал, была медная иконка, о которую ударились пуля турецкого солдата. Если б не она, то пуля пробила бы грудь моего деда на Балканах во время сербско-турецкой войны. «На, возьми, на счастье... (эта маленькая медная позолоченная икона Матери Божией всегда, по сей день со мной). Я всегда с тобой. Мы скоро увидимся». Сквозь слезы, которые лились не переставая, как непрерывный осенний дождь, я смотрел на святое для меня лицо.

Меня взял за руку чужой человек. Пробираясь среди высоких сугробов, я долго оглядывался назад. Лицо дома казалось мне мучительно грустным. Штукатурка кое-где была отбита осколками, стены закопчены трубами «буржуек», выходящими прямо из форточек и дымящими, как отверстия пещеры доисторического человека.

В ту зиму стоял невероятный мороз. Мы шли по пустынному снежному городу. Где-то на окраинах глухо гроыхали взрывы, стлался дым зажженных вражескими «зажигалками» домов. Трагично и причудливо. Было странно видеть на уцелевшем выступе пола детскую кровать с заметенным пургой одеялом, а над ним засыпанную снегом полочку книг.

А вот и набережная. Зенитные орудия, как комариные хоботки, нацелились в серое небо. Люди черными запятыми медленно двигались по льду Невы. Мы тоже спешили. Если начнется налет или обстрел, лед – самая ненадежная опора.

Меня привели на квартиру дяди Миши, откуда мы должны были отправиться в долгий и опасный путь. Там было, как всегда, по-музейному тихо и торжественно. Пока шофер собирался в дорогу, я рассматривал знакомые с детства картины. Своему дяде, я обязан не только спасением жизни, но и во многом – познанием мира русского искусства. Много лет бывая в этом доме на берегу Невы, недалеко от Летнего сада, я преисполнялся любовью и гордостью за наше великое русское искусство. Горят люстры, отражаясь в глухом блеске красного дерева. Книги плотными рядами стоят на полках шкафов. Каждая из них полна дивных образов, прекрасных творений многих поколений русских художников-мыслителей...

Но в тот момент, когда, сидя в холодной комнате с высоким петербургским потолком и огромными окнами, я ждал машину, перед моими глазами была картина Рериха «Гонец». В этот мартовский серый день она запомнилась мне навсегда. Скованная морозом голубая земля. Вдали на холме, в мерцании лунного света притаился замок, полный ожидания и предчувствий неумолимо близкой беды. Смотрят его бойницы и узкие крепостные окна на спешащего гонца, согнутого порывом жгучего холодного ветра. Его плащ, как крыло птицы. Наперекор всему он дойдет до замка. Он уже близко. О чем поведает гонец спящему граду? Какие тайны раскроет и какие катастрофы предотвратит в этом холодном пустынном мире?...

«ДОРОГА ЖИЗНИ»

В грузовой машине, открытой холодному, словно доходящему до костей ветру, бабушка – мать отца, тетя Тоня – сестра отца, я и санитар с дочерью, моей ровесницей, чудом, как и я, оставшейся в живых после смерти всех родственников. После выгрузки медикаментов для военного госпиталя в Ленинграде

машина должна вернуться на Валдай, где расположено медицинское отделение Северо-Западного фронта, главным патологоанатомом которого был Михаил Глазунов. Белоснежные просторы, проносящиеся перед глазами, возвращали меня опять и опять в черную пещеру нашей квартиры, где осталась моя бедная мама. Теперь я думаю, почему они – родственники отца – не взяли ее с собой? Или они были уверены, что она умрет во время дороги?

Ленинград остался позади. В небе над самой головой идет воздушный бой. Самолет, как раненый Икар, стремительно падает вниз, оставляя длинный хвост черного дыма.

«Тра-та-та-та», – строчат, как на швейной машинке, самолеты, гоняясь друг за другом в смертельной схватке.

Скоро ли Ладога? Ладога – это вопрос: быть или не быть живым. Враг держит под огнем всю «Дорогу жизни», как звали ее ленинградцы. Сколько человеческих жизней поглотили холодные черные воды Ладоги под раскрошенным снарядами льдом!

Машина мчится все быстрее и быстрее. Свистит ледяной ветер в ушах. Кругом снежная бесконечная пустыня, уходящая в низкое серое небо. Я, не знавший, что мы уже час едем по льду Ладожского озера, робко попросил на минуту остановить машину. Шофер, обернувшись на миг, бросил короткое ругательство. По выражению его лица я догадался, что мы испытываем судьбу: под нами лед Ладоги. А вот и вода! Она близко, у самой дороги, черная рябь еще не успела покрыться льдом – значит, обстрел был совсем недавно. Шофер, то и дело выглядывая из машины, мчащейся на предельной скорости, смотрит в небо. Дорога делает зигзаги. У замерзшей полыни полу занесенные снегом трупы, обломки машин и ящики. Но вот показались домики! Здравствуй, Большая земля! Спасибо, «Дорога жизни», для нас ты оправдала свое название!

Шофер останавливает машину на берегу, улыбается и дрожащими руками закуривает: «Повезло. Попали в минуту ихнего передыха. Я по дороге насчитал – до нас машин десять пошли под лед! Да вот, слышите, опять летят!»

Наша машина понеслась дальше от берега, от нарастающего гула немецких эскадрилий... У станции, на снегу, огромные толпы страшных, как живые мертвецы, людей ждут поездов на Большую землю. Неужели и мы так же выглядим? Как печальны и одиноки сожженные деревни с обугленными трубами кирпичных русских печей, полузасыпанных снегом

Запомнилась одна из таких деревень, затерянных в тихвинских перелесках. Ветер свистит в голых, кроваво-красных вербных прутьях. И вдруг среди обугленных труб и гонимого ветром пепла согбенная старушечья фигура, неподвижная, как окаменевшее горе. Почему она здесь одна-одинешенька? Пришла ли к себе домой и увидела угли да черный от гари снег? Или, наоборот, последняя из уцелевших жителей деревни, не может проститься и наплакаться над порушенной жизнью? А может быть, идти больше некуда и не к кому?... И слезы, упав на одежду, превращаются в льдинки. Сколько таких матерей на изуродованной русской земле!

* * *

Вот и древний Валдайский монастырь. Он так знаком по пейзажам Колесникова и Горбатова, которые висели в оставшейся далеко-далеко квартире дяди на Литейном проспекте. До сих пор нет об этих великих художниках-пейзажистах монографий – оба умерли в изгнании, как и более миллиона русских беженцев после Октябрьского переворота... Жаль, что творения этих великих художников – С. Колесникова и Б. Горбатова – не экспонирует ни один музей России. Доколе?

* * *

Дядя после ранения – похудевший, в военной форме; кругом белые халаты. Накрыли стол – поставили пшеничную кашу и масло, огромные куски черного хлеба. Он ни о чем не спрашивал, смотрел на нас такими глазами, которых я никогда у него не видел. «Как маленький старичок, а руки-то какие опухшие, совсем доходяга...» – услышал я соболезнующий шепот двух беседующих медсестер, принесших кашу. Корочка хлеба упала на пол, я с трудом опустился под стол и поднял ее с пола. Когда я вновь взгромоздился на стул, увидел, как все стали по одному выходить из комнаты, а у дяди Миши глаза были влажные от слез. «Вам всем надо немедленно лечь в госпиталь, – сказал он. – Машина ждет».

...Госпиталь, где мы очутились, вспоминается гнетущим сном. Ночью, сжавшись под одеялом, я слушал, как в тишине, нарушаемой стонами раненых, бредил человек, лица которого никто не видел из-за маски бинтов. Только глаза, воспаленные и большие, смотрели в потолок. Ночью он бредил:

«Огонь! Атака! Огонь! Атака! Я – небо, я – небо!...» Сестра, дремавшая на скамеечке, спешила к нему... Говорили, что он чудом спасся после тарана, успев выпрыгнуть из горящего самолета. Рядом со мной лежал молчаливый молодой лейтенант. До войны он был артистом. Его красивое по-птичьи лицо с темными провалами глаз, как в гриме Пьеро, бесстрастно и безжизненно. У него оторваны обе ноги, и весь он забинтован, как мумия. Он не оживлялся даже на минуту, когда ему приносили письма. И, не читая их, просил складывать себе под подушку... Глаза, смотрящие в потолок, застывали в напряженной мысли. Однажды, проснувшись, я увидел, что его койка занята другим...

Теперь моим соседом оказался веселый украинец с усами. Он часто обращался ко мне, но кроме слова «хлопчик» я не понимал почти ничего. Его это не смущало, и он любил поговорить со мной. Он быстро выписался.

Прошел месяц. Я чувствовал себя окрепшим и почти здоровым. Расцветала весна – таял снег, бурлили весенние потоки. Снова под ногами ревели колеса, проносились мимо села, деревни, весенние леса и дышащие влагой черные пашни. Здесь не было войны. Дома в деревнях не разрушены, воронок от бомб нет. Здесь глубокий тыл. Далеко за спиной осталась война.

Гребло

Когда я смотрю на картину Рылова «Зеленый шум», в памяти встает затерянная между небом и землей, в дремучих новгородских лесах, маленькая деревня Гребло – с шумом листвы, щебетом птиц и бесконечностью огромного, как море, озера.

Какая хрупкая, нежная прелесть в северной русской природе! Какой тихой, невыразимой музыки полны всплески лесных озер, шуршание камыша, молчание белых камней... Чахлые нивы, шумящие на ветру березы и осины... Приложи ухо к земле, и она взволнованно расскажет о былинных вековых тайнах, сокрытых в ней, поведаст о прошедших поколениях людей, спящих в земле под весенней буйной травой, под белоствольными березами, горящими на ветру зеленым огнем.

Как поют птицы в северных новгородских лесах! Как бесконечен зеленый бор с темными, заколдованными озерами. Кажется, здесь и сидела бедная Аленушка, всеми забытая, со своими думами, грустными и тихими. Как набат, шумят далекие вершины столетних сосен, на зелени мягкого мха мерцают ягоды.

В бору всегда тихо и торжественно. Тихо было и тогда, когда я после мучительных месяцев, казавшихся мне долгими годами, вступил, как в храм, в сень весеннего бора. Будто вернулся в довоенное детство, только не было со мной моей мамы, которая почему-то все не едет ко мне! Тишина – первое, что поражало. Тишина и пустыньность небес. Новый мир обступил меня, успокаивая и открывая свои вечные красоты. Все как до войны, только почти не видно мужчин. Они на фронте.



В деревне Гребло до войны снимал дачу дядя Миша и его жена Ксения Евгеньевна. Жена дяди недолго любила семью Флугов, но не могла протестовать против глубокого чувства ее мужа к племяннику, единственному наследнику Глазуновых по мужской линии.

Прямо к дороге подходит вот-вот зазеленеющий таинственный лес. «Какая глухомань», – задумчиво произносит бабушка.

По пути в Гребло мы проехали Кончанское – селение светлейшего князя Суворова-Рымникского, где опальный полководец вместе с крестьянами пел на клиросе сельского храма. Сердце мое забилося.

Я вспомнил довоенный фильм о Суворове и сцену, когда запорошенный снегом курьер из Петербурга вручил ему приказ Павла I о назначении его командующим русской армией, готовящейся сразиться с Наполеоном. Известны слова Суворова о непобедимом в те годы гордом корсиканце: «Широко шагает мальчик. Не пора ли его унять?»

Из затерянной в новгородских лесах деревни Кончанское Суворов отправился на войну, свершив в этой последней в своей жизни военной кампании легендарный переход через Альпы.

И вот, наконец, оставив позади Боровичи (основанные, по преданию, княгиней Ольгой), Мошенское, Кобожу, мы подъехали к огромной глади озера Великого, на берегу которого, словно прижатые к земле огромным небом и словно высыпанные из божьей ладони, разбежались в беспорядке около десятка замшелых серебряных от северных дождей изб – деревня Гребло, где мне довелось прожить два года.

Самым большим строением был некогда барский дом, стоящий на холме среди могучих березовых аллей, ныне принадлежащий семье Скородумовых. В нем-то до войны и проводил свой отпуск дядя Миша, покоренный красотой здешней северной природы. Когда наша машина подъехала к дому, нас встретила жена дяди Миши Ксения (эвакуированная сюда в начале блокады) в окружении белоголовых крестьянских детей и статной загорелой женщины – хозяйки дома.

Когда нам помогали заносить вещи по скрипучей деревянной лестнице, ведущей на второй этаж, тетя Тоня отметила: «Не завидую ей, что прибыла такая компания, да еще в две крошечные комнатки-скворечники».

Забегая вперед, скажу, что через несколько месяцев тетя Ксения уехала к дяде Мише на фронт, а позднее, еще до снятия блокады, тетя Тоня вернулась в Ленинград к своему мужу, который работал инженером на заводе «Северный пресс», находящемся на Охте, где была и их квартира.

Я помню, как до отъезда тети Тони бабушка шепталась с нею: «Нельзя же оставлять мужа на столько времени. Блокаду вот-вот снимут, возвращайся. А то, не дай Бог, окажешься в одиночестве».

Оставшись с бабушкой вдвоем до лета 1944 года, мы жили ожиданием писем: бабушка – от детей, а я – от тети Аси с дядей Колей и моих двоюродных сестер Аллы и Нины. Уезжая, тетя Ксения забыла взять с собой чашки кузнецовского фарфора и крохотный пейзаж Колесникова, изображающий ночную петербургскую улицу. Казалось бы, ничего особого в нем нет, но так поэтично и правдиво передан дух родного города, моей любимой Петроградской стороны.

Монтеверде посылали мне из осажденного города письма, книги и открытки. Половина бандеролей не доходила, а дошедшая часть становилась необходимой пуповиной, связывающей меня с миром довоенным, с миром великой духовности моего города. Как я радовался получаемым книгам и открыткам!

* * *

Приехав в Гребло, я был счастлив получить, наконец, письма от моей матери. С дороги, из госпиталя я писал и писал ей, не получая ответа. И вот я держу в руках эти бесценные письма, испытывая несказанное счастье, несмотря на постоянную боль и страх потерять мать, охвативший мою смятенную душу. На серой бумаге большими буквами, качающимися, как в блокадных очередях дистрофики, обрывая слова, моя умирающая мать писала:

«25.III.42

Дорогой мой, единственный золотой мальчик!

Все время думаю о тебе. Никогда не думала, что буду так скучать. Как-то ты? Радуйся, что уехал. Сегодня бы и есть тебе было нечего.

У нас день прошел точно как всегда, только скучно без тебя. За меня пока не бойся. Так интересно узнать о тебе. Спасибо за записочку. Как-то в дороге? Понравилось ли в деревне? Писать пока больше трудно.

Целую несчетно, много раз моего доброго дорогого сына.

Не забывай... Всем поцелуй».

* * *

«26.III.42

...Писать довольно трудно, но хочу написать пару слов. Вчера Инна^[4] принесла твое письмо, которое прочла с захватывающим интересом. Спасибо. Рады, что ты сыт. А здесь бы мучился.

Получила 200 гр. овсянки, 100 – жира и 100 мяса и это все до 1-го. У нас дни идут точно по образцу. Ничего нового. Как-то ты? Все думаю о тебе. Люблю страшно. Радио гремит. Как-то тебе понравилось в деревне? Наверное чудно. Единственно, что хочу – к тебе. Здоровье не хуже. Не бойся за меня, Инна ухаживает, но, конечно же, так, как ты писал. Что ты носишь? Пиши мне, сколько можешь – одно счастье. Целую моего родного. Всем привет...»

Больше от матери я не получил ни одного письма. Несмотря на ликующую весеннюю природу, бушующие лазоревые небеса, отраженные могучим половодьем весны, моя душа была полна черных предчувствий, скомкана и нелюдима.

Помню, как почтальонша с крепкими ногами (почтовое отделение далеко, а деревень много) принесла, наконец, письмо.

Я обрадовался, узнав почерк тети Аси, маминой сестры. Но когда хотел разорвать конверт, увидел, что оно адресовано не мне... Грудь стала легкой и пустой, в ней глухо застучало сердце, казалось, я оглох и ничего не слышал, кроме толчков крови... Я не ошибся в своей догадке. Тихо, как догорает свеча, умерла моя мать. Последним ее словом было мое имя. Не помню, как очутился один в лодке на спокойно плещущих волнах. Надо мной простиралось бесконечное небо, такое же, как и в моем раннем детстве.

Что будет впереди, кому нужен я теперь, медленно плывущий навстречу волн? Знакомое по блокаде чувство неощутимого перехода из жизни в смерть соблазняет и умиротворяет своею легкостью... Как

первобытна и нема могучая природа! Это были минуты, когда душа, как мне казалось, со всей полнотой ощутила загадку и непрерывность человеческого бытия. Ожили и заговорили волны, зашептал тростник, склонились вечерние облака, нежно утешая затерянного в мире человека, а птицы вносили в этот безгласный разговор глубокую жизненную конкретность проходящего мига. Их крики так похожи на человеческую речь! Словно ожила на мгновение природа и обняла своими ветрами скомканную душу, стараясь расправить ее, как опущенный парус...

Я не греб, остров остался справа, и меня несло прямо к зеленому мысу, за которым на широких просторах ходили волны с белыми бурунами пены – «с барашками», как называли их живущие здесь неторопливые северные люди. Движение всегда необходимо застывшей в горе душе. Я втащил, сколько хватило сил, лодку на берег, веслом выплеснул накопившуюся воду.

Никогда я не увижу мою маму, ее серо-зеленых глаз и золотых волос. Почему это так? Какая страшная загадка – бытие и небытие...

Вернувшись в Ленинград после эвакуации, часто и долго бродил по знакомым, родным улицам и проспектам огромной пустыни мертвого города... Я часто слышал, будто меня окликала мать – это ее голос! Пронзенный, я останавливался, невольно оглядывался и слышал только, как шумит ветер в черной подворотне, и видел, как бегут вечерние розовые облака в далекие страны. Не знаю, что сказали бы об этом врачи и поэты, – я об этом никому не говорил, и без того меня считали странным. После достижения двадцати лет я уже никогда не слышал голоса матери. Она не приходит ко мне и во сне, как я ни зову ее...

* * *

Это было время, когда Луиджи Ферми построил в Америке первый атомный реактор, а союзники безнадежно затягивали второй фронт, видя, что Россия истекает кровью.

Внимание всего мира было приковано к Сталинграду, где решалась судьба мирового коммунизма и Советского государства. Где-то шла война, где-то умирали и жили другие люди, шумели большие города, несли свои волны далекие моря и реки, а мир маленькой деревушки поражал меня неиссякаемостью таящейся в нем жизни, открытиями, новыми событиями... Сменялись времена года, будто переворачивались листы партитуры Чайковского. Небо меняло свою окраску от лазоревой весенней мятежности к летней знойной синеве, от сизых тонов осени к долгой свинцовости снежной зимы.

Это была моя первая в жизни весна, которую я встречал в деревне. Казалось, что я уже это видел – о северной русской весне мне рассказывали наши художники, открывшие впервые в искусстве хрупкую, нежную грусть и бескрайнюю ширь родной природы, так созвучной душе русского человека.

В воде отражались затопленные половодьем кусты, на середине озера, как осколки битого хрусталя, плавали ледяные острова. Но у самого берега вода становилась теплой и ласково набегающей на песок со следами уже босых мальчишеских ног. Мальчишки вгоняют топоры в могучие тела красавиц берез, и тотчас же текут прозрачные слезы – успевай подставлять кружку. Будто весь аромат земли, всю силу и неукротимость северных весенних половодий, талых ручьев и разливов впитала в себя могучими корнями белоствольная береза, шумящая высоко в небе весенним ветром и тревожным гомоном скворцов... Как зримо тают под лучами солнца, становясь все меньше и меньше, белые островки зимних снегов!

Наш двухэтажный дом, когда-то выкрашенный красной краской, был каким-то особенным, таинственным. Лестница, ведущая на второй этаж, стонала под ногами. Стены в прихожей были из круглых могучих бревен. В углу стояла кадка с водой, пахло дегтем, вениками и лошадиным потом.

Хозяева жили на первом этаже, мы на втором, в так называемом «скворечнике», из окон которого было видно озеро, бесконечные просторы, ветви деревьев, спускающихся ровной аллеей к озеру, и небольшая деревня, дворов пятнадцать. За домами начинался лес, переходящий в дремучий, бесконечный бор.

Над маленькими, прижавшимися к земле избушками проносятся огромные облака, свирепо и неугомонно бушует ветер. Небо, как огромный парус, в который ударяют могучие порывы ветра. Кажешься себе таким маленьким, таким затерянным в огромном мире. За окном зовут и машут ветви ольхи. Если отрешиться от мира, от привычных каждодневных связей, то станет почему-то страшно и захочется самому превратиться в дерево, чтобы махать зелеными руками под тугим и свирепым ветром, ни о чем не думая, ничего не желая.

Хозяйку нашу звали Марфой Скородумовой. Это была красивая русская женщина, крепкая, статная. Про нее говорили «баба в соку». Мужа ее убили в самом начале войны. И эта по-кустодиевски крепкая женщина с мужественным и открытым лицом все делала сама, работала за десятерых – ставила сети, сеяла, пахала, полола, стирала белье, ездила в поле, воспитывала детей, иногда считая лучшим средством воздействия на провинившегося сына или дочь ремень, оставшийся от мужа.

На краю деревни, так, где начинался лес, жил дед Ключа. О нем было известно нам, детям, немного. К нему в дом, приземистый, крепкий, чем-то похожий на деда и стоявший последним в деревне, почти никто не ходил. Дед имел огородик и занимался плетением корзин. Даже самый смелый и отчаянный мальчишка Шарга не смел залезать в маленький чистенький огород деда Ключи. Взрослые относились к деду по-разному. Некоторые называли его «кулаком», и мы понимали это определение как одобрение наших систематических кампаний против деда, которого уже давно «раскулачили», что означало, как мы понимали, лишение его прав пускать в ход кулак в ответ на мальчишеское озорство. Говорили, что когда-то у него была большая семья, но теперь не осталось никого. В тридцатые годы все были высланы, один дед вернулся спустя несколько лет в родную деревню.

Однажды в лесу я случайно, почти нос к носу, как с медведем, которых множество водилось в ту пору, столкнулся с дедом Ключей. Он не заметил меня. В лаптях, сидя на охапке нарезанных прутьев, он сосредоточенно смотрел перед собой невидящим взором. К желтому ногтю подкрадывался пепел тлеющей «козьею ножки», скрученной из газеты. Казалось, он молча и напряженно слушал шум леса, наполненный пением птиц. Буйно рос папоротник. На полянах, куда удалось прорваться солнцу, порхали бабочки. Старая голова деда с гривой седых волос, густые и черные брови над глубоко запрятанными глазами, словно у врубелевского Пана, жили единой жизнью с могучим бором... И я долго стоял, боясь хрустнуть веткой, разглядывая лицо и неподвижную, сгорбленную фигуру деда... Какие думы и жизненные бури избороздили такими глубокими морщинами лицо старика? О чем думал он, слушая прибой могучих лесных чащ? И почему таким скорбным и просветленным было его лицо?

В картине Сурикова есть стрелец. Он так же, как тогда дед Ключа, смотрит вперед невидящим и ушедшим в себя от горя взглядом...

* * *

Нехитрое вроде бы дело быть пастухом – знай сиди, в небо смотри, а скотина ест да ест. Пришел час – гони домой, вот и вся работа. Но стоит о чем-нибудь заговорить, как вопрос упирается в пастуха: «Какая завтра погода?» – «Надо у дяди Миши, пастуха, спросить». – «Почему корова всю ночь в хлеву копытом бьет и мычит?» – «Дядя Миша, пастух, скажет». Подпасками поочередно были все мальчишки нашей деревни.

Рано утром, едва всходило солнце и земля еще была мокрой и холодной от росы, мы с моим приятелем Колей уже выгоняли из скотного двора колхозную скотину. В стаде был бык – черный, с налитым кровью глазом, он всегда свирепо мычал, как будто хотел подцепить кого-нибудь рогами. Бык всегда был готов к удару и нападению. Я его безумно боялся. Над трубами поднимался дым. День обещал быть хорошим. В наших противогазных сумках лежали хлеб, соль и нож. Моя миссия была – вместе с Шариком подгонять отстающих, с голодухи накинувшихся на траву коров. Стадо, казалось, знало свой маршрут и уверенно двигалось к лесу.

Солнце забиралось все выше и выше. Коровы и овцы становились спокойнее и медлительнее, набив брюхо. «Хочють дрыхнуть, – комментировал их состояние Коля. – Пить надо давать – поднимай всех!» Мы с Шариком принялись осуществлять директиву. Я уже знал, что овцы безумно боятся кепки, пущенной над ними быстрым диском. Они бросались врассыпную. Наше дело – направить поток в нужную сторону. Как пистолетные выстрелы, щелкал бич. Коровы двигались к реке, находящейся в километре от местной стоянки. Неохотно идущих настигал карающий кнут Коли, который он волочил по земле, как убитую змею. Кнут – или, вернее, бич – был длиной метра три с половиной и начинался сплетенным из трех толстых веревок жгутом, наподобие женской косы. Кончался же тончайшим ремешком, напоминающим мышиный хвостик, с четырьмя узелками.

После водопоя коровы и овцы застывали на одном месте, некоторые тяжело ложились, подминая под себя цветы и траву. Солнце было высоко – пора обедать. Мы лежали и смотрели в небо. Плыли облака, в деревне звучали удары по рельсу – значит, они там тоже обедают. Мы себя чувствовали, как на необитаемом острове. Время у пастухов идет очень медленно. Часов у нас не было. Был только огромный циферблат неба с солнцем, медленно клонящимся к западу. Профессия пастуха невольно рождает наблюдательность, склонность пофилософствовать, умение подчинить себе разношерстную массу, заставить животных бояться тебя, уважать властный выстрел бича, следовать в нужном пастуху направлении. Что требуется от пастуха? Основная его задача – обеспечить животным сытную жизнь, без которой не будет у людей ни молока, ни масла, ни мяса.

В городе не чувствуешь этой великой взаимосвязи человека и природы, не испытываешь и, следовательно, не понимаешь этого великого круговорота приобщения к тайнам природы, с ее вечным процессом умирания и Воскресения; приглушается чувство радости собственного бытия, являющегося маленькой частицей удивительно мудрого, простого и сложного мира.

Отцветали синие глаза льна. Мы на гумне, сидя на корточках, били по льну колотушками. Нормы были почти одинаковы для всех. Мы старались не отставать от взрослых, и некоторые из нас зарабатывали по несколько десятков трудодней. Помню, получил и я, кроме всего прочего, две наволочки муки – мое ликование было бесконечно. На всю жизнь запомнилось, как деловито колхозники грузили мешки с зерном. Глядя на меня, они весело шутили, прося продать «одну торбу», а на вторую прочили мне безбедное годовое существование, а то и того более – до конца войны. Дядя Анисим вез домой свои мешки, сверху лежали две мои наволочки из тонкого залатанного полотна, привезенного еще из Ленинграда. Метки «И.Г.» вышиты рукой моей матери. Дядя Анисим, весь заросший рыжим пухом, с отмороженными в финскую войну руками, напоминающими лапы зверя, вырвавшегося из капкана, понимал, видно, серьезность незабываемой минуты получения первого в жизни хлеба, заработанного собственным трудом. «Тебе хлеб подкинуть к дому, что ль?» – деловито спросил он, понукая лошадь, с трудом везущую по ухабистой грязной дороге нагруженную телегу.

* * *

Сын дяди Анисима Богданова Вася сразу стал моим другом. У него были небольшие серые глаза, честное открытое лицо, несколько утиный по форме нос, весь в синих точечках от ушедшего под кожу пороха. «Когда баловались, – рассказывал Вася, – стащили у отца порох для самодельного пистолета из медной трубы. Дырочку просверлили, спичку чиркнули, а он мне в лицо жажнул. Хорошо, глаза остались в порядке». Мне нравилось, как он с ловкой сноровкой запрягал и распрягал лошадь, как, стоя на безумно трясающейся телеге, управлял поводами, как косил, степенно рассказывал о колхозной жизни. Настоящий крестьянский сын: добрый, честный и работающий.

Когда мы, дети из деревни Гребло, гурьбой шли за грибами в сказочно красивый лес – глухой и беспокойный, мне никак не удавалось почуять, где скрываются белые грибы, красно-коричневые подосиновики, маленькие лисички. Соболезнующе заглядывая в мою корзину, где лежали одинокие грибки, Вася говорил мне шепотом, щадя мое самолюбие перед товарищами: «Илюха, иди за мной, и когда я остановлюсь, подняв ногу, знай, что под ней гриб. Понял?» Я шел за ним среди желтеющих листьев, стараясь угадать, где среди мха и трав укрылись грибы. Тщетно! Вася видел их там, где я и не предполагал найти.

В селе Кобожа в двухэтажной школе, что за ручьем, учились дети из разных деревень. Учился и один из наших гребловских пастухов, которого мы привыкли видеть в рваной одежде, волочащим по земле длинный кнут, который вился по пыльной дороге, как хвост длинной черной гадюки. Звали его Митей, а в деревне Микотай. В школу он приходил более опрятным, а раз явился в белых рейтузах. В этот день мы по обыкновению во время большой перемены играли в лапту. Я заметил, как очень красивый, с пробором черных волос, подтянутый старшеклассник Сашка Григорьев подошел к Микотайе. Заливаясь смехом и жуя хлеб, сказал: «Микотай, ты прямо герой двенадцатого года – Денис Давыдов в гусарских белых лосинах». Микотай недоброжелательно и вяло посмотрел на юмориста, не считая нужным отвечать. «Господи, он любит и знает героев Отечественной войны!» – с восторгом подумал я. Мы разговорились, и через некоторое время сочли, что отныне – «друзья до гроба».

Саша был русским самородком, человеком внутренней врожденной культуры, удивительной широты духовных интересов. Его изба в два этажа находилась неподалеку от «взорванной красоты» – как он определил развалины гигантского храма, который раньше стоял на холме и был виден на многие версты кругом. Саша помнил, как мать и отец водили его маленьким в этот богатейший храм с огромным иконостасом, где горело много свечей перед потемневшими ликами святых. Потом приехала какая-то банда из Боровичей, собрала крестьян и велела всем участвовать в подготовке взрыва. Иконы сожгли, не давая взять ни одной из них богомольным крестьянам. Как я понял, его семья пострадала во время коллективизации. Мы не расставались с Сашей. Он писал много стихов, читал Гельвеция, Шекспира; наизусть знал стихи Пушкина и Лермонтова. Недавно я нашел чудом уцелевшее его письмо, посланное мне после моих проводов со станции Кобожа в Москву, откуда я должен был перебираться в родной город. Тогда местная частушка напомнила:

Скоро, скоро поезд тронет – машинист свисток подаст!

Скоро станция Кобожа потеряется из глаз.

Я крепко обнял моего друга Сашу-Птицу, как я его называл. Такой образ навевала мне его фигура с могучими плечами и подвижной головой, словно вырастающей из объема грудной клетки. Когда он готовился нырнуть в пучину озера с кормы нашей выдолбленной из толстого ствола дерева лодки (точь-в-точь как у древних славян – однодревки) – он вздымал грудь, раскрывал, подобно крыльям, руки и словно взлетал, как кричащая за кормой под северным ветром чайка, кружащая над могучими волнами озера Великого.

Наша дружба с Птицей продолжалась и в юности, когда он тоже приехал в Ленинград учиться в морском училище. Ему очень шла форма, так похожая на старую форму нашего доблестного русского флота. Он славился среди курсантов похождениями с «музами», как он нарекал объекты своего внимания, стяжав славу Дон Жуана. Птица советовал мне заняться спортом, найти «музу» – под его влиянием я занимался полгода боксом. Саша очень много писал стихов, но говорил, что никогда не будет их печатать. «Пишу для души и для друзей. Стихи помогают завоевывать сердце красавиц», – светясь белозубой улыбкой, пояснил «гардемарин». Красавица Галя, которая позировала мне для портрета, стала его женой. Птица очень подружился с моими двоюродными сестрами Аллой и Ниной. Они пили чай на маленькой кухне под лампочкой без абажура и спорили о Блоке, Маяковском, Пушкине. Видя мое упрямое одиночество, угрюмость, он называл меня Александром Александровичем (Блоком). У меня горели свечи. Я читал и рисовал день и ночь. Рисунок давался мне с трудом!...

Саша был назначен на службу в Прибалтику. Однажды мы с ним съездили в Кобожу. Там я нарисовал портрет матери. Мы с грустью увидели, как опустела Гребло, где сегодня в наши дни ничто уже не напоминает о когда-то богатом, зажиточном до революции селе, о кобоженских шумных ярмарках, на которые под колокольный звон съезжались в народных костюмах крестьяне и на тройках – лихие купцы при картузах, в красных рубахах и черных жилетах. Гениальный Кустодиев навечно запечатлел этот навсегда ушедший мир российской провинции.

Степенная аллея усадебных берез, густая трава, колышима буйным ветром, и только по островкам крапивы видно, что здесь стояли дома и жили люди. В мире нет больше деревни Гребло...

Я уже давно не встречал моего друга Сашу-Птицу, но будто заново ощущаю его энергию, слышу его лучезарный смех, когда вспоминаю свое отрочество, навсегда оставшееся в лесах Новгородчины, и петербургскую тревожную юность, одиночество и стремление обладать сильной волей на путях утверждения себя как художника.

* * *

После окончания полевых работ была объявлена новая мобилизация. Последние оставшиеся в деревне парни гуляли, пели, плясали, пили самогон. Гулял и Васин старший брат Яша. Деревня два дня была в пьяном угаре веселья, горьких слез, лихих песен, топотливого пляса, прерываемого раздирающим материнским воплем.

За окном бегут осенние низкие тучи, вчера выпал первый снег. В избе жарко, второй день идет веселье. Яша сидит в центре стола, бледный, непробудно пьяный. Синеглазый Вася словно сросся с балалайкой. Он без устали играет, стараясь заглушить боль разлуки брата с семьей. Коротконогая плотная Настя выбивает чечетку; грудь ее, как пойманный в мешок зверь, хочет выпрыгнуть из ситцевого платья. Вот уже два года, как муж Насти пропал без вести на фронте, оставив на ее руках трехгодовалую дочь.

Надсадно гремит балалайка, выводя нехитрый мотив:

Самолет летит,
На хвосте печать,
Уехал миленький,
Да не велел скучать.
Он не велел скучать,
А я соскучилась,
Евоны серые глаза
Меня замучили!

Пошла в пляс и охмелевшая Дуня Ворониha, мать троих детей, обычно молчаливая, угрюмо глядящая на всех исподлобья глубокими темными глазами.

Ты военный, ты военный,
Ты военный не простой,
Ты на севере женатый,
А на юге холостой.

Ее выгоревший платок съехал на плечи, и все увидели, что черная, как воронье крыло, голова Ворониhi, словно белой паутиной, опутана сединой. Несколько месяцев назад пришла похоронная о смерти ее мужа, убитого под Ленинградом. Топоча и притоптывая около Яши, вызывая его на ответный танец, высоким бабьим голосом Ворониha поет:

Полюбила лейтенанта,
И ремень через плечо,

Много денег получает
И целует горячо.
Полюбила лейтенанта,
А потом политрука,
А потом все выше, выше,
И дошла до пастуха.

(Последнее было обращено к дяде Мише, пастуху, сидящему за столом среди гостей.)

Зелен мутный самогон и угарен. Держась за стены, выходят гости в сени, а потом Яша, семнадцатилетний парень, широкоплечий, но по-юношески гибкий, с белым пушком над пухлым мальчишеским ртом, не выдержав просьб, выраженных перед ним бешеным топотом, вдруг вскочил и, откинув падающие на лоб светлые, как рожь, выющиеся пряди, прошелся, заложив за спину руки, по кругу:

Выхожу и начинаю
Первую начальную,
Не могу развеселить
Головушку печальную.
Я отчаянный родился,
Всей деревне надоел,
Девки, бабы все ругали,
Чтоб скорее околел.
Я, мальчишечка, гуляю,
Самогон с баранкой пью.
Все ухватываю поломаю,
Всю посуду перебью.

Дядя Анисим смотрит на сына неподвижным, остекленевшим взглядом, берет гармошку и, ловко перебрасывая руку с отмороженными пальцами, выбивает незатейливый ритм пляски. Настя танцует в упоении, словно забыв о войне и горе. Как огонь на ветру, пылает ее юбка.

Сколько раз я зарекалась
Под гармошку песни петь,
А гармошка заиграет —
Моему сердцу не стерпеть.

Изба ходит ходуном, чадит керосиновая лампа, хороводом мечутся по стенам черные тени.

Яша с маху выпивает стакан мутного самогона, и слегка охрипшим голосом подхватывает Яшина мать, маленькая, худая.

У дяди Анисима течет горькая слеза. Качается рама с фотографиями родственников и убитого в самом начале войны старшего сына. В углу сквозь копоть и тьму времен, из венка засохших цветов строго и скорбно смотрит темный от времени лик Николая-чудотворца. Вдали чернел лес. На пустынном озере трещал лед, его ломал неугомонный безжалостный леденящий ветер. Была глубокая осень. Ноябрь...

Вся деревня высыпала на бугор. Пока не скрылись из глаз сани с Яшей и двумя другими «рекрутами», молча на ветру стояли замолкшие односельчане. Путь призывников лежал через село Кончанское на станцию Кобожа. А далее — фронт, война. «Ну пошли, что ли, по домам, — нарушил тишину дядя Анисим, — за работу пора». В деревне было тихо и безлюдно. Скоро от Яши пришло письмо. Вася показал его мне. Оно было, как тысячи других, со штампом «просмотрено военной цензурой».

«Здравствуйте, мама, папа, а также брат Вася и сестра Тоня. В первых строках моего письма сообщаю, что живу хорошо, здоров, чего и вам желаю. Мама и папа, прошу вас передать мой красноармейский привет тете Вале...»

Вася снисходительно спросил: «Ничего не заметил?» Я сказал: «Ничего. А что я должен заметить?» Тогда Вася открыл шепотом секрет: уезжая, они договорились с братом, что Яша известит его, где он будет находиться. Но так как это по законам военного времени строго запрещалось, то Яша должен был поставить под некоторыми буквами точки. Читая отмеченные буквы, родные узнают, где Яша. Я, напрягаясь, заметил крохотные, почти невидимые точки, прочел по буквам: «Нахожусь в Сталинграде». Через два месяца пришло извещение о смерти рядового Якова Анисимовича Богданова, геройски отдавшего жизнь в боях за свободу и независимость нашей Родины...



Война озарила своим пламенем жизнь затерянной в дремучих лесах деревни, отдавшей фронту почти всех могущих держать в руках оружие. Но был и один, который смалодушничал, не выдержал ада войны, дезертировал и глухими лесными тропами добрался до дома. Спрятался на чердаке у своей старухи матери. Это скоро стало известно в деревне. В дождливый осенний день на него пошли облавой. Даже из района – однорукий председатель колхоза, бригадир дядя Анисим и местный хромо́й милиционер. Но, видимо, дезертир догадался об этом раньше, чем они добрались до дома, где он скрывался. Под моросющим дождем, по мокрой, скользкой глине он бежал с винтовкой в руке к лесу. За ним мчалась погоня. Дорога к лесу оказалась отрезанной. Бежать было бесполезно. Как загнанный зверь, он вдруг остановился, переводя дыхание, лихорадочно озираясь, и понял: бежать некуда. Люди были совсем рядом. Все кричали: «Стой! Стой!» Милиционер выстрелил в воздух, дезертир остановился, быстро снял солдатский сапог с правой ноги, прислонил дуло поставленной на земле винтовки к виску. Большим пальцем ноги нажал на спусковой курок...

Он лежал на мокрой глине, раскинув руки. Нога была очень белая, как после бани, и большая. Вторая, в солдатском сапоге, густо испачкана глиной. Односельчане молча смотрели на него. Накапывал осенний дождь...



Зима накрыла землю белым пушистым ковром снега. Французский живописец называл снег проказой природы. А русские художники видели в зиме волшебство сказки с жемчужными переливами снегов, с синими дивными тенями в звенящие капелью весенние дни. Образ России не мыслится без снежной морозной зимы, когда белый покров устилает уснувшую до весны землю, когда воют злые метели, до крыши заметая деревянные избы, когда жестокий мороз, как злой колдун, заковывает льдом реки, глубокие озера и разрисовывает маленькие оконца занесенных пургой деревень. Замолкает звонкое пение птиц, улетевших до весны в жаркие заморские страны. Только верные друзья русской зимы – сороки, вороны да воробьи перелетают с забора на забор, скачут по дороге или, нахохлившись, неподвижно сидят на покрытых инеем голых ветвях. Мы, дети, живущие в маленькой деревне, особенно остро чувствовали на себе перемену времен года.

Зима – это школа, в которую надо было ходить за несколько километров. Вставали рано, еще затемно. Заходили друг за другом. Собравшись вместе, отправлялись по огромной равнине замерзшего озера, которое было для нас увлекательной книгой жизни зимней природы, с причудливыми буквами звериных, птичьих и человеческих следов. Вот крохотные следы елочкой. Как северная вышивка на полотенце. Это птицы. На озере далеко около острова маленькая точка – часть ребят уверяют, что это волк, другие говорят, что это дядя Миша, пастух, уходит. Уже на том берегу видно село Кобожа.

Домишки, как будто высыпанные из ладони камешки, без особого разбора и порядка разбросанные между лесом и берегом озера Великого. Директор школы живет рядом, он похож на большую птицу, горбатенький, небольшого роста, с очень умным лицом, темными грустными глазами. Мы считали, что он знает все. Он говорил обстоятельно и веско. Мы уважали его и боялись. Иногда он задумывался, глядя неподвижно в окно, устремив глаза в низкое свинцовое небо. Отвечавший в это время ученик уже знал, что в таких случаях можно говорить, не будучи точным в ответе. Кирюша – так мы называли между собой Кирилла Ивановича – слышал звук голоса, но мысли его были далеко от нас. Мы знали, что он до войны жил в другом месте и был «выковыренным», то есть эвакуированным, и что уже полгода нет писем от его сына-летчика.

Два года ночами мы слушали гул моторов – ночная мгла, как зубной болью, наполнялась рокотом невидимых во тьме эскадрилий. С запада на восток летели немцы; с востока на запад – наши. Наши возвращались на рассвете. Гул самолетов был уже не такой сильный и густой – наверное, многие летчики никогда не вернутся домой, никогда больше не пролетят над крошечной деревушкой, затерянной в дремучих новгородских лесах. О новых героях мы прочтем через несколько дней в газетах... Лежа на спине в темноте, я старался представить себе напряженные суровые лица этих людей, несущих смерть на своих стальных крыльях.

Спустя год мы уже слышали только шум самолетов, летевших с востока на запад; их рокот был могуч и уверен. Слушая его, мы убедительно чувствовали приближение победы.



1943 год. Блокада Ленинграда была прорвана. Сталинградская битва, предрешив исход войны, уже принадлежала истории, каждый день приносил известия о все новых и новых победах наших героических войск, ветер победоносного наступления разведал славные знамена новых гвардейских полков, освобождавших пядь за пядью родную землю.

Настала пора, когда я снова мог вернуться в родной город, который видел в своих снах, с которым были связаны самые счастливые и самые горькие дни моего детства. Мы ехали втроем: шофер, я и приехавший за мной с фронта дядя. На машине нарисован красный крест – она была санитарной. Мы ехали день и ночь. Пыльные, знойные дороги, села, леса и города в калейдоскопическом беспорядке проносились за окошечком санитарного фургона. Чувство своей затерянности среди жизненных просторов и неопределенность впереди наполняли душу тревогой и тоской. Горизонт справа был в зарницах. Все ближе Москва. Первый раз я услышал новый гимн:

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки великая Русь.

Да здравствует созданный волей народов

Великий, могучий Советский Союз!

Путь лежал через Москву, встречи с ней я так трепетно ждал. Ранним утром мы въехали в пригород. Какая Москва огромная! Москва встречала меня величественной стройностью древнего Кремля. Кремль, казавшийся пустынным, сверкал на черном ночном небе своими куполами, как загадочное царство царя Салтана.

Сколько раз я, проезжая по Москве, через много-много лет, когда навсегда обосновался после моей первой выставки в столице, видел здание бывшей «Новомосковской» гостиницы на Балчуге. Чудовищного по своей нелепости сооружения – гостиницы «Россия», – растоптавшего древний район Зарядья, еще не было и в проекте. Двухместный номер гостиницы занимала тетя Ксения и временами наезжающий с фронта по служебным делам дядя Миша. Вскоре тетя Ксения уехала в Ленинград, я остался один в большом, бурлящем непокорной жизнью городе.

Я помню красивые и прелестные переулки у Арбата. Был поражен церковью, словно сошедшей с картины В. Поленова «Московский дворик». Позднее узнал, что он и писал ее, и она до сих пор сохранилась – на Собачьей площадке близ Арбата. Блуждая, я доходил до Лефортова, любовался Новодевичьим монастырем, опускался и бродил по подземному лабиринту сталинского помпезного метро. Иногда на задворках мальчишки нападали на меня, а я, памятуя о мальчишеских гребловских схватках, давал отпор городским «огольцам». Особенно любил я бывать в кино, которое два года было для меня в деревне недостижимо, кроме передвижки, случайно заезжавшей в колхозный клуб села Кобожи.

Запомнилась площадь Восстания, кинотеатр «Баррикады», где шел фильм «Неуловимый Ян», столь любимый московскими мальчишками. «Метрополь», напротив Большого театра, запомнился майоликовой мозаикой Врубеля. С утра до ночи я ходил по старой Москве, впитывая аромат ее былого, столь непохожего на державный размах моего Санкт-Петербурга. Оставив мне деньги, дядя потребовал представить отчет, на что я их потратил. Я тратил их на кино, на хлеб и мороженое. Вернувшись, дядя прочел сочиненный мной отчет и был очень недоволен, назвав его «липой». Я никогда не любил и не люблю писать отчеты, отмечать командировочные, рассчитывать, записывать. Дядя Миша требовал дисциплины и точности, которые мне несвойственны и по сей день.

Шумная солнечная Москва запомнилась мне и огромным шествием немецких пленных. Они шли в лучах палящего солнца по Садовому кольцу. Вот их лица, угрюмо-презрительные, черные от загара. Казалось, им нет числа. Москвичи молча смотрели на них, некоторые женщины плакали, вспоминая потери страшных лет войны. На груди у многих сверкали черные кресты. Пленные, занимая всю ширину Садового кольца, старались не встречаться взглядом с толпящимися по сторонам людьми. Много лет спустя в Германии я случайно встретил бывших пленных, отсидевших несколько лет в наших лагерях. Как ни странно, с любовью говорили о русских женщинах, как о всем нашем многострадальном народе, добром и участливом, несмотря на то, что война принесла столько горя. Идею ненависти к врагам они забывали, глядя на таких же, как они, людей. И оттаивало славянское доброе сердце, издревле славившееся гуманным отношением к пленным врагам, которых на Руси по окончании определенного срока оставляли «на равных» у себя или отпускали с миром домой. «О, загадка русского менталитета!» – говорили седовласые люди, бывшие солдаты, вспоминая далекую Россию. У меня, как и у многих, сжимались кулаки от боли и страдания, когда недавно наши ветераны получали подарки от побежденных – сосиски, шоколадку и что-то еще. Какой позор лежит на тех, кто довел до этого унижительного состояния наших героев, спасших столько людей от смерти, неволи и унижения!

* * *

Вечером каждый день из Кремля неслись в ночное небо радостные огни салютов, прожекторы освещали море людей, собравшихся на Красной площади у кремлевских стен и чудом уцелевшего храма Василия Блаженного. Он показался мне огромной дремлющей головой великана, к которой, как Руслан, подходишь полный изумления и невольного трепета.

И в ответ на изумление и восторг, будто незримым вздохом, отвечает вросшая в землю богатырская голова: с бровей и ресниц взвиваются в небо птицы и с криком кружатся над сказочно изукрашенными куполами, словно желая пробудить спящую голову. Вздохнула голова – и вдруг по-детски улыбнулась, обернулась ликующим древнерусским градом, с буйством весенних трав и россыпью полевых цветов, с удалью древних хмельных пиров, с половодьем бурлящего радостью русского народного духа, справляющего свой праздник!

Огромные вечерние облака наклонились над собором... Время остановилось в своем беге. Столичная суэта и движение множества машин, так оглушающие после деревенской тишины, подчеркивали величие и скрытую жизнь дремлющего исполина. Собор Василия Блаженного! Твой каменный прекрасный букет благоухает древними поверьями, и навсегда отныне запомнится Москва этим яростным дерзанием русского гения!

До сих пор ученые всего мира говорят о самобытной и яркой красоте замысла зодчих. Василий Блаженный, чьим именем народ нарек храм, оставил яркий след в истории Москвы. Когда он был мальчиком и работал в сапожной мастерской, пришел боярин, чтобы заказать сапоги – «да покрепче, чтобы долго носились». Ушел заказчик, а хозяин спросил у Васи; – пошто он головой качает и улыбается? «Как, заказывает сапоги, чтобы подольше носились, а на днях умрет». Скоро боярин умер. Так узнали москвиты о провидческом даре будущего Василия Блаженного, правдолюбца и Христа ради юродивого. Не случайно его гроб нес в храм Покрова, что на рву у Кремля, сам Грозный царь Иван Васильевич и митрополит Макарий. С тех пор и стал называться храм Покрова (построенный в честь взятия Казани) храмом Василия Блаженного. Не разгадан историками образ грозного царя Ивана!

Прошли годы, и сколько раз, любуясь чарующей красотой Василия Блаженного, живущего по своим древним законам красоты и гармонии, все отчетливее понимаешь, что чем больше изучаешь этот таинственный ликующий храм, тем больше возникает вопросов, о его строителе Иоанне Грозном, о победе древних арийских форм мышления в архитектуре, сохранившихся лишь в далекой Индии и в деревянной архитектуре русского Севера. Реставраторы говорят, что храм перестраивался, менялся. Пусть так, но все равно он не похож ни на один из дошедших до нас храмов Древней Руси. Как дошли через века заветы древнего, ни с чем не сравнимого образа мышления до великорусского племени? Как, каким чудом сохранилась память о древней арийской прародине, откуда разошлись, после гибели «Страны совершенного творения» – Арианы, народы нашей расы по лицу земли, неся огонь просвещения всем народам Божьего мира? Я люблю время Грозного царя Ивана!

Много исторической памяти хранит Москва. Пусть много было уничтожено, но то, что осталось, говорит о самобытности русского мира, о прошедших славных днях нашей истории.

Война, ушедшая в Европу, развивалась стремительно. Слово «победа» стало желанным и ощутимым, как никогда. Но я только и ждал, когда вернусь в родной град Петра...

Письма мертвым и живым

«Просмотрено военной цензурой»

Чудом у меня сохранилась, благодаря любви и заботе обо мне маминой сестры тети Аси, часть писем тех страшных военных лет.

Долгие-долгие годы я не разбирал картонные коробки с бумагами и документами. Словно много жизней прожил я в столь длинный и столь короткий, отпущенный мне Богом срок борьбы за право жить на этой земле и за право чувствовать себя художником, который свободно может выразить свои мысли, идеи и чувства.

Поначалу я думал, что письма одиннадцатилетнего мальчика, напоенные скорбью, любовью и глубоко личными переживаниями детской души, принадлежат только моей жизни.

Но мой друг и редактор этой книги Валентин Новиков, прочтя их, пылко стал убеждать меня, что в моих письмах к матери, тете, сестрам блокадных и послеблокадных лет и в их письмах ко мне – столько забытой многими и неизвестной «племенному, незнакомому» сегодняшнего дня правды военного лихолетья, что не стесняться мне надо их печатать, а стесняться не напечатать эти документы опаленной пожаром детской души. Я колебался.

Читая их после столь долгого времени и размышляя о засвидетельствованных в них событиях, – словно и не со мной все это было! – я постепенно убеждался в правоте слов моего друга.

Да, все это было со мной – и все это правда! Хотя он и удивлялся необычной, по его мнению, зрелости суждений ребенка. Но мы в те годы, по понятным причинам, выросли рано. Я словно прожил много жизней, будучи много раз на краю смерти...

Я хотел бы ничего не трогать в этих письмах и потому должен кратко пояснить некоторые семейные обстоятельства, суть употребляемых ласкательных прозвищ и обозначений.

Уже не помню, почему я называл мою мать Лякой, она меня – Куриком, а другие родственники – Дудей. Бабушка по матери Елизавета Флуг – прозывалась Джабиком. Отца называли Бяхой, видимо, потому, что он, как я помню, будучи больным, даже летом носил жилетку из овечьей шкуры, которая была похожа на одежду Иоанна Крестителя – как ее рисовали на древних иконах. В деревне же под Дугой, где мы жили в летнее время, северные крестьяне называли овец бяхами.

Учитывая военное время и то, что все письма проверялись военной цензурой, мы договорились с тетей Асей о том, что налеты немецкой авиации, артобстрелы и вообще немцы будут называться «дядей Федей».

Сегодня не многие помнят, что дистрофия, а попросту приближение к голодной смерти, выражалась в страшных расстройках, а также в остановке работы желудка. Общеизвестно, что многие истощенные голодом люди, вырвавшись из блокадного Ленинграда, неосмотрительно наедались и умирали в страшных мучениях, как это называли в народе, от заворота кишок.

Также могут показаться странными сообщения о еде; но это потому, что для умирающего от голода человека кажется невероятной возможность есть, учитывая, что хлебный паек в Ленинграде составлял всего 125 граммов. Люди варили суп из ремней, «счастливыцы» – из столярного клея, в городе исчезли кошки и собаки, не было видно ни одной птицы, и я помню запорошенный снегом человеческий труп, из которого были вырезаны куски мяса.

Я помню, как еще в начале блокады к нам пришла одна знакомая, похожая на тень, закутанная в старый офицерский башлык, и рассказывала о том, что она видела фильм «Маскарад» (это был последний сеанс в закрывающемся кинотеатре). Ее интеллигентное лицо, с непомерно большим носом, желтой кожей выступающих скул, оживилось в запомнившемся мне комментарии к фильму. Многие люди, смотря эпизод петербургского бала, хотели бы, по ее словам, крикнуть Арбенину, выяснявшему отношения с Ниной: «Глупец, неужели ты не видишь всех возможностей роскошного стола, заставленного блюдами с яствами? Ешь, а не выясняй отношений!»

Многие, говоря о еде, применяли ласкательные суффиксы. И тетя Ася рассказывала моей маме о том, как ее муж, дядя Коля, накричал на нее, когда она назвала суп – супчиком, а кашу – кашкой:

«Не говори ласкательно о еде! Это начало конца. Человеком должен править дух, а не еда!»

Так что читатель, надеюсь, простит меня, полуголодного мальчика, за изумление перед кашей, супом и прочей едой, о наличии которой я сообщал родственникам, чтобы они меньше переживали за меня.

Приезжая в город моего детства, я прихожу на Серафимовское кладбище и вижу, словно уходящие в небо, до горизонта новостроек, рвы блокадных братских могил, где никто не знает точно место захоронения своих близких. Заказав, как всегда, в кладбищенской церкви Серафима Саровского поминание длинного списка родственников, прохожу через заросли бузины и могучих деревьев к черному кресту, который я с таким трудом достал на кладбище, и смотрю на этот оплаканный дождем крест, благодарно чтя в сердце память о тете Асе и дяде Коле, которые столько сделали для меня. Николай Николаевич скончался, когда я уже учился на первом курсе Академии, в 1952 году, а Агнесса Константиновна – вскоре после моей первой выставки в Москве в 1957 году.

В далекую, затерянную в лесах деревушку Гребло, где мне довелось прожить два года после спасения от голодной смерти, они постоянно присылали мне книги, репродукции с картин великих художников, дореволюционные открытки, отражающие эпопею 1812 года.

Они присылали также газеты, журналы, плакаты. И сегодня я могу сказать, что благодаря им не прерывалась связь великой духовности и великого мира Санкт-Петербурга с моей скомканной горем детской душой, словно я по-прежнему жил в родном городе, в своей квартире на Петроградской стороне. Вокруг меня – Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь, Тургенев, Лермонтов, Данте, Диккенс, Стивенсон, рассказы из русской истории и многое-многое другое... И теперь, когда я в одиночестве и грусти беру с полки чудные тома: «Грозная туча»-об Отечественной войне 1812 года; «Под русским знаменем» – с прекрасной обложкой, на которой яростно оцетинились солдаты у желтого знамени с черным двуглавым орлом, словно осеняющим своими крыльями доблестных русских воинов, или смотрю на небесно-голубой переплет с золотой царской короной книги «Царские дети и их наставники», которую я перечитывал взахлеб, словно заучивал наизусть, – на душе моей становится легко и грустно, будто слышишь «Адажио» Альбинони или могучее бореие «Неоконченной симфонии» Шуберта.

Письма охватывают переломный период моей жизни с марта 1942 года, когда меня увезли из блокадного города, до возвращения осенью 1944 года в Ленинград. Мать тогда осталась лежать в холодной квартире, теряя силы с каждым днем, и я до сих пор не могу понять, почему родственники отца не вывезли ее вместе со мной из мертвого города. Я по сей день мучительно раздумываю над этим...

Может быть, потому, что они недолюбливали мою мать? Причины для того могли быть разные. И я был для них прежде всего Олин сын – избалованный, непоседливый и неуправляемый в силу своих устремлений и артистического темперамента, которым наградила меня природа. Я просто проявлял свою индивидуальность. «Илью надо воспитывать», – очевидно, справедливо считала бабушка по отцу Федосия Федоровна Глазунова. «Иди за грибами, собирай ягоды – тебе, как всем, надо работать и учиться». Я это понимал, но не люблю до сих пор собирать грибы и ягоды. Как не приемлю и многое другое, а люблю часто то, что многие не могут понять, а иногда принять. Мир, который меня любил, был в оставшихся в живых родственниках матери. Мне так важно было ощутить связь с ними, особенно когда слово «круглый сирота» давило меня и заставляло смотреть с тихой завистью, как другие матери и отцы любят своих детей. Одиночество стало моим спутником на всю жизнь, и бегство от него в борьбе за обретение воли и покоя стало во многом определять образ существования. Что может быть страшнее одиночества в толпе или в чужой семье? Я думаю, что, приведя фрагменты писем любящих меня родственников, дорогой читатель, отражу не только свою жизнь той поры, но и свидетельства очевидцев ушедших, но незабываемых «страшных лет России».

Не боясь показаться неискренним, я хотел бы сказать, что меня очень взволновало то, что две незнакомые друг с другом машинистки, перепечатававшие текст этой главы, говорили мне, что они плакали, читая эти пронизанные болью письма военных лет. Одна из них, правда, сказала: «Вам никто не поверит, что эти письма написаны одиннадцатилетним мальчиком»; а один из моих друзей-писателей понимающе кивнул: «Ты подработал и отредактировал многое в этих письмах». Нет, это не так!

Хочу заверить читателя, что эти письма действительно написаны одиннадцатилетним мальчиком – все оригиналы писем сохранены и находятся у меня. Могу лишь повторить, что многим людям, родившимся после войны, должно быть ясно, хотя бы из этих писем, что наше военное поколение, видя смерть, кровь и горе, очень быстро взрослело, и я вправе сказать, что моя жизнь состоит из многих жизней, потому судьба нашего поколения, выросшего и выжившего в те страшные годы, так непохожа на жизнь поколений послевоенных лет и наших дней. А я живу и благодарю Бога за горе и радость моей страшной и непонятной мне жизни...

«27.03.1942 год.

Дорогая Ляка!

Вечер 26 марта, остановились в каком-то доме в Боровичах. Тоскливо без тебя. Сегодня под вечер застала пурга, накрылись брезентом. Проезжали село Кончанское! (Какая для меня радость!) Видел церквушку, в которой Суворов читал и пел на клиросе; вокруг нее заросло соснами старое кладбище, видел и дом великого, и памятник ему. Попадаются чудные места для композиций.

Видел трофейные немецкие автомобили. Тоска, грусть...

...Буду писать тебе все по порядку. В 2 часа мы вышли из квартиры. У подъезда ждал нас грузовик (открытый), но с прикрытием из фанеры у кабины, так что ветер дул с боков и сзади машины. Поехали по набережной. На машину подсел Ермолаич^[5] (ему на Охту). На машине было 6 человек: я, т. Тоня, баба Ф., шофер, санитар и его дочь 13 лет. (Санитар приехал в Ленинград за семьей – а от семьи одна дочь.)

Санитарская дочь (Валька), я и т. Тоня сели спиной к кабине, прикрывшись одеялом, бабка в кабине с шофером, а санитар с нами. Поехали.

Вихрем промчались по озеру Ладожскому. Мчались так, что я думал, что мотор разлетится. Проехали питательный пункт (очень жалко было, потому, что там давали по 1 кг хлеба, детям 200 гр. печенья, шоколад, давали также и масло, пресованную крупу, колбасу и обед). Но что делать! Проехали, так проехали... На ночь остановились в деревне Чаплине в крестьянской избе, первопопавшейся. Там жили (перевертываю стр., подходит бабка) только хозяйка с мальчиком. Было жарко натоплено. Поели картошку и легли спать на полу. Вещи все принесли в избу, так как если оставить, то все «свистнут». Ели еще кашу крутую, так что резалась как булка... хлеб, котлетку и картошку величиной с маленькое яичко (обменяли на спирт у хозяйки). На меня сыплется град поучений и злых шуток только со стороны бабки. Тетя Тоня ко мне добра и ласкает. Утром встали рано. Поели каши с чаем и с хлебом, поехали. Иногда т. Тоня в дороге давала по 2 маленьких сухарика, то кусочек шоколадца, то котлетку.

Когда подъезжали к Тихвину, видел разбитые избы, обгоревшие танки немецкие. В Тихвине есть очень много обгоревших домов, но кое-где стоят...

Ехали-ехали, к вечеру приехали в деревню. Выпил чаю с молоком и хлебом, почти наелся досыта. Легли спать. Утром встали, сели в машину, поехали. Ноги замерзли. В Хвойной и питательном пункте должен быть суп, но его не было, поехали дальше. Поели в машине хлеба и котлетку, закусил шоколадцем (долькой).

Вечером приехали в Боровичи. Остановились в квартире с электричеством и с радио. Из питательного пункта принесли чудный картофельный суп... Лег спать и вот сейчас встал попил чаю с хлебом и хочу очень есть. Тоня и Федосья пошли в питательный за обедом. Поедим и поедем в Валдай к дяде Мише, у

которого наверно пробудем несколько дней. Вот, Ляка, тебе и вся хроника во время поездки. Проезжали и Новую Ладугу... Дали телеграмму тебе и Ермолаю. Федосья проходу не дает. Например, когда вошли в избу, я сел на скамью и стал валенки поправлять, а Федосья: «Илья, не балуй, не балуй».

Приехали в Хвойную. Я ее спрашиваю: «Слезать мне?» А она: «Не лезь, Илья, куда не спрашивают», – самым грубым тоном. Я тих, как мышь, а она все еще умудряется меня ругать.

Нет человека, с кем можно было бы поговорить без учений и замечаний.

Да, я теперь стал ценить как золото то обращение, с которым ко мне относились дядя Коля, Атя, Вера Б^[6] и остальные мои дорогие родные...

29. 03.1942 год.

Милая Оленька!

Я не буду пускаться в подробности, так как Ильюша пишет вам положительно обо всем.

Дорога прошла совершенно благополучно... Ильюша был молчалив и задумчив, да это и понятно. Но все-таки улыбка показывается у него все чаще и чаще, и я думаю, что по приезде к Ксении он совсем окречетает.

...Сегодня второй день, как мы ведем оседлую жизнь и почти все время Ильюша пишет письма, вчера с утра он немного рисовал.

...Во всяком случае, весь путь он держался прекрасно, ни хныканья, ни стонов, ничего. Только вечерами и он и я разрешаем себе прижаться друг к другу и немножечко отвести душу и даже поплакать. Миша его встретил сердечным образом, вот тут-то оба наши мужчины и большой и маленький всплакнули.

Всего, всего хорошего. Привет Инне. Антонина Глазунова.

30. 03.1942 год.

...Слышала ли ты, т. е. чувствовала ли ты, что я не переставая думаю о тебе? Родная моя, как у них все непривычно для меня. Инна была права, говоря, что самое ужасное, когда чужая семья приучает к своим порядкам. Как мне все это противно и тоскливо. Если бы наверняка знал, что это временно, т. е. бы знал, что ты придешь, а главное останешься жива, то я бы все переносил и было бы наплевать на все их порядки, но я не уверен, что это временно, а что я останусь здесь, т. е., на всю жизнь. Ляка, родная, солнышко мое, напиши, успокой мое сердце, как твое мнение о тебе? В уме моем проходят ужасные картины (хорошо известные тебе). Я весь полон душевной муки и страдания. За тебя и за Атю болит сердце. За эти 6 дней у меня в душе все переменялось, т. е. переменялся характер. Я понял, что такое родной дом и родная мать, понял и оценил заботу обо мне, вызванную любовью, а не обязанностью. Что бы я дал, чтобы очутиться у тебя на груди и в нашей дорогой и уютной комнатке.

Ах, зачем, зачем я уехал от тебя и от Аси?!

31. 03.1942 год.

Дорогая Атюничка!

Я не знаю, поправится ли Лякушка или нет, и от этого сердце наполняется тревогой и тоской. Характер мой за эту неделю, мне кажется, очень переменялся... Я стал сдержанное, научился держать и не выказывать свои чувства наружу, а главное понял, что такое заботы, вызванные любовью, и что такое заботы, вызванные обязанностью.

Атюничка, родная моя! Зачем я уехал?! Когда-то увижу вас, дорогие мои? Когда думаю об этом, подступают слезы.

4. 04.1942 год.

Дорогая Лякушка!

...Темно, прощай, радость души. Часто «разговариваю» с Тем, что ты мне дала на прощанье, а тебе дала Джабик! Да! Да! И говорю от сердца и стал теперь как Вера Берхман. Обязательно сделаем то, что Джабик хотела. Поправляйся, Спрячь у Джабика дедушкины вещи. Спокойной ночи!...

5. 04.1942 год.

Как твое здоровье? Тоскливо без тебя! Как дядя Федя^[7]? Как Асины дела? Ничего не жалею, абсолютно ничего! Что теперь по радио передают по литературным передачам? Как я рад, что видел тебя во сне (сегодня опять.) Видел тебя и Асю!!! Как ты думаешь, почему я вас каждую ночь вижу?...Как было хорошо жить до нашествия Гитлера! Хочется рыдать, когда вспоминаю наш домашний уют, театр им. Кутузова, Джабика, чудные вечера зимой (после художественной школы), приход в 4 часа Ати, такой уютной и аппетитной, походы в Ботанический сад и тебя – здоровой, добренькой и чистенькой... Так иногда тоскливо, что думаю – умру...

...Рассказов для тебя масса. Хочется лечь к тебе под одеяло... и рассказывать без конца. Федосья... говорит, что возьмет энциклопедию! А я-то радовался, что у меня есть энциклопедия. Спрячь, если попадутся, Джабиковы рисунки... Очень любопытно мне посмотреть картинки, гравюры и «Элладу» –

только и думаю иногда о них. Кончаю писать. К вечеру начну новое письмо, а может быть, уж завтра утром! Прощай, родная...

7. 04.1942 год.

Прости, что вчера не писал. Посылаю картинку – изображает лесного кузнеца. Справа 2 воина (мышки). Кто пришел, чтобы выковать щит, кто – колье, утка (хозяйка) пришла, попросила сделать кочергу и пошла домой; у гномика потерялся молоточек и он попросил выковать новый и ждет, когда его сделают. А тараканы пришли за ведрами и им сделали и они пошли домой и зайдут по дороге к дому на ручеек – за водой.

...Каша – пшено, в рот не лезет; суп из пшена... Как, родная, самочувствие? Поправляйся скорей! Приезжай скорей!

9. 04.1942 год. Утро.

Нахожусь в смертельной тревоге за вас! Прочитал в газете «За Родину», что вечером 4 апреля был на родной город налет, что прорвались одиночные самолеты, которые беспорядочно спустили бомбы, имеются жертвы (написано так). Какая у меня тревога, родимая! Так и вижу вечер: ты пишешь, Инна читает, по радио передача, которая вдруг обрывается и противно тянет сирена. Ты и Инна сперва равнодушны, но когда слышите удары и качание пола, начинаете нервничать. Потом уж предел кошмара; свистя падает на наш дом бомба, и ты умираешь под развалинами в страшных муках, думая обо мне. Как я боюсь, как я боюсь, ты представить не можешь. Чувствую, что больше тебя не увижу. О родимая, солнышко мое. Если я тебя увижу, то я дал клятву стать как Вера Берхман. Темно. Прощай, солнышко.

И. Глазунов.

10. 04.1942 год. Утро.

Как твое драгоценное здоровье? Как опухоль, как понос? Как дядя Федя? Посылаю рисунки уточек, пусть тебе они помогут поправиться! Желаю тебе всего лучшего от этих уточек. Лякушка, увижу ли я тебя? Зачем я уехал, зачем я это сделал Я бы видел сам, как ты умираешь, и мог попрощаться с тобой. Дорогая мать моя, драгоценная...

Прости, что изводил тебя до войны. Какое было время до войны – как сказка! Напиши, поправишься ли ты или нет... Обними меня, родимая. Плачу по ночам – чувствую, что тебя не увижу. Буду ли я на рождение с тобой или нет?! Ой, золотая рыбка, поправься, умоляю тебя, не умирай, родимая...

18. 04.1942 год.

...Выходил сегодня на улицу. Еще в рощах и лесах снег – а на полях мало. Я видел, золотая, красную бабочку! Смешно, она села в метре от снега! Травка пробивается. Пошел, устал. Как-то странно без тебя в деревне! Читаю Г. Уэллса «Невидимка». Темно, прощай, родная. До утра.

19. 04.1942 год.

...Федосья не считается со мной. Вчера вечером начальник госпиталя дал Тоне переписывать какую-то работу (она сама попросила) и вечером у лампы она села писать. Федосья стала чертить листы для работы, а я сбоку стоя читал; она (т. е. Федосья) чертила, употребляя книгу вместо линейки. Отчертит лист, и пока вытаскивает 2-й, книгу-«линейку» бац мне на книгу! Я отодвинулся, а она: «А мне удобнее, чтобы книга здесь лежала, я занята делом, а ты нет!» И так раз пять: начертит – и бац на книгу! Подумай, как я несчастен! О, Ляка, поправься, поправься! Так, дети у Глазуновых – ничто. Самолюбие мое страдает...

...Я одинокий и несчастный без тебя, не чувствую себя хозяином (хозяином не полным и на 10-ю часть. Выходи и на солнце во что бы ни стало. Какой я был противный дома? Верно?

21. 04.1942 год.

Дорогая моя Лякушка!

Первый день рожденья без тебя, не могу подумать об этом, помню всегда твои чудные подарки, твои ласки и поцелуи, без которых я жить не могу. Напиши, утешь меня. Нарисуй мне стол, 12 букетов и подарки на столе! Ладно? Родная моя, ничего не жалею, все пускай в дело...

Всем привет и поцелуй!

23. 04.1942 год.

Сейчас, куда я пишу, не знаю, жива ты или нет? Все время терзает эта мысль. Прочитал стихотворение А. Пушкина «Романс». Оно частично относится ко мне. Гуляли на холме возле озера. Федосья с трудом перешагнула через какую-то лужу, а я подумал: «Лякушка бы свободно перешагнула». Все мысли о тебе. Пиши мне. Так подолгу вспоминаю последние и ранние годы моего счастливого детства...

...Родная моя, Ляка, не тоскуй без меня, а поправляйся... Я прочитал книгу «Тайна двух океанов». Помнишь Эрмитаж? Помнишь в нем фарфоровый Парнас? Помнишь генералов 1812 года? Покупки открыток, покупки книг, мое бегание к «китайцам»? Как чудно было! Гулять не пошел:

пришел начальник и 2 часа рассказывал, как он был в плену в 1916 году и т. д. Как-то ты? Бедная моя, дорогая Лякушка... понял – мать великая вещь – и кто может ее ласкать – счастливцев...

26. 04.1942 год.

...Драгоценная Лякушка!

...Узнал, что через 2 с половиной километра есть исторические места, связанные с нашествием тевтонов, – вал, окопы на холме. Гулял; родная, бедная моя крошечка, дорогая Олечка... Какая ты была жалостливая! Как ты мне все свои крохи отдавала! О, мать моя, бесценное мое сокровище! Какое великое слово – «мать»! Для меня это слово – реликвия. Всем привет...

28. 04.1942 год.

Вчера вечером вдруг приехал дядя Миша из Бежецка... Федосья, очевидно, в бане угорела, ей сделалось дурно, давали нашатырь понюхать. Наш домик выпускает «Боевой листок» и просили меня что-нибудь нарисовать. Я нарисовал три картинки:

1– я – боец ранен, 2-я – боец в госпитале; 3-я – вновь в бою. Одобряешь, родная?...

3. 05.1942 год.

...Приехали из госпиталя в Гребло. Выехали из госпиталя 2 мая в 6 часов утра. Ехали-ехали, в Боровичах взяли вещи и поехали в Кобожу, и представь себе, за 30 км до Кобожи завязали! Прицепляли и лошадей и людей – никакого результата. И представь себе, мое солнышко, остались ночевать в открытой машине. Моросил дождь, вытянуться негде, завернувшись в Бяхино пальто, я с горечью вспоминал уютную нашу комнатку, тебя, ласковую и добрую. Наутро прикатали вторую машину и вытащили нашу из грязи... Приехали. Озеро огромное! Вообще, комнатки чудные, но мне уютно не особенно – ведь без тебя...

Родная, у меня к тебе великая просьба, приезжай скорее, но только когда более или менее окрепнешь – только тогда! Лучше поездом, чем на баржах.

...Ляка, я нахожусь в мучениях, дядя Миша сказал, что, возможно, останемся на зиму и что меня отдадут в школу. Когда думаю об этом – то кажется, что лучше умереть.

...Немедленно ответь, как мне быть, но так, чтобы дошло до сентября... Дядя Миша купил мне кучу чудных книг, как-то: Тарле «Наполеон», «Севастопольская страда», «Приключения доисторического мальчика». Очень тоскливо...

4. 05.1942 год.

Родная, ой, тяжело мне. Украдкой набегают обильные слезы – какую я сделал непростительную ошибку, что уехал! Я отдал бы 60 лет жизни, чтобы вернуться к тебе. Ты будешь уверять, что хорошо, что я уехал, что нас бомбят и голодно, а мне наплевать, лишь бы быть с тобой. Счастливая тетя Тоня, она чувствует себя как дома (так мне кажется). Бесценная моя Лякушка, пиши мне, ты последняя моя надежда, ты последняя моя радость... В душе все время реву в 100 рек. Эти реки можно остановить только тогда, когда я увижу твое дорогое личико, Ляка, родная Ляка! зачем я уехал?!! Счастливые тетя Ксения, тетя Тоня и бабушка смеются, им весело, мне и смеяться не хочется, был бы я с тобой, да дома, так я бы смеялся! Скоро ли кончатся эти проклятые мытарства???

Не завидуй мне ни капли. Если б ты была в таком состоянии, то пожалела бы своего бедного коротконосика... Курик.

4. 05.1942 год.

Дорогая моя, Атюнечка!...Пиши честно, что с Лякой и со всеми; терпеть не могу «подготовки». Настроение подавленное и мрачно-тоскливое...

6. 05.1942 год.

...Теперь я остался без Ляки! Я – круглый сирота! Что мне делать? Я одинок, несчастен... Вчера под вечер пришло письмо от тебя; сперва говорили, что маме очень плохо, но после моих приставаний сказали, что дорогой нет!

Я весь вечер проревел, а утром проснулся и опять стал реветь. Тоня взяла меня к себе в кровать, но я еще больше заревел, вспоминая, как я спал уютно рядом с Лякой... Атя! Атя! Для чего мне жить, я потерял всех, кого так сильно и безумно любил (за исключением тебя, дядя Коли, Аллы и Нины). Большое спасибо за письмо; больше никого у меня нету! Счастливое, хорошее детство закончилось безвозвратно. Сейчас все еще не верится, что я без дорогой, бриллиантовой, золотой Ляки. Никто не заменит мне любящего сердца Ляки. Как все ужасно, начиная с Вырицы! Жуткий декабрь, январь, февраль, март и начало апреля. Опиши мне, пожалуйста, до точки последние дни, дорогой, в котором часу она умерла, что говорила обо мне? Получил от нее три письма 25, 26, 30 марта. Тоня спросила: «У кого ты будешь жить?»

Я говорю: «У Аси». «А она примет тебя?» Я и ляпнул: «Да»... Жизнь мне как тяжелое бремя. Так хочу умереть... Атя, Атя, как я одинок, хотя все ко мне ласковы, особенно Тоня... Атя, какая тоска, возьми меня к себе, хоть на денечек – так хочется к тебе, ты последняя, кого я знал и сильно люблю с первых лет моей

жизни. Атя, Атя, кто заменит мне Ляку? Кто заменит дорогую мамочку? Кто меня с радостью прижмет к сердцу? Что меня ожидает – жизнь, полная мук и страданий... Сказали, что осенью отдадут меня в школу, а для меня школа – мука самая зверская: я боюсь говорить, Ляка это знает и всегда утешала, что не бойся, ты хорошо говоришь (а сама нервничала), не спала ночи, волновалась за меня, так как мои муки – это ее муки... Утешь, как Ляка, замени, если не трудно, хоть чуточку Ляку. Лякик сказала, что я рада, что тебя так любит Ася, я умру спокойно. Бедная Ася! Возьми меня к себе, они хотя и ласковы, но все-таки чужие мне...

...Дорогой дядя Коля!...Коля я одинокий, жить надоело. Хочется домой, в свою семью, не хочу верить, что Ляки нет больше, Боже, Боже! Умоляю Бога, чтобы дал мне умереть от воды или от пули...

Помни когда-то счастливого и жизнерадостного круглого сироту. Пишите.

7. 05.1942 год.

Дорогая Атя!

...Утешил себя тем, что решил, что Ляка видит и слышит меня, что всегда стоит у меня за спиной и охраняет меня. Когда я дошел до этого, мне стало чуточку легче и стал меньше реветь. Ее образ будет всегда гореть в сердце жарким огнем бесконечной любви! Повесил родной образ Ляки над койкой (где она молодая в 1915 году). Скоро будет мое рождение. Как тяжело будет без дорогой! Она всегда с вечера раскладывала подарки на столе и рано утром я шлепал к столу. Сколько мне лет – столько и букетов, как было хорошо! Этого никогда не будет. Детство закатилось навеки. 10 лет я жил счастливо, не уступая в счастье любому принцу. Атя, возьми меня к себе (если хочешь), я буду рад... Главное – письма.

12. 05.1942 год.

Многоуважаемая Агнесса Константиновна!

Я все-таки надеялась, несмотря ни на что, что судьба, лишив Ильюшу отца, оставит ему мать. Ваше письмо уничтожило эти надежды.

Когда я получила ваше письмо, Ильюша был рядом со мной, узнал ваш почерк и стал настоятельно требовать, чтобы я ему сказала правду. Он почувствовал, что вы должны сообщить. Вечер был такой тяжелый, он весь дрожал, плакал. Ночь с помощью валерианки он благополучно спал. Утром мы со страхом ждали, когда он проснется. Вы сами прекрасно знаете, что безжалостное утро всегда подчеркивает горе человеческое. День мы не оставляли его ни на минуту одного, к вечеру он немного успокоился, ночь прошла снова спокойно. Последующие дни он спокоен, шутит, но на душонке у него наверное плохо. Мы вместе с ним вставляли в рамочку фотографию Оли. Одна висит около его постели, вторая постоянно при нем.

Вы пишете, что от него нет писем. Он писал ежедневно или Оле или Вам, иногда и Оле и Вам.

...В дороге он держался молодцом, Миша его встретил очень сердечно. В госпитале он начал медленно, но верно поправляться. Вначале ему давали для укрепления организма витамин «С», потом рыбий жир, довольно долго он температурил, врач очень внимательно за этим следил и, в конце концов, стало ясно, что причиной были исключительно железы, потом и температура стала нормальная.

Скучал он в госпитале довольно сильно, так как отвлечении до того времени, как мы стали выходить и делать прогулки, было очень мало – книги, лото и домино. Кроме того, у нас с мамой столько душевных ран, которые даже затянуться не могут, что уделить ему столько внимания, сколько мы хотели бы, мы были просто не в состоянии, а потом – за тоненькой перегородкой были чужие люди, и это сильно связывало нас всех. Хорошо для Ильюши было одно, что ни одного дня он не терял аппетита и ни одной ночи не терял сна. У мамы были очень сильные боли в ноге, и она ночей не спала.

Из госпиталя он поехал уже значительно поправившийся и порозовевший. Ксеничка встретила его прекрасно. Оказала ему много ласки и внимания. Сейчас Ильюша выглядит так, как никогда, даже в мирное время я его таким не видела. Он очень пополнил и немного загорел. Погода стоит, как правило, холодная. Последний период он много времени проводит на воздухе, катается на лодке, играет с мальчиками, вечером читает. Внешне он выглядит совершенно спокойным и довольным, даже веселым, но на сердце, надо думать, у него не так благополучно.

Может быть, я ошибаюсь, но... Я, например, не замечаю никакого тепла с его стороны по отношению к Мише, который заботился о нем в мирное время и готов был взять на себя все заботы о нем (еще не зная о смерти Сережи) в наше трудное время. Это желание взять на себя воспитание мальчика у него, тем более после смерти Сережи и Оли, есть и сейчас. Ни одного раза Миша не заходил в госпиталь, чтобы не привезти чего-нибудь Ильюше – или книги, или ночные туфли, или краски; всегда он чем-нибудь старался его порадовать. Кроме того, Вы, конечно, понимаете, что молочные реки и кисельные берега сейчас не существуют. Со времени нашего приезда Миша похудел отчаянно, так как все, что он получает питательного, он отдает нам, чтобы, быстрее восстановить наши организмы.

Теперь несколько слов о желаниях Ильюши. В госпитале по отрывочным разговорам я поняла, Агнесса Константиновна, что он очень привязан к Вам. Здесь, после получения Вашего письма, я, в

разговоре с ним, нашла нужным спросить его: «С кем ты хочешь жить?», так как наши слова о том, что и Миша, и Ксения, и я с Шурой смотрим на него, как на своего, мало действовали. Он ответил, что хочет жить с Вами. Мы, конечно, его уверили, что при первой возможности отвезем его к Вам.

Так как это первая возможность не имеет определенных сроков и какой-то период времени он будет находиться с нами, мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы побольше и поподробнее сообщили об особенностях его характера, чтобы нам легче было ориентироваться.

Ждем Вашего письма. Мама и Ксения Евгеньевна шлют Вам сердечный привет. Всего наилучшего. Уважающая Вас А. Глазунова^[8].

29. 05.1942 год.

Дорогая Атя!

Как твоё здоровье? Как дядя Коля? От тебя нет никаких писем – что с тобой? Бедные мои, верно, никогда не увидать вас?

Детство навеки закатилось. Ездил с хозяйкой рыбу в сети ловить. Жалел, что не могу вам дать. Атя, приближается первое, суровое, без Ляки и вас рождение. Тоска, тоска, ее можно вылечить непрерывной лаской, а ее мало для меня. Сядет бывало Ляка у кровати, когда я засыпаю, и ласкает, ласкает. Утешаю тем себя, что думаю, что Ляка всегда со мной. Чувствуется, что мешаю им. Хочется к вам. От бабушки все поучения. Добрее всех Тоня! Потом т. Ксения...

Пришли карточку Ляки и меня, где мы вместе. Благодаря Ляке я очень сообразителен и с одного слова, с фразы, иногда понимаю кое-что, а они думают, что я кусок дерева. Без Ляки тяжело очень. Как быть? Что ожидает меня? Суровая, без ласки жизнь обхватила меня, вырвав меня от нее. Пиши мне. Миллион раз целую моих дорогих, которых даже при желании трудно забыть...

3. 06.1942 год.

...Как твоё здоровье? Не хочется жить, хочу умереть. Чувствую все время, что всем в тягость, а что самое ужасное – сердце съела тоска по родному и ласковому дому. Если увижу тебя, то буду счастливее всех на всей земле. Проклинаю тот час, когда уехал от вас, моих родных и добрых, где я чувствую, что меня любят. В сердце запели райские птицы, когда прочитал в твоём письме к Тоне:

«Я его люблю как сына». И в письме ко мне: «Ты мне всегда нужен». Этим словам, чувствую, не суждено сбыться. Мне никогда не увидать вас, бомба убьет тебя... Зачем жить? Если с тобой что-нибудь случится, то мне жизнь среди тех, кто меня не любит, не жизнь; это, иначе говоря, – тюрьма. Что лучше – тюрьма на всю жизнь или смерть? Я выбираю смерть. Посылаю, если позволяют обстоятельства, телеграммы.

Всем привет. Душу в объятиях дядю Колю... Тоска...

10. 06.1942 год.

...Как мне хочется обнять тебя! Когда мне особенно тяжело и грустно, стараюсь представить, что сказала бы дорогая. Она с Джабом и Бяхой живет там и ждет меня. Верно? Пишу о случаях жизни нашей, чтобы впоследствии составить очерк. Как Инна? Как дядя Коля? Очень тоскливо. Ношу Ляку на груди в рамочке, медальона нет...

13. 06.1942 год.

...Получил твоё письмо, с картинками, большое спасибо, как раз 11 июня. Рождение прошло хорошо, только доставало вас, а в особенности Ляки. Получил 12 подарков: портфель, два альбома, носки, галстук, серебряную цепочку, карандаши цв. и 12 рублей...

Бабушка неприятно подчеркивает каждый раз: что «Вот я тебе выстирала рубашку, или носки и т. п.». Это очень неприятно; я как-то раз читал, а она: «Вот я тебе выстирала рубашку». Я что-то буркнул. На следующий день приписка на твоём письме: «Ильюша! Если человек по той или другой причине сделал тебе добро, то следует благодарить его, тем более следует поблагодарить человека, когда он ничего не обязан тебе делать, подумай». Для вас приготовили подарок (тебе и дяде Коле). Тебе корабль – шхуна «Святая Ольга», а дяде Коле – самолет... и такой же корабль. Думаю делать и птичку – тебе и что-нибудь Алле и Нине... Какая у вас комнатка? Опиши, что где стоит, возьмешь ли ты меня к себе жить или нет, напиши прямо, без утаек. Я буду изучать языки, буду образованным, как подобает нашей семье, буду достойным сыном Ляки, чтобы она видела меня и радовалась; буду изучать книги священные, чтобы читать Библию (...если будут позволять обстоятельства, то, пожалуйста, купи). Бедные мои, как-то вы? 1400 английских и американских самолетов бомбили Берлин. Скучаю без вас, пиши, если не трудно, каждый день... Обнимаю родных и любимых, всем привет. Спасибо за картинки. Повяло Джабом и домом.

18. 06.1942 год.

...Возьмешь ли ты меня к себе? Я с Гл. не хочу жить. Даю тебе их характеристику (так говорила Ляка, и я вполне согласен).

Они не оставят меня рваным и без еды, но ласки, кроме поцелуев «с добрым утром» и «спокойной ночи», не вижу, а для меня ласка – самое главное в жизни. Ты будешь ласкать меня? Возьмешь к себе? Позволит дядя Коля? Или если Н. и А. останутся одни, я буду с ними жить, ты будешь за мной смотреть, хорошо? Мама, ты любишь меня? Я нужен тебе? Дорогие мои, родные, я вас люблю, как себя. Мы будем с тобой сидеть и вспоминать Ляку и Джабу, да? Я буду расти на радость Ляке, чтобы она радовалась, глядя на меня с небес. У нас холодно. Как у вас, приходят ли мои письма к Лякику? Если да – то читай их только ты, Н., А. и дядя Коля. Я ей писал каждый день... Сохрани, пожалуйста, «Квентина Дорварда» Скотта...

26. 06.1942 год.

...Сохрани, пожалуйста, Лякину брошку в коробочке и коробочку с хаткой, сережки черные в туалете. Сережки я подарю на память о Ляке Ниночке... Очень мне жалко, что никогда не увижу родные, напоминающие детство вещи...

3. 07.1942 год.

...Приехал дядя Миша и привез мне духовое ружье (как в тире). Уже подбил воробья и поджарил его. Очень вкусно! Был с дядей Мишей разговор о том, что он может меня усыновить и стать мне приемным отцом.

Я сказал, что хотел бы жить с Асей. Он: «Напиши ее мужу, что если он согласен, то пожалуйста, я тебя при возможности переправлю». Ответ...

Здесь есть лавчонка, где кроме значков сельхоз-выставки, задвижек и хлеба по 300 граммов – ничего... Прощай, золотая, драгоценная мама, поскорей бы к тебе. Твой И.Г.

21. 07.1942 год.

Уважаемая Наталия Никитична!^[9]

Ильюша дал прочесть Ваше письмо. Мне не совсем понятно, что вызвало Ваше беспокойство за него и стремление вызвать его к себе. Не касаясь вопроса о реальной возможности переправить его к Вам, хочу полнее написать об условиях его жизни здесь.

Я не знаю, известно ли Вам или нет, как вообще он очутился с нами? Когда у мужа моего – брата Сергея Федоровича – появилась возможность отправить машину за матерью и мною, он писал о своем желании вывезти и Ильюшу. Первый раз удалось выехать только мне, это было в последних числах января, а в марте выехали мать мужа – Феодосия Федоровна, сестра его Антонина и Ильюша. Узнав о смерти Сергея, а вскоре и Оленьки, (муж мой и я) высказали желание усыновить Ильюшу, тем самым взяв на себя все обязанности и все затраты по его воспитанию. С Ильюшей он сам об этом говорил в свой приезд сюда. Но Ильюша от предложения Михаила Федоровича отказался – выразив желание жить с Агнесой Константиновной, которая считает его своим сыном и в письмах звала жить его к себе. После этого разговора Михаил Федорович написал Монтеверде Н. Н., будет ли он усыновлять его и собирается ли брать на себя все заботы об Ильюше. Ответа мы еще не получили.

Теперь об условиях жизни здесь. Живем мы вчетвером: Федосия Федоровна, Антонина Федоровна, Ильюша и я – в деревне, в двухэтажном доме недеревенского типа, во втором этаже, в двух комнатах. Ильюша спит в одной комнате с бабушкой. Комнаты светлые, сухие, чистые, потолок довольно высокий. Дом стоит на высоком месте, в 30-ти метрах от берега озера. Вид из окон очень приятный – видна часть озера. Озеро большое, берега извилистые, много островов. Деревня всего 12 домов, кооператива нет, за хлебом и на почту ходим в село Кобожу – 2 километра. Лес недалеко – есть ягоды и грибы. Распорядок дня следующий: Ильюшу будят в восемь часов, около 9-ти часов завтрак. Всегда что-нибудь горячее, или картофель во всех видах, сейчас только сушеный, который запекается с молоком и яйцами, или оладьи, блины. Кофе настоящий с молоком и хлеб. Обед: в 2 – 3 часа (так как наступил ягодный сезон – сейчас этот час стал очень подвижным; застреваем за сбором и опаздываем с обедом)... Обед-суп гороховый или щи зеленые с яйцом и сметаной... В 8-9 часов вечерний чай, т. е. кипяток с молоком и хлеб с маслом, зеленый лук... Спать Ильюша ложится около 10-ти часов и с удовольствием. Спит неизменно хорошо. Воскресные дни и дни семейных торжеств, дни рождения и именины всегда выделяются прибавлением к столу всяких приятных вещей... Обязанностей у Ильюши не много – он следит, чтобы вода всегда была в бочке... и наливает в умывальник. Заготавливает лучину для растопки и березовые веники подметать. Все свое время проводит на воздухе, когда нет дождя, ходит в лес за грибами и ягодами, понемногу удит рыбу. Очень увлекается стрельбой из духового ружья. Михаил Федорович в свой приезд сюда подарил ему ружье и к нему 500 штук патронов с опереньем. Стреляет в цель и воробьев. В последних без особенного пока успеха, жертва была одна. Ильюша сам его ощипал и выпотрошил. Я зажарила, попробовать заставил всех. Все продукты, что мы достаем, на месте меняем на вещи, на деньги здесь ничего нет. Главное – это помощь Михаила Федоровича. Проездом в командировках он покупает на рынках все, что находит, а также посылает все, что получает сверх котлового довольствия. Все деликатесы нашего стола – все это от него. И все делится поровну на всех.

Ильюша нас всех знал очень мало, виделись мы редко, на короткие часы. Конечно, он несравненно больше привязан к семье своей матери, Агнессу Константиновну он видел ежедневно, с детьми Лили он вместе рос. У нас, особенно первое время, пока он не привык, он мог потосковать. Сейчас же, право, не вижу на лице его заботы, он весел, оживлен, говорлив. Очень поправился, загорел, окреп. Как долго придется нам здесь жить, сказать невозможно, это не от нас зависит. Готовимся к осени и зиме. В Кобож есть средняя школа. Ильюша будет продолжать учебу. Изменятся обстоятельства, кончится война, захочет Агнесса Константиновна взять его к себе – отвезем, насильно задерживать не будем. Имеет ли смысл переправлять Ильюшу к Вам? Дорога в настоящих условиях чрезвычайно сложна, да и попутчика, сидя в деревне, найти невозможно.

Надеюсь, что письмо мое Вас немного успокоит относительно Ильюши. Ведь не можете же Вы предполагать, что мы к нему относимся недостаточно сердечно. Подумайте, в какое тяжелое время мы его взяли к себе, разве уж одно это не доказывает отношения наши – к нему?

Ильюша сам Вам собирается ответить. Я не надеялась, что он достаточно полно и подробно напишет о своей жизни здесь, поэтому решила сама Вам написать.

Желаю Вам, Наталия Никитична, всего лучшего. Об Ильюше не беспокойтесь.

Ксения Глазунова^[10].

20. 08.1942 год».

Милая Асюша!

Получил твое письмо от 7 августа. «Нас теперь двое – и трое сирот». Сначала я не понял до всей глубины твоей фразы... Лилечки не стало, какая пустота от этого! Бедная, седенькая, тихая, жаль до ужаса Аллочку, как ее любил Рудя, всегда ласково, ласково с ней говорил... Еще узнал, написала Евгения Александровна Толмачева, что Таня и Аня Карпинские умерли! Это какая-то гигантская коса смерти...

Мои планы уехать в район рухнули, не пригласил директор совхоза, кому нужен старик с нищенско-склеротическим лицом? И о какой тишине вокруг меня ты пишешь, родная? Здесь такая металлургическая оживленность, денно и ночно Урал кует оружие, пылают домны, гудят паровозы. Трамваи соединяют все бесконечные промышленные поселки. «Природы» я еще не видел, не считая линии парка с соснами и шиповником... в поселке, напоминающем чем-то Ольгино...

...Псылаю письмо Кс. Глазуновой, оно очаровательно по упоению бытом. Ильюше не плохо, он будет здоровым человеком, ноне... знавшим ласки...

Спасибо, Асюша, что пишешь. Я ещё не могу «привыкнуть» к тому, что нет мамочки и Коки – и Олечки, и Лилечки и Руди, и Сережи...

Обнимаю тебя, моя стойкая сестра. Желаю сил, стойкости и здоровья.

Твой брат Валериан. Привет Коле.

10. 09.1942 год.

Дорогая Атюничка!

...Дядю Мишу перевели в Москву. Получила ли ты его письмо, где он пишет о моем усыновлении? Напишите с д. К. черным по белому: если все будет хорошо и когда война кончится, усыновите ли вы меня или нет?

12. 10.1942 год.

Я нарисовал композицию «1812 год» («Отступление»), на первом плане костер, сидят французы, на заднем – кибитка. На облучке Наполеон, вокруг солдаты. Тоня говорит, что хорошо. Потом «Дубровский». Первый план: аллея, деревья и идет Маша; на заднем – беседка, а в ней Дубровский. Начал также «Дубровский. Поджог дома». Я так вспоминаю освещенную квартиру и Джабика, Ляку, Бяху. И все вы – издали мерцающее сияние. Неужели все потеряно? На каждой обратной стороне рисунка пишу. «Посвящаю Ляке». Она так любила смотреть мои рисунки. Я представляю себе, что ночью они все у меня летают по комнате. Ляка заботливо укрывает меня, целует. Мне вчера снилось, что и ты здесь, смотришь на меня карими глазками...

Получили ли Вера Берхман и дядя Коля мои письма?

15. 10.1942 год.

...Если я не пишу, то только потому, что некогда. Не думай, что я вас забыл, нет. Прочитал Доде «Тартарен из Тараскона». Читала ли ты? Я так любил мое детство, а детство прошло, от него две крохи остались. Если они потеряются – то голод. «Крохи» – это остатки от двух домов: Мервольфов и Монтеверде. Третий – Флуг^[11] – окончательно умер. Целую вас всех, ваш верный сын.

15. 10.1942 год.

Пишу тебе при лампе, у нас богатое освещение: две керосиновые лампы и одна коптилка Шик?! Я прикреплен к столовой (сельповской). В ней обедают служащие сельсовета, учителя и т. д., и всех сирот туда...

...Ходим с Васей, моим товарищем, в школу вместе, он заступает за меня. Из нашего класса я вчера повалил самого-самого сильного – Микотяху.

Тетя Ксения и Тоня добрые тоже. Они ко мне хорошо относятся. Бабушка связала мне чулки из шерсти и сшила из Лякиного пальто костюм. Тоня с тетей Ксенией из-за меня (так как я иду в школу в 8 часов) рано встают, чтобы приготовить мне завтрак, ведь, верно, они хорошо относятся?!

Только что нарисовал композицию: кладбище на первом плане, старушка с мальчиком. Тоня и тетя Ксения говорят, что хорошо. Сделал наброски, как хозяйка Марфа Ивановна прядет шерсть.

29. 10.1942 год.

...Как дела? Спасибо за открытки, не трать деньги, пригодятся. Написал тебе дня три назад письмо. Вообще я пишу 2-3 раза в неделю. Получаешь ли ты письма?... Я теперь много рисую. Получил вырезку из газеты про зверей.

Глупо, Ляка умерла и все остальные, а обезьяны живы...

5. 11.1942 год.

...Атюнечка, дорогая, не бойся за меня, что мальчишки будут бить. Я сумею дать отпор. За меня заступает товарищ Вася, мы с ним очень дружим (конечно, не потому, что он заступается), я сегодня был у него на втором этаже (он в 7 классе), потом стал спускаться вниз. Две девчонки здесь – не чета городским – сильные, хотели согнать меня с лестницы вниз, стали дергать. Я в грудь – бац! Смылись! Завел стальную высекалку (от рашпиля), кремень и трут – в любую минуту могу приехать...

3. 01.1943 год.

С новым годом! Дорогая Атюнечка, как дела? Получил позавчера твои письма (короткие) 6 «Зимними играми школьников» и 2 – с карточками. Подарил первую карточку бабушке, она была очень рада, все смотрит... Также получил «Историю древнего мира» – учебник для 5-х классов, и «Мифы Древней Греции»...

6. 01.1943 год.

...У нас была елка! Увы, бедная. Все украшения сделал я одними красками, из картона, потому что бумаги никакой не было. Без подарков, мне бабушке подарить совершенно нечего. А она мне подарила галстук, резиночку для стирания (для рисунков) и шоколада вот столько!!! Я ее, конечно, угостил, потому что у нее совсем нет, последний отдала. Расставил все фотографии. Всплакнул. Горько, что все умерли...

...Наелся, вкусно как! Я и ваши карточки покормил. Как вы встречали елку? Дядя Миша, кажется, меня усыновил. На бумажке написано, что такие-то у такого-то находятся на иждивении. А то придет милиция, предположим, и спросит, а где вы деньги берете на жизнь? Может быть, вы спекулянты? И т. п. А там написано, что Илья Сергеевич Глазунов находится на иждивении у такого-то и является его приемным сыном и т. д. Я ничего об этом не знаю и сказал ему, что хочу жить с тобой...

...То, что он вывез меня из Ленинграда, то, что он хочет усыновить меня, – это все доказывает, что он любит меня. Верно? Дорогая, я с тобой говорю так от души, ничего не утаивая. Как ты находишь, можешь ты взять меня к себе, можешь ли ты решиться на этот шаг?...

...Я боюсь у них жить, и их так мало знаю, а тебя знаю так хорошо...

...Целую, дорогая. Камень не спал с души, не знаю, что делать, как развлечься? Читаю «Господа Головлевы». Я тебя не забываю и люблю, а ты?...

15. 01.1943 год.

...Сейчас особенно хочется ласки. Тоня уехала. Какое-то тревожное настроение, сердце сжимается... Я так люблю тебя, дорогая, а ты любишь? Далекое прошлое... Гоню от себя злое видение Лякика и всех (умерших) за последнее время: руки – плети, жилы на висках, огромные носы... да что – ты сама видела. Джабик^[12] лежала тихо, как спала, и мне не было страшно этого личика, обложенного веточками, этих ручек, на которых в детстве я строил из морщин заборчики.

Это лицо, эта вся ее фигура была так спокойна, ясна, у сложенных рук отливал потемнелой позолотой лик Божьей Матери. Мы с Лякой сидели на стуле (вернее она села, а я стоял). «Не бойся, Илюшенька, ведь это наш дорогой Джабик», – сказала дорогая Ляка. Она открыла Евангелие и стала читать наугад. Выпало ее любимое место из Завета. Вдруг приоткрылась дверь, пламя свечи заколебалось, мы вздрогнули. Ляка закрыла дверь. А вода в бутылочке замерзла.

Ну, хватит горьких воспоминаний. Я верю (стараюсь верить), что мы встретимся и я буду у тебя. Напиши, возьмешь или нет меня к себе? Прочитал Чернышевского «Что делать». Ничего, только обрывается... Делаю наброски из окна (людей, лошадей и т. д.). Получаешь ли письма? Как Аля, Нина,

дядя Коля, дядя Володя? Возьмешь ли ты меня к себе или нет, когда кончится война? Обязательно ответь, – ладно?...

Помнишь елки, праздники (как-то – рождения, именины и проч.). Хотелось бы, чтобы все повторилось. Горько, что все это вошло в историю, воспоминания... Будет ли елка? Наверное, но без Лякушкиных украшений, без дорогих давно минувших дней, преданья старины глубокой. Вернитесь, мои родные! Ведь верно, они всегда с нами!

14. 02.1943 год.

...Большое спасибо за картиночки и книги. Я так рад, так рад «Войне и миру», что ты себе представить не можешь. Как интересно! Как чудно написано! Да? А то бы я без чтения пропал совсем. У нас, как я писал, военные занятия. Писем получаю очень мало. Спасибо за «Фрунзе». Скоро весна...

Ездим за дровами. Бедной бабушке очень тяжело – одна осталась. Наверное очень тоскливо и одиноко. Много делает. Как-то вы?

9. 03.1943 год.

Дорогая Адюшка!

Помнишь, ты прислала в «Костре» пьесу? Ее поставил наш класс 8 марта. Все очень довольны, я всех гримировал, то есть делал погоны, усы красил. А до этого была пьеса «больших» (все девушки), из колхозной жизни – не интересно. А учительница, узнав, что эту пьесу прислала тетя из Ленинграда, просила, чтобы я написал ей, чтобы она купила еще пьесу к 18 марта (Коммуна Парижская) и к 1 мая. А лучше что-нибудь из этой войны, или, если нет, то о войне финской, гражданской, о пограничниках...

Целую тебя крепко. Привет дяде Коле, Але, Нине, Верочке Берхман.

3. 04.1943 год.

Мой родной, посылаю три марочки. Получаешь ли ты?... Третий раз подряд «дядя Федя» скандалит. Сажу на службе – перерыв на обед. Домой не пойду. Хочу написать тебе и Ниночке. Дома так много дела. Очень рада, что получила от тети Ксении две книжечки. Я послала тебе «Демон» – отд. издание, рисунки Врубеля. Они хороши в красках. У нас весна, но на службе холодно и сыро. Сажу в ватной кофте – прозодежде и вожусь с семенами. У нас своя оранжерея будет. Как бы я хотела, чтобы ты прибежал ко мне по дорожке сада. Мой мальчик – 8-го память мамы. Будем мы с тобой в этот день думать о ней. Так и заболит сердце, как вспомнишь. Получил ли ты рисунок вашего дома? Послала еще четыре книжечки Гоголя.....Прощай пока, родной, Атюня.

19. 04.1943 год.

Мой родной мальчик, писем от тебя нет очень давно – месяц верно. М. 6. придут сразу. Вчера был ужасный день – «дядя Федор» был у нас в гостях в саду. Было рождение Джабика. Мой дорогой, хожу в грязных сапогах, нет гуталина, и все вспоминаю тебя. Придешь, а ты вычистишь своими маленькими ручонками. Спасибо тебе за это внимание. Теперь некому вычистить. Ты всегда был так добр ко мне. Будь таким всегда. Получаешь ли ты книжки? Послала много пьес для школы, тебе прочитать кое-что. «Суета сует» о Меньшикове, дядя Коля послал «Шрифты» тебе для плакатов. Напиши, что получаешь. Много марочек послала. Живем, с едой ничего. Скоро будем в огороде работать, а с «дядей Федей» плоховато. Так надоедает! Ночью раза 4 – 5 разбудит. Пишу наспех – очень много работы. Почти каждый день или пишу или посылаю тебе что-нибудь.

...Не забывай, будь здоров и счастлив. Твоя Атюня.

7. 05.1943 год.

Я получил «Суета сует», «На земле», «Домик на холме», «Ярость», «Шрифты» (очень интересные). «Мертвые души» еще не прочитал, за них тоже безмерно благодарен...

Дорогой дядя Николас!

Благодарю тебя сердечно за марки, я им очень, очень рад, так же как и книжкам. Календарей я, к горю, не получил, наверно украли, так как здесь их нигде нет. Газеты присылает дядя Миша, читаешь ли ты газету-журнал «Британский союзник»? Очень интересно... Радио здесь вообще нет. Только в сельсовете и в М. Т. С. Я рисую, но мало бумаги, надо экономить. Наверно буду летом работать. Учю уроки. Скоро экзамен... Как ужасно, что дядя Федя с ума сходит. Целую тебя крепко. Дорогой мой, не трать даром для меня деньги, лучше купи хлебушка. И.Г.

19. 05.1943 год.

Я так благодарен тебе за внимание! Дорогая моя, Атя, ты пишешь, что у вас свирепствует дядька Федька^[13]. Сохрани вас Бог! У нас новость. 12 мая приехал дядя Миша. Привез нам много вкусных вещей. Он это скопил от своего пайка. Он очень добрый и видно, что меня любит. Привез мне свои галифе, гимнастерку и пилотку. Я очень рад. Привез мне коробочек немецких, патронов пустых (гильз) и давал нам, то есть Павлухе, Грише (хозяйскому сыну – 10 лет) и мне по пять раз стрелнуть из нагана системы «Кольт». Я очень обрадовался, когда он дал нам «бахать». Бабушка сменяла, на свое платье 20 литров

молока (платье вышитое), и мы теперь с молоком. Целую и благодарю еще раз за две бандероли брошюр, очень им рад. Покорнейше прошу извинить меня за долгое молчание.

Завтра напишу длинное письмо. Уже ночь.

29. 05.1943 год.

...Сердечно благодарен тебе за внимание, получил книги «Подводные мастера», «Молодой Ленин». Я очень им рад и прочитал с большим интересом. Я теперь хожу в пилотке со звездой, и очень горд ею... Я все испытания сдал...

30. 05.1943 год.

Мой родной, получила твои письма №№ 1, 2, 3. Послала тебе на день рождения Диккенса «Лавка древностей», три книжечки новых и плакат «9 января». Мой маленький, буду думать о тебе 10-го^[14]. Я так рада, что дядя Миша тебя любит, если меня не будет – бабушка и дядя Миша будут у тебя. Будь здоров и веселенький... Алла придет сегодня проститься, уезжает со школой на огороды работать...^[15] У меня работают 6 школьников из нашей школы на лекарственном участке, два-три часа в день. Это 4-й класс. Давали больше, но мы взяли 6 девочек только. У нас 13 работниц. Сейчас перерыв, хотя и воскресенье, но мы работаем. На душе хорошо – «дядя Федя» зашумел... Если не увидимся, будь добрым мальчиком, люби других и люби искусство, как хотела Ляка. Что тебе подарить бабушке? Уж не успею я послать ничего из книг. Может быть, она любит какого-нибудь писателя? Нарисуй ей что-нибудь. Хотя бы портрет дяди Миши. Или не выйдет? Это трудно.....Ну прощай, мой родненький... Скоро pošлю еще книжечки, есть интересные для тебя. Атюня.

6. 06.1943 год.

Дорогая Атюня!

...Я получил: Чарльза Диккенса «Лавка древностей», книгу о водолазах и много других; календарь, вырезку, картинку, еще маленькую картинку Я за них очень благодарен... Скоро мое рождение, а 9-го бабушкины именины, а 11-го-ее рождение, три дня праздники. Что бабушке, думаю, подарить: достал яйцо гусиное, твой календарик и чуточку бумажки. Больше ничего. Она мне сшила штаны и еще много всего. Извини за кляксы – темно. Ляка на меня любитесь, наверно, я весь в новом.

...Я достал «мировую книгу» книгу В. Гюго «93-й год» о французской революции.

19. 06.1943 год.

Дорогая Адюшка!

От тебя давно писем нет, дорогая моя, что с тобой? Спасибо еще раз за книжечки. Очень интересные – Л. Н. Толстой. Я заработал четыре трудодня... уже в два раза больше, чем за то лето. Хочу заработать пуд хлеба (16 трудодней). Пиши почаще.

Целую, твой любящий И.

03. 07. 1943 год.

Дорогой Ильюша!

Спасибо за письмо. Горжусь вместе с тобою твоими трудоднями... Ты спрашиваешь, боюсь ли я шума? Конечно боюсь. Всякий боится, но дело в степени самообладания и в жажде жизни. Я около недели был в отъезде. Полетал на самолете туда и обратно. Туда – сидя, а оттуда – лежа. Насмотрелся на места, где были особенно сильные бои (Ржев). Но жизнь берет свое и, несмотря на то, что от деревень остались только контуры, видимые сверху, народ уже копошится.

...Как чувствует себя и как выглядит бабушка? Так она все еще не села? А ты поймай ее тогда, когда она чем-нибудь занята – лучше всего, когда человек не позирует, а схвачен в характерной для него позе...

Пиши почаще. Крепко тебя целую. Миша. Поцелуй бабушку и угости ее ягодами и рыбой.

3. 07.1943 год.

Дорогая Атюня!

Давно не получал от тебя писем, но бандероли, к моей радости, приходят часто. Получил «Русскому солдату о Суворове», трилогию Толстого. Вчера – картину Серова и «Костер»... Атюня! Извини меня, если я попрошу тебя: не можешь ли ты, если где увидишь (случайно-преслучайно) в книжном магазине, прислать книжечку о стрельбе (техника стрельбы). Извини, пожалуйста...

12. 07.1943 год.

...Я так благодарен тебе за все, что не могу сказать. Бесценная моя, дорогая, как ты заботишься обо мне! По любви и по заботе ты поистине вторая мама... Обнимаю тебя. Отдала ли Инка Топелиуса? Есть ли «Дон-Кихот», «Грозная туча», «Рассказ монет», «Шерлок Холмс», «Квентин Дорвард»? У меня был каталог. Я кроме «Скобелева» и «Робинзона» ничего не брал. Сегодня воскресенье, напекли оладьев (ржанных с медом). Посылаю травку, отгадай, что это такое! Ха, ха! Ты понюхай, пригодится. Родная моя, напиши, что получила это письмо.

12. 07.1943 год.

Мой дорогой мальчик... Работы очень много. Устраиваем еще выставку. Дядя Коля ходит с медалью – вид важный у него. Медаль на зеленой ленточке. Написано: «За оборону Ленинграда». Это за его работу.

Огород наш плохой – некогда за него приниматься. В 7 часов придешь домой – надо постирать, пострепать, пошить. Устаешь ли ты на работе?...

Рыбешка твоя все жива, меняю ей воду и достала корм, она толстенькая. Верно, уже старенькая. Боюсь выпустить на волю – она уже отвыкла от борьбы и не укроется вовремя – съедят ее, пожалуй. В банке спокойнее. Я ее люблю, она знала всех...^[16]

25. 07.1943 год.

Дорогой дядя Коля!

Сердечно поздравляю тебя с днем именин! Желаю всего лучшего. Как ты живешь? Как на службе? Вредит тебе кто или нет, как раньше? Как Атя? Очень, очень сожалею о дяде Юре. Россия потеряла кадрового умного моряка. Ночью летела сегодня такая масса самолетов, что не мог уснуть. Как-то неприятно. Летели к родному городу.

Как– то вы? Выгнали бы поскорее змею такую из России, пустить бы Суворова! Я убедился после всего, что главное – дух войск. Верно?

Целую.

5. 08.1943 год.

Мой родной, послала тебе две записные книжечки, позволили в заказном письме... Пришло твое письмецо, где ты пишешь, что плаваешь. Осторожнее только, сынок мой. Вчера Ниночка зашла, получила медаль, дали 8-ми человекам из МПВО. Она такая милая и ласковая, спрашивает о тебе всегда. Алла не такая мрачная стала, кушает овощи; когда работает на огороде, им позволяют. Живем мы ничего, только дядя Федя шумит все время.

Целую тебя, дорогой мой. Атюня.

8. 08.1943 год.

Дорогая Атюничка!

Как писал тебе и Алле, я работаю в колхозе, молочу лен, вот такой колотушкой. Трудодень – за 10 часов; я за три дня отработал 8 часов, осталось – 2. Вчера обмолотил 105 снопок (3 ч.) и в первый день за 2 часа – 70 снопов. За трудодень – 600 граммов хлеба. Как вы? Большое, большое спасибо за книги о Суворове и Кутузове. Как я рад. Правда, они не составляют полную жизнь обоих полководцев, но все равно, очень, очень рад. Я сочинил стишочек:

На дворе мороз трещал,

Звездочки сверкали,

Зайчик серенький скакал,

Лапки замерзали.

Среди снега и деревьев светит огонек,

Там уютно и тепло, думает зверек.

А дальше длинное письмо написал Алле. Mamочka, дорогая, спасибо за предложение выслать денег. У меня еще не тронуты те 190 рублей! Еще раз спасибо за книжечки. Очень рад. Письма уже нет дней пять. Если я не напишу, то только оттого, что некогда, а не потому что не хочу. Привет дяде Коле, Алле, Нине. Прощай, дорогая мамочка...

20. 08.1943 год.

Дорогая Атинька!

Спасибо за письмо. Я очень рад также и книгам. Спасибо за «20 дней в контрразведке», «Охотник на взморье» (спасибо тете Вере Берхман), «История одного детства» (пришла сегодня). У меня теперь есть что читать... Атя, ты так заботишься обо мне, посылаешь книги, и я имею удовольствие пополнять свои начальные знания. Ох! Как жалко «Грозную тучу!». Потребуй, если не трудно, на почте – пусть хоть

заплатят цену! (Не в цене дело.) Она так же, как и (Рославлев), ценна. Спасибо за него еще раз. Читаю опять «Войну и мир». Так бы и читал. Дождь. Я не писал, так как работал в колхозе. Спасибо за газеты. Я очень люблю их...

Атюня, милая, ты моя вторая мамочка. Целую тебя крепко. Всем привет.

23. 08.1943 год.

Дорогая, любимая сестричка!^[17]

Спасибо за письмо. Я так люблю тебя, дорогая подруга детства, мамочкина няня! Поздравляю тебя с медалью! Действительно это очень, очень хорошо – это одна сотая платы за горе и перенесенные бедствия. Очень рад, что Ленинград приходит в хороший вид. Хочу видеть вас. Как ты дорога для меня, сестричка! У тебя такое любящее сердце (счастье тому человеку, кому ты отдашь свою руку!). Мне шьют новое пальто (шьет бабушка). Очень «мировое» из «мировой» материи на шелковой подкладке. Еще будут из гимнастерки, шить рубашку. Я тебя представляю такой (как на этом рисунке).

Хочу обнять тебя и поцеловать. Одно воспоминание: помнишь, как ты не хотела со мной гулять (извини, не думай, это не укор). Я был такой надоеда, и сейчас я не прочь покидаться, пошалить и тому подобное.

Дядя Миша усыновил меня, я буду жить у него – он меня любит (отчего он меня любит?!). Он меня очень балует... Ты теперь все знаешь. Приятно будет пойти в театр с медалью.

Я тебя люблю и помню, дорогая. Жажду увидеть, любящий тебя И. Глазунов.

1. 09.1943 год.

Милый Ильюша... Скончалась моя сестра Соня. Долго болела. Помнишь ли ты ее? Получил я в августе дополнительный паек, очень хороший... А в сентябре не буду получать, так как не оформлены все документы на получение его. Нужно хлопотать в Казани, куда эвакуировалось наше учреждение, и в Москве. На это уйдет много времени. А я так радовался за Асю, чтобы она подкормилась. Получил ли ты посланные тебе газеты? Много женщин носят брошки с фотографиями близких умерших. На улицах часто слышишь звук от деревянных подошв о плиты панели. Их особенно много в Москве, называют их «Шанхай». На твоём рисунке в письме нарисован рыболов, лицо его очень похоже на твое. Ты и нарисовал себя? Автопортрет? Лето прошло так скоро и незаметно. Падают желтые листья, ночи холодные, с росой. Город очень чистый. На месте сломанных домов разбиты сады или огороды. Поставлены металлические решетки, вдоль которых со стороны панели посажены цветы. И никто их не рвет. Такого порядка не было и до войны. Да, бедный Юра! Никогда уж не придется увидеть его! Сколько потерь за эти годы. Ты сам, бедняжка, так пострадал и перенес много горя, которое не забыть на протяжении всей жизни. Порой не верится в то, что произошло. Поражаюсь, как Ася вынесла все случившееся. Столько страданий на одного человека за такой короткий срок.

Целую тебя. Желаю тебе здоровья, удач, благополучия и счастья, остаться таким же хорошим, каким ты был. Дядя Коля.

9. 10.1943 год.

Дорогая Атюничка!

Как твое и дяди Коли здоровье? Получил пять твоих писем! Вот радость! Спасибо тете Верочке за открытки. Какие чудные натюрморты! «Остров мертвых» Беклина мне очень понравился. Хожу опять с 1 октября в школу. Решил драться, если пристанут, вовсю. Вчера копал картошку, поел ее. Вкусно!

В школе вклеили в журнал замечание. Я отвечать стал, а мальчик сзади дергал за штаны. Я ему по лбу. Вот и вклеили!

Получил книги: Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Брусилов...

10. 10.1943 год.

Дорогой Ильюша!

Спасибо за поздравление. Происходило это в Кремле, в очень красивом зале. Выдавал ордена не Калинин, а председатель одной из республик. Ксения была очень довольна, больше, чем я.

Ну как, привык уже к школе? Сам я не смогу к вам приехать, поедет в Боровичи один из наших работников, с которым я посылаю все, что хотел привезти сам... Когда кончится война – вряд ли кто-нибудь знает, но что она приближается к концу – это ясно всем. Надеемся все на освобождение Ленинграда. Хорошо, если бы это свершилось к Новому году. Пропуска я не получил, но можно вывезти

тебя одного. Что ты предпочитаешь – остаться ли на зиму в Кобоже или переехать в Москву? Если придет машина, реши этот вопрос с бабушкой.

Крепко тебя целую. Миша.

12. 10.1943 год.

Милый Ильюша.

Сегодня получил твое письмо от 27 сентября... Дядя Федя после некоторых перерывов побывал опять у нас, сегодня оставался в течение 4 часов. Послали тебе много плакатов и еще одну книжку о стрельбе. Ничего другого не удастся достать. Марку с изображением картины-Сурикова «Переход Суворова через Альпы» вклеил в нее. Паек мы опять получили. Чувствую, что ты радуешься за нас. Огород у нас был маленький и урожай небольшой, не было ни сил, ни времени ухаживать за ним. Очень много работы с выращиванием лекарственных растений. Но все же Ася собрала даже помидоры, правда зеленые. А обморок случился со мной в магазине на проспекте 25-го октября, где прикреплены на паек. Там же были и мои товарищи по работе, которые помогли добраться до дома. Догадываешься ли ты использовать для писем двойную бумагу от бандеролей? «Костер» удастся покупать редко, быстро раскупают, как поступает в продажу. На деревянных подошвах сначала трудно ходить, так как подошва не гибкая... Целую тебя. Пиши. Дядя Коля.

7. 07.1943 год.

Дорогая Атюничка!

Очень давно не получаю писем от тебя. Последнее письмо было с плакатами... Плакаты я повесил и смотрю все. Какие стали художественные плакаты! Особенно понравился плакат, как немцы жгут нашего паренька лет 18 – 19. Глаза его полны муки и упорства. А вчера был на спектакле в Кобоже. «Ненависть» – коротенькая пьеска семиклассников и отрывок из пьесы К. Симонова «Русские люди»...

10. 11.1943 год.

Мой родной... Жить трудно, но ведь война. Аллочка за работу на огороде летом тоже получит медаль, ребятам дают, если работали. Мы все – дядя Коля, я, Нина и Алла будем с медалями. Кто работал в 1941 году – дадут... Мой родной, как хочется побаловать тебя, а послать ничего съестного нельзя, только книги. Слушаем радио – чрезвычайное сообщение о наших победах. Я тоже с таким удовольствием слушаю музыку – она говорит больше слов. Сказать многое не можешь, а музыка выражает и всю печаль... Кланяйся бабушке. Люблю тебя. Атюня.

28. 11.1943 год.

...Милая, любимая мама!... Как ты живешь? Я ничего. Бабушка сшила мне гимнастерку, я очень рад. Очень хорошая... Огромное, огромное спасибо тебе за «Хронику Карла IX», «Айвенго» и песенник. Очень, очень рад. Как интересна «Хроника»! «Айвенго» еще не прочитал. Песни ничего^[18]. Спасибо, целую.

Ноябрь 1943 года.

...Теперь жду, когда кончится война, одену бархатную кофточку и пойду с медалью в театр. Как ты живешь, мой родной? Едешь ли в Москву? Получил ли ты две записных книжечки? Давно уже послала. Сегодня простужена и сижу дома. По радио передают «Евгения Онегина», вспоминаю Джабика, как она слушала. Думаю иногда, что это сон, проснусь и все снова вместе. Вижу что-нибудь, думаю купить Ляке... Когда ты будешь в Москве, pošлю денежек. Пока все даю девочкам, Алле на кино по субботам, она радуется. Нет у них никого. Если будем все вместе, устроим елочку. Хорошо? Целую тебя, мой маленький. Такой будешь всегда для меня.

Твоя Атюня.

6. 12.1943 год.

Дорогая Атюничка!

Спасибо большое за письмо... Я теперь поставлен в школе библиотекарем, но библиотека маленькая – 500—520 книг. Я выдаю книги. Нацепил на дверь наклейку «Библиотека».

...Читаю теперь Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Спасибо за заботу большое-большое.

28. 12.1943 год.

Дорогой Ильюша!

Долго не писал, так как был в Киеве. Чего-нибудь интересного для тебя там найти не мог, так как не был близко к позициям.

Автоматы бывают разные – наши с круглым магазином имели 75 зарядов, с обоймой вроде пистолетной – 30 или 35. У немцев – 30 – 35 зарядов. В нагане – 7, в браунинге (большом) – 13, в парабеллуме – 8...

Ты, я смотрю, стал очень воинственным. Даже Суворовским училищем заинтересовался! Думаю, что ты не подойдешь к военной школе, да и душевные задатки у тебя другие!

Я очень надеялся побывать у вас к Новому году. Поездка в Киев сильно расстроила этот план. Мне нужно недели две, чтобы покончить с неотложными делами. Поздравляю тебя с Новым годом! Думаю, что в 44 году мы сможем увидеться в Ленинграде, а не в Москве.

Целую тебя крепко. Пиши почаще. «Дядю» можешь пропускать; от этого я только моложе делаюсь! Всего хорошего. Миша.

21. 03.1944 год.

Дорогая Атюничка!

...У нас поймали диверсантку, нашу русскую, 23-летнюю девушку из Ленинграда! Вот змея-то!

...Как плохо без света! У нас зима была теплая, даже большую часть можно было ходить без рукавиц. А у вас?... Ходят ли трамваи? Есть ли электричество? Крепко целую тебя, дорогая моя Атя.

28. 03.1944 год.

Очень давно не получал от тебя писем... Что нового? У нас много диверсантов. Все ловят. Спущено 150 человек.

...Сегодня был в школе, холодно. Выдали табеля, у меня четыре отметки – 4 и четыре – 5 (по ботанике, военному, литературе, арифметике).

Я гуляю, учу уроки, пилую дрова через 2-3 дня. Крепко-крепко целую.

1. 06.1944 год.

...Приехал вчера утром в Москву. Как-то теперь пойдет жизнь? В Москве не понравилось мне. Мы уехали 27 вечером. Ночевали в госпитале в Боровичах. Ехали день, ночевали опять в Вышнем Волочке, и ехали следующий день и ночь, и вот в 7 часов были в Москве. Кормили везде хорошо, так как дядя Миша – главный патологоанатом РККА. В Москве так плохо. Чувствую себя тоскливо и одиноко. Все новое. О, как я хочу ласки! Утром свезли нас (то есть меня и дядю Мишу) на «ЗИСе» в баню... В Москве книг нет. Хочется в кино. Но до 16-ти лет одного не пускают... Самое главное написал. Спасибо за пожелания. С бабушкой так тяжело было расставаться. Я привык к ней и полюбил ее. Да, мне очень тяжело было уезжать от старых мест. Ты пишешь: не горюй, но я так горюю. Все новое. В гостинице занимаем одну комнату. Уборная, вода в одной комнате. Места мало.

Дорогая, любимая, как мне грустно и тоскливо. Целую, любящий тебя твой И.Г.

7. 06.1944 год.

Дорогой дядя Коля!

Поздравляю тебя с орденом «Знак Почета». Желаю еще орденов и исполнения всех желаний. Спасибо за вырезку, с каким удовольствием и гордостью прочитал я ее содержание. Я горд за тебя. Поздравляю тебя от имени дорогих, ушедших навеки. Телеграммы я не получил. Видно, не дошла. В путь я собрался очень просто – сложил свои вещи – то есть книги – в два ящика и отнес их в машину.

...Бабушка уехала в Ленинград в тот же день, что и мы. Номера дома не знаю, и тетя Ксения не знает (да это и не важно, всегда пишут так, и доходит). Гостиница находится за мостом. Тот район, где мы живем, называется Замоскворечьем^[19]. Магазины книжные есть, но цены!!! Гоголь – 600 рублей (собрание сочинений). Еще и еще раз огромное спасибо за «Багратиона» и «От костров до радио». Так захотелось в деревню!

Крепко, крепко целую.

10. 06.1944 год.

Мой милый, Ильяша, получил твое письмо от первого июня. Спасибо, поздравляю тебя с отличными отметками и переходом в следующий класс. Сегодня меня вызвали в Смольный, и тов. Попков вручил мне орден.

Лента розовая, кайма оранжевая. Я счастлив этой высокой наградой и тем, что в тяжелые годы блокады удалось послужить дорогой Родине! Спасибо за поздравление.

...Инна так и замолчала. Ася как-то заходила в наш дом, и дворничиха сказала ей, что от нее было письмо в домоуправление с запросом относительно ее комнаты, которую она оставила за собой. Неужели предстоит удовольствие встретиться с ней опять? Всего хорошего тебе. Целую крепко. Дядя Коля.

26. 07.1944 год.

Дорогая моя Адюшка!

...Читаю сейчас «Кто предал Францию», перевод с французского. Как все-таки здорово идет Красная Армия!!!

Салюты – два раза в вечер. Как высоко взлетают ракеты!...

27. 07.1944 год.

Мой родной, мы получили все четыре твоих письма и пятое – сегодня дяде Коле. Мой маленький, как ты ходишь один по Москве, был день, когда я сказала дяде Коле: «Что-то с Ильюшей случилось» – так вдруг заболела душа за тебя. Верно, это было, когда ты заблудился, может быть, подумал обо мне и твоя мысль передалась мне. Жаль, что я не записала дня и часа. Но так беспокоилась за тебя. Что же ты не спросил, как пройти домой? Маленький мой, не думай, что заикаешься. Есть грубые люди, но вообще тут ничего удивительного нет, так много заикаются, – это проходит. И ответили бы тебе, даже не заметив этого. Как же ты дошел? Сам? Или спросил дорогу? Много ли авто по городу? Скучно тебе ходить одному, мой любимый? Я так много думаю о тебе...

Прислать тебе «Маугли» по почте? Если старушка возьмет альбом с открытками, который бы послать? С историческими или общими? Ответь срочно, она едет около 1-го, ты бы посмотрел, их там много не вставленных. Или прислать «Рассказ монет», ты любил эту книгу? Пошлю тебе денежек к именинам, мой сынок родной. Я поплакала – как ты блуждал, бедный. Бедный, что пережил. Ходи осторожнее, не зевай, переходя дорогу. Кушал ли мороженое? Скушай, когда я пошлю денежек. Только схожу на почту и пошлю тогда с доставкой на дом. Целую тебя, Куреныш мой. Как я жду твоей карточки. Какой ты стал? Мне так все грустно без всех. И жизнь подходит к концу.

Думаю, что приедете сюда скоро, скоро. Я хочу тебя обнять. Помни всегда, что есть у тебя старая мама Атюня. Будь здоров. Ходи осторожно.

Напиши, каков зоосад. Атюня.

30. 07.1944 год.

Дорогой дядя Коля! Только что получил твое письмо от 19-го № 6. Большое за него спасибо. Очень, очень благодарю тебя за книги: «Седов», «Севастополь», «Укрепление городов». Я был так рад и так неожиданно – встаю сегодня утром с постели, а они (то есть книги) лежат на столе. Также большое спасибо за открытки... В Москве нет открыток даже с видом Москвы! (Вот такая столица!)... Я вчера был в кино «Неуловимый Ян» (для меня действительно он оказался неуловимым до сих пор, так как каждый раз, когда я приходил в это кино, билеты стоили пять или семь рублей, а я имел три рубля. Но вот вчера я пришел за час до начала и купил билет за три рубля). Просмотрев первый раз, я самым нечестным образом забился в угол (в отместку за то, что так долго Ян был неуловимым!) – и высидел второй сеанс. То же самое вышло и с «Джунглями». И я, забравшись туда, высидел три сеанса. (Кино «Метрополь», может быть, ты знаешь?) Причем я особо не прятался, только принял меры маленькой маскировки. И все! Сейчас тетя Ксения уехала на машине встречать дядю Мишу. Скоро должны приехать. Про немцев я писал очень давно, неужели так и не дошло это письмо? Я их видел. У нас троллейбусы только сине-зеленые. А у вас? Что бы я отдал, чтобы быть у вас...

2. 08.1944 год.

Милый Ильюша!...

Посылаю тебе снимок сада, где проводил много счастливых беззаботных часов. С удовольствием посмотрел бы с тобой «Джунгли». А «Багдадский вор» еще красочнее. Он так хорош, что я не пошел смотреть второй раз, чтобы не испортить первого впечатления. Конечно, дворцовые стены искусственные. Звери не ручные, а тигры, лани, крокодил засняты при помощи особого аппарата с далекого расстояния и кажутся приближенными. Я когда-то смотрел научный фильм о жизни диких зверей в природе: игры, уход за детенышами, борьба. Да, возможности кино редко, недостаточно используются. Но такие фильмы, как «Джунгли», «Багдадский вор» (особенно) стоят очень больших денег... Сегодня опять была В. Б., ставила банки на поясицу, обедала с нами... Утешаю А., а она горюет, что не удалось переправить портфель, а кроме него и пакет. Придется ограничиться последним.

Целую. Дядя Коля.

3. 08.1944 год.

Милый Ильюша, ты так бесконечно внимателен ко мне! Сегодня пришло письмо с вложением поздравительной книжечки – письма. Спасибо тебе!!! Столько искренних, хороших пожеланий! А с каким вкусом оформлена книжечка! Птичка так и норовит клюнуть, а другая заинтересована и готова к ней слететь. Веночек, ленточка, окантовка золотом – сделано под старинный рисунок. Приятен для глаз подбор красок в тексте поздравления. И золотой штампель с датой отправки!... Из-за больной поясицы сижу уже несколько дней дома и пишу отчет о работе. В мой день – были похороны сестры Веры. Так мало

осталось, кто мог бы прийти поздравить. 20-го в воскресенье пришла Нина и Алла. Ниночка вспомнила обо мне и поздравила, подарила настольный блокнот в изящной папке с дубовыми листьями и коробочку с душистым мыльным порошком для бритья. Бесценная Ася в своих заботах обо мне за несколько дней уже начала баловать меня. Скопила сахар, песок, масло и сделала пирожок... Еще был поздравитель – он же и последний – доктор, мой друг, подарила бутылку вина, дюжину носовых платков с меткой и занесла несколько фотографий моего отца, оставшихся после Веры. Вот и все! А сегодня совсем неожиданно пришло поздравление от милого ласкового мальчика.

Много видел я городов, но не видел красивее Ленинграда. Он совсем особенный, ни с чем не сравнимый! Да, даже плохая погода мила в нем. Как ты хорошо выразил: «Когда вижу ленинградские виды, так как-то обволакивает спокойной дымкой». Вот именно так! Как я это понимаю! И за этими видами чудится родной дом, ласка близких, и становится покойно на душе и очень грустно до слез. Ты пишешь об Инженерном замке, а знаешь ли ты, что это здание было любимым твоей мамы?

Давно один мой знакомый мальчик (из семьи художников и архитекторов), талантливый и пылкий, сделал чудесный акварельный набросок этого замка в гуще зелени, со стороны Марсова поля. Я выпросил его и подарил твоей маме еще до ее замужества. Не попадался ли он тебе в ее вещах?...

...Крепко целую. Дядя. Коля.

7. 08.1944 год.

Дорогая Атюничка!

Наконец-то получил от тебя письмо. Большое спасибо за него. С удовольствием съезжу за плакатиком. Отчего ты меня любишь? Я ведь плохой стал! Все клянчу. Дела наступают мерзкие. Школа, лечение и прочая дрянь! До чего я боюсь всего этого! Прочитал вчера Стивенсона «Сент-Ив». Как интересно! Читала ли ты?

...Сейчас пойду в поликлинику слуха и речи. Боюсь всех белых халатов! Как дела? Правда, что у вас вышел юбилейный томик «Репин»?

Видел в кино «Леди Гамильтон». Поцелуй дядю Колю и всех. Извини, вдруг увидишь учебники (особенно математика)... Твой И.Г.

12. 08.1944 год.

Милый Ильюша, что же ты замолчал?... Кому-то ты писал, что приобрел серию изд Павленкова «Жизнь замечательных людей». Сообщи, биографии кого купил ты? Может быть, я смогу пополнить твое собрание... Пишут ли тебе из деревни? Ждем с нетерпением фото. И сообщи свой рост. В котором этаже ты живешь? Куда выходят окна? Будь покоен, старайся говорить не торопясь...

Держись с достоинством. Целую. Дядя Коля.

* * *

Дорогие мои! Скоро я вернусь... Прощай, Москва, «Новомосковская» гостиница на Балчуге, из окон которой я смотрел каждый день на древний седой Кремль, освещенный залпами салюта победы русского оружия. Волнуясь до звона в ушах, счастлив, что увижу снова моих родных и любимых, как это все произойдет? Кобожа уже далека с ее лесами, полями и озером Великим... Над Василием Блаженным несутся вечерние былинные облака...

* * *

Как листья, сорванные порывом смертельного урагана, пролетели эти письма через черные пожары моей жизни, оставив навечно с детства боль, страдания и мучительную рану памяти. Словно все это было вчера. Словно время остановилось. Словно это было не со мной... Как я любил вас, мои родные!

Иногда мне кажется перед ночью, что я давно умер вместе с теми, кого я любил, – и со стороны с удивлением смотрю на странную и чужую жизнь свою. Жизнь вашего друга и врага – вашего современника. После дней блокады я был еще много раз близок к смерти – предательство людей, которых я любил, не заживет в моем сердце.

И вновь меня гложет и возвращает к себе постоянно мысль: почему все-таки они, родственники отца, не взяли мою мать с собой в Гребло, на Большую землю? Ведь могла бы доехать она – два дня пути, не умерла бы, отходили бы ее в госпитале... Да, скорее всего потому, что родня Глазуновых не любила мою мать. Так не созвучна была она им во всем, живущая не по тем законам, которые правили их жизнью и распорядком духовного уклада. «Надо было пойти работать, помогать Сергею, как все жены... Оля же,

„белая косточка“, – все сыну отдала, и свою жизнь, и здоровье мужа! Ничего бы с Ильёй не случилось, если бы пришлось ему в детском садике посидеть – не первый, не последний, не велика птичка», – любила говорить моя бабушка Федосья Федоровна после войны. Я слушал и думал: лучше бы мама умерла в дороге, но со мной, чем меня увезли одного, пообещав, что она скоро приедет, «когда поправится». Я долго верил этому, отгонял прочь страшные мысли и подозрения. Когда я вырос, все обходили молчанием трагедию смерти моей матери. И все же, почему тогда не попытались спасти ее?... Почему?...

* * *

Снова вспоминаю московские храмы, наполненные народом, просветленные лица и мольбу исстрадавшихся душ, устремленных к Богу. Пестра и разнолика толпа. Было странно встречать военных, стоящих среди мирян. Отрадно было видеть их образ: русскую форму, обветренные лики, обращенные к алтарю. Позвякивая медалями и орденами, они пробивались к выходу из храма – может быть, чтобы прямо отправиться к победоносному войску, на фронт.

Мы Гитлера-разбойника

Повесим на суку!

Повесим на суку! —

кричали призывную солдатскую песню из установленных поблизости от входа в храм репродукторов радио.

В парке культуры и отдыха – выставка трофейного оружия: «тигры», «пантеры»... Длинные обезвреженные стволы напряженно целились в посетителей выставки под открытым небом. Мальчишки залезали на немецкие пятнистые танки, пытаясь откручивать какие-то гайки. «Нам бы такую технику в начале войны, – грустно сказал небритый безрукий солдат без погон. – Ишь, суки, хоботы выставили, а мы им по рогам...» Было жарко, повсюду продавали газированную воду и пиво. Народ валил без конца, желая увидеть поверженную военную мощь «немца».

* * *

И снова, и снова вечером гремели радостным гулом фейерверки победы над ликующей Красной площадью, залитой многотысячной толпой разного народа. Все ближе и ближе Берлин! Скоро победа!!! И как страшны утраты накануне конца войны!

Уже близится осень, когда же я вернусь туда, где был мой дом и было мое, словно приснившееся, детство? Все что угодно, но я должен вернуться в мой город на широкой и свинцово-полноводной Неве.

Пусть буду проклят я, если хоть на мгновение забуду тебя, о мой великий и странный город моей души. Скорее бы домой, скорее! Но дома-то у меня нет! Что будет со мной в новой жизни?

* * *

Страшна тайна Божия жизни и бытия человеческого. Дух – искусство – творчество – вечны и свободны. Жизнь скована и тленна. Прости мне, Отче наш, прегрешения мои рабу твоему грешному, Илие. Храни, Боже, Россию, и пусть врата адавы не одолеют ее... Верую! Спаси души наши, вдохнови противиться волей и силами злу, всем существом нашим, помыслами и делами добрыми! Смоковницу, не дающую плода, сруби! Сделай так, чтобы свеча Духа Твоего не угаsla в нас вовеки...

ПЕТЕРБУРГ – ЛЕНИНГРАД

Живая душа мертвого города

Это древний сфинкс, глядящий

Вслед медлительной волне.

Всадник бронзовый, летящий

На недвижном скакуне.

Что за пламенные дали

Открывала нам река!

Но не эти дни мы знали,

А грядущие века.

А. Блок

Наконец Ленинград! Эшелон немного не доехал до вокзала. С чемоданом иду пешком по путям. Помню наказ проводницы: «Не попадайся, парнишка, у вокзала кому не надо: воротят назад – и пиши пропало. Хлопот не оберешься». В Ленинград въезд без пропусков запрещен. Благодаря суматохе у ворот вокзала, поднятой при проверке документов, мне из-за малого роста и возраста удалось пройти незамеченным в ворота, и вот она – «Ленинград-товарная»... Иду пешком.

Меня догоняет сослуживец дяди, тоже приехавший в Ленинград на этом же поезде. Он походил на белого офицера, с ровными усиками. Довез меня до Инженерного замка: «Теперь, молодой человек, вас ждет Ксения Евгеньевна. Адрес не забыл? Это наш ведомственный дом Военно-Медицинской Академии. По набережной – за Летним садом».

Конечно, я помнил дом, откуда в кошмарную блокадную зиму меня увозили в эвакуацию. Тетя Ксения меня встретила сухо. Сказала, что я должен жить у тети Аси Монтеверде. «...Как ты и хотел сам. Мы уже узнавали, – продолжала она, – и второе твоё желание, о чём мечтала и твоё мать, исполнимо. Если ты совсем не разучился рисовать». (А в Кобоже в последний год я не очень много рисовал, больше мечтал о Суворовском училище.)

«Скоро начнутся экзамены в среднюю Художественную школу при Академии Художеств. Надо вовремя подать документы».

Я вышел на улицу очень подавленный, со щемящей тоской, которую усиливал такой родной и такой чужой город.

На трамвае по пустынному городу я поехал в Ботанический сад. Когда лязгающий по рельсам, совсем как довоенный красный трамвай (если не ошибаюсь, «двойка») остановился у «Стережущего» напротив мечети – выскочил из пустого вагона и в сумерках дошел до квартиры Мервольфов. Я очень хотел видеть своих двоюродных сестер, сказать им, что я вернулся. Вот он, серый огромный дом у Сытного рынка. Знакомые каменные плиты под ногами. Кое-где между ними пробивается травка. Мрачный двор, глухая темная лестница. Она вспоминается радостной, довоенной, когда люди несли по ней елки, готовились к празднику. У двоюродных сестер всегда было уютно и оживленно. Интересно, цело ли то большое лото «Сказка о золотой рыбке», которое доставляло нам столько радости в детстве? Живы ли открытки с формами русской армии?

На лестнице ни души. Пятый этаж. Почти темно. Звоню. Никого. Еще раз звоню. Тишина могильная. Нажимаю на ручку двери (раньше она была почти на уровне глаз – теперь смотрю на нее свысока). Дверь медленно и легко отворяется внутрь. Ни души. Почти бегом скатываюсь вниз на улицу, где дует петроградский осенний ветер.

Я с детства боялся темноты, испытывая перед ней какой-то непонятный страх, подобный тому, который появляется в глухой лесной чаще, когда садится солнце...

Где же мои сестры и почему открыта дверь?... Легонький чемодан не мешал мне пройти знакомым путем от улицы Воскова, дом 17, к дому на Большом проспекте, где прошло мое детство. В сумеречном небе – борение облаков, садилось солнце, заливая ущелья знакомых улиц дымно-красным тревожным закатом. Карповский мостик, народу уже почти не видно. Скрежещет на повороте у больницы Эрисмана трамвай. Бреду словно во сне, так далеко остались грустные поля и нивы печальных деревень. Огромной суетной декорацией отложилась в памяти Москва с яркими букетами салютных огней над Кремлем, празднующим все новые и новые победы над немецко-фашистскими захватчиками... А вот и Ботанический сад. Не иду, как до войны, в чугунные строгие ворота, а обхожу вдоль ограды до улицы профессора Попова. Шумит ветвями уже почти в темноте старый безлюдный парк. Загораются грустные окна в домах.

Боже, что будет со мной в этом городе-кладбище моего детства? Так мал и одинок человек в равнодушно-холодном мире...

Встреча с тетей Асей и дядей Колей Монтеверде была полна слез, трогательна и незабываема... После нее улеглись, стали улечиваться неотступно преследовавшие меня мысли, что я никому не нужен, никто не ждет меня, что я всех отягощаю и что будущее зависит только от прихоти моей страшной и горькой судьбы... Около года я прожил в Ботаническом саду у дяди Коли и тети Аси, которая отгородила мне в своей единственной комнатке угол за книжным шкафом. Я интуитивно чувствовал, что, естественно, стесняю их своим присутствием, не соответствую по своему отроческому темпераменту их образу жизни, устоявшемуся за многие десятилетия быту любящих друг друга бездетных интеллигентов. По своей инициативе я перебрался к сестрам, которых тоже, как сейчас понимаю особенно четко, стеснил, заняв из двух комнат одну десятиметровую, которую превратил в мастерскую с терпким запахом масляных красок и растворителей.

После школы ходил обедать к тете Асе. Забегая вперед, скажу, что когда скончался дядя Коля, из общежития Академии на Литейном дворе, где я уже жил в одной комнате с двенадцатью сокурсниками, учась на первом курсе, вновь вернулся в БИН – Ботанический институт, где тетя Ася поселила меня в крохотный кабинет дяди. Это была уже другая квартира, коммунальная, состоявшая из двух маленьких

комнаток и расположенная на первом этаже того же дома – бывшая квартира известного ученого-ботаника академика Комарова. Там я и прожил до переезда в Москву, с одинокой тетей Асей, которая, глядя в окно на осенние закаты, писала нежные стихи об ушедшей жизни, о весенних бушующих волнах Финского залива, о цветах необычных и тихих и вечной любви...

Страницы моей жизни в юности

У Сытного рынка на Петроградской стороне в трехкомнатной квартире на улицы Воскова дом 17 (поразившей меня в день моего приезда своей пустотой – вот почему и не запиралась дверь!) жили мои двоюродные сестры, о которых читатель уже знает. Алла училась в восьмом классе и приходила домой только ночевать. Нина, служившая в одной из воинских частей МПВО, могла навещаться только по субботам – «быть в отгуле». Ходила она в военной гимнастерке с погонями. У нее была упругая грудь, грустные карие глаза и твердый характер.

Щемящее и безысходное чувство рождала эта холодная, мрачная квартира, в которой мне позднее было суждено прожить пять лет. Именно такого типа «доходные дома» послужили фоном «униженных и оскорбленных» героев Достоевского. Война смела внешнее благополучие дома и обнажила его жутковатую петербургскую суть. Живя совсем близко от своего старого дома, я не находил в себе сил зайти даже во двор. Но однажды, набравшись мужества, я все-таки вошел под арку нашего дома на углу Большого проспекта и улицы Калинина. Ничего не изменилось, только двор показался мне гораздо меньше, чем раньше. Окна верхних этажей отражались в огромных, напоминающих слезы лужах, волнуемых ветром.

Я долго смотрел на окна первого этажа, где мы жили. Вот наша комната, вот бабушкина. Окно комнаты, в которой умерла моя мать. Вдруг из открытой форточки этого окна кто-то окликнул меня по имени – я узнал женщину из соседней квартиры, которую, очевидно, вселили в опустевшую нашу. Не отдавая себе отчета, я повернулся и бросился прочь со двора.

Я знал, что всех, кто жил на Петроградской стороне, хоронили на Серафимовском кладбище. Очевидно, и мои родители были похоронены там. Это была окраина города, дорога на «Черную речку» дуэли Пушкина. Набережные изрыты огородами. Среди гигантских пустырей пасутся козы, из глухой блеклой травы и крапивы поднимаются кое-где случайно уцелевшие руины стен с развеваемыми ветром обрывками старых обоев. Деревянных домов почти нет, их разобрали на дрова. А вот и Серафимовское кладбище – огромное поле, ограниченное линией далеких городских окраин с дымящимися трубами и фабричными корпусами. Среди полей, как островок, кладбищенский лес и маленькая деревянная церковь Серафима Саровского. Множество старых крестов и оградок...

Неподалеку от дороги рыли могилу, выбрасывая наружу комья желтой вязкой глины. Склонившись над ямой, я спросил, где находятся могилы погибших в блокаду. Могильщик в грязном мокром бушлате, стоя на дне ямы, поднял кверху свое изрытое оспой лицо и, утерев рукавом пот, сказал:

– Пойдешь прямо мимо церкви, увидишь траншеи – братские могилы, как грядки, – там хоронили блокадников...

Стал накрапывать дождь, черные деревья роняли с голых ветвей холодные капли. Передо мной было огромное поле с едва заметными в траве грядками, уходящими к горизонту, – сотни тысяч ленинградцев были похоронены здесь.

Дождь все усиливался. В тишине откуда-то доносился женский плач, заглушаемый порывами ветра и пронзительным криком паровоза. Деревья начинали желтеть своими высокими кронами. Стволы черные – словно от горя...



Послеблокадный город был тих и безлюден. В мирное время я никогда не слышал во дворах нашей петроградской стороны шарманки, но теперь на узкие и страшные, как дно колодцев, дворы иногда приходили слепые, изувеченные войной певцы. Я особенно запомнил одного. Его лицо напоминало найденные при раскопках древние, искалеченные безжалостным временем античные головы с отбитыми носами. О, бедный русский Гомер XX века! Он был в рваной гимнастерке с колодками орденов. Я долго шел за ним со двора во двор, слушая его песню, монетки кидали из разных окон, завернув их в обрывки газет:

Дай руку пожму на прощанье,
В голубые глаза загляну.
До свиданья, мой друг, до свиданья,
Уезжаю на фронт, на войну.
Там в аду оружейного залпа,

Под губительным шквалом огня
Я тебя никогда не забуду,
Только ты не забудь про меня...

Когда наступал холодный, ненастный вечер, в квартире сестер становилось нестерпимо тягостно. Все валится из рук. Вздрагиваешь от скрипа половиц, завывания осеннего ветра. В тишине неожиданно, как пистолетный выстрел, хлопает форточка.

Любимым местом вечернего пребывания моей сестры Аллы стала... оперетта. Я был вначале невероятно шокирован этой непонятной мне страстью – тем более в такое время, после всего пережитого...

Сестра перечисляла мне: на «Сильве» была сорок раз, на «Баядерке» – пятьдесят...
Тихо и плавно качаясь,
Горе забудем вполне...

Люди во фраках, дамы с глубоким декольте, смех, брызжащее веселье, шампанское и любовь... У зрителей светлели лица, хохот и аплодисменты прерывали много раз спектакль. Как до войны!

...Мы входили в нашу темную квартиру, шли ощупью в кухню и напевали в холодной пустоте. Сестра опять надевала ватиновую подкладку от пальто и засыпала, накрывшись двумя одеялами и старой, изъеденной молью материнской шубой. На стене мерно, как блокадный метроном, стучали ходики. За окном выл ветер, и черное небо было оживленно-тревожным в стремительном беге ночных облаков... Стекла на кухне дрожали и жалобно звенели, вторя порывам промозглого петербургского ветра. Безысходность!...

* * *

В Ботаническом саду большая оранжерея стояла после бомбежки без стекол, как гигантская пустая клетка для птиц. Замерзшие высокие пальмы уныло высились среди груды битого стекла. В дальнем углу старого, буйно разросшегося за время войны парка, у Невки, там, где свыше двух веков находится самое старое в Петербурге шведское кладбище, были разбиты огороды – единственное, что давало возможность пережить долгую зиму. Владельцы огородов, жильцы нашего дома ботаников дежурили день и ночь, чтобы спасти свой скромный урожай от воров, перелезающих на территорию сада через невысокую чугунную ограду, напротив дома, где когда-то жил Александр Блок, на берегу узкой и коричневой, заросшей зелеными водорослями Карповки.

Однажды, когда я шел по густой аллее осеннего сада, до меня донеслись пронзительный милицейский свисток и крики: «Держи его, держи!» Из-под ветвей огромного куста барбариса выскочил, как затравленный заяц, мальчик лет семи. Я машинально расставил руки. А он, не замечая меня, в ужасе оглядываясь на близкую погоню, ударился головой в мой живот. Остановившись, он снизу вверх умоляюще смотрел на меня глазами, полными слез. У него было такое бледное, худое и интеллигентное личико.

– Мальчик, не задерживай меня... Я тебе мелочи дам – все что у меня есть. – Он полез в карман дырявых коротеньких штанишек. – У меня мама больная лежит. Я ничего не украл! Я не вор... Я первый раз. Я больше никогда не буду! Отпусти меня!

Он говорил, задыхаясь от быстрого бега и слез. В маленькой ручонке, испачканной землей, судорожно сжимал морковку.

«Держи его, он сюда побежал!» – кричали совсем близко за кустом. Из разных концов парка в ответ неслись трели свистков – это отвечали и шли на помощь дежурные с других огородных участков; каждый в отдельности не надеялся на свои силы.

Я показал мальчику дыру в сломанной ограде, через которую он мог выбраться из сада. Он скрылся в тот момент, когда раздвигала кусты погоня. Я долго не мог забыть его горестное личико!

* * *

Война еще не кончилась. Ленинград залечивал раны, нанесенные огнем войны, ушедшей далеко на запад. Скоро будет победа!

Это время всегда останется в моей памяти, потому что ему я обязан открытием сложного, неповторимого мира – города, имеющего свою душу, противоречивую судьбу, которая волнует, как жизнь любимой женщины.

Некогда элегантные газоны скверов и садов были изрыты траншеями и превращены в огороды, опутанные колючей проволокой и забаррикадированные лесом старых ржавых кроватей. Ансамбли дворцов, домов и особняков, прижавшись друг к другу, тихо и грустно смотрели в светлые быстрые воды широкой Невы. Над Невой кричали чайки, и все так же красовался своей решеткой Летний сад. Лебяжья канавка чиста, как лесной ручей. Стаи малюсеньких рыбок молниеносно бросаются в разные стороны, завидев тень на воде... А вот Инженерный замок, Марсово поле, где некогда были парады императорских доблестных полков.

Нельзя говорить без волнения о прекрасных чертах Петрова града! Тот, кого он хоть однажды овеял своим дыханием и шумом листвы старинных парков, кто видел и ощущал его странную загадочную близость, тот, кому открылись его величественные и нежные черты архитектурных гимнов сквозь слезы дождя и тумана, тот, кто видел гонимые по зеленой воде каналов желтые листья, кто заглядывал в грустные глаза окон и на задворки с трепещущим на ветру бельем, – тот навсегда запомнил лик великого города.

Может быть, Петербург, как ни один город в мире, имеет свою особую душу, присутствие некоего одухотворенного индивидуального начала, заключенного в комплексе архитектурных ансамблей, величественно-широкой Неве, мостах, нависших над рябью свинцовых могучих заветренных волн... Неисчерпаем и бесконечен в своем бытии вечный город! Он меняет облик в зависимости от времени года, месяца, дня, часа. Нежная и жестокая весна со звоном ледохода, рождающая тревогу в груди, которую нельзя спрятать в призрачном свете белой ночи. А затем синее, жаркое или холодное и такое короткое лето. Хрупкая нежность улетающей осени покрывает золотым ковром опавших листьев аллеи парков города. И, наконец, наступает самое «петербургское время» – холодная мгла, промозглый ветер, качающий фонари.

В который раз гуляя в поздний вечер по пустынной длинной набережной, защищая рукой шапку от злого осеннего ветра, я подходил к Медному всаднику, поднимал голову к быстро несущемуся низкому ночному небу и глядел в лицо Петра, изумляясь волевой силе, спорящей с набатом стремительных небес.

«Свободные искусства» послевоенных лет

Гений воспитывается на подражании...

Художник Рейнольдс

В сентябре 1944 года я был принят в среднюю художественную школу при Академии искусств, о которой мечтал с детства. В ту пору Академия только что вернулась из эвакуации. Само здание Академии, этого прославленного храма русского искусства, исполнено строгой и правильной красоты и не может не произвести глубокого впечатления на каждого, кто хоть раз побывал там. Как оно пострадало во время войны!

Над входом до сих пор висит чугунная доска с надписью: «Свободным искусствам. 1725 год». Я счастлив тем, что Бог судил мне учиться в этом здании долгих 13 лет – вначале в средней художественной школе, а с 1951-го по 1957-й в самой Академии – институте имени И. Репина Академии искусств СССР. Мои друзья, преподаватели и я горели любовью к искусству!

После редчайшего по красоте вестибюля Академии сразу попадаешь в атмосферу державного величия, неумолимо строгой классики, не знающей хаоса случайностей и мимолетных настроений. Чувствуешь себя, словно в храме, покинутом жрецами, которые поклонялись Богу гармонии, разумной красоте. Среди античных колонн из ниш смотрят мудрецы и славные герои античного мира. Академия – это сложный лабиринт прямых, как стрела, полутемных, узких и высоких, как своды готического собора, коридоров; винтовых, как в средневековых замках, лестниц, ступени которых стесаны ногами многих поколений; высоких и светлых залов, где в сверкающих паркетах, как в зеркале, отражаются плафоны XVIII века; мастерских, где вот уже свыше двухсот лет происходит единоборство художников с вечной тайной познания природы, ее дивного Божьего замысла и гармонии.

На экзамене по композиции в средней художественной школе, размещенной на четвертом этаже этого дивного здания, я нарисовал пастухов, вспомнив, как мы с Васей стерегли колхозное стадо деревни Гребло. Очень волновался, мои работы были плохие, и потому меня приняли не во второй класс по искусству – как полагалось по возрасту, – а в первый. Справка о сдаче экзаменов в Кобожской деревенской школе освободила меня от экзаменов по общеобразовательным предметам. Я негодовал на свою робость, но был счастлив, что меня приняли в среднюю художественную школу. Мы собрались, словно на пепелище, дети разных родителей, живых или умерших во время войны; разных национальностей – не побоюсь сказать банально, в дружной семье, жаждущей одного: войти в ворота искусства.

Мы быстро привыкли друг к другу. Володя Прошкин, с которым я подружился, сидя на уроках, сосал палец правой руки – и это очень раздражало учителей. Его живые темные глаза были исполнены озорства и энергии. Рисовал он неистово и самозабвенно. Родители его, известные в Ленинграде художники, работали в мастерской, ранее принадлежавшей Куинджи, на Васильевском острове. Окна ее выходили на

дворец Бирона. Сколько мы с ним, держа за спинами этюдники, исколесили запущенных городских окраин и кладбищ, притягивавших нас своей живописностью и поэзией старины! Коля Абрамов, Федя Нелюбин, Миша Дринберг, Леня Четыркин, Витя Левиаш... Нас было мало в классе, словно мы поступили в Царскосельский лицей. И – нас объединяло искусство!

«Иных уж нет, а те далече». Коля Абрамов, или Челюсть, был по дарованию тонким, прекрасным пейзажистом. Мы любовались его рисунками с натуры – уходящие вдаль дороги, трепещущие на ветру деревья. Федя Нелюбин, с тонкой, талантливой, нервной душой, обладал большим юмором. Отец его умер в блокаду, мать, Екатерина Васильевна, не чаяла души в единственном сыне. Жили они на Невском в мрачной, давно не отремонтированной квартире с высокими потолками и драными обоями. Неожиданно для нас он стал комсомольским деятелем – проводил собрания, собирал взносы. Острил, как он сойдет с ума: выйдет, держа на голове маленький столик, на угол Садовой и Невского, расстелет на столике красный кумач, вытащит графин с водой и, когда вокруг, естественно, соберется толпа зевак, провозгласит, протягивая вперед, как Ленин, руку: «Товагищи, считаю наше собрание открытым!» Миша Дринберг, ныне Садовский – ставший архитектором, издавал рукописную газету «Клоп», свидетельствующую о его едком юморе, заставлявшем нас порой хохотать до слез. Его отчим был лауреатом Сталинской премии. И потому он имел кличку «Лауренсия». Мы проводили, отдыхая от серьезных занятий, конкурсы на исполнение советских песен. Спеть надо было неподдельно искренне, но выявить зарплатный идеологический жар их создателей. Помню, я уже праздновал однажды первое место, да не тут-то было. Федя Нелюбин, а попросту Губа (у него была очень характерная линия верхней губы), опершись о рояль, исполнил с непередаваемым пафосом песню «Палатки юных ленинцев стоят на берегу». Мы единогласно присудили ему первую премию. Он остро улавливал характер человека и стал одним из лучших сатириков-карикатуристов Петербурга, работал в «Боевом карандаше». Виктор Левиаш был влюблен в Ренессанс. Его кумиром был Леонардо. Алексей Петрович Кузнецов, наш учитель по живописи и впоследствии директор художественной школы, прозванный за свой рост и пропорции фигуры Гвоздем (мы его любили за сердечность), смотря, прищурив глаза, на его рисунок головы, натурщицы, говорил: «Левиаш, во времена Леонардо женщины брили брови – это была мода. У нашей модели брови нормальные».

Сладость томления над рисунком, серьезность отношения к искусству воспитывала в нас жизнь, полная учебных заданий, и светлые стены Академии – свидетели труда многих поколений русских художников; Филармония и Мариинка; музыка колоннад и великой культуры Петербурга; грандиозность Эрмитажа и Русского музея... Эти годы не забыть никогда! Спасибо Великому вечному городу России!

* * *

Особенно памятна мне дружба с Мишей Войцеховским. Миша покорила меня своей необычной душой, и я проникся к нему чувством какой-то внутренней близости. Он словно жил и не жил. Часами слушал музыку, молитвенно созерцал в Эрмитаже великую скульптуру антики или подолгу размышлял о Пергамском алтаре – как об одном из величайших творений человеческого духа. Он пользовался успехом у женщин, его черные миндалевидные глаза доброжелательно смотрели на мир из-под копны выходящих светлых волос, обрамлявших широкий лоб мыслителя. Он был для меня идеальным воплощением художника, не поддающегося иллюзии жизни – «Майи», как говорили индусские философы, которых в ту пору мы страстно изучали. Его любимцами были антики, Донателло, Роден и наш Паоло Трубецкой, разделивший премию с Роденом на всемирной выставке в Париже. Он много читал и лепил...

«У меня в жизни есть только искусство и ты, – говорил он мне на пронизываемой ветром набережной у сфинксов. – Твоя гениальная душа победит мир, если ты не поддашься „Майи“. Ты заразил меня ощущением времени – человеку так мало жить на этой грешной земле. Я чувствую, как тупею и становлюсь как все, если пропущу день лепки».

Его рисунки с натуры носили какую-то странную печать экзальтированности, чем-то заставляя вспомнить Врубеля. «Страшная душа времени – суета. Мы все в лапах „Майи“, говорил он. – Когда человек один, мне и, знаю, тебе помогает необъяснимая тайна „абсолюта жизни“. Все остальное суета. Искусство – наша религия». Многие друзья ревновали меня к Мише, с которым у меня сложились свои особые духовные отношения. Он понимал меня и прочил мне великую судьбу художника-миссионера. Но, радуясь, купаясь в нашей духовной близости, я вдруг начал замечать новые процессы в душе моего друга. Он стал пропадать по несколько дней, потом, появляясь, бывал задумчив и отчужден.

– Где был? – спрашивал я его. – Что случилось?

– Скажу только тебе, – отвечал он. – Я был на Ладоге...

– Зачем?

– Видишь ли, – говорил Миша. – У меня появилась тяга к одиночеству. Хочется быть наедине со своей душой и Тайной природы. Когда спишь в стогу сена, несмотря на весенний холод, и утром видишь взрыв

красного хмурого солнца, встающего над лесом, – в душе звучат такие струны, которые недоступны людям, живущим в городе нашего времени. Ты должен испытать это чувство слияния с природой. Мне хотелось молиться на восход. Это такая тайна, что, возвратясь сюда, я чувствую себя пророком...

«А вот я мальчика-пастуха нарисовал», – показал он как-то рисунок. Мальчик был с глазами как у врубелевского Пана. После наших рисунков с натуры он показался мне особенно одухотворенным и странным. «Неужели такой маленький пророк?» – спросил я у вялого и уставшего Миши. «Таким я его увидел – у него мир совсем непохожий на наш, – ответил мой друг. – Я не люблю Уолта Уитмена с его муравейником города!»

Я в ту пору любил Уолта Уитмена и Гогена. Мне нравился певучий колорит гогеновских экзотических полотен. Его «Ноа-Ноа» – благоуханный остров – лежал на моем заваленном красками и книгами столе. Интуитивное желание уйти от ситуации нашей советской жизни, индивидуализм и неслияние с ней вызывали у нас увлечение пантеизмом и миром неведомым, непонятным и вечным. «Чтобы понять себя – надо уйти от себя и от всех, – говорил Миша, глядя в одну точку. – Надо смириться с вечностью... Не потерять в себе Бога».

А мне всегда было свойственно созерцание чуда жизни, чуда первого снега, тающего на ладони, далеких звезд в темном небе, духовной наполненности небес, меняющих свою краску, и движения облаков, плывущих в далекие страны... Я любил Божий мир.

Никогда не забуду ветреных, весенних и тревожных, словно предвещающих беду сумерек. Я сидел в маленькой комнате на улице Воскова, подавленный неумением осилить натюрморт, поставленный мною в духе Шардена. На дне двора играли дети. Я видел в окно море крыш с антеннами, напоминающими распятия без Христа. Звенела капель. Небо было пустынно-зеленым. Становилось темно... Внезапно открылась дверь, и вошел Миша. По его глазам я понял, что сейчас случится что-то непоправимо плохое. Он молча сел, глядя на меня в упор, постукивая пальцами по старинному переплету книги, лежавшей на столе в хаосе разных монографий о жизни великих художников древнего мира Италии. Было очень тихо. Только весенняя капель неумолчно, как пульс, долбила темя камней двора-колодца. Я никогда не видел у Миши такого лица. Он поднял глаза и, безжалостно вонзив их в мои, заговорил: «Я пришел сказать тебе, что ты ничтожество, как, впрочем, и я. Мы с тобой больше никогда не увидимся. Я буду жить у Трауготов – в их семье». Помню: напрягая волю, я не опустил глаз. Тихо ответил: «Я это знаю. Я ничтожество. Но что ты советуешь мне делать дальше?» Он, как в сомнамбулическом сне, повторил несколько раз: «Ты ничтожество и должен знать это. Мы расстаемся навсегда». – «Ты раньше говорил по-иному». Он помолчал, и я почти не видел его глаз во внезапно ставшей темной комнате, где только на маске Аполлона дрожал последний луч холодного петербургского заката...

Когда он ушел, не попрощавшись, я остался один. От потери друга душа моя разрывалась в горе, ужасе одиночества. Я упал на пол и горько плакал...

* * *

Семья Трауготов была интеллигентской. Их называли «носителями левого искусства». Они жили на Пушкинской недалеко от меня. Однажды я увидел на набережной странную пару. Словно набеленная маска-лицо и кроваво пылающие пурпуром, нагло раскрашенные губы стареющей женщины. Под ручку с ней бережно, словно охраняя и заслоня собой от пронзительного осеннего ветра, шел мой бывший друг Миша, что-то жарко и страстно шепча ей в ухо. Лицо ее показалось мне страшным в своей внутренней истеричности... Кто она?

Трауготы жили замкнуто, никого не пуская к себе, кроме самых близких. Учась в СХШ со старшим сыном Трауготов, я поражаюсь его неизменным темам цирка (где уродцы громоздились друг на друге вперемешку с собаками и обезьянами) и красного солнца в серой мгле. «Почему я могу делать цирк? – важно, через губу, говорил он. – Вся жизнь – цирк, это тема моя и Пикассо». Младший сын с лучезарными детскими глазами был скульптором. Их отец – маленький, носатенький человек, с умным отстраненным лицом. Говорили, что он чудом уцелел при погроме столпов формализма французской школы. С их матерью я знаком не был... Говорили, что они дружат с Натаном Альтманом, которого я иногда видел в Академии. Он ходил с тросточкой, которую венчал череп из слоновой кости. Филонов умер во время блокады... Малевич, накануне войны пытавшийся очень убого вернуться к реализму, жил тоже недалеко от нас...

* * *

Что же делать мне, если я ничтожество, как объявил мой друг, а сам я ощущал себя таким покинутым в мире и таким незначительным среди гениев, создателей великих творений Эрмитажа и Русского музея? Но всегда, когда мне становилось (и сколько раз!) мучительно и нестерпимо жить, ощущалась невозможность разорвать иллюзию «Майи», когда на меня стремительно надвигался страшный локомотив жизни, все сметая на своем пути, и я знал, что не могу остановить его натиска своими беспомощными руками, некая мощь беспощадного внутреннего голоса поднимала меня с колен и наполняла дикой силой сопротивления, уверенности в победе, необходимости своей миссии в мире лжи и плоского запрограммированного бытия человека XX века. Точнее, человека советского общества, казалось бы, такого примитивного по идеям, но несущего в себе невиданные в истории человечества возможности взлета и падения. Мы так любили тогда слушать «Жизнь героя» Рихарда Штрауса. Удар, нанесенный другом, словно разорвал мою грудь, заставляя до воя по ночам переосмысливать все прожитое, утраченное и обретенное. Нет, раз я все чувствую, понимаю, коленопреклоненный стою в храме духовных свершений великих художников, понимаю их внутреннюю жизнь, неужто жертва моей жизни, отказ от всего во имя Искусства – окажется пустой, никому не нужной жертвой? Нет. Буду вставать и работать весь день, читать, падать на постель и снова работать. Дай Бог силу и волю раскрыть то, что ношу в себе, дай Бог научиться рисовать, отражать в образах мир. Я спасусь одним – со стороны буду смотреть свою жизнь словно чужой фильм, но стану ее режиссером, буду вводить новые персонажи, новые коллизии или навсегда уйду в небытие. Воля, воля и воля! Я должен жить и стать художником!

* * *

Я уехал в Лугу – один с холстами, в места, овеянные радостью детства и любовью родителей. В Луге я истязал себя работой от зари до зари. Меняя холст с мотивами пейзажа, я думал, как сладко быть одиноким, душить страсти человеческие в зародыше, бороться с самим собой, где «поле битвы» – небольшой холст, а перед глазами – мир и его отражение великими художниками. Воля к сопротивлению, преодолению профессиональной убогости ученика была главной страстью и стеной, отгораживающей меня от мира.

Идя один раз на этюд по большому полю, я увидел огромную черную, словно баскервильскую, собаку, распластавшуюся в погоне за мной. Что делать? Не знаю... Она все ближе и ближе. Слышу ее злобное рычание. И вдруг я отбросил этюдник и, встав на четвереньки, кинулся с лаем на этого огромного пса. Собака остановилась, остолбенела и с визгом помчалась прочь, приминая траву и цветы. На сей раз я победил. Я действовал по велению внутреннего голоса. Древние говорили: лучший способ защиты – нападение. Единственный способ утверждения художника – нападение на самого себя и бескомпромиссная изнурительная работа, которая несет радость утверждения и счастье жизни на земле. Работающему Господь ниспошлет вдохновение, приблизит к тайне бытия.

* * *

Осенью в мою комнату на улицу Воскова забрел Траугот. Я успел, обдав кипятком, снять краску с трех пейзажей, которым отдал все лето под Лугой. «Тебе не жалко своего труда?», – спросил он. «Мне не жалко труда, но я не вижу результата труда». Загадочно улыбнувшись, Траугот сказал: «Но многие в Союзе художников были бы счастливы написать так. Ты преступник, коль скоро уничтожаешь это. Я знаю, – продолжал он, – что от тебя далеко искусство XX века. Ты уверен, что всю жизнь будешь любить Иванова и Сурикова? Когда я слышу эти имена, то вспоминаю людей, любящих их: они все такие примитивные, как работники ЖЭКа. А ты не такой», – сделал мне комплимент Траугот. «Уверен, что всю жизнь буду любить этих гениев», – решительно ответил я.

Он, выжидая чего-то, рассматривал меня с ленивым интересом и если бы был в берете, то напоминал бы персонаж рисунка Гольбейна с тяжелой челюстью и недружескими глазами. «Ты не похож на всех, а любишь то же, что и все. Странно. Но я уверен, что у тебя пройдет». – «Нет, никогда!» – убежденно ответил я «левому». Доскабливая вечерний пейзаж, который струпьями сходил со сметанно-белого грунта, я, не глядя на него, поинтересовался: «Как живет Миша?» Он с ухмылкой прищурился: «Миша живет у нас, мы ему комнату дали, живем дружно. Очень лысеть стал, – заметил вдруг серьезно. – Но дела начал делать большие». – «Какие же?» – поинтересовался я, представляя мысленно нечто вроде образа врубелевского пророка или «Граждан Кале» Родена. «Он сейчас делает формы для детских игрушек. Зайчиков резиновых не видел? Продаются. Так это Мишина продукция, он перестал учиться и начал работать». – «Как – зайчиков?! – выронил я мастихин. – А где же творчество? Ведь он такой духовный человек. При чем здесь зайчики и бегемотики?» «Но деньги-то нужны, чтобы жить», – спокойно, не дискутируя, ответил Траугот.

«А ты слышал про такую болезнь – шизофрения? – уходя, спросил он. – Напрасно. Художник должен знать все. Это тень и свет – раздвоение, мания и распад... Ты человек цельный, – взглянул он на меня, пройдя несколько ступеней вниз. – И я тебя за это уважаю».

* * *

Как известно, люди творческие – люди ранимые, с тонкой и часто неуравновешенной психикой. На них сказываются как переутомление, так и эмоциональные потрясения. Некоторые из моих знакомых и друзей иногда «подлечивались» в течение нескольких недель в клиниках. Один из них был на Васильевском острове, где в свое время, как рассказывали, лечился П. А. Федотов. Не знаю, достоверно ли это; но мне довелось несколько раз, навещая моих друзей, побывать в старой клинике, находившейся неподалеку от Академии художеств.

Однажды я увидел, как один из пациентов открыл форточку (а они были затянуты решетками) и опустил в пространство между рамами больничные туфли. После чего приблизил лицо к стеклу и стал корчить гримасы, вглядываясь в темную резиновую подошву.

Заметивший мое изумление врач, здоровенный детина в белом халате и шапочке, нижняя часть лица которого была будто замазана тушью (тщательно подстриженная черная борода рождала такое впечатление), – пояснил мне: «Вы напрасно думаете, что это сумасшедший и действия его нелогичны. В нашем замечательном доме для людей с потревоженной психикой, какая наверняка и у вас, – подмигнул он, – у больных отнимают все зеркала. И чтобы рассмотреть свое лицо, больные часто опускают туфли или другие темные предметы, чтобы стекло служило зеркалом. Почему-то рассматривание себя в зеркале очень возбуждает человека, а это боже упаси в период лечения». Я увидел, как он подошел к этому больному, они вместе вытащили туфлю, которая, как амальгама, придавала оконному стеклу свойство зеркала. И подхватив его под мышки, запел неожиданным для его могучей фигуры фальцетом: «Соловей, соловки, пташечка, канареечка жалобно поет». Мой товарищ, с которым я пришел в клинику, сдерживая улыбку, тихо заметил: «Врач-то тоже сумасшедший. Интересно, кто же его лечит?»

Я раньше очень любил рассматривать рисунки сумасшедших: они так ярко отражают гаснущее сознание или глубокую страшную бездну их души. Запомнился один рисунок: неумелой рукой нарисована унылая палата, где рядом установлены койки со спящими на них людьми – словно в тюрьме. И только один в диком испуге протягивает руку к огромному красному солнцу, которое встает в окне. Левая рука прикрывает глаза, которые не могут выдержать красный, чудовищный взрыв солнца, символизирующий приход нового дня после страшного кошмара больничной ночи.

Интересно, что швейцарские врачи определяют состояние души больного по рисункам, которые так любят делать сумасшедшие, особенно страдающие паранойей.

На международном конгрессе в Швейцарии, для больных, теряющих сознание и связь с реальной действительностью, введен медицинский термин «синдром Кандинского».

Когда человек начинает видеть мир абстрактно, как говорят врачи, зашториваясь от реального мира, – это один из тяжелейших симптомов больной души. В основе так называемого абстрактного искусства лежит культ психики больного человека. И не случайно XX век принес право видеть в каждом художнике сумасшедшего, забывая, что великая духовность культуры создавалась абсолютно здоровыми людьми, такими, например, как Пушкин, Андрей Рублев, Тициан, Рафаэль, Суриков и Кустодиев.

«Творчество» душевнобольных, очевидно, очень важно для тех, кто хочет заразить вирусом шизофрении или паранойи здоровых людей, сделав болезнь нормой якобы современного искусства. Разумеется, как говорил Бодлер, все прекрасное странно, но не все странное прекрасно.

Черная волна безумия или душевного расстройства захлестнула, к сожалению, содержание творчества многих художников XX века. Доводя искусство до безумия – абсурда, эта тенденция, направляемая стоящими в тени «дирижерами», помноженная на шаманство и кликушество первобытных народов, чтобы не сказать людоедов – дикарей и сатанистов, сегодня стала господствующей на экранах телевидения, страницах журналов и книг. И не вдаваясь в глубокий анализ политических мотивов, хочется, однако, увидеть некое рациональное зерно в организации руководством «Третьего рейха» выставки в Париже под девизом: «Энд артете кунст» («Искусство вырождения»). Перед ее открытием Адольф Гитлер отдал приказ позолотить скульптуру Жанны д'Арк, что находится напротив Лувра. А на самой выставке перед автопортретами художников так называемого «современного» искусства, от Сезанна до известных всему миру авангардистов, рядом были помещены удачно подобранные фотографии душевнобольных из европейских клиник.

Впечатление было ошеломляющее, тем более что, как мне рассказывали старые парижане, в центре зала на белоснежном постаменте из мрамора Аттики гордо вздымал к солнцу свое прекрасное, словно озаренное внутренним светом, лицо бог гармонии, искусства, победитель дракона мрака – Аполлон

Бельведерский как символ богоподобного человека, красота которого многие века вдохновляла не одно поколение великих художников. И невольно мысль обращалась к тому, какой мощью обладает для нас пронесенная через века идея прекрасного человека: «Мэнс сана ин корпорэ сано» – в здоровом теле здоровый дух.

Сегодня, когда мы стали раскрепощеннее, шире и объемнее воспринимать глубинные процессы истории и своего времени, великий дух наших арийских предков вызывает о подлинном искусстве, о красоте и духовном здоровье героев, которые строили нашу светоносную цивилизацию. И вот почему сегодня, говоря о христианской культуре, мы говорим о православии, о его правой силе служения истине и добру.

Не утратить веру в наши идеалы – и есть героизм сегодняшних дней. И вечная сила, заключенная в бытии нашей расы, помогает нам выбраться из мрака лжеучений, бесплодной пустыни, подобной той, где на краю бездны сатана искушал Христа. Лжеучения и лжеучителя – а имя им легион.

Сегодня, как Спасителя мира, нас искушают и предлагают отречься от первородства некогда чистого и здорового, как музыка Баха, могучего, как своды новгородских храмов, духовного начала во имя благ земных. «Поклонись мне и все это будет твое!» – искушал на краю бездны Сатана Сына Божья.

И страшно жить во времена, когда в бездонные пропасти низвергаются вечные ценности духа, страшно видеть любимых людей, которые у тебя на глазах превращаются из белого лебедя в черного, как в бессмертном «Лебедином озере» Чайковского.

Страшно видеть, как душа любимого человека у тебя на глазах умирает и переходит в свою противоположность. Обнаженная совесть и понимание непоправимого толкают даже сильных на самый тяжкий грех – самоубийство, которому нет прощения. В такие трагические минуты моей жизни я сам иногда с трудом удерживался на краю пропасти. Самый страшный удар настиг меня всего несколько лет назад. И все же сильные люди должны преодолеть в себе страх одиночества, залечить, казалось бы, неизлечимые раны предательства и, собрав волю и страсть к жизни, идти непреклонно вперед. Иного пути нет.

* * *

Ощущая вечное одиночество, я тянулся к людям, в лицах которых мне чудился ответ на вопросы, мучившие меня.

Идя однажды к сестре Нине Мервольф, работавшей на Невском в издательстве «Изобразительное искусство», расположенном в Доме книги, что напротив Казанского собора, на лестничной площадке я столкнулся со стариком небольшого роста в широкополой шляпе, с белой бородкой, как у Бунина, с выразительными глазами, светлыми как озера, характерным разрезом ноздрей и, что меня поразило, – яркими тонкими губами, которые скрывали белоснежные усы. «Очень несоветское лицо, – подумал я. – Наверняка из „бывших“. Преодолев застенчивость, протараторил, что, будучи молодым художником из средней художественной школы при институте имени Репина, хочу нарисовать его портрет.

Он изучал меня пытливым взглядом старчески-юных глаз. О чем-то спросил и согласился позировать.

В назначенный срок я явился с небольшим холстиком, и, знакомясь с его кабинетом в доме на Невском, заваленным книгами, – решил писать только голову, почти в профиль, чтобы глаза смотрели мимо нас. Я тогда ходил каждый день в Русский музей к моему любимому Валентину Серову, чьи портреты вызывали мое поклонение. Подолгу простаивая возле них, изучал каждый мазок мастера. Залы Русского музея днем были пустынными. Две старушки-хранительницы без конца говорили шепотом о родственниках, о том, в каком классе учатся их внуки. Как-то раз, когда я вновь появился в зале и остановился у портрета Орловой, одна из них неприятно заметила:

«Опять пришел, как на работу... И чего ходит? Смотрит, смотрит и все равно так не сделает, как Серов...» И громко мне: «Молодой человек, не подходите так близко к картинам, их надо смотреть, а не нюхать, как вы каждый день». Вторая, более интеллигентная, тихо возразила: «Зря ты его так. Хороший юноша, может, и выйдет из него великий!» И засмеялась, вновь переходя на бытовой разговор с седой подругой...

Сергей Карлович Вржосек – так звали старого писателя, был другом В. Соловьева, Вересаева, Куприна, Горького и многих других, ставших для нас теперь историей.

Однажды во время сеанса он спросил: «А что ты, Ильюша, думаешь о Ленине и Крупской?» Я, с интересом посмотрев на свою модель, ответил: «А разве мое мнение важно?!» Сергей Карлович, доверительно посмотрев на меня, четко выговорил:

«Я писатель, юрист по образованию; у меня практику проходил Саша Керенский – балаболка и фанфарон. С Лениным и Крупской я работал в рабочей школе. Ленин работяга, компилятор и удивительно скучная личность, не говоря уже о Крупской. Понять не могу, как он превратился в гения? И потом он же

был больной, фанатик, уколобый школяр...» Жена Сергея Карловича, вдвое моложе его, спешившая на работу – она пела в церковном хоре в Александро-Невской Лавре, – встала сразу же над ним за стулом и, ласково качая головой, постучала себе по виску. «Не слушай его, – сказала мне. – Карлуша очень старенький, и у него свое мнение. Как еще жив остался?!» – «Что ты там шепчешь?» – гневно спросил Сергей Карлович, обернувшись к жене. Та, целуя его в темя, пропела первую строку романса «Отвори потихоньку калитку»...

Много важного и нужного рассказал мне старый писатель. Жил он на Невском проспекте. Когда я в первый раз уходил от него, он подал мне пальто. Я не знал, куда провалиться от стыда: «Да что Вы, Сергей Карлович» Он, держа мое потертое, запачканное краской пальтецо, сказал: «Раньше на Руси гость был самым дорогим человеком для хозяина. Хозяин своим близким и дорогим гостям подавал пальто – это дворянская учтивость».

Красный как рак, я, не попадая в рукав, поспешно оделся. «И если ты будешь помнить меня и встречи со старым Сергеем Карловичем, подавай твоим гостям пальто». И, подумав, добавил: «А Христос мыл ноги своим ученикам. Над этим символом надо думать и понять его!»

Я с тех пор всегда подавал гостям пальто. И вот, когда начал преподавать в Суриковском институте, где вел мастерскую портрета, пригласил нескольких наиболее даровитых студентов домой – показать книги и угостить чаем. Когда они уходили, подал каждому пальто. И, кроме как у одного, это не вызвало у них ни тени смущения, ни даже удивления. Через захлопнувшуюся дверь от ожидавших лифт студентов услышал: «Как шеф дорожит нами! Пальто подает, будто в гардеробе театра».

Мне стыдно перед Сергеем Карловичем за неисполнение его наказа: я никогда не подаю больше пальто советским и постсоветским молодым художникам.

Но факт омовения ног Христом своим апостолам что, и этот великий урок ведет меня по жизни, всегда наполняет новым чувством, когда задаюсь вопросом: «Кто твой ближний?»

* * *

Директором СХШ был добрейший и интеллигентнейший Владимир Александрович Горб, славившийся своим острым языком и любовью к Веласкесу и Валентину Серову. Мы его любили.

Обращаясь к одному ученику, он нередко вставлял слово «паешь» (понимаешь), если к группе – «паете» (понимаете). Аккуратно причесанные седые волосы, горбатый нос, пылливо-торжественный взгляд. Смотря на кого-нибудь из нас, он изрекал: «Ты нарисовал спину натурщика, и она вышла, как моя фамилия – горб». «Носы у натурщиков нужно рисовать, как носы у военных кораблей». Многие не могли сдерживать смех. А он, по обыкновению серьезно, продолжал разглагольствовать в своей манере: «Вот вы живете в большинстве своем в общежитии, как и студенты Академии, кто не питерский. И не знаете, что такое проблема дров в Ленинграде. На днях пришел умученный занятиями. Сажу, пью чай с женой, паете, с печеньем, „Кавказскими“ конфетами. Вдруг, паешь, – он посмотрел на меня, – звонок „Кто там?“ Через дверь, паете, спрашивают: „Вам дрова нужны?“ Я отвечаю: „Нужны!“ паешь. „У нас во дворе два кубометра сухих березовых дров. Спуститесь, паете, вниз во двор, заплатите и забирайте“, говорят, паешь. – Он посмотрел на Федю Нелюбина, с напряжением рисующего гипсовую голову. – Заплатил деньги, пять рублей, дрова, паете, хорошие. Мужики ушли, а я нанял дворника, паете, дрова распилить, наколоть и снести, паете, в мой сарай. Вернулся, снял, паешь, галоши, – Владимир Александрович снова посмотрел на меня, требуя внимания к своему рассказу, словно не замечая нашего вскипающего неудовольствия к его вечным историям, отрывающим нас от рисунка. – Снова сел пить чай, паете. Нет, думаю, надо снова чай вскипятить – холодище лютый на улице. Заболею, не приду в СХШ к моим ребятам, паете. Снова стук в дверь, словно пытаются выломать. И, выломали бы, если бы я жил не в старом дореволюционном доме, а в новом, паете, которые теперь в Ленинграде строят халтурно пленные немцы. Спрашиваю: „Кто там?“ Кто это ломится так нагло, паешь, ко мне, доценту Академии художеств? Слышу вопль соседа: „Кто Вам, паете, дал право пилить и носить в свой сарай мои дрова?“ Оказывается, что, паете, мужики были жуликами и продали мне дрова соседа!» – победоносно заканчивает Владимир Александрович одну из своих многочисленных историй. Те мои соученики, которые злобно комментировали про себя: «Опять Горб завелся. Лучше бы о работе сказал!» – покатались со смеху.

Звенит звонок. Наш Горб объявляет: «А сейчас я покажу вам книгу из серии „Альте Майстер“ Тициана. Буду листать сам, а то у всех руки черные от карандаша. Обратите внимание на композицию короля живописи великой венецианской школы. А вот „Венера с зеркалом“. Это, паете, симфония живописи. К сожалению, ее, паешь, продали в Америку и наш Эрмитаж опустел. Кто так писал красоту женского тела? Это, паете, как великая музыка природы». А у нас «верно, да скверно!» – как говорил великий учитель Павел Петрович Чистяков. Думайте об этом!



«Сехешовцы» с волнением ждали обходов – оценки нашей работы приезжавшей из Москвы комиссией. Возглавляли это шествие Грабарь, обычно в темном костюме, и президент Академии художеств Александр Герасимов, несколько заслонявший своего «заклятого друга», вице-президента Иогансона. Игорь Эммануилович Грабарь выглядел точь-в-точь, как он изображен на дружеском шарже Серова в его священной для нас монографии, изданной Кнебелем. За ним, высясь над всеми, следовали – Лактионов, похожий на восковую фигуру Петра Первого в Эрмитаже, и седой Феодоровский; далее еще человек 20 – 25 – президиум Академии и руководство института имени Репина. Прекрасный рисовальщик старик Абуглов, Фогель в берете, как Рембрандт, строгий, с бородкой, скульптор Крестовский, известный еще до революции тонкий театральный живописец Бобышев и другие столпы Академии художеств СССР. Мы – школьники – с интересом изучали исторического живописца Авилова, печатавшегося еще в журнале «Нива» в канун революции. Осколки былого величия громких имен русской живописи! Многих мы не знали и спрашивали друг у друга: «Кто это? А это?» И с уважением глядели на их лица.

Однажды, когда я бежал по коридору первого этажа в столовую, из-за угла неожиданно появился Игорь Эммануилович Грабарь, которого я, при его небольшом росте, чуть не сбил с ног. Он брезгливо отпихнул меня и сказал: «Малыш, здесь не улица, а святое здание Академии». Шедший за ним столь любимый всеми ученик Чистякова Платунов, подавляя ласковую улыбочку, погрозил мне пальцем. Сегодня не верится, что Игорь Грабарь был частью нашей жизни, а сидящий на фотографии рядом с Павлом Петровичем Чистяковым его ученик Михаил Платунов подходил к нашим работам, говорил о них, наставляя нас, постоянно ссылаясь на систему Чистякова. «Сколько Вам лет?» – спросил он меня однажды. «Шестнадцать», – почему-то смутился я. «А вот я забыл, когда мне было шестнадцать лет», – задумчиво и ласково протянул профессор Платунов.

Бобышев, замечательный театральный художник из плеяды Головина, Рериха, Бакста, Александра Бенуа и других великих, вел издавна театральную мастерскую. Студенты, учившиеся у него, рассказывали нам не только о его даре колориста, но и о редкой находчивости.

Однажды, по весне, когда уже приближались сумерки, в большой театральной мастерской один из студентов, сладко потягиваясь, заявил: «Наш старик ушел к такой-то матери. И я пойду в общагу тоже к такой-то матери – отдохну». Из-за мольберта, где Михаил Павлович Бобышев исправлял работу другого студента, появилась голова профессора: «идите, идите, молодой человек, а я здесь поработаю».

Встречи с Александром Герасимовым, всеильным президентом АХ СССР, всегда были памятны. Мы собирались в конференц-зале, устроенном в помещении бывшей академической церкви, где отпевали Врубеля и восторженно внимали президенту, у которого в Академии был творческая мастерская, как и у Иогансона, моего будущего учителя. Там ковался дух соцреализма, давались путевки в жизнь и право на работу. Помню бесконечное количество остроумий, причуд и неожиданных проявлений характера этого яркого человека и автора многих ранних хороших картин – особенно в дореволюционный период, когда он еще не «продал свою шпагу», как, впрочем, и почти весь президиум Академии, партии и горячо любимому «вождю народов».

Известен такой забавный сюжет, связанный с президентом Академии. Фабрикант на картине вице-президента Иогансона «На старом Уральском заводе» оказался до жути похожим на Александра Михайловича Герасимова. Говорили нам, что смех Ворошилова на выставке у картины Иогансона, когда он опознал Герасимова в образе кровопийцы-фабриканта, навсегда вырыл пропасть между этими двумя руководителями Академии художеств. Герасимов не мог простить этой «шутки» своему другу Борьке Иогансону, ученику Коровина, автору широко известных картин «Полустанок» и «Допрос коммунара», которые нравились нам плотностью живописи и его пониманием картины, базировавшемся на традициях старого реализма.

Помню, как при окончании СХШ мы со жгучим интересом устремились на очередную встречу с президентом Академии художеств СССР, только что вернувшимся из Индии. Александр Михайлович вышел на трибуну, обвел зал подпухшими глазами, поправил «бабочку» и спокойно заговорил: «Какие вы все молодые. Поменял бы мое положение, квартиру и машину на ваш возраст... А я забыл, когда был таким же молодым, как вы сейчас. Учителей своих, прекрасных русских художников, помню, а себя молодого забыл», – вдруг с грустной интонацией выдохнул он. – Завидую вам по-хорошему!»

«Ну, что вам сказать? – продолжал Герасимов. – Как говорил Чехов, известно: в Китае живут китайцы, и добавлю от себя: в Индии – индийцы. Жара дикая, вонь и грязь на улицах. Нищие спят прямо на земле, хорошо, если на газетах. Коровы ходят по главным улицам Нью-Дели между машин миллионеров. Трогать их нельзя – ни-ни! – священные животные. Работал я там много. Зайдите в музей напротив конференц-зала и посмотрите, если кто не видел. Был я в Индии с известным вам художником Финогеновым, – он показал на зеленый стол президиума, где сидел его коллега. – Тот говорит: „Александр

Михайлович, искупаться бы надо, у нас в Москве холод и снег сейчас". А здесь жарница, как в русской бане, от пота взмокли, не продохнуть. Сказано – сделано. Положили мы свои альбомы и этюдники на камни. Помню, тени на песке синие-синие: прямо Коровин. Пошли, стали раздеваться, сняли пиджаки и так далее, дошли до исподнего. Финогешка прыг в воду, а я по-стариковски стал развязывать завязки на кальсонах. Из Москвы приехали, повторяю, где холод лютый. Вдруг, слышу, кричат: „Аллигатор, аллигатор!“ – это по-ихнему значит крокодил. Я огляделся на воду – нет Финогешки. Чуть не заплакал, а потом подумал: „Ну, съел аллигатор Финогешку – и что? Не большая потеря для советского искусства. Хорошо, что меня самого не съел крокодил!“ Стал завязывать завязки, штаны надел, рубашку. Оглянулся – а рядом Финогенов полотенцем вытирается. Так и не съел Финогешку аллигатор, а я не купался тогда в реке».

Все захохотали. Я с интересом разглядывал грозного президента, друга Сталина и Ворошилова. Пришла ему записка: «Что думаете о Пикассо?»

Александр Герасимов секунду помялся: «А что о нем думать? Единственно, что могу сказать хорошего, что он наш человек – коммунист. Еврейские штучки!»

Другая записка: «Расскажите о „Человеке, порвавшем цепи“ Коненкова, вернувшегося из Америки и получившего грандиозную мастерскую в Москве, на улице Горького».

Сняв черные очки по прочтении записки, Александр Михайлович, не задумываясь, ответил: «По-моему, эта громадная скульптура Коненкова должна называться не „Человек, порвавший цепи“, а „Человек, сорвавшийся с цепи“. Все опять от души засмеялись. Не лез за словом в карман президент, читая записки из зала!

«Меня снова спрашивают, что я хотел выразить, когда писал картину „Два вождя“. Знаю, что некоторые остряки называют ее „Два вождя после дождя“. А зря. Я хотел в образе Иосифа Виссарионовича и Климента Ефремовича на прогулке в Кремле изобразить совсем другое: нерушимый союз партии и армии. Сталин – это партия, Ворошилов – народная армия». Так и понимать надо мою картину!» – убежденно провозгласил Герасимов.

Однажды, когда Александр Михайлович занимал место в президиуме, как рассказывали очевидцы, было замечено, что у президента не застегнуты панталоны. Наверное, очень спешил на заседание. Сосед по президиуму тихо шепнул: «Александр Михайлович, у Вас штанишки расстегнуты». Президент бросил беглый взгляд вниз и громко, невозмутимо произнес: «Э, милай, когда в доме покойник. все окна настежь».

Зная его связи со Сталиным и Ворошиловым, многие боялись его, многие ненавидели, многие любили как художника и личность за размах и чудачества. Говорят, он нередко прерывал собрания предельно категоричным заявлением: «Чего шумите, все равно будет, как я сказал. Зайду к Клименту Ефремовичу, попьем чайку и все без вас решим!»

Один из моих друзей по Суриковскому институту рассказал о знаменательном случае, связанном с одним из банкетов для советской интеллигенции в Кремле, которые так любил давать товарищ Сталин.

В ту пору любимцем вождя был писатель Алексей Толстой, которому он предоставил первое слово. Бывший граф Толстой, глядя на дымящего трубкой Иосифа Виссарионовича (в то время как другим курить было не принято), сказал о том, что наша культура понесла большой урон, ибо лучшие художники и писатели оказались за рубежом: Бунин, Зайцев, Коровин, Малявин и т. д., и теперь приходится начинать с нуля; а пока что в искусстве господствуют второстепенные личности.

Когда Толстой закончил речь, Сталин, выпустив дым из-под усов, обратился к А. Герасимову. «Скажите, Александр Михайлович, а Вы согласны с предыдущим оратором?»

Герасимов, посасывая мундштук незажженной трубки, ответил: «Я совершенно согласен с ним, товарищ Сталин. Вот и в литературе у нас остался один Толстой. Да и тот не Лев!»

«Закуривайте, товарищ Герасимов», – отозвался Иосиф Виссарионович, поднося спичку к его «сталинской» трубке.

Московский критик Анатолий Членов, известный своим несогласием с постулатами соцреализма, с которым я позже познакомился в Москве (он первый написал очень важную для меня статью – «Искания молодости» о моей первой выставке в ЦДРИ в «Литературной газете». Спасибо ему!), не испытывал пиетета перед президентом. А после опалы любимца Сталина стал крыть его без оглядки.

Однажды (уже после смерти Сталина), выступая, Членов, как и всегда, нещадно ругал Герасимова. Перебивая его речь, раздался голос Александра Михайловича: «А кто это такой?» «Критик Членов!» – отвечают ему. «Не понял, повторите, – громко переспрашивает уже бывший президент Академии. – Кто это?» «Критик Членов», – повторяют ему. «Критик чего?» – нанес удар в засмеявшийся зал Герасимов. «Вы еще вспомните время, когда за моей спиной как у Христа за пазухой жили!» – говорил тогда он.

Много лет спустя, когда я, перебравшись в Москву, снимал комнату, ко мне приехал уже опальный и растоптанный бывший президент Академии художеств СССР. Ему показали меня на какой-то выставке, и

он изъявил желание заехать ко мне. Александр Михайлович не менялся: та же боярская шапка, та же шуба до пят, та же бабочка и трубка, как у Сталина. Беспокоясь, не задену ли я полую его шубы стекло со свежесдавленными красками, служившее мне палитрой, он с пониманием смотрел, как я почтительно вешал ее на свободный мольберт в моей тесной комнате.

«Какие мы с тобой разные, Илья, хотя оба опальные. Но тебе долго жить, а я умру, как Рембрандт, в нищете, – усмехнулся он, удобно усаживаясь в кресле. Я поймал его полный иронии, изучающий меня взгляд. – Да, от чайку не откажусь, жаль, что не из самовара... Ну что ж, продал тебя Борька Иогансон, – неожиданно изрек Александр Михайлович, отхлебнув чай. – Он всегда б... был, но всегда знал, чью ж... лизать надо. Ты человек сильный, должен все перебороть. Многие работы твои мне нравятся, – школа у тебя есть, живое чувство тоже; да ты молодой, вырастешь, если работать правильно будешь. А на эту свору плюй, что они могут? Ничего, – деньги и интриги. Ножки друг другу мастаки подставлять».

«Вы работаете?» – почтительно спросил я. «Над чем работаю? Гоголь на тройке едет – кругом поле, церковь на горизонте, воронье кружит. Тебе должно понравиться. Ты же русский человек, авангардное хулиганство не любишь, совестью не торгуешь, потому тебя этот гадюшник к себе не примет. Я про Союз художников говорю. Но главное для художника – картина, как для писателя роман. Вот я и пишу еще картину многофигурную – жидовка Фанни Каплан стреляет в нашего Ленина, рабочие его окружают. Картину назвал „Выстрел в народ“. Ленин – это символ победившего в революции русского народа. Согласен? – выпуская дым из коричневой „сталинской“ трубки, пытливо глядя на меня, спросил он. – Чего молчишь? Ты спорь, коли не согласен. За то, что с нами не согласен, я тебя уважаю. Каждый художник свой мир иметь должен и точку зрения, точнее – кочку зрения, в болоте нашем. Приезжай ко мне на Сокол, на улицу Левитана, у меня много чего есть показать, в домике отдельном живу – много там народу перебивало. Сейчас все клянут меня. Редко кто заходит. А сколько я делал добра художникам! Попомни, еще вспомнят они Александра Герасимова. Мой-то тезка Сергей Герасимов – иезуит. Этюдики все мажет, он теперь силу набрал у этой шпаны. Только под себя гребет. „Импрессион“, одним словом, этот Сергей Герасимов... Запиши мой телефон», – сказал он, надевая шубу.

Я никогда не был у Александра Герасимова. Позднее узнал, что сразу после смерти бывшего президента все его наследие, весь дом растащили – не известно кто. Жил он с дочерью, которую многие московские художники называли сумасшедшей. Что с ней стало потом – не знаю.



С наступлением зимы в классах становилось холодно. Прошли уже долгие недели, а мы все еще чувствовали, что не изучили огромный таинственный мир этого здания. Особенно влекущими казались нам бесконечные черные катакомбы чердаков, где, по академическому преданию (впрочем, не соответствующему истине), повесился знаменитый архитектор А. Ф. Кокоринов, строивший вместе с Валлен-Деламотом здание Академии. Кокоринов был другом Ивана Ивановича Шувалова, фактического основателя и первого президента Петербургской Академии художеств, принявшего также активное участие в основании первого в России Московского университета. Шувалов был одним из образованнейших русских людей елизаветинской эпохи, свободно говорившим по-французски, по-немецки, по-итальянски, следившим за всеми новинками в европейской литературе и искусстве, переписывавшимся с Вольтером, Гельвецием, многими европейскими художниками и архитекторами.

Шувалов стремился помочь молодой Академии. Он пожертвовал ей собрание картин и рисунков, библиотеку, успешно хлопотал о привлечении крупных иностранных художников в число педагогов. Он охотно принимал даровитых учеников без всяких формальностей: великого Рокотова – «по словесному приказанию», а гениальный скульптор Федот Шубин был «истребован» в Академию из придворных истопников. Живыми свидетелями той далекой эпохи первых десятилетий Академии были для нас те неожиданные открытия, с которыми мы сталкивались на каждом шагу, блуждая по холодным, некогда парадным, торжественным залам и галереям. В разбитые окна врывался холодный ветер, насыпающий на подоконники мокрый снег. Как жутко было, открыв одну из дверей во втором этаже длинного коридора, увидеть, что она, словно окно, выходит прямо на улицу, в академический сад. Бомба, попав в здание Академии, вырвала часть его – огромную мастерскую, от которой сохранилась только стена с чудом уцелевшей мемориальной доской, свидетельствующей о том, что здесь жил и работал Т. Г. Шевченко. В проломе были видны заснеженные деревья академического сада и обелиск, поставленный в честь побед русского оружия. Однажды, заплутав в бесконечных анфиладах комнат, мы попали в холодный полумрак высокого и гулкого зала, где высоко на стене парила в голубых небесах крылатая дева в развевающейся тунике. Золотая надпись под ней гласила: «Слава». Мы долго стояли, задрав головы, зачарованные этим неожиданно возникшим утренне-светлым образом, так не вяжущимся с ледяным мраком искаленного войной храма «трех знатнейших искусств».

Для нас огромным событием было открытие в 1945 году академического музея античных слепков, первого музея в Ленинграде, возобновившего свою деятельность после войны и блокадной разрухи. В городе еще по-прежнему там и сям выглядывали мрачные руины разбомбленных домов, еще золотой купол Исаакиевского собора скрывала защитная краска, еще на окраине города многие витрины магазинов, превращенные в дзоты, недоверчиво смотрели в ту сторону, куда ушел разгромленный враг; еще бледны и худы были лица ленинградцев, и в глазах женщин было столько скорби и памяти утрат, – когда в залах Академии художеств лучезарные боги древней Эллады неизменной улыбкой торжества осветили далеких и непонятных им людей XX века. Ника! Стремительная, как белоснежное облако! Со складками одежд, волнуемых ветром, как прибой пенистых волн Адриатики! Нет, пожалуй, в мировом искусстве образа более ликующего, сильнее воплотившего в себе героическое дерзание, одухотворенность человеческого подвига. Аристотель говорил, что юношам, начинающим свой жизненный путь, дабы совершенствоваться нравственно, необходимо созерцать фрески художников древности. И в самом деле, понятие о прекрасном, воплощенное в древнегреческих творениях, оказало огромное влияние на эстетические вкусы многих европейских народов. Мы влюблялись в творчество Александра Иванова и Карла Брюллова! Великая русская школа!

Нашим Вергилием в царстве бессмертных героев антики был старенький профессор Александр Александрович Починков. Маленький, сгорбленный, с небольшой седой «бунинской» бородкой и усиками, в черной фаустовской шапочке и всегда испачканном гипсом халате, он был для учеников художественной школы посредником между нами и миром давно ушедших цивилизаций. Если бы кто-нибудь сказал, что он был личным другом Фидия или Донателло, то никто из нас не удивился бы: до того проникновенно наш старый профессор воскрешал характеры, индивидуальные особенности людей, живших в давно прошедшие времена. Как он говорил о Микеланджело!

Незабываемо интересно было с Александром Александровичем пройти по залам музея, где встречала нас застывшая фигура фараона. Меня всегда поражало особое выражение лица, присущее египетской скульптуре, глядящего как бы прямо в тебя и мимо тебя. А сколько тайны и неповторимой женственности в распахнутых глазах Нефертити, которая могла бы показаться современной женщиной, если бы не тот же загадочный взгляд, смотрящий в никуда. Глядя в ее глаза, испытываешь чувство, сходное с восторгом археолога, увидевшего в раскрытой гробнице юного фараона чудом переживший тысячелетия трогательный букетик полевых цветов. Египтяне создали беспримерный в истории культ умерших; они вложили в него свое понимание жизни. Отсюда характерные для Египта гигантские памятники, которые как бы хотят сделать вечность видимой. Та же воля к бессмертию, спустя много веков, через римское искусство в песках Фаюма создает неповторимое явление мирового искусства – фаюмский портрет, который для меня является наивысшим понятием портрета вообще, если под портретом понимать концентрацию духовного мира и неповторимой человеческой индивидуальности.

И сколько раз художники отказывались от изучения окружающей их жизни и становились слепыми подражателями бессмертных памятников эллинского гения! Чем же объяснить это удивительное явление? Ведь и другие эпохи и другие народы создавали великие произведения. Отчего же именно памятники греческой культуры вечны, всем понятны, всем близки? Ни в одной стране древнего мира человеческая личность не приобрела такого значения, как в Греции. Основной идеей греческого искусства был человек, во всей его богоподобной красоте и величии.

И сами боги – не страшные существа восточных религий, а люди с человеческими страстями и человеческими интересами. Изображая бога, грек ничего не мог придумать лучшего, как изобразить прекрасного, совершенного человека.

В течение долгих лет обучения в СХШ и Академии мы проводили многие часы за рисованием, точнее сказать – срисовыванием образцов античного искусства. Для нас это была школа постижения подлинной гармонии, одухотворяющей человеческое тело в примерах великого творчества. Сидя в нетопленых классах, зачастую в шубах, посинев от холода, мы часами любовались прекрасным обнаженным юношей – дискоболом, головой Геракла и Септимия Севера!

Но самое сильное впечатление оставляет «Пергамский алтарь», изображающий битву богов Олимпа с гигантами подземного царства. Какая величественная картина яростной схватки человекоподобных богов и звероподобных людей! Недаром эллины вкладывали в мрамор весь пафос, всю радость победы над племенами варваров. С трудом находишь в мировой культуре примеры столь могучего духа, «прометеева огня», выраженного в смертельной схватке добра и зла. Разве что фрески Микеланджело, глядя на которые «олимпиец» Гете воскликнул, что не находит в себе сил жить в мире этих образов. Разве что музыка великого Вагнера и нашего национального гения Мусоргского. И конечно, Достоевский, Данте, Пушкин... фигура раненого галла, на самом деле, судя по гривне на его шее, – фигура славянина, нашего предка. Когда-то, стоя, как и мы, перед ней, юный Лермонтов написал известные стихи:

Ликует буйный Рим...

торжественно гремит

Рукоплесканьями широкая арена:
А он – пронзенный в грудь, —
безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...

...Воет ветер, завывая и крича в подворотнях Петроградской стороны. Осенний парк в темноте яростно скрипит и машет скрюченными пальцами деревьев. Давно опавшие листья несутся по аллеям по чахлой, увядшей траве газона. Близ Невы, за оградой зоопарка, звери тоже не могут заснуть. Как странно услышать в такую промозглую ночь дикий вопль африканского зверя, мечущегося в тоске по своей узкой клетке! Вот и Нева... Вода, черная, как тушь, и холодная, как лед, совсем близко...

В одну из таких одиноких ночей я написал юношеские стихи:

Когда на город ляжет ночь,
Кольцом сдавив его дыхание,
Иду от шумных улиц прочь,
Охваченный толпой мечтаний.
В туманной мгле смотрю в Неву,
Пустой, ничтожный, одинокий,
Я жизни будущей канву
Тщусь разгадать во тьме далекой.
И не боюсь я ничего,
Отдавшись одному лишь чувству;
Я жажду только одного —
Познать великое искусство!

Из дневников ученика СХШ

Сегодня я понимаю, что одиночество человека, желание найти опору только в своей душе заставляет его обращаться к самому себе только через дневник. После смертных дней ленинградской блокады я осознавал себя в письмах к близким. Возвращение в великий город на Неве не избавило меня от чувства одиночества, а, может быть, даже усилило его. Потому я обратился, как и многие, к дневниковым записям, фиксирующим мои жизненные переживания и впечатления. Должен сказать, что я регулярно вел дневник до встречи с моей будущей женой Ниной, о чем я расскажу позднее. Ее лучезарная душа, всеобъемлющая и окрыляющая мою жизнь преданность, была до начала 80-х годов моим тылом солдата России и художника. Важным обстоятельством, отвлекшим от дневниковых записей, было также и то, и мне думается, это главное, — что я весь жар своей души, чувств и мыслей стал выражать через образы искусства. Так что все, что я мог как человек и художник, я выразил в картинах. Теперь, когда я пишу эти строки, я настолько одинок и измучен, что хочу, на момент оставив искусство, выразить в слове муки моей жизни, ярость служения избранным идеалам и через эту книгу-исповедь дойти до сердца читателя, которому будет дорога наша общая борьба, сопротивление и вера в возрождение великой России, повисшей над пропастью.

* * *

Листая маленькую тетрадочку, куда я записывал впечатления после возвращения в родной город и поступления в среднюю художественную школу, я был обрадован, найдя на переплете написанную два-три года спустя собственноручную надпись: «Не думай, что ты был таким глупым, когда будешь читать этот дневник взрослым. Я был умней». Тем не менее некоторые выдержки из этого дневника хотел бы привести ниже. Мне было четырнадцать лет, и после провала на экзаменах в 1944 году радовался похвале учителей и все силы своей души отдал освоению азов искусства, подбодряя свою неуверенность радостью учебных побед и... уверенностью в неодолимую победу каторжного труда на ниве любви к искусству.

* * *

8. VIII. 45. Все-таки я надеюсь стать художником! Не меньше, скажем, Юона, Грабаря. Страшно подумать, сколько надо работать!

...Иногда находят минуты, когда с ожесточением рвешь работы. Вымучиваешь дрянную акварель. О эта акварель! Сколько страданий!... Пока я иду в классе первым (вернее, вышел на экзаменах – сдал все на 5). Понял одно – «Lemen, lemen und lemen»^[20]. Только работой Валентин Серов достиг таких

результатов... (Читатель, не осуждай суждения юноши, работающего день и ночь, влюбленного в школу высокого реализма. – И.Г.)

Видел коровинскую картину. Здорово! Кабачок, вернее ресторан под открытым небом. Широкие мазки. Но думается, что и он может наскучить. Одна техника – мазки, мазки. Не то что В. Серов. Его не угадаешь...

Это старая истина, но только сейчас ее понял: задача искусства – показать ясно, убедительно зрителю свою мысль самыми скупыми средствами...

...Эта зима была ужасной (1944-45 г.). Главное – холод.

Идешь по Академии и чувствуешь – моя Академия. Та, по которой ходили столько кумиров: Рябушкин, Серов, Врубель, целая плеяда русских корифеев (таковы они для меня).

Галина Васильевна, моя учительница, сперва меня шокировала: молодая, лет 25-ти, как я думал – неопытная. Но теперь я ее полюбил и она меня, кажется. У нее черные крепкие волосы, нос с небольшой горбинкой, – карие глаза... По крайней мере не красится, не маникюрит ногти и т. п. Ничего лишнего не открыто, наглухо застегнута, одета скромно, но хорошо. Кричащего ничего нет; губы немного пухлые. В общем я в нее влюблен. (Муж ее художник Н. Андрецов был еще на фронте, а позднее вернувшись стал директором СХШ. Из-за крепких и характерных скул мы называли его Скулой. – И.Г.)

* * *

Ура!!! Закончен «химический» период. Я поборол себя, или, вернее, как-то само собой вышло. Этюды уже не пахнут «химией», впереди видна широкая дорога, ведущая к высотам искусства. («Химия» – яркие, несгармонизированные краски, точнее – яркая раскраска, исключая правду жизни и колорит. – И.Г.)

Езжу на этюды в Кавголово и в Лаврики. Возвращаюсь измочаленный с 2-3 акварелями и с 3-4 «карандашами». Что-то будет зимой? Добрый гений, вдохнови меня на плодотворную талантливую работу. Как бы сдать алгебру, а то Вера Владимировна (завуч) припугнула исключением из СХШ

10.09. Иду узнавать результаты по алгебре. Ужасно боюсь... Виталий Равкин всегда вселяет в меня неуверенность. «Литография, говорит, а не рисунок». Он имеет громадное терпение. Вот бы мне такое!

Пришел. Провалился. Настроение – в петлю.

14.09. Ездил несколько раз на этюды. Вчера – в Иванове. Написал этюд. Средний, не очень нравится. Хочу убедиться в полезности длительности писания. Этюды буду «драконить» по целым часам... Левитан и Серов тоже выделяли этюды до подробностей.

22 ноября 1945 г. Учусь уже много времени. Хочу подтянуться, а то уже много двоек и все по мелочам: то тетрадку забыл, то еще что-нибудь.

Говорят, что на зимних каникулах отличники поедут в Москву. Да, надо подтянуться: хочу посмотреть Третьяковку и вообще. Теперь у меня «возрождение», хорошие работы, иду лучшим в классе. Галина говорит, что некоторые этюды неплохо!!! – Хорошо!!! (обычно всем говорит: «Ничего»). Охота работать велика. Делаю композицию. Петербург, корабли, Петр I. Хорошо, по-моему, в рисунке. В цвете менее удачно. Постараюсь довести до хорошего состояния. Равкин посоветовал утешить землю. Сейчас у меня страсть до желтых небес (может быть, под влиянием Серова – гения). Дай мне, тень Серова и Бог, силу стать художником...

Упивался Уленшпигелем. Читаю «Поединок» Куприна...

11 января 1946 г. Давненько не брал в руки тетрадку!! На каникулах нигде не был, только на «Петре!», первая и вторая серии. Интересно очень... На каникулах никто не работал, а если работали, то немного.

Как я люблю историю русскую! Кремлевские стены, бояре... понимаю Рябушкина, Рериха, Нестерова. Рерих гений – сколько цвета! (И настроение громадное.)

Из класса я и Э. Горохов лучше всех. Мой старый довоенный учитель Глеб Иванович Орловский сказал, что ему нравятся зарисовки дома (моя страсть), а в живописи, говорит, чувствую себя менее уверенно. Следует меньше бояться и ярче брать отношения. (Милый Глеб Иванович – он был всегда прав. – И.Г.)

Равкин – гений, мне его композиция со стрельцами очень нравится. Да, сильный талант. Жажду весны с ее голубым небом и черным снегом.

14 февраля 1946 г....В пятницу было – минус 30 градусов. В школе занятий не было, и я приперся зря – двери на замке, никого нет. Зашел в четвертый класс. Там увидел Меликову, Л. Григорьеву и Олега Бакушева. Олег – спортсмен, футболист; я не ожидал от него столь зрелых мыслей, когда, оставшись с ним вдвоем, мы разговорились. По его мнению, я и Равкин утрируем природу, доискиваем красоту от себя.

Подражай натуре – будет гораздо красивее и больше пользы. Только упорным трудом достигнешь высокого класса. (Ну, это старая аксиома.) Застоишься – останешься с тем; что умел, и тебя обгонят последние ученики, которые прилежно стараются (чего я очень боюсь). Протестовал против исторических композиций. Надо попробовать делать что-то на современную тему. Не интересно? А что же тебя интересует в современной жизни? Ничего? Тогда и жить незачем. (Пожалуй, Бакушев во всем прав.)

Равкин помешался на «стариках» – Веронезе и т. д. Рерих, говорит, художник не большой. Зазнался, видно, собака. Отношение к старикам изменилось, благодаря знакомству с «Картинными галереями Европы», что видел у Прошкина – моего лучшего друга после «Мойши», если бы «Мойша» Дринберг был более нежен, чем Вова Прошкин – Суслик, как я прозвал его. А Суслик «яду полон». (Ныне М. Дринберг – Садовский, как и В. Прошкин – один из лучших представителей творческой интеллигенции Ленинграда – С. – Петербурга. – И.Г.)

Композиция «Цирк» не ладится. Перешел в набросках на одну линию, стараюсь, по крайней мере, внимательно прослеженной линией дать больше, чем сотней мелких точек и т. д.

...Отправили бы в Артек, да «поведение плохое». Забываю мучения с акварелью (летние). Сейчас затрудняюсь в самом основном, цвете как таковом (а именно в композициях).

29.11.46. Написал 4 «гениальных» этюда, внимательно следя за натурой. Вспоминаю Саврасова, Левитана. «Солнце гоните на полотно», – говорил Саврасов, и я стараюсь. Выходит «Серов» в 2-х томах Грабаря и его «История искусств» в 5-ти томах. Золотой человек – Грабарь...

Ездили с Четыркиным, Абрамовым, Прошкиным на этюды в Алекс. – Невскую Лавру. Не особенно вышло, но снег, солнце. Галина хвалила меня. Работать буду над композицией «Освободители».

1 июля. Кончил экзамены. «Гордость СХШ» – как сказала Анна Филипповна^[21]... Еду в пионерлагерь под Сиверскую с Л. Четыркиным.

30 октября 46 г. Давно не писал дневник. Завтра живопись... Я теперь в 8 классе после долгих мытарств. В лагере много поработал... В Карташовке жили на даче. Женя Корлас... говорит, что он понял, наконец, соль живописи (или – как произносит – «вывописи»). Пишет хлестко и вообще много. Так вот, он говорит, что маленький этюд – белиберда (как я сам одно время думал и говорил). Вообще, по выражению Гудзенко (вороватого малого, поклонника Сезанна, Матисса и т. д.), весь 11-й класс делает «под Глазуна», за исключением Траугота (сын лосховца); Арефьева и Миронова. Последние шли на реализм, но снюхались с Трауготом и переняли любовь к «цвету», хлещут без рисунка. Как-то сошелся я с Юркой Никаноровым^[22], который серьезно относится к искусству. Живет Юра на Плуталовой, имеет комнатуху, отдельную от родителей, во второй, тоже маленькой, живет отец с матерью. «Начиненный» Мыльниковым^[23], он священнодействует, я ему очень завидую. Какой-то он нелюдимый, скучный, без тени юмора. Резкий и прямой (во всяком случае со мной). Говорит, что снятся композиции... Относится также серьезно к портрету. И я от него научился немного делать голову... Хотя и читал у Чистякова о построении головы и т. д., он считал – куда мне, «я еще маленький». Юрка говорит: «Надо тянуться, Илья! Смотри, Серов в наши годы в Академии был».

Живет духом А. Иванова (или, вернее, Мыльникова, к которому он ходит чуть ли не месяц). Говорит, что он гений, головы и небо получаются не хуже серовских и репинских...

Я влюблен в Мыльникова. До сих пор (6 месяцев) не могу очухаться от его «Клятвы балтийцев»...

23 декабря 46 г. Очень давно не писал. Очень много нового, хорошего и плохого. Учусь у Перепелкиной Марии Яковлевны. Она очень серьезная, и от нее узнал многое. Я остановился в своем развитии, сказала она. И это правда.

Узнав кое-что, я не стремился делать так скрупулезно, как раньше. Или, вернее, многое делать. Из-за этого я, как говорил Серов, делал «под себя», худшее из повторений.

Ходил все дни мрачный, с ноющим сердцем. Думаю, что нужно кончать эту музыку; если нет терпения и воли – так нечего и мечтать о судьбе художника. Вот Бескаравайный выбьется на дорогу, терпелив, как вол.

* * *

Господи, как давно не писал! Сегодня 5 июля 1947 года. Окончен год...

С ужасом вспоминаю зиму 1946-го и начало 1947 г. Сколько мучений! Сейчас выбиваюсь на дорогу, но так тоскливо, когда глядишь в будущее – все такие гении. Нужно работать – как Бог.

Дружу с Войцеховским. Талантливый мальчик, скульптор. Мария Яковлевна очень хороший педагог. Ученица Савинова А. И., она, очевидно, проводит его идеи. Говорит: «Разве сейчас из современности нельзя черпать темы прекрасные, идейные и высокие? Разве мать, отдающая в дни блокады свой хлеб

сыну, не поднимается до высоты рафаэлевской Мадонны? Находить поэзию везде – вот чему учил нас Савинов».

Она пригласила меня к себе. Потом Дринберга, Корласа и меня, ставила натюрморт, и я уверовал в свои силы... (Даже дома она работала с нами! Это так не похоже на сегодняшних учителей, так ценящих свое время, а не воспитание молодых художников. – И.Г.)

...Зимой был в Таллинне, очень многое увидел. Жил все зимние каникулы с Э. Выржиковским^[24] (тоже неплохой художник будет). Потом поедem, наверное, в Москву.

* * *

Лето прошло. Сейчас 1948 год, 23 февраля. Сдав экзамены, съездил с другом Мишей Войцеховским в Лугу. Неизгладимое впечатление оставила эта поездка.

По деревням прошли. Никого нет... Воздух настолько чист, что звенит в ушах. Белая ночь освежает сияющую деревню Бетково, где я провел столь счастливое лето.

Мне тогда было 8 лет!

Потом Юкки – Академическая дача. Делал рисунки, которые надо смотреть только вплотную, но все-таки время не прошло даром. Вернулся, сдал экзамены по русскому, познакомился с Т. А. Дядьковской – зав. отделом рисунков Русского музея. (О ней я писал – она работала над книгой о Федотове. – И.Г.)

Ездил с М. Войцеховским в Москву. Впервые увидел Третьяковку – ждал большего, но теперь понял, что только так кажется, будто великое дается легко. Нужны воля, талант.

Обливаюсь ледяной водой в бане... Написал «Возрождение» на мотив Луга, всем нравится... В Академии вопрос о рисунке – давно пора! Хорошо. Жмут с гипсами. М. А. Семенов учился с Фешиным. А Фешин – гений. Какая чудная сюита рисунков из США! (Фешин – до сих пор не оцененный сполна великий русский художник-эмигрант. Умер в Америке. – И.Г.)

8 декабря 1948 г. Прошло много времени. Я вырос – стал отроком. Усы, пух на челюсти, начинаются романы. Все однообразно и скучно. (Все были записаны в комсомол – И.Г.)

Живи еще хоть четверть века.

Все будет так...

А. Блок

Все глупо, односторонне. Спасает меня М. В^[25]. Любит пофилософствовать, почти всегда интересно и умно. Эстет. Мне он нравится. Больше того скажу, что он стал частью меня. Без него мне некому было бы сказать слово...

* * *

Весенние каникулы. Я. и Э. Выржиковский. Углич.

Перед взорами юоновские лошади. Обжигающий волжский ветер. На желтом закате колокольня со скворцами и мерцающие блики луж.

День. Базар. Малявинские бабы, солнце, бьющие каскады черной воды. Как прекрасно! Обновление души. Ночевал на полу, день на улице, близ старины и ворон.

* * *

Лето кончилось. Этюды на выставке. В газете «Ленинградская правда» отзыв о детской выставке во Дворце... («Старушка под солнцем»). Скульптор, учитель В. Н. Китайгородская меня полюбила, все обо мне – говорят (как сообщает М. В.). Лепил у нее череп. М. В. говорит, что у меня получилось лучше, чем у него...

Учусь у П. А. Кузнецова... Много приходится осиливать. Теперь я пессимист...

Дай, судьба, силу! Дай талант! Дай работоспособность! Дай большое человеческое сердце!

Аминь.

ЛУГА

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Ф. Тютчев

Есть на свете городок Луга. 120 км от Петербурга на поезде. А под Лугой маленькая деревня Бетково. С огромного холма, на котором лежит деревенька, видны дали необъятные. Круто бежит склон косогоров к озеру, на противоположном берегу которого далеко-далеко маленькие избушки да лес, грустящий под большим и недосыгаемым, как мечта, небом... Меня узнала старушка в черном выгоревшем платке и по-крестьянски беззвучно заплакала, услышав, что мои родители умерли во время блокады. Долго смотрела она вослед мне из-под руки. Все так же грустна одинокая каменная часовня у дороги. Она вся заросла крапивой и лопухами, вокруг нее гуляют куры и белогловые мальчишки копают червей для рыбной ловли. Как изменилась деревня, по которой безжалостно прошла война! Людей мало, пересчитать можно по пальцам. Бабы заменяют недостающих лошадей и сами впрягаются в плуг, чтобы перепахать свой приусадебный участок. Война напоминает о себе неизвестной могилой в лесу: на вбитом в землю обрубке березы до сих пор висит насквозь проржавевшая солдатская каска. Многих домов нет – вместо них ямы, камни, такие же, как в полях, скрытые густой крапивой, колышимой ветром. Две знакомые с детства огромные старые ели растут на самом краю откоса, с которого открываются бесконечные синие леса, тонущие в небе, косые подолы дождей, ползущие низко-низко, косматые могучие облака и фанфарные россыпи радуг, огромными воротами встающие над бескрайними русскими даями.

В расплавленный янтарь смолы попадает звенящая летними вечерами мошара. Дали, леса, озеро, небо – все такое же, но вместе с тем все другое! Тишина до звона в ушах... Все, все прошло...

На поле у крайней избы огородное пугало машет на ветру рваными пустыми рукавами немецкого, когда-то зеленого мундира, Уныло звякают оловянные пуговицы. Вместо рук привязаны два старых веника, которыми играет ветер, словно пугалу жарко и оно обмахивается веерами. Боясь приблизиться к полю, в небе кружатся прожорливые птицы. Из окна покосившейся избенки хрипло поет старый патефон. Довоенный бравурный марш неожиданно сменяется прибоем рояля, поющим об экваторе, о южных ночах, коралловых рифах и неведомых синих архипелагах... Бетковский партизан, в боях под Лугой, в немецкой траншее взял на память эту пластинку, под которую любили танцевать по вечерам немецкие офицеры.

Стучит одинокий топор, строит новый дом под горою. Не верится, что многие никогда не вернуться, что не построят они на месте крапивных ям домов с резными оконцами, что не будут гулять, не будут петь хмельные песни и поднимать вечернюю дорожную пыль, танцуя под гармошку у заколоченной часовни. Многие остались в братских могилах в чужих далеких землях. У дороги в канаве валяются простреленные немецкие и наши каски. История перевернула свою страницу с именем этой маленькой деревни, где навсегда осталась жить в моей памяти минута, открывшая таинственную связь природы и человека. Связь эта глубоко и точно выражена многими русскими художниками, влюбленными в неповторимую прелесть родной земли. Ведь долгое время художники не замечали скрытой музыки родного пейзажа. Достойными внимания казались только пейзажные красоты Италии, Швейцарии, Греции...

Многие бывшие советские художники и искусствоведы игнорировали творчество Ивана Шишкина, который, однако, с убедительной простотой и силой обратил внимание современников на красоту и мощь русского пейзажа. Сегодня его искусство словно обретает вторую молодеть. И даже в далекой Японии его выставка, состоявшаяся несколько лет назад, вызвала фурор. Ныне Шишкин в цене!

Не всех Бог одарил чувством поэзии. Шишкин – прозаик. Но переданное им настроение великой необъятной России, как бы олицетворенной в образе по-былинному могучего, высокого дуба, высащегося среди хлебных полей у теряющейся в дымке горизонта дороги, свидетельствует об эпическом даровании влюбленного в русскую природу художника.

Последующее поколение наших художников от правды документальной перешло к правде художественной: стремление к правдолюбию сменилось творческим поиском национального типа красоты. Саврасов тонко почувствовал нежную грусть и просветленность русского пейзажа, стараясь отыскать, как говорит его ученик Левитан, в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые неотразимо действуют на душу. С лирической проникновенностью поэт он подошел к раскрытию этой темы. Мой любимый пейзаж «Грачи прилетели» – поэма о русской весне. Еще зима, мрачно-сизый горизонт, далекая снежная равнина, старинная церковь, покосившиеся крестьянские избы. У чахлых берез выются и кричат грачи, прилетевшие из далеких стран, возвещают близкую весну с бьющими из-под снега ручьями, синими тенями, с разбросанными по лазури весеннего неба белыми лепестками облаков. Так слушает свои силы выздоравливающий больной, боясь расплескать в душе чувство грядущего обновления и зреющей силы. Как сквозь первые слезы любви видишь лицо любимой, так увидел Саврасов русскую весну, передав свой восторг и бесконечную любовь к милой родине. Кто из нас не испытал этого щемящего чувства близости русской весны!

Очарование запущенных тургеневских усадеб, незатейливый, но милый русскому сердцу мотив заросшего травой, тонущего в летнем мареве московского дворика, столь типичный и для русской провинции того времени, запечатлел в своих картинах вернувшийся из заграничных странствий Поленов.

Природа вечна. Художников, отображающих ее, было, есть и будет великое множество. Огромная пропасть лежит между теми, кто копирует природу, и теми, кто умеет увидеть ее «сквозь магический кристалл» творческого преображения, одухотворить горением высокого духа, найти в ней таинственную связь с душой человека, выразить скрытую мысль, мироощущение художника. Создатели незабываемых образов русской природы глубоко вошли в наше национальное сознание. Многие из образов стали нарицательными. Мы говорим: «нестеровская» березка, «левитановское» настроение, «серовская» лошадка, «рериховское» небо... Художники обогатили нас новыми категориями восприятия мира, открыв их для нас и живописно сформулировав наши зачастую бессознательные, интуитивные чувства.

Пейзаж – это лик родины. Пейзаж ценен настроением, а настроение – это скрытая мысль.

Позднее, под влиянием импрессионистов, многие русские художники «разменялись на этюды», когда лабораторные искания света, красот взятых «в упор» цветовых отношений вытеснили из картин глубокий реализм и настроение.

С легкой же руки Сезанна, видевшего во всем лишь материальность мира, исчезло трепетное отношение к восприятию неба, выражающего внутреннюю музыку души человека, его духовный настрой. Как прекрасно передавали свои мысли и мироощущение художники прошедших эпох через воплощение великого космоса неба! Не говоря уже об Эль Греко с его «Небом над Толедо», Джорджоне, Тициане, Сальваторе Розе, Коро, бурном Клоде Лоррене – список этот можно продлить до бесконечности...

В советском пейзаже небо – или фотофиксация, или цветовое отношение к земле. Как прекрасны облака у Федора Васильева, Исаака Левитана, Бориса Горбатова и Степана Колесникова! Сколько нежности и удивительного ощущения рисунка облаков на старинных русских акварелях и гравюрах! Достаточно назвать гравюры Махаева, этого поэта старого Петербурга. Не говоря о великих художниках Старой Европы – Италии, Франции, Голландии, которых мы копировали в Эрмитаже.

В деревушке Бетково я навсегда преисполнился благоговением и благодарностью к русским художникам, открывшим для меня поэзию родной природы. Озеро с его застывшей, непомерно густой тяжелой водой – как голубая смальта древних мозаик с брызгами золотого слепящего солнца; зеленые стены лесов, вплотную подходящие к воде, отраженные жарким июньским полднем; нежные острова тростника, застывшие под бело-синим небом, и... тишина. Тишина, которая значительнее музыки, тишина, в которой зазвучал восторг человека – первоисток искусства... Хотелось бы рассказать и о белых-белых березках, таких нестерпимо юных и стройных. Как войско молодых ратников в засаде, скрываются они в глухом еловом лесу с мохнатыми ветвями. Долго идешь темною узкою тропкою по мрачно-торжественному лесу, вдруг неожиданно оазисом высятся светлые нежные зеленокудрые березки. А за ними – редкие осины, звенящие даже в безветренную погоду какой-то особенной, плачущей дрожью (в народе говорили: это потому, что Иуда повесился на осине).

За озером в тихих равнинах там и сям спят древние курганы. Сколько лет назад насыпаны они и кто лежит под ними – неизвестно. В полях, в перелесках, будто рассыпанное ожерелье, огромные белые камни, изукрашенные зеленым бархатным мохом. Сколько их на древней северной земле, на ее ровных могучих холмах, по берегам тихих и быстрых рек? Сколько помнят эти курганы? Какие легенды и сказания расскажут они! Люди приходят в мир и уходят, а древние камни все лежат и лежат под серым небом вечности. Николай Рерих, как никто, почувствовал и воспел тайный смысл вечности, скрытый в древних камнях необъятной земли – прародительницы нашей. По ней прошли многие поколения предков, теряясь в дымке седых времен...

К концу дня над бескрайними горизонтами останавливались, скопляясь над землей, тихие задумчивые облака. Такие осязаемые, близкие и далекие, они таяли в золоте вечернего неба, ускользая от моей робкой кисти. Как часто, лежа в густой траве, я смотрел на них, любовался их отражением в тихой глади бескрайнего северного озера. Я думал о том, что великие художники прошлого, не знавшие фотоаппарата, были удивительными реалистами, умевшими передать всю сложность неба в движении.

До чего непостижимо трудно передать настроение неба! Я думаю, что с этой задачей наилучшим образом справлялись те творцы, которые верили в Бога. И не вульгарный ли материализм сделал многих художников глухими к велению небес?

Сколько времени я проводил безрезультатно за писанием неба и облаков! Вместо неба иногда у меня на холсте получалась вата, а облака были словно высеченными из камня... Изнуренный до отчаяния своей бесплодной работой, я садился на поезд и мчался в Ленинград – в Русский музей. С большим увеличительным стеклом изучал высокую виртуозность мазков, дающих жизнь облакам на пейзажах Федора Васильева. О, всей душой я понимал тогда Репина, писавшего в своих воспоминаниях, как он, любясь только что написанным Федором Васильевым бесподобно дрожащим в небе облаком, был

поражен, увидев, как тот, подойдя к своему пейзажу, соскоблил его мастихином. Особенно трудно писать вечерние освещенные заходящим солнцем облака, которые звучат, как хоралы Баха или «Всенощная» Рахманинова... А природа вокруг нежная как у Нестерова и могучая как былина...

* * *

Вернувшись из города, я чувствовал в себе прилив сил, будто после беседы с мудрым учителем. Позабыв недавнее уныние, снова попытался передать в этюде красоту вечерних полей, засыпающего озера и тающих в небе далеких облаков... Сквозь ветви ольхи я видел, как, изогнув тонкий стан, красивая Нюра наполняла ведра холодной ключевой водой. Никто в деревне не выглядел так сурово и неприступно, как эта шестнадцатилетняя Нюра. Она никогда не смотрела на меня и одна из всех не согласилась, чтобы я нарисовал ее. «Не хочу – и все», – объяснила небрежно она. Вечерами звон пустых ведер, как древние колокола, возвещал о приходе моей царицы. Она не глядя проходила мимо меня, хотя иногда мне казалось, что в уголках ее рта скрывалась таинственная улыбка Джоконды. Наполнив ведра, роняя в пыль тяжелые всплески воды, нагнув головку под тяжестью когда-то расписанного коромысла, она медленно проходила мимо. Чувствуя, что я люблю ее неповторимой девически прекрасной грацией, Нюра косила в мою сторону подчеркнуто равнодушный взор. Скользя глазами по моему холсту, она шла дальше в гору. Я долго восторженно провожал взглядом ее упругую фигурку с загорелыми стройными ногами; я ее вспомнил много лет спустя в Риме при виде женских образов ватиканских фресок Рафаэля... Нюра поднималась все выше и выше по крутому косоугору, где на вершине в лучах заката светилась окнами маленькая убогая избенка. Сверкнув пламенем красной юбки, она исчезала за вершиной горы, где гасли вечерние облака. Я складывал свой мольберт, уже в полной темноте поднимался по крутому склону в деревню, стараясь различить на песке следы ее маленьких босых ног...

* * *

В 1993 году случилось так, что мне представилась возможность пролетать на вертолете с моими друзьями над деревней Бетково. Я попросил приземлиться недалеко от все еще стоявшей часовни, где в юности писал свои пейзажи и где проходила рафаэлевской чистоты Нюра. Вертолет спустился на талый снег. Нагибая головы, мы вышли на улицу, идущую посередине деревни. Я сразу узнал дом деда Матюшки, портрет которого писал, когда мне было 19 лет, – «Старик с топором». Эту работу, как я уже писал, я подарил потом своему дяде М. Ф. Глазунову. Позднее она публиковалась в моих монографиях. Дед Матюшка, как его называли в деревне, «когда был мальчонком», работал полотером в Зимнем дворце в Петербурге. Он помнил траурный для всей России день, когда во дворец привезли умирающего от ран Александра II. Вспоминал он также, что мужики из Луги и Бетково занимались промыслами и извозом в столице и все слыли богатыми и состоятельными. Сам дед Матюшка был участником многих войн. Мысли о деде Матюшке возбудили память об еще одной интересной встрече. Однажды, бродя с этюдником по окрестным полям, когда в воздухе еще пахло осенью, я собирался было вернуться в город, и вдруг, на колючей скошенной ниве, увидел стадо, которое пас обросший седой щетиной старый человек. Его лицо было настолько выразительным, что я не мог оторвать от него глаз. Левой рукой он держал короткую рукоятку кнута, свисавшего с его плеча.

Когда я подошел к нему, он, закуривая «козью ножку», тщательно облизывал мундштук из газеты, где тлел огонек всей той же военной махорки.

Пастух с удовольствием согласился попозировать мне с полчаса, и я навсегда запомнил его студенистые, с отсутствующим взглядом, глаза, которыми он смотрел прямо, словно не видя меня. Его не очень заинтересовал результат моих трудов над рисунком, взглянув на который он снисходительно заметил:

– Ну что ж, валяй, валяй... Ты вот что, парнишка, – добавил он помолчав, – не забудь написать, если портрет пропечатывать будешь, что я Зимний брал.

Я впился в него изучающим взглядом. Выпустив тающий на ветру дым затяжки, он вдруг молодцевато натянул на глаза рваную солдатскую ушанку, одно ухо которой было поднято вверх, и ветер как знамя развевал пришитую к нему тесемку.

– Расскажите, пожалуйста, как это было, – попросил я, сгорая от любопытства.

– Как было, говоришь? Да очень просто. Нас вывели из казармы и согнали на площадь перед дворцом, где раньше царь жил. А дворец бабы охраняли только – женский батальон. Ворвались мы с площади в главную дверь. Помню: полутемная лестница, высокая, словно в небо ведет. Задние ряды напирают, а впереди командир с наганом. Открыли тяжелую дверь, а там еще зал за залом, все золотом блестит. Вдруг

кто-то кричит: «Ребята, конница!» И впрямь: на нас во весь опор с поднятыми саблями мчались кавалеристы. Помню, у лошадей ноздри раздувались, да клинки сверкали. Мы такой атаки не ожидали, и нас как ветром сдуло с лестницы – известное дело, что пеший с конным может сделать... А потом свет зажгли, и оказалось, что атака эта нарисованная... (Позднее я узнал, что во дворце и в самом деле находились картины, посвященные русской воинской славе, исполненные Коцебу, и среди них одна, под названием «Атака». – И.Г.)

– Многие потом сами над собой смеяться стали, – продолжал он. – От нарисованной картины вооруженные люди сиганули...

Разглядели, что вокруг красоты неопишуемой мраморные столы и огромные вазы. Ребята, чтобы за свой страх отомстить, нагадили в них. Командир недоволен был. Говорил; «Нам Временное правительство кончать надо, а вы балуетесь как дети...»

Закончив свой рассказ, пастух вдавил кирзовым сапогом догоревшую «козью ножку» в мокрую глину.

* * *

В 1949 году родственница деда Матюшки, сидя со мной на завалинке, рассказывала, как во время Великой Отечественной войны она воевала в партизанском отряде. Ее потряс один случай. Когда они скрывались в лесах, бескрайне распростертых до самого Севера, к ним на самолете прилетели инструкторы из Ленинграда. Их задачей было поднять волну «ненависти и безжалостности к немецко-фашистским захватчикам, вторгнувшимся на территорию нашей Родины». Политрук, узнав, что партизаны взяли в плен немецкого солдата, дал команду привести его к себе. Затем он приказал разжечь паяльную лампу и раздеть пленного. «Мне стало страшно, – говорила она, – и я закрыла глаза». Политрук стал жечь паяльной лампой немца, требуя, чтобы тот пел песни, если хочет остаться живым. «Смерть за смерть, кровь за кровь», – как провозглашал политрук.

...Тогда, во время ее рассказа, из окна дома деда Матюшки на нее падал желтый свет керосиновой лампы. Кружились в свете комары. Шумел ветер. Даже теперь, много лет спустя, она вновь вспоминала об этом эпизоде с волнением и болью. «В землянке запахло жареным мясом. На спине у пленного вздулась и лопнула кожа. Мужики-партизаны смотрели молча. Что-то говорил по-немецки переводчик. И вдруг немец запел, скорее простонал – у них тогда была любимая песня „Роземунда“. Я не могла смотреть на это и вышла из землянки. Так гости из города воспитывали в нас ненависть к немцам. А потом, покинув отряд, оставили статью Эренбурга „Убей немца!“

Все эти воспоминания пронеслись у меня в голове, когда я стоял на талом снегу перед домом деда Матюшки.

К нам подошли люди. Посадка вертолета в деревне – дело необычное. Вдруг я услышал крик: «К нам Ильюша приехал!» И я увидел закутанную в платок, одетую в ватник, очень старую, в морщинах, женщину. «Это же я, Капа... Изменилась, наверное, что не узнаешь меня. Да и ты, желанный, постарел. Сколько лет прошло!!! А вон Нюрка, ты все рисовать ее хотел. Нюрка, иди сюда!»

В пожилой, тоже закутанной в старый платок, в таком же концлагерном ватнике женщине только по глазам узнал я мою прекрасную Нюру...

Пока я разговаривал с местной учительницей, которая была на моих выставках в Ленинграде, снова появилась Капа, неся фотографию деда Матюшки.

«А деда Матюшку помнишь? Давно помер. А тогда ты его рисовал все лето». И, обращаясь к моему другу, сказала: «Я нашего Ильюшку помню эвона каким, – она опустила руку на уровень живота, – до войны еще здесь жили».

Мои друзья стояли растроганные. У одного из них на глаза навернулись слезы. «Ильюша, ты помоги нам водопровод провести, – не унималась Капа. – А то вот эту поганую вышку поставили и как туда за водой ходить, а колодец пересох! Приезжай к нам летом. Помнишь, ты все на лодку заберешься, на дно ляжешь и плывешь-плывешь по озеру»...

Пора было улетать. Мы опаздывали. И вертолет стремительно набрал высоту. Он поднимался все выше и выше в серое небо. Под нами, словно игрушечные, стояли прижатые к земле весенним ветром избы, с покривившимся крестом часовня, где еще на моей памяти отпевали покойников. С глубоким волнением я смотрел на нескольких пожилых женщин; их лица были обращены к ветреным тучам, среди которых мы летим к городу Луге. Далеко позади осталась деревня Бетково, как и мое довоенное детство и мучительное время одинокой и безысходной юности. И вновь мне слышался исповедально-задумчивый голос Капы: «Трудно было для бетковских мужиков время. Немцы, узнав, что кто-то ушел в партизаны, сжигали дом, а родственников расстреливали. А кто не хотел идти в партизаны, с семьей хотел остаться дома – тех партизаны поджигали, клеймя хозяев продажными шкурами и изменниками родины. Много

народу полегло во время войны, а с фронта вернулись всего несколько человек. Поэтому деревня пустая стала...»

ПУШКИН

Размышления на руинах Царского Села

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду.
Помоги в немой борьбе!

А. Блок

Из окна мастерской видны заснеженный сквер, широкая Нева, на том берегу – Исаакий, еле различимый во мгле ненастного хмурого дня, и увенчанная орлом корона с гордой бронзовой надписью «Румянцева победа». Этот памятник напомнил мне город Пушкин – Царское Село с его стройными дворцами, старыми парками, где все овеяно памятью о великом поэте.

Здесь, в дни моего детства, оживали и становились явью волшебные сказки Пушкина. Гордые лебеди бесшумно скользили по серебру воды, небо нежно и прозрачно, как на старых акварелях. Казалось, что один лебедь, ослепительно белый и грациозный, может обернуться заколдованной царевной из сказки о царе Салтане. А, подплывая к берегу, Царевна-Лебедь смотрела пристально и загадочно...

А орел на Чесменской колонне посредине пруда будто готов поднять чугунные крылья и ринуться на свою беззащитную жертву. Если долго смотреть на орла, то кажется, что бегущие облака придают ему порыв и движение.

Незабываем сидящий на скамейке юный и мечтательный бронзовый Пушкин.

Когда-то жена Петра Великого построила в его отсутствие небольшой дом с садом в окрестностях Петербурга. В жаркий летний день Екатерина отправилась на прогулку с царем, ни слова не сказав о постройке. Петр был очень рад и даже сказал, что мало помнит «столь веселых дней, как нынешний». Дочь Петра Елизавета поручила великому Растрелли построить дворец взамен петровского домика и была весьма довольна, когда один вельможа на ее вопрос, чего недостает новому зданию, ответил: «Одного – футляра!»

Дух классицизма, греко-римской культуры, окружавший с юных лет поэта в садах Лицея с их прелестными статуями, привезенными из Италии, со строгим изяществом дворцов Кваренги и Камерона, оказал огромное влияние на формирование души поэта, совместившей гармонически-спокойную ясность Эллады с могучей стихией народной России.

В Царском Селе юный поэт встретился с офицером гусарского полка, стоявшего там на квартирах, – Петром Чаадаевым.

Он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес,
А здесь он офицер гусарский.

Личность Чаадаева привлекает к себе интерес тех, кто в унижении и отрицании им исторической России видит опору в оправдании проведения геноцида русского народа, который готовился не одно столетие. Эта глава о Пушкине написана мной давно и была опубликована в журнале «Молодая гвардия» в 1965 году.

Много воды с тех пор утекло, и только в наши 90-е годы, изучив многие материалы, я понял роль Чаадаева и его знаменитых «Философических писем», которые порою дышат откровенной ненавистью к России и так возмущали многих его современников. О Чаадаеве будет сказано особо, потому что многие враги России называют его философом – видя в нем созвучие своей ненависти. Здесь же, перечитывая то, что я написал давно, хочу с великой радостью подтвердить, что молодой Пушкин в зрелом возрасте, когда возмужал и окреп его гений, резко и беспощадно критиковал своего царскосельского приятеля, тогда лейб-гвардии ротмистра гусарского полка, который, судя по всему, был «агентом влияния» масонских лож, пытаясь воздействовать на формирование пылких и юных душ царскосельских лицеистов.

Не зная тогда нигилистическую, точнее, политическую точку зрения П. Чаадаева, я приводил из него цитату. «Народы в такой же мере существа нравственные, как отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можем сказать, некоторым образом – народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно, но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?» Каково?

Тогда, приводя эту цитату, я полностью, к сожалению, не отдавал себе отчета в восприятии этого антиисторического утверждения, что Россия, раскинувшаяся на одну шестую часть света, не входит в состав человеческой истории. Здесь следует спросить, а какие же народы, с точки зрения Чаадаева, являются «историческими» народами? Царскосельский офицер и его неугомонная паранойя отрицания всего русского сегодня интересна для нас лишь, как свидетельство масонского бурления тех давно ушедших дней. И не мудрено, что рассуждения признанного сумасшедшим гусарского офицера-масона выдаются многими сегодня за откровение русской критической мысли. Я сам в свое время, да и по сей день приводил и привожу то место из письма юному Пушкину, где Чаадаев пишет: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание». Разные понятия в познание «тайны времени» и посвящение в нее вкладывал «посвященный» Чаадаев, как и мы сегодня. Я всегда понимал под тайной времени постижение реальных сил добра и зла или, как позднее называли это русские философы, – тайна беззакония. Да, безусловно, как бы ни был гениален поэт, художник, философ, музыкант или историк, но, не зная, что реально скрывается за той или иной философской теорией или учением, за всей глубиной религиозных еретических дурманов, насаждаемых лжепророками, он не сможет создать и воплотить в образах великого откровения и глубокой работы ума подлинного гениального произведения. Я считал и считаю, что тайной времени является яростная борьба антихриста с Христом – сатаны с Богом. Но не то понятие, которое, как видно из всех его высказываний, вкладывал Петр Яковлевич Чаадаев, изменивший православию и попирающий все русское, призывавший на деле к великим потрясениям. Здесь же позволю себе привести полный текст «подписки» Пушкина: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что ни к какой масонской ложе и никакому тайному обществу ни внутри Империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь». Любопытно, могут ли сегодня иные наши поэты и писатели дать подобную «подписку»?

Многих по сей день мучит тайна смерти ставшего монархистом гениального поэта великой исторической России, сраженного безжалостной рукой иностранного наемника...

На сомнения и раздумья Чаадаева об историческом пути России, о ее самобытности, о великих возможностях самостоятельного творчества с предельной ясностью гения ответил всем своим бытием Александр Пушкин.

...Попав в пределы древней Псковщины, окруженной курганами, городищами, могилами-памятниками бурного прошлого, великий поэт оказался во власти этого, столь богатого историческими воспоминаниями места. Пушкин проехал в Михайловское прямо с горячего юга с его полуазиатской культурой. Контраст поражающий. Тихий заброшенный Святогорский монастырь между пологих холмов, крестьянская речь, простота и яркость народных одежд, неизъяснимая тоска северных песен – все это должно было, особенно после юга, поразить поэта и углубить его интерес ко всему народному. Переодевшись в красную ситцевую рубаху, подпоясавшись голубой лентой, с палкой в руках, Пушкин любил хаживать на ярмарку, которая кипела у самых стен монастыря.

«Придет в народ – тут гулянье, а он сядет наземь, соберет к себе нищих, слепцов, они ему песни поют, стихи сказывают», – свидетельствует очевидец, кучер поэта, Петр.

«Однажды Пушкин явился к главным воротам монастырским и стал петь со слепцами стихи о Лазере убогом, об Алексии – человеке божьем. Своей тростью с бубенцами он дирижировал хором», – рассказывает один из современников.

Так оригинально «ходил в народ» и впитывал в себя русскую народность от слепцов, юродивых и калик перехожих у стен Святогорского монастыря автор «Бориса Годунова».

Как известно, Петр прорубил именно окно, а не дверь, с тем чтобы русские люди изучали и наблюдали через это окно жизнь Европы. Изучали, чтоб из учеников сделаться учителями. Но, к сожалению, сбрасывая национальные кафтаны, часть русских вместе с тем порывали свои связи с отечеством. Сбрывая бороды, они утрачивали вместе с этим свою русскую индивидуальность.

Русские вдруг устыдились своего языка, своих обычаев, стали пренебрегать национальными традициями.

Лучшие умы России возмущались и страдали, видя такое раболепство перед Западом. Оттого, видимо, и развилась у нас художественная сатира, достигшая высокого совершенства в произведениях Фонвизина и Крылова. А тем, кому природа русская казалась слишком бедной и неприветливой, жизнь России серой, кому в историческом прошлом нашем виделось лишь грубое и темное, – всем им ответил Пушкин. Не могу не напомнить, что уже в «Руслане и Людмиле» русское общество впервые открыло для себя неведомый доселе родник русского духа, определивший развитие нашей национальной литературы.

А несколько десятилетий спустя Васнецов, обратившийся к миру русской истории, народной легенды и сказки, указал последующему поколению художников путь воплощения в искусстве красоты русского национального духа.

Вспоминается пушкинская «Зимняя дорога»:

«Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска...» Именно родное для всех нас звучит в каждой строке великого поэта.

Изучая старые летописи, Пушкин старался угадать образ мысли и язык тогдашнего времени. Он воскресил драматическую эпоху нашей истории так, что в его трагедии пахнет землей и веет воздухом XVII века. И воздух этот оказался отнюдь не тлетворен, как полагали иные раблепцы пред Западом. В одном Пимене поэт собрал такие черты исконно русского характера, кои потрясают и заставляют любить нашу Древнюю Русь. Когда в доме Веневитинова поэт прочел сцену в монастыре, все слушатели были ошеломлены. «Мне показалось, – писал историк Погодин, – что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена, мне послышался голос древнего летописателя».

Много лет спустя на открытии памятника поэту в Москве в своей знаменитой речи Достоевский с огненным пафосом пророка говорил о великом и непреходящем значении творчества Пушкина. Вождь славянофилов Иван Сергеевич Аксаков объявил публике, что не может говорить после гениальных слов Достоевского, что считает его речь событием в русской литературе. Как пишут современники, триумф Достоевского был безграничен. Люди плакали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучше. Какой-то студент подбежал к оратору и упал без чувств у его ног...

В появлении Пушкина, писал Достоевский в предисловии своей речи, для всех русских есть нечто бесспорно пророческое: «Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека беспокоящегося и непримиряющегося, в родную почву и родные силы ее не верующего...»

Определив нашу болезнь, Пушкин дал и великую надежду: «Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены». Он первый дал нам художественные типы красоты истинно русской, обретавшейся в народной правде, в почве нашей и им в ней отысканные. Благодаря своей «всемирной отзывчивости», свойственной русскому гению, Пушкин чутко воспринял и европейскую культуру, а русскую утвердил в Европе. Быть гением – это не значит обходиться без чужого, это значит уметь чужое делать своим. Достоевский торжественно подчеркнул, что, будучи подлинно русским во всех своих творениях, Пушкин мог стать в «Дон Жуане» испанцем, в «Пире во время чумы» – англичанином, в «Подражании Корану» – арабом, а в «Египетских ночах» египтянином.

«Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

* * *

У нас любят иногда панибратски хлопать Пушкина по плечу, заигрывать с ним. А Андрей Синявский (Абрам Терц) написал даже, будучи эмигрантом третьей волны, некий пасквиль «Прогулки с Пушкиным». Эмиграция первой волны отреагировала ответной статьей «Прогулки Хама с Пушкиным».

Пушкин вечен, как солнце. Его эволюция – от увлечения некоторыми «свободолюбивыми» мотивами, распространенными среди части ориентированной на Запад интеллигенции, к утверждению самобытности начал русской жизни, покоящейся на известной триаде – православие, самодержавие и народность, – очевидна. Напомним несколько глубоко ^ современных размышлений их публицистики великого русского поэта.

«...Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем выведенные Гизотом из истории христианского Запада»... Знал бы Пушкин, что будет с Россией в конце XX века! Когда русские стали советскими людьми, а ныне – россиянами, вне зависимости от национальности. Ведь американский народ стал таковым от имени Америго Веспуччи.

«...Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотри около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожались, как остальные упадают и исчезают, как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают ничем не огражденные, и как имя дворянина, час от часу более уничтоженное, стало наконец в притчу и посмеяние разночинцам, вышедшим во дворяне, и даже досужим балагурам!...»

Почитаем еще Пушкина:

«...Подле меня в карете сидел англичанин, человек лет 36. Я обратился к нему с вопросом: что может быть несчастнее русского крестьянина?

Англичанин. – Английский крестьянин.

Я. – Как! Свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба?

Он. – Что такое свобода?

Я. – Свобода есть возможность поступать по своей воле.

Он. – Следовательно, свободы нет нигде; ибо везде есть или законы или естественные препятствия.

Я. – Так; но разница: покоряться законам, предписанным нами самими, или повиноваться чужой воле.

Он. – Ваша правда. Но разве народ английский участвует в законодательстве? Разве власть не в руках малого числа? Разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?

Я. – В чем Вы полагаете народное благополучие?

Он. – В умеренности и соразмерности податей.

Я. – Как?

Он. – Вообще повинности в России не очень тягостны для народа: подушные платятся миром. Оброк не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньги. И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать.

Я. – Но злоупотребления частые...

Он. – Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы английских фабричных работников – волосы встанут дыбом; вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет об сукнах г-на Шмидта или об иголках г-на Томпсона. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство, с одной стороны, с другой – какая страшная бедность! В России нет ничего подобного.

...Я. – Что поразило вас более всего в русском крестьянине?

Он. – Его опрятность и свобода.

Я. – Как это?

Он. – Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смывленности говорить нечего. Путешественники ездят из края в край по России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия...; никогда не замечал в них ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны.

Я. – Справедливо. Но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?

Он. – Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения с вами! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были в Англии?

Я. – Не удалось.

Он. – Так вы не видели оттенков подлости, отличающих у нас один класс от другого. Вы не видели раболепного masters Нижней каморы перед Верхней; джентльменства перед аристократией;

кулачества перед джентльменством; бедности перед богатым; повиновения перед властью. А продажные голоса, а уловки министерства, а тиранство наше с Индией, а отношения наши со всеми другими народами!

Англичанин мой разгорячился и совсем отдалился от предмета нашего разговора. Я продолжал следовать за его мыслями – и мы приехали в Клин».

Вот это отповедь либеральной интеллигенции – любящей по сей день говорить о темной и рабской России!

* * *

К этому хочется добавить очень ценное свидетельство поэта В. Жуковского, автора российского гимна «Боже, Царя храни», о последних минутах жизни Пушкина, когда он перед лицом смерти предельно ясно высказал свое отношение к государю, окончательно разрешив один из самых спорных вопросов для толкователей его жизни и творчества. Почувствуй это всем сердцем, дорогой читатель!

«...Я подошел, взяв его похолодевшую руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел; но через минуту я возвратился к его постели и спросил у него: может быть, увижу государя; что мне сказать ему от тебя? Скажи, отвечал он, что мне жаль умереть; если жив буду – весь Его буду.

Эти слова говорил он слабо, отрывисто, но явственно...

...В это время приехал доктор Арендт. Жду царского слова, чтобы умереть спокойно, сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мною от самого государя. – Извини, что я тебя потревожил, сказал он мне, при входе моем в кабинет. – Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною. – Рассказав о том, что говорил Пушкин, я прибавил: я счел своим долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. – Скажи ему от меня, отвечал государь (Николай I. – И.Г.), что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен; они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги; ты после их сам рассмотришь. – Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. – Вот как я утешан! сказал он. Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю ему счастья в его России».

Сколь важно и ценно для нас это свидетельство Жуковского!

Пушкин – здоровый гений потому, что «народен» – слит с ядром нации, его мировоззрением и почвой. Пушкин, как Антей, искал силы в родной земле.

История русской интеллигенции есть история ее разложения масонством, отрыва от корней, от исторического пути России. История ее предательства, вольного или невольного. В главе о «Серебряном веке» я уделю этому внимание!

В настоящей главе я не ставлю задачу касаться истории развития масонства и его идей в России. Скажу только, что яд масонского либерализма, разлагающий нацию, сделал свое дело, подобно тому, как бактерии и вирусы поражают здоровый организм, приводя его к болезни и смерти. Либерализм – это «свобода от», право на измену идеалам, право видеть жизнь и культуру «полифонично», без точных понятий добра и зла, право на забвение национального самосознания.

Есть заповеди Божьи, и либерализм в их нарушении – это грех. Идея православия в либерализме выродилась в тенденцию богоискательства, точнее – дьяволискательства, когда высмеивалась любовь к Отечеству, расшатывались основы государства. Многие не ведали, что творили...

Имена Пушкина, Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Аксакова, Хомякова, Бунина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Иванова, Сурикова, Васнецова, Нестерова и других великих деятелей русской культуры – свидетельства победы внутреннего инстинкта самосохранения, победы Добра – над злом, точнее – Бога над дьяволом и его воплощением – антихристом, в ловушку которого устремилась не только русская, но, прежде всего, европейская цивилизация «прогресса».

Глупое и бессмысленное понятие – прогресс. Я не знаю прогрессивных деятелей, а знаю прогрессивный паралич. Может быть, люди, приближающие его, и есть «прогрессивные деятели»? Но что для них прогресс, то для нас регресс. Их победа – наше поражение! История XX века нас многому научила...

Раздвоение – вот к чему привел яд либерализма души сбитой с толку, мятущейся русской интеллигенции. Жрецы национального духа, самосохранения и пророчества во многом изменили подлинному служению высоким идеалам. Произошла подмена сути. Зло пришло в маске Добра. Примером тому может служить метаморфоза, случившаяся с гениальным писателем Львом Толстым, который, перейдя полувековой рубеж жизни, оказался одержим лжепророческими теориями, «богоискательством», бесом гордыни и дошел до отрицания православия, Отечества и государства, создав теорию непротивления злу насилием и выдвинув идею «перевоспитания трудом», взятую на вооружение коммунистами всех стран. В основу системы советских концлагерей и был положен этот принцип Толстого – «зеркала „передовой“ русской интеллигенции», как его можно назвать, перефразируя Ульянова (Ленина).

Радостно отметить, что Пушкина не коснулся яд либерализма, несмотря на его тесные дружеские контакты с будущими декабристами. Он стал монархистом... Он был и навсегда остался русским поэтом! Он гордился Россией и любил все русское, оставаясь великим европейцем.

...Убийство Пушкина – страшная трагедия для России.

* * *

От Ленинграда до станции Пушкин на электричке двадцать минут. Помню: снег, Пулково, серые ватники...

Здравствуй, город поэта! Какая тишина. Кряхтит автобус, разворачиваясь у вокзала. В воздухе незримо присутствует первое трепетное знамение весны. Хочется идти не спеша, не нарушая безмолвия маленького городка. Неожданная афиша: «Негритянский певец Тито Ромалио. Дворец культуры. Начало в 19 часов». Сливаясь в одну прерывистую линию, с шумом пронесся поезд. Опять мертвенная тишина. На всем лежит память недавней войны. Дома стоят реже. Много пустырей. Парк утопает в снегу. Одинокие тропинки, одинокие фигуры. Полны горем и мраком руины обугленных дворцов. Дыхание войны опалило город поэта, не пощадив ничего.

А Пушкин? Вот он сидит на заснеженной бронзовой скамье. Такой же юный и светлый! Порыв ветра сдувает с черных ветвей снег, который ложится на бронзовые кудри юного поэта. Спрятанный от врага памятник всю войну пролежал в земле, как и любимая Пушкиным статуя «Девушка с кувшином».

Музей расположен во дворце. Он оставляет неизгладимое впечатление. Высоки и строги залы, Подолгу хочется смотреть на акварели, эстампы, автографы давно умерших славных людей. Работники музея, обрадовавшись посетителю, говорят:

«Обычно много к нам ходит народа летом, осенью, весной. А зимой только по воскресеньям много». Разговорились. «С клумбой нам что-то делать надо», – говорят они. «С какой клумбой?» – спрашиваю я. «А вот она, в окно видна. Круглая, большая, вроде насыпи. Летом цветы красные сажаем. Это ведь братская могила. Во время войны закапывать некогда было, да и некому. Теперь надо перекапывать – а то землю весной размывает. Они неглубоко лежат... Вы даже себе не можете представить, какую работу провели мы по восстановлению города».

Уже совсем в сумерках неожиданно для себя я увидел в одном из залов столь любимую мною картину Врубеля «Царевна-Лебедь». Какой тоской и призывом звучал ее взгляд в этот холодный, зимний час! Какая тайна в лице! Какой перламутр крыльев!

В тревожных зарницах сумрачное небо над таинственной, мрачной водой... Сколько зова, любви и мечты в этой загадочной Царевне-Лебеди! Как радостно встретить ее в холодном дворце, среди старого, изуродованного войной грустного парка с братскими могилами, с замерзшими прудами, где давно уже не плавают лебеди.

В музее есть и очень удачная копия с врубелевского «Пророка», глядя на которую невольно вспоминаешь голос Шаляпина, эту поющую душу России, творца, сумевшего создать свой незабываемый образ пророка, не уступающий вдохновенным пушкинским строкам с их удивительной глубиной духовного ясновидения, обращенного к людям:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполни волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Поистине – откровение духа человеческого: равного ему трудно найти в мировой поэзии! И Слово Божие было источником вдохновения нашего Пушкина.

Несмотря на сильный мороз, который вдруг сменил тяжелую мглу оттепели, публика толпилась у темного входа в Дом культуры, где на афише стояло имя Тито Ромалио. Мне захотелось увидеть африканского работника Ленинградской областной филармонии.

Я пошел на этот концерт только из-за возникшей вдруг странной ассоциации с «Арапом Петра Великого». Несмотря на зверский мороз, в зале всюду ели мороженое. На последних рядах парочками сидели девушки и солдаты, получившие в этот вечер увольнительные. Погас свет, и на освещенной сцене появился чернокожий певец. Его репертуар не отличался особой свежестью. Наибольший успех вызвала песня «Не для войны наши дети вырастают на свете, народам война не нужна». В заключение первого отделения объявили «Танец охоты». Притихший зал, затаив дыхание, смотрел за переливами и игрой мускулов Тито Ромалио, полуобнаженного, с копьем, за упругими движениями подстерегающего добычу охотника...

Я вышел из клуба. В воздухе было морозно и мглисто. По небу неслись косматые тучи, то открывая, то застилая мертвенно-холодный серебряный кратер луны.

Хоть убей,
Следа не видно.
Сбились мы.
Что делать нам?...

Тревожные тени крались по снежным сугробам парка. На прудах в темноте вздрагивал и звенел лед. И вдруг где-то недалеко в морозной тишине совершенно точно уловилось журчание ручья. Да-да,

действительно, среди оцепенения, холода и снега неведомо как и где струилась живая вода, которую почему-то не мог сковать безжалостный мороз. Казалось, из мертвого тела природы бил родничок, и журчание его было странно и радостно в эту глубокую, жгуче-морозную мертвенную ночь.

«Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой»...

Итак, для каждого из нас Пушкин – часть собственной жизни. Вся сложная, глубокая и многогранная русская культура в XIX веке обрела свою хоругвь. Имя ей – Александр Пушкин. Закономерно, что самые разные представители России объединяются вокруг имени великого поэта.

Борьба с русской культурой – это борьба с наследием Александра Сергеевича Пушкина. Не случайно погромщики нашей культуры в 20-е годы нынешнего века призвали сбросить Пушкина с борта «парохода современности». Этого никогда не будет, пока в мире существует понятие русской национальной культуры.

Разные группировки мечтали сделать Пушкина своим. Либерально-революционные силы, не говоря уже о советских идеологах, приписывали великому поэту эпиграммы, стихи, которых, как утверждают серьезные специалисты, он никогда не писал.

Могучий интеллект поэта и всепоглощающая любовь к родине вызывали ярость его врагов, которых Пушкин заклеил в знаменитом стихотворении «Клеветникам России». Они убили Пушкина – человека, который, обагрив снег кровью, упал со смертельной раной морозным петербургским утром, но никогда не смогут убить Пушкина, чей дух сопутствует нам в сегодняшнем апокалипсическом мире. В заключение хочу повторить: борьба с Пушкиным – это борьба с Россией...

Когда я просматривал строки этой рукописи о Пушкине в 1994 году, позвонил знакомый поэт, с которым я давно не встречался: «Звоню тебе с одной целью – сказать, что Пушкина не издавали уже два года». «А чем это объяснить?» – поинтересовался я. В трубке после некоторого замешательства раздался вздох: «От тебя-то я такого вопроса не ожидал. Будто сам не знаешь».

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Пушкин «...признавал самодержавие необходимым условием бытия и процветания России»

П. Вяземский

Как много и по-разному написано о Пушкине! Сколько восторга – и проклятий, любви – и ненависти, сколько стихов, научных статей и трудов вызвало и до сих пор вызывает к жизни творчество солнечного русского гения. От пророческих и всевидящих оценок Ф. М. Достоевского до истошных воплей сатанистов, которые в начале века завоевывали великую империю: «сбросим Пушкина с парохода современности!» Это означало выбросить за борт современности саму Россию с ее совестью – Пушкиным.

Пушкин был так велик, что едва ли не каждая из противоборствовавших в России политических или философских группировок стремилась представить поэта своим, только им духовно близким. Особенно «потрудились» над искажением образа и мировоззрения Пушкина левые силы. Стремясь «обосновать» мнимую духовную близость поэта декабристам, они не останавливались даже перед прямыми фальсификациями пушкинских стихов. Разве не подлость, например, подмена знаменитой строки: «...и рабство, падшее по манию царя» якобы «мечтой» поэта о «падшем царе». Ему же до сих пор приписывают злобное четверостишие, якобы навеянное поэту чтением «Завещания» французского атеиста и коммуниста, аббата Ж. Мелье (начало XVIII в.)

Мы добрых граждан не забавим

И у позорного столпа

Кишкой последнего попа

Последнего царя удавим.

Характерно, что «принадлежность» этих стихов Пушкину даже в солидных собраниях его сочинений утверждается сугубо предположительно – со ссылками на дневники его юных приятелей-масонов.

Подумать только: доказать авторство не могут, а печатают под именем Пушкина!

И в самом деле, возможно ли здравомыслящему русскому человеку поверить, что под кущами Царского Села, над гладью его дивных прудов, где юному Александру Сергеевичу впервые стала являться муза, могли бы родиться столь кровожадные строчки?!

Но именно так, любыми способами, нагнеталась мнимая «революционность» первого поэта России.

«Пушкиниана», как я уже говорил, – это целое море всевозможных книг. Но хотелось бы сейчас особо выделить одну, совсем недавно изданную в России, хотя и давно написанную книгу-исследование «История русского масонства» Бориса Башилова^[26]. Наглухо закрытой от нашего читателя в годы коммунистической диктатуры и горбачевской «перестройки», труд этот наконец полностью увидел свет в России только в прошлом, 1995 году, когда журнал «Наш современник», взявшийся в 1990 году

осуществить это издание, завершил публикацию отдельной книгой последних, 16-го и 17-го выпусков книги.

Размышляя, как и многие, о творчестве, становлении мировоззрения, об этапах духовного роста великого мыслителя и поэта, о его судьбе и тайне гибели, мы находим именно у Башилова убедительные ответы на многие мучившие нас вопросы. Издания, как и большинство хороших книг нынче, малым тиражом (всего 10 тысяч экземпляров), «История русского масонства» уже стала библиографической редкостью. И потому я хочу предложить своему читателю обширные (но, поверьте, столь интересные и важные!) выдержки из тех глав этой книги, которые посвящены проблеме «Пушкин и масонство».

Общеизвестно, например, что сосланный в Бессарабию Пушкин, как и многие в молодости (вспомним Достоевского!), на какое-то время поддался на либеральные приманки своей среды. В Кишиневе он даже дал себя завербовать в масонскую ложу «Овидий». Это было в 1821 году – Пушкину шел всего 22-й год... Отравленный масонским «вольнолюбием» еще в лицее, поплатившийся за это ссылкой на юг, юный поэт был радостно встречен кишиневскими масонами, поспешившими сделать его своим «братом».

После подавления бунта на Сенатской площади в декабре 1825-го великий царь Николай! становится, как сказали бы сегодня, «врагом № 1» мирового масонства, взбешенного тем, что ему не удалось тогда прервать вековечный ход исторической жизни России. По убеждению русского историка Б. Башилова, именно Николай I, а не Петр I должен по праву именоваться Великим. Естественно, что у А. С. Пушкина, ставшего единомышленником русского царя, умножилось число озлобленных врагов, которые не простили ему «измены». На самом деле, по мере духовного и творческого роста великого поэта русский человек, плоть от плоти многовековой истории Руси, окончательно и бесповоротно победил в нем легкомысленного «бунтаря» вместе со всякими либерально-масонскими соблазнами. Свидетельство тому – не только приведенная мною выше знаменитая «подписка» Пушкина 1826 года о полной непричастности к масонству и тайным обществам, но и неопровержимые свидетельства глубокого согласия и единомыслия царя и поэта убедительные свидетельства такого рода щедро приводит Б. Башилов.

Итак, предлагаю вашему вниманию, читатель, выдержки из «Истории русского масонства», посвященные становлению и утверждению гения Пушкина как глубокого русского православного и монархического мыслителя и писателя. Его книга была напечатана один раз и мгновенно разошлась, став библиографической редкостью.

В предисловии к выпуску 14 и 15 своей книги, целиком посвященному теме Пушкин и масонство», автор особо подчеркивает два взаимосвязанных друг с другом обстоятельства: во-первых, «чрезвычайно значительную роль» русского и мирового масонства в разрушение русского национального государства, и, во-вторых, негласную запретность самой этой «опасной» темы. Всякий, ее коснувшийся, рискует быть обвиненным в «махровом черносотенстве».

Однако масонское «табу» на освещение их тайных деяний не стало преградой для нашего автора и многих цитируемых им авторов, в том числе публициста М. Спасовского, с размышлений которого и начинается «История русского масонства».

Многие писали о великом русском поэте. Со многими трудно согласиться.

«Суровую, но совершенно объективную и беспристрастную оценку Петербургскому периоду русской истории дал известный русский зарубежный публицист М. Спасовский в статье „Нет другого пути“...

«...Под давлением „преобразовательных реформ“ Петра! народ русский в толще своей оторвался от свойственного ему бытия, он оказался оттесненным, оттолкнутым от всего того, чем издревле дышала, росла, крепла и самобытно цвела русская жизнь во всем объеме ее духовных озарений, государственных инстинктов и свершений, – народ оказался отодвинутым и от Царя и от Церкви. Слиянность Царя – Народа – Царя была нарушена, попорана и потеряна. Внешняя связь была, но не было внутренней спайки – единого дыхания одной мыслью, одной волей, одной жизнью. Внутренне монолит распался, и каждая его часть стала жить сама по себе, пока не свалились все вместе в дыру 17-го года.

Медленно шел весь этот глубоко печальный и горестный процесс, незаметно для обывательского глаза, но неуклонно. Именно этим и характерен Петербургский период русской истории. Оторвавшись от Московской Руси, от всех форм ее государственной, общественной и церковно-бытовой жизни, от всех наших традиций и навыков, долгими столетиями слагавшихся и из наших русских духовных и душевных наклонностей и стремлений выросших, мы в Петербургский период ничего не нашли из того, что научило бы нас и помогло бы нам дальше идти по дороге расширения нашего общенародного и общегосударственного благополучия...»

«...Говоря кратко и прямо, мы должны признать, что Петербургский период дал русскому народу его рабство и систематическое убийство его Царей и увенчал себя позором социалистического блуда – позором нашего увлечения Западом и полным провалом на русской почве всех либеральных, радикальных, прогрессивных революционных восхищений.

Эти восхищения были нам подсунуты и даже навязаны, а российские растяпушки этого не замечали. Остатки их даже теперь не понимают, что эти восхищения наши были нужны кому-то, и с вполне определенной целью – раскатать Державу Российскую, стоявшую поперек их горла. Эти восхищения и теперь нужны, чтобы не дать России подняться из праха и не мешать «править правящими».

Петербургский период Русской Истории отжил раз и навсегда. Этот период не был нашим, не был русским, – это была мучительная борьба убиенных Государей наших, начиная с цесаревича Алексея Петровича, через Павла I, Александра II, за выпрямление нашей русской государственной жизни, искалеченной Петром I, – борьба с теми петровскими «преобразовательными реформами», в глубоком омуте которых, под черным вихрем «просвещения» с Запада, без остатка утонуло все, на чем покоился наш исконный русский государственный дух и государственный быт, наши национально-государственные цели, наша русская и православная идея.

Петербургский период вошел в Русскую Историю как период угасания нашего национально-самосохранения, – как период извращения, мелькания и оскуднения нашего государственного инстинкта, – как период утраты нами священного смысла нашей родины и религиозного задания нашего государственного строительства».

Первый период начавшейся в России безудержной и ничем не оправданной европеизации начинается революцией Петра I и кончается восстанием декабристов, пытавшихся довершить начатую Петром европеизацию России, и запрещением масонства в России в 1826 году. Революция Петра I и расцветшее благодаря ей в России вольтерьянство и масонство, заговор декабристов, связанных идейно и организационно с русским и мировым масонством, – все это звенья одного и того же исторического процесса.

После подавления восстания декабристов и запрещения масонства русские цари, начиная с имп. Николая I, которому (а не Петру I) должно бы быть присвоено наименование Великого, перестают быть источником европеизации России и стремятся вернуться к русским традициям, беспощадно выкорчеванным Петром I.

Но в 40-х годах XIX столетия, в царствование Николая I, возникает духовный заместитель запрещенного масонства – Орден Русской Интеллигенции. Виднейшие члены этого Ордена, как мы увидим это в дальнейшем, сами признаются, что они являются кто прямыми, а кто кривыми потомками русского вольтерьянства и масонства. С возникновением русской интеллигенции, которая вовсе не является синонимом русского образованного слоя, как это обычно утверждают члены Ордена Русской Интеллигенции, начинается второй период дальнейшей европеизации, источником которой является теперь уже не верховная власть, а члены многочисленного Ордена Русской Интеллигенции, ведущего ожесточенную борьбу с царской властью, Православной Церковью и русским образованным обществом.

В сороковых годах происходит окончательное идейное оформление того противоестественного слоя русского образованного общества, который позднее получил наименование русской интеллигенции, но который правильнее называть Орденом Русской Интеллигенции. Идеологи Ордена Русской Интеллигенции постарались внушить, что понятие «русская интеллигенция» и «русское образованное общество» совпадают, но они не могут совпадать. Цель русского образованного общества, как и образованного общества всякой другой страны, – создание культурных ценностей в национальном духе. Цель же Ордена Русской Интеллигенции – разрушение Православной Церкви, Русского национального государства и борьба со всеми проявлениями самобытной русской культуры».

Я твердо убежден: – если бы не решительные и мужественные действия великого государя-рыцаря Николая Первого, мы бы пережили ужасы Французской революции, приблизив 1917 год почти на сто лет. С Николая Первого, действительно Великого – русское общество окончательно разделилось на два взаимно диаметральных течения. Первое – истинно Русское: православно-монархическое и потому народное, стремящееся видеть свое назначение в возрождении исторических основ нашей государственности, идущей еще от допетровских времен. Второе – масонское, подразумевающее под лозунгом «свобода, равенство и братство» борьбу с самодержавием России и ее душой – православием.

«Тот, кто пишет историю русского масонства, не может пройти мимо Пушкина. И не потому, что, поддавшись увлечениям своей эпохи, Пушкин, как и многие выдающиеся его современники, был масоном, а по совершенно иной причине: потому что Пушкин, являющийся духовной вершиной своей эпохи, – одновременно является символом победы русского духа над вольтерьянством и масонством. Если, подавив заговор декабристов, император Николай I тем самым одержал победу над силами, стремившимися довести до логического конца начатое Петром I дело европеизации России, то к этому же самому времени самый выдающийся человек России – Пушкин одержал духовную победу над циклом масонских идей, во власти которых он одно время был.

Если в лице императора Николая I русская верховная власть перестает быть источником европеизации России и стремится выкорчевать губительные последствия Петровской революции, то в лице Пушкина русская культура преодолевает губительные духовные последствия Петровской революции

и восстанавливает связь с древними традициями самобытной русской культуры. Пушкин – самый русский человек своего времени. Он раньше всех, первый изжил трагические духовные последствия Петровской революции и восстановил гармонический духовный облик русского человека.

К моменту подавления масонского заговора декабристов национальное миросозерцание в лице Пушкина побеждает духовно масонство. Пушкин к этому времени отвергает весь цикл политических идей, взлелеянных масонством, и порывает с самим масонством. Пушкин осуждает революционную попытку связанных с масонством декабристов, и вообще осуждает революцию как способ улучшения жизни. Пушкин радостно приветствует возникшее в 1830 году у Николая! намерение «организовать контрреволюцию – революции Петра I» (из письма Пушкина П.Вяземскому, март 1930 года. – И.Г.). Из рядов масонства Пушкин переходит в лагерь сторонников национальной контрреволюции, то есть оказывается в одном лагере с Николаем!».

«...Декабристы, по мнению этих лжеисториков, были лучшие представители Александровской эпохи. Вместе с декабристами ушли с политической и культурной арены лучшие люди эпохи, а их место заняла, как выражается Герцен, „дрянь Александровского времени“. Подобная трактовка совершенно не соответствует исторической действительности. Среди декабристов были, конечно, отдельные выдающиеся и высококультурные люди, но декабристы не были отнюдь лучшими и самыми культурными людьми эпохи. Оставшиеся на свободе и не бывшие никогда декабристами Пушкин, Лермонтов, Крылов, Хомяков, Кириевский и многие другие выдающиеся представители Николаевской эпохи, Золотого века русской литературы, были намного умнее, даровитее и образованнее самых умных и образованных декабристов. Потери русской культуры в результате осуждения декабристов вовсе не так велики, как это стараются изобразить, ни одного выдающегося государственного деятеля среди декабристов все же не было. Как государственный деятель Николай I настолько же выше утописта Пестеля, насколько в области поэзии Пушкин выше Рылеева.

Нет, возможности национального возрождения у России после подавления декабристов были, несмотря на то, что Россия в результате двадцатипятилетней европеизации была, конечно, очень больна. После подавления заговора декабристов и запрещения масонства в России наступает кратковременный период, который мог бы быть использован для возрождения русских политических, культурных и социальных традиций. Счастливое стечение обстоятельств после долгого времени давало русскому народу редкую возможность вернуться снова на путь предков. Враги исторической России были разбиты Николаем I и повержены в прах. Уродливая эпоха европеизации России, продолжавшаяся сто двадцать пять лет, кончилась. Николай I запрещает масонство и стремится стать народным царем, политические притязания дворянства подавлены, в душах наиболее одаренных людей эпохи, во главе которых идет Пушкин, с каждым годом усиливается стремление к восстановлению русского национального мировоззрения. В стране возникает духовная атмосфера, благоприятствующая возрождению самобытных русских традиций во всех областях жизни. Мировое масонство и хотело бы помешать этому процессу, но, потеряв в лице декабристов своих главных агентов, не в силах помешать России вернуться на путь предков. И во главе двух потоков Национального Возрождения стоят два выдающихся человека эпохи: во главе политического – Николай I, во главе умственного умнейший и культурнейший человек эпохи – А. С. Пушкин».

«Самый кардинальный вопрос о той роли, которую сыграло в жизни и смерти поэта масонство... – даже не был поставлен. А ведь между тем с раннего возраста и вплоть до самой смерти Пушкин, в той или иной форме, все время сталкивался с масонами и идеями, исходившими от масонских или околумасонских кругов. В.Ф.Иванов в своем исследовании дает следующую характеристику отцу Пушкина: „Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, типичный вольтерьянец XVIII века, в 1814 году вступает в Варшаве в масонскую ложу „Северного Щита“, в 1817 году мы видим его в шотландской ложе „Александра“, затем он перешел из нее в ложу „Сфинкса“, в 1818 году исполнял должность второго стуарта в ложе „Северных друзей“. Не менее деятельным масоном был и дядя поэта – Василий Львович Пушкин. В масонство он вступает в 1810 году. Начиная с этого времени имя его встречается в списках ложи „Соединенные друзья“. Затем он именуется членом Петербургской ложи „Елисаветы к Добродетели“, а в 1819—1920 году состоял секретарем и первым стуартом в ложе «Ищущих Манны»^[27]

Приверженность отца Пушкина к вольтерьянству и масонству отразилась на соответствующем подборе книг в его библиотеке. А именно эти книги и читал юный Пушкин до поступления в лицей и во время летних каникул, когда учился в лицее. В Царскосельском лицее Пушкин тогда все время находился под идейным воздействием вольтерьянцев и масонов. Царскосельский лицей, так же как и Московский университет, как многие другие учебные заведения в Александровскую эпоху, был центром распространения масонских идей. Проект Царскосельского лицея, по преданию, написан не кем иным, как воспитателем Александра I швейцарским масоном Лагарпом и русским иллюминатом М. Сперанским. Лицей был задуман как школа для «юношества, особо предназначенного к важным частям службы государственной». А в действительности, как и другие высшие учебные заведения, он превратился в

рассадник масонских вольтерьянских идей. «Царскосельский лицей, – как утверждает с восторгом Б. Мейлах, автор вступительной статьи к первому тому стихотворений Пушкина, вышедших в серии „Библиотека Поэта“ (советское издание) – превратился на деле в один из центров воспитания молодежи в духе политического вольномыслия. Директор лицея В. Ф. Малиновский и профессор нравственных наук А. П. Куницын внушали воспитанникам критическое отношение к самодержавно-крепостническому строю. Под влиянием Малиновского и Куницына в близком им духе строили свои лекции и другие профессора. В лицейских лекциях осуждался деспотизм и пропагандировались идеи политической свободы как необходимого условия расцвета культуры, науки и искусства. Одной из основ лицейского была являлось равенство воспитанников независимо от происхождения и от чинов их родителей. Большое распространение среди лицеистов имела потайная политическая литература. Все это придавало особый характер лицейской жизни: не случайно воспитанники именовали это заведение в письмах и рукописных журналах „Лицейской республикой“ (Библиотека поэта. Избранные произведения в трех томах. Издание третье).

Несколько преподавателей лицея были масонами и вольтерьянцами. Преподаватель Гауеншильд состоял в той же самой ложе иллюминатов «Полярная Звезда», в которой одно время состоял и М. Сперанский. Профессор Кошанский был членом ложи «Избранный Михаил», членами которой также были Дельвиг, Батеньков, Бестужев, Кюхельбекер, Измайлов. Нравственную философию и логику Куницын излагал в духе французской просветительной философии. Написанная в 1821 году Куницыным книга была охарактеризована как принадлежащая к политическому направлению, «противоречащая истинам христианства, и клонящаяся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных». «Марат, – писал далее в том же отзыве Рунич, – был не кто иной, как искренний и практически последователь науки, которую преподает Куницын». А французский язык в лицее преподавал... родной брат знаменитого тирана Французской революции... Марата. А принадлежавшая лицейской библиотеке была приобретена в свое время Екатериной II – не у кого иного, как у самого... Вольтера. Можно себе представить, какой состав книг был в этой библиотеке?!

Царскосельский лицей подготавливал лицеистов не столько к государственной службе, сколько подготавливал их к вступлению в тайные противоправительственные общества. Автор записки «Нечто о Царскосельском лицее и духе его» сообщает, что лицейским духом называется такое направление взглядов, когда «молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или самому быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском знать все дерзкие и возмутительные стихи и места из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах, казаться неверующим христианским догматам, а больше всего представлять Филантропом и русским филантропом».^[28] Приходится ли после этого удивляться, что Пущин, Кюхельбекер и другие воспитанники лицея стали декабристами?!

Не лучше, как известно, был и «дух» петербургского образованного общества, среди которого приходилось бывать Пушкину-лицейсту. Пушкин познакомился с офицерами стоявшего в Царском Селе лейб-гусарского полка Чаадаевым, Н. Н. Раевским, Кавелиным, и все они оказались поклонниками французского вольномыслия. В литературном кружке «Зеленая лампа» юный Пушкин познакомился со многими декабристами (так как «Зеленая лампа» был только тайным филиалом тайного «Союза Благоденствия»). Вступив позже в члены литературного общества «Арзамас», Пушкин вступил в общение с будущими декабристами М. Орловым, Н. Тургеневым и Никитой Муравьевым. С какими бы слоями образованного общества ни сталкивался юный Пушкин, всюду он сталкивался с масонами или вольтерьянцами, или людьми, воспитавшимися под влиянием масонских идей.

«...Высланный в Бессарабию, Пушкин попадает уже в чисто масонскую среду. От политического вольнодумства его должен был исправлять по поручению властей не кто иной, как... старый масон И. Н. Инзов, член Кишиневской ложи „Овидий“. Инзов, мастер ложи „Овидий“ генерал Пущин и другие кишиневские масоны начинают усиленно просвещать Пушкина в масонском духе и уже в начале мая 1821 года им удается завербовать Пушкина в число членов ложи „Овидий“.

В сохранившемся отрывке кишиневского дневника Пушкина имеется запись: «4 мая был принят в масоны». «Я был масоном, – пишет позже Пушкин в письме к Жуковскому, – в кишиневской ложе, то есть той, за которую уничтожены в России все ложи» (Пушкин в данном случае говорит о запрещении масонских лож императором Александром I).

«...Живя на юге, Пушкин встречается со многими масонами и видными участниками масонско-дворянского заговора декабристов: Раевским, Пестелем, С. Волконским и другими, с англичанином-атеистом Гетчинсоном. Живя на юге, он переписывается с масонами Рылеевым и Бестужевым. Направленный на юг исправляться от привитого ему в лицее политического вольномыслия, Пушкин, наоборот, благодаря стараниям масонов и декабристов, оказывается захваченным политическим и религиозным вольнодумством даже еще больше, чем в Петербурге. Только в эту короткую пору его жизни мировоззрение Пушкина и носит определенные черты политического радикализма. Но эта пора

продолжается недолго. Масоны и декабристы скоро убеждаются в неглубокости пушкинского радикализма и атеизма и понимают, что он никогда не станет их верным и убежденным сторонником.

Пушкин, несмотря на свою молодость, раньше масонов и декабристов понял, что с этими людьми у него нет и не может быть ничего общего. Именно в этот период, вскоре после вступления в масонское братство, он, по собственным его признаниям, начинает изучать Библию, Коран, а рассуждения англичанина-атеиста называет в одном из писем «пошлой болтовней». Разочаровывается Пушкин и в радикальных политических идеях. Встретившись с самым выдающимся членом Союза Благоденствия иллюминатом Пестелем, о выдающемся уме которого Пушкину прожужжали все уши декабристы, Пушкин увидел в нем только жестокого слепого фанатика. По свидетельству Липранди, «когда Пушкин в первый раз увидел Пестеля, то, рассказывая о нем, говорил, что он ему не нравится, и, несмотря на его ум, который он искал высказывать философскими тенденциями, никогда бы с ним не смог сблизиться. Пушкин отнесся отрицательно к Пестелю, находя, что властность Пестеля граничит с жестокостью». Не сошелся близко Пушкин и с виднейшим деятелем масонского заговора на севере – поэтом Рылеевым. Политические стихи Рылеева «Думы» Пушкин называл дрянью и шутливо говорил, что их название происходит от немецкого слова «думм» (дурак). Подшучивал Пушкин и над политическим радикализмом Рылеева, о чем свидетельствует Плетнев».

«...Ни среди масонов, ни среди живших на юге декабристов, Пушкин не нашел ни единомышленников, ни друга. Как и все гении, он остается одиноким и идет своим особенным, неповторимым путем. Уже в следующем, 1822 году, в Кишиневе, Пушкин пишет свои замечательные „Исторические заметки“, в которых он развивает взгляды, являющиеся опровержением политических взглядов декабристов. В то время, как одни декабристы считают необходимым заменить самодержавие конституционной монархией, а более левые – вообще уничтожить монархию и установить в России республику, Пушкин утверждает в этих заметках, что Россия чрезвычайно выиграла, что все попытки аристократии в XVIII веке ограничить самодержавие потерпели крах».

«...Богатый Михайловский период был периодом окончательного обрусения Пушкина. „Его освобождение от иностранщины началось еще в лицее, отчасти сказалось в „Руслане“, потом стало выявляться все сильнее и сильнее, преодолевая экзотику южных впечатлений. От первых, писанных в полурусской Одессе, строф Онегина уже веет русской деревней. В древнем Псковском крае, где поэт пополнял книжные знания непосредственным наблюдением над народной жизнью, углублялся его интерес к русской старине, к русской действительности. Теперь Пушкин слышал вокруг себя чистую русскую речь, жил среди людей, которые были одеты по-русски, пели старинные русские песни, соблюдали старинные обряды, молились по православному, блюли духовный склад, доставшийся от предков. Точно кто-то повернул колесо истории на два века назад, и Пушкин, вместо барских гостиных, где подражали Европе в манерах и мыслях, очутился в допетровской, Московской Руси. К ней душой и телом принадлежал спрятавшийся от него в рожь мужик, крепостные девушки, с которыми Пушкин в праздники плясал и пел, слепые и певцы на ярмарке, игумен Иона, приставленный обучать поэта уму-разуму. Все они, сами того не зная, помогли Пушкину стать русским национальным поэтом“.

«...Среди подлинной, старинной русской жизни сбросил он с себя иноземное вольтерьянство, стал русским народным поэтом. Няня с ее незыблемой верой, Святые Горы, богомольцы, слепые, калики перехожие, игумен, в котором мужицкая любовь к водочке уживалась с мужицкой набожностью, чтение Библии и святых отцов – все просветляло душу поэта, там произошла с ним таинственная перемена, так его таинственным щитом святое Проведение осенило. После Михайловского не написал он ни одной богохульственной строчки, которые раньше, на потеху минутных друзей минутной юности так легко слетали с его пера. Не случайно его политический календарь в Михайловском открывается с „Подражания Корану“ и замыкается „Пророком“. В письмах из деревни Пушкин несколько раз говорит про Библию и Четьи-Минеи. Он внимательно их читает, делает выписки, многим восхищается как писатель. Это не просто интерес книжника, а более глубокие запросы и чувства. Пушкин пристально вглядывается в святых, старается понять источник их силы. С годами этот интерес ширится».

Пушкин часто читает книги на религиозные темы. Он сотрудничает анонимно в составлении «Словаря святых». В 1832 году Пушкин пишет, что он «с умилением и невольной завистью читал „Путешествия по Святым местам А. Н. Муравьева“. В четырех книгах „Современника“ Пушкин напечатал три рецензии на религиозные книги.

...От настроений «политического радикализма», «атеизма» и от увлечения антихристианской мистикой масонов в Михайловском скоро не остается ничего. Для духовно созревающего Пушкина все это уже - **прошлое**, увлечения прошедшей безвозвратно юности. Вечно работающий гениальный ум Пушкина раньше многих его современников понял лживость масонства и вольтерьянства и решительно отошел от идей, связанных с вольтерьянством и масонством. «Вечером слушаю сказки, – пишет Пушкин брату в октябре 1824 года, – и вознаграждаю тем недостатки ПРОКЛЯТОГО своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма».

Как величайший русский национальный поэт и как политический мыслитель Пушкин созрел в Михайловском. «Моя душа расширилась, – пишет он в 1825 году Н. Раевскому, – я чувствую, что могу творить».

«...Масоны и их духовные выученики-декабристы пытаются привлечь ссыльного поэта на свою сторону. Декабристы Рылеев и Волконский напоминают ему, что Михайловское находится „около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы – настоящий край вдохновения – и неужели Пушкин оставил эту землю без поэмы“ (Рылеев), а Волконский выражает надежду, что „соседство воспоминаний о Великом Новгороде, о вечевом колоколе будут для Вас предметом пиитических занятий“. Но призывы отдать свое вдохновение на службу подготавливаемой революции не встречают ответа. Пушкин с насмешкой пишет о политических „Думах“ Рылеева Жуковскому: „Цель поэзии – поэзия, как говорил Дельвиг (если не украл). Думы Рылеева целят, и все невпопад“. „Что сказать тебе о „Думах“? – пишет он Рылееву – Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы „Петра в Острогжске“ чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест: описание места, речь героя и нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен“...

В январе 1825 года в Михайловское приезжает самый близкий друг Пушкина – декабрист Пущин и старается окончательно выяснить, могут или нет заговорщики рассчитывать на участие Пушкина в заговоре. После споров и разговоров Пущин приходит к выводу, что Пушкин враждебно относится к идее революционного переворота и что рассчитывать на него как на члена тайного общества совершенно не приходится. Именно в это время Пушкин пишет «Анри Шенье».

Великий русский национальный поэт, бывший, по общему признанию, умнейшим человеком своего времени, покидает тот ложный путь, по которому в течение ста двадцати пяти лет шло русское образованное общество со времени произведенной Петром I революции. Незадолго до восстания декабристов Пушкин был по своему мировоззрению уже русским человеком из всех образованных людей своего времени. В лице Пушкина образованный слой русского общества излечивается, наконец, от тех глубоких травм, которые нанесла ему революция Петра I. По определению И. С. Тургенева: «Несмотря на свое французское воспитание, Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком того времени» (Вестник Европы. 1878 год). В Пушкине во всей широте раскрылись снова все богатства русского духа, воспитанного в продолжение веков православием. Гоголь еще при жизни Пушкина писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: ЭТО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В КОНЕЧНОМ ЕГО РАЗВИТИИ, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Умственное превосходство Пушкина понимали многие выдающиеся современники, и в том числе император Николай I, первый назвавший Пушкина «самым умным человеком России». «Когда Пушкину было восемнадцать лет, он думал как тридцатилетний человек», – заметил Жуковский. По выражению мудрого Тютчева, Пушкин **«...был богов орган живой»**.

...«Когда он говорил о вопросах иностранной и отечественной политики, – писал в некрологе о Пушкине знаменитый польский поэт Мицкевич, – можно было думать, что слышите заматерелого в государственных делах человека».

Достоевский назвал Пушкина «великим и непонятым еще предвозвестителем». «Пушкин, – пишет Достоевский, – как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его способствует освещению темной дороги нашей **НОВЫМ, НАПРАВЛЯЮЩИМ СВЕТОМ**. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание» (Ф. Достоевский. Дневник писателя).

Направляющий свет – какие точные и глубокие слова о нашем гении найдены Достоевским! А теперь, читатель, я хочу познакомить вас с самой, на мой взгляд, ключевой главой из книги Башилова. Она называется: Поэт и царь.

«Вскоре после восстания декабристов (20 января 1826 года) Пушкин пишет Жуковскому: „Вероятно, правительство удовлетворилось, что я к заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел...“ В другом письме к Жуковскому, написанном 7 марта, Пушкин опять подчеркивает, что „бунт и революция мне никогда не нравились, но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если бы я был потребован Комиссией, то я бы, конечно, оправдался“. „Вступление на престол Государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости“.

...Описывая встречу Николая I с Пушкиным в Москве, в Чудовом монастыре, историки и литературоведы из числа Ордена всегда старались выпятить, что Пушкин на вопрос Николая I: «Принял

бы он участие в восстании декабристов, если был в Петербурге?» Пушкин будто бы ответил: «Да, принял бы». Но всегда игнорируется самая подробная запись о разговоре Николая! с Пушкиным, которая имеется в воспоминаниях польского графа Струтынского. Запись содержания разговора сделана Струтынским со слов самого Пушкина, с которым он дружил. Запись графа Струтынского, однако, всегда игнорировалась, так как она показывала политическое мировоззрение Пушкина совсем не таким, каким его всегда изображали члены Ордена Р. И. [\[31\]](#)

Воспоминания графа Струтынского были изданы в Кракове в 1873 году (под псевдонимом Юлий Сас). В столетнюю годовщину убийства Пушкина в польском журнале «Литературные Ведомости» был опубликован отрывок из мемуаров, посвященный беседе императора Николая! с Пушкиным в Чудовом монастыре 18 сентября 1826 года. Вот часть этого отрывка:

«...Молодость, – сказал Пушкин, – это горячка, безумие, напасть. Ее побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине. Вы, вероятно, знаете, потому что об этом много писано и говорено, что я считался либералом, революционером, конспиратором, – словом, одним из самых упорных врагов монархизма и в особенности самодержавия. Таков я и был в действительности. История Греции и Рима создала в моем сознании величественный образ республиканской формы правления, украшенной ореолом великих мудрецов, философов, законодателей, героев; я был убежден, что эта форма правления – наилучшая. Философия XVIII века, ставившая себе единственной целью свободу человеческой личности и к этой цели стремившаяся всею силою отрицания прежних социальных и политических законов, всею силою издевательства над тем, что одобрялось из века в век и почиталось из поколения в поколение, – эта философия энциклопедистов, принеся миру так много хорошего, но несравненно больше дурного, немало повредила и мне. Крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собою ничего ни на земле, ни на небе; индивидуализм, не считавшийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в загробную жизнь души, всяких религиозных обрядов и догматов, – все это наполнило мою голову каким-то сияющим и соблазнительным хаосом снов, миражей, идеалов, среди которых мой разум терялся и порождал во мне глупые намерения».

То есть в дни юности Пушкин шел по шаблонному пути многих. Кто в восемнадцать лет – не ниспровергатель всех основ?!

«Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть – насилие, каждый монарх – угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и делом. Не удивительно, что под влиянием такого заблуждения я поступил неразумно и писал вызывающе, с юношеской бравадой, накликающей опасность и кару. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что вырос до размеров великого человека и до чертиков напугал правительство. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!»

«– Но всему свой пора и свой срок, – сказал Пушкин во время дальнейшего разговора с графом Струтынским. – Время изменило лихорадочный бред молодости. Все ребяческое слетело прочь. Все порочное исчезло. Сердце заговорило с умом небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, – я понял, что казавшееся донине правдой было ложью, чтимое – заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и красноречиво ют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества; что без законной власти, блюдущей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность пространства и темнота народной (да и дворянской!) массы требуют мощного направляющего воздействия, – в такой стране власть должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться диктаториальной или самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой и устрашающей, между тем как у нас до сих пор непременное условие существования всякой власти – чтобы перед ней смирялись, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас самого Бога. Конечно, этот абсолютизм, это самодержавное правление одного человека, стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не может быть неизменной нормой, предопределяющей будущее; самодержавию суждено подвергнуться постепенному изменению и некогда поделиться половиною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро, потому что скоро наступить не может и не должно».

«...Я знаю его лучше, чем другие, – сказал Пушкин графу Струтынскому, – потому что у меня к тому был случай. Не купил он меня золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я не продажен и придворных милостей не ищущ; не ослепил он меня блеском царского ореола, потому что в высоких сферах

вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме совести и Бога я не боюсь никого, не дрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю, люблю свободу и славу отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил; однако я должен признать (ибо отчего же не признать), что Императору Николаю я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще долго и, может быть, тщетно, ибо смотрел на мир не непосредственно, а сквозь кристалл, придающий ложную окраску простейшим истинам, смотрел не как человек, умеющий разбираться в реальных потребностях общества, а как мальчик, студент, поэт, которому кажется хорошо все, что его манит, что ему льстит, что его увлекает!

Помню, что, когда мне объявили приказание Государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась – не тревогою, нет! Но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг ошетинился эпиграммой, на губах играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который, казалось, призывал меня к роли исторического республиканца Катона, а то и Брута. Я бы никогда не кончил, если бы вздумал в точности передать все оттенки чувств, которые испытал на вынужденном пути в царский дворец, и что же? Они разлетелись, как мыльные пузыри, исчезли в небытие, как сонные видения, когда он мне явился и со мной заговорил. Вместо надменного деспота, кнудодержавного тирана, я увидел человека рыцарски-прекрасного, величественно-спокойного, благородного лицом. Вместо грубых и язвительных слов угрозы и обиды я слышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно.

«Как, – сказал мне Император, – и ты враг твоего Государя, ты, которого Россия вырастила и покрыла славой, Пушкин, Пушкин, это не хорошо! Так быть не должно».

Я онемел от удивления и волнения, слово замерло на губах, Государь молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах, располагая к доверию, призывая о помощи. Мгновения бежали, а я не отвечал.

«Что же ты не говоришь, ведь я жду», – сказал Государь и взглянул на меня пронзительно.

Отрезвленный этими словами, а еще больше его взглядом, я наконец опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно: «Виноват и жду наказания». «Я не привык спешить с наказанием, – сурово ответил Император, – если могу избежать этой крайности, бываю рад, но я требую сердечного полного подчинения моей воле, я требую от тебя, чтоб ты не принуждал меня быть строгим, чтоб ты помог мне быть снисходительным и милостивым, ты не возразил на упрек во вражде к твоему Государю, скажи же, почему ты враг ему?»

«Простите, Ваше Величество, что, не ответив сразу на Ваш вопрос, я дал Вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом моего Государя, но был врагом абсолютной монархии».

Государь усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая меня по плечу:

«Мечтания итальянского карбонарства и немецких тугендбундов! Республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей из университетской аудитории. С виду они величавы и красивы, в существе своем жалки и вредны! Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущая к диктатуре, а через нее к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя. Силы страны в сосредоточенной власти, ибо где все правят – никто не правит; где всякий законодатель, – там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!... Что же ты на это скажешь, поэт?»

«Ваше Величество, – отвечал я, – кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма конституционная монархия».

«Она годится для государств, окончательно установившихся, – перебил Государь тоном глубокого убеждения, – а не для таких, которые находятся на пути развития и роста. Россия еще вышла из периода борьбы за существование, она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не достигла своего предназначения, она еще не оперлась на границы, необходимые для ее величия. Она еще не есть вполне установившаяся монолитная, ибо элементы, из которых она состоит до сих пор, друг с другом не согласованы. Их сближает и спаивает только самодержавие, неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы ни развития, ни спайки, и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства. Неужели ты думаешь, что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны Росси вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученное мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни,

всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию? Она не посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что самодержавный царь был для нее представителем Божеского могущества и наместником Бога на земле, потому что она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания и что я не человек без закала и воли которого гнут бури и устрашают громы».

Когда он говорил это, ощущение собственного величия и могущества, казалось, делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали, но это не были признаки гнева, нет, он в эту минуту не гневался, но испытывал свою силу, измерял силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Он был горд и в то же время доволен. Но вскоре выражение его лица смягчилось, глаза погасли, он снова прошелся по кабинету, снова остановился передо мною и сказал:

«Ты еще не все высказал, ты еще не вполне очистил свою мысль от предрассудков и заблуждений, может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело, я хочу тебя выслушать и выслушаю».

«Ваше Величество, – отвечал я с чувством, – Вы сокрушили главу революционной гидре, В совершили великое дело, кто станет спорить? Однако... есть и другая гидра, чудовище страшное губительное, с которым Вы должны бороться, которое должны уничтожить, потому что иначе оно Вас уничтожит!»

«Выражайся яснее, – перебил Государь, готовясь ловить каждое мое слово».

«Эта гидра, это чудовище, – продолжал я, – самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стонет в тисках этой гидры, поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не достигло, нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена, справедливость в руках самоуправств! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи, никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона. Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, чтоб свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтоб уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения – свободу, вместо насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произвола – покровительство законов, стоящих надо всеми и равных для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного. Вы могли и имели право покарать виновных, в патристическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что даже карая их, в глубине души, Вы не отказали им ни в сочувствии, ни в уважении. Я уверен, что если Государь карал, то человек прощал!»

«Смелы твои слова, – сказал Государь сурово, но без гнева, – значит, ты одобряешь мятеж, оправдываешь заговорщиков против государства? Покушение на жизнь монарха?»

«О, нет. Ваше Величество, – вскричал я с волнением, – я оправдываю только цель замысла, а не средства. Ваше Величество умеете проникать в души, соблаговолите проникнуть в мою и Вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно. В такой душе злой порыв не гнездится, а преступление не скрывается!»

«Хочу верить, что так, и верю, – сказал Государь более мягко, – у тебя нет недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах, но тебе недостает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу не уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Знай, что критика легка и что искусство трудно: для глубокой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Нудно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвении в одном похвальном стремлении к поднятию самоуправления в народе и чувства чести в обществе. Пусть все благонамеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо только в общих усилиях – победа, в согласии благородных сердец – спасение. Что же до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое, даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника, вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание – воспламенять души вечными добродетелями ради великих подвигов! Теперь... можешь идти! Где бы ты ни поселился, – ибо выбор зависит от тебя, – помни, что я сказал и как с тобой поступил, служи родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства, пиши со всей полнотой вдохновения и совершенной свободой, ибо цензором твоим – буду я».

Такова была сущность Пушкинского рассказа. Наиболее значительные места, запечатлевшиеся в моей памяти, я привел почти дословно».



Признайтесь, читатель: рассказ Струтынского о беседе с Пушкиным, запечатлевшийся в его памяти и приведенный в мемуарах, по словам графа, «почти дословно», не просто впечатляет. Он проливает истинный свет на историческую встречу Пушкина с Николаем! и многое, многое объясняет нам в последующем стремительном духовном взлете гения, ставшего окончательно и навсегда русским.

«Москва, – свидетельствует современник Пушкина С. Шевырев – принял его с восторгом: везде его носили на руках. Приезд поэта оставил событие в жизни нашего общества». Но всеобщий восторг сменился скоро потоками гнусной клеветы, как только в масонских кругах общества стал известен консервативный характер мировоззрения возмужавшего Пушкина. Вольтерьянцы и масоны не простили Пушкину, что он повернулся спиной к масонским идеям об усовершенствовании России революционным путем, ни того, что он с симпатией высказался о духовном облике подавителя восстания декабристов – Николая I.

Поняв, что в лице Пушкина они приобретают опасного врага, вольтерьянцы и масоны прибегают к своему излюбленному приему политической борьбы – к клевете. В ход пускаются сплетни о том, что Пушкин купил расположение Николая I ценой пресмыкательства, подхалимства и шпионажа.

Когда Пушкин написал «Стансы», А. Ф. Воейков сочинил на него следующую эпиграмму:

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал,
И стал придворный лизоблюд.

...На распушенные клеветнические слухи Пушкин ответил мечтательным стихотворением «Друзьям».

Вот оно:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, НАДЕЖДАМИ, трудами.
О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
Текла в изгнании жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подавал – и с вами я, друзья.
Во мне почил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленьи,
Ему хвалу не воспою?
Я льстец? Нет, братья, льстец лукав
Он горе на царя назовет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: «Презирай народ,
Гнети природы голос нежный!»
Он скажет: «Просвещения плод —
Страстей и воли дух мятежный!»
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу.

Начинаются преследования со стороны полиции, продолжавшиеся до самого убийства Пушкина. Историки и пушкинисты из числа членов Ордена Р. И. всегда изображают дело так, что преследования исходили будто бы от Николая I.

Эту масонскую версию надо отвергнуть, как противоречащую фактам. Отношения между Николаем I и Пушкиным не дают нам никаких оснований заподозрить Николая Первого в том, чтобы у него было желание преследовать гениального поэта и желать его гибели. В предисловии к работе С. Франкуа «Пушкин как политический мыслитель» П. Струве верно пишет, что: «между великим поэтом и царем было огромное расстояние в смысле образованности, культуры вообще. Пушкин именно в эту эпоху был уже человеком большой, самостоятельно приобретенной культуры, чем Николай I никогда не был. С другой стороны, как человек огромной действительной воли, Николай! превосходит Пушкина в других отношениях: ему присуща была необычайная самодисциплина и глубочайшее чувство долга. Свои обязанности и задачи Монарха он не только понимал, но и переживал как подлинное служение. Во многом Николай! и Пушкин, как конкретные и эмпирические индивидуальности, друг друга не могли понять и не понимали. Но в то же время они друг друга, как люди, по всем достоверным признакам и свидетельствам, любили и еще более ценили. Для этого было много оснований. Николай I непосредственно ощущал величие пушкинского гения. Не надо забывать, что Николай I по собственному, сознательному решению, приобщил на равных правах с другими образованными русскими людьми политически подозрительного, поднадзорного и в силу этого поставленного его предшественником в исключительно неблагоприятные условия Пушкина к русской культурной жизни и даже, как казалось самому Государю, поставил в ней поэта в исключительно привилегированное положение. Тягостные стороны этой привилегированности были весьма ощутимы для Пушкина, но для Государя прямо непонятны. Что поэта бесили нравы и приемы полиции, считавшей своим правом и своей обязанностью во все вторгаться, было более чем естественно – этими вещами не меньше страстного и подчас несдержанного в личных и общественных отношениях Пушкина возмущался кроткий и тихий Жуковский. Но от этого возмущения до отрицательной оценки фигуры самого Николая! было весьма далеко. Поэт хорошо знал, что Николай! был – со своей точки зрения самодержавного, то есть неограниченного, монарха – до мозга костей проникнут сознанием не только права и силы патриархальной монархической власти, но и ее обязанностей»... «Для Пушкина Николай! был настоящий властелин, каким он себя показал в 1831 году на Сенной площади, заставив силой своего слова взбунтовавшийся по случаю холеры народ пасть перед собой на колени (см. письмо Пушкина к Осиповой от 29 июня 1831 года). Для автора знаменитых „Стансов“ Николай I был Царь „суровый и могучий“ (19 октября 1836 года). И свое отношение к Пушкину Николай I также рассматривал под этим углом зрения».

«Хорошее отношение к Николаю I Пушкин сохранил на протяжении всей своей жизни. Вернувшись после коронации в Петербурге Николаю I Бенкендорф писал: „Пушкин, автор, в Москве и всюду говорит о Вашем Величестве с благодарностью и величайшей преданностью“. Через несколько месяцев Бенкендорф снова пишет: „После свидания со мною Пушкин в Английском клубе с восторгом говорил о В. В. и побудил лиц, обедавших с ним, пить за В. В.“. В октябре 1827 года фон Кок, чиновник III Отделения, сообщает: „Поэт Пушкин ведет себя отменно хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Государя“.

«Вы говорите мне об успехе „Бориса Годунова“, – пишет Пушкин Е. М. Хитрово в феврале 1831 года, – по правде я не могу этому верить. Успех совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его. Это было в 1825 году – и потребовалась смерть Александра, и неожиданное благоволение ко мне нынешнего Императора, его широкий и свободный взгляд на вещи, чтобы моя трагедия могла выйти в свет».

...28 февраля 1834 года Пушкин записывает в дневник: «Государь позволил мне печатать Пугачева; мне возвращена рукопись с его замечаниями (очень дельными)...» 6 марта имеется запись «...Царь дал займы двадцать тысяч на напечатание Пугачева. Спасибо».

Пушкин, не любивший Александра I, не только уважал, но и любил императора Николая I. Рассердившись раз на царя (из-за прошения об отставке), Пушкин пишет жене: «Долго на него сердиться не умею». 24 апреля 1834 года он пишет ей же: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю: добра от добра не ищут». И ей же 16 июня 1834 года: «на того я перестал сердиться потому, что не Он виноват в свинстве его окружающих...» Словом, все факты говорят о том взаимоотношении этих двух больших людей, наложивших каждый свою печать на целую эпоху, которое я изобразил выше. Вокруг этого взаимоотношения – под диктовку политической тенденции и неискоренимой страсти к злоречивым измышлениям – сплелось целое кружево глупых вымыслов, низких заподозрений, мерзких домыслов и гнусных клевет. Строй политических идей даже зрелого Пушкина был во многом не похож на политическое мировоззрение Николая I, но тем значительнее выступает непререкаемая взаимная личная связь между ними, основанная одинаково и на их

человеческих чувствах, и на их государственном смысле. Они оба любили Россию и ценили ее исторический образ».

Николай Первый ценил ум и талант Пушкина, доброжелательно относился к нему как к крупному, своеобразному человеку, снисходительно смотрел на противоречащие придворному этикету выходки Пушкина, не раз защищал его от разного рода неприятностей, материально помогал ему. Вот несколько фактов, подтверждающих это. После разговора с Пушкиным в Чудовом монастыре Николай I, как сообщает П. И. Бартнев, «подозвал к себе Блудова и сказал ему: „Знаешь, что нынче говорил с умнейшим человеком в России?“»

На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина» (П. И. Бартнев. Русский Архив. 1865 год).

Когда против Пушкина масонскими кругами, злыми за измену Пушкина масонским «идеалам», было поднято обвинение в том, что, он является автором порнографической «Гаврилиады», Николай I приказал передать Пушкину следующее: «...Зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». После отправления Пушкиным Николаю I письма, содержание которого осталось тайной даже для членов следственной комиссии, Пушкин, по распоряжению Николая I, к допросам по делу об авторе «Гаврилиады» больше не привлекался.

На полях письма Пушкина Николаю I о подлых намеках редактора «Северной Пчелы» Булгарина о его негритянском происхождении Николай I написал, что намеки Булгарина не что иное, как «низкие подлые оскорбления», которые «обесценивают не того, к кому относятся, а того, кто их написал». Эта резолюция была сообщена Пушкину и доставила ему большое моральное удовлетворение. Прочитав в «Северной Пчеле» клеветническую статью по адресу Пушкина, Николай I в тот же день написал Бенкендорфу: «Я забыл Вам сказать, любезный друг» что в сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; поэтому предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения и, если возможно, запретить журнал».

Сравните это письмо самодержавца к начальнику тайной полиции и подумайте о том, как поступили бы в подобном случае большевистские власти – законные наследники Ордена Р. И., и вам станет ясно, насколько демократичен был образ мыслей Николая I. Он не приказывает запретить не нравящийся ему орган печати, а просит только начальника тайной полиции запретить его выход, если это возможно сделать согласно существующим законам о печати.

Бенкендорф, как и всегда, встал, конечно, не на сторону Пушкина и Николая I, а на сторону Булгарина. Он убедил Николая I, что нельзя запретить издавать «Северную Пчелу» и что ему нельзя запретить писать в ней клеветнические статьи. Зато Бенкендорф быстро нашел повод закрыть «Литературную Газету» Дельвига, в которой сотрудничал Пушкин, после закрытия которой русская словесность, по характеристике Пушкина, была «с головою выдана Булгарину и Гречу».

* * *

И, наконец, мы подходим к трагической развязке жизни великого поэта, о которой тоже написано (и пишется до сих пор) немало и противоречиво. Казалось бы, все уже изучено и исследовано – однако русский историк дает свое понимание тайны убийства Александра Сергеевича Пушкина.

«Даже самое поверхностное знакомство с отношениями, существовавшими между Пушкиным и Николаем I, убеждает, что Николай I не мог быть инициатором преследований, которым все время подвергался Пушкин. Но тем не менее факт систематических преследований Пушкина налицо. Гениальный поэт, после того как он искренне примирился с правительством, по оценке П. Вяземского, оказался в „гнусной западне“. Возникает вопрос: кто же был виновником создания этой „гнусной западни“? Ответ может быть только один – в травле и гибели великого русского поэта и выдающегося политического мыслителя могли быть заинтересованы только масоны и вольтерьянцы, большинство которых по своему социальному положению были члены высших слоев общества. Поэтому врагов Пушкина надо искать именно в этих слоях.

В Петербурге при жизни Пушкина было три главных «политических великосветских салонов: салон графа Кочубея, графа Нессельроде и салон Хитрово-Фикельмон. Салоны Нессельроде и Кочубея были враждебно настроены к Пушкину, и Пушкин был открыто враждебен обществу, группировавшемуся вокруг этих салонов. Сама Хитрово и ряд посетителей ее салона были настроены к Пушкину дружелюбно (во всяком случае внешне), но салон Хитрово-Фикельмон посещали и враги Пушкина, явные и скрытые. Именно в этом салоне Пушкин встретился с Дантесом, и вся дальнейшая драма Пушкина протекала именно в этом салоне. Член Ордена Р. И. Е. Грот пишет в статье „Дуэль и смерть Пушкина“, что «злые силы

сделали Наталью Николаевну игрушкой и орудием своих черных планов. Если бы им не удалось использовать Натали, они нашли бы другой способ, но Пушкина они все равно бы погубили.

...Кто же это были, «темные умы», которые избрали жену поэта «игрушкой и орудием своих черных планов?» Для члена Ордена Р. И. Грота, несомненно, одним из таких «темных умов» был император Николай I. В указанной статье Е. Грот об этом говорит намеками, но в другой его статье «Первая дуэль Лермонтова»... уже открыто утверждается: «Правительству нужна была смерть Пушкина, потому что его боялись, как воображаемого главаря антиправительственной партии».

В свете реальных взаимоотношений между Пушкиным и Николаем! подобное утверждение является обычной масоно-интеллигентской ложью. В убийстве Пушкина, осудившего вольтерьянство и масонство во всех его разновидностях, виноват не Николай! и не правительство, которое он возглавлял, а масоны, входившие в правительство».

С первого дня своего царствования и до последнего Николай! провел в непрерывной борьбе с русскими и европейскими масонами; начал свое царствование подавлением заговора масонов-декабристов и закончил Крымской войной, организованной французскими и английскими масонами. Положение Николая! в этой борьбе было крайне тяжелым, так как он должен был править при помощи бывших русских масонов, конечно, симпатизировавших своим европейским «братьям». Для замещения различных государственных постов ему приходилось пользоваться тем человеческим материалом, который могли дать ему европеизовавшиеся высшие слои бывших масонов, вольтерьянцев, членов запрещенных тайных политических обществ, поклонников разных течений европейского мистицизма, католичества, протестантства и разных течений европейской философии. Это был наиболее денационализировавшийся слой русского народа, а ведь именно с помощью его Николаю I приходилось решать сложнейшую задачу организации русского национального возрождения.

Царевна Софья однажды сказала своему другу князю Голицыну, жаловавшемуся, что окружающие не принимают задуманных им планов по преобразованию: «Ну, что ж делать, Вася, других людей нам Богом не дано!»

Не было других, лучших людей «дано» и Николаю I. «При грустных предзнаменованиях сел я на престол русский, – писал Николай I в 1850 году фельдмаршалу графу Паскевичу Эриванскому, князю Варшавскому, – и должен был начать мое царствование – казнями, ссылкой. Я не нашел вокруг престола людей, могших руководить царем – я должен был сам создавать людей и царствовать». А из какого отрицательного человеческого материала имел возможность Николай! выбирать людей и создавать себе помощников – мы знаем. В другой раз Николай I с горечью сказал:

«Если честный человек ведет дело с мошенником, он всегда останется в дураках».

...Недостаток людей заставил Николая I использовать и бывшего масона Сперанского, которого декабристы прочили в президенты русской республики после убийства всех Романовых. Сперанскому было поручено такое важное дело, как составление кодекса действовавших в России законов. Сперанскому Николай I не доверял. Главой II Отделения Собственной Его Величества Канцелярии был назначен Балугьянский, которому однажды Николай I заявил, чтобы он не спускал глаз со Сперанского:

«Смотри же, чтобы он не наделал таких проказ, как в 1810 году, ты у меня будешь за него в ответе».

Назначение бывших масонов на высшие государственные посты не было результатом непредусмотрительности Николая I. Во-первых, как мы указывали, ему не из кого было выбирать, приходилось пользоваться теми людьми, которые имели опыт управления государством, а во-вторых, во времена Николая I считалось достаточным, если люди дадут клятву не состоять больше в обществах, призванных правительством вредным для государства. В «просвещенные, демократические времена» Ленина и Сталина всем масонам, конечно, сразу же оторвали бы головы. Но во времена «деспота» Николая I подобные «политические меры» не было принято осуществлять.

Не все масоны, конечно, честно исполняли данную клятву и перестали вести работу в интересах масонства. Часть масонов, дав подписку, что они выходят из масонских лож и впредь не будут состоять ни в каких тайных обществах, продолжали состоять членами существовавших нелегально масонских лож, как это доказывает секретная директива Великой Провинциальной Ложы, разосланная тайным масонским ложам в сентябре 1827 года, спустя год после запрещения масонства в России.

...На первый взгляд, русское масонство производило впечатление потухшего костра, но это было обманчивое впечатление. Духовная зараза, усиленно внедрявшаяся в течение восьмидесяти пяти лет, не могла исчезнуть легко и бесследно.

...Существование тайных масонских лож – самое обычное дело для масонской тактики. По признанию самих масонов, известно, что после запрещения масонства в России масоны создали тайные ложи. «Но ревностные братья, – писала незадолго до первой мировой войны масонка Соколовская в своей книге „Русское масонство“ (стр. 21), – не переставали собираться тайно. Сохранился документ от 10 сентября 1827 года, свидетельствующий, что после запрещения масонских лож братья сплотились еще теснее,

сделав предусмотрительное постановление о приеме впредь новых братьев с большою осторожностью. Документ сохранил нам решение масонов ввести строгое подчинение масонской иерархии и обязать присягою о невыдаче не только цели собрания, но и участников. Уголовные дела, возникавшие после запрещения масонства, свидетельствуют о продолжавшейся масонской пропаганде».

...Графиня Нессельроде играла виднейшую роль в свете и при дворе. Она была представительницей космополитического, олигархического ареопага, который свои заседания имел в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессельроде в доме Министерства иностранных дел в Петербурге^[32]. Она ненавидела Пушкина, и он платил ей тем же...»

Как злободневно звучат и сегодня гневные слова русского историка: «...Эта же масонская мафия доносила государю о политической неблагонадежности Пушкина. Гонителем и убийцей Пушкина был целый преступный коллектив. Фактические и физические исполнители примыкали к патологическому кружку, группировавшемуся вокруг Геккерна.

...Между высшим светом, который поэт называл «притоном мелких интриганов, завистников и негодяев», и Пушкиным шла постоянная и ожесточенная борьба, но борьба неравномерная: Пушкин боролся в одиночку, ему морально сочувствовали и поддерживали близкие, искренне к нему расположенные друзья; – против поэта орудовала комплот-масонская мафия – которая имела власть и влияние, которая плотной стеной окружила самодержавца и создавала между ним и поэтом непроницаемую стену»^[33].

«Всякого, кто изучает работу организаторов Ордена Р. И. – Герцена, Белинского, Бакунина и их преследователей, фанатичных врагов всего русского, поражает одно странное обстоятельство – поразительная бездеятельность III Отделения, созданного по совету Бенкендорфа как орган для охранения государственной безопасности и борьбы с антихристианскими политическими идеями. С тех пор, как во главе III Отделения стал Бенкендорф, как правильно отмечает В. Иванов, никакой действительно борьбы против притаившегося масонства и членов возникнувшего Ордена Р. И. не велось. „Дело политического розыска, – утверждает В.Иванов, – попало в масонские руки, братья-каменщики могли работать совершенно спокойно. Движение декабристов, направленное против монархии, не умерло. Масоны не смирились от неудачи 14 декабря. Они ушли в подполье и повели строго конспиративную работу“.

«...В. Иванов считает, что Бенкендорф был масоном и выдвинул проект создания III Отделения для того, чтобы во главе его иметь возможность покрывать деятельность запрещенного масонства и тех, кто был последователем пущенных масонством в обиход политических учений. Возвышение Бенкендорфа произошло, действительно, при странных обстоятельствах. Возвышение его и доверие к нему Николая I началось после того, как он нашел **будто бы** в бумагах Александра I, которые он разбирал по поручению Николая I, свою записку о заговоре декабристов, поданную им покойному императору **якобы еще в 1821 году**. Эту свою докладную записку о декабристах Бенкендорф показал Николаю I. Николай I поверил Бенкендорфу, что он является противником тайных обществ, принял его проект организации III Отделения и назначил Бенкендорфа его главой. Никаких отметок Александра I на поданной якобы Бенкендорфом докладной записке **не было**. Была ли записка подана Александру I или ее Бенкендорф написал уже после восстания декабристов, что бы втереться в доверие к Николаю I, – это неизвестно...»

«...Пушкину был запрещен выезд в Европу. Но организаторы Ордена, злейшие враги России и Николая I, Герцен, Бакунин и Белинский – все получили разрешение выехать в Европу. К главарю Ордена Белинскому Третье Отделение относилось столь снисходительно, что членам Ордена пришлось даже выдумать миф о том, что-де если бы Белинский не умер, его начало бы преследовать Третье Отделение. Может быть, и начало бы. Но это кабы да кабы. А при жизни Белинского преследовали все-таки не его, а Пушкина».

«...В роли гонителя и палача Пушкина от Ордена Вольных Каменщиков выступает Бенкендорф, фактический цензор и тайный опекун поэта. Бенкендорф систематически начинает свою атаку против поэта. Он и братья масоны начинают жечь Пушкина на медленном огне. Бенкендорф гнал и терзал Пушкина, как своего врага, как человека, вредного и опасного масонам. Со стороны Бенкендорфа это была не личная месть, а месть партийная. Никаких личных отношений у Пушкина с Бенкендорфом не было. Не было и не могло быть никаких столкновений по службе. Бенкендорф знал, что Пушкин лоялен правительству и никакой опасности для него не представляет. Не Пушкин, а Бенкендорф был тягчайшим преступником против государя и родины. Бенкендорф не только не боролся с действительными и опасными врагами государства и общества – масонами, а напротив, покровительствовал им, покрывал их преступную работу и сам принимал активное участие в их преступлениях».

«...Пушкин составляет докладную записку „О народном образовании“, весьма консервативную по своему характеру. Он считает, например, необходимым „во что бы то ни стало подавить воспитание частное“ и „увлечь все юношество в учебные заведения, подчиненные надзору правительства“. Реформы, предлагаемые Пушкиным в области народного образования, по своему существу направлены против

масонства. Пушкин имел ясное представление, как коверкали души русских подростков в частных учебных заведениях, содержимых иностранными проходимцами, среди которых в роли преподавателей часто выступали иностранные масоны. Закрывать частные учебные заведения на некоторое время было необходимо. Это сразу бы сократило возможности русских и иностранных масонов нравственно и политически разлагать русское юношество».

(А что сказал бы Александр Сергеевич сегодня, когда «свободная», то есть неуправляемая педагогика ведет к денационализации и растлению будущих граждан России? Коммунистическую идеологию прогнали, а русской национальной идеологии боятся как черт ладана. Нам предлагают строить новую школу на базе абстрактных общечеловеческих ценностей, растоптав в памяти молодежи наш исторический путь, нашу культуру, веру отцов. – И.Г.)

...И вот подобная записка Бенкендорфом, или кем-то другим из высокопоставленных лиц, была истолкована как увлечение Пушкина «безнравственным» просвещением. Необходимо было обладать исключительным цинизмом, чтобы оценить подобным образом высказанные Пушкиным трезвые и умные взгляды на народное образование. Передав Пушкину благодарность Николая I за составление записки о народном образовании, Бенкендорф сообщает ему затем, что будто бы «Его Величество при сем заметить соизволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое количество людей». Если бы Николай I даже бы и высказал подобное несправедливое мнение о записке Пушкина, то он, конечно, никогда бы не счел нужным после состоявшегося примирения так бесцеремонно указывать Пушкину на его прошлые юношеские прегрешения. Николай I не был способен на столь мелочные и подлые уколы.

Оценка, которую сделал Николай! Пушкину после беседы: «Это самый умный человек в России». Бенкендорф же отчитывает самого умного человека России как мальчишку, издевается над ним, приписывая ему мнения, каковых он вовсе в записке не высказывает. Тайный смысл письма Бенкендорфа следующий: «Если тебя просит царь, если он назвал тебя умнейшим человеком России, – не надейся, что тебя простят другие, которым ты бросил дерзкий вызов. Царь простил тебя, но другие не простят тебе твоей измены. Ты забыл, что народная мудрость говорит: „Жалует царь, да не жалует псарь“.

«...Масонство создало настолько запутанную обстановку, которую без трагического финала изжить было невозможно. По мере созревания таланта Пушкина и роста его славы возрастала и ненависть масонства в отношении Пушкина, которые гнали „его свободный чудный дар“ до тех пор, пока рука подосланного с „пустым сердцем“ убийцы не погасила исторической славы России».^[34]

«...Пушкин также непосредственно ощущал, любил и ценил начало власти и его национально-русское воплощение, – принципиально основанное на законе, принципиально стоящее над сословиями, классами и национальностями, укорененное в вековых преданиях или традициях народа Государство Российское, в его исторической форме – свободно принято народом наследственной монархии. И в этом смысле Пушкин был консерватором».

«...Главным мотивом Пушкинского „консерватизма“ является борьба с уравнительным демократическим радикализмом, с „якобинством“. С поразительной проницательностью и независимостью суждения он усматривает – вопреки всем партийным шаблонам и ходячим политическим воззрениям – сродство демократического радикализма с цезаристским абсолютизмом. Если в политической мысли XII века (и, в общем, вплоть до нашего времени) господствовали два комплекса признаков: „монархия – сословное государство – деспотизм“ и „демократия – равенство – свобода“, которые противостояли (и противостоят) друг другу, как „правое“ и „левое“ мирозерцание, то Пушкин отвергает эту господствующую схему – по крайней мере, в отношении России – и заменяет ее совсем иной группировкой признаков. „Монархия – сословное государство – свобода – консерватизм“ выступают у него как единство, стоящее в резкой противоположности к комплексу „демократия – радикализм („Якобинство“) – цезаристский деспотизм“.

«...Пушкин был не только умнейшим, но и образованнейшим человеком своего времени. Кроме Карамзина только Пушкин так глубоко и всесторонне знал прошлое русского народа. Работая над „Борисом Годуновым“, он глубоко изучил смутное время, историю совершенного Петром I губительного переворота, эпоху Пугачевщины. То есть, Пушкин изучил три важнейших исторических эпохи, определивших дальнейшие судьбы русского народа. Пушкин обладал неизмеримо более широким историческим кругозором, чем большинство его современников, и поэтому он любил русское историческое прошлое гораздо сильнее большинства его современников. „Дикость, подлость и невежество, – писал он, – не уважать прошедшего, пресмыкаться пред одним настоящим, а у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, то есть историей отечества“.

...Пушкин писал:

...Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его,
Животворящие святыни.
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без Божества.

«Уважение к минувшему, – утверждает Пушкин, – вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства» («Наброски статьи о русской истории»).

Во время Пушкина изучение русской истории и памятников древней русской письменности только что начиналось, и многое Пушкин не мог знать. Но благодаря своему огромному уму он тем не менее ясно и верно понимал, что ход исторического развития России был совершенно иной, чем ход исторического развития Европы. Будучи еще совершенно юным, в своих «Исторических замечаниях», написанных в 1822 году, он тем не менее верно указывает, что: «Греческое вероисповедание, отдельное от прочих, дает нам **особенный национальный характер**. В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических»; «...Мы были обязаны монахам нашей историей, следственно, и просвещением».

* * *

Исключительный интерес представляет отношение Пушкина к идеям самодержавия и демократии. Б. Башилов особо подчеркивает, что в зрелые годы поэт был убежденным монархистом. Он «переболел» либеральным республиканизмом и убедился, что только монархия должна быть фундаментом русской политической жизни. Так что все потуги пушкинистов-марксистов «оттащить» Пушкина от монархии продиктованы ложью.

Вот что писал Гоголь в своем письме к В.А. Жуковскому, помещенном под названием «О лиризме наших поэтов» в «Выбранных местах из переписки с друзьями»:

«...Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха! И как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! „Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жестокое и небратское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них ни одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. (А, кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой, да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы дурак-барабанщик или неуклюжий тулумбас). При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться за счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!” Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин!”

«...Монархизм Пушкина есть глубокое внутреннее убеждение, основанное на историческом и политическом сознании необходимости и полезности монархии в России, – свидетельство необычайной объективности поэта, сперва гонимого царским правительством, а потом всегда раздражаемого мелочной подозрительностью и враждебностью».

...Пушкин прекрасно понимал, что до сих пор не могут понять многие левые: что недостатки русской жизни объясняются отнюдь не наличием самодержавия. Что одна смена самодержавия ничего не даст, что чернь всегда будет худшим тираном, чем царь.

Зависеть от царей, зависеть от народа —
Не все ли мне равно?...

...Пушкин, как позднее Гоголь, ясно сознавал, что добиваться улучшения жизни в России должно и нужно, но нельзя в жертву иллюзорным политическим мечтам и политическому фанатизму приносить Россию, созданную жертвенным трудом многих поколений русских людей. Пушкин чувствовал свою кровную связь с национальным государством и самодержавием, создавшим это государство. Эта основная черта политического мировоззрения зрелого Пушкина всегда раздражала членов Ордена. В силу именно этой причины русская интеллигенция несколько раз переживала многолетние периоды отрицания Пушкина.

«...Общим фундаментом политического мировоззрения Пушкина было национально-патриотическое умонастроение, оформленное как государственное сознание. Этим был обусловлен его прежде всего страстный постоянный интерес к внешнеполитической судьбе России. В этом отношении Пушкин представляет в истории русской политической мысли совершенный уникум среди независимых и оппозиционно настроенных русских писателей XIX века. Пушкин был одним из немногих людей, который оставался в этом смысле верен идеалам своей первой юности – идеалам поколения, в начале жизни пережившего патриотическое возбуждение 1812—1815 годов. Большинство сверстников Пушкина к концу двадцатых и в тридцатых годах утратило это государственно-патриотическое сознание – отчасти в силу властвовавшего над русским умами в течение всего XIX века инстинктивного ощущения непоколебимой государственной прочности России, отчасти по свойственному уже тогда русской интеллигенции сентиментальному космополитизму и государственному бессмыслию»^[35].

* * *

Из мудрого понимания спасительности твердых исторических традиций вырастает постоянная тревога Пушкина о будущем, предчувствия о возможности новых противоправительственных заговоров. «Лучшие и прочнейшие изменения, – пишет он в „Мыслях на дороге“, – суть те, которые происходят от одного улучшения нравов без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». В «Капитанской дочке», стоя уже на краю могилы, Пушкин оставлял через героя повести следующий завет молодому поколению своей эпохи: «Молодой человек, если записи мои попадут в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения общественных нравов без всяких насильственных потрясений».

Чрезвычайно интересно, что взгляды Пушкина по вопросу о методах улучшения жизни в России полностью совпадают со взглядами Николая I. 15 февраля 1835 года Николай I писал Паскевичу, что он благодарит Бога за то, что Россия имеет возможность идти «смело, тихо, по христианским правилам к постепенному усовершенствованию, которое должно из нее на долгое время сделать сильнейшую, счастливую страну в мире»^[36].

«...В разные эпохи своей жизни, по мере развития мировоззрения, Пушкин по-разному понимает Петра. В раннюю, юношескую пору – он для него полубог, позже он видит в нем черты демона разрушения. В статье „Просвещение России“ Пушкин указывает на то, что в результате совершенного Петром Россия подпала под влияние европейской культуры: „...Крутой переворот, произведенный мощным самодержавием Петра, ниспровергнул все старое, и европейское влияние разлилось по всей России. Голландия и Англия образовывали наши флоты, Пруссия – наши войска. Лейбниц начертал план гражданских учреждений“.

Пушкин всегда остается трезв в своих рассуждениях о Петре, всегда видит крайности многих его мероприятий. Гениальным своим чутьем он угадывает в нем не обычного русского царя, а **революционера на троне.**

Как бы ни старались члены Ордена доказать, что Петр будто бы являлся для Пушкина образцом государственного деятеля, все их уверения все равно будут ничем иным, как сознательной **ложью**. Именно никому другому, а Пушкину принадлежат утверждения, что Петр I был не реформатором, а революционером, и что он провел совершенно не реформы, а революцию. Он первый назвал мнимые реформы Петра I революцией. В заметке «Об истории народа Русского Полевого» Пушкин пишет: «С Федора и Петра начинается революция в России, которая продолжается до сего дня». В статье «О дворянстве» Пушкин называет Петра I «одновременно Робеспьером и Наполеоном – воплощенной революцией».

...Весной 1830 года он... приветствует возникшее в то время у императора Николая I намерение положить конец некоторым политическим традициям, введенным Петром I. 16 марта 1830 года он с радостью пишет П. Вяземскому: «Государь, уезжая, оставил Москве проект новой организации контрреволюции Петра». Пушкин отзывается об намерении Николая I совершить контрреволюцию – революции Петра I с явным одобрением. «Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных – вот великие предметы».

...Рост духовного влияния Пушкина, несмотря на все создаваемые ему его врагами препятствия, весьма заботил ушедшее в подполье масонство. Для масонства... нависала вполне реальная угроза, оно теряло свое влияние на русское общество, здоровый национализм Пушкина вливается благотворительной струей в нездоровую, зараженную либерализмом и космополитизмом общественную атмосферу – решение убрать, устранить Пушкина стало первоочередной задачей масонства». Особенное негодование вызвало, по-видимому, у масонов отрицательное отношение Пушкина к очередному «достижению масонства» – Июльской революции во Франции и восстанию в Польше.

«...Революция в Европе, волнения в России заставили воспрянуть духом всех ждавших падения самодержавия: „Вдруг блеснула молния, вспоминал в „Замогильных записках“ В. С. Печорин, – раздался громовой удар, разразилась гроза июльской революции... Воздух освежал, все проснулось, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись!... Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и прочее и прочее“. Именно в это время Пушкин пишет свои знаменитые стихотворения: „Клеветникам России“, и „Бородинская годовщина“, в которых „в полных глубокой исторической правды словах показал, что Европа ненавидит нас именно за то, что мы не приняли масонские принципы восемьдесят девятого года, не приняли наглой воли Наполеона Бонапарта, который штыками армии двенадцати языков стремился просветить православную Россию светом масонского учения. Он открыто и мужественно заявил, что Россия не боится угроз темной силы. Россия, по мысли поэта-патриота, несмотря на все беды и напасти, по зову русского царя встанет на защиту своей независимости и чести. И на угрозы мутителей палат и клеветников России Пушкин дал достойный великого сына Русской Земли ответ: «Не запугаете».

* * *

«...Многолетние преследования Пушкина в 1837 году кончаются его убийством. Убийца уже давно был подыскан: это был гомосексуалист и вертопрах француз Дантес. Будущий убийца Пушкина появился в Петербурге осенью 1833 года. „Интересно отметить, – пишет В. Иванов, – что рекомендации и устройство его на службу шли от масонов и через масонов. Рекомендательное письмо молодому Дантесу дал принц Вильгельм Прусский, позднее Вильгельм, император Германский и король Прусский, масон, на имя графа Адлерберга, масона, приближенного к Николаю Павловичу и занимавшего в 1833 году пост директора канцелярии военного министерства“. Вполне возможно, что и Дантес был не только орудием масонов, но и сам масоном, Во всяком случае, граф Адлерберг мироволит к Дантесу уже чересчур сильно. Из сохранившихся писем Адлерберга видно, что он лезет из кожи вон, чтобы только обеспечить хорошую карьеру Дантесу, не останавливаясь даже перед обманом Николая I, если такой обман послужит на пользу Дантеса. В письме от 5 января 1834 года, сообщая Дантесу, что им все подстроено для того, чтобы он выдержал экзамен на русского офицера, Адлерберг делает следующую приписку: „Император меня спросил, знаете ли вы русский язык? Я ответил наудачу удовлетворительно. Я очень бы посоветовал вам взять учителя русского языка“.

В дневнике А. Суворина читаем (стр. 205): «Николай I велел Бенкендорфу предупредить (то есть предупредить дуэль). Затем А.Суворин пишет: «Геккерн был у Бенкендорфа». После посещения приемным отцом Дантеса Бенкендорфа последний вместо того, чтобы выполнить точно приказ царя, спрашивает совета у княгини Белосельской, как ему поступить – послать жандармов на место дуэли или нет. «Что делать теперь?» – сказал он княгине Белосельской.

– А пошлите жандармов в другую сторону»...Многое остается темным в убийстве Пушкина и до сих пор. Эта темная тайна сможет быть раскрыта только историками национального направления и будущей свободной России, когда они постараются установить на основании архивных данных, какую роль сыграли в убийстве Пушкина, бывшего самым выдающимся представителем крепнувшего национального мировоззрения, – масоны, продолжавшие свою деятельность в России и после запрещения масонства. Может быть, если большевиками, или еще до них, не уничтожены все документы, свидетельствующие о причастности масонов к убийству, национальные историки сумеют документально доказать преступную роль масонов из высших кругов русского общества в организации убийства Пушкина.

Бенкендорф приказ Николая I о предотвращении дуэли не выполнил, а выполнил совет княгини Белосельской и не послал жандармов на место дуэли, которое ему было, конечно, хорошо известно. Секундант Пушкина Данзас говорил А. О. Смирновой, что Бенкендорф был заинтересован, чтобы дуэль состоялась. «Одним только этим нерасположением графа Бенкендорфа к Пушкину, – говорит Данзас, – указывает в своих известных мемуарах Смирнова, – можно объяснить, что не была приостановлена дуэль полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Екатерингоф **будто бы по ошибке**, думая, что дуэль должна происходить там, а она была за Черной речкой, около Комендантской дачи».

«Государь, – пишет Иванов, – не скрывал своего гнева и негодования против Бенкендорфа, который не исполнил его воли, не предотвратил дуэли и допустил убийство поэта. В ту минуту, когда Данзас привез Пушкина, Григорий Волконский, занимавший первый этаж дома, выходил из подъезда. Он побежал в Зимний Дворец, где обедал и должен был проводить вечер его отец, и князь Петр Волконский сообщил печальную весть государю (а не Бенкендорфу, узнавший об этом позднее).

Когда Бенкендорф явился во дворец, государь его очень плохо принял и сказал: «Я все знаю – полиция не исполнила своего долга». Бенкендорф ответил: «Я посылал в Екатерингоф, мне сказали, что дуэль будет там». Государь пожал плечами:

«Дуэль состоялась на островах, вы должны были это знать и послать всюду».

Бенкендорф был поражен его гневом, когда государь прибавил: «Для чего тогда существует тайная полиция, если она занимается только бессмысленными глупостями». Князь Петр Волконский присутствовал при этой сцене, что еще более конфузило Бенкендорфа»^[37]

Странные обстоятельства похорон Пушкина организатор Ордена Р. И. А. Герцен с свойственной ему патологической, ослепляющей его разум, злобой к Николаю I объясняет будто бы ревностью Николая I к всенародной славе Пушкина. Николаю I не понравилось будто бы, что около дома умиравшего Пушкина всегда стояло много народа. «Так как все это, – утверждает Герцен, – происходило в двух шагах от Зимнего Дворца, то император мог из своих окон видеть толпу; он приревновал ее и конфисковала публики похороны поэта: в морозную ночь тело Пушкина, окруженное жандармами и полицейскими, тайком перевезли не в его приходскую, а в совершенно другую церковь; там священник поспешно отслужил заупокойную обедню, а сани увезли тело поэта в монастырь Псковской губернии, где находилось его имение». Ревность Николая I – обычная клевета Герцена по адресу последнего. Данзас, секундант Пушкина, воспоминания которого о последних днях жизни поэта и о его похоронах являются самыми достоверными, пишет: «Тело Пушкина стояло в его квартире два дня, вход для всех был открыт, и во все это время квартира Пушкина была набита битком».

Тайная перевозка тела Пушкина – тоже ложь. Тело перевозилось ночью потому, что до позднего вечера приходили прощаться люди с телом любимого поэта. «В ночь с 30 на 31 января, – сообщает Данзас, – тело Пушкина отвезли в Придворно-Конюшенную церковь, где на другой день совершено было отпевание, на котором присутствовали все власти, вся знать, одним словом, весь Петербург. В церковь пускали по билетам и, несмотря на то, в ней была давка, публика толпилась на лестнице и даже на улице. После отпевания все бросились к гробу Пушкина, все хотели его нести».

Герцен выдумывает, что после спешно отслуженной панихиды гроб был поставлен на сани и увезен в имение поэта.

«После отпевания, – вспоминает Данзас, – гроб был поставлен в погреб Придворно-Конюшенной церкви. Вечером 1-го февраля была панихида, и тело Пушкина повезли в Святогорский монастырь».

София Карамзина пишет своему сыну Андрею:

«В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, пришла вся Академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, кто имел билеты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе...»

Как мы видим, Герцен лжет, как и всегда, когда изображает Россию его дней. Дело с похоронами Пушкина обстояло совсем не так, как он описывает. Но тем не менее похороны Пушкина не носили характера торжественных похорон великого народного поэта, павшего от руки убийцы. Но виноват в этом вовсе не Николай I, опять все тот же Бенкендорф. Он убедил царя, что друзья и почитатели Пушкина составили заговор. И, возможно, будут пытаться вызвать возмущение против правительства во время всенародных похорон. Опираясь на поступившие будто бы донесения секретных агентов, Бенкендорф настаивал, чтобы похороны Пушкина были проведены как можно скорее. У своей квартиры и у квартиры Геккерна Бенкендорф поставил охрану. Печати было запрещено им помещать статьи, восхваляющие Пушкина. Бенкендорф всячески пытался подчеркнуть опасность момента.

«Из толков, не имевших между собою никакой связи, – пишет Жуковский Бенкендорфу после похорон, – она (полиция. – Б.Б.) сделала заговор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина».

...Бенкендорф продолжал мстить и мертвому Пушкину. Николай I предложил Жуковскому уничтожить все оставшиеся после Пушкина бумаги, которые могли бы повредить памяти поэта. Бенкендорф убедил Николая I, что прежде чем жечь бумаги, предосудительные для памяти Пушкина, необходимо, чтобы он все же прочел их. «Граф Бенкендорф ложно осведомлял государя, что у Пушкина есть предосудительные рукописи и что друзья постараются их распространить среди общества. Граф Бенкендорф не остановился

даже перед обвинением Жуковского в похищении бумаг из кабинета Пушкина». Вот кто виноват в создании разного рода препятствий для того, чтобы похороны Пушкина не были проведены более достойным образом, а вовсе не мнимая ревность Николая I к славе Пушкина.

В написанном, но не отправленном Бенкендорфу письме Жуковский пишет: «Я перечитал все письма, им (Пушкиным) от Вашего сиятельства полученные: во всех в них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении... Все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую Государь так великодушно его простил, его положение не менялось: он все еще был как буйный мальчик, которому страшились дать волю, под страшным, мучительным надзором».

«Государь вел себя по отношению к нему (Пушкину. – И.Г.) и ко всей его семье как Ангел. Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал Государю не драться больше ни под каким предлогом и теперь, будучи смертельно ранен, послал доброго Жуковского просить прощения у Государя в том, что не сдержал слова. Государь ответил ему письмом в таких выражениях: „Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое и совершенное прощение, и последний совет: умереть христианином. Что касается жены и до детей твоих, ты можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу“. (Из письма Е. А. Карамзиной, найденного уже в XX веке в архиве Нижне-Тагильского завода на Урале. – И.Г.).

После смерти Пушкина царь заплатил сто тысяч рублей, которые Пушкин был должен разным лицам. Приказал выдать семье Пушкина десять тысяч рублей и назначил жене и детям большую пенсию. Приказал издать собрание сочинений Пушкина за счет государства...»

* * *

Смерть Пушкина была трагической, невосполнимой утратой для России. Из бытия русского народа был насильственно и жестоко вырван высший образец русского строя души, истинно русского мировоззрения. Можно только с грустью гадать, как изменилась бы духовная жизнь Отечества, проживи Пушкин подольше. Но в одном я убежден совершенно: при Пушкине с его абсолютным авторитетом русского гения «орден интеллигенции», о котором так подробно и убедительно рассказал нам Б. Башилов, никогда бы не вошел в силу.

«Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений, споров, чем видим теперь». Эти пророческие слова Ф. М. Достоевского, сказанные им в Москве во время открытия памятника А. С. Пушкину, полны глубокого смысла и поныне. Масоны до сих пор мстят (и будут, наверное, впредь мстить) Пушкину за то, что он выражал русское национальное самосознание, за его необъятную любовь к Отечеству, православию и самодержавию. И потому до сего времени появляются гнусные книги, в которых перемешаны сплетни, злобные выдумки, коварные подделки, несуществующие «тайные дневники», бесконечно смакуются «дон-жуанские списки» поэта и т. д.

«В надежде славы и добра» прошла вся его кипучая творческая жизнь. Этому ему не могут простить разрушители исторической России. Пушкин – истинный **духовный вождь** для всех, кто, вопреки мощному идеологическому давлению определенной части либеральной русской интеллигенции, чтит наше великое прошлое, бесстрашно смотрит в глаза трагической правде сегодня – и упоает на истинное возрождение России. Верю: народ, давший миру Пушкина, найдет в себе силы возродить свое историческое бытие!

О РАДИЩЕВЕ

Они ненавидели русскую власть наших самодержцев, будучи изменниками интересов России.

Из телефонного разговора с историком

Сколько мы впитали пропаганды об исключительной личности страдальца за Россию Радищева и его значении в борьбе за свержение самодержавия во имя прогресса общественной жизни крепостнической, темной, угнетенной и отсталой России! Как чтит его Герцен и опоенная марксизмом некоторая часть нашей интеллигенции! Сколько улиц, проспектов и общественных заведений носят ныне имя Радищева! Даже один из самых лучших музеев России в Саратове, где собраны шедевры русского искусства, носит имя Радищева.

Известно, что этот столь чтимый советской властью «просветитель. XVIII века никакого отношения к живописи не имел и радетелем русского искусства не был. Помню, много лет назад в киножурнале „Фитиль“ промелькнуло недоумение по поводу того, что где-то в советской провинции венерическому диспансеру было присвоено имя писателя В. Г. Короленко. За что и почему нанесли такую обиду писателю и гуманисту? Как известно, Короленко не страдал венерическими заболеваниями, в отличие, например, от Ленина, если верить его некоторым биографам. Так уж повелось со времен, видно, тоже „великой. французской революции, положившей обычай наглой бесцеремонности в переименовании городов, улиц и проспектов. Но их перещеголяли завоевавшие Россию большевики, старавшиеся стереть с карты мира

названия многих русских, городов, деревень, проспектов, улиц и новообразованных ими государственных организаций. Русские имена заменялись абракадаброй политических кличек вроде: Искра, Владлен, Сталина, Рэм, Электрификация, Марлен, Виулен, Рой, Жорес, Тельман, Вилор и др. Я помню, когда уже в 70-е годы в ЗАГСе, когда я сказал, что прошу зарегистрировать имя моего сына „Иван“, пожилая служащая подняла на меня глаза: „Вы шутите или серьезно? Назвали хотя бы Валерием, Адольфом, прекрасное имя Анатолий“. Помню, как две пожилые женщины из числа сотрудников ЗАГСа вдруг долго пожимали мне и жене руки: «Как хорошо, что вы назвали сына Иваном». «Мы наш, мы новый мир построим! – провозглашали новые хозяева России, разрушая великое и прекрасное. Однако вернемся к делам Радищева. В Большой Советской Энциклопедии читаем панегирик:

«Радищев, Александр Николаевич (1749—1802), виднейший революционер-просветитель, русский писатель, представитель передовой материалистической философии в России 2-й пол. 18 в. Имя Радищева в числе других имен революционеров и борцов является предметом национальной гордости великого русского народа... (Удивителен этот идеологический пассаж со ссылкой на великий народ. – И.Г.)

...У Р. появилась «надежда на бунт от мужиков» против дворян. Эта надежда выливалась в открытый призыв против дворянства. Р. восстал и против самодержавия, принципиально отвергая эту формулу власти. «Самодержавство, – писал Р. – есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние... В произволе помещиков, военщины, чиновников, духовенства Р. видел проявление системы самодержавия, противоречащей «естественному праву человека, порождающей все социальные бедствия.

(Жаль, что не жил Радищев при «коммунистическом рае», а то бы другое запел! – И.Г.). Идеал будущего государственного устройства мыслил в форме федеративных республик... (Знакомое ныне слово! – И.Г.)

...В главе «Спасская Полесь» в фантастической форме сна Р. показал полное моральное разложение самодержавного строя, верховный представитель которого – царь – есть «первейший разбойник, незаконпервейший предатель, первейший нарушитель общия тишины (Ну и ну! – как сегодня сказали бы: Круто и... нагло. – И.Г.)

...Революционное значение «Путешествия» заключается в том, что Р. первый поставил в литературе вопрос неизбежности крестьянского восстания. Изображая самосуд крестьян над помещиком Р. оправдывает их, ибо «из мучительства рождается вольность». (Признание прямо-таки чекиста – ленинца 20-х годов! – И.Г.). Призывом к восстанию звучат слова: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши». Р. верил в свободное общество, пророчески восклицая: «Не мечта сие... Я зрю сквозь целое столетие». В главе «Хотиллов» он рисует «проект в будущем, освобождение крестьян с землей, расцвет наук и торжество законов. Наивысшего гражданского пафоса и революционного свободомыслия Р. достигает в оде „Вольность“, включенной в „Путешествие“. Недаром Екатерина II оценила оду как революционный набат, как „совершенно ясно бунтовскую, где царям грозит плахой. Кромвелев пример приведен с похвалою“... [\[38\]](#)

Сказано также в Советской Энциклопедии: «В одном из вариантов стихотворения „Памятник“ Пушкин писал: „Во след Радищеву восславил я свободу и милосердие воспел“. Что же думал о Радищеве Пушкин в расцвете своего гения мыслителя и историка на самом деле? «...В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Ренала; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум припоровленные ко всему, вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян? Он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью.

Какую цель имел Радищев? Что именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно.

Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предложений, которые не имели никакой нужды быть облечены в

бранчливые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».

А. Н. Радищев был масоном-мартинистом. Многие из русских масонов «человеколюбцев» прославились зверским обращением с крестьянами. Например, масон граф Дмитриев-Мамонов мучил и пытал своих крепостных. Масон князь Репнин прославился чудовищной жестокостью в подавлении волнения своих крестьян, обстреляв из пушек их мирные жилища. Бывший прапорщик Тухачевский, разумеется, перещеголял его зверствами, подавляя во время Гражданской войны восстания тамбовских крестьян. Примеры зверств пришедших к власти либеральных «братьев» и «товарищей» общеизвестны. Естественно, что, крича о гуманности, демократии и свободе, декабристы так же не желали дать «вольную» своим крестьянам, а когда много лет спустя государь Александр 11 освободил крестьян в 1861 году, он был тут же убит боевиками «освободительного движения», среди которых, по свидетельству некоторых источников, была и Геся Гельфман – мать Керенского, будущего главы Временного правительства, открывшего дверь рвущемуся к власти Ленину и его соратникам из опломбированного вагона. Десятки тайных лож метастазами пронизали Россию, их члены явились исполнителям воли тайного центра и других иностранных хозяев враждебных Российской империи государств. Измена России и жажда разрушения нашего государства характеризует целенаправленную деятельность масонов.

Недавно вышли два тома исследования историка О. А. Платонова «Терновый венец России»^[39], где любознательный читатель найдет для себя много новых интересных фактов. Многие тайные становятся явными!

Попав после разгрома третьего рейха в Москву, тайные архивы масонов Европы и России долго были запечатаны в спецхране и недоступны нашим ученым и историкам. Не могу не обратить внимание читателей еще раз на всестороннее исследование Башилова, где уделено внимание и просветителю, отцу многих русских интеллигентов, готовивших великую бурю, разбившую их теософскую никчемность... Добавлю: тогда ругать самодержавие, православие и Россию стало модой. Это не значит, что почти все интеллигенты были масоны. Но это значит, что все масоны были интеллигенты... Итак, пролистаем еще несколько страниц из книги пытливого историка Б. Башилова.

«Пушкин – политический антипод Радищева. Только в пору юности он идет по дороге, проложенной Радищевым, а затем резко порывает с политическими традициями, заложенными Радищевым. В письме к А. А. Бестужеву из Кишинева, в 1823 году, юный Пушкин пишет фразу, цепляясь к которой Пушкина всегда стараются выдать за почитателя Радищева: „Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же тогда помнить?“

Зрелый, умственно созревший Пушкин смотрел на Радищева совершенно иначе и никакого выдающегося места ему в истории русской словесности не отводил. Пушкин написал о Радищеве две больших статьи: «Александр Радищев» и «Мысли на дороге». Статьи эти написаны Пушкиным незадолго до его смерти. Таким образом, мы имеем возможность узнать, как смотрел Пушкин на родоначальника русской (левой. – И.Г.) интеллигенции, когда окончательно сложилось его мудрое политическое мирозерцание. «Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний была отличительная черта ума его», – пишет Пушкин. Радищев и его товарищи, по мнению Пушкина, очень плохо использовали свое пребывание в Лейпцигском университете. «Ученье пошло им не впрок. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали». «Им попался в руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его *пошлой и бесплодной метафизики*, для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы по несчастю, не знали, *как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила, отвергаемые законом и преданиями*».

А. Радищев попадает в среду масонов, так называемых мартинистов.

«Таинственность их бесед, – сообщает Пушкин, – воспламенила его воображение. Он написал свое „Путешествие из Петербурга в Москву“ – сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу...» Ясный и объективный ум Пушкина не может оправдать безумный поступок Радищева в эпоху, когда во Франции происходила революция, когда в России только недавно отгремела Пугачевщина. Пушкин всегда бережно относился к национальному государству, созданному в невероятно трудных исторических условиях длинным рядом поколений.

Пушкин решительно осуждает Радищева, не находя для него никакого извинения: «...Мы никогда не почитали Радищева великим человеком, – пишет он, – поступок его всегда казался нам *преступлением ничем не извиняемым*, а «Путешествие в Москву» *весьма посредственной книгой*, но со всем тем же не можем в нем не признать *преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какою-то совестью*».

Дальше следуют замечательные по глубине рассуждения Пушкина. Он пишет: «...Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет... человека, как в физическом, так и в

духовном отношении. *Муж со вздохом иль с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молодавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».*

Пушкин ставит вопрос о том, должны были ужасы французской революции оказать влияние на мирозерцание Радищева или нет? И отвечает: «...Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того что происходило во Франции во время ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды лвиным ревом Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра». Эта фраза чрезвычайно ярко характеризует отношение самого зрелого Пушкина к кровавой французской революции и ее рыцарям гильотины.

Несмотря на кровавый опыт французской революции, Радищев не смог полностью преодолеть следы юношеского фанатизма. «...Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф Завадовский удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: „Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?“ В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, о лейпцигском студенте, подавшем ему некогда мысль о самоубийстве... и отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напорочил!»

Трагический конец первого русского интеллигента является прообразом самоубийства, которое подготовила себе в виде большевизма вся русская интеллигенция – это общество политических фанатиков и утопистов, целое столетие в фанатическом ослеплении рывшее могилу национальному государству и погибшее вместе с ним.

Пушкин понимал, чего никогда не понимал Радищев и его последователи, что: «...нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви». Радищев и вся русская революционная интеллигенция вслед за ним много и старательно поносили современную им Россию и ее историческое прошлое, но настоящей любви к России ни у кого из них не было, а поэтому в их поношениях не было и нет истины.

Низко расценивает Пушкин и основное произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». «... „Путешествие в Москву», причина его несчастья и славы, – пишет Пушкин, – есть, как мы уже сказали, очень посредственное произведение, не говоря уже о варварском слоге. Сетование на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и прочее преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутый, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного».

Весьма характерно, что Пушкин описывает не путешествие из Петербурга в Москву, а путешествие из Москвы в Петербург, то есть совершает путешествие в обратном направлении, чем Радищев, *Пушкин и в идейном плане также совершает обратное путешествие, разоблачая во всех случаях вымысел и преувеличения Радищева в описании им современной ему действительности.*

В главе одиннадцатой, под названием «Русская изба», Пушкин разоблачает недобросовестную попытку Радищева изобразить жизнь русскою крестьянина в значительно более мрачном виде, чем она была на самом деле.

«...В Пешках (на станции, ныне уничтоженной) Радищев съел кусок говядины и выпил чашку кофе. Он пользуется сим случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным красноречием». Трезвый политический мыслитель, Пушкин шаг за шагом разоблачает все дикие претензии, которые предъявляет Радищев к современной ему России. Это столкновение двух политических стилей: стиля политического и социального реализма и социального утопизма. Пушкин, в лице которого возмужала наконец национальная политическая мысль, защищает русское национальное государство от нападков на него Радищева. Пушкин вскрывает всю опасность исторической чувствительности Радищева. Нарисовав картину тяжелой жизни крестьян у одного помещика, который, желая улучшить жизнь крестьян, завел порядки вроде тех, которые были в заведенных Аракчеевым военных поселениях, Пушкин иронически писал: «Как бы вы думали: мучитель имел виды филантропические». Это замечание бьет в самую суть радищевского отвлеченного прекраснотушия. *Результаты отвлеченного прекраснотушия чаще всего являются источником сильнейших мучений для тех, кого хотят облагодетельствовать.*

Пушкин первый почуял огромную опасность, которую несли с собой филантропы типа Радищева, пророки злого добра, первый понял разрушительную роль, которую они могут сыграть в России. И Пушкин первый из современников нанес сокрушительный удар Радищеву, родоначальнику русской (левой. – И.Г.) интеллигенции.

Если первый русский интеллигент ждет революции в России с таким же восторгом, как и все последующие поколения интеллигенции, то Пушкин считает, что насильственные политические потрясения всегда страшны для человечества.

Трезвый ясный ум Пушкина, взявшегося за разоблачение слезливых карикатур А. Радищева, находит сильные неопровержимые доводы, взятые из личных наблюдений над современной ему русской действительностью, которую он не идеализировал, видел все ее недостатки, желал постепенного улучшения ее, которую оценивал не отвлеченно, саму по себе. как это всегда делали русские простодушные интеллигенты, в сравнении с прошлым и настоящим других народов. И при таком трезвом подходе *русская действительность представлялась Пушкину, умнейшему человеку тогдашней России, вовсе не в том виде, как Радищеву.*

Дальше Пушкин касается чрезвычайно важной темы, которая всегда сознательно или бессознательно вслед за Александром Радищевым избегает вся русская интеллигенция. Темы о том, как же живет в просвещенных странах так называемый простой люд по сравнению с плохо живущим русским народом, о горестях и страданиях которого господа интеллигенты пекутся со времен Радищева и во имя любви к которому они в результате героических усилий в течение столетия соорудили большевизм».

Из Пушкина вышли Гоголь, «славянофилы-почвенники» и Достоевский, из Радищева – та часть русской интеллигенции, столь далекой от патриотизма и исторической России, когда они жаждали ее уничтожения во имя химеры «свободы, равенства и братства»...

Искушенный читатель вправе сделать свой выбор и согласиться в оценке Радищева с «великороссом» Лениным или с выводом «самого умного человека в России» А. С. Пушкина (напоминаю читателю мнение, высказанное о нем государем Николаем I), видевшего в свои зрелые годы всю опасность, которую представляли радищевы и чаадаевы для исторического бытия сильной, свободной, богатой и гремевшей славой Российской империи – нашего Отечества. Будем читать и правильно понимать нашего национального гения подлинных великороссов! Будем в меру сил следовать его историческим путем правды, давая отпор клеветникам России – вчерашним, сегодняшним и будущим...

Знаменательно также: когда дело дошло до катастрофы войны с нацистской Германией, испуганный Сталин, апеллируя к именам великих предков, не назвал в числе их имена «национальной гордости великороссов», коминтерновских любимцев: Радищева, декабристов, Чаадаева, Герцена, Чернышевского, Добролюбова и прочих деятелей, готовивших крах исторической России, с их звериной ненавистью к самодержавию, православию и народности. Я уверен, что многие поборники масонского «освободительного» движения, доживи они до сего дня, «оглянувшись окрест себя», посидели бы от ужаса и раскаяния в своих деяниях и теориях», приведших нашу несметно богатую и свободную великую Россию к уничтожению и вымиранию... Даже они вздрогнули бы, видя реализацию плана всемирного заговора превращения их Родины в «Русскую пустыню» – свидетелями чего мы являемся ныне.

Не «буди» они друг друга от поколения к поколению к активной борьбе (что так радостно отмечал В. Ульянов (Ленин)) по развалу последнего бастиона на европейской христианской цивилизации – Святой Руси Православной, – мы бы сегодня не очнулись на пепелище нашего Отечества... Наши «освободители» – дети великой Лжи, хотя некоторые из них и могли искренне верить в ее великую «Правду». История России – трагический урок для всего человечества! Кто из русских сегодня имеет «права человека»?...

* * *

Мечта о казарменном коммунизме – концлагере – осуществилась в XX веке во многих странах. Что за ад – мы убедились. Пушкин видел в Радищеве «полунебежду». Пора навсегда забыть и давно сдать в исторический архив «просветителей» вроде Радищева! А национальной «гордостью великороссов» по праву считать Пушкина, Гоголя и Достоевского, Васнецова, Нестерова, Сурикова, Чайковского, Бородину, Шалапина, философа Ивана Ильина, историков – Татищева, Флоринского, Ивана Забелина, Егора Классена, Сергея Лесного и других славных сынов великой России, а не тех, кто толкал нас к национальному самоубийству.

Вот и дошли до того, что сегодня считают лучшими русскими художниками – Кандинского, Шагала, Малевича и т. д. В них, продолжая логику Ленина, и должна быть заключена национальная гордость великороссов. Но отнюдь не в Рублеве, Сурикове, Васнецове, Иванове, Нестерове, Врубеле и других великих именах, коими так славна Россия.

По Ленину, гордостью великороссов (и как это Владимир Ильич допустил такое «черносотенное» определение! – И.Г.) должны считаться все те, кто подготавливал вселенское потрясение гибели самодержавной, православной, исторической России и будущую бойню мировой революции. Не гордиться такими «великороссами», как Ленин, Радищев, Пугачев, декабристы, Герцен, Новиков, Шварц, Блаватская, Горький и многие другие, а возмущаться и проклинать можно такую «гордость» великороссов,

которые способствовали в меру сил исторической гибели нашего Отечества, а вместе с ним потере равновесия сил добра и зла в мире. Настанет день, когда, согласно евангельской притче, бесы, так долго мучившие Россию, войдут в стадо свиней и погибнут в пропасти, – а больная Россия, выздоровевшая и невредимая, будет внимать словам Спасителя Мира. Изгнание бесов известно нам по многим фактам русской церковной истории, практикуется и в наше время, и не случайно великий Достоевский сделал эпиграфом к своему бессмертному произведению «Бесы» эти евангельские слова. Одним из таких бесов, а имя его легион, – был, по моему убеждению, клеветник и масон, «сознательный» фанатик Радищев и все те, которым и по сей день нужны великие потрясения, когда нам нужна великая Россия... Та, которую мы потеряли...

Я не верю в ложь коммунизма и не верю в ложь демократии... Я верю в третий путь: возрождение самобытной – идущей своим путем – исторической национальной России, что явится спасением для нас, русских, живущих на пороге XXI века. С нами Бог!...

Как хотели и хотят масонствующие либералы, равно как и коммунисты, сделать Пушкина своим; потому и ведут политическую биографию русского национального поэта от антиисторических бредней Радищева и Чаадаева. А. С. Пушкину приписывают стихи и эпиграммы, которых он никогда не писал, спекулируя на том, что мировоззрение Пушкина – мыслителя, поэта, писателя и историка – окончательно окрепло лишь после трагедии на Сенатской площади. И повторяю, зрелость мировоззрения поэта во многом определил великий государь-рыцарь Николай I, которого так не любил Маркс и побежденные им масоны, руководство над которыми осуществляли тайные ложи уже больной к тому времени Европы.

* * *

Сколько раз, стоя на мосту, я смотрел в темноте на быстрые воды широкой Невки. Кругом мгlistый мрак. Только по мятущимся огням цепочек фонарей, раскачиваемых ветром, чувствуешь, как широки темные воды реки... Менялись времена года, скованная льдом белая от снега Невка чернела бездонными полыньями, шел снег, подымаясь на горб моста, лязгал трамвай. Закат был красен и тревожен, снег сине-фиолетовый. Одинокие фигуры, как черные огоньки, бились на ветру, боясь поскользнуться на льду тротуаров. О, Петербург!...

Идя пешком, чувствуешь, как далеко от Карповки, от моего Ботанического сада дойти по Каменноостровскому до трагического места дуэли Пушкина на Черной речке. Ныне трудно себе представить, какое было далекое и пустынное место дуэлей, где великий поэт пал на петербургский снег, сраженный пулей убийцы. «Пустое сердце билось ровно – в руке не дрогнул пистолет...» Как они ненавидели и боялись Пушкина!...

Нынче вокруг небо закрывают леса бетонных советских новостроек, в окнах зажигаются мертвенные огни. Темнота ложится на город. Как далеко остался позади Зимний дворец и ныне известный каждому из нас дом, где жил и ушел в вечность наш национальный поэт. Уже в темноте когда-то светоносный дворец, где жили некогда русские цари, а ныне черными окнами музея Эрмитаж отсвечивает розовое зарево над городом. В далекой вышине Александрийского столпа чуть виден ангел с крестом и ликом, которому, как говорят, скульптор придавал черты Александра I Благословенного, чье имя овеяно победой Отечественной войны 1812 года. Я старался представить себе на огромной снежной пустыне Дворцовой площади одинокого Пушкина, чувствующего свое одиночество в сжимающихся неумолимых кольцах смертельного заговора. Они, «палачи свободы, гения и славы», знали, как уязвить душу великого поэта. Они знали, что результатом их травли будет дуэль – убийство. Они знали, что в борьбе за свою честь Пушкин словно забудет обещание, данное государю, не драться на дуэли. Государь Николай Павлович знал больше, чем мог сказать, – беря со столь любимого им поэта слово. Но и он не рассчитал безудержного темперамента, чувства оскорбленной чести и своей правоты гениального Пушкина. Надеялся, увы, государь и на Бенкендорфа^[40], который оказался верным не государю, а своему масонскому долгу не помешать убийству.

Снова вернемся к фактам, приводимым в книге русского историка.

«...Дантес получил благословение на дуэль с Пушкиным от Павла Строгонова, который в юности участвовал во французской революции, был членом якобинского клуба „Друзья Закона“ и который, когда его принимали в члены якобинского клуба, воскликнул: „Лучшим днем в моей жизни будет тот, когда увижу Россию возрожденной в такой же революции“.

«Убийцы Пушкина, – пишет в дневнике А. Суворин, встречавшийся еще с современниками Пушкина и знавший из разговоров с ними больше того, что писалось членами ордена об убийстве Пушкина, – Бенкендорф, княгиня Белосельская и Уваров. – Ефремов и выставил их портреты на одной из прежних Пушкинских выставок. Гаевский залепил их».

Свобода гения и слава палача

Я долго думал о последних днях жизни поэта. На своей картине я хотел показать Пушкина, идущего домой в тревожных сумерках. Горит огнями окон Зимний дворец. Там радость и счастье дворцовой жизни. Царь и поэт... Как же желали многие дружбы и государственного союза двух великих людей России... Какое одиночество ощущала ранимая и великая душа...

Накануне дуэли Пушкин успел написать Ишимовой, которая написала прекрасную книгу для детей о русской истории. Как он хотел, думаю перед роковым шагом еще и еще раз почувствовать нужность и правоту своей и царской воли уберечь Россию от страшных путей, предначертанных ее врагами. Пушкин, как никто до него, любил Россию и, поняв многое, отринув заблуждения своей юности, – знал, что делать. Свою тайну он унес с собой, и, говоря словами другого гения: «Мы теперь – эту тайну разгадываем». Как трудно написать образ Пушкина. Какой точный образ у Серова 1812 Кипренского, который, верю я, отнюдь не польстил поэту. Он любил Пушкина и оставил нам – далеким потомкам – свое понимание тайны души поэта... При полной внешней схожести...

* * *

Ну а кто остался от рода Пушкиных? Что случилось с его детьми и живы ли его потомки? Летит время. Дети – личное бессмертие. Страшно и беспощадно было осуществлено уничтожение лучших сил всех сословий России... У них – наших врагов – был многовековой опыт. Они были всемирны, сплоченны и знали, чего хотят.

Я помню, когда у меня в Москве несколько дней жил сосланный во Владимир Василий Витальевич Шульгин. Я от него узнал необычайно много о страшных годах русского лихолетья. Запомнился разговор о так называемых «буржуях». Чтобы быть точным, привожу слова самого Шульгина: «Изобретение слова „буржуй“, в его специально русском значении, было ловчайшим ходом в атаке коммунистов. Сие было проделано в полном соответствии с доктриной „разделяй и властвуй“, точнее сказать „расстреливай, разделяя“.

Под понятие «буржуи» последовательно подводились:

А. Императорская фамилия.

Б. Вооруженные силы государства:

1) полиция,

2) жандармы,

3) офицеры,

В. Правящая элита

1) высшие чиновники,

2) высшее духовенство,

3) титулованные дворяне: «князья и графы»,

4) крупные помещики,

5) богатые люди в городах,

6) крупные купцы и промышленники.

Г. Культурный класс:

1) дворяне вообще,

2) духовенство вообще,

3) чиновники вообще,

4) помещики вообще,

5) интеллигенция вообще.

Д. Аристократия низов:

1) зажиточные крестьяне,

2) квалифицированные рабочие,

3) казачество.

Е. Любые группы, признаваемые по тем или иным причинам в данное время вредными.

Все эти группы ставились к стенке постепенно, не оказывая друг другу почти никакой помощи. Жертвы были, разделены каждый думал «Бог не без милости, свинья не съест». А коммунистическая хавронья, слушая эти умные речи, методически чавкала одних за другими. Если бы всех этих обреченных осветил луч прозрения, если бы они поняли: «сегодня ты, а завтра – я», может быть, картина была бы иная. Встала бы дружная громада моритуров и задавила бы методических убийц. Но этого не случилось. Почему? Да потому, что то общее, что соединяло всех этих осужденных на гибель, тщательно от них

скрывалось, искуснейшим образом затемнялось. И его не увидели, хотя оно было довольно ясно. Не нашлось мальчика из сказки Андерсена, который бы крикнул: «Тятенька, тятенька, да ведь все-то они русские».^[41]

Общеизвестно, с какой лютой последовательностью проводился геноцид народов России строителями «счастливого будущего». В еженедельнике «Красный террор» от 1918 года читаем: «Мы теперь ведем борьбу не с отдельными личностями, а уничтожаем буржуазию, как класс. В документах по делу обвиняемого нет надобности искать доказательств, боролся ли он словом или делом с советским правительством. Прежде всего следует установить, к какому классу принадлежит обвиняемый, какого он происхождения, какое получил образование и чем занимается. Ответы на эти вопросы должны решить участь обвиняемого. В этом смысле и сущность красного террора». То есть если обвиняемый буржуй, то его надо убить без всякой вины. «Пусть буржуазия потонет в собственной крови!» – обычно заканчиваются разные летучие листики социалистической советской власти. Не даром же социалисты избрали для своего флага красный цвет, как знак крови, как символ кровопролития. Весь мир должен быть залит кровью, чтобы за «кровавой зарею», по их словам, встало солнце счастья людей – социализм. Но вот в России уже шестой год социалисты льют кровь потоками, залили кровью эту великую страну... Уже шестой год там горит кровавая заря, – а вместо обещанного счастья наступила темная ночь страданий и ужасов для рабочих и пролетариев, не говоря уже о простых смертных.

Дети «буржуев» не имели права на работу и на учебу в бывших – русских учебных заведениях нашей рухнувшей в одночасье империи. Многие с трудом скрывали свое «проклятое» происхождение, устраивались работать на черные работы. Страна превращалась в ад. Братоубийственная война, массовые расстрелы, голод, доходивший до людоедства, сыпной тиф, всеобщее доноительство, выявляющее «врагов народа». В искусственно образованный вакуум хлынули иноверцы и садисты-уголовники...

Будь проклят род того, кто нарушит масонскую клятву. Известно, что большевики и один из их лидеров Иосиф Джугашвили хорошо усвоил это правило, карая детей, внуков и правнуков своих врагов – «врагов народа»: «Мертвые умеют молчать!»

Может быть, Маркс прав, что бытие определяет сознание. Ничуть не определяет, а некоторых, безусловно, влияет. Более того, бытие не определяет сознание, но может навсегда искалечить его. Все сидели за одними партами и слушали одни и те же лекции в так называемых вузах. Однако все подумали по-разному... Многим кажется что солдаты все на одно лицо, многим, что китайцы. Допускаю, что китайцам на одно лицо кажутся все европейцы. Но это не так...

* * *

Помню, мы сидели в приемной худсовета на улице Горького, ныне Тверской. Какие одинаково унылые лица были у моих коллег, рядом с которыми стояли холсты, созданные по заказу кормильца многих советских художников, так называемого Худфонда. Из многочисленных клубов, как колхозных, так и фабричных, из санаториев и даже от Морфлота СССР стекались заказы на тематические картины, на портреты вождей, писателей, а иногда и просто пейзажи в обширную кормушку руководителей Художественного фонда. Руководители фонда, при котором был многолюдный и художественный совет, решали, кому можно поручить идущие из всех республик и областей долгожданные заказы.

Держал и я свои холст. Это было давно, когда я только что приехал в Москву и получил наконец право на прописку. Художники заходили, как больные к доктору, и выходили точно так же, кто довольный, кто – подавленный. И снова молчание ждущих. Снова выходит кто-то и говорит другу: «Ленина облагородить внутренней улыбкой, а Горький – не похож!» Другой: «Убрать облака и дать больше голубого неба». За заказы дрались и умирали. «Долго нам ждать?» – спросил я тихо у своего соседа, пожилого художника с угасшими глазами на больном и бледном лице. «Каждого держат столько, сколько им нужно, – как на допросе, если спешите – идите домой». В его ответе я уловил какую-то товарищескую нотку. Через пять минут, оглядев какой раз нас, которых было человек двадцать, снова шепотом сказал соседу, глядя на его небритую седую щетину щеки: «Странно было бы здесь представить с нами Врубель или Сурикова, которые бы принесли работы на „совет“. На этот раз сосед агрессивно и, видимо, не желая говорить со мной огрызнулся, не поворачивая головы: „Пришел бы сюда сдавать работу Врубель или Суриков, с такой же рожей сидели бы, как и мы, тем более что здесь никому не нужны ни „Царевна Лебедь“, ни „Утро стрелецкой казни“. Совет Худфонда, естественно, не принял мою работу и сказал мне: чтобы иметь право получать и сдавать работу, надо быть членом СХ СССР. Мой приятель Коля Садуков, который вырвал для меня заказ, зная о моей непросветной нищете, очень расстроился, узнав, что исполненную мною картину „Ленин на фоне Кремля“ 1 метр на 2 совет „запорол“ – не принял. Члены совета бесцеремонно спрашивали меня, как, я получив тройку за диплом в Ленинграде и не будучи членом Союза художников, имею наглость претендовать на заказы Московского худфонда. Кто-то сказал, что мне

никогда не дотянуться до образа Ленина. Коля Садуков с прискорбием комментировал: „Да старикашка, зря я старался для тебя – они тебя никогда не пропустят, ни за какие проценты. Ненавидят“. Глядя на мой холст, на котором был изображен, согласно заказу, стоящий во весь рост Ленин на фоне кремлевских башен, меланхолично добавил: „Придется мне сверху донизу переписать твоего Володьку! Ты никогда не почувствуешь стиля заказа Худфонда!“ Через несколько дней Коля Садуков, «поработав» пару часиков, камня на камне не оставил от моего Ильича. На булыжниках Красной площади даже появилась ультрамариновая тень от солнца, а Ильич стал приветливо улыбаться. Совет без звука принял работу Николая Садукова, а Коля благородно поделился со мной гонораром. Вскоре он получил заказ на портрет Пушкина для клуба одного из совхозов нашего Подмосковья...

Единственный прямой наследник Пушкина

Я знал, как и многие, что сегодня живут и здравствуют многочисленные родственники великого русского поэта. Часть живет у нас, а больше, как мне говорили, за границей. И вот совсем недавно я случайно встретился с бывшим первым секретарем ЦК ВЛКСМ Виктором Ивановичем Мироненко и его очаровательной женой Ларисой, портрет которой мне довелось писать несколько лет назад. Он и она абсолютно не изменились с тех пор, сохраняя молодость и солидную респектабельность. «Виктор Иванович, – спросил я у Мироненко, – вы, наверное, стали банкиром». «Да что вы, – махнул он рукой, – сегодня я являюсь директором фонда грядущего двухсотлетия Александра Сергеевича». Я слышал от кого-то, что В. Мироненко участвовал в президентской кампании М.С. Горбачева, переспросил: «Какого Александра Сергеевича?» Мироненко серьезно посмотрел на меня: «Как какого, Александра Сергеевича Пушкина, разумеется, – великого русского поэта». Красивая большеглазая Лариса с присущим ей темпераментом начала рассказывать, что государство ныне не помогает не только Святогорскому монастырю, когда земляной оползень угрожает уничтожить могилу поэта, – но и главное: Пушкинскому дому, где в хранилище в числе бесценных рукописей великих русских писателей в угрожающем состоянии гибели находится собрание большинства рукописей Пушкина.

Последний ремонт в знаменитом Пушкинском доме проводился чуть ли не накануне революции! К кому только не обращалась дирекция Пушкинского дома и мы – никто не хочет помочь. Один из предполагаемых «спонсоров», на которого мы так возлагали надежды дал совет: «Вы продайте на „Сотсби“ несколько листов вашей пушкинской коллекции рукописей, а на эти деньги сделайте ремонт». «А что такого я сказал», – удивился он, видя, как представители дирекции пушкинского дома по одному стали покидать помещение, где хранятся рукописи великого Пушкина, оставляя его с телохранителями в гулкой пустоте гибнущих архивов...

Я спросил у Виктора Ивановича: «Раз уж вы возглавляете комиссию по празднованию 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, значит, вы ответите мне на столь интересующий меня вопрос, сколько прямых наследников поэта живет в России и за рубежом?» Лариса из-за плеча мужа ответила незамедлительно: «Илья Сергеевич, только один прямой наследник у Пушкина – зовут его Григорий Григорьевич, и живет он в Москве. Вы его должны обязательно нарисовать».

В. И. Мироненко пояснил: «Это действительно единственный прямой потомок старшего сына Пушкина Александра, как известно, „большого любимца отца“. Александр Александрович Пушкин был талантливейшим военным, одним из лучших воспитанников Пажеского корпуса, который он окончил в 1851 году». Мироненко, посмотрев на меня, спросил: «Продолжить биографию старшего сына поэта? Или вы это все знаете?» – «Признаюсь, – ответил я, – что не знаю и слушаю вас с величайшим вниманием». Он продолжил: «Ну так вот – Александр Александрович по высочайшему приказу в 1878 году, во время Русско-турецкой войны, был награжден золотой Георгиевской саблей с надписью „За храбрость“ и орденом „Святого Владимира IV степени с мечом и бантом“. Засим, – откинувшись в кресле продолжил Виктор Иванович, – за воинскую доблесть сын поэта был произведен в генерал-лейтенанты. В Болгарии по сей день помнят А.А. Пушкина. У него, кстати, было одиннадцать детей». С присущим ей темпераментом Лариса, воспользовавшись паузой, пояснила мне: «Наш Григорий Григорьевич Пушкин, ныне здравствующий, – последний прямой потомок Пушкина – сын Григория Александровича, одного из одиннадцати детей генерала Александра Александровича, героя освобождения славян от турецкого ига».

Мироненко невозмутимо продолжил свой исторический экскурс: «Итак, Илья Сергеевич, Григорий Александрович Пушкин – внук поэта. Он родился в 1868 году и скончался накануне войны с Гитлером – в 1940 году. Он учился в Царскосельском лицее и тоже был военным».

«Переходи же к нашему Григорию Григорьевичу – правнуку Пушкина» – вновь не утерпела красивая Лариса.

«Перехожу, перехожу, – отмахнулся Виктор Иванович – но художник должен понять, откуда взялся опекаемый нашим Юбилейным комитетом Григорий Григорьевич Пушкин, которого мы посетим на днях все вместе, когда я договорюсь 83-летним последним прямым потомком великого поэта о нашем визите». Лариса поспешила пояснить, что у второго сына Пушкина не было детей, а по дочерним линиям Пушкины породнились не только с русским императорским домом, но и английской королевской династией.

Здесь я решил перебить супругов Мироненко конкретным вопросом о профессии и биографии Григория Григорьевича Пушкина, с которым я уже мечтал встретиться, тем более что он «чем-то похож внешне на своего гениального прадеда». В.И. Мироненко на секунду опустил глаза: «Лучше, если вы, Илья Сергеевич, поговорите сами Григорием Григорьевичем Пушкиным. Он очень милый человек, одинокий – получает небольшую пенсию, и наш Юбилейный комитет считает своим долгом помогать ему во всем, чем можем». Лариса, снова боясь, что муж ее остановит, быстро залпом проговорила: «Высшего образования у него нет, забрали в армию – между Финской и Отечественной войной работал оперуполномоченным в МУРе, потом печатником в типографии комбината „Правда“...

«Да, жена права, – сказал В. И. Мироненко. – Недавно Григорий Григорьевич получил почетный знак „Петровка, 38“ за заслуги в своей работе уголовном розыске. Он был очень рад этому заслуженному вниманию. А после демобилизации он до пенсии работал наборщиком и печатником „Правде“.

Я онемел...

Заехали в продуктовый магазин на Новом Арбате. «Цветов купить не успеваем!» – сказал Мироненко. И вот мы звоним в дверь новостроечного дома по улице Маршала Тухачевского, которая открылась, и через решетку второй двери я увидел среднего роста, худощавого, с аккуратным пробором седых, но густых волос, кажущегося моложе своих лет единственного прямого правнука великого поэта. Пока Григорий Григорьевич Пушкин здоровался с четой Мироненко, я вглядывался его странное и неуловимо похожее на Пушкина лицо. Красивые руки, синяя в клетку мягкая «ковбойка», бедная обстановка двухкомнатной квартиры.

На стене приколотый кнопками лист бумаги с нарисованным генеалогическим древом рода Пушкиных. Полка с книгами... Я горел от нетерпения задать вопросы внимательно изучающему меня правнуку поэта. «Григорий Григорьевич, вы как никто знаете, почему Дантес просил отсрочки дуэли». – «Конечно, знаю, что две недели отсрочки дуэли, о которой просил Геккерн понадобилось для получения Дантесом металлической сетки, которую привезли из Архангельска».

«А почему из Архангельска, а не из Парижа? – спросил я.

«Потому что металлическую сетку для Дантеса изготавливали в Архангельске», – сухо ответил г. Пушкин. «Кто, по-вашему, виноват в гибели Александра Сергеевича?» – спросил я, немного стесняясь своего лобового вопроса. «Как кто? – невозмутимо ответил Григорий Григорьевич. – Царь и его окружение – вы же знаете, что прадед ответил царю, что был бы вместе с декабристами – на Сенатской площади. Такого царь и его окружение простить не могли...

Родился где? В селе Лопасня – ныне город Чехов под Москвой, в бывшем имении Гончаровых. По окончании семилетки поступил в сельскохозяйственный техникум, который окончил в 1933 году».

Григорий Григорьевич рассказывал привычно и спокойно – не я один надоедал ему с этими вопросами: «В 1934 году объявили спецнабор и меня направили в 17-й стрелковый полк рядовым. Полк наш подчинялся Ягоде – он тогда всем верховодил в ГПУ. Вначале службу проходил в Виннице, а потом в городе Славутич. Наши освобождали Белоруссию и Западную Украину. Потом и Финская грянула!» Я рассматривал во все глаза склоненное лицо правнука поэта, находя и не находя сходства.

«После окончания прожекторной школы я уж сержантом стал. В 36-м хотел демобилизоваться, а командир полка Апоров говорит: „Останься еще на год сверхсрочной – ты у нас один правнук“. Я остался. После юбилея Пушкина в 1938 году демобилизовался...» Он задумался. «А что было дальше, Григорий Григорьевич?» Он, словно думая о чем-то своем, продолжил: «А что дальше! Мне было 25 лет – тут я по комсомольской путевке пошел работать в милицию Октябрьского района города Москвы. Был я уже в чине лейтенанта – стал оперуполномоченным. Честно говоря, занимался грязны делом, воров и воришек ловил и сажал! Они воруют, а я искать их должен. Рад был, что на Финскую забрали!» Григорий Григорьевич махнул рукой. «Далее 1941 год – Великая Отечественная. В Подмоскovie партизанил – Наро-Фоминск, Волоколамск. Я добровольцем пошел и в партизанском отряде старшим разведчиком стал...» Я не перебивал Г. Г. Пушкина. «После войны в МУРе работал...». Вошедшие в комнату, где я впитывал рассказ Григория Григорьевича, Мироненки потребовали показать мне личный знак работника уголовного розыска города Москвы №0007, выданный в 1993 году – в день восьмидесятилетнего юбилея, товарищу Пушкину Г.Г.

Действительно, очень красивый значок, и на один нолик больше, чем у Джеймса Бонда. Лариса сказала: «Мы прервали ваш разговор и не хотим мешать. Пойдем готовить вам ужин».

Правнук поэта, желая быстрее отделаться от моих докучных вопросов, лаконично закончил свою биографию: «Ушел из органов – работал в разных учреждениях. В 1952 году поступил в типографию газеты „Правда“, где работал печатником. Печатал я, будучи специалистом по глубокой печати журналы „Огонек“, „Советский Союз“, „Советская женщина“, „Смена“, и все это на 17 иностранных языках! Так я оттрубил до 1969 года и ушел на пенсию!»

За столом мы с Григорием Григорьевичем вспомнили его начальника Бориса Александровича Фельдмана – директора издательства «Правда», которого я хорошо помнил по своей работе над иллюстрациями к подписным изданиям «Огонька»: Мельникова-Печерского, Достоевского, Куприна, Блока, Аксакова. «Раз мы с вами отличного мужика и моего начальника Фельдмана вспомнили», – сказал мне после первой рюмочки Григорий Григорьевич, – то расскажу как он, будучи евреем, подходил к еврейскому вопросу. Борис Александрович говорил, что есть «жиды» и «евреи». Жид – это тот, кто работает день и ночь, а еврей пофилонить любит. (Для меня это тем удивительно было, что я слышал наоборот. – И.Г.). Мне часто звонил и говорил: надо на работу взять к вам в цех этого жиды – работающий человек будет! Глядя на меня своими пушкинскими серо-голубыми глазами, в заключение добавил: «Теория эта фельдмановская, его жизненным опытом подсказана. Сам-то Борис Александрович человек крайне справедливый был и работал день и ночь. На нем весь комбинат „Правда“ замыкался. Мы у него все вкалывали день и ночь».

Григорий Григорьевич ожил, вспоминая известного мне также по работе над иллюстрациями художника Пивоварова, который мог, по рассказам очевидцев выпить две кружки водки и не шатаясь пойти домой. Пивоваров был очень милый тучный человек, влюбленный в русское классическое искусство. «А вот и картошка по-пушкински, с укропом! – шутил Мироненко. – Выпьем за семью Пушкиных!»

Напротив Григория Григорьевича сидела женщина с милым добрым лицом – «она медработница!». «Я сделаю все, чтобы продлить жизнь и здоровье нашего великого потомка», – улыбалась она. А потомок великого поэта, склонившись к В.И. Мироненко, говорил: «У меня одна мечта. Я получаю ныне 500 000 рублей пенсии...» Лариса перевела нам: «Это значит сто долларов!» Григорий Григорьевич Пушкин продолжал: «Мечта моя в том, чтобы власти (горсобес по старому) пересмотрели наконец закон о пенсии. Я был ранен на фронте, был контужен так, что ничего не слышал. Справки о ранениях не брал. Восстанавливать их сегодня, когда столько времени прошло, унижительно – бес с ними! Но ныне-то есть распоряжение вышестоящих органов, что участники Великой Отечественной войны, которым за 80 лет – а мне 83! – посмотрел на меня Григорий Григорьевич и, снова, обратясь к Мироненко, продолжал: – Все участники войны перейдут во II группу инвалидности! А это значит, что пенсия будет не 500 000 рублей, а 700. Может, и того выше – 800 000! Могли бы поднять на 30 %, но говорят, что бывший райсобес ликвидируют в российском масштабе! Вот я и думаю, – поднимая рюмашку, заключил Григорий Григорьевич, – поскольку я на всем шарике единственный потомок и последний Пушкин, может, мне и прибавят?!» – «Я думаю, – поддержал надежду потомка великого рода Пушкиных Виктор Мироненко, – мы пробьем и это для вас, юбилей 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича почти на носу!...»

Перед уходом мы снова листали самодельный альбом изображений и фотографий потомков поэта, выклеенный Григорием Григорьевичем. С последней фотографии альбома на нас смотрело открытое молодое лицо, судя по всему, нашего современника, снятого совсем недавно. Им, а не Григорием Григорьевичем заканчивался альбом, лежащий на столе. Под фотографией стояла подпись: Александр Григорьевич Пушкин.

Я спросил у хозяина, кто этот молодой человек Александр Пушкин? Григорий Григорьевич помрачнел и лицо его стало словно неживое: «Александр Пушкин – это мой покойный сын. Он умер. Вот уже четыре года прошло: 31 августа 1992 года». Григорий Григорьевич вдруг стал чем-то неуловимым до жути похож на Пушкина, каким мы его знаем по портретам современников, особенно он походил на своего прадеда в профиль... Маска скорби и одиночества словно остановила жизнь его души...

Несмотря на то, что Лариса делала мне знаки молчания, прикладывая палец к губам, и я понимал, что это страшная и трагическая тема, не удержался спросил: «А где работал ваш покойный сын?» С трудом и очень коротко отец Александра Пушкина ответил: «Александр работал, окончив 10 классов школы, шофером в системе КГБ. Водил врачей больным по вызову. Шоферскую школу при гараже КГБ у Савеловского вокзала кончил. В Марьиной роще. Сорок лет было – умер от гипертонического криза – вот в этой комнате... Вот и остался я один и последний...» – грустно, с болью великой выдохнул правнук Александра Сергеевича Пушкина...

* * *

В машине все молчали. Я смотрел на нежные вечерние облака московского неба, кто-то на заднем сидении «Волги» тихо сказал: «Про сына – большая тема, говорят, он сильно пил... Так и не женился»... Как никогда, мне хотелось очутиться в Петербурге, в Царском Селе, у пруда, где высится Чесменская колонна и шумят над головой столетние могучие кроны деревьев, помнящие многое и многих... Как страшна и драматична история России нового времени. Как далеки, но как реальны дела и правда давно ушедших дней... В моем воспаленном мозгу бьются строфы великого Пушкина.

Как труп в пустыне я лежал,

Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Чаадаев

Очень часто, говоря о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, считают нужным упомянуть и его царскосельского приятеля Петра Яковлевича Чаадаева, который якобы оказал на Пушкина большое влияние. Это неправда. При жизни большинство тех, кто его знал, воспринимали его как чудака, имеющего свои – странные точки зрения. Его посмертная слава девятым валом докатилась и до наших дней. На Западе и у нас из Чаадаева стараются сделать фигуру огромной философской значимости. О нем пишут книги, статьи и исследования. Я впервые в жизни столкнулся с восторженным поклонником Петра Чаадаева в лице профессора Гарвардского университета «советолога» и одно время – советника американского Белого дома Ричарда Пайпса. О нашей встрече с Р. Пайпсом я расскажу особо в главе, посвященной «Серебряному веку» русской литературы уже почти нашего времени.

За что же так ценят многие исследователи имя Чаадаева? Отвечу коротко, выражая свою точку зрения: за антирусизм и пропаганду масонских идей. Не случайно юный Пушкин окрестил его цареубийцей – русским Брутом. Излишне напоминать, что Пушкин, как и Достоевский, в юности был подвержен левой фронде. Но возмужав умом и сердцем, они стали последовательными монархистами. В свете лучезарного солнца – Пушкина – Чаадаев лишь крохотная тень на бескрайних просторах России. И негоже Чаадаева выставлять учителем Пушкина!

Спустя много лет после разговора с известным Ричардом Пайпсом я пользуюсь случаем, чтобы высказать свое отношение к нашумевшему имени гусарского офицера Петра Яковлевича Чаадаева, о котором так страстно говорил тогда знаменитый американский профессор, автор многочисленных книг по истории России.

Отставной ротмистр Чаадаев и его писания имеют для нас такое же значение, как и пресловутый французик маркиз де Кюстин, написавший клеветнический полный зависти и злобы пасквиль на Россию и Государя – царя Николая 1. К этой книжонке, столь популярной и переиздаваемой сегодня, я еще вернусь. Ненависть де Кюстина, эта ненависть французского масона с весьма темной репутацией понятна, потому что он исполнял социальный заказ своих «братьев», целью которого была месть великому русскому царю, давшему бой всемирному масонству на Сенатской площади в декабре 1825 года. Великий Государь, которого, кстати, люто ненавидел и Карл Маркс, отодвинул почти на сто лет кровавую драму русской революции. Понятно, что французский маркизик завидовал мощи Российской Империи и ненавидел ее Самодержца. Но очень печально, что родившийся в России от русских родителей, талантливый и неуменно пылкий проповедник клеветы и ненависти к своему Отечеству, прошедший огонь и медные трубы всех тайных и нетайных обществ, П. Я. Чаадаев являет собой пример, интересный не только для медицины, – не зря его справедливо называли сумасшедшим, – но для объективного историка, который на примере его жизни и деяний может вскрыть всю глубину целеустремленности не только кровавых вожаков декабристов, но и современных «специалистов по русскому вопросу».

Для культуры русского дворянства того времени, когда жил Чаадаев, знание нескольких языков, и прежде всего французского, не является чем-либо из ряда вон выходящим, Россия всегда славилась, несмотря на клеветнические домыслы внешних и внутренних врагов, высокой духовностью, свободой, богатством и культурой. Потому нас не удивляет, что так называемые «Философические письма» были написаны Чаадаевым, как сейчас бы сказали, на чисто французском языке, точнее – на языке французской революции, которым говорила русская аристократия. Удивляет то, что дворянин Чаадаев изменил вере отцов – православию. Многие современники Чаадаева утверждали, что он перешел в католичество. Другие не находят подтверждения этому факту, хотя все единодушно отмечают приверженность Чаадаева к католицизму. Неудивительно, что его остервенелый антирусизм, лежащий в основе масонского натиска на Россию, равно как и на идею самодержавия, православия и народности, обрел такое значение для нашего Отечества. Сам Чаадаев величал себя «просто христианским философом».

Либерально-масонствующий, по его взглядам, протоиерей В. В. Зеньковский, автор двухтомной «Истории русской философии», вышедшей в Париже, млеет перед «доктриной Чаадаева», облакая его элементарный антирусизм в лохмотья философских лоскутьев и «богословия», хотя и признает родство идей масонов XVIII века, называя их «русскими мистиками», с сентенциями автора «Философических писем» и «Апологии сумасшедшего»(!)

Когда-то с большим риском я перевез через границу два тома Зеньковского, но, прочтя их, был разочарован их ненужностью для тех, кто действительно хочет изучить нашу русскую философию. Кстати, разочаровал меня и Лосский с его вымышленным «Характером русского народа». Поистине

«полувысланные, полупосланные» на Запад «неумные умники», по выражению Иоанна Кронштадтского! С моей точки зрения, заумь и абстракция их рассуждений навязывают некую схему, а не заставляют понять реальность нашего бытия. Почитайте у Зеньковского хотя бы о Чаадаеве^[42], чтобы убедиться в правоте моих слов! «Философические письма» Чаадаева могут лишь вызвать улыбку у философа своей дилетантской наивностью и маниакальной предвзятостью. Думается, что и к нему применимо также бичующее определение А. С. Пушкина, данное им Радищеву: «полуневежда». Жаль, что до сих пор не написана история русской философии. Удивительно, я бы сказал по-советски и путано написал историю русской философии. В. В. Зеньковский! С левых позиций «либерального» масонства написаны эти два столь трудные для прочтения тома!

* * *

Чаадаев с его «Философическими письмами», с моей точки зрения, так трудно читаем, что его можно сравнить со многими современными историками и философами. Поэтому я не хотел бы долго занимать внимание читателя цитированием его сочинений, кроме приведения нескольких выписок говорящих сами за себя.

Так, например, в первом «философическом письме» он вещает: «Даже в нашем взгляде (речь идет о русских. – И.Г.) я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономией народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Находясь в других странах, и в особенности южных, где лица так одушевлены, так говорящи, я сравнивал не раз моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта немота наших лиц...» (Даже у отъявленных русофобов нашей демократической современности трудно найти выражение столь жгучей ненависти к россиянам.).

Продолжаю цитату: «Опыт веков для нас. не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали; ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло из – среди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь»^[43].

Пожалуй, до таких высот презрения к русским не доходили Маркс, Энгельс, Ленин и даже многие идеологи «третьего рейха», не говоря о современных утвердителях «нового мирового порядка». Велико и непростительно ослепление Чаадаева; не считая нужным вступать с ним в спор, не могу не напомнить читателю мысль Пушкина о значении России: пока Европа строила прекрасные города, мы задыхались в дыму пожаров. Мы были щитом между Азией и Европой. Вообще, по Пушкину, Европа всегда была в отношении к нам столь же невежественна, сколь и неблагодарна. Чаадаев в истории своего отечества был глубоко невежественным и тоже неблагодарным – как сын России. Написав эту фразу, я на мгновение забыл, что у «них» нет отечества, а перефразируя афоризм Ницше, могу сказать, что для всех наших чаадаевых – «отечество есть то, что надо преодолеть». Но приведем, к примеру, еще одну цитату для тех, кто не успел проникнуть в тьму кромешную сентенции Чаадаева о России:

«Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной, презираемой всеми народами Византии, Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства; и мы приняли от нее идею, наполненную человеческою страстию. В это время животворящее начало единства одушевляло Европу...»^[44]

Как видите, злоба Чаадаева к великой Византии граничит с его невежеством. Я думаю, что его отношение к Византии определялось ее великим духовным значением в истории России, как, впрочем, и других европейских государств. Идеи «Москва – Третий Рим», разумеется, для Чаадаева не существовало, более того, она была ему ненавистна.

Любопытен также такой отрывок из его «Апологии сумасшедшего» (название-то одно чего стоит! И в самом деле, можно единственный раз согласиться с Чаадаевым что только сумасшедшие могут высказываться подобным образом). «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет знания, создает духовное наслаждение приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что – истина и что – ложь...»^[45].

Разумеется, говоря об истине, автор «Апологии сумасшедшего» не имеет в виду Слово и Завет Божий, выраженный в Евангелии. Как известно, масонская истина заключается в культе Великого Архитектора Вселенной – сатаны. Далее мы увидим, что это за «истина», которая расцвела пышным цветом в «истине истин» – теософии. Читателю предстоит познакомиться с этим еретическим учением! В лице небезызвестной авантюристки Блаватской и ее последователей, включая Елену Рерих с ее столь модной сейчас для многих, но пагубной Агни-Йогой.

Подготовка господства тайного всемирного правительства подразумевает стирание национальных особенностей всех народов мира – прежде всего христианских. Здесь Чаадаев не нов, об этом писали многие его «братья», начиная от тамплиеров и кончая идеологами коммунистического Интернационала.

Кстати, коммунисты первого призыва, как и Чаадаев, отрицали любовь к отечеству, что является одной из ведущих идей масонского заговора, цель которого – мировое господство.

И, вот, чтобы не утомлять читателя, привожу последний перл из многочисленных писаний нашего «сумасшедшего», – где он, игнорируя историю идееносного русского государства, провозглашает в пафосе своей ненависти к соотечественникам: «Во Франции на что нужна мысль? – Чтоб ее высказать. – В Англии? – Чтоб привести ее в исполнение. – В Германии? – Чтоб ее обдумать. – У нас? – Ни на что!»^[46]

Как видите, мудро, но глупо и неверно.

Юный Пушкин, на буйных лицейских пирушках сравнивавший Чаадаева с Периклом и Брутом, позднее как гениальный поэт и мыслитель писал Чаадаеву о своем неприятии его идей. Общеизвестен факт, что Пушкин был почти ровесником «офицера гусарского»: он родился 1799 году, Чаадаев – всего на шесть лет раньше. Так что рядить его в тогу мудрого седовласого учителя гениального русского поэта смехотворно. И мало ли кому Пушкин в разные периоды своей жизни посвящал свои стихи. Да, пару стихов посвятил и ему. Ну и что?

Кстати, замечу, что некоторые стараются не только редактировать Пушкина, но и приписывают ему авторство безымянных эпиграмм. Равно как иногда муссируется вопрос о принадлежности поэта к масонству, по поводу чего он сам сделал недвусмысленное заявление, о котором речь шла в предыдущей главе.

В главе «Пушкин» читатель уже познакомился с распиской Александра Сергеевича о его непринадлежности к масонству. И чтобы закончить пустой разговор о мнимом влиянии на него масона Чаадаева, с русофобскими признаниями которого уже знаком читатель, приведу еще и еще раз великие пушкинские слова о любви к Отечеству. «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, не уважать оное есть постыдное малодушие».

Любознательный читатель разберется сам, если захочет, в запутанной биографии и писаниях Чаадаева. Мне запомнился вопрос Пушкина: «Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа»^[47]... Пушкин, очевидно, не забывший своих встреч с Чаадаевым, еще в Царском Селе пишет об особом предназначении России, в то время как Чаадаев отрицает это. Избегавший масонских оков – идеологического рабства – накануне своего убийства Пушкин был «сердечно привязан к государю» (Николаю 1) и трудился как историк над сложнейшей темой пугачевского бунта, – что и послужило, по моему убеждению; одной из причин его гибели. Также остается в тени глубокое, хоть и короткое письмо А. С. Пушкина П. Чаадаеву. Вот выдержка из него, где великий поэт, историк и философ, отвечая автору «Философических писем», который послал ему свою брошюру, еще и еще раз вступает за честь Отечества и за правду ее особого исторического предназначения. Письмо написано незадолго до убийства поэта – 19 октября 1836 года:

«Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.п...У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы Реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движения к единству (русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели

все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина 11, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России; чего-то такого, что поразит будущего историка. Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой какой нам Бог ее дал».

Какая мощь и истинность понимания русской истории! Как и злободневны, и мудры слова одного из самых великих русских людей – гениального А.С. Пушкина сочетавшего в себе всепоглощающую любовь к России со столь очевидной, по определению Достоевского, «всемирной отзывчивостью! Я думаю, что особенно сегодня слова гениального поэта о нашей истории, о величии русского народа, о преданности идее монархии были бы достаточны для того, чтобы вызвать неистовый волчий вой наследников тех, кто так обдуманно, с железной волей готовил революцию в России. А как бы сегодня стоящие у мирового трона черные закулисные силы, „свободы, гении и славы. палачи обрушились на того, кто посмел бы сказать такие слова! Злобные выкрики о русском шовинизме, о фашизме зазвучали бы со стороны всех объединенных ненавистью к России, заинтересованных в распылении и фальсификации ее великого исторического значения и смысла. Пушкин – несокрушимый символ нашего самосознания. Никому не удастся сбросить его с «корабля современности»!

Даже Сталин, напуганный провалом всех коммунистических упований на мировую революцию, боясь стального шага воинствующего антибольшевизма, в 1937 году решил отметить столетие со дня гибели великого русского поэта. Уже на моей памяти – в Ленинграде продавались многочисленные издания А.С. Пушкина, его портреты, фарфоровые и бронзовые бюсты...

Видно, уже в 1937 году, во время знаменитых чисток старой «ленинской гвардии, Сталин понимал, что напору штурмовиков и чернорубашечников, этой яростной волне национальной революции, вспыхнувшей в Европе, нельзя противопоставить любовь к Кларе Цеткин, Карлу Марксу, Розе Люксембург и миф о бунтующем рабе-гладиаторе Спартаке. Да и советская цензура отлично знала свое дело, чтобы представить нам Пушкина – „своим“, декабристом, наделе почти коммунистом, который лишь из-за временного разрыва не постиг премудрость „Капитала“ Маркса и скучных ленинских писаний. Точно стал бы он в наше сталинское время соцреалистом!

Ну, а что же теперь, в наши годы? Я помню, как один очень талантливый советский актер лет 10 назад, глядя в глаза телезрителям, говорил о своей любви к Пушкину, называя его Сашенькой, Сашей, Сашкой... Какая характерная и фамильярная наглость! Какая же наглость, как называть супругу Пушкина – Наталью Николаевну – Натали и смаковать на разные лады личную жизнь поэта, чтобы скрыть главное – ясно выраженное и четкое самосознание русского национального гения, не подвластного какой бы то ни было партийной идеологии, когда каждое его слово подобно солнечному лучу в нашем пропитанном кровью и смрадным бытии свидетелей погрома России. Пушкин – это свет. Не любить Пушкина – значит любить тьму. О какой «тайной свободе Пушкина» говорил Блок, слушающий музыку революции? Пушкин был всегда и во всем свободен явно, а не тайно!

Малороссы, которых уже много десятилетий называют украинцами, от мала до велика чтут имя Тараса Шевченко, где бы они ни жили – В Каневе или в Канаде.

Он понятен всем украинцам. Так же понятен каждому русскому Александр Пушкин – его имя объединяет нас и помогает встать с колен.

* * *

Но мы слишком отвлеклись после письма Пушкина от самой личности путаного «ротмистра в отставке» – Чаадаева. Знакомясь с плодами его нервно-больного ума, подогреваемого мнимой эрудицией, мне бы не хотелось тратить на разбор его антинаучных изъяснений ненависти к России время читателя и свое.

Я хочу лишь упомянуть о его холопско-льстивой записке к шефу жандармов графу Бенкендорфу, через которого он пытался убедить в своей бесконечной любви и преданности ненавидимого им царя – рыцаря Николая I, с таким мужеством раздавившего бунт всемирного масонства на Сенатской площади. Но все же приведу несколько строк из этой записки. Сколько в ней рабской угодливости и страха!

Чаадаев пишет Бенкендорфу: «...На мою долю выпало самое большое несчастье, какой может выпасть в монархии верноподданному доброму гражданину» А в конце письма: «Поэтому в сердце каждого русского прежде всего должно жить чувство доверия и благодарности к своим государям; и это-то сознание благодетелей, ими оказанных нам, и должно руководить нами в нашей общественной жизни»^[48].

Не очень все это вяжется с этикой членов тайных обществ, когда Чаадаев на деле доказал свою ненависть к самодержавию, православию и народности, а его единомышленники готовили цареубийство и столь желанную «Конституцию» – свидетельство обетованной и достигнутой страны Демократии. Там-то и будет сиять неугасимо «Свобода, равенство и братство»!

Ни в столь любимой Петром Яковлевичем католической Европе, ни у себя на родине он не нашел ожидаемого им восторженного признания, со всем ядом накопленных и нереализованных честолюбивых амбиций дошел до той черты, когда и русское доброе общество отринуло его от себя – но радостно подобрали разноликие враги России!

Несмотря на то, что, к сожалению, русское высшее общество в полной мере уже с XVIII века было пронизано метастазами государственной измены, с вековой мечтой масонов и их тайных руководителей о разрушении великой самодержавной России, сопровождаемом убийством царской семьи, – здоровые силы общества молниеносно среагировали на «философический» бред одного из идеологов и вдохновителей декаризма.

Думаю, для читателя будут интересны выдержки из высказываний разных представителей нашей национально-мыслящей элиты, в оценках которых объемно и всесторонне лепится образ предателя русского народа и его государственных устоев.

Один из современников Чаадаева пишет: «Журнальные статьи Чаадаева (речь идет о первом „философическом письме“, опубликованном в журнале „Телескоп“, в котором он излагает свой кощунственный взгляд на историю России. – И.Г.) произвела страшное негодование публики... На автора восстало все и вся с небывалым до того ожесточением в нашем довольно апатичном обществе».

Ожесточение было в самом деле беспрецедентное; как свидетельствует другой его современник: «...Все соединились в одном общем вопле проклятия и презрения к человеку, дерзнувшему оскорбить Россию»^[49].

Сегодня, когда обливание грязью истории и культуры России стало правилом для многих журналистов, историков и так называемых «средств массовой информации», – отрадно читать, что когда-то даже такой известный друг Пестеля, как П.Я. Чаадаев, был заперт под домашний арест, а его клевета – плод больного и воспаленного мозга – заставила правительство объявить его сумасшедшим. Поднялись против клеветника все как один потому, что у всех в душе жила совесть и патриотизм – любовь к Родине, над которой нельзя издеваться, как это делал якобы «христианский Философ» – как он сам себя называл – Чаадаев. Его нигилизм и ненависть к России развиты последующими учеными-западниками, коммунистом – ленинцем Покровским – вплоть до многих наших, еще недавно советских ученых.

Как известно, поэтами, художниками и музыкантами рождаются; это – дар Божий. Историками – становятся. Историк – это тот, кто в своих выводах опирается на изучение фактов и документов.

Я согласен с теми, кто считает, что история есть борьба религий, рас и народов. Вот почему марксизм, считающий историю борьбой классов и развитием товарно-производственных отношений, убивает само понятие истории.

Истории известны факты превращения ее иными учеными-историками, особенно нового времени, в идеологическую теорию, ничего общего не имеющую с исторической наукой. Апофеозом идеологии, а не истории, с моей точки зрения, является XX век – век наступления марксистской идеологии. К разговору об этом мы еще вернемся. Сейчас же отметим, что отцом «красной профессуры», заменившим историю идеологией, является друг Ленина М. Н. Покровский. Губительный вред, нанесенный им исторической науке, еще будет исследован историками будущей России в полной мере. Но до сего дня существуют последователи Покровского – «красная профессура», «красные академики». Иными, например, создан непререкаемый авторитет способного лингвиста Шахматова, который почему-то считается к тому же историком. Утверждения Шахматова тесно связаны с идеологией. Орудовавшая в канун революции партия «либерально-конституционных» демократов, называемых кадетами, яростно ненавидевших православную и самодержавную Россию, тоже вынашивала планы убийства царя^[50].

Не удивительно, что ее идеология была свойственна члену ЦК кадетской партии лингвисту Шахматову.

Для советских ученых непререкаемым авторитетом многие десятилетия был и остается по сей день маститый историк и археолог академик Б. А. Рыбаков. В большинстве трудов советских историков на него ссылаются и цитируют наравне с классиками марксизма-ленинизма.

Советский академик Д. С. Лихачев – филолог – в наши дни почти канонизирован, и кое-кто называет его даже «совестью нации». В своей искусствоведческой работе «Русское искусство от древности до авангарда» (1992 г.) Д. С. Лихачев утверждает, что славянофилы «мешали открытию ценностей искусства и литературы Древней Руси – их подлинному пониманию». Наш академик находит много общего в искусстве икон и авангарда...

В последнее время с авторитетом советских академиков Рыбакова и Лихачева стали конкурировать «исторические фантазии» поначалу гонимого, а затем превознесенного до небес советского историка, ныне покойного Л. Н. Гумилева.

Что объединяет большинство советских и постсоветских историков?

Общеизвестна – установка, что история славян начинается с VI века – как будто они упали с неба именно в это время. В научном исследовании этой проблемы огромную роль играет археология. И масштабы работы советских археологов были значительны, но по результату они являются, я бы сказал, отражением «исторического любопытства». Ибо советская археология в оценке изысканного материала лишена научного расово-национального подхода. Ученые рассуждения обычно сводятся к эпохе «ранней» или «поздней» бронзы, бытию неких «андроновцев» или представителей «срубной культуры». Археология становится наукой, когда отвечает на вопросы расового и религиозного происхождения ушедших культур. Археология для нас – основа изучения происхождения великого славянского племени, являющегося частью семьи арийских народов. Но до сих пор не создан специальный музей славяно-русской археологии.

Основателем русского государства считается, как известно, Рюрик со своими двумя братьями – Синеусом и Трувором. Приглашенные в XVIII веке в Петербург немецкие ученые Шлецер, Мюллер и Байер не знали русского языка, и наши летописи для их «научного толкования» им переводили на немецкий язык. Но, не зная русской истории и языка, они считали своей главной задачей вдолбить в головы русским, что славяне – низшая раса, а Рюрик был германцем, давшим начало русской государственности.

Великие русские ученые Ломоносов и Татищев, выступившие против немецких расистов, опираясь, на известные им источники, утверждали, что Рюрик был славянином, внуком новгородского князя Гостомысла. Академик Рыбаков и академик Лихачев упорно продолжают идею немцев, приглашенных в Россию, и называют Рюрика «конунгом», подчеркивая этим его нерусское происхождение, считают, что при звание его на княжение (после смерти его деда, новгородского князя Гостомысла) является ходячей легендой, не имевшей в истории России большого значения. При этом они неуклюже обходят тот факт, что у героя «легенды» был реальный сын – князь Игорь, заключивший с греками известный договор в 911 году. Так сказать, «нельзя не сознаться, но нельзя и не признаться». Норманизм и одновременно – нет. Как хочешь – так и понимай. Но тем не менее имя «легенды» – конунг Рюрик. И если Л. Н. Гумилев даже не касается проблемы знаменитого исторического документа, известного под названием «Влесовой книги», о которой сегодня говорят во всем мире, равно как и наши молодые талантливые историки, то столь непохожие друг на друга Б. А. Рыбаков и Д. С. Лихачев объединяются в своем лютом неприятии столь важной для нашей дохристианской истории языческой летописи, считая «Влесову книгу» подделкой. Но ее надо не отрицать, а изучать, как это делал ненавидимый ими великий ученый, эмигрант профессор Парамонов (Лесной), научные познания которого они также отрицают, называя его в советское время «духовным власовцем» (!), а ныне специалистом... по мухам! «Фальшивку» – не изучают!

Что же касается тоже канонизированного нашей либеральной научной общественностью Гумилева, заразившего своим «этнотомом» не только многих историков, но даже общественных и церковных деятелей, которые в погоне за «научностью» называют народ «этнотомом», – о нем, как и его книгах, – будет речь впереди, в особой главе. Сейчас же стремлюсь обратить внимание читателя на наукобразие прокрустова ложа марксизма и многих постулатов, царящих ныне в так называемой исторической науке. Удивляюсь, как наши ученые еще не додумались ввести в терминологию «русская гео», «немецкая гео» («гео» по-гречески означает земля).

Как просто и общедоступно писали не только «отцы истории» Геродот и Страбон, но и наши древние летописцы, не говоря уже о Карамзине, Ламанском, Гильфердинке, Геденове, Ключевском, Забелине и Егоре Классене. Но как трудно понять сочинения, да и сам стиль изложения многих советских и постсоветских историков, где наукообразная непонятность призвана запутать классически ясное изложение.

То же самое происходит и в искусстве, когда авангардизм «элиты» доступен только представителям той же самой «элиты». В темной воде наукообразия и формотворчества надежно скрываются основы понимания истории и искусства.

Все фантастические, не соответствующие, с моей точки зрения, исторической правде понятия «пассионарности», «этнотом» и «суперэтнотом», «Евразии», «Великой Степи» и «невеликой Руси» в двух словах расшифровываются просто: «Великая Степь» и монголы – хорошие, а русские – если и они даже и были – плохие.

Евразийство, столь модное в некоторых кругах историков, многими понимается как измена России в пользу туранцев. Даже Н. Бердяев говорил, что «Чингисхана они явно предпочитают св. Владимиру». Он писал также: «Иногда кажется, что близко им не русское, а азиатское, восточное, татарское, и монгольское в русском». Эти слова русского философа (с которым я во многом не согласен) – не в бровь, а в глаз попадают некоторым нашим евразийцам и прежде всего Л. Н. Гумилеву!

Особенно важным для познания русской истории Гумилев считает изучение Хазарского каганата. Личность великого полководца и государственного деятеля русской древности Святослава, разгромившего Хазарское царство, его мало интересует. Думается, что, может быть, и здесь сказалось влияние бесцеремонного Шахматова, стремившегося навязать свои сомнительные гипотезы, которые в наше время можно назвать идеологией.

В своей книге я хотел бы напомнить о деяниях наших, поистине великих, а также европейских и ученых, нарочито и злобно преданных забвению. Возвращаясь снова к Чаадаеву, хочется отметить, что он продолжил и развил русофобию, выступив, как и приглашенные в Россию немецкие ученые XVIII века (о которых читатель уже знает) – и «основоположником» расового бреда и отрицания очевидных фактов истории великого русского народа. Потому его клевета и делает Чаадаева, по утверждениям американских и иных «советологов», важным «философским явлением русской мысли». Очевидно, завидуя всем и вся, как и маркиз де Кюстин, он даже великого Гоголя характеризует. – как «просто ничего», как даровитого писателя, которого «через меру возвеличили, который попал на новый путь и не знает, как с ним сладить». Комментарии и здесь, очевидно, излишни. Я хотел бы ниже привести небольшие выдержки из отзывов других современников Чаадаева на его возмутительные писания.

Ф. Вигель, управляющий департаментом духовных дел иностранных исповеданий, в письме митрополиту Серафиму говорит:

«Самая первая статья представляемого сего журнала, под названием „Телескоп“, содержит в себе такие изречения, которые одно только безумство себе позволить может. Читая оные, я сначала не доверял своим глазам. Многочисленнейший народ в мире, в течение веков существовавший, препрославленный, к коему, по уверению автора статьи, он сам принадлежит, поруган им, унижен до невероятности. Если Вашему Высокопреосвященству угодно будет прочесть хотя половину сей богомерзкой статьи, то усмотреть изволите, что нет строки, которая бы не была ужаснейшею клеветою на Россию, нет слова, кое бы не было жесточайшим оскорблением нашей народной чести.

Меня утешала еще мысль, что сие так называемое философическое письмо, писанное по-французски, вероятно, составлено каким-нибудь иноверцем, иностранцем, который назвался русским, чтобы удобнее нас поносить. Увы! К глубочайшему прискорбию, узнал я, что сей изверг, неистощимый хулитель наш, родился в России от православных родителей и что имя его (впрочем, мало доселе известное) есть *Чаадаев*. Среди ужасов французской революции, когда попираемо было величие Бога и царей, подобного не было видано. Никогда, нигде, ни в какой стране, никто толикой дерзости себе не позволил. (Я абсолютно согласен с Ф. Вигелем! – И.Г.)

Но безумной злобе сего несчастного против России есть тайная причина, коей, впрочем, он скрывать не старается: отступничество от веры отцов своих и переход в латинское исповедание. Вот новое доказательство того, что неоднократно позволял я себе говорить и писать: безопасность, целостность, благосостояние и величие России неразрывно связаны с Восточною верою, более осьми веков ею исповедуемою. Сею верою просветилась она во дни своего младенчества, ею была защищена и утешаема во дни унижения и страданий, ею спасена от татарского варварства и с нею вместе восстала во дни торжества над бесчисленными врагами ее окружавшими. Стоит только принять ее, чтобы соделаться совершенно русским, стоит только покинуть ее, чтобы почувствовать не только охлаждение, омерзение к России, но даже остервенение против нее, подобно сему злосчастному, слепотствующему, неистовому ее гонителю. Разъединению с западной церковью приписывает он совершенный недостаток наш в умственных способностях, в понятиях о чести, о добродетели; отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки, говорит, что мы никогда не были христианами, и в исступлении своем наконец нападает даже на самую нашу наружность, в коей видит бесцветность и немоту.

И все силы хулы на отечество и веру изрыгаются явно и где же? В Москве, в первопрестольном граде нашем, в древней столице православных государей совершается сие преступление!»^[51]

* * *

Самоубийственный либерализм, к сожалению, характеризует историю общественной мысли России. Мне запомнилось, как великий, так называемый олимпиец Гете, прочитав сочинения одного – не помню имени – автора, который поносил все вся в Германии, справедливо сказал: если господину такому-то так не нравится Германия, ее народ и культура, то надо запретить ему проживание в нашей стране. Пусть он выберет ту страну, которая ему нравится, и там живет. Сегодня особенно важны слова Гете. Ну что ж, мне думается, это правильное решение! Вот и наши борцы за свободу, ненавидя Россию, оскорбляя ее и понося, должны были бы добровольно выселиться из нее, подыскать себе устраивающую их «страну пребывания». Ан нет, палкой не выгнать наших «правозащитников»-«освободителей», «друзей человечества». Попробуй я, например, будучи гражданином сегодняшнего Израиля, исходить к нему такой

же патологической ненавистью, как это делали и делают многие «русские интеллигенты», презирающие все русское, по отношению к России. Разве смогли бы такие «патриоты» найти убежище на земле предков, земле обетованной?...Думается, что сегодня на карте мира осталось только одно государство, живущее по своим национальным законам, имеющее свою национальную религию, – Израиль. Есть о чем подумать, есть чему поучиться.

Либерализм – это право быть терпимым, это – добровольно надетые на себя оковы беспринципной мягкотелости, ведущей к денационализации. Но какая непримиримая разница между понятием критики и клеветническим огульным поношением! Пресловутая свобода мнений. Это либерализм открывает дорогу террору и тирании «нового порядка». Ведь, придя к власти, сторонники свободы веротерпимости проявляют такую кровавую нетерпимость к инакомыслию, о которой мы знаем из истории последних десятилетий нашего Отечества. Да и только ли нашего? Где реализован лозунг: «Свобода, равенство, братство»? Нигде. Этот лозунг – средство к невиданной тирании и разорению когда-то процветающих народов и государств!

Удивительно, что журнал «Телескоп», напечатавший Чаадаева, в лице редактора журнала профессора Московского университета Николая Ивановича Надеждина, наплевав на железные рамки либерализма с его вседозволенностью поношения России, ответил Чаадаеву пламенной отповедью, которую сегодня многие «историки», «журналисты» и «социологи» расценили бы как недозволенный черносотенный националистический выпад. Ответ профессора и редактора «Телескопа», с моей точки зрения, настолько современен, что приведу из него обширную цитату, которая, я уверен, покажется тебе, мой читатель, нужной и современной. Ох, как современной:

«Так названное „Философическое письмо“, помещенное в 15 книжке „Телескопа“ за нынешний год, возбудило самое сильное и самое естественное негодование. Отрицая с каким-то диким ожесточением все наше прошедшее, говоря, что у нас нет преданий, нет воспоминаний, словом, нет истории, что мы народ исключительный, что мы явились в мир без наследства, без связи с другими людьми, что мы никогда не шли вместе с другими народами, не принимали участия в ходе и движениях европейского просвещения, это письмо возмутило, оскорбило, привело в содрогание нашу гордость. Как? Мы, русские, никогда не жили, ничего не сделали, ничем не наполнил историю? Этот дивный великий народ, который даровал свое имя седьмой части земного шара, который за тысячу лет озарился Божественным светом христианской веры, начала всякого просвещения, и разлил ее благодатные лучи на безмерном, ужасающем мысль пространстве, от подошвы Карпат до хребтов Алтая; народ, который в одно столетие успел присвоить себе все, что есть лучшего в европейской образованности, созданной рядами столетий, который в один год прошедший Европу из края в край с мечом победы и оливковой ветвью мира, начертал себе такую блистательную страницу во всемирной истории человечества, кой не может представить ни один из древних и новых народов света: этот-то народ поставить на самой крайней степени ничтожества? Такое дикое ослепление мало назвать просто заблуждением: бред, горячка, безумие! И этим безумием оскорбляется сколько здравый смысл, видя в нем совершеннейшее противоречие с действительностью, столько или еще более народная русская гордость, поруганная так обидно, так дерзко и еще несправедливо!»^[52] (Неплохо и сильно написано! Тогда еще не перевелись на Руси верные сыны Отечества!)

Виднейший государственный деятель, министр народного просвещения, один из светлейших умов России граф С.С. Уваров пишет Николаю I:

«...Должен сознаться, Государь, что повергся в отчаяние от того, что подобная статья могла быть напечатана во время моего управления.

Статью эту я считаю настоящим преступлением против народной чести; также и преступлением против религиозной, политической и нравственной чести... Направление (статьи. – И.Г.) совершенно неожиданно обнаружило не бред безумца, а скорее систематическую ненависть человека, хладнокровно оскорбляющего святыне святынь и самое драгоценное своей страны. Мне кажется, трудно найти где бы то ни было более прямое обвинение прошлого, настоящего и будущего своей Родины»...^[53]

Хочется закончить краткий обзор мнений оскорбленных и уязвленных русских людей того времени выдержкой из еще одного письма современника Чаадаева – Д. П. Татищева, адресованного С.С. Уварову:

«Филиппика Чаадаева, которую я вам возвращаю, может возбудить только негодование и отвращение... Под прикрытием проповеди в пользу папизма автор излил на свое собственное такую ужасную ненависть, что она могла быть внушенной ему только адскими силами. Опровергнуть это писание было бы не трудно, потому что его заключения выведены из противоречивых фактов. Где это ХУ веков единения между христианами Запада? До IX и даже позже половина Германии, Скандинавия, Богемия, Венгрия были языческими странами; в те времена готы в Испании были арийцами. Ломбардские короли притесняли папу. Сравнение народов Запада с греческой империей не заслуживает доверия. Упадок этой страны в эту эпоху – исторический факт, но где та нация, которая имела право презирать византийцев?

Принадлежит ли автор к тайным обществам, но в своем произведении он богохульствует против святой православной церкви. Он должен быть выдан церкви...»^[54]

Действительно, П. Чаадаев ярко воплощал в своих писаниях идеологию закулисных черных сил, работавших на разрушение нашего государства – последний оплот христианской культуры, – готовя антирусский путч 1825 года. Согласно историческим документам, опубликованным в последнее время, он состоял в следующих масонских ложах: «Соединенных братьев», «Друзей Севера» (блюститель и делегат в «Астрее»), носил знак восьмой степени «Тайных белых братьев ложи Иоанна». Чаадаев был также связан с деятельностью тайной антиправительственной организации «Союз благоденствия». Как и многие его сообщники-масоны, являющиеся, как бы сегодня сказали, агентами враждебных России европейских государств, он вынашивал планы уничтожения русского государственного устройства. После убийства Самодержца-Царя на развалинах монархии предполагалось создать масонскую космополитическую республику. Входивший также в «Союз благоденствия» декабрист Никита Михайлович Муравьев – правитель тайной Верховной думы и автор проекта «русской конституции» – закладывал в свои планы «нового порядка» то, что было впоследствии использовано большевиками и их наследниками – демократами.

Конституция капитана Н. Муравьева предполагала обезземеливание русского крестьянства при уничтожении крепостного права. Думаю, для нас особенно важно, что предполагалось также осуществленное ныне расчленение великой и неделимой России. Согласно созданной масонами в лице Муравьева конституции, Россия должна была быть расчленена на 15 самостоятельных (извиняюсь перед читателем: чуть было не написал «суверенных») держав, каждая из которых имела бы свою столицу.

Любопытный читатель должен прочесть, что нам готовили «Друзья народа» декабристы! Масоны различных лож, названия которых не могут ввести нас в заблуждение относительно их общей цели, дождались своего часа, воспользовавшись смертью в Таганроге Александра 1, чтобы под крик распропагандированных солдат и черни «Хотим Константина и Конституцию!» осуществить свой кровавый антигосударственный мятеж.

Великий русский царь Николай I усилием своей благородной и отважной воли спас тогда Россию от запланированной масонской бойни.

Как же вел себя на допросах один из идеологов и, на деле, участников мятежа русский дворянин Петр Яковлевич Чаадаев?

Здесь проявилось все: ложь, холуйское вранье, страх перед возмездием. (Как и в письме к Бенкендорфу – шефу жандармов.).

Вот цитата из его допроса 1826 года: «Вопрос: Кто сочинил имеющиеся между бумагами вашими стихи под названием „Смерть“ и другие, относящиеся к Занту?»

Ответ. Как стихи под заглавием «Смерть» и другие о Занте, равно как и прочие отрывки стихов, тут же находящиеся, сочинены известным стихотворцем Пушкиным».

Четко и определенно дал Чаадаев показания на «стихотворца Пушкина!» «Настучал» – как сказали бы сегодня.

Не входит в мою задачу анализировать увертки Чаадаева при выяснении вопроса о его принадлежности к масонской ложе «Соединенных братьев», с которой, как и с другими, он-де не общается, так как они запрещены Александром I в 1822 году.

Но на прямой вопрос, заданный допрашиваемому «русскому Бруту»: «Была ли какая-либо разница между закрытой ложью тайных белых братьев Св. Иоанна или ордена Иисуса Христа (! – И.Г.), коей вы были членом, и другими масонскими ложами, и в чем таковая разница заключалась?» – Чаадаев, со знанием дела, ответил: «Закрытая ложа тайных белых братьев принадлежала к обыкновенному масонству, в России принятому. Название же тайных белых братьев присвоено одной восьмой степени. Первые три масонские степени известны под именем Иоанновского масонства, следующие три выбрелевского (или востелевского), седьмой же и восьмой имеют особенное название».

Далее, видимо, испугавшись своих, выдающих его познаний масонской иерархии, он решил, как наши «зеки» говорят, «уйти в неосознанку»: «О существовании тайных обществ в России не имел другого сведения, как по общим слухам. О названиях же их и цели никакого понятия не имел и какие лица в них участвовали, не знал». (Он знал, что такое месть «братьев», но при этом боялся допросов.)

Если бы вели дело не чрезмерно гуманные русские прокуроры, допросы которых напоминали беседы классной дамы с опоздавшей на урок гимназисткой, и не являл своей милости Государь, боящийся «наказать невиновных», а, к примеру, его допрашивали бы следователи ЧК – ОГПУ НКВД, – мы, наверное, много узнали бы интересного и неожиданного для нас. Тайны оберегались надежно! Если бы не Победа 1945, то архивы ряда секретных масонских организаций (а русские ложи были филиалами западных) оставались бы для нас неизвестны по сей день. Масонские архивы как трофей были привезены в Москву, но оставались недоступными вплоть до 1991 года...Масонство – могучая, строго дисциплинированная

всемирная организация. Ее подлинные руководители остаются в тени. Но все тайное становится явным. А сегодня в поверженной России снова, уже без особой тайны, открываются все новые и новые масонские организации.

Но вернемся к допросу Чаадаева. Как милостив был царский суд и великодушен! Но из-за пяти казенных государственных преступников – организаторов подавленного заговора – сколько ненависти и клеветы пережила монархическая, устоявшая на ногах Россия! Как планомерно отрывалась от своих корней наша аристократия, призванная быть защитницей народа русского, а не механизмом слаженной интернациональной гильотины под знаком пентаграммы – звезды пламенеющего разума, «звезды освобождения». Я представляю, как бы себя вел Чаадаев и другие декабристы на известных политических процессах тридцатых годов, когда его мечты масона, ненавидящего Россию, сбылись – в кровавых лучах зари «нового мира»! Общеизвестна запланированность революций, когда гадина пожирает гадину, углубляя ее завоевания: казни масонов-революционеров, когда жертвами террора становятся те, кто – подготовлял и осуществлял революционные боины, несущие смерть и разорение народам Европы.

* * *

Жизнь Чаадаева исполнена непомерного и неудовлетворенного самолюбия, яростного служения масонским идеям. «Русский – антирусский», все осуждающий и изъясняющийся только по-французски барин, внук историка Щербатова, совсем потерялся в дебрях бесконечных лабиринтов тайных обществ – то будучи в ложе с цареубийцей Пестелем, то в иных масонских ложах. Герцен справедливо называл его революционером.

Очевидно, что Чаадаев, возбудив против себя лучших людей русского общества того времени, чувствовал свое одиночество благодаря возведенной им стене между ним и самодержавной Россией.

Он, однако, не мог не видеть разгрома революционного движения декабристов и величия государственной политики Николая 1.

Видимо, мечась в поисках выхода, он пытался опровергнуть свои прежние взгляды в письмах Жуковскому, Хомякову и даже к самому Государю, зачеркнуть сложившееся о нем впечатление.

Так, явно желая угодить Николаю 1 и вызвать его навсегда потерянное расположение, он в письме к нему заговорил даже о величии и мощи русского народа (какой пассаж!). Но патриотическая Россия уже отвернулась от него – в отличие от ее клеветников, взявших Чаадаева в свои вечные союзники.

«Брат» Чаадаев бесславно закончил свой земной путь в 1856 году, прожив более 60 лет. Он скорбел, что Россия приняла православие, а не идет по пути католичества. Его, объявленного сумасшедшим, в течение года посещали врач и полицмейстер...

* * *

Пора заканчивать о Чаадаеве, которого мы, однако, не изучали в советской школе, в отличие студентов европейских университетов и колледжей.

Закончу коротко: он, как и декабристы, был слепым орудием своих иностранных хозяев и духовных вождей, готовивших неуклонно крах нашей. Великой державы, расчищая путь к мировому господству.

Это несмываемое пятно позора на русском дворянстве, как и Пугачев – на русском казачестве.

Я понимаю теперь слова, прочитанные мной в далекой юности в мемуарах конца XIX века. Восторженный и, очевидно, уже подготовленный нацепить на свою грудь красный бант и воевать во имя народа, но против народа с ненавистным самодержавием, некий студент подлетел к одному из бывших в ссылке и вернувшихся в Петербург стариков-декабристов. (Где-то отмечался юбилей этих «мучеников и героев свободы».)

«Мы с вами, мы продолжим ваше дело!... Вы для нас пример!»

Восторженные глаза студента столкнулись с твердым и холодным взглядом все осознавшего русского дворянина, бывшего борца за «свободу, равенство и братство» и, конечно же, за конституцию и демократию (плодами которой мы наслаждаемся сегодня).

«Молодой человек, – ответил он строго, словно обдав холодной водой юного энтузиаста. – В эти декабрьские дни надо плакать и молиться...»

Да, не прояви Государь твердую волю монарха и Помазанника Божия, отца великой России, – наши «друзья народа» пролили бы море крови, как Марат, Робеспьер, Дантон... Организация та же – цели те же!...

Но тогда они не победили и были отброшены все почти на сто лет – до 1917 года.

Сегодня, на обугленных руинах русской цивилизации, мы должны, не поддаваясь ничьим внушениям, твердо и ясно определить для себя: кто мы и куда идем; и почему мы вправе гордиться нашей историей и деяниями наших великих предков! Миллионы русских людей живут и работают во имя возрождения великой России. Слава героям!

О человеке по имени Смерть

Безусловно, великому поэту и великому гражданину России Александру Сергеевичу Пушкину, с его безграничной любовью и верностью Отечеству (вспомним его высказывание о том, что он ни за что не хотел бы иметь другой истории России, чем та, которую нам дал Бог!), были глубоко чужды идеалы «нового мирового порядка» всемирного масонства. Я верю в то, что со временем будет четко и ясно обозначена причина убийства «солнца русской поэзии», как назвал его Жуковский. В состряпанной бытовой драме, приведшей к дуэли и смерти гения, как пишут некоторые исследователи русской эмиграции, возникает такая деталь, что Геккерен умолял отложить дуэль на две недели, потому что они были необходимы для доставки, как сейчас сказали бы – из-за рубежа, пуленепробиваемого жилета убийце Пушкина Дантесу.

Специалисты утверждают, что меткая пуля Пушкина (а известно, какой он был прекрасный стрелок – попадал даже в муху, летящую над ним, как это случилось, например, в Кишиневе!), хоть и ударила в пуговицу на груди Дантеса, не могла не достичь своей цели – «пустого сердца, бьющегося ровно», сердца палача Пушкина. Смертельная бытовая интрига против светящегося гения, тщательно продуманная черными силами. Как убить! – И убили...

Мне говорили, что исследователям, пытающимся проникнуть глубже в тайну пушкинской судьбы, уже в наше время, после октябрьского переворота, не выдавалось в архивах ни «дело» Пугачева, ни дело» кстати говоря, Маяковского о его мнимом самоубийстве. Писатель Солоухин утверждает, что и Александр Блок был также обречен на смерть через отравление пришедшими к власти сатанистами. Он много знал о тайных пружинах как февральской, так и октябрьской революций. Очевидно, слишком много узнал, работая следователем! Какие только изощренные формы не использовались для уничтожения людей в стране, которую, по выражению Ленина, «завоевали большевики!» Вспоминаю свой разговор с Аркадием Исааковичем Райкиным на берегу пруда в чудесной подмосковной усадьбе Суханово (где разместился Дом творчества архитекторов) – старом дворянском гнезде, сохранившем и до наших дней поэзию великой дворянской культуры. Аркадий Исаакович Райкин – мой земляк-ленинградец; еще будучи мальчиком, я запомнил фрагмент из его довоенных словно передач по ленинградскому радио:

Живу я в Ленинграде.

Зовут меня Аркадий,

А попросту Аркаша

Иль Райкин, наконец!...

Райкин был удивлен и тронут, что я привел на память в нашем разговоре свидетельство начала его артистической карьеры. «А я думал, это все забыли! Так давно это было – до войны», – грустно сказал он.

– Вы мой земляк, Илья Сергеевич, – говорил Райкин, – и мне столько раз, как, очевидно, и вам, приходилось ездить «Красной стрелой» из нашего города в Москву. Так вот, совсем недавно «последний из могикан» – старый проводник рассказал мне жуткую историю. За пять минут до отхода «Красной стрелы» – а дело было до войны – на перроне появлялся серый, ничем не примечательный лет 30-40 человек. В руке у него был небольшой чемоданчик, как у всех командировочных. Проводники с затаенным ужасом смотрели, к какому вагону он направляется. Называли они его между собой товарищ Смерть. Он садился, предъявив проводнику билет, на одно из мест мягкого двухместного купе. Заказывал чай, читал газету, с улыбкой беседовал со своими визави по купе. Но проводник знал, что на станции Бологое, единственной остановке между Москвой и Ленинградом, он постучится в дверь к проводнику и скажет, что с его соседом по купе плохо. И самое удивительное, – внимательно посмотрел на меня Аркадий Исаакович, – что всякий раз санитары с носилками уже ожидали на перроне. Они аккуратно клали умершего человека на носилки, покрывали простыней, а поезд продолжал стремительно мчаться в ночи. Никто не знал, как этот человек расправлялся со своими жертвами, но знали одно, что в Бологом выгружат труп...

Райкин остановился, прислонясь к поросшему зеленым мхом стволу дерева. Его лицо, столь известное нам, было болезненным, грустным, и, пожалуй, никто не признал бы в нем веселого шутника и балагура, короля советского смеха, которого знали и любили миллионы советских зрителей.

– Аркадий Исаакович, – спросил я, – а вы помните, что иногда по утрам в 30-е годы в Ленинграде около Литейного моста, напротив которого находилась ленинградская Лубянка (Литейный, дом 1), в воду, идущую по канализации из подвала этого заведения, спускали такое количество крови убитых за ночь, что с моста в Неве было видно красное пятно, которое разгонял специально прибывавший катер? Мне рассказывали об этом.

– Я знаю и многое другое, – ответил Аркадий Исаакович. – Но, извините, я боюсь за свое сердце. Я должен возвращаться с прогулки. Кстати, как сохранился здесь, я бы сказал, петербургский дух. Вам не кажется, что Суханово напоминает Царское Село? Здесь все словно овеяно пушкинской поэзией. Хорошо, что архитекторы устроили здесь для себя место отдыха. Хотя не понятно, почему сами они строят так безобразно? Он показал на далекий ряд новостроек, неумолимо наступающих все ближе и ближе на красоту этой чудом сохранившейся русской дворянской усадьбы. – И сейчас, когда опадают последние осенние листья, я каждое утро смотрю в окно, вспоминаю рассказ О. Генри «Последний лист».

Вы помните, для того, чтобы сохранить жизнь героине, которой показалось, что она умрет, когда с дерева под окном упадет последний лист, – его привязали к ветке. Вот... Нам никто не привяжет последний лист. Посмотрите, какие кругом голые деревья, какая страшная обнаженность и одиночество. Если бы я был художником, как вы, я бы тоже писал эти пейзажи. Успехов вам!

...Я помню его сгорбленную фигуру, поднимающуюся по аллее... Холодный осенний ветер, прибитые к земле черные ветви старинного парка и земля, засыпанная золотом навсегда опавших листьев... Он никогда не смеялся над своим народом...

Суханово – «Сухановка»

Раз уж я упомянул об элегической красоте усадьбы Суханово, принадлежавшей до революции семье князя Голицына и словно являющейся живой иллюстрацией к журналу русской аристократии «Столица и усадьба», то не могу исторгнуть из памяти леденящее своим ужасом название «Сухановка», или, как в свое время писатель А. Солженицын определил: «Эта страшная тюрьма Сухановка».

Совсем недавно, уже в 1996 году, войдя в вестибюль созданной мною Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, я заметил седого, сильно облысевшего, но крепкого и плотного, небольшого роста человека, со вставленным в левое ухо слуховым аппаратом. Через несколько минут я узнал, что это архитектор-реставратор Леонид Георгиевич Ананьев, который сказал, что у него ко мне как к художнику и как к ректору Академии есть очень важный разговор. Я спешил на просмотр дипломных эскизов, но что-то заставило меня усадить его в кресло в зале ученого совета, где он, бегло оглядев лица наших художников и преподавателей, приступил прямо к делу: «Вы, может быть, слышали о знаменитой „Сухановке“ – самой страшной тюрьме, созданной Сталиным, которую он называл „мой зверинец“.

Леонид Георгиевич, глядя на меня бесстрастно, но с внутренним волнением, продолжал: «О „Сухановке“ говорят, но конкретно никто о ней не написал во всей исчерпывающей полноте. Это был совершенно секретный объект! Она находилась в Свято-Екатерининском монастыре, основанном в XVII веке и расположенном поблизости от усадьбы Суханово. Замечу, кстати, – продолжал наш гость, – что это был один из красивейших монастырей Подмосковья, а теперь Москвы, поскольку он ныне находится уже в черте города. Раньше это был мужской монастырь, но после русско-германской войны 1914 года он стал женским и был отдан монахиням-беженкам из западных районов России». Наш гость реставратор-архитектор рассказывал спокойно, как экскурсовод: «После революции параллельно с лагерем смерти – монастырь ведь большой – была создана тюрьма-колония для малолетних преступников. То есть Свято-Екатерининский монастырь и с этой стороны постигла участь многих обителей России, когда их ограбление, осквернение и закрытие оправдывали необходимостью устройства в них колоний беспризорников.

Колонии малолетних уголовников, как и само явление многих тысяч беспризорных, есть следствие организованной гражданской войны, когда в рядах беспризорных оказались дети, родители которых были убиты, погибли от голода или замучены в застенках ЧК. И организация колоний в монастырях была продуманным ходом большевиков в политике разгрома древних обителей. Общеизвестно, во что был превращен Соловецкий монастырь»...

«Кстати, относительно недавно, – продолжал гость, – когда в Свято-Екатерининском монастыре прокладывали кабель, в склепе нашли также лежащих друг на друге монахинь, расстрелянных в 20-е годы. История создания Фабрики смерти „Сухановки“, похоже, такова. Говорят, однажды Джугашвили в два часа ночи вызвал Гершеля Ягоду и Николая Ежова. Разговор был о том, что Лубянка непригодна для тайного содержания заключенных – врагов его – Сталина. Перед руководством ГПУ, а по-прежнему – ЧК, была поставлена задача создания тюрьмы особого типа, о которой бы никто не знал и не было бы никакой документации.

Ягода после этого разговора якобы был послан в Америку, откуда привез четыре котла, в которых сжигались бесчисленные трупы личных жертв Сталина. Местные жители мне рассказывали, что особенно интенсивно из лагерной трубы шел дым во время войны – черный-черный – день и ночь».

Мы слушали, не задавая вопросов. А я все думал: как проверить – правда это или неправда? Он продолжал: «Повторяю, что я, по скудным крохам некоторых свидетельств, привожу факты, которые мне удалось узнать. „Верхушку“ обычно везли в „Сухановку“ на автомобилях, других – в закрытых фургонах „Мясо“ и „Хлеб“. Местные жители рассказывали, что поражались количеству таких фургонов,

прибывавших сюда днем и ночью, удивляясь, что так хорошо снабжается детская колония, а во время войны – воинская часть, защищающая рубежи столицы.

Никто и не подозревал, что молох комбината смерти требует все новых и новых жертв. На Лубянке, говорят, хоть я лично и не мог проверить – кто я такой? – не сохранилось никаких документов о людях, уничтоженных в лагере «Сухановка». Но в «Сухановке», превращенной в фабрику смерти, по обрывкам собранных мною сведений, была уничтожена подавляющая часть вождей так называемой ленинской гвардии – Бухарин, Рыков Томский и другие; представители церковной иерархии, интеллигенции и военных – как белой, так и красной гвардии. Говорят, здесь, после длительных допросов, уничтожены похищенные в Париже Кутепов и Мюллер».

Посмотрев на меня своими спокойными серыми глазами экскурсовода, архитектор-реставратор продолжал: «В одном из храмов на втором этаже был организован трибунал; остатки его до сих пор видны. Почему-то ножки металлических стульев и стола были вделаны в пол, а нынче спилены. Самое интересное, – зловеще зазвучал его голос, – что после вынесения приговора и якобы приведения его в исполнение; о чем сообщала газета „Правда“, многие приговоренные еще влачили свои дни в „Сухановке“. Мне говорили, что до войны еще были живы Зиновьев, Рыков, Каменев, Бухарин и другие. В подземелье якобы сделали железные клетки, приблизительно в высоту один, а в ширину два метра, для содержания „врагов народа“. Отсюда, очевидно, и определение Сталина: „мой зверинец“. В „Сухановке“, как утверждают многие, был не только кабинет главы ЧК – ГПУ Ягоды, но и личный кабинет Сталина. Кровать в нем была низкая, как в грузинских аулах, и с искусственным подогревом.

Первыми серьезными заключенными, как говорят, были Каменев и гроза Ленинграда чекист Зиновьев со своими соратниками. Здесь Сталин их и ломал. Их приводили из клеток, и Сталин любил с ними побеседовать за роскошным столом, обещая им сохранить жизнь, если они помогут ему уничтожить троцкизм.

Далее, после такой мирной беседы и роскошных яств, их снова отправляли в клетки в подвал. Как и когда они погибали – неизвестно, их или сжигали в крематории – возможно и заживо, – или расстреливали. Ведь нашли же недавно в яме неподалеку, в Бутове, ужасающее множество скелетов с пулями в черепах». Мы сидели, слушая его затаив дыхание – а он невозмутимо продолжал: «В „Сухановке“ погибли также многие иностранцы: французы, немцы, итальянцы, венгры, поляки, югославы, испанцы. Рассказывают, что Берия и Сталин вроде бы любили вызывать из „зверинца“, например, гигантского роста шведа Валленберга, который, как вы знаете, выкупал евреев у Гитлера, естественно, за большие деньги. Рассказывают, что последний раз, очевидно незадолго до уничтожения, его видели превратившимся в скрюченного, словно от ревматизма, старика. Сталин любил через глазок в стене наблюдать за допросами. Эта страшная страница истории России, имя которой „Сухановка“, повторяю, никому не известна, так как документов не оставалось, а немногочисленных свидетелей нужно искать, потратив на это много времени. В конце 40-х годов в бериевском корпусе, по слухам, еще существовала каптерка, где висели костюмы и маршальские кителя с бирками фамилий „врагов народа“. В них они были на процессах и в тот момент, когда их брали, чтобы увезти на фабрику смерти».

Леонид Георгиевич Ананьев, словно сам себе, задал вопрос: «Или эти костюмы и кителя находятся теперь где-то на Лубянке, или уничтожены Берией? Страшный гардероб с бирками их бывших хозяев! Повторяю: о Лубянке знали все, о „Сухановке“ – никто. Даже местные жители не догадывались, что там творилось. Кстати, каждая смена аппарата ЧК – ГПУ-НКВД завершалась тем, что ведущих чекистов свозили в ту же „Сухановку“, где пытали и потом сжигали в котлах, которые до сих пор находятся под монастырским полом, а труба, как и многие другие следы лагеря, уничтожена в 1953 году. Известно также, что каждый год менялась и охрана „фермы особого назначения“ – сталинской тюрьмы для особо важных „зверей“. „Мертвые умеют молчать“, – любил говорить Сталин. Потому никто не знает, куда девались люди, обслуживавшие лагерь смерти.

Рассказывают, что в конце 30-х годов врача дома отдыха «Суханово» Иванова ночью подняли с постели. Его привезли в «Сухановку», долго вели по подземелью, по бокам которого стояли железные клетки с людьми. Подведя врача к одной из них, надзиратели вытащили из нее человека, который еле дышал, хоть дышать было нечем – воздух был пропитан запахом испражнений. Иванов ничем не мог помочь этому умирающему человеку. Приехав домой, он рассказал родным и знакомым об увиденном ужасе, но вскоре, по прошествии короткого времени, вдруг скончался».

Реставратор-архитектор посмотрел на нас, особенно внимательно на меня, и сказал, что он приехал, однако, не рассказывать нам об ужасах, а с деловым предложением. «Как я уже говорил, в 1953 году, в год смерти Сталина, лагерь смерти был уничтожен. Ныне монастырь восстанавливается – необходима гигантская реставрация. Вот в связи этим я и прибыл к вам в Академию. Я предлагаю открыть при ныне действующем монастыре мастерскую иконописи, где обучались бы молодые люди, и, надеюсь, из некоторых впоследствии могли бы получиться замечательные иконописцы и художники-реставраторы

настенной живописи. Денег у монастыря нет, но мы обещаем кормить, поить и предоставить для них жилье...»

Глядя на меня строго и взыскующе, забыв плавную интонацию гида, неожиданно резко сказал: «Там все кровью пропитано. Вы говорите о возрождении России – ваш долг откликнуться на наше предложение. Ваши студенты будут довольны».

Когда он ушел, оставив на столе свое воззвание – «Обращение к совести России», мы долго сидели потрясенные, каждый думал о своем...

Я привожу рассказ Леонида Георгиевича Ананьева для тех историков, писателей и журналистов, которые захотят не только проверить рассказ нашего гостя, но и провести всестороннее расследование, как и почему возник этот страшный комбинат смерти, и кто окончил свои дни в известной, но малоизученной «Сухановке». Нас уже трудно удивить, мы многое знаем о том, как монастыри древнего благочестия Святой Руси превращались в лагеря смерти. И все же, наверное, не случайно мне вспомнилась еще одна, полная удивления фраза Ананьева: «Реставрируя монастырь, мы никак не можем объяснить, почему столько кабельных проводов прямо-таки пронизывают землю „Сухановки“...»

Рассказ нашего гостя не мог оставить равнодушным ни меня, ни, я надеюсь, читателя. Общеизвестно, что уже несколько лет действует правозащитное общество «Мемориал», которое интересуется только жертвами эпохи «культа личности». Слов, нет, как важно для грядущих поколений знать и понимать суть кровавого террора Сталина. Но как быть с теми жертвами, реки крови которых пролились до Сталина, с первых же дней «бескровной русской революции»? До сих пор мы не можем назвать точную цифру миллионных жертв, которых Ленин называл «насекомыми». При сравнении числа жертв 1937 года, который для многих кажется самым страшным в истории Советского государства – с огромным количеством жертв «большого террора», эту эпоху следует, скорее, называть «большевистско-ленинско-троцкистской» эпохой тех, чьи идеи были беспощадно осуществлены бывшим семинаристом Сосо Джугашвили.

* * *

Один мой друг, наверное, справедливо заметил, прочтя приведенный мною рассказ реставратора о «зверинце» Сталина: «Старик, не верится во все эти апокрифические ужасы: клетки, котлы в подвале, где сжигались столь известные личности, о которых мы многое знаем. Может быть, твой рассказчик был троцкистом, не забывшим сталинских процессов 30-х годов? Не отсюда ли его особая ненависть к Сталину? Да, возможно, была такая тюрьма. Да, уничтожались люди. Это было страшное время, когда гадина пожирала гадину». Он темпераментно продолжал: «Редакции наших журналов завалены такими лагерными апокрифами. Все это надо проверять. Но я с тобой абсолютно согласен и считаю нужным, чтобы наши многоопытные журналисты провели свое журналистское расследование, тем более что речь идет о монастыре, находящемся уже на территории Москвы. Мы с тобой знаем слова Достоевского о том, что нет ничего фантастичнее реальности. И разве мы могли бы предполагать еще пять лет назад, с какой сатанинской ловкостью будет в одночасье разрушена одна из самых великих держав мира? Могли ли мы допустить, что военные заводы станут выпускать кастрюли, а боевые корабли и танки распиливаться на металлолом? Ведь и когда вышли книги Солоневича, Краснова и Солженицына, мало кто на Западе, прочитав их, поверил в реальность страшных фактов жизни за „железным занавесом“. Думаю, что факт существования сталинского „зверинца“ надо скрупулезно проверить».

Я не спорил с моим другом. Я только запомнил и записал рассказ нашего странного гостя о тюрьме «Сухановка».

О «Казимире Кронштадтском»: «Мы можем!»

Я был первым, кто публично сказал на вечере «Огонька» в ЦДЛ, опираясь на известные мне данные, о зверском убийстве Есенина. Тогда притихший зал Центрального Дома литераторов замолк, но раздались одиночные крики протеста, перешедшие во всеобщий гул: «Как он смеет!» Однако я знал, что говорил, ибо один из самых удивительных людей, встреченных мною в жизни, – Казимир Маркович Дубровский, отсидевший в советских лагерях около тридцати лет, рассказал мне об этом.

Великий ученый Бехтерев называл Дубровского, тогда еще молодого студента, надеждой русской науки; вечерами же Казимир Маркович посещал рисовальные классы Рериха.

Позднее, когда началась его жизнь на одном из островов архипелага ГУЛАГ, он не забыл уроков в обществе поощрения художеств. Я помню эти рисунки художника и врача!

Не зря прошли уроки рисования у Рериха. Видя вокруг себя смерть и анализируя симптомы совсем неизвестной медицинскому миру болезни, возникающей от унижений, голода, безысходности, Дубровский проследил ее ход, запечатлев свои наблюдения в альбоме рисунков, столь ценных для медицины.

Медицинское издательство отказалось печатать этот замечательный альбом врачебных рисунков на том основании, что в Советском Союзе не может быть такой болезни. А на его предложение – сказать в предисловии, что это почерпнуто из лагерей смерти немецкого фашизма, – издательство не «клюнуло». «Власти нас не поймут» – сказали там.

Напомню, что сразу же после октябрьского переворота, как известно, «борцы за свободу и равенство» вышвырнули из всех учебных заведений России детей дворян, промышленников, духовенства и т. д. Та же участь, среди прочих, постигла и любимого ученика Бехтерева, художника, польского дворянина Казимира Дубровского.

Он стал работать на «скорой помощи». Однажды во время его дежурства зазвонил телефон, и в трубке прозвучала команда: «Немедленно поезжайте в „Англетер“. Повесился Сергей Есенин». Он первый вошел в комнату, носящую следы бешеной драки, и увидел, что на фоне красной занавеси, под которой проходила труба отопления (оставившая, как известно, на щеке повешенного багровый след ожога), словно парил в воздухе, чуть-чуть оторванный от земли, будто вставший на цыпочки со свесившейся копной светлых, как рожь, волос, певец крестьянской Руси Сергей Есенин. Вербка как и портьера, была тоже красная, и потому впечатление от увиденного было глубоко мистическим и страшным.

Казимир Маркович помнил даже, что скатерть со стоявшей на ней и разбитой вдребезги посудой была снята со стола, вероятно, во время сопротивления поэта убийцам.

– А как же письмо, написанное кровью? – спрашиваю я. Казимир Маркович горько усмехнулся: «Потому оно и написано кровью, что так труднее опознать почерк, становящийся более размытым.»

Теперь все знают, что Сергея Есенина убили...

Дубровский проработал на «скорой помощи» не один месяц. Незадолго до смерти он, заклеянный советской прессой 60-х годов как «Казимир Кронштадтский», показывал мне в Харькове рукопись воспоминаний об этом жутком времени, когда Петербург жил ужасной жизнью беззакония, убийств, ограблений. Казимир Маркович сидел, опустив глаза – пронзительные, бело-голубые в минуты духовного напряжения, которые горели на его странно-колдовском лице с благородной формой (словно на римских бюстах) носа; лицо, изборожденное глубокими морщинами страданий долго прожитой и мучительной жизни. Я всей душой любил этого удивительного человека и гениального ученого – врача-терапевта наших недугов.

– А о каком другом ярком случае, кроме как с Есениным, можете вы еще рассказать? – допытывался я.

Потирая лоб, он ответил:

– Их было много, и все они страшные. Ну вот, например, один из обычных. Нас, бригаду «скорой помощи», вызвали перепуганные жильцы одного из домов; из соседней квартиры раздавались крики о помощи и удары в стену. Нам пришлось ломать дверь, разумеется, с дворником и понатыми. Ворвавшись внутрь, мы увидели пронзительной красоты шестнадцатилетнюю девушку, обнаженную, как Даная, лежавшую на смятой постели и, словно в беспамятстве, бьющую пяткой в стену с криком: «Помогите! Помогите! Помогите!» На ней лежал голый шестидесятилетний мужчина – он был мертв. Как выяснилось, им оказался один из известных сотрудников ЧК, друг Зиновьева, с которым, чтобы не расстреляли ее семью, должна была сожительствовать юная гимназистка, семья которой принадлежала к древнему дворянскому роду. Подняв на меня глаза, исполненные глубокой муки, Казимир Маркович продолжил свой рассказ. – Юная красавица, мелко дрожа и натягивая на себя простыню, объясняла: «Если бы я сбросила с себя труп без свидетелей, то меня бы обвинили в убийстве этого чекиста, обвинили бы в контрреволюции и антисемитизме. Вы должны были засвидетельствовать, что он умер на мне, и я не помню, сколько прошло времени, пока я была под холодеющим телом покойника, думая, что сойду с ума... силы мне давало только то, что я думала о своих близких, которых этот старый негодяй обещал расстрелять, если я не стану его любовницей.»

Много страшных историй тех лет поведал мне Казимир Маркович...

Дубровский занимался также передачей мыслей на расстояние и, доживи он до наших дней, не сходил бы с экранов телевидения. Достаточно сказать, что Кашпировский с большой гордостью говорил мне, что учился у Казимира Марковича Дубровского, когда тот, отсидев в лагерях, получил маленькую квартирку в Харькове и должность врача в железнодорожной больнице. С кем только он не встречался в местах заключения: бывшие царские министры, члены Временного правительства, сибирские шаманы, художники, философы, ученые, священники...

– Я католик, вера в Бога дала мне силы вынести этот ад, который не мог бы описать даже Данте, – рассказывал он. – Я помню каждую минуту, проведенную в этом аду. Сколько людей погибало у менз на глазах, – О! Я многому научился от тех, кого безжалостно уничтожали. Думаю, не просто будет найти огромные ямы и рвы, где, как собаки, закопаны лучшие люди России. Хотя в лагерях сидели не только

три минуты заговорите, следуйте только одному правилу: спокойно наберите воздух и постарайтесь, как певцы, сосредоточить внимание на гласных. Например: те-е-е-пло, лю-ю-ю-бовь... Ну, а теперь, – вонзил он взгляд в лица людей из шеренги, – кто первый хочет сказать? Но не надо пока говорить, а только поднимите руку».

Подняли руки маленькая девочка и седой человек в военной гимнастерке, на которой были колодки орден и медалей.

«Ну, давай начнем с тебя, – сказал Казимир Маркович девочке. – Не спеши, скажи мне, как тебя зовут и в каком классе ты учишься?»

Зал онемел в ожидании чуда, веря в него и не веря. «Смотри мне в глаза и отвечай», – властно сказал Дубровский. И произошло чудо: нежным и сильным голосом девочка спокойно сказала, восторженно глядя в глаза Казимиру Марковичу: «Я – Марина Сидорчук, ученица третьего класса.»

Зал ахнул, и почти у всех нас выступили слезы на глазах. Единственный, кто остался невозмутим, – это Казимир Маркович. Как бы не чувствуя великого момента обретения речи, – спросил: «Прочти нам стихотворение Пушкина, которое ты знаешь». Она начала: «Мороз и солнце, день чудесный...», и вдруг, опустив глаза, запнулась. Лицо ее приняло на какой-то момент выражение неверия и муки. «Ты стала новой! – строго сказал Дубровский. – Не вспоминай того, что было. Пой гласные». Девочка подняла глаза, и мы услышали: «Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись...»

«Хватит, – заключил он. – Кто следующий?» Плачущие родители прижимали к сердцу свою девочку. Заговорили и все остальные...

* * *

...Дубровский сидел дома ничуть не усталый и ел шоколад. Подняв на меня взгляд, сказал:

– Надо есть шоколад, в нем много энергии.

– Казик не обедает никогда, а ест шоколад, – заметила его жена.

– Казимир Маркович, а что это у вас за стеклянный шар на столе? – любопытствовал я.

– Это предмет моей духовной гимнастики. Я каждое утро смотрю на этот шар. Если человек живет и действует во имя высшего начала любви к людям, он все может и побеждает. Бойтесь шарлатанов и черной магии. Бойтесь сатанизма во всех его проявлениях. Вы читали «Протоколы сионских мудрецов»?

– Читал, – лаконично ответил я на его вопрос. Он помолчал...

Над столом у него висела благодарственная грамота от харьковской милиции.

– Расскажите об этом, – попросил я.

– Дорогой Илюша – в двух словах. Вы прекрасно знаете, – он показал на телевизор, – что ни он, ни радио, ни магнитофон не будут работать, если их не включить в сеть – в источник энергии. Я тоже отдаю энергию. Я «включаю в свою сеть» человека, который, может быть, и ничем не примечателен, но душевная организация которого, после подключения к моей энергии, напоминает этот телевизор. Некоторые называют таких людей медиумами. Ясновидение – это другое. Я говорю о человеке, который, будучи включенным в меня, становится ясновидящим. Я чувствую, кто может быть для меня таким экраном. И вот, когда в Харькове пропал четырнадцатилетний мальчик, безутешная мать обратилась в милицию с просьбой о розыске сына. Но все поиски были безрезультатными. Тогда обратились ко мне. Кстати, Илюша, вы слышали что-нибудь о Гурджиеве?

– Мне о нем много рассказывал Виталий Васильевич Шульгин, вы знаете, кто это, – ответил я. – Гурджиев нашел его пропавшего сына, когда бушевала гражданская война.

– Ну вот, тогда с вами легче разговаривать. На этот раз моим экраном, или медиумом, был простой гардеробщик. Я ввел в состояние транса, показал фотографию мальчика. И он через несколько минут сказал мне, что видит его идущим вдоль деревни. Я приказал ему спросить, что это за деревня и где находится. Он назвал глухую деревню в далекой Сибири.

«Почему ты очутился так далеко от дома?!» – был следующий вопрос.

Мальчик объяснил, что его обижал отчим и он, вспомнив о дальней родственнице, живущей в Сибири, уехал к ней, чтобы избежать побоев отчима и ссор с матерью.

– Как видите, – улыбнулся Дубровский, – я за это получил почетную грамоту от милиции.

Человек не знает своих возможностей до конца, и мы, – подчеркнул он слово «мы», – должны помогать людям.

– А кто это – «мы»? – робко спросил я, глядя на лицо «колдуна», как называли его многие. Глаза вдруг у него снова стали бело-голубыми. Комкая руками серебристую обертку шоколадки «Аленушка», он серьезно и коротко ответил: – Верующие.

– А вы можете передать этот дар другим? – поинтересовался я, зная, что представители Министерства здравоохранения СССР пытались прислать к нему учеников. Опустив глаза, он произнес:

– Поймите меня, Илюша, правильно. Леонардо да Винчи – один, Шаляпин – тоже один. Я, разумеется, не имею в виду свою скромную персону. Так мог ли Леонардо или Шаляпин передать свой дар другим? Что вы на это скажете? Так вот и я могу указать лишь путь и направление, в котором надо работать. – Он улыбнулся ласково. – Ведь не может же быть второго Дубровского или второго художника Ильи Глазунова...

Несмотря на то, что Казимир Дубровский показал пути и горизонты науке XX века, – врачи, чиновники советской медицины, увидев, что его личность и возможности составляют тайну его внутренней жизни, начали против него кампанию травли, называя его шарлатаном и мистиком. Не помогали и тысячи писем от людей, которых он вылечил, так же как не помогла и грамота от харьковской милиции. Очевидно, многие пытались вырвать у него тайну его воздействия на людей, но не смогли. Я слышал, что ему даже запретили лечить. Он умер в нищете и неизвестности. Альбом его, как мне известно, несмотря на старания Михалкова, до сих пор не вышел в свет. Издание его было бы самым страшным документом о человеческой психике, раздавленной победоносным шествием глубоководного и безжалостного масонского «Коминтерна», прокладывающего путь к «новому мировому порядку», основанному на геноциде разноплеменных народов мира. Россия оказалась самым трудным орешком... Но они упорно ведут нас «от разочарования к разочарованию.» Так задумано и осуществлено! Но не до конца! Мы у врат адовых...Верно, не одолеют...

Жизнь для него была и мукой, и адом. Но любовь к людям и вера в добро – бесконечной. Повторяю, это один из самых интересных людей, которых я встречал в жизни. Для меня, как и для многих, знавших его, он навсегда остался загадкой. Мир праху твоему, великий русский ученый!

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Велико незнание России посреди России...

Н. Гоголь

Я очень дружил и дружу с Эдиком Выржиковским или, как его называют, Выржиком) – талантливым и цельным художником. Мы вместе сдавали экзамены в СХШ, он был старше меня и рассудительней. Его страстью с юности было ездить по древнерусским городам и рисовать храмы Божии, пейзажи и людей, виртуозно передавая их характер и сходство с моделью. Рассказывал он о своих; поездках увлекательно, с жаром, и мы любовались его прекрасными строгими рисунками, заставлявшими вспоминать высокий реализм рисунков Репина, Васильева и Макарова, когда они вместе ездили на Волгу и Репин искал персонажей для своих бурлаков. Однажды мы поехали с ним в Таллинн. Было холодно и морозно. Уходящие в небо шпили готики, старые дома в стиле немецкого барокко, сдержанные, не любящие русских люди...

«Холодно, Выржик. Карандаш выпадает из рук», – жаловался я другу. «Ах ты, Глазунишка изнеженный, – возмущался он, – а как же я рисую?» С тех пор, преодолев муки холода, до сих хожу без перчаток и могу рисовать на любом морозе.

Вспоминаю таллиннское кафе и нашу застенчивость из-за своих грязных свитеров перед шиком европейских официантов с бабочками. Мы рисовали и в кафе. «Цвай юнге руссише малер», – поясняли друг другу официанты. Тихо играла музыка, почтенная публика благожелательно смотрела нас.

В Ленинграде Выржик поражал всех находками неожиданных «точек» для своих пейзажей. То на крышу Аничкова дворца заберется, то чуть не на купол Петропавловского собора. Он очень любил Левитана, Юона и пронес любовь к русскому пейзажу до сего дня. Сменив на протяжении жизни нескольких жен, народив много детей, он завоевал себе славу прекрасного художника-пейзажиста. Я помню, как он приехал из деревни Петрищево, где согласно дипломной теме для картины о Зое Космодемьянской, встретился с живой тогда старухой, помнившей всю историю с героиней, замученной немцами. Подняв на меня глаза, полные уныния, Выржик сказал: «Все было не так, как пишут о ней...Не могу я теперь писать эту тему». Его бабушка Феня, живущая в деревне, много раз вдохновляла Эдика на прекрасные этюды. Учился Выржик вместе с Валькой Сидоровым, с которым дружил. Валька, ныне – Валентин Михайлович Сидоров, тоже талантливый пейзажист, возглавляет правление Союза художников России. Его рассказы о гибели родной деревни, вырубке фруктовых садов, о коллективизации живут в моей памяти как документы великих страданий русского народа, наполненные живой болью патриота, очевидца-художника.

Как говорил Петр, «Сенаторы – добрые люди. Сенат – злая бестия». Со сколькими художниками связан годами учебы и студенческой дружбы! Общась со мною, они прежние и «добрые». Но собравшись

вместе, превращаются в «злую бестию», когда их объединяет ненависть к треклятому Глазунову, которого всю жизнь они травили, игнорировали. Ни разу в жизни Союзы художников России и бывшего СССР не организовали ни одной моей выставки и не закупили ни одной работы. Бог им судья! «Их бесит, – объяснял мне один друг – художник, – твоя самостоятельность и независимость. Ты не ходишь к ним просить и кланяться, да и миллионные очереди на твои выставки не дают им покоя!» – Но я же не виноват в этом», – оправдывался я. «Ты виноват в том, что ты Глазунов», – улыбнулся он. Так я и прожил под черными лучами ненависти Союза художников!

Спасибо Вале Сидорову, а точнее – Валентину Михайловичу Сидорову, что он поставил тогда – о чудо! – свою подпись, разрешающую мою последнюю выставку в Манеже. В те времена важно было идеологическое поручительство, а не деньги. Живет он одиноко, разрываемый на части общественной деятельностью, и только в деревне, куда он уезжает писать пейзажи, обретает покой и отдохновение души.

Но возвращаюсь к давним годам нашей учебы. Выржик неумоимо тянул меня, особенно после таллиннской поездки, на Русь.

Мне было семнадцать лет. Была весна. Мой друг сказал: «Поедем в Углич – вот где Русь-то настоящая!» С Угличем у меня связано чистое и светлое воспоминание, когда впервые в жизни красота древнего лика России поразила и навсегда вошла в сознание великим и волнующим чувством Родины. То же чувство, наверное, испытывает сын, наконец нашедший отца, о котором так часто и бессонно думал в одиночестве сиротской доли. Один поэт говорит, что любовь начинается с изумления. Какая красота, какое чудо! Маленькие домики, купола соборов, словно каменные цветы, прорастающие над горизонтом... Нет, не цветы – рати в надвинутых шлемах... А за Волгой дали, дали бесконечные.

Звон капель, падающих в синеву луж, ржание лошадей, обрызганные грязью грузовики. А вот и базар! Старый гостиный двор, будто у Лескова и Мельникова-Печерского. Справа и слева могучие соборы – все разные, и все единые в своей древней красоте. А дети! Вон девочка – глазки, как лесные озерки, белые волосики соломкой... Мальчишки серьезно, как взрослые, возятся с лошадьми. А дальше, на Волге, одинокие фигуры смельчаков, обходя полыньи, пробираются на ту сторону. Дали необъятные. Волга...

В седой древности теряются истоки преданий «богоспасаемого града» Углича. Название Углич получил, видимо, оттого, что Волга здесь делает угол. Местные летописи рассказывают, как один из родственников княгини Ольги, боярин Ян, объезжая Русь, был в Угличе и, пленившись красотой местности, построил себе здесь дом на крутом берегу Волги. До сих пор в городе есть местность под названием «Яново поле». В 1380 году углическая дружина участвовала в Куликовской битве, предводительствуемая известным русским полководцем XIV века угличским князем Владимиром Андреевичем, получившим прозвище Храбрый. До недавнего времени в Угличе сохранялся камень, глубоко сидевший в земле, с отпечатанным на нем следом, вроде большой петушиной лапы. Камень этот дал название целой слободе – Петуховой. К сожалению, всего несколько лет назад этот камень был разбит на щебень при ремонте дороги.

С Петуховым Камнем связано одно из поэтических сказаний древнего города. В нем говорилось, что, когда городу угрожала опасность, прилетал огромный петух. Он садился на камень и троекратным криком предупреждал угличан о близкой беде. Это поэтическое сказание Пушкин положил в основу сказки «Золотой петушок», а Римский-Корсаков воплотил его в музыку. Думаю, что и сегодня большинству читателей интересна история града Углича.

Но тогда, в годы погрома русских городов (при Хрущеве), когда писалась эта глава, – она была вызывающая! Все течет, все меняется. Сегодня уже никто не прибегает к термину «образцовый коммунистический город». Сколько благодаря этому названию разрушено и уничтожено. «Плачь, русское сердце»... Сражаться и бороться надо за русскую культуру! Но об этом будет особая глава, дорогой читатель, – «Битва за Москву». О нашей борьбе и о тех, кто боролся...

* * *

На крутом откосе над Волгой стоит причудливое здание, похожее и на дом, и на крепость, и на церковь, – это дворец угличских удельных князей, известный под именем палат царевича Дмитрия, построенных в конце XV века угличским князем Андреем. Архитектурные формы дворца родственны величавым замыслам новгородских и псковских зодчих. Окна дворца – как бойницы крепости, готовой к бою. Предполагают, что в давние времена стены были расписаны артелью художников, руководимых гениальным мастером Древней Руси Дионисием, работавшим в 1482 году в близком соседстве от Углича – в Ростове Великом.

Скромный, но изысканный орнамент из кирпичей украшает стены дворца. Во дворце жили угличские князья и посадские наместники. Ничтожно мало дошло до нас от древнего Углича, который когда-то был,

по свидетельству летописи, «велик и многонароден, пространен же и славен и всеми благами изобиловал паче иных градов в державе Русской...» В Угличе было 150 церквей, на правом берегу Волги возвышался кремль, обнесенный крепкою стеною с башнями, вооруженными пушками, пищальми и самопалами, окопанный глубоким рвом, примыкавшим своими концами к Волге. На дорогах, идущих в город, стояли монастыри, прикрывавшие подступы к Угличу. Углич не раз играл значительную роль в политике московского государства.

Для достижения успехов в борьбе с Казанским ханством Иван Грозный решил построить близ Казани город-крепость, который был бы плацдармом для наступления. Но сделать это на виду у противника было невозможно. Поэтому решили срубить крепость в Угличском княжестве, в вотчине князей Ушатых, находившейся в северной части княжества, особенно богатой строительным лесом. Постройка крепости была поручена Ивану Григорьевичу Выродкову – талантливому русскому мастеру. Для выполнения работ из разных городов в Углич были направлены сотни строителей и стрельцов. В 1551 году ими был срублен город с двумя церквями, с деревянными стенами и башнями.

Весной следующего года город был разобран, плотами спущен по Волге и вновь собран на высокой горе при впадении в Волгу Свияги. Перед изумленным врагом неожиданно вырос русский город Свияжск. В нем разместилось пять тысяч казаков.

После смерти царя Ивана Грозного наследник престола царевич Дмитрий с матерью Марией Нагой и родственниками, враждебно относившимися к Борису Годунову, в 1584 году был сослан в Углич. Царевич Дмитрий жил в Угличе около семи лет. 15 мая 1591 года сбежавшиеся на тревожные звуки набата люди застали царевича мертвым. Так погиб последний Рюрикович.

До сих пор история не разобралась в том зловещем и темном деле. Существуют две версии, объясняющие смерть наследника. Смысл первой в том, что Дмитрий был убит по приказу Годунова, желавшего отделаться от претендента на русский престол. Вторая гипотеза гласит, что Дмитрий закололся ножом в припадке эпилепсии во время игры «в тычку». Читатель все это знает, и я прошу извинения, что привожу много исторических цитат.

Но вот что говорят строки «Повести об убиении царевича князя Дмитрия»: «...по повелению изменника злодея Бориса Годунова, приспевшие душегубцы, ненавистники царскому корени, Никитко Кочалов да Данилко Битяковской, кормилицу его палицей ушибли, и она, обмертвев, пала на землю, а сами злодеи душегубцы вскричали великим гласом. И услыши шум мати его государя-царевича и великая княгиня Мария Федоровна прибегла, и виде сына своего царевича мертва, и взяла тело его на руки, а они злодеи душегубцы стоят над телом государя-царевича обмертвели, аки пси безгласни, против его государыни матери не могли проглаголати ничто же, а ему государю-царевичу в ту пору киняся перерезали горло ножом; и взяв она государыня тело сына царевича Дмитрия Ивановича и отнесла в церковь благолепного преображения господня и повелела государыня ударити звоны великия по всему граду, и услыша народ звон велик и страшен, яко николи же бысть такова, и стекашася вся народи от мала и до велика. и виде государя-царевича мертва».

Страшно и тревожно звучал набат над телом младенца, возвещая о случившейся беде народу. Началось избиение всех, кто был заподозрен в заговоре Бориса Годунова. Как только дошла весть до Москвы, Борис Годунов приказал расправиться с виновниками избиения. Двести угличан были наказаны. Одним отрезали языки, других посадили в тюрьму. Шестьдесят семей выслали в далекую Сибирь, куда они шли пешком около года, потеряв многих в пути. Жестокая кара постигла колокол, известивший о смерти царевича. Его сбросили с колокольни, палач на городской площади при стечении притихшего народа высек его плетью, вырвал язык и отрубил одно ухо. Колокол был выслан в Тобольск – «первосыльным неодоушевленным с Углича». Только через триста лет колокол вернулся в родной город.

На месте гибели царевича была срублена часовня, замененная впоследствии в XVII веке каменной церковью стоящей до сего времени на волжской крутом берегу. Церковь царевича Дмитрия «на крови» парадна и изысканна в своем декоративном уборе. Внутри – росписи XVIII века, исполненные в традициях XVII века. Художник рассказывал на стенах храма об убийстве царевича и о расправе жителей Углича над убийцами. Исполненная ужаса толпа застыла над телом того, кто должен был стать царем всея Руси. К сожалению, несколько лет назад фрески были варварски замалеваны молодцами, выдававшими себя за реставраторов. Без боли нельзя смотреть на этот документ вандализма. Об этом необходимо говорить, как об одном из национальных бедствий. Представьте себе, если бы фрески Джотто или росписи Тьеполо «подновили» таким же образом!

...С прекращением династии Рюриковичей замутилось Русское царство. Латинская Польша и Германия, уже издавна стремившиеся подорвать наше государство и обезличить русскую народность, приобщив ее к латино-католической культуре, воспользовались тяжелым положением государства. Был пущен слух, что царевич Дмитрий жив и сбежал в Польшу. Огромное войско вторглось в пределы раздираемой внутренними бедами Руси. По взятии Смоленска глава иезуитов Скарга говорил пламенную проповедь, в которой выражал радость, что наконец-то открывается путь к расширению влияния римской

церкви и торжеству правды католической. Да и сам Сигизмунд не скрывал, что шел силою добывать московский престол и расчищать на Руси дорогу католичеству. Началась русская смута!

20 июля в будний день 1605 года самозванец вступил в Москву, приветствуемый народом, верившим, что пришел истинный царь Димитрий, сын Грозного Иоанна и Марии Нагой. Лжедимитрий, пожелавший увидеть свою «мать», которую он «не видел с детства», вытребовал из дальнего монастыря несчастную вдову Грозного, которой ничего не оставалось делать, как признать под страхом смерти в самозванце давно похороненного ею сына. И это всенародно она должна была объявить. Самозванец как любящий сын каждый день приходил к своей «матери» на поклон. До наших дней сохранилась удивительная пелена, вышитая руками царицы. На этом шитье, прекрасном памятнике древнерусского искусства «живописи иглой», лежит печать горьких душевных переживаний. В певучем аккорде красок и линий нашли свое воплощение задушевность, чистота и нежность русской многострадальной женщины.

Убийство Лжедимитрия I не остановило захватнических намерений оккупантов. Чтобы доказать, что царевич действительно умер в Угличе, сюда весной 1606 года приехала специальная правительственная комиссия, которая раскопала могилу царевича Димитрия. Его останки были объявлены нетленными и под тревожный звон колоколов в сопровождении духовенства перенесены в Москву и до сего дня находятся в Архангельском соборе, однако провозглашение царевича святым не предотвратило новую польскую интервенцию под командованием авантюриста Лжедимитрия II. Углич превратился в арену ожесточенной борьбы. С осени 1608 по весну 1612 года он несколько раз переходил из рук в руки. Угличане стояли насмерть, но город был все-таки взят врагами.

«Кто твою, граде, погибель теплыми слезами не оплачет, и кто не возрыдает об убиенных любезных наших граждан, кто не пособолезнует сердцем, кто не вздохнет?» – с такой возвышенной скорбью повествует летописец о разгроме родного города. Мало памятников архитектуры оставил по себе XVII век в Угличе, но то, что здесь сохранилось, быть может, лучшее из созданного в русской архитектуре за весь XVII век. Среди маленьких деревянных домиков высятся три стройных шатра храма, расположенного на горе и потому видимого издалека.

– Как называется церковь-то, бабушка? – спрашиваем мы, потрясенные открывшимся чудом.

– Дивная, родимые. Дивная – Успения Богородицы, – отвечает обрадованная нашим неожиданным для нее вниманием к церкви старушка с ясными глазами, напоминающими блестящие на солнце шляпки гвоздей, вбитых в морщинистую кору старого замшелого пня.

Да, так и вошел храм в историю мирового искусства под именем «Дивной церкви XVII века». Великолепная трехшатровая церковь вполне оправдывает утвердившееся за ней народное прозвание, но не роскошью, богатством декора, а чисто архитектурной гармонией. Неповторима и могуча русская архитектура! Поистине она звучит как музыка.

В конце улицы Карла Маркса, где он никогда не был, у самой Волги, на площади, окруженной задворками, вырисовывается группа церквей Воскресенского монастыря, построенного в XVII веке. Громадное здание этого монастыря – явление совершенно исключительное в древнерусском зодчестве. Церкви, трапезные, кладовые, обширные переходы, звонница – все связано в единое целое, очень живое и красивое. Строителем Воскресенского монастыря был, как известно теперь многим, ростовский митрополит Иона Сысоевич. Ростовский митрополит заслуживает внимания как создатель нового типа архитектурных ансамблей, получившего полное воплощение в многочисленных сооружениях Ростовского кремля. Он мечтал о каком-то дворце церкви, о русском Ватикане, в котором бы тесно сплетались церкви и гражданские застройки.

Если зодчий, создававший успенскую Дивную церковь, сосредоточивал внимание на стремительном легком взлете стройных шатров, подобных трем грациям древней Эллады, а также нашей православной Троицы, то создатели Воскресенского монастыря старались передать величие архитектурных форм, мощь и красоту их сочетаний. Формы монастырских зданий так выразительны, что кажутся вылепленными на глаз, а не вычерченными по циркулю и линейке. Они одухотворены дивной, увлекательной неправильностью творческого порыва и на редкость живописны. Они так похожи и непохожи на новгородскую мощь вольного города, известного своим значением в русской истории...

Недалеко от Воскресенского монастыря, на самом берегу Волги, стоит особенно запомнившаяся и полюбившаяся мне церковь Иоанна Предтечи, видимая издалека при приближении к Угличу на пароходе. Ее изящные формы дают оригинальный синтез московской и ярославской архитектуры. Замечательный русский искусствовед Ю. Шамурин называет этот изумительный памятник нашей национальной архитектуры, построенный в 1689–1700 годы, последним цветком XVIII века, сильно запоздавшим, но еще более ярким, еще более пленительным, чем его ранние и зрелые создания. Многие художники, издавна приезжавшие в Углич, восхищались и запечатлевали на своих полотнах этот шедевр древнерусского зодчества.

Немыслимо рассказать о всех памятных достопримечательностях Углича, этого поистине чудесного града. Смотришь и поражаешься, сколько в них заключено народного гения многих, порой безымянных строителей, творивших, «как мера и красота скажет». Сколько безвозвратно потеряно!

К сожалению, мы не сберегли целиком эту «каменную летопись», которая, как и многие памятники старины, находится в катастрофическом состоянии... В памяти остался буйный весенний ветер, незабываемые древние, но удивительно юные в светлом облики своем создания русских зодчих. В свете ослепительного солнца храмы были классически-ясные, мудрые, простые в своей строгой красоте. Вечерние сумерки вновь преображали их, четко рисуя их формы на огненном небе, покрытом зазубренными мечами лилово-дымчатых облаков. Весь день до темноты мы работали.

Выржик был неутомим, а я брал с него пример. Восторженные и усталые, мы каждый вечер после заката солнца возвращались к нашей хозяйке – в старую-старую избу, построенную из толстенных бревен. Спали мы на полу на рваном брезенте. В красном иглу избы, где, правда, не было ни одной иконы, уже долгие месяцы располагался другой постоялец нашей хозяйки. Когда бы мы ни пришли, он всегда сидел в одной и той же позе, свесив ноги со старинного высокого сундука, на котором спал. Он словно не замечал нас и постоянно держал в руках мятую алюминиевую кружку с кипятком. На нем была застиранная рубашка, на его безжизненно свесившихся ногах – рваные носки. В избе было жарко натоплено. Но, согбенно сидя на сундуке, он словно грел руки о свою израненную алюминиевую кружку, всем видом подчеркивая, что не хочет ни с кем вступать в беседу. Было ему лет семьдесят; у него были серые глаза, серая щетина бороды, седые, словно растущие ключьями жидкие волосы. «Кто это?» – спросили мы однажды шепотом у нашей хозяйки. Она неохотно ответила: «Очень пострадавший человек. Как его забрали прямо из церкви, так много-много лет и не видели. Больше года, – продолжала она, – как вернулся из лагеря. Спрашивают его – за что сидел? А он отвечает: „За Бога“ – и молчит». Подумав, она добавила, подливая нам чай: «То ли подписку дал о неразглашении, то ли от горя умом тронулся – все молчит и молчит. Кроме меня у него родственников в Угличе не осталось – всех посадили: у них в роду много церковников было». Он мне напоминал петербургского чиновника, словно бы друга Акакия Акакиевича, и воскрешал в памяти и раннюю картину Нестерова о чиновнике, у которого семья отняла сапоги. Одиноко сидя на сундуке, своим молчанием и полной отчужденностью он поразил нас. На следующий вечер, вернувшись в избу, мы решили подарить ему пачку чая, конфет и круглую белую булку. «А как его зовут?» – продолжали расспрашивать мы хозяйку. «А вы сами у него спросите», – сухо отрезала она.

Скосив из глубин сморщенных век свой белесый взгляд на наши школьные дары, он ответил на наш вопрос тихим, безжизненно-скрипучим голосом, не выпуская из рук все ту же алюминиевую кружку. «Зовут меня Червячок. Я червь земной и тленный, но выживший в геенне огненной». Не прикасаясь к конфетам, совсем тихо добавил, воскрешая в памяти обороты русской классической речи: «Благодарствую за внимание, если смогу – буду за вас молиться».

В течение оставшихся дней нашего пребывания в Угличе мы больше никогда не слышали его голоса и не ощущали его желания с нами поговорить. Хозяйка же отмалчивалась: «Зачем вам это знать...» На наш вопрос: «Почему у Вас в доме нет ни одной иконы?» – восторженно ответила: «Все мои иконы я спрятала на чердаке – подальше от глаз антихристовых».

Вечерние дали делают Углич уютным и таинственным. На Волге трещит, ломается лед, звонко и протяжно, как лопнувшая струна. В баню стоит очередь, – жители Углича разделились на две части: мрачно ждущих и счастливо распаренных, с огромными шайками и красными потными лицами выходящих после «священнодействия» субботней бани.

Как приятно, устав от впечатлений дня, работы и ходьбы, сидя в низкой комнате столовой, разглядывать белозубых, уже загорелых водников и проворную официантку со скуластым лицом атаманши. Ее прозрачные, как волжская вода, глаза с удивительно черной точкой зрачка словно нарисованы слегка размытой китайской тушью. Наше внимание ей, видимо, льстит. Ученические, заляпаные красками этюдники вызывают всеобщий интерес. За соседним столом нам дают совет: «Нашу Катю спозировать надо и всюду пропечатать». Кто-то добавляет: «Обязательно в голом виде – наподобие как в музее». А Катя была действительно красавица...

Но не все верят, что в столичных музеях есть картины, на которых изображены голые женщины. Начинается спор. А тем временем картофельные котлеты уже готовы, и, лукаво пряча глаза, Катя ставит тарелки на липкий стол с остатками рыбы и разлитого пшеничного супа. Мы видим на миг красоту ее античной груди в декольте ситцевого платья...

Гудит поезд, набитый до отказа людьми. Прощай, Углич! Прощай, многострадальный раб Божий Червячок, настоящее имя которого мы так и не узнали. Наверное, и сейчас, когда мы едем в переполненном вагоне в Ленинград, он, как всегда, сидит на своем сундуке и смотрит в пол отсутствующим и горестным взглядом.

С тех пор прошло много лет, но до сих пор, когда я слышу удивительное имя Углич, сердце мое сладко сжимается и бьется, как при воспоминаниях о первой любви, которую никогда нельзя забыть!

ВОЛГА

О русская Земле!

Уже за шеломанемъ еси...

О русская земля. Ты уже за холмом.

«Слово о полку Игореве»

«Волга, Волга, мать родная,

Волга – русская река...»

Из народной песни

Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу – самую большую реку в Европе, царицу наших рек. И я спешил поклониться ее величеству Волге.

Александр Дюма

Я не случайно назвал главу, посвященную моей первой юношеской поездке в древний Углич с его дивными храмами и монастырями, высящимися на высоком берегу широкой и полноводной Волги, – «Первая любовь».

С тех пор я старался узнать все, связанное с историей великой русской реки, которая в старину называлась Ра. Многие путешественники, включая Александра Дюма, оставили страницы восторженных воспоминаний о встрече с «царицей русских рек».

Я с восхищением прочел о поездке художников братьев Чернецовых по Волге. Все больше влюблялся в картины моих любимых художников М. Нестерова и Б. Кустодиева, у которых многие работы передают навсегда ушедший от нас купеческий быт, богатство и приволье жизни на берегах священной для нашей истории великой реки.

Но особое место в моем сердце заняли картины и рисунки, навсегда оставшиеся в истории русского искусства, моих любимых русских художников Ильи Репина и Федора Васильева. Какой поэзией и правдой овеяны этюды и рисунки, в которых переданы с такой точностью и любовью красоты волжских берегов и незабываемые характеры людей, позировавших молодому Репину. Ведь и первая картина Репина, принесящая ему шумную славу, – «Бурлаки на Волге», связана с Волгой. Кто из нас не знает этой картины?

Я в ту пору, будучи учеником СХШ, находился под обаянием замечательной книги Репина «Далекое близкое», где художник с таким жаром и восторгом описывает свою поездку по Волге вместе с Федором Васильевым. Мне захотелось ощутить, зримо почувствовать знакомый с детства образ Волги с его радостной удалью и тоской, необъятной бескрайностью и безбрежной печалью протяжных песен. Это было мое первое самостоятельное путешествие по Волге. Дали, дали, дали! Даль и безбрежность всегда рождает в людях беспричинную тоску и дерзость стремлений. Необъятность, беспредельность русской земли нашли свое воплощение в широте русского характера. Чувство простора, чувство равнинное, быть может, составляет, в известном смысле типическую черту в нашем народном сознании. Невозмутимая тишина и спокойствие во всем: в бездонной пропасти молчащих небес, в голубой протяженности бесконечных лесов, в зеленых коврах ветреных лугов и полей, где катят свои воды тихие, но могучие реки, в формах наших деревенских изб – во всех красках, из коих соткана наша земля. Как будто все притаилось в ожидании... Кажется, русское слово «простор» не имеет перевода на другие языки. Оно пришло к нам из глубокой древности, когда все арийские народы жили на общей прародине и имели общий язык – санскрит, что означает «совершенный». Поскольку теме прародины индоевропейских народов будет посвящена специальная глава, ограничиваюсь лишь упоминанием, что санскритское слово «прастара» – «простор» – живет доселе лишь в самом великом, могучем и свободном, по выражению Ивана Тургенева, русском языке.

Волга, Волга! Сколько легенд, песен, поэм, картин посвящено великой русской реке. «На осенний мелкий дождичек»... Бурлит холодная волна, проплывают поля, обрывы и кручи. Белые колокольни одиноких церквей, без которых нельзя представить себе русского пейзажа, мерцают, как свечи. Слева берег, низкий справа – высокий. Леса застыли над кручами. Некогда эти берега останавливали движение несметных полчищ Золотой орды. Постукивают капли дождя в круглое окно трюма. У самых глаз бежит вода. Пароход делает разворот. Спит рядом старушка с загорелым лицом, словно из волжского выветренного известняка. В трюме на пальто, полушубках, а то и просто так, в живописных позах спят и сидят люди. У каждого своя судьба, у каждого своя жизнь, каждый «идет в путь свой», как написано на древнем изразце. Рядом со мной сидит юная цыганка Роза. Она уже нагадала мне дальнюю дорогу, казенный дом и трюфовую даму. Она молчит. Ее профиль, напоминающий фрески Аджанты, хранит зной Индии и Египта, а зеленый глаз прозрачен и нем, как у птицы. «Мы кочуем, – говорит она, – письма не напишешь. А холода ударят, под Горьким будем зимовать...»

Гудит пароход, отъезжаю от мокрого дебаркадера, а на ветру на пустой от дождя палубе одинокая фигура Розы в длинной цыганской юбке, с яркой точкой полушалка. Много раз встречал я цыган. Какое-то необъяснимое обаяние заключено в их глазах, песнях и плясках, в их верности себе, своим заветам. На пыльных глухих дорогах, на шумных вокзалах, говорливых рынках встречал я этих странных людей, хранящих в душах память об утраченных тайнах черной магии, каббалы, колдовства...

Их странное бытие оставило свой след и в душе русского человека. Их напевы слушали многие русские поэты, томившиеся жаждой странствий и неизъяснимой мечтой. Рыдания цыганских напевов наполняли неясной тоской сердца Пушкина и Блока, Аполлона Григорьева и Льва Толстого... Во время моих странствий я встречал цыган на пароходах, на железных дорогах, в лесах и полях, видел цыганок и в солнечном Риме. Они выглядели так же, как и на Волге, так же подходили к прохожим и говорили, что предскажут судьбу...

А вот и Плес! Память Чехова и Левитана согревает и освящает этот маленький городишко с белыми камешками домиков и церквей, словно высыпанными из чьей-то большой ладони. Холодно и неуютно одному под моросящим дождем; Таков ли Плес, как на полотнах Левитана, овеянный нежной грустью и «вечным покоем»? Хранит ли Плес память о жарких сечах с татарами, о тех далеких временах, когда он служил местом сбора русских войск для походов на Казань? О Минине и Пожарском, которые в 1612-м останавливались здесь перед походом на Москву?

Я долго бродил по крохотному городку и старался найти мотивы, запечатленные Левитаном. Над головой шумели деревья. За Волгой расстилались дали, было грустно. Но дождь понемногу затихал, в небе началось борение. Свинцовые тучи расступились, из синего прорыва лебединым крылом проступило и зацепилось белоснежное облако. На душе стало покойно, уютно и тепло, как после разговора с хорошим человеком.

Еще жива была старуха, которая пекла кексы Чехову и Кувшинниковой. Еще есть люди, помнящие Левитана, помнящие и Шаляпина, дача которого находилась недалеко от Плеса. С одним из них мне удалось поговорить. «Я вот грузчиком здесь на пристани работаю сызмальства. Помню, мальчишкой с отцом отсель на лодке Шаляпина возил в евовное, значит, имение. Молчит он, сидит на корме. Помолчит, а сам здоровый такой, да вдруг запоет, запоет. Громко так, у меня в ушах дрожжантий начинается. А он-то смеется все: „Благодать, – говорит, – какая“. Платил нам хорошо – деньгу не любил прижимать. Наш был, волжский, но редко приезжал к нам... Потом здесь художник пожил, черный такой, с ящичком ходил все – наподобие твоего, – в краске весь. Во-во, Левитан, точно. Человек знаменитый был. Оставил он в доме, где жил, картину, нарисованную на холсте. А мне парус был нужен, а картина в полстены, холст, я тебе скажу, что надо, – наподобие парусины. Такого теперь холста и за деньги не купишь. Я баньку затопил, в котел его забил и давай кипятить краски выварил. Холст что новый – крепкий, надежный. Потом через много лет из Москвы приезжали двое – искали все енту картину. А я говорю: „На парус пустил картину вашу“. Смеюсь. А один толстый, в перчатках, руками машет: „Вы, говорит, – варвар. История не простит. Ей место, говорит, в музее, в Москве“. А я говорю: „Какой варвар? Мне парус нужен был, а холст новый, не штопанный, в магазине нет такого. Теперь износился – воспоминание одно“. Но они так, сердешные, переживали! Москвичи. Жаль было на них смотреть... Ты вот малевал вчера на горе, так я посмотрел – твой холст куда против того, наволочка, одно слово – простыня! А раньше-то, видать, и холсты, и художники были!...»

Вечерами, на крутой плесовской горе, усаженной березами, я видел стройную женскую фигуру, одетую во все черное. Вблизи я с удивлением заметил, что женщина очень стара. Лицо ее было кротко и задумчиво. Она из-под руки долго смотрела на сверкающие огнями пароходы, населенные толпами отдыхающих... Мне вдруг показалось, что Нестеров много лет назад увидел ее, юную, с букетом заволжских полевых цветов, и воспел ее одинокую душу-птицу, жаждущую полета и подвига. Женщина рассказала, что у нее нет никого на свете, а родом она из Нижнего Новгорода, но уже давно-давно живет в Плесе. У меня до сих пор хранится подаренная ею маленькая серебряная монетка, последняя память о несметных капиталах ее отца, одного из тех, с кого Горький писал свое «Дело Артамоновых».

А вот и дача Шаляпина! Теперь здесь дом отдыха. Радио. Волейбол. Могучие березы шумят и непокорно встряхивают листьями, как добрые молодцы волосами, – будто не могут проснуться от долгого хмельного сна. У берез какой-то удивительный рисунок стволов. Вспомнился вдруг любимый рассказ Чехова «Черный монах».

Имя Шаляпина, этого светлого гения поющей души России, неразрывно связано с Волгой. Поставленный в невыносимые условия, великий певец должен был покинуть Родину под улюлюканье и свист пришедших к власти, ненавидящих все русское коммунистов.

Завоеватели, громившие наши святыни, прекрасно понимали значение национального гения России. Расстреляв или выгнав из страны элиту нашей культуры, они разбросали по всему миру осколки драгоценного сосуда русской духовности. Позднее мне довелось повстречаться с сыном Шаляпина – художником Федором Шаляпиным, работавшим для журнала «Тайм». Он рассказал мне, как отец любил

и глубоко понимал живопись, как гордился дружбой с Врубелем, Серовым, Коровиным. Отец, по его словам, уехал тогда, «когда наша страна перестала быть нашей, и в нашей России нам не стало места».

Триумфальное шествие Шаляпина по миру общеизвестно. Известно также, что, когда до него дошла весть о взрыве храма Христа Спасителя, он выскочил на улицу и, не обращая внимания на лавину мчащихся машин, кричал: «Помогите, помогите!»

К. Коровин, коротавший в изгнании свободное время с Шаляпиным, вспоминает, как он однажды сказал ему: «Руслана я бы пел. Но есть место, которого я боюсь».

– А какое? – спросил я.

Шаляпин запел:

Быть может,

На холме немом

Поставят тихий гроб Русланов

и струны громкие боянов

Не будут говорить о нем!...

Милый Федя, всегда будут о тебе петь бояны, и никогда не умрет твоя русская слава».

К сожалению, сегодня советское – зсэнговское телевидение и радио напрочь забыло искусство Шаляпина. Давно не издаются его пластинки. Наш рынок наводнен современной поп-музыкой, а событием культурной жизни России считается приезд Майкла Джексона. Русская музыка все реже и реже звучит на «колониальных» радиостанциях, где развязные мальчики знакомят с рок-певцами, которых не всегда знает сама Европа и Америка. А там благоговейно чтут творения русской музыки. И издают компакт-кассеты с записями великого искусства Федора Шаляпина.

Как-то Шаляпин сказал своему другу Косте Коровину: «Я куплю имение на Волге, близ Ярославля. Понимаешь ли, гора, а с нее видна раздольная Волга, заворачивает и пропадает в дали. Ты мне сделай проект дома. Когда я отпою, я буду жить там и завещаю похоронить меня там, на холме...

Память о Волге всегда омывала волнами ностальгии его ущемленную душу беженца. Умирая в Париже, на Трокадеро, он пел в беспамятстве, будучи почти на смертном одре. Под окнами толпились парижане...

Голос Шаляпина сопровождал меня всю жизнь. Сидя в мрачной послеблокадной квартире, я в который раз, стараясь распрямить мою одинокую скомканную душу, ставил старую пластинку «Пророк» и слушал, как Шаляпин, будто обретя в своем духе власть Бога, приказывал: «Восстань, пророк!». И вот сейчас, слушая бессмертного «Бориса Годунова», был словно электрическим током пронизан Шаляпинской болью: «Голодная, бедная стонет Русь» Подошел к окну, сквозь дождь увидел неуклюжее здание советского Пентагона на Арбатской площади, а перед ним под зонтиками огромную толпу граждан «демократической России», требующих углубления демократических реформ и доверия к президенту Ельцину.

А слева от толпы, там, где еще несколько лет назад стоял дом, в котором жил Сергей Рахманинов и который нам так и не удалось отстоять, лепятся друг к другу тупорылые ларьки, называемые «шопами», в которых, невзирая на демонстрацию, активно продают порнографию, пепси-колу и видеокассеты американских боевиков. Потоки дождя льются по окну, и призывным мужеством борьбы звучит голос поющего сердца России – Федора Шаляпина.

«Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился...»

Помню маленькие домики и белые храмы. Помню лодку с отъезжающими на тот берег бронзовыми крепкими великороссами. Их одежду и платки как белое пламя, треплет ветер, словно звенит набат счастья. Навсегда я запомнил этот ветер, солнце. Волгу. Спасибо, Плес! Спасибо, Волга-матушка!

Снова пароход. Бьют волны в ребра трюма, качается лампочка с желтым маслянистым сиянием... На рассвете я вышел на палубу, переступая через спящие тела. во весь горизонт вставало красное солнце. Красным было все: небо, вода, деревья и даже дали. И вдруг чудо! Древний град вырос на волжском берегу. Какие башни, звонницы, купола! Скоро Нижний Новгород – город Горький. Волга особенно величественна в утренние часы, туманная дымка скрывает приметы времени, и невольно вспоминаешь странно звучащее древнее название Волги – Ра. Эта могучая река, по свидетельству историков древности, катила свои воды через земли некогда могучих скифов и сарматов.

С высокого берега стремительными уступам спускаются вниз к воде кремлевские стены. В золоте восходящего солнца раскинувшийся на холмах город смотрит с высоты на проплывающие суда. «Это наш внутренний порт», – говорил о Нижнем Новгороде Петр Великий. После 1812 года ходили слухи, что столицу, возможно, перенесут в Нижний Новгород. У кремлевского холма в широко просторе сливается воедино Волга с не уступающей ей Окой, как два голубых клинка, навечно соединенных в клятве верности. А дальше за раздольем Волги – расстилаются заливные луга и бесконечные леса. Как известно, древнерусские города ставились на холмах. Нижний Новгород знаменит легендами о возникновении своем

и предании о временах стародавних, о жарких сечах, о великом подвиге нижегородского гражданина Минина, спасшего Русь в тяжелую годину смуты.

И вот мы подошли к тому месту, где слившиеся Волга и Ока образовали обширную водную равнину. Здесь и был основан Нижний Новгород. Суздальский князь Юрий, мечтая иметь в своих владениях город, подобный Новгороду Великому, с его мощью и богатством вольной торговли, называет основанный им около 1222 года город «новым городом Понизовской земли».

Ни один город на Волге не взволновал меня так, как этот. На первый взгляд, ничего особенного – скрежещет трамвай, снуют люди, от невысоких домов веет милой провинцией, напоминающей известные по школьной программе «университеты» М. Горького. Вот недалеко от пристани кирпичный трехэтажный дом – некогда знаменитая ночлежка, построенная стараниями купца-старообрядца Бугрова, с которым дружил он. Над пристанью, на высокой горе, маленький нахохлившийся домик нижегородских мещан Кашириных, старинные таблички на воротах, кирпичный тротуар, керосиновый фонарь на деревянном столбе... На дворе дома большой тяжелый крест, под которым надорвался Цыганок, а дальше – красильня, откуда маленький Алешка слышал странные слова: «скандал», «фуксин», «купорос».

Жадно рассматривал я обстановку, среди которой вырос «буревестник русской революции»: полати, икону в углу, пузатые самовары, водочные штофы... А вот на стене гитара, под аккомпанемент которой, стуча каблуками, плясал Цыганок. А вот комната деда: псалтырь и счеты. Под рукомошкой в ведре всегда мокли розги... Говорят, будучи последний раз в Нижнем, Горький не захотел зайти в дом, где протекали мрачные, с точки зрения писателя, годы его детства. Спускаюсь вниз, вижу мост и на том берсгу, на Стрелке, огромное здание – бывший центр всероссийской торговой ярмарки. Правее – силуэт огромного собора. Здесь на протяжении многих веков среди лавок, лабазов и павильонов шумела разноплеменная толпа Нижегородская ярмарка. Помните у Пушкина:

Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вина европеец.

Происхождение Нижегородской ярмарки относится к глубокой древности. Известно, что в Нижнем, на стрелке, происходил международный торг уже в XIV столетии. Там, где сейчас у пристаней подняты вопросительные знаки подъемных кранов и по асфальту бегут электрические тележки, когда-то кипела неустанная работа бойких крючников. Среди сотен крючников был юный Горький, поработал крючником и Шалапин.

Однажды американская писательница Сюзанн Масси, сидя на моей маленькой кухне, рассказывала мне о том, что ее сын был болен гемофилией.

И, желая облегчить его страдания, она и ее муж (ставший впоследствии автором книги «Николай и Александра», по которой в Америке был снят известный фильм) начали искать и нашли исторический факт помощи ребенку с таким заболеванием. Ребенок, о котором шла речь, – это цесаревич Алексей, а врачеватель – Григорий Распутин, который, помогая наследнику, подошел близко к трону последнего русского Самодержца. Тогда Сюзанн Масси подарила мне свою последнюю книгу «Страна жар-птицы». Эта книга напоена любовью к России. Любовь же покоится на знании и фактах.

Я помню, как восторженно говорила она: «Нижегородская ярмарка определяла курс доллара, а у вас сегодня доллар определяет курс рубля». Не слушая никого, она говорила самозабвенно:

«...Миллионы крестьян и торговцев из Европы и Азии устремлялись на эту огромную ярмарку: некоторые путешественники из Азии тратили целый год на поездку туда и обратно...За два месяца ярмарки население города увеличивалось с 40 000 до 200 000 человек...За шесть недель обменивалось товаров на сумму, эквивалентную 2000 млн. долларов, и цены на товары, устанавливаемые на ярмарке, являлись эталоном для всей империи» (а относительно цен на хлеб – и для всего мира. – И.Г.).

Во время ярмарки давали представления цирк, балет, драматические театры. Сюда съезжались тирольские оркестры, венгерские музыканты, артистки французского мюзик-холла; в кафе и садах пели и танцевали цыгане, в трактирах выступали крестьянские хоры.

В кровавую эпоху смутного времени, когда дрогнула Россия, когда большинство русских городов без сопротивления перешли на сторону Самозванца, видя в нем законного властителя Руси, сына Ивана Грозного, нижегородцы не присягнули ему, не поддались на уговоры его приверженцев. В эти страшные времена разорения и гибели русского государства Нижний Новгород откликнулся на призыв, идущий из сердца России, из униженной, сожженной и разоренной Москвы. И ныне до слез трогает воззвание патриарха Гермогена, замученного врагами в подземельях Чудова монастыря, взорванного в годы коммунистического террора. Имя Гермогена должно быть поставлено рядом с великими строителями русского государства – Александром Невским, сберегшим Русь в тяжкие дни татарщины, Сергием Радонежским и Дмитрием Донским, свергшим это иго. Обращаясь к изменникам и измалодушничавшимся, патриарх писал: «Болит моя душа, болезнует сердце... Я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, братия и чада, свои души и своих родителей, отошедших и живых... Посмотрите, как отечество наше расхищается

и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных! Помните, на кого вы поднимаете оружие? Не на своих ли братьев? Не свое ли отечество разоряете?»

Когда читаешь эти строки, то невольно вспоминаешь картину Васнецова, изображающую патриарха Гермогена в темнице, непреклонную волю этого патриота, веру его в будущее Руси и страдания его при виде муки родины своей.

Стоя на крутом обрыве возле могучих стен и крепко вросших в землю башен, пред необъятной широтой раскинувшихся до горизонта бесконечных просторов, принявших спокойные воды великой Волги, – именно здесь поймешь и во всей полноте почувствуешь значение подвига волевого человека из гущи торгового люда Кузьмы Захарьевича Минина-Сухорука и представителя русского воинства князя Пожарского. Не случайно Петр I, посетив могилу Минина, опустился на колени и сказал: «Вот истинный спаситель отечества!»

Напомню еще раз, что 1930-е годы, во время разгула коммунистического террора, могила Минина была осквернена и уничтожена, а на месте храма в Нижегородском кремле, где она находилась, было возведено здание обкома партии.

Трудно найти слова, чтоб охарактеризовать вопиющий факт «ликвидации» могилы великого сына русского народа. Старожилы рассказывают, что на ее мраморной плите долгое время кололи дрова.

Сегодня, смотря телевизионные передачи и видя, что творится вокруг, когда наша великая держава становится колонией Америки и Европы, сколько раз, подходя к храму Василия Блаженного, мы вглядываемся в бронзовые лица Минина и Пожарского – спасителей Отечества и взываем к их памяти, надеясь, что Россия на нынешнюю страшную смуту ответит явлением новых Мининых и Пожарских...

Но не только кремлем и своей героической историей гордится славный Нижний Новгород – на набережной Волги, недалеко от пристани, высится дивная церковь Рождества Богородицы, входящая в сокровищницу мирового искусства. Построена церковь одним из богатейших «именитых людей» XVIII века Григорием Строгановым. По изысканному изяществу архитектурных форм и богатству декоративного убранства Строгановская церковь могла бы поспорить с лучшими памятниками зодчества Москвы. Каменная резьба покрывает сверху донизу стены церкви. Как всегда, мастера именитого дома Строгановых хотели перещеголять царственное великолепие государевой Москвы. Зодчий стремился украсить не только плоскость стены, но и каждую архитектурную деталь, окна, двери: все повито сказочным орнаментом «каменной рези». Своим величием Строгановская церковь поражала современников.

Для меня в каждом городе интересен прежде всего художественный музей; туда спешишь с бьющимся сердцем, как на свидание с добрым мудрым другом. Незнакомые, чужие города становятся близкими после того, как встретишься в их музеях с чистым и светлым миром русской культуры!

Областной художественный музей, о котором я много слышал стоит на набережной, у самого откоса. Именно здесь может возникнуть неотступная мечта о полете в небо, и не случайно имена двух великих летчиков, Нестерова и Чкалова, связаны с Нижним Новгородом. Бронзовая фигура Чкалова стоит над кручей...

В Нижнем Новгороде были свои старые художественные традиции, именно в Нижегородской губернии, в городе Арзамасе, в 1802 году А. В. Ступиным была основана первая в России частная художественная школа с учебным музеем при ней. Недаром русская пословица говорит: «Арзамас – городок – от Москвы уголок». Именно в Нижнем Новгороде ровно сто лет назад Н. Н. Крамской на ярмарке организовал передвижную выставку, явившуюся первой ласточкой будущих выставок «Товарищества передвижников». На Нижегородской ярмарке был построен для Врубеля специальный павильон, где выставлялись картины «Вольга Богатырь» и «Принцесса Греза». Здесь их впервые увидел Шаляпин, которому рассказал о Врубеле восторженный поклонник художника Савва Иванович Мамонтов.

Некоторые картины передал музею Горький, не забыв город, где он родился.

...Удивительно повествование о царевиче Димитрии, рассказанное художником XVII века. Здесь не только подробный рассказ об Угличской трагедии и перенесении праха Димитрия в Москву, но и, что так редко в иконописи, реальное изображение колокольни Ивана Великого, бурной Волги с летящим по ней парусным судном, береговой деревянной крепости толпы в богатых одеждах, несущей на себе гроб царевича. Поразил меня и портрет мальчика Шереметьева работы Левицкого. Своей хрупкостью и одухотворенностью он мне напомнил детские образы Достоевского.

А вот и великий певец волжского быта Кустодиев. Кустодиевская «Русская Венера» моется в бане. Рядом с ней кусок мыла с синими прожилками, как драгоценный русский самоцвет. Несколько лет спустя, когда я писал портрет замечательного итальянского певца Марио дель Монако и он попросил меня назвать тех художников, которые наиболее полно выразили национальное представление о русском типе женской

красоты, я сразу вспомнил волжский город, где в тихом музее живет эта местная красавица – «Русская Венера» Кустодиева.

Если же говорить о духовном идеале, то, по-моему это «Владимирская Мать Божия», которая особенно почиталась на Руси и, по преданию, была написана евангелистом Лукой. Русская религиозная живопись запечатлела многие и многие варианты образа Матери Божией, у которой на руках восседает младенец Христос. Достаточно назвать образы Иверской, Смоленской, Казанской Богоматери. Иконографии Богоматери посвящены работы многих русских историков. Лучшим образом Богородицы и Спасителя я бы назвал тот, который смотрит на нас с росписи. В. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. Творение великого русского художника мне ближе, чем гениальная, пусть и католическая, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Дороги мне и женские образы Сурикова и Нестерова, столь близкие образам Достоевского. Они соединяют в себе национальные черты физического и нравственного облика русской женщины.

Позже, думая над женскими образами Мельникова – Печерского, я вспоминал женщин, которых видел на берегах Волги, а тогда в Нижнем я долго глядел на грустную элегию «Осени» Коровина, наслаждался красочными россыпями Рериха, взволнованно рассказывающего о родине праотцов, смотрел в слезящиеся усталые глаза «Старого актера» Архипова, читая в них трудную судьбу человека искусства.

Думал ли я, что в этих священных для меня стенах музея через много лет пройдут две мои выставки. Для меня они особенно дороги, потому что вся моя жизнь связана с Волгой и, в частности, с нижегородским краем. И если в большинстве случаев художники смотрят на меня исподлобья, то здесь я встретил иное отношение, в частности, со стороны бывшего моего однокашника по Академии, талантливейшего живописца Владимира Холуева. В студенческие годы его рисунки могли состязаться с учебными рисунками Репина. Родившись в Рязани, он принес на учебную скамью здоровые чувства любви к природе, тяги к высокому реализму и пластике. Мы так любовались его работами! Он дружил тогда со ставшим впоследствии известным художником Геннадием Мосиным, автором картины «Ленин на Красной площади».

Наверное, не желая отставать от друга, Володя Холуев после окончания Академии написал своего Ленина – огромный холст, но, увы, соцреалистический.

В Нижнем он со временем возглавил организацию Союза художников. Я был счастлив обнять моего друга и ощутить все тепло нашей юности, Петербурга, любви к Репину, Сурикову, тепло взаимного уважения и понимания.

«Я рад, что тебя не сломали. Но ты – борец, – говорил Володя. – Как разметало наших ребят повсюду! У многих и костей не соберешь».

Утром, приходя в зал за полчаса до появления посетителей, я знакомился с новыми страницами книги отзывов – единственной тогда в СССР бесцензурной книги. Во время первой выставки записи посетителей читала мне жена, а во время второй читал сам, потому что Нины уже не было в живых. Вторая выставка состоялась в 1990 году, когда уже повсюду шумел пар локомотива перестройки. Как всегда, мнения были полярными.

Для меня книги отзывов особенно дороги – как выражение неподкупного мнения народа, частью которого я являюсь. И я понимаю, почему в ФРГ было опубликовано издание, воспроизводящее книги отзывов на моих выставках в Москве и Ленинграде. «Термометр духовного состояния нашего общества», – так характеризуют народные излияния в книгах отзывов западные критики. А в Киеве, например, книгу отзывов с моей выставки украли, и киевская милиция искала ее два дня. Укравший книгу «искусствовед» хотел продать ее за доллары в Канаду. «Я знал, что это важный исторический документ», – оправдывался пойманный похититель на допросе в два часа ночи.

О докладе русского американца господина Краснова на Славянском конгрессе в США и изданной им брошюре в Японии, написанной на основе анализа книг отзывов с моих выставок, я расскажу позднее. Замечу пока одно: по данным компьютера 90 процентов посетителей – за меня, 10 – против. К последним относились партаппаратчики, левые художники и искусствоведы. (В наши дни травля ожесточилась. – И.Г.)

Позволю себе привести несколько выписок из книги отзывов на второй выставке в Нижнем Новгороде:

«Глазунов не только художник. Глазунов – Философ, Историк, Русский. Нет прощения „коммунистам“. Но Глазунов говорит своим творчеством, что „соцреализм“ – это еще не конец. Впереди жизнь. Спасибо за Ваш подвиг во имя России».

«Художник – наш русский. Он показывает, что Россия больна, но жива и Россию нужно окропить мертвой водой, чтобы зажили раны, нанесенные „коммунизмом“, а затем и живой водой.

И тогда встанет русская красавица, зазвонят колокола».

«Это единственная художественная выставка, на которой не устаешь и не хочется с нее уходить. Все картины продиктованы глубоким чувством и пониманием жизни и судьбы России и ее людей. Трудно что-либо выделить как самое лучшее – все отличное, все волнует».

«Это необыкновенная выставка. После осмотра ее появляется забытое чувство гордости за Россию, за ее земных людей и рождается надежда на будущее.

Глазунов, по-моему, единственный в наше время художник, которому есть что сказать русским людям, народам страны, и он умеет это делать красиво, благородно...»

«Ваша выставка напомнила нам еще раз, что Нижний – родина Минина! Спасибо!»

* * *

Я с волнением всматриваюсь в Жигулевские горы, связанные с именами воспетых советской пропагандой разбойников Стеньки Разина и Емельки Пугачева. «Дело Пугачева», о чем я уже говорил, не исследовано во всей глубине, как и реально двигавшие его скрытые силы врагов России. И действительно, не мог же простой мужичок, пусть и обладающий раздутым тщеславием, так всколыхнуть Россию, что на его усмирение была брошена регулярная армия во главе с Суворовым. Да и где-то проскользнуло известие о том, что когда молодой казак оказался за рубежом – во время русско-германской войны, – он был завербован одной из масонских лож, которая, возможно, и инспирировала «народное восстание» Пугачева. О зверствах Емельки по отношению к духовенству, аристократии, да и к простому люду теперь уже начинают появляться материалы в прессе. Знакомый почерк «освободителей народа»!

Многие волжские разбойничьи шайки были грозой не только для купеческих судов, но, как известно, и для самого правительства. До тех пор, пока не столкнулись с новой силой – паром, пока грозный крик «Сарынь на кичку!» не уступил своего места крику: «Потрави буксир!», сопровождаемому пронзительным свистком парохода.

Легендарные Жигули! Они все ближе и ближе, уже видны их открытые ветрам крутые каменные лбы с надвинутыми шапками зеленых лесов. Невольно вспоминаешь Филигранно тонкие рисунки Васильева и Репина. Если проехать дальше вдоль Самарской Луки, на левом берегу Волги есть неузнаваемо изменившаяся со времен Репина деревня Ширяево, где Репин работал над этюдами к картине «Бурлаки». Кто не знает в России печальных бурлацких песен, особенно «Вниз по матушке, по Волге», широты ее могучего напева! Среди волжских альбомов Репина и Васильева мне запомнился рисунок огромного Царева кургана, от которого Волга круто поворачивает на юг. Еще несколько лет назад он гордо высился над Волгой, но коммунистической стройке в Жигулях понадобился известняк, и экскаваторы срезали главу Царева кургана.

«Горы сравнивать – хорошая мысль», – говорил идеолог «бесов» в романе Достоевского. Сегодня уже все видят и понимают, что все эти «великие» стройки коммунизма» нанесли непоправимый вред нашей великой державе. Уничтожались леса, затоплялись города, деревни и пастбища, кормившие Россию. Убивая природу, как и людей, международный коммунизм планомерно осуществлял разрушение естественной среды, осквернение лика нашей Родины. Как тромбы, перекрыли артерии русских рек плотины бесконечных ГЭС. К счастью, не удалось осуществить глобально преступный проект так называемого поворота северных рек, разработанный якобы ради того, чтобы помочь нынешнему «ближнему зарубежью» пополнить запасы воды.

* * *

Первая встреча со «стройкой коммунизма» у меня произошла случайно, когда я оказался участником сооружения Пожарищенской ГЭС, далеко не масштабной в сравнении с теми, о которых постоянно писали в газетах и говорили по радио, возводившейся недалеко от Ленинграда, ближе к Карельскому перешейку. В числе ее строителей были и студенты трудовых отрядов Ленинградского университета. Меня сагитировал поехать туда вместе с ним Борис Вахтин, сын писательницы Веры Пановой. Они жили на Марсовом поле напротив Летнего сада. Боря учился в университете китайскому языку и любил шутить, что скоро он будет самым большим человеком, когда Китай завоюет СССР.

Однажды, сидя на скамейке на Марсовом поле, Боря рассказал мне, что его покойный отец был белым офицером (он не любил беседовать дома – «могут записать»). Мы часами говорили о ненавистной советской власти, прогнозировали будущее и свое место в нем. Он был умен, скрытен и подозрителен с другими. Умолял меня никому не верить.

Смотря на китайские книги, находившиеся в его комнате, я вспоминал моего дядю К. К. Флуга, о котором уже рассказывал. Мы говорили о женщинах, о нашей общей подруге пианистке Марине

Дранишниковой. Помню, как-то он сказал: «Я боюсь, что она не оставит глубокий след в музыкальной жизни, несмотря на свой гений. Она не смотрит на свою жизнь, как на подвиг служения. В тебя же я сразу поверил. И сегодня могу сказать, что ты мой единственный друг. Но ты должен выработать в себе защитную мимику, чтобы „они“ не могли распознать тебя сразу. Я многому научился у своей матери – какая это железная женщина!»

Я помню, как Боря читал стихи Бо Цзюй-И, восхищался переводами Эйдлина, с которым дружил.

Растаял снег
за теплым дуновеньем.
Раскрылся лед
под греющим лучом.
Но растопить
весне не удастся
одно лишь только —
иней на висках.

«Подумать только, – говорил Борис, – что Бо Цзюй-И умер в 846 году! Можно сказать, что он современник нашего Рюрика. Жизнь древних становится современной, когда читаешь его стихи».

Я приходил в мой родной Ботанический сад на Петроградскую сторону. Наша квартира была на первом этаже. Из-под ее окна в сумеречную мглу уходила аллея. Почти в окно били ветви китайской яблони, плоды которой к осени становились красными как кровь. В пустом, по-петербургски далеком небе садились на ночлег птицы. Шумел голыми вершинами деревьев осенний парк Императорского Ботанического сада. С Невки, там, где когда-то была дача П. А. Столыпина, в сумерках иногда вскрикивали пароходы, тянувшие длинные тяжелые баржи с грузом...

Когда я остаюсь один, глядя на небо, особенно остро чувствую свое одиночество.

Открыл наугад страничку подаренной мне книги поэта древнего Китая. Прочел:

Я обнял подушку —
ни слова, ни звука, молчу.
А в спальне пустой
ни души, я один с тишиною.
Кто знает о том,
что весь день напролет я лежу?
Я вовсе не болен,
и спать мне не хочется тоже.

В комнате становится совсем темно. Лампу зажигать не хочется. В небе гаснет последний луч заката. С трудом разбираю в налетевшей темноте текст:

Осенние лебеди все пролетели,
но с ними мне не было писем.
Больной, покрываю я голову шелком,
с трудом выхожу за ворота.
Один поднимаюсь на старую башню.
Гляжу на восток и на север.
На запад склоняется солнце.
В печали стою я, пока не стемнеет.

Недавно умер мой дядя – Николай Николаевич Монтеверде. Моя бедная тетя Ася сразу постарела. В глазах ее светилась мука одиночества. Приходя из Академии усталый, выжитый как лимон я заставал тетю сидящей за ее любимым маленьким столиком из красного дерева. Она писала стихи, глядя на все те же колеблемые ветром деревья на фоне дождливого мглистого заката. Она куталась в шарф и долгим неподвижным взглядом смотрела в окно. Почувствовав, что я пришел, хоть я старался не нарушать тишину, начинала суетиться и звенеть посудой...

* * *

Вспоминая мою юность и людей, с которыми я общался в то время, должен отметить, что большинство из них были интеллигентами – в плохом и хорошем смысле этого слова. Мы жили силой сопротивления предложенным историческим условиям не Петербурга, а Ленинграда. В погоне за

духовными ценностями мы были лишены главного: национального воспитания, понимания, какие исторические корни должны лежать в основе нашей жизни. Мы тянулись к свету, ощущая себя в тюрьме. Вот почему моей первой серьезной работой стала картина, посвященная поэту в тюрьме. Имя поэта – Юлиус Фучик. Его хлесткое название книги «Репортаж с петлей на шее» было созвучно моему ощущению, что меня будто стягивает петля советской действительности. Да и тема эта – поэт в тюрьме – была основополагающей в моей работе над картиной. Гениальное произведение Листа «Торквато Тассо» сопровождало меня в этой работе. Одновременно меня мучил образ Джордано Бруно, глядящего в ночное небо. «Кто дух зажег, кто дал мне легкость крыльев», – писал он в одном из своих сонетов.»

Фоном моей жизни был мир Петербурга, воспетый Достоевским, где жили униженные и оскорбленные души его героев. Национальное чувство еще тогда не проснулось во мне. Оно жило памятью детства. «Пепел Клааса» еще не стучал в моем сердце. Тогда была учеба, музеи, неуверенность в себе и уверенность в том, что я призван следовать внутреннему голосу, который говорил мне: это ты не должен делать, а это – должен.

Любить Отечество – великую Россию – меня учили творения русских ученых, поэтов и писателей; поездки в Углич, Кизи, на Ладогу были судьбоносными вехами в моей юности. Позднее, уже переехав в Москву, оказавшись социальным изгоем, объектом унижения, травли и насмешек, я увидел и ощутил всем сердцем помятую, униженную и омытую кровью Россию. Оскверненные святыни Москвы, Ростова Великого, Ярославля, Боровска, уничтожаемые иконы, валяющиеся в мокрой траве у разрушенных храмов, открыли мне глаза на многое и вынудили вступить на путь борьбы – борьбы за Россию. Любовь к ней была всегда в моей крови, как и у большинства моих друзей, но любить Россию вслух, зримо – это значило принять огонь ее врагов на себя.

Великого напряжения сил мужества и чести требует от нас любовь к духовному и историческому миру России. И я навсегда запомнил, как монах в Киеве у стен Киево-Печерской лавры, откуда расстилались необъятные дали («редкая птица долетит до середины Днепра», – как писал когда-то Гоголь), узнав, что я приехал, чтобы стать иноком, внимательно выслушав меня, замолчал. Глядя на меня с суровой, но отеческой нежностью, сказал: «Мы в монастыре, Ильяша, спасаемся. Ты – художник. Это твоя жизнь, твой путь. Ты должен идти в мир и нести миру в картинах свет Божий, любовь к матери нашей – православной церкви. Твои картины должны быть твоей молитвой во славу Божию и Руси великой. Тяжко тебе будет у нас – по тебе вижу. Я, старый монах, благословляю тебя взойти хоть на твою Голгофу. И будь стоек в своем служении».

Мы встречались несколько раз, и он подарил мне на память свою фотографию. Работая над «Братьями Карамазовыми», я часто вспоминал этот разговор.

* * *

Я помню, как мы ходили с Борисом Вахтиным в гости к Ариадне Жуковой, которая в то время тоже училась в Академии художеств на искусствоведческом факультете. Ее некрасивое лицо преображалось, когда она читала стихи – свои и чужие. Она была москвичкой и снимала комнату в коммунальной квартире неподалеку от Эрмитажа. Мы пили чай, говорили о философии: иногда у нее прорывались советские нотки, и мы с Борисом иронически переглядывались. Запомнились ее стихи: Полет Валькирий, Врубеля демон.

Мы спорили о начале и конце погаснувших цивилизаций, о загадочности взгляда Нефертити. Живо интересовались также философией Вивеканады и Рамакришны, зачитывали до дыр XX том сочинений Р. Роллана, в котором публиковались посвященные им произведения. Я помню, как в слабо освещенной комнате желтый свет лампы боролся с серебряным светом белой ночи, нависшей над городом. Глаза Ариадны парадоксально и страстно излучали какую-то шаманскую энергию. Она много и восторженно говорила о своем друге скульпторе Олеге Буткевиче, которого считала надеждой советской культуры: «Это – новый человек. Это воплощение нашей сталинской эпохи. Мне нравится, что он, будучи высоким интеллектуалом, занимается боксом. Вам бы, кстати, тоже не мешало им заняться, – советовала с презрительной ласковостью. – Надо уметь наносить удары...»

Мы засиживались у нее до утра, и Ариадна провожала нас по пустынной Миллионной улице, носившей тогда имя негодяя-террориста, «сознательного пролетария» Степана Халтурина. Светлая заря, с перевернутыми в отражении воды домами, сверкала на мокром асфальте улицы русских миллионеров. Встречи с Ариадной Жуковой – одна из страничек моей юности. Она была инициатором моего знакомства как с Олегом Буткевичем, так и с его, как она выражалась, антиподом – Эрнстом Неизвестным, «человеком громадного размаха». Много лет спустя, уже в Москве, я встречал Ариадну в редакциях газет и журналов. Она подчеркнуто отчужденно здоровалась, словно не была знакома со мной, и я позднее узнал, что ее

«дум высокое стремление» воплотилось в ряде монографий, в частности, о певце колхозной деревни А. Пластове. Вот тебе и Рамакришна и Врубель с его «кантовской волей.»

...Со стороны Борис Вахтин на многих производил впечатление надменного человека: высокорослый, держался прямо, говорил уверенно, иногда цедя фразы, в которых скрывался только мне известный подтекст. Имя его матери было окружено ореолом славы лауреата Сталинской премии. Ее лицо светилось такими же серыми, как и у Бориса, глазами. Пронзительностью взгляда она напоминала нахохлившегося совенка. Да и волосы, подкрашенные оранжеватой хной, были похожи на перья, собранные на затылке в пучок. Мы робели, когда она неожиданно появлялась в дверях комнаты Бориса. Только один раз она сказала мне: «Я очень рада, что Вы дружите с Борисом.»

Мужем Веры Пановой в ту пору был писатель по фамилии Дар, человек очень небольшого роста, с типично еврейским лицом, словно просившемся на дружеский шарж.

Борис обходил тему отчима и лишь однажды обронил: «Да, это забавный человек... и добрый», – помолчав, добавил он.

Дар всегда был весел, говорлив и любил собирать вокруг себя молодых поэтов. Я очень благодарен ему и Вере Пановой, что они поддержали моего приятеля по Академии Виктора Галайкина. Опубликовав его первые рассказы, дали путевку в жизнь этому энергичному и странному парню. Забегая вперед, не могу не вспомнить о реакции Дара на мою первую выставку. Из Москвы я вернулся в Ленинград, подавленный и злой. «Ну как, – спросил, улыбаясь, Дар. – Что случилось? Мы слышали о грандиозном бомбовом взрыве, который ты произвел в Москве. Толпы штурмовали ЦДРИ. Для двадцатилетнего художника – это не плохое начало!» «Да что хорошего, – поднял я на него глаза. – Все, понимаете, все против: Союз художников, Академия художеств... Меня отчислили из Академии, правда, восстановили после посещения выставки министром культуры Михайловым, который поздравил Иогансона с талантливейшим учеником.» «Вот видите, значит, не все против, – смеялся Дар. – Ну, а что дальше?» «Дальше меня сняли со стипендии и не хотят допускать к диплому. Преподаватели и многие студенты смотрят на меня как эсэсовцы на пленного партизана». Радости Дара не было предела.

Он обнял меня и, утирая слезы смеха, произнес: «Боже, какой Вы счастливый! Какой это грандиозный успех!» Глядя на меня снизу вверх, он добавил: «Да Вам любой позавидует – ведь так реагируют только на явление. Не зря мы сразу поверили в Вас. Какой бы был ужас, если бы эта банда Вас сразу признала!»

Я тогда не понял причин радости отчима моего друга. А Борис снисходительно смотрел на нас: «Я понимаю, как Ильёше тяжело, – сказал он. – Битва только начинается».

Это был 1957 год. «Оттепель»...

Но я возвращаюсь к теме коммунистическихстроек. На Пожарищенской ГЭС, затерянной в сосновых лесах, о которой я уже упоминал, работали студенты Ленинградского университета имени Жданова. Борис был одним из комсомольских вожakov. Его побаивались и уважали. Студентов-строителей было несколько сотен человек. Размещались они в деревне, населенной «нацменьшинством» – вепсами, очень походившими на финнов. Борис жил в отдельном доме вместе с комсомольскими руководителями. Как-то вечером он пришел в дом, где я жил вместе с членами бригады, к которой был прикреплен, и рассказал мне, что в одной из близлежащих деревень прочел в колхозном клубе доклад о международном положении. Там собралось много народа, и во время доклада стояла мертвая тишина. Закончив политическую сводку, по обычаю всех советских докладчиков он спросил: какие будут вопросы? Председатель колхоза, встав, сказал, что здесь никто, кроме его одного, не говорит по-русски: все вепсы; но ему все понятно.

Борис Вахтин был очень доволен, что я участвую в строительных работах – вожу тачки с землей, таскаю бревна. «Хорошо, если бы ты еще побольше рисунков успел сделать. Мы их выставим в университете, и это будет для тебя мощной социальной защитой... Ты ведь сам прекрасно понимаешь, что висишь на волоске после истории с твоим другом Евгением Мальцевым и Марком Эткингом, которых ты защищал, когда их хотели выгнать из комсомола».

По прошествии нескольких дней я понял, что, как и всегда, не могу жить в коллективе случайных для меня людей. Жесткий распорядок дня – как в лагере. На рассвете мы, колонной по четыре человека в ряд, уходили и почти при закате возвращались с работы.

Помню, какая холодная роса была по утрам, как запевал высоким казенным голосом Борис:

Нашу песню труда,

Подпоют провода,

Провода Пожарищенской ГЭС...

Проходили дни, похожие один на другой. Я никогда не мог начать рисовать, если в моем сознании не складывалось образа и, если хотите, ясного понимания того, что делаю и для чего. Ну, работают молодые строители, возят тачки; я тоже. Но ничего интересного в этом обнаружить не мог.

Объяснение, что мы работаем ради светлого будущего, вызывало в душе саркастический смех. Да и какой это «пафос созидания»? Я всегда поражался – как это студентов посылают на уборку картофеля, заставляют работать в колхозах. Кому это нужно? И какие из них крестьяне – из этих городских юношей и девушек? Да и сколько, например, картофеля оставляли мы в земле, которую уже начинал сковывать предзимний холод... А если после убранного таким образом поля все той же картошки на него выходили дети и старики, чтобы добрать то, что осталось в земле, – к ним применялись самые строгие меры по закону о хищении социалистической собственности.

Все на месте, каждый занят не своим делом – вот реальный принцип советского общества. Теперь мы с каждым днем все глубже и глубже понимаем, что это значит, но тогда разговоры об этом вслух могли обернуться трагедией – карательные органы не дремали.

...Гасло небо, и наша колонна снова двигалась, к вепской деревне. Идя домой, запевали любимую многими студентами песню:

Шел солдат из Алабамы
До своих родных краев,
До своей родимой мамы,
До сестер и до братьев...

Так называемая советская культура убила понятие народной песни, заменив ее пропагандистскими виршами и наворованной со всех сторон мелодикой. Один наш друг в Ленинграде вел картотеку таких беззастенчиво украденных мелодий – от «Летите, голуби, летите» до других мелодий. И доказывал нам, «что и откуда».

Прошла неделя, и я понял, что больше не выдержу. Я подошел к Борису и сказал: «Больше не могу, иначе здесь сойду с ума». Вглядываясь в мое лицо, он ответил: «Да, выглядишь ты неважно. Не получается из тебя соцреалист». Помолчав, добавил: «Может быть, все-таки потерпишь? Всего три недели осталось». Я замотал головой: «Завтра утром ухожу». – «Но до станции 30 километров, а машины не ходят». – «Пойду пешком, – ответил я. – Здесь все мне чуждо: разговоры, чтение газет, карты, выпивки... Я теряю время и теряю себя».

Помню, как шел пешком по одинокой узкой дороге. Высоко надо мной бежали облака в далекие страны, вершины могучих сосен гнулись и шумели под ударами северного ветра.

Первобытная природа словно омыла мою забитую коллективизмом душу, точно кончилось действие некоего наркоза, и я снова стал ощущать жизнь. Я всегда прислушивался к велению внутреннего голоса и никогда не жалел, что следовал ему...

...Поздно вечером я сел в скрипучий полупустой трамвай у Финляндского вокзала, который тогда еще не был превращен советскими архитекторами в гигантское сооружение, подобное химчистке, за стеклянной витриной которого стал красоваться старый паровоз, на котором приехал в Петроград, чтобы осчастливить Россию, Ленин. Многие еще, наверное, помнят прежний облик Финляндского вокзала – уютного элегантного; именно перед ним в 1917 году собралась толпа черни, встречавшей знаменитый plombированный вагон, не подозревая пока, что натворит приехавшая банда международных преступников.

* * *

Меня всегда интересовал полный список тех, кто вместе с Лениным приехал тогда совершать «русскую» революцию». Как поименно обозначалась по документам каждая бацилла смерти и разрушения? Их было 177. Преследуя одну цель – уничтожение исторической России, они делились на партии. Внимательно прочтя список попутчиков Ленина, который может найти каждый любознательный читатель, я поразился не только нерусскому звучанию их имен. Но и тому, что судьбы большинства из них скрыты мраком неизвестности. А «благодарное» население страны должно бы знать черные деяния каждого.

Достаточно, например, назвать двух бацилл из plombированного вагона: Сафарова и Войкова – участников убийства царской семьи.

Сафаров стал большевистским диктатором Урала – членом областного Совдепа.

Петр Войков (он же Пинхус Вайнер) – один из главных организаторов убийства русского Самодержца. Имя им всем – легион!...

Странно, что нет серии монографий и книг о тех, кто приехал с вождем мировой революции уничтожать последний бастион христианского мира – православную, монархическую Россию. Думаю, что их биографии – часть нашей кровавой истории. Уверен что многих из них перестреляли, как бешеных собак, братья по партии большевиков в 30-е годы. Гады пожирали гадов. Это их, а не наша трагедия.



Каждый год в начале лета всех студентов института имени Репина Академии художеств СССР распределяли на так называемую практику. Студенты должны были отражать пафос труда на фабриках, заводах и в колхозах. Мы должны были отчитаться этюдами, рисунками и эскизом композиции, отражающими цель и смысл нашей «практики».

После первого курса нас отправили в один из колхозов Ленинградской области. Мы усердно писали пейзажи, пленэрные постановки и мучительно выбирали тему, отражающую жизнь и пафос создания в колхозной деревне.

Однажды, поздно вечером, когда белые ночи уже переходили в темноту обычных ночей, я вышел из здания сельской школы, где размещались студенты, чтобы запомнить и написать по памяти окутанный туманом старый пруд, в неподвижной глади которого отражалась луна. Неподалеку на скотном дворе в небольшом оконце я заметил огонек, а войдя в приземистое здание, пропитанное запахом сена и коровьего навоза, увидел тронувшую меня сцену.

На соломе, рядом с черной как смоль коровой, лежал крохотный белый теленок. Рядом возилась женщина в красном платке и переднике, наливая в корыто ключевую воду из ведра. Из-за перегородки с большим интересом на эту сцену смотрела девчонка – а рядом невозмутимо закуривал «козью ножку» пожилой крестьянин в старом ватнике. Почему-то я вспомнил эрмитажные картины, где вот так же, в великой бедности, среди коров и овец, сидела Богородица, держа на руках младенца – Спасителя мира, а на золоте соломы перед ней толпились пришедшие поклониться Христу пастухи, которые были свидетелями этого Чуда...

Я долго трудился, работая с натуры, над бесхитростным и простым сюжетом рождения теленка, столь обычным для крестьянской жизни и столь необычным для меня, жителя большого города.

Работая над этой темой, я вспоминал не только давно ушедшие дни жизни в Гребло, где я работал пастухом в годы эвакуации из блокадного Ленинграда, но и картины «малых голландцев» и нашего, столь любимого мною Венецианова.

Этот эскиз тогда, помню, многим понравился и до сих пор хранится у меня. Не забыло его и академическое начальство, когда после скандала с моей первой, выставкой, отвергнув мою дипломную картину «Дороги войны», предложило написать «Рождение теленка», за что, как известно, «бунтарю» Илье Глазунову поставили тройку и дали направление преподавать черчение в далекой Сибири, заменив потом его на Ижевск и Иваново...

...После окончания второго курса нас вновь собрали в деканате, распределяя места предстоящей практики. Мне особенно настойчиво рекомендовали поехать на «великие стройки коммунизма» и отразить в полной мере трудовой пафос и романтизм молодых строителей, создающих светлое будущее.

«Вот тебе, зная, что ты любишь Волгу, мы бы настоятельно рекомендовали поехать на строительство Куйбышевской ГЭС, – сказал декан. И иронически добавил: – Вот там ты увидишь настоящую советскую жизнь, которая промывает тебе мозги, засоренные старыми церквухами и сараями, в которых ты пытаешься найти поэзию и выдать их за нашу советскую действительность».

Обведя нас взглядом, с интимной теплотой в голосе добавил: «Сергей Ласточкин и другие написали прекрасные картины, отражающие участие нашей молодежи в решении задач, поставленных нашей партией и лично Иосифом Виссарионовичем Сталиным».

Тогда о Куйбышевской ГЭС много писалось, говорилось до радио, а на выставках Москвы и Ленинграда появились образы счастливых строителей. Всему этому вторила «Песня о лесах» Шостаковича, прославляющая мудрую деятельность гения всех времен и народов, вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина.

Запомнилась мне одна из многих картин ленинградских художников, посвященная великим стройкам, изображавшая, как молодежь высаживается на волжскую пристань, сгибаясь под тяжестью чемоданов и восторженно глядя на необозримые просторы, охваченные голубым летним зноем. На их лицах был написан восторг и готовность немедленно принять участие в великом созидании. По-моему, картина так и называлась: «Строители Куйбышевской ГЭС». Правда, у меня уже был опыт пребывания на строительстве Пожарищенской ГЭС.

Но я тогда был счастлив, что снова увижу Волгу и создам картину, которая отразит великую правду наших дней. И мне было интересно сравнить размах большой стройки с нашей Пожарищенской.

...Один, с этюдником и большим количеством увязанных холстов, к вечеру на пароходе я добрался до города Ставрополя, что лежит на пологом берегу Волги напротив могучих холмов, у подножья которых начиналась великая коммунистическая стройка Куйбышевской ГЭС. Уже на пристани я был поражен чистотой розового вечернего неба, тихой зеркальной гладью великой реки. На том берегу, там, где должно

было садиться солнце, высились на зеленых могучих холмах, поросших лесом, огромные буквы, как впоследствии я узнал, выложенные из белого камня: «Миру – мир!», а правее, на другом холме: «Слава великому Сталину!»

Приехавший на одном со мной пароходе местный люд и несколько командировочных уселись в неказистенький автобусик и вскоре высадились в центре когда-то богатого волжского городка у дома для приезжих. Оставив вещи в комнате, где кроме моей находились еще три занятых железных койки, я помчался на встречу с моей любимой Волгой.

Чтобы попасть на тот берег, нужно было ждать паром, который приближался к нам, оставляя след на розовой от заката воде. В ожидании парома я разговорился с шофером самосвала. Он вызвался подвезти меня до самой стройки, которая начиналась в двух километрах от причала того берега.

Под тяжестью самосвала дебаркадер пристани захрустел; но вот уже мы несемся прямо на красный закат по наезженной дороге. Вдруг впереди, в клубящейся пыли, я увидел огромную толпу народа, которая, заполнив всю дорогу, двигалась прямо на нас. Казалось, ей не было конца. В сознании на момент возникла картина потока беженцев первых дней войны.

В вечерней тишине раздавалось многоголосье рычащих собак.

– Кто это? – спросил я у шофера.

– Как – кто, – скосил на меня недоверчивый взгляд съезжающий на обочину шофер. – Строители коммунизма.

– Какие строители коммунизма?! – недоуменно воскликнул я, глядя на его надвинутую на глаза кепку, желтую от пыли, как и окружающие нас придорожная трава, кусты и деревья.

– Заключение, – ответил он небрежно. – Ты откуда, парень? Свалился с Луны?

– Не с Луны, а из Ленинграда, – ответил я.

Мы поравнялись с первой шеренгой колонны.

Боже, какое страшное зрелище! Какие безрадостные, сведенные болью лица! И сколько их впереди... Как рвутся на поводках у конвоя овчарки.

В памяти на мгновение всплыли образы Доре – его иллюстрации к «Аду» из «Божественной комедии» Данте. Мы словно принимали парад на страшной, дымящейся пылью дороге ада. Очевидно, видя мое искреннее изумление, водитель, проведя языком по запыленным, растрескавшимся губам, произнес:

– Я тоже заключенный...

– Как заключенный?

– Да очень просто, – пояснил он. – Работаю как вольный, а ночью в зоне... А тебя куда подвезти? К родственникам, что ли, приехал?

– Нет, я художник. Приехал сюда рисовать.

– Рисова-а-а-ать, – иронически протянул он. – Кого рисовать-то? Нас, заключенных? – Он притормозил. – Ну вот ворота – вход на котлован. Валяй, если не боишься.

– А чего бояться? – спросил я.

– Да люди-то здесь лихие собраны. Больше рецидивистов, чем политических. А главное – тебя сюда никто и не пустит без пропуска. Посмотри, – показал он вверх пальцем, замотанным грязным бинтом, – вышки. Разве не видишь?

Действительно, справа и слева от входа, на расстоянии трех-четырех метров от земли, я увидел часовых, которые стояли к нам спиной.

– Только сейчас ты никого не увидишь. Все уже разведены по баракам.

Я остался один перед мелкой решеткой входа. Сжимая в руке маленький альбомчик, решил: надо пройти на территорию – будь что будет. Никто меня не остановил. Передо мной была потрескавшаяся, распахнутая далеко-далеко земля. Впереди, словно кратер вулкана, виднелась гигантская яма котлована. Самосвалы на другой стороне котлована казались игрушечными. Было тихо и безлюдно.

Налево на том берегу могучей Волги, тонул в сумерках Ставрополь. Вода была синей. А направо – огромной зеленой громадой, закрывая небо, высились холмы с гигантскими буквами лозунгов. Закат пламенел, как красный всполох взрыва. В кровавой пустоте неба черным скелетом высился шагающий экскаватор. И вдруг я увидел, что я здесь не один. Недалеко спиной ко мне молился старый узбек...

Я не помню, как добрался дома приезжих, когда небо горело мириадами звезд, а мои соседи по комнате, очевидно, давно спали. Не помню, сколько спал, и проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо.

Я увидел двух людей в форме. Один шепотом спросил:

– Это ты был вечером на котловане? Одевайся, поедешь с нами.

– А кто вы? – спросил я.

– МГБ, – ответил разбудивший меня человек.

Они отвезли меня через пятнадцать минут к какому-то темному дому. Один из них шел спереди, другой сзади меня. «Влип», – подумал я.

За столом у зеленой лампы сидел огромного роста, лет сорока пяти, полковник министерства государственной безопасности. В упор глядя, поинтересовался:

– Документы.

Я подал паспорт и командировочное удостоверение студента Академии. Полковник долго, даже на свет рассматривал мои бумаги.

– Так кто же послал тебя сюда? – сурово спросил он.

– Здесь же написано, я студент Академии художеств, которая и послала меня на великую стройку коммунизма.

– Зачем на ночь глядя поперся в зону? Кто разрешил?

– Хотел скорей все увидеть и приступить к работе, – стараясь быть как можно спокойнее, ответил я.

Помешивая ложечкой чай с лимоном, полковник неожиданно сказал:

– Вот недавно была у нас делегация Чехословакии. Пришлось демонтировать вышки, а людей в бараки запереть, работали только вольнонаемные. А их с гулькин нос. Гости удивились: стройка большая, а так мало людей работает. Мы объяснили: такие чудеса делает с людьми наш социалистический строй – каждый работает за десятерых. Понятно, на что намекаю? – Строго глядя на меня, спросил он. – Сюда ваша братия любит приезжать – художники, музыканты, поэты. Мы предупреждаем: нарисуйшь вышку или заключенных – и сам будешь строить вместе с ними.

А в зону мы никого не пускаем. Во-первых, незачем, а во-вторых, пару журналистов не так давно прирезали. Оба из центральных газет. Здесь отбывают наказание особо опасные рецидивисты. Политические только поболтать горазды. А раз так настойчиво требуешь – то пиши расписку, что все последствия посещения зоны берешь на себя, а мы ответственности не несем. Хотя на черта тебе это нужно? Тут живут ваши художники, но никто в зону не рвется, – почему-то подмигнул мне полковник МГБ.

...Я на всю жизнь запомнил этот ночной допрос. Возвратившись, спал долго. Наконец поднялся, захватил этюдник и поехал в зону, имея на руках выписанный пропуск сроком на три недели. В раскаленной жаре пристроился с этюдником на коленях, пытаюсь передать первозданно развороченную землю, огромную воронку котлована, где по серпантину дороги съезжали шеренгой груженные самосвалы. Люди казались муравьями. Их было очень много, – и все казалось однотонным от едкой, желтоватой пыли. Прошел час, как вдруг на мой этюд сзади упала тень человека. Я продолжал работу.

– Художник от слова «худо», – раздался голос за спиной.

Я обернулся. За спиной стояли двое в майках. Они возвышались, словно скульптуры. Лицо, руки, кепки – все было покрыто слоем пыли. Тот, кто выразил ко мне отношение как к художнику, спросил:

– Ты с воли? Что-то я тебя здесь никогда не видел.

Потом, сверкнув белыми зубами, задал другой вопрос:

– А ты бабу голую для наколки можешь нарисовать?

– Конечно, могу, – ответил я.

– А может быть, бабу и меч... – размышлял он на жгучей жаре.

Я вытащил альбом и, вспомнив Венеру Боттичелли, нарисовал нечто в этом духе.

– По-моему, без меча лучше, – посоветовал я доверительно.

– Волос бы поменьше, – вступил со мной в дискуссию, оставляя на вытянутых руках рисунок, мой социальный заказчик.

– А что – он молоток, – произнес молчавший до сей минуты второй, более высокий.

Первый, посмотрев на меня, поинтересовался:

– А ты не боишься нас?

– А чего бояться? Вы такие же люди, как я, – потому я и дал расписку вашему начальству, что если со мной что-то случится, – они за меня не отвечают. Я каждый день сюда приходить буду.

– Парень – молоток, – опять подтвердил высокий. – Со знакомством. – Он протянул могучую руку. – Валера... Коля.

– Илья, – отрекомендовался я.

– А ручка-то у тебя, как у бабы, – среагивал Валера. – Но мы тебя в обиду не дадим: не последние здесь люди. Нас-то нарисуйшь?

– Давал подписку, что нет.

– Но мы же строители коммунизма, – ухмыльнулся Валера и указательным пальцем ткнул в ту сторону, где возвышался лозунг «Слава великому Сталину». – А это что у тебя – ножичек? – показал он взглядом на мастихин. – Жидковат. Здесь вот что иметь надо, – показал Валерий на своего друга. – Сидит здесь за то, что «Харлей» хвалил.

– А что это такое?

– Мотоцикл американский. Вот и пришили, присовокупив к статье за растрату, преклонение перед иностранной техникой.

– Ты когда теперь придешь? – спросили они, видя, что я закрываю этюдник. – Письмишко на волю кинешь?

– Кину, хоть это не положено, как меня предупредили сегодня ночью, – ответил я.

– А мы – могила, никому не скажем...

Я много рисовал все последующие дни, стараясь передать зыбкую пыль и атмосферу, я бы сказал, войны, которую я ощущал за решеткой великой стройки коммунизма.

* * *

Однажды на дебаркадере я услышал, как меня окликнули по имени. Это был Сережа Ласточкин, старшекурсник, а в то время, если не ошибаюсь, дипломник нашей Академии. Рядом с ним стоял седеющий человек в теплой рубашке, судя по этюднику, тоже художник. Это был Евгений Ильин, парторг Московского Союза художников. Они пригласили меня на уху, так как жили рядом с дебаркадером в сарайчике и ловили рыбу прямо у берега.

– И, на черта ты в зону ходишь? – удивился Сережа. – Прирежут. Да и рисовать все равно нельзя. Мы туда не рвемся.

Сережа, молодой талантливый художник, трудился над эскизом, где все та же счастливая молодежь высаживалась на декаркадер. Дебаркадер был написан с натуры, а молодежь, очевидно, в Ленинграде.

Женя Ильин прожил бурную жизнь. Рассказывал, как, стоя на часах, будучи в войсках ЧОНа, охранял двор Самарского губернского комитета партии.

– Все ждали приезда Троцкого. Когда он прибыл, к нему бросились сотрудники губкома. Помню, все в кожах были и, как собаки, «на цырлах»: «Лев Давыдович, Лев Давыдович, как мы рады!» А за ним кодла охраны – тоже все в коже. Объезжал он тогда всю Волгу на личном бронепоезде. «А мы Вас ждем, не начинаем», – сказал кто-то. «Ну давайте, выводите», – распорядился Троцкий. Из подвала во двор вывели толпу заключенных. Отцы города, купцы, учителя гимназий... Помню, гимназисты тоже были. Троцкий опустил руку к бедру и вытащил маузер. Губкомовцы веером расступились. Заключенные словно прижались к стене. Конвоиры оцетинились штыками. Человек шесть-десять он как в тире расстрелял. Потом маузер отдал председателю губкома со словами: «А теперь вы сами закончите дело». И, как оперный певец с эстрады, пошел к выходу со двора губкома. Председатель потом все хвалился: «Я стреляю из маузера Троцкого – это его подарок».

...Скомкав газету с остатками съеденной рыбы, Ильин добавил:

– Вспоминаю, волосы дыбом встают. Сколько они тогда положили народу.

– Кто они? – спросил я у парторга МОСХа.

– Кто? – троцкисты, – сухо ответил он. – Знаю я, – продолжал Ильин, – что, когда Каплан расстреливали после покушения на Ленина, как мне ребята рассказывали в Кремле, Демьяна Бедного вырвало. Нервишки не выдержали.

– А я слышал, что она долго еще жила, – заметил я.

– Да ну... – отмахнулся он.

Желая переменить тему, Женя показал на Волгу.

– А вот Волга и теперь течет, как и текла, и небо на землю не упало...

На стене сарайчика висели его этюды, прибитые гвоздями. Забегая вперед, скажу, что уже в Москве Женя Ильин, когда меня в очередной раз прокатывали при приеме в Союз художников, поил чаем в парткоме, закрыв на ключ дверь, качал головой и говорил: «Как они тебя ненавидят! А ты сам знаешь, за что... Белая ворона!»...

Помню также, как один раз, уходя от Сережи и Жени, в полной темноте у тусклой желтой лампочки кассы купил билет на паром, который явно запаздывал, сел на лавку, смотря, как небо и земля переходят в черную воду Волги. На дебаркадер, шатаясь, вошел человек с самодельным чемоданом из фанеры. Купив билет, сел рядом со мной, и, дыша перегаром, будто давно зная меня, сказал:

– Ну вот и кончил срок. Еду домой...

Я никогда не любил пьяных и не старался поддержать с ним беседу. Он недоумевал, почему так долго нет паром, и на трудных непослушных ногах отошел в угол дебаркадера, глядя в темноту, где горели одинокие огни великой стройки коммунизма.

Подходил паром. Я поднял глаза, ища моего единственного попутчика. И вздрогнул, ибо вдруг показалось, будто нечто тяжелое упало в волны ночной Волги. Я осмотрел весь паром – на нем никого не было. Наверное, в темноте несчастный не заметил, что поручни дебаркадера сломаны... Я наклонился к окошечку кассы и, на всякий случай, спросил: «А где же пассажир?» Ответа не последовало.

...Так и остался стоять на дебаркадере фанерный, покрашенный синей краской самодельный чемадан...

Я ехал на пароме в подавленном состоянии души, став невольным свидетелем никем не замеченной трагедии человека. А за кормой бурлила и пенилась черная вода.

Сойдя на берег, увидел огромный костер и, когда подошел ближе, в пламени его я разглядел истово пляшущую молодую цыганку. Она плясала самозабвенно. Ее широкая юбка сама была, как пламя, словно два костра соревновались друг с другом. Ее маленькие груди напоминали двух зверьков, которые хотели и не могли выпрыгнуть из-под оранжевой кофты. Я сел на землю, с восхищением наблюдая за страстным танцем.

Когда она, запыхавшись, села на корточки рядом со мной и пламя костра засверкало в ее глазах, я предложил ей нарисовать ее портрет.

Неровно дыша после бурного танца, она сказала:

– Я тебя давно заметила. Рисовать днем надо, а ночью – любить.

...Какими близкими казались звезды, как стрекотали кузнечики, как шумел волжский ветер в ночной траве! Ее лицо, шея и грудь была солеными на вкус, будто она только что вышла из морской волны. Неподалеку располагался табор. Скоро должна была заняться заря. Я задремал. Помню, как она принялась меня тормозить и я неподалеку услышал крики. – Это меня ищут. Найдут – прибьют, а тебя насмерть забьют. У нас в таборе так положено.

Я успел ускользнуть, продравшись сквозь кусты, покрытые росой, когда гортанные крики слышались совсем близко. Не в первый раз познавал я быт цыган. И когда много-много лет спустя работал над образами Лескова и Достоевского, я так живо ощущал таинство черных глаз, упругость смуглого тела, лучистый смех и: белизну зубов на загорелом лице моей далекой подруги...

* * *

Приехав в родной Ленинград, я, обдумывая итоги своей поездки на Волгу, понял еще раз, что значит ложь и правда – как писал «олимпиец» Гете: «Dichtung und Warchit» («Поэзия и правда»).

Я не мог написать правду, но и не мог лгать. Осенью преподаватели живописи потребовали от меня отчет: композицию на тему «величие стройки коммунизма». Я решил изобразить то, что видел уезжая из Ставрополя: пароход, палуба, на которой сидят люди – такие, какими они выглядели во время своего путешествия. А там, вдали, на другом берегу, словно дым, кружится пыль, сквозь которую на могучих холмах угадываются два огромных лозунга: «Миру – мир» и «Слава великому Сталину!»

«Ну а где же пафос труда?» – недоумевал мой профессор. – Вот Сережа Ласточкин – прекрасную картину написал, а был там же, где и ты. Не выйдет из тебя ничего путного. Не чувствуешь темы, как другие ребята. Надо отражать величие времени, размах коммунистического строительства. А ты корму парохода показываешь, а на ней каких-то оборванцев.

* * *

...Прошло несколько лет. Я снова в Горьком. Моя цель – побывать в местах, описанных Мельниковым-Печерским, над иллюстрациями к собранию сочинения которого я работаю. Все так же за синими далями в лесах, в полях лежит древняя земля, повитая неумирающими легендами, все так же таинственно поет могучий волжский ветер. Осуществляется моя давнишняя мечта – побывать на озере Светлояре, в лесном загадочном Заволжье, хранящем столько легенд, столько по-детски прекрасных и мудрых верований народа.

Необъятны дремучие леса Заволжья, они тянутся далеко на север, где соединяются с устюжскими и вологодскими дебрями. С давних пор в них находили приют все, для кого жизнь оказывалась злой мачехой: остатки разбитой и разогнанной поволжской вольницы, беглые крестьяне, не хотевшие нести тяготы подневольного труда. Староверы, видевшие в новшествах коварные происки антихриста, тоже

стремились огородиться стеной заволжских лесов от «мира, лежащего во зле». Так создался своеобразный, неповторимый мир, называемый «стороной Кержецкой», отрезанный от всей России, живущий по своим неумолимым законам. Суровый и поэтичный, выковывал этот мир удивительные по силе духа народные характеры. Люди порою шли на самоожжение, видя в нем единственную форму протеста против новшеств. Начиная с XVII века, росли один за другим раскольничьи скиты, формировался жизненный уклад, так не похожий на жизнь остальной России. Давно разрушены все скиты, навсегда ушел патриархальный их уклад, но грустные поэтические легенды сохранили до наших дней светлую веру в чудо, преображающее жизнь в царство добра, незримо живущего в мире.

Бессспорно, одно из самых красивых русских сказаний – народная легенда о граде Китеже, не раз вдохновлявшая поэтов, художников, музыкантов. Легенда о Великом Китеже – «Китежская летопись». По предположению П.Н. Мельникова-Печерского, сочинена в заволжских скитах. В «Китежской летописи» говорится, что великий владимирский князь Юрий Всеволодович, посетив ряд городов Руси, приехал в волжский Городец – Малый Китеж. Оттуда он поехал сухим путем на восток и на берегу озера Светлый Яр, «в месте вельми прекрасном и многолюдном», построил город-крепость Большой Китеж. Впоследствии, спасаясь от преследовавшего его по пятам Батыя, князь Юрий скрылся в этом городе. Наутро Батый взял штурмом Малый Китеж и всех во граде порубил, а некий Гришка Кутерьма, не выдержав пыток, показал ему путь к озеру Светлый Яр, где в Большом Китеже скрывался князь Юрий. Помните, как А. М. Горький передает эту легенду в повести «В людях»?

Обложили окоянные татарове,
Да своей поганой силищей
Обложили они славен Китеж-град.

В ответ на мольбы Китежа спасти от глумления церкви, жен, детей и старцев Бог велит архангелу Михаилу:

Сотряхни землю под Китежем,
Погрузи Китеж во озеро.

А Мельников-Печерский так излагает эту же легенду: «Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит – откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре тихим летним вечером виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княжеские, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой заунывный звон колоколов китежских. Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая».

По народным представлениям, град Китеж, скрытый от глаз греховного мира, – земной рай, откуда праведники посылают грамоты людям, наставляя их, как жить в миру. Жизнь в славном Китеже совсем особая – ясная и светлая. Можно попасть в него и заживо, но возврата оттуда нет. А попасть можно так: отговев и причастившись, без ума и посоха надо пройти по Батыевой тропе к Светлому Яру, там откроется в одном месте темная пещера – вход в Китеж-град. И путник входит в открытые ворота затонувшего мира, храня веру в существование чуда на земле.

Много спорили и спорят о происхождении легенды, изучают почву, измеряют глубину озера, ныряют с аквалангом на дно Светлояра. Доказывают научно, что нет и не могло быть града Китежа в озере, что другой Китеж штурмовали полчища Батыя, в другом месте остатки древней крепости. Но главная прелесть легенды о граде Китеже в том, что раскрывает она и красоту, и удивительную чистоту народа, хранящего в своей памяти светлую веру в чудо, в красоту земную. Удивителен все-таки мир России, где рядом со сверкающими стеклом железобетонными корпусами заводов и комбинатов, космическими кораблями и сложными электронными машинами живет вера в легенду, в град Китеж – невидный и взыскующий, ушедший до времени, до срока означенного, в синие воды озера Светлояра...

Шофер Миша мчит нашу машину к Светлояру. – Сейчас ничего особенного не увидите – летом надо, – говорит он.

За ветровым стеклом пробегают белые свечечки берез, вьются проселочные дороги, на которых лежит выпавший ночью первый снег. Легкий мороз сковал грязь и обратил лужи в куски серебра, тускло отражающего серое; ненастное небо. Только над горизонтом (не там ли, где озеро Светлояр?) узкий светоносный прорыв в уже зимнем небе...

Пролетает деревня Знаменка... Должен сказать, что впервые в жизни под Нижним Новгородом я испытал чувство поистине великого изумления перед фантастичным богатством резьбы наличников на крестьянских избах. Самая распаленная фантазия не может (даже после северных изб!) представить себе все творческое буйство и великолепии по-царски изукрашенной резьбы. Слов нет – надо видеть! Здесь и солнце, и узор снежинок, и разгул весенних лугов, и гирлянды цветов, увенчанные коронами, и сидящие

птицы, готовые слететь с деревянных веток!... Ажур и барельеф – почти скульптура, – и ни одного одинакового окна! Ни одного на сотни изб! Как души человеческие, все разные. Хотя конструкция изб одна. Под крышами висят венки – древняя традиция языческой Руси.

– Это кто ушел в армию. Ребятам девушки плетут при расставанье. Он в армии, а венок висит под крышей, как память о нем, – в армии человек, значит! – поясняет Миша. – А вот река Керженец; может, это и враки, но старики говорили, по ней Стенька Разин плавал, здесь озеро Разина есть, за Семеновом.

Из-под колес машины вылетают сороки, поэтические спутники русской зимы.

– А окно можно мастеру заказать?

– Можно. Здесь все режут, – снисходительно отвечает Миша. – Рублей десять – пятнадцать стоит будет. Может, чуть поболее! Он крутит приемник «Москвича», автомобильное радио звучит в полную силу. Впереди разъезд у ветряных мельниц, направо – село Владимирское, что у самого озера Светлояр.

В центре – покосившийся шпиль церковки. Тут наша машина неожиданно стала. Миша поднял капот и деловито стал копаться в моторе.

– Пока сходите на озеро – почию, – обнадежил он, улыбаясь широкой улыбкой, обнажающей розовые, словно с подпиленными белыми зубами, десны. У него широкое лицо в веснушках, желтые ресницы и брови.

В небольшой чайной села Владимирского не было ни знакомых шишкинских медведей, ни «Девятого вала» Айвазовского. На стене строго и деловито висел лозунг: «Коммунизм создается трудом и только трудом миллионов!», а рядом – другой: «Товарищи! В борьбе за молоко и мясо не теряйте ни полчаса!» И только потом я заметил под стеклом вправленные в раму репродукции с картин, где в бурке мчался Чапаев наперегонки с гоголевской «Тройкой».

Когда я стал рисовать старинную, интересную по архитектуре церковь, за спиной, как всегда, появились любопытствующие, преклонных лет люди. Начался разговор. Я наводил его на град Китеж.

– А как звон-то слышно? – спрашиваю вскользь у моих собеседников – старика и старушки. – Колокола звонят в Светлояре под водой?

– Да нет, – отвечает старик, – болтают только зря. – Он пристально посмотрел на меня: – Побасенки это все.

– А я вот слышал, что звонят, – приехал специально на озеро посмотреть, нарисовать его, стариной поинтересоваться.

– А может, ты услышишь, пойдешь. Люди слышат, и ты услышишь, чем ты хуже других? – успокоила меня старушка после некоторого раздумья.

– Держи карман шире, услышишь сейчас, – с ехидцей вмешался старик, – колокола-то звонят только в праздники, и то в престольные. А сегодня, что? Ничего!

Мальчишки, молча слушавшие эту беседу, фыркнули, и один степенно сказал:

– Сказки, вранье все это. В озере глубина двадцать восемь метров, вода чистая и прозрачная, и ничаво там нет. Мы не слышим никаких колоколов, когда рыбу удим! Нам училка все рассказала про это озеро, – у нас лагерь там пионерский на горах разбит летом! Купаемся...

– Не только звон слышно, – упорно продолжает старуха, – много здесь такого бывает, чего нигде больше не увидишь. Один человек видел, как с неба серебряная веревка опустилась, дошла до воды, вода вскипела белой пеной, вышли из воды по четыре в ряд с хоругвями старцы и потерялись в небе.

Рассказывают мне и более современную интерпретацию: «Ехал из города Семенова на такси человек, доезжает до озера Светлояра. Остановил шофер машину у воды: „Приехали, – говорит, – вылезай“. А он говорит: „Не бойся, добрый человек, поезжай по воде к середине озера“. Не помнит сам шофер, как доехал до середины озера, – оглянулся – машина на другом берегу, в руках смятые деньги, а по озеру только круги идут...»

Тут же не смог и закончить рисунок – почти бегом побежал по дороге, которая ведет к Светлояру. До сих пор, до наших дней, называется эта дорога тропой Батыя. По ней вел Гришка Кутерьма вражескую конницу. Многие прошли по ней, ожидая встречи с чудом. Пошел я с бьющимся сердцем. За селом, как в сказке, три дороги круто расходятся: прямо, направо, налево. Пошел прямо – и не ошибся. Впереди, за полем, лес, – вспомнил нестеровскую картину «Два лада» – березы, белые и нежные, стеной стоят за полем на холме. И вдруг... Вот оно – озеро... Маленькое, ровное, почти круглое, как рисуют на древних иконах в житиях подвижников. Вода прозрачная и недвижимая, как налитая в огромную чашу, края ее образуют с одной стороны холмы, а с другой – поля, где некогда росли дремучие леса. В них и терялась тропа Батыя... Под чьей-то ногой или звериной лапой хрустнула ветка в лесу... А с севера ползут и ползут тяжелые свинцовые тучи, застилая весь горизонт, как некогда дымом пожарищ застилали русские просторы орды Бату-хана. Тишина до звона в ушах... Хочется обойти озеро, увидеть его со всех сторон. Оно отовсюду грустно и красиво. Голые ветви девически-нежных берез целомудренно закрывают воды

Светлояра. Дымчато-строгие стволы и ветви сплетены в длинные напевы узоров, изысканные и простые, совсем как на древних тканях. Маленькие, пробивающиеся из-под земли сосенки, как княжичи среди верной дружины на дедовских тризнах, слушают суровую быль о дальних походах и жарких сечах с врагами. Вспомнилась лучшая картина Васнецова «Боян». На кургане сидят седые воины и слушают Бояна, его песни сливаются с шумом ветра и вторят буйному вихрю косматых туч. Мальчик, княжич, как маленький орленок. Для него песня Бояна – решение всей дальнейшей судьбы, первое приобщение к служению великой идее, пробуждение жажды подвига, пламя которого уже зажгло не по летам мужественное сердечко будущего Великого князя земли русской...

Не знаю, сколько я просидел у озера, но вода Светлояра оставалась неподвижной, отражая низкие холодные небеса.

«У нас были здесь молебны, они подобны были раю... У нас звон был удивленный, удивленный звон подобен грому», – пели старообрядцы о граде Китеже еще на памяти Короленко, которому, как и многим, «захотелось посетить эти тихие лесные пустыни, где над светлым озером дремлет мечта народа о взыскающем невидимом граде, где вьется в дремучих лесах темный Керженец, с умершими и умирающими скитами».

Да, нельзя забыть это необыкновенное озеро! Слишком много слез и крови впитала в себя русская земля, слишком много дум и надежд отдала его прозрачным, как слеза, водам. Разве нет у нас у каждого в душе своего рода града Китежа? Ощутить его в себе, просветленным сознанием услышать живущие в нас незримые голоса совести и правды, осмыслить высшее назначение поступков человека – значит, постичь тайну человеческой жизни на земле, истоки судеб и подвигов во имя добра...

Сбережем наши грады Китежи! Сбережем древние легенды народа – памятник трудного исторического пути. Пусть мы не верим, становясь взрослыми, в доброго, чудесного Конька-горбунка и пойманную Жар-птицу. Детские дни, когда мы верили в сказку, в чудо, согревают нас и сегодня. Смешно разубеждать нас, что Жар-птицы нет и не может быть. Эти сказки доставили нам когда-то столько радости и детского безмятежного счастья! И ведь есть мечта! Китеж-град! Каждый вкладывает свою мечту и надежду, свою правду в красоту этого сказания – самого красивого из всех исторических русских народных преданий...

* * *

Читатель! Эти строки о граде Китеже были мной написаны давно, в 60-е годы в моей книге «Дорога к тебе», публикация которой в журнале «Молодая гвардия» вызвала тогда бешеную критику и многочисленные нападки недоброжелателей. Сегодня, говоря о великой в своем значении для русского человека легенде о граде Китеже, я не могу не сказать о еще более древнем расовом пласте самосознания, где живет историческая память тысячелетнего бытия наших предков. И тем самым предупредить читателей об особой главе этой книги, где хотел бы поделиться результатом многих лет исканий, раздумий и радостных открытий, которые подарили мне труды русских и европейских исследователей, замолченные, словно закатанные под асфальт современными учеными. Речь идет о нашей общей прародине – «Стране совершенного творения», где жили когда-то вместе все те, которые сегодня дали нам возможность говорить об истории европейских народов белой расы. Их называли всегда арийцами, а после произвольной трактовки этого исторического термина немецким национал-социализмом с его эгоистическим шовинизмом – индоевропейцами. Ученые XX века в большинстве своем далеки от этой темы и ее правильного решения. «Мы знаем, что ничего не знаем».

Языком арийцев тогда был тот язык, которым написаны наши священные книги – библия Арийского мира – Ригведа и Авеста^[55]. Эти великие книги нашей расы стали известны европейцам лишь в XVIII веке, были переведены на многие языки мира, кроме русского. Советскими немногочисленными специалистами сделаны лишь выборочные переводы, да и то через пень-колоду^[56]... Все, что делалось в этой области в России до революции, фактически предано забвению. А изданная недавно книга современной английской ученой Мери Бойс о зороастризме напоминает студенческую добросовестную компиляцию. Но сегодня ее труды признаны лучшими в науке XX века.^[57]

Когда мы, европейцы, жили вместе, – это было время счастья, созидания и великой духовности. Мы, потерявшие во многом идею Бога, ощущения бытия Божия, глухи к голосу своего детства. Где была наша общая прародина и почему арийцы покинули ее, разбредаясь по всему свету? Никто из ученых не дает ответа на вопрос о географии государства арийцев, где были созданы Ригведа и Богооткровенная Авеста. С точки зрения ученых всего мира, география эта – фантастический вымысел. В дальнейшем я разрушу стену забвения, заговор невежества и фальсификации, воздвигнутые вокруг трудов русских ученых, внимательно изучивших все показания наших священных книг.

Пока же скажу одно: легенда о граде Китеже уходит корнями в глубину веков, когда в результате гигантской катастрофы богатая и цветущая «Страна совершенного творения» была затоплена и очутилась на дне огромного озера, которое сегодня называется Иссык-Куль. Еще раз напомним, читатель, что все ученые Европы и Америки и вторящие им советские историки утверждают одно: география стран, где была создана Ригведа и Авеста, – фантастична. Единственный исследователь в мире, имя которого начисто предано забвению вместе с его великим трудом о том, как и почему была оставлена арийская прародина, ответил на этот вопрос. Будучи географом, он столкнулся, изучая природные условия Средней Азии, со следами гигантского геологического переворота – пересохшими руслами рек. Это катастрофа уничтожила арийские страны, которые протянулись с Востока на Запад более чем на шесть тысяч километров и которые окаймляли 2244 горных вершины. Опираясь на свидетельства Авесты и Ригведы, русский ученый в конце XIX века прочел и объяснил карту Средней Азии, или как тогда ее называли – Туркестана, явив всему миру блистательный пример научного подвига. Европейских ученых нельзя обвинять строго – они не были знакомы в достаточной мере с подробной картой Средней Азии, и мимо них, очевидно, по серьезным причинам, прошел труд великого русского исследователя, имя которого, я уверен, будет сиять в веках. Всем, кому посчастливилось изучить великий труд русского ученого, имя которого сохраняю до главы «Арийская прародина», остается лишь с улыбкой воспринимать бредовые концепции и антиисторические фантазии ученых, прошедших мимо результатов его великого труда, к которому я вернусь позднее и буду постоянно ссылаться на него.

Я не мог удержаться от упоминания о нем в связи с затонувшим градом Китежем. В тихую погоду в водах Иссык-Куля можно увидеть следы затонувшего города, обозначенного очертаниями построек и стен, покоящихся на дне загадочного озера. В непогожие дни волны выносят на берег кирпичи, бытовые предметы и, как я прочел в трудах местных археологов, предметы зороастрийского культа.

Я расскажу о результатах моей неудачной попытки организовать подводное исследование и о свидетельствах тех, кому посчастливилось проникнуть в тайну Иссык-Куля.

Как свидетельствует пророк Иезекииль в V веке до Рождества Христова, шум падения арийской державы «привел в трепет народы». Пророк говорит, что Господь «затворил бездну, остановил реки ее и задержал большие воды». Историки древности Страбон и Геродот также свидетельствуют о начале великого переселения народов приблизительно за 12 веков до Рождества Христова, когда часть беженцев вторглась в далекую Индию, принеся с собой священную книгу знаний Ригведу, которую до сего дня индийские школьники заучивают наизусть. Читатель, потерпи до особой главы о нашей погибшей прародине, а сейчас лишь позволю себе процитировать абзац из пока неизвестной тебе книги: «Не потому ли славянская душа русского народа, преимущественно ревнителей, кажется, и хранителей древних преданий, т. е. старообрядцев, в своей глубине таит какие-то смутные воспоминания о счастливой стране, где-то там на Востоке. На это прямо намекают всплывающие иногда из глубин народной жизни, по-видимому, безотчетные и бессознательные известные искания в той стране каких-то „белых вод“, каких-то „теплых рек“, какого-то „города на дне озера“^[58]

И видел же в свое время писатель В. Короленко обоз старообрядцев, отправившихся, следуя велению памяти генов, на поиск утраченной земли обетованной, данной Богом пророку своему Заратуштре, на высоком берегу Дарии. А город, где жил Заратуштра, назывался Рай (или, в другой транскрипции, Рага Заратустрова).

Славянское понятие, связанное со словом «рай», совершенно соответствует, по существу, арийской характеристике одной из их стран, называвшейся «Страной совершенного творения», в которой и находился город Рай. Из всего этого само собой вытекает, с одной стороны, что славянское представление о рае, по всей вероятности, идет с тех времен, когда предки славян вместе с другими арийцами имели одну общую совместную родину в Средней Азии, а с другой – показывает, что славяне в Арии жили в той ее области, в которой находился город Рай. Но об этом расскажу позднее.

* * *

Спустя много лет после написания книги «Дорога к тебе» мне выпала большая честь вместе с моей женой, художником Ниной Виноградовой-Бенуа, работать в Большом театре над постановкой оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Я долго внушал министру культуры СССР П. Н. Демичеву мысль о необходимости воссоздания на сцене Большого театра этого великого творения русской культуры.

Очевидно, помогло то, что министру был известен резонанс постановок в Берлинской Штаатс-опере «Князя Игоря» и «Пиковой дамы», для которых мы с женой создавали декорации. Понимание назначения и роли художника театра нам навсегда преподали великие русские художники В. Васнецов, К. Коровин, А. Головин, А. Бенуа и многие другие. Сын Александра Бенуа Николай – дядя моей жены, проработал в Ла Скала тридцать лет, будучи главным художником этого бастиона нашей европейской цивилизации. Я однажды спросил его прямо:

– Так в чем все-таки проявился русский художественный гений в театре. Что принесли русские в Европу со знаменитыми сезонами Дягилева?

Его умные, всегда чуть ироничные и отчужденные глаза стали серьезными. Потерев свой большой лоб, он ответил:

– В Европе, как и у нас в России, раньше существовали театральные фабрики. Они изготавливали мечи, костюмы, интерьеры в духе XVIII, XIX веков и т. д. Дирекции театров связывались с ними, и они поставляли то, что им заказывали. Великие русские художники – друзья моего незабвенного папочки, отбросили эти штампы готовых решений. Они создавали образ спектакля – как на драматической, так и на музыкальной сцене, где все было индивидуально и овеяно их великим образным мышлением, отражающим мир конкретного произведения. И мастерские при театрах работали только по эскизам театральных художников, которые точно передавали образ эпохи, следуя самому главному – замыслу и содержанию оперы или драмы.

Ты, конечно, помнишь иллюстрации моего отца к «Медному всаднику». Выражая мир Пушкина, он утверждал свое понимание его творчества и свою неугасимую любовь к Петербургу. С приходом левых театр стал полигоном их антиобразных, антиисторических, антимзыкальных упражнений. Особенно усердствовал Мейерхольд, и не случайно Шаляпин сказал, что Мейерхольд и театр – вещи несовместимые...

...О нашей работе в Большом театре я расскажу чуть позднее, а сейчас – несколько слов о предшествовавшей ей постановках в Берлинской Штаатс-опере.

Режиссером-постановщиком «Князя Игоря» и «Пиковой дамы» был Борис Александрович Покровский, которого немцы пригласили по моей просьбе. Я создавал образ спектакля, а в предложенном сценическом решении действовала воля и фантазия режиссера. Я восхищался «классическим» периодом Покровского, когда он, с моей точки зрения, следовал традициям русского классического театра. Оговорюсь, что немцы и предложили мне работать над оформлением спектаклей, что им надоела авангардная школа собственных театральных художников. Видя постановку Вагнера в Штаатс-опере, я сам возмущался издевательством над миром великого композитора и вспоминал декорации к его операм, созданные гениальным Александром Бенуа.

Начав работу – в театре, я очень волновался. Сделал эскизы. Немцы были в восторге. О сценической технике и возможностях мастерских немецкого театра работникам нашего советского театра можно было только мечтать.

После завершения монтажа декораций я вновь приехал в Берлин. Усевшись вместе с женой в пустом театральном зале, стали ждать поднятия занавеса. Когда он стал подниматься, механик сцены сообщил, что, желая мне помочь, они сами поставили свет. И вот на сцене я увидел древний русский храм, бескрайние просторы, аккуратно, по-немецки сработанные облака. «Все то, да не то», – холодея спиной, подумал я.

Неделю я переписывал спокойные облака, стремясь придать им эпический, былинный дух, и самое главное – начав с полного затемнения сцены, стал искать драматургию света. Чтобы не утомлять читателя, скажу одно: из своей работы в музыкальном театре я вынес твердое убеждение, что искусство художника сцены заключается двух вещах.

Первое: реализм декораций должен точно отражать замысел композитора. Второе: главнейший компонент – это свет, который в образно воссозданной обстановке всего действия и каждой мизансцены рождает магию театрального искусства.

Как все менялось на сцене Штаатс-оперы, когда вместо дежурного равнодушного освещения стало утверждаться то, что в театре называется световой партитурой спектакля. Каким творцом художник чувствует себя в театре, когда видит созданный мир, звучащий великой музыкой, все подчиняющей своему чуду воздействия на душу человека!

Очень колючий в манере обращения со всеми, включая и меня, но очень добрый в душе, как подлинно талантливые люди, Борис Александрович Покровский как-то с иронией сказал мне во время репетиции: «Вы отравленный человек. Вы отравлены русским классическим театром, из которого я давно вырос». Что я, разумеется, не оставил без ответа: «Борис Александрович, видя Ваши потрясшие меня классические постановки в Большом театре, я бы мог сказать, что сегодня Вас кто-то отравил авангардизмом, а это – смертельный яд».

Мне нравилось сидеть в темном зале, слушать и видеть, как он работал с артистами. Я не «высовывался» и молчал. Помню, в «Князе Игоре» он придумал сцену, как впряженные в повозку, вместо лошадей, полоненные русские князья везут награбленную врагами Руси церковную утварь. Полуобернувшись в мою сторону, Борис Александрович в соответственном ему ироническом тоне бросил через плечо: «Ну, это даже и Глазунову понравится...». Я не выдержал: «Если Вы, Борис Александрович, апеллируете ко мне, то скажу, что можно сделать и страшнее». «А именно?» – смотрел он, повернувшись, на меня. «Гораздо страшнее, как мне кажется, будет, если в повозку окажутся впряженными не побежденные русские князья, а женщины-княгини».

Воцарилась пауза. Борис Александрович выдохнул: «Пожалуй, этот чертов художник прав. Я с ним впервые в жизни согласен».

Наблюдая, как он расставлял артистов на сцене, обдумывая мизансцены, я ощущал, что сценический рисунок, создаваемый режиссером-классиком, созвучен классическому построению композиции картины в живописи. И невольно обращаясь к русскому классическому балету, который я вначале, по молодости, недопонимал, сегодня могу сказать, что, наслаждаясь классическими постановками «Лебединого озера», «Павильона Армиды», театра «Жизели», я стал остро ощущать закономерность пластики античных барельефов, изысканных камей, могучие ритмы картин Паоло Веронезе, не говоря уже о божественном Рафаэле. Словом, совершенство всего того, от чего отказалось большинство современных хореографов, отравленных авангардизмом. Достаточно назвать такую постановку в Большом театре, как «Золотой век» или балетные опусы О. Виноградова в Петербурге. Могу таких балетмейстеров, подобных О. Виноградову, уподобить архитекторам, которые взрывали прекрасные архитектурные сооружения, чтобы расчистить место для сооружения современных коробок...

Приятно вспомнить, что наши постановки «Князя Игоря» и «Пиковой дамы» были восторженно приняты зрителями и прессой.

В третий раз как с режиссером я встретился с Б. А. Покровским уже в Большом театре, когда Министерство культуры приняло решение о постановке «Сказания О невидимом граде Китеже...» Вскоре по этому поводу состоялось заседание художественного совета Большого театра. Обращаясь ко мне, Борис Александрович провозгласил:

«Здесь, в Большом, хозяин я, а не советский посол и директор немецкой оперы. Здесь Вы будете делать то, что я говорю. Первое: занавеса не будет!» «Как не будет? – удивился я. – Ведь отсутствие занавеса уничтожит, с моей точки зрения, таинство театра. Зритель будет видеть, как на сцену входят рабочие в джинсах, расставляют на сцене разные предметы. Прямо как у Любимова на Таганке». «При чем тут Любимов?» – возразил Борис Александрович. – Это идет от Мейерхольда. Вам следует прийти в мой камерный театр на Соколе. А Вы коснеете в музейности Большого».

Я взорвался: «Но не опускать в театре занавес – это все равно что войти в уборную и не закрыть за собой дверь!» В наступившей тишине кто-то хихикнул. Покровский, не реагируя на мои слова, продолжал: «Сцена будет наклонена под углом 45 градусов. На сцене – я так хочу, – должно находиться изображение Георгия Победоносца, на котором станет разворачиваться действие». «Но это же кощунство! – не унимался я. – Да и как на наклоненной под таким углом сцене могут двигаться и петь артисты?» – «Это не ваше дело, как будет двигаться стадо. Режиссер – я!» – «Борис Александрович, если ставятся такие жесткие условия, я не могу приступить к работе». – «Это ваше дело».

Случилось так, что Б.А. Покровский ушел из Большого театра, и мне пришлось работать с прекрасным ленинградским режиссером Романом Тихомировым, который уверил меня, что любит классику и даст полную свободу действий. Мне на всю жизнь останутся памятными долгие месяцы работы в Большом театре.

Погружаясь в чарующую музыку Римского-Корсакова, мы хотели воссоздать на сцене Большого театра мир святой Руси, могучей русской природы и реально передать мир мечты во всей глубине православного мирозерцания. Как мучительно трудно воплотить образ Рая, если хотите, русского Рая, передавая полноту и многокрасочность старорусского бытия, окаймленного бурным историческим действием нашествия вражеских полчищ. Могучие, одухотворенные былинным духом лесные чащи, зримый образ легендарного града Китежа, уходящего в гладь тихого озера Светлояра.

Я бесконечно восхищался фантазией моей жены Нины, ее творческим пониманием стоявшей перед нами задачи. Она создала свыше 500 эскизов костюмов, которые самоцветами рассыпались по сцене и звучали как музыка своими цветовыми аккордами.

Не побоюсь сказать, что в мире не существовало большего специалиста по русскому историческому костюму, чем она. О ее костюмах восхищенно говорил в Берлине Борис Александрович Покровский и великий дирижер Е. Светланов.

Мастерские, где создаются декорации для Большого театра, я думаю, лучшие в мире. Там работают прекрасные художники-исполнители, получающие, естественно, гроши. А какое волнение охватывает

каждого, посетившего Большой театр! Какая величавая простота роскоши! Кроме театров Петербурга у него есть лишь один конкурент – Одесский оперный. И каким бедным по архитектурному решению и оформлению зала кажется знаменитый Ла Скала. Если бы не прекрасные, лучшие в мире голоса, то я бы покидал его с щемящим сердцем.

Не боюсь сказать, что сегодня во всем мире театрально-декорационное искусство умерщвляется произволом убогой «современности». Уничтожено образное решение спектакля, замененное «оформлением», когда два-три элемента унылой конструктивистской разработки сценического пространства выдаются за великое таинство театра.

Сегодня «все дозволено» – кроме любви к классикам русской национальной культуры. Я думаю, все согласится со мной, что Большой театр – театр национальный, русский, где творили лучшие русские композиторы, режиссеры, балетмейстеры и художники. Вспомним хотя бы работавших в советское время великого режиссера Баратова, художников старой русской школы Федоровского, Дмитриева и других. Правы те, кто сравнивает Большой театр с Третьяковской галереей или Эрмитажем. Но ведь никому из современных художников или общественных деятелей не может прийти в голову преступная мысль переписать «Боярыню Морозову» Сурикова, «Сирень» Врубеля, «Явление Христа народу» Иванова. Равно как и «Блудного сына» Рембрандта. Так почему же современным режиссерам и балетмейстерам дано право поганить, переделывая при возобновлении, великие русские спектакли, которые должны оставаться неприкосновенными, как картины в музее? Я могу понять неумный раж современных режиссеров или художников, которые хотят по-своему решить образ того или иного произведения классики. Так, не трогая сделанного великими мастерами прошлого, пусть они создают свои, на эту же музыку или тему, и пусть одновременно идут в неприкосновенности спектакли, созданные гением предшественников, и пусть висят в музеях картины великих художников, – а рядом то, что сделано сегодня. Пусть нынешние творцы покажут, на что способны, и убедят нас своей концепцией. Наше общество уже приучено к тому, что уничтожаются бесценные архитектурные сооружения, а на их месте современные «зодчие» с их бездарной воинственностью расставляют по всему миру свои убогие коробки. Авангардная, все сметающая на своем пути нетерпимость, в которой многие видят масонское действо, сохранится в памяти человечества черной волной на этом историческом пути нигилизма советского времени.

Еще раз скажу в защиту не потерявших разум художников, что никто из них не потребует смыть живопись Рембрандта, Тициана или даже Ван Гога, чтобы получить холсты для собственных творений. Хоть творческое бесплодие многих деятелей XX века имеет наглость приписывать свое имя (вот оно: «Грабь награбленное» – и его проекция в искусстве!) к именам подлинных творцов – великих духовных создателей. Например, появились такие странные сочетания: Бизе – Щедрин; Чайковский – Шнитке; Веласкес – Пикассо и т. д. Я представляю, как были бы возмущены таким «содружеством» и Бизе, и Чайковский, и Веласкес.

А какое хулиганство – пририсовывать, например, усы «Джоконде», перекладывать Баха на джазовые вопли! Сатанинская бездарность, подобно раку, не может существовать, если не пожирает здоровое тело. Кошунству нет предела. Вот еще забавный пример. В цивилизованной Франции возле Лувра, его классического архитектурного ансамбля, возвели пирамиду. Мой друг, югославский журналист, спросил меня.

– Ты знаешь, сколько стекол в этой пирамиде?

– Сколько?

– 666.

Воображаю, какое ликование это вызвало у международной мафии архитекторов.

Ведь предлагало же не так уж давно во времена Брежнева печально знаменитое ГлавАПУ (Главное архитектурное управление) Москвы сделать над Красной площадью, захлестывая Кремль, эстакаду для развязки уличного движения. А то, что на месте церковей принято сооружать уборные – нас давно приучили.

В наши дни радостно наблюдать возрождение оскверненных и разрушенных храмов. Нет большего счастья видеть, как возрождается красота русских древних церковей! Как снова звонят колокола и открываются храмы Божии.

* * *

Ненависть Коминтерна и ультрасовременных течений в искусстве к классике так же беспредельна, как и у многих современных «зодчих» к архитектуре. Унылая инженерия и «современные» материалы служат оправданием отсутствия архитектуры как таковой. А сколько великих произведений зодчества стерто с лица земли с подачи архитекторов! Оголтелые сектанты, следуя директивам Корбюзье, Райта и т. п., захватив своими щупальцами земной шар, до сих пор, как в 20-е годы, реализуют сатанинские

проекты, исходя из наглого посыла Корбюзье о том, что все европейские города построены ослами. Их новостройки – огромные концлагеря, которые подавляют и унижают человека. О, как я не приемлю этих «архитекторов», или, как, они любят себя сами называть, – «зодчих»! Велик их вклад в разрушение европейской и особенно Русской культуры, красоты наших древних городов. Но разговор на эту тему еще будет продолжен в отдельной главе, посвященной Москве и битве за ее архитектурные памятники. Это было время превращения Москвы в «образцовый коммунистический город», тому страшному для России времени я посвящу особую главу – «Битва за Москву»...

* * *

Вернусь теперь снова к «Сказанию о невидимом граде Китеже...». Всемирно известный русский дирижер Евгений Светланов в полную мощь раскрыл достоинства произведения Римского-Корсакова. Думаю, что это самая русская опера. Гений композитора объединил сокровенные легенды русской народной души, русского эпоса. Думается мне, содержание оперы особенно созвучно нынешней ситуации. Каким высоким примером для нас предстают целомудренность и чистота девы Февронии, воинская доблесть и жертвенность молодого княжича Всеволода, принявшего бой с врагами, когда все пали в страшной битве!

Важен и поучителен образ Гришки Кутерьмы – спившегося предателя, который приводит врагов к граду Китежу. О многом заставляет задуматься и такой эпизод: чистая дева Феврония, несмотря на то, что Гришка предал ее и привел врагов на землю русскую, спрашивает князя о судьбе оставшегося на земле предателя, прося милости к нему. Но князь Юрий отвечает: «Не пришло время Гришино»... Много мыслей, чувств навеивает великая музыка оперы. Дыханием Апокалипсиса овевая гений композитора. Нельзя слушать и видеть без слез сцену, когда град Китеж уходит в вечность небытия...

Постановка «Сказания о невидимом граде Китеже...» имела большой успех. Министр культуры П.Н. Демичев отметил оформление этого спектакля как лучшее за последнее десятилетие и выдал нам с женой премию в размере 300 рублей. А кроме всего – для нас странным комплиментом прозвучали переданные мне слова одного из ведущих театральных художников: «То, с чем мы боролись сорок лет, в одном спектакле восстановил Илья Глазунов со своей женой. Хорошо бы их под поезд кинуть!» А как нам мешали во время работы!... А сегодня во всемирно известном «Большом» русская музыка звучит все глуше и глуше...

* * *

Семенов – городишко маленький. Из окна вагона кажется, что кто-то сгреб огромной лопатой в кучу деревянные дома и оставил среди полей и низких лесов. Но музей в Семенове потрясает своей коллекцией деревянных подносов, игрушек, ложек, солонок, посуды, древних по форме, расписанных ковром цветущих алых цветов и черных трав по золотому фону. Это подлинное сокровище мировой культуры! В каждой московской гостинице продают изделия семеновских и хохломских мастеров; русские сувениры, созданные народными художниками, увозят тысячами за границу, особенно в Европу и Америку. С музеем встречаешься, как со старым другом, проникаясь еще большим уважением к самобытному творчеству русского народа. Действительно, великое искусство приложено щедрой рукой художника к самым прозаичным предметам быта. Вот подлинное прикладное искусство! Мне запомнилось изображение льва, которого, наверное, никогда в жизни не видел семеновский мужичок. А может, он увидел царя зверей на нижегородской ярмарке в балагане. Поэтому и обрамляет изображение льва театральным занавесом? Этот же лев нарисован на дуге, среди русских цветов и орнаментов, так фантастически соединенных в голове семеновского мужичка. Простая крестьянская мебель, представленная в музее, могла бы вызвать восхищение столичного любителя модерна. Простые и трогательные игрушки манят к себе обаянием детской простоты, искренности; эти человечки, уменьшенные во сто крат, отрицают мир бесчувственных роботов и бездумных пигмеев, которых так легко развинтить на составные части! Игрушка имеет грандиозное воспитательное значение в жизни маленьких людей, которые потом становятся взрослыми. А если мы хотим, чтобы, играя, дети приучались думать, были стойкими, добрыми и хорошими, пусть они постигают смысл таких игрушек, как, например, игрушки Сергиевского посада. Не надо забывать и вычеркивать их из жизни сегодняшнего дня!

Рядом с расписными столиками и могуче выточенными боярскими скамьями хорошо смотрится витрина деревянных скульптур раннего Коненкова. Одухотворенные прикосновением мастера, живут по своим законам куски дерева. Поистине прав Микеланджело, сказавший, что задача скульптора – снять резцом лишний материал, обнажить свой замысел, скрытый в мраморе. Лес родил это искусство, и неизвестный мне ранее скульптор Буткин угадал в куске дерева Пана – бога лесов, пастбищ и пастухов.

Но я спешу дальше: ищу светелку Фленушки и могилу Манефы...

Мы едем по тому самому пути, по которому в 1611-м шло ополчение Минина и Пожарского – из Нижнего на Балахну, Ярославль, а оттуда на Москву! Мне повезло: мы едем с чудесным добрым человеком, ныне покойным Николаем Алексеевичем Барсуковым, который знает многое и о многом может рассказать, так как вся его жизнь связана с городом Горьким. Барсуков работал в «Горьковской правде». Его внешность напомнила мне положительных героев Островского, добрых идеалистов, которых трудная жизненная ломка не разлучила с юношеским пылом восприятия мира.

– Я уверен, – говорит Николай Алексеевич, – что вы сюда еще много раз приедете, никто даже не подозревает, какие сокровища для писателя и художника скрываются здесь. – Давно он стоит у меня перед глазами, как будто это было вчера...

По огромной плотине Горьковской ГЭС переезжаем Волгу, ветер на плотине такой, что трудно устоять на ногах. На высоких холмах живописный городок. Это и есть Городец, один из старейших городов Поволжья. Русские летописи называют его Городец-Радилов (от древнего названия Волги – Ра) и основание его относят к XI столетию. Городецкую же крепость заложил Юрий Долгорукий – легендарный основатель Москвы. В Городце, возвращаясь из поездки в Орду, умер Александр Невский, а знаменитый Рублев впервые упоминается в летописях вместе со своим другом – художником Прохором из Городца.

Нет на земле другого города, столь богатого изумительной деревянной резьбой. Меня поразило, что городецкие деревянные львы точь-в-точь такие же, как каменные львы, на которых покоятся колонны у входа в собор XII века Сан-Дзено в Вероне. Это еще раз напомнило мне о родстве русской и итальянской культур – ветвей одного могучего дерева Византии, оплодотворившей искусство наших народов на заре их истории.

Мне говорили, что городецкая «берегиня» – резное изображение фантастической полуженщины-полурыбы – переселилась с моря на сушу, с кормы средневековых галер – на резьбу, украшающую дома жителей Поволжья. Городецкие мастера – судостроители, кружевницы, мастера росписи по дереву, а особенно резчики издавна славились на все Поволжье. Как было бы хорошо превратить Городец в город-заповедник, любовно охраняемый государством и открытый для отечественного и иностранного туризма. На примере Италии убеждаешься, что памятники культуры здесь далеко не последнее средство пополнения государственного дохода. Даже маленькие города, ничуть не больше нашего Городца, Ростова Великого, Суздаля, имеют всемирную славу и приносят огромный доход – Верона, Падуя, Равенна, Сиена.

Наши древние города имеют что показать, им есть чем гордиться. Взять, например, в Городце дом Паниной – это чудо! Его резные ворота хочется поставить под стекло. А сколько домов покрыта сверху донизу резьбой, как деревянным кружевом! Под Городцом в селах до сих пор живы старики, которые владеют искусством росписей прялок. На деревянном донце прялок они запечатлевают картины русского народного быта: лихие тройки, чаепития, посиделки и многое другое. Рядом с ним меркнут Анри Руссо и Пироттани. Не верите? Поезжайте! (Читатель, все это написано в 1965 году. Много воды с тех пор утекло... – И.Г.)

Нет слов, чтобы охарактеризовать искреннее, лукавое, непосредственное, подлинно народное это искусство. Достаточно увидеть работы городецкого художника Ивана Блинова, умершего в 1944 году, чтобы понять великую живую традицию народного искусства. К сожалению, до сих пор не было выставки этих народных гениев, искусство которых ярко, духовно и по-детски чисто в высшем смысле этого слова. Много, много сокровищ хранит Городецкий музей, где сами дома уже есть экспонаты музея. Я с волнением увидел в Городецком музее хоругвь из вотчины князя Пожарского, с трудом прочел темную от времени надпись на ней: «Написана сия ратная и священная хоругвь в память Вознесения господня и избавления града Москвы от нашествия поляков.»

Рядом с хоругвью выставлены образцы самотканой крестьянской одежды. В Городец из деревень вокруг села Ковернина привозили знаменитые на весь мир деревянные изделия, украшенные хохломской росписью, которые дальше отвозились на Нижегородскую ярмарку, в разные концы России и за границу. Хохлома – старинное село, затерявшееся в глубине лесного Ковернинского края. В давние времена купцы скупали изделия кустарей в Хохломе, а деревни, где работали кустари, назывались «Хохломской куст». Мне посчастливилось побывать на одной из «веточек» этого куста, теперь она называется Новопокровское отделение «Хохломского художника».

И я, видевший знаменитую «хохлому» на прилавках блестящих столичных магазинов в современных стеклянных холлах гостиниц «Интуриста», в роскошных особняках зарубежных миллионеров, кинозвезд, писателей, художников, был снова поражен чудом простоты, виртуозной артистичности ее изготовления.

Из леса привозят бревна к деревянным, напоминающим сараи зданиям, где работают мастера. Бревна, березовые и липовые, пилят, тут же на наших глазах напильные куски дерева превращаются в умелых руках в белые, цвета парного молока, вазы, коробочки, солонки, ложки, – на них скоро ляжет изысканное плетение узора под легкой и свободной кистью мастеров, работающих в соседнем здании.

Меня поразило, что вся работа от начала до конца на верстаке или кистью ведется «на глаз», по древнему правилу – «как мера и красота скажет».

– Нынешнее Новопокровское, – рассказывает Исакий Григорьевич Гуняков, бородатый старик с ослепительно синими молодыми глазами, – некоторые старики до сих пор называют «Бездели», потому что считают, что промысел наш бездельный, бездельники мы. А какие ж мы бездельники, – улыбается он. – Вот, к примеру, чтобы одну ложку сделать, сколько работы затратить надо. Сперва вырежь ее, просуши, глиной натри. «Вапит это по-нашему называется^[59]. Потом опять жди, пока обсохнет; после уж смажь сырым льняным маслом и отправляй в печь. Всю ночь она должна там пробыть, утром три раза крой ее олифой и каждый раз просушивай. Теперь ложка готова «под олово» или «под алюминий»). Бери ее и крой алюминиевым порошком, смоченным в воде. Ложка становится от него наподобие как посеребренная, дальше крой ее олифой и по этому масляной краской узоры наводи, и это еще не все. По узору ее еще несколько раз олифят и сушат в печи при большом жаре. Оттого ложка из серебряной в золотую обращается. А как узор наводят, это ты у нас, сынок, за стеной посмотришь.

В соседнем помещении за длинными столами сидят разных возрастов люди. Они быстрыми, точными движениями наносят дивные узоры из трав, цветов и ягод на серебряную поверхность предметов. Но эта легкость лишь кажущаяся, за ней долгие годы кропотливого труда не только каждого мастера, но и многих поколений народных художников, передающих от отца к сыну веками отточенные формы хохломского орнамента.

Время возникновения хохломской росписи надо отнести к XVII веку. Я по незнанию думал, что хохломская роспись исключительно связана с нижегородским промыслом. Однако, оказывается, до XVII века и позднее на Руси во многих местах, как, например, в Москве, Твери, Вологде, Кирилловском монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре, изготовлялась деревянная посуда с отделкой «под золото» или расписанная «под золото». В течение XVIII – XIX веков промыслы эти были вытеснены медной, фаянсовой и фарфоровой посудой.

Благодаря своей отрезанности от остальных районов России нижегородское Заволжье сохранило и берегло до наших дней эту прекрасную традицию древнерусского быта. Травные узоры, кустарей ставшие столь характерными для «хохломы», явились воплощением народной любви к шелковой травушке-муравушке, к лазоревым и алым цветам, к «пышному винограды», о которых так поэтично поется в русских народных песнях.

В волжской старинной песне говорится:

Как за Волгою яр хмель

Над кусточком вьется,

Перевился яр хмель

На нашу сторонку.

Как на нашей сторонке

Житье пребогато:

Серебряные листья, цветы золотые...

Старый мастер Подогов так объяснил происхождение травного узора: «Хохломская роспись имеет свою травку, это не та травка, что в поле растет. Мы собираем разные травы в один рисунок. Живая травка, как в поле растет, – в орнамент еще не годится...»

Это принцип всякого великого искусства. Невольно вспоминаются Рафаэль и великие скульпторы древней Эллады. Чтобы создать идеальный тип прекрасной женщины, они соединяли магическим даром искусства в одно целое прекрасные черты разных женщин.

Хохломскую посуду до сих пор можно встретить в крестьянских домах Поволжья. В XIX веке она бытовала и в городах, нередко сопровождала в походах русского солдата. В Болгарии в Плевненском музее, в доме, где жил Скобелев, среди личных вещей русских солдат, участников освободительной войны, хранятся две хохломские чашки.

Нас знакомят с мастером – художником Семинской фабрики, которая называется теперь «Хохломской художник», Ольгой Павловной Лушиной. Небольшого роста, худенькая женщина с живыми карими глазами. Она с четырнадцати лет начала работать по хохломской росписи и вот уже работает двадцать лет. Талант Лушиной – наследственный, все в ее роду были художниками. За свою работу Ольга Павловна получила много медалей на всесоюзных и международных выставках. Узнав, что я художник, она решила подарить мне одну из своих замечательных ваз.

– Вы должны обязательно зайти домой к моему учителю Федору Андреевичу Бедину. Он здесь живет недалеко. Отец его с восьми лет выучил нашему ремеслу.

Бедин открыл нам дверь своей расписной сказочной избушки, очень приветливо пригласил зайти в дом. У него все предметы в комнате покрыты росписью: стулья, рама на зеркале, ходики, даже тарелка

черного репродуктора. На стене висят копии с древних изразцов, на одном изображен «аспид дикий», крылатое чудовище: «Кто мя исхитит» («Кто меня победит»).

Федор Андреевич смеется, показывая на аспида:

– Думает, что его никто не победит, а Иван-царевич взял, да и победил.

Бедин показывает вырезки из газет, Многие дипломы: Москва, Ленинград, Париж, Лондон, Нью-Йорк... Повсюду в мире искусство виртуозного мастера, наследника великих заветов древнерусского прикладного искусства, нашло своих восторженных почитателей.

...Но вот уже позади цветущий красотою древних узоров «Хохломской куст» деревень. У каждого из нас по большому мешку подарков. Сколько восторгов вызовет у наших друзей искусство неумирающей Хохломы!

Рассказывают, что уже после революции случайно, по дыму в лесу, с самолета обнаружили древнее селение. Жители его, говорят, ходили чуть ли не в шапках времен Алексея Михайловича, в годы царствования его они и убежали, спасаясь от преследований, в дремучие дебри. И здесь же рядом Сормово, известное на весь мир. Чудеса XX века. Мы вспоминаем, что сормовскому заводу положил начало грек Бенардаки послуживший Гоголю в «Мертвых душах» прообразом положительного героя Костанжогло.

На улице КИМа нас подводят к дому 94, выстроенному в 1857 году и чудом уцелевшему до наших дней. Ничего подобного я не видел даже в Городце. Такому легкому ажурю, как будто сотканному из цветов и весенних трав, могла бы позавидовать любая кружевница, а ведь это сделано топором из дерева! И до сих пор это не музейная ценность, а жилой дом! Как необходим под Горьким музей под открытым небом, куда можно было бы осторожно свезти и бережно охранять шедевры народного зодчества и плотницкого искусства! Давно написаны мной эти строки. Многое изменилось с тех пор!

Николаи Алексеевич Барсуков, энтузиаст и знаток своего края, категорически объявил мне, что быть в Сормове и не зайти к Тихону Григорьевичу Третьякову – это упустить возможность познакомиться с интереснейшим человеком эпохой. Недаром в 1957 году спущен с сормовских судостроительных верфей теплоход, на борту которого аршинными буквами белым по черному выведено: «Тихон Третьяков». И вот мы в маленьком домике беседуем с самим Тихоном Григорьевичем, который уже почти век живет на земле. Он родился в 1867 году. Он смотрит на нас через большие очки и, совсем не удивившись нашему приходу, разговаривает как со старыми знакомыми. Небольшого роста, худ, скуласт, иногда в разговоре поглаживает маленькую бородку, глядя из-под больших очков серыми спокойными глазами.

– А вы Горького помните? – спрашиваю.

– Как не помнить, я даже Бугрова, купца, хорошо помню, – живо отвечает Тихон Григорьевич, – я на год старше Алексея Максимовича. Он тогда на горе жил. Вы домик-то Каширина видели? Мы с ним одно время на стрелке работали, баржи разгружали, на него тогда многие обижались: он все в сторону отходил, в книжку что-то записывал, считали, что дурака он валяет – от работы отлынивает. А уж только потом он на всю Россию известен стал, хотя человек и не очень приятный был – неожиданно добавил старик.

Деды и прадеды Тихона Третьякова всю жизнь провели в Сормове, крестьянствовали. Пошли слухи, что такой-то отставной поручик с мудреной фамилией задумал соорудить фабрику – стал сюда, на стрелку, где Ока сливается с Волгой, со всей округи валить народ. Пришел попытать счастья на строительстве и отец Тихона Григорьевича. Мальчиком Тихон стал работать на кухне волжского парохода, потом слесарем на сормовском заводе, где ему оторвало два пальца; в 1905 году Тихон Григорьевич активно участвовал в баррикадных боях, поддавшись «веянию времени». Многое видел за свой долгий век этот уважаемый в Сормове человек.

– Вот моя семья какая теперь большая – говорит Тихон Григорьевич, показывая журнал «Огонек», где помещена фотография его самого в окружении многочисленного семейства, от сыновей до правнуков. – Сын мой Александр, инженер, начальник стапеля, корабли строит, дочь Анфиса тоже в Сормове, а другой сын в Москве замминистром работает, а внучка университет окончила...

...Но снова и снова влечет и манит меня к себе Волга, как много она может еще поведать, как мало я знаю о ней! Как изменились ныне многие волжские города!

Как ход русской истории, длинен путь по Волге. «По государству и река», – часто вспоминаются мне слова поэта Языкова. Как изуродована коммунистами красота ее могучего течения и берегов! Как изуродованы древние русские города!

Но все равно Волга прекрасна! Сколько событий, памятных народу и всему миру, связаны с Волгой и Поволжьем!

Как хотелось бы проехать «вниз по матушке, по Волге» все ее 3688 километров, от пологих холмов Валдая до соленых вод Каспия. На Волге можно увидеть белые северные ночи и лепестки лотоса – священного цветка египтян, в истоках ее дремлют седые валуны, нагроможденные ледниками, а на юге под знойные напевы дремотной Азии шагают караваны верблюдов. К какому бы Факту отечественной или

мировой истории мы ни обращались, обязательно вспомним Волгу; достаточно сказать, что Волга с незапамятных времен была дорогой общения племен и давно забытых народов.

* * *

Все знают, что Волга впадает в Каспийское море, но – не всем известно, что она называлась рекой Ра и впадала в море Воурукаша – так называлось Каспийское море в священных книгах арийской древности Ригведе и Авесте.

Но если полноводная Ра вливалась в море с севера, то с Востока несла свои воды другая река – Сарасвати, протекавшая по семи знаменитым землям, образующим арийские страны. И если река Ра начиналась маленьким ручейком у озера Селигер, то могучая кормилица Сарасвати, которую славили певцы Ригведы, брала свой исток от священной горы праведников и героев – Хараити^[60]. Сарасвати текла на протяжении около шести тысяч километров, вбирая в себя воды шести рек-сестер. Гимны Вед славили нашу священную реку – кормилицу, дающую жизнь всем арийским странам благословенного Семиречья (зеленого края). Здесь, в центре арийских земель, на высоком берегу Дарьи вел беседы со всемогущим Господом пророк Заратуштра... И не случайно по прошествии долгих веков зороастрийцы – волхвы первыми пришли с Востока поклониться родившемуся Спасителю мира, которого они давно ожидали.

Гигантская катастрофа уничтожила великую арийскую реку, и сегодня от нее осталось лишь засохшее русло. Необозримые пустыни извергают бескрайние волны песка, заметающие, верю, не навеки – давно уже погребенные города и роскошные дворцы, одетую в золото систему оросительных каналов «шириной в спину боевого коня», свидетельствовавшие о счастливой, богатой и привольной жизни наших предков, называвших себя гордым словом «арии», что значит возвышенные и благородные. А с востока все так же смотрят вечные горы, и среди них взывающая к памяти потомков священная гора арийцев Хараити (в Ведах – это сверкающая гора богов Меру – И.Г.), под которой широко раскинулось озеро Иссык-Куль со скрытым на дне его неведомым городом – градом Китежем арийского мира.

* * *

Все знают о мире древней Трои по эпосу Гомера. Петербургский немец Шлиман уверовав в реальность описанных легендарным Гомером событий, раскопал древний град Трои и явил миру найденные им исторические сокровища, известные теперь каждому школьнику. Историю нашей прародины не проходят в школе. Археологи не знают этой проблемы и потому не ведут раскопок. Сколько чепухи написано о древних арийцах, донесших до нас мир Вед и Авесты!

Сколько взаимоисключающих мнений высказано учеными всего мира о якобы «мифической географии» прародины арийцев, от древнего бытия которых сохранились свидетельства наших священных книг – Вед и Авесты. Идеология так называемой «мировой науки» отдает Ведам – Индии, а Авесту – Ирану, тогда как это принадлежит их создателям – индоевропейским народам и прежде всего славянству. Это – наше наследие!

Где была наша прародина – знаменитое Семиречье, с тянувшейся до моря тысячами километров самой могучей и судьбоносной рекой мира Сарасвати, воспетой в гимнах Ригведы? Где 2244 горные вершины, окружавшие арийские страны? Это красивые мифы – отвечают нам идеологи от науки. Как далеки они от реальности!

В следующей главе я открою для вас страну наших далеких предков, где гениальные боговдохновенные поэты Вед слагали гимны Творцу Мира, а пламенный Заратуштра призывал свой арийский народ истово бороться с темными силами зла...

Нам, дикарям XX века, отошедшим от Бога, это нелегко понять. И мир, лежащий во зле, но осиянный светом Христовым, Его Божественной личности, который есть Путь и Истина... Врата Адовы не одолеют!

Я докажу, что описание арийских стран в древнейших книгах нашей расы не мифично, а истинно и реально. Русская наука, верю, даст точный ответ о нашей общей прародине, отметая мифы, гипотезы и сознательные фальсификации историков и организованное торжество невежества в этом столь важном для истории человечества научном вопросе...

Итак, дорогой читатель, прошу накрепко усвоить, что великая река Ра (Волга. – И.Г.), как и исчезнувшая с лица Земли после гигантской геологической катастрофы царица рек арийских земель Сарасвати – впадали в море Воурукаша (Каспийское море. – И.Г.). Проще: исчезнувшая Сарасвати впадала в Каспийское море, а Волга по сей день впадает в Каспийское море. Вот какая тайна сокрыта в общеизвестной истине!

Заинтересованный читатель удивится, если, прочтя горы книг, написанных на эту тему всеми учеными мира, убедится; что они по сей день не знают этой простой и великой истины... Чтобы докопаться до этой истины, я отдал двадцать пять лет жизни, внимательно изучая исторические документы и свидетельства Ригведы и Авесты. Прошу – потерпите до публикации главы, целиком посвященной результатам моих много трудных исследований. Художниками рождаются – историками становятся.

О Волжской Хазарии и ее значении в мировой истории

...Впервые, как это ни удивительно, слово «хазарин» я услышал обращенным непосредственно ко мне. Да-да! Меня называли хазарином. Так обратился ко мне в Париже в 1968 году с непонятной для меня иронией пожилой русский аристократ-эмигрант. «Вы же из СССР», – улыбнулся он. Я тогда не понял смысла этой шутки. Шло время. Но в моей памяти прочно застряла заноза «исторического» определения: «СССР – это Хазария». И только по прошествии многих лет, подняв, увы, немногочисленную историческую литературу и видя растущую моду на Великую Степь, в просторах которой якобы терялась Древняя Русь, я начал понимать смысл и подтекст давней «парижской» шутки. И чем больше я занимался Хазарией, тем острее понимал, насколько глубока, сложна и актуальна эта одна из таинственных мировых исторических загадок.



Хазарское государство имело свою столицу, и я бы сказал, сердце своих обширных владений в устье Волги. Она называлась Итиль. Разноплеменная и пестрая по своему составу, с преобладанием тюркских и монгольских племен, не считая определенной части армян, грузин и славян, Хазария вызывает сегодня у многих непомерный интерес загадочностью своего государственного образования.

Открыв «Еврейскую Энциклопедию», изданную до революции в Санкт-Петербурге, т.15, на стр. 648 читаем:

«Хозары... народ, организовавший в эпоху раннего средневековья под своим господством кочевую массу орд, населявших нынешнюю территорию южной России. Благодаря своему обращению в иудаизм, хазарский народ связал свою дальнейшую политическую участь с судьбами еврейства. Находившееся на зените своей славы испанское еврейство, гордое своим высоким положением и успехами на всех поприщах культуры, было, однако, терзаемо внутренним чувством рабства и сознанием потери политической самостоятельности. Часто повторяемые упреки христианского духовенства, что евреи презираемый Богом народ, все бывшие духовные преимущества которого перешли после возникновения христианства к христианам, сильно волновали евреев».

Константин Багрянородный – византийский император – считал, что хазары были тюркского племени (вот откуда, очевидно, особое пристрастие ставшего ныне модным советского историка-фантазера Л. Н. Гумилева к тюрками и Великой Степи. – И.Г.).

Арабский географ древности Абульфеда утверждал, что «среди хазар было два совершенно различных типа, белые и черные».

После окончательного разгрома Иерусалима и уничтожения Храма Соломонова римскими легионерами – вскоре после Распятия Христова, евреи были лишены своего Отечества и находились в рассеянии по всему миру. Прошло двадцать веков до воссоздания их национального государства, свидетелями чего мы и являемся в нашем кровавом и апокалипсическом XX веке.

История человечества не знает примера, равного феномену еврейского народа! Но вернемся к Хазарии. Самые серьезные историки России, Европы и Америки до сих пор не могут дать вразумительного ответа, из какого колена, а точнее, племени происходили иудеи, давшие Хазарии свою религию, государственное уложение и законы. Известно, что это произошло в VII веке по рождеству Христову.

Трагической вехой в истории еврейского народа было изгнание евреев из Испании и Португалии в конце XV века. Еврейская энциклопедия свидетельствует: «Испанско-португальское еврейство составляло резко очерченную культурную группу с особым языком. Целая полоса культурной жизни была вырвана из ее почвы, частью уничтожена, частью перенесена на другую почву. За пределами Пиренейского полуострова возникла область испанской культуры и особая форма еврейской жизни, которая на чужбине, в иной атмосфере, представляла поражающее явление».

Западных евреев до сего дня называют сефардами. Когда я несколько месяцев назад побывал в Испании, мне рассказывали, что нынешний король Испании Хуан Карлос, портрет которого, как знает читатель, мне довелось писать в Мадриде, просил прощения у еврейской общины Испании за то, что его предки изгнали евреев из Испании в 1492 году.

Еврейская энциклопедия разъясняет: «Между сефардскими и остальными (ашкеназскими) евреями существовало в первые столетия их совместного проживания, вплоть до нашего времени, известное

отчуждение, доходившее со стороны первых иногда до отвращения. Сефарды отличались от ашкеназов различием религиозных обрядов, литургией, произношением еврейского языка, и во многих обычаях еврейской жизни. К этому присоединялось различие в разговорном языке, которое, впрочем, с течением времени потеряло значение. Сефарды были сначала богатыми купцами или врачами и занимали более высокое положение в общественной жизни, чем ашкеназы. Сефарды стояли выше в смысле образования; они выступали смелее и самостоятельнее, чем немецко-польские евреи, подавленные бедностью и политическим гнетом. В то время, как на Востоке не было других общин, кроме сефардских, в голландских, бельгийских и немецких городах на Северном море, а также в Лондоне постепенно возникли ашкеназские общины немецко-польских евреев, начавших соперничать с сефардскими общинами. В Палестине также усилился прилив ашкеназских евреев».

У читателя может возникнуть вопрос, почему в главе «Волга» идет разговор о западных и восточных евреях – сефардах и ашкеназах. Равно как и то, что следует упоминание о кавказских горских евреях – татах? Дело в том, что, по мнению некоторых ученых, судьба восточных евреев тесно связана с Хазарией, когда в иудейскую религию были обращены представители племен, в жилах которых не текла еврейская кровь. Утверждают также, что активность восточных евреев сыграла огромную роль в истории XX века. Но к этой проблеме мы вернемся позже.

* * *

Я навсегда запомнил тот зимний вечер, когда, сидя на стуле с подламывающейся ножкой, получил из рук усталой, но, несмотря на это, очень любезной девушки библиотекаря книгу, содержащую почти единственное свидетельство о реальном бытии древней Хазарии, это была знаменитая переписка кагана хазарского Иосифа с раввином из Кордовы Хасдая ибн-Шапрута. На душе моей было очень тяжело, как – у большинства моих сограждан сегодня. Крах когда-то великой державы... Второе рассеяние и разделенность моих братьев русских, очутившихся в «странах ближнего зарубежья» в бесправии и унижении. Травля нас, русских – «граждан второго сорта», забвение великой духовности нашей культуры, прекратившийся, но лишь на первый, поверхностный взгляд, погром православия, мучительное ожидание политического мессии (мессия по-древнееврейски – освободитель) нашего возрождения государства – и повсюду насилие, стяжательство и разграбление. Говоря о втором рассеянии русских, а точнее, второй волне геноцида – под первой я имею в виду революцию, красный террор и натравливание сословия на сословие с целью самоуничтожения нации. Вторая фаза этого же процесса – добивание наций бывшей Российской империи – СССР через сепаратистский оскал звериного национализма, война всех против всех, но главное, против русских. И потому я с особым пониманием и волнением прочел слова надежды и жгучего интереса раввина из Кордовы к великому царю великой еврейской державы, которая простиралась тогда от Карпат до далеких степей Сибири, где на юге в пределах современной Чечни были опорные пункты Хазарского каганата. Я представляю, если бы мне кто-то сегодня, в дни русского государственного погрома, сказал, что где-то на земле существует мощное и процветающее русское государство во главе с могучим царем и государственной религией – православием, наверное, мое письмо к русскому государю было бы похоже на письмо Хасдая ибн-Шапрута, написанное почти тысячу лет назад из Испании хазарскому царю. Цитирую текст этого письма все по той же «Еврейской энциклопедии»: «Испытывающий сердца Всеведающий Господь знает, что все это я делал не ради чести моей, но только для того, чтобы узнать истину – есть ли где остаток Израилев, где он не был бы подчинен и подвластен другим. Если бы я знал, что это, действительно, правда, то я отказался бы от почетного места, бросил бы высокий сан, оставил бы семейство и ходил бы по горам и по холмам, морем и сушей, пока не достиг бы местожительства царя, моего государя, чтобы увидеть там его величие и славу, жилища его подданных и спокойствие остатка Израилева. Смотря на его великолепия и славу, воссияют мои очи и уста мои произнесут хвалу Господу, не отвратившему своей милости от Своих угнетенных сынов. Если моему царю благоугодно будет и если он соблаговолит исполнить просьбу мою, то да будет ему моя жизнь дорога и да прикажет он секретарям своим написать обстоятельный ответ его слуге из далекой земли, дабы я знал начало и основание дела, как попал Израиль в эту местность, подробности о его стране, из какого колена он происходит, какой у вас порядок престолонаследия, как велико пространство его царства, сколько укрепленных и сколько открытых городов находятся в нем, принимают ли иудаизм жители соседних островов, с каким народом ведет он войну, есть ли у вас сведения о конце чудес и пришествии Мессии, которого мы ожидаем уже долгое время, скитаясь из плена в плен, из изгнания в изгнание. (Напомню неискушенному читателю, что евреи ожидают его по сей день, не считая Христа своим спасителем – Мессией. – И.Г.) Где нам взять больше сил, чтобы далее ждать? Как мы можем умолчать о разрушении нашего славного храма? Низвергнутые с высокого положения, пребываем в изгнании и ничего не можем отвечать говорящим нам. У каждого народа есть царство, а у нас нет на земле и следа». Ответное письмо хазарского кагана Иосифа б. Аарона представляет настоящий клад для исторической средневековой

географии (и истории еврейской Хазарии. – И.Г.) каковое его значение оценено многими исследователями. Приводя генеалогическую таблицу Тогармы, потомками которого являются хазары, Иосиф переходит к обращению хазар в иудаизм. «Это произошло в царствование Булана... который убедился в истине иудаизма, проповедуемого раввином Исааком Санисгари». Далее он сообщает Хасдаю о столице Хазарии на реке Итиль, о главных городах и о народах населяющих эти города.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона свидетельствует, что «хотя главная власть принадлежала кагану, но управлял не он, а его наместник – пех (бек?)... Когда новый наместник являлся к кагану последний накидывал ему на шею шелковую петлю и спрашивал полузадохшегося „пеха“, сколько лет он думает править. Если он к назначенному сроку не умирал, то его умерщвляли. Каган жил совершенно замкнуто в своем дворце, с 25 женами и 60 наложницами, окруженный двором из „порфирородных“ и значительной стражей. Народу он показывался раз в четыре месяца. Доступ к нему был открыт „пеху“ и некоторым другим сановникам. После смерти кагана старались скрыть место его погребения. Войско хазар было многочисленно и состояло из постоянного отряда и ополчения. Начальствовал над ним „пех“.

До сего дня изучение Хазарского каганата – одно из белых пятен мировой науки. Так и не обнаружены остатки могучих городов Хазарского каганата – Итиль и Семендер. Некоторые археологи ссылаются на пагубное изменение уровня воды Каспийского моря, в которое, как известно, впадает Волга, и созданное уже при коммунистах Цимлянское море, на дне которого так трудно вести археологические раскопки третьего города каганата – Саркела. Археологи подтверждают, что на дне Цимлянского моря на расстоянии 15 километров от берега находятся мощные стены «белой крепости» Саркела; толщина стен достигает почти четырех метров.^[61]

Об исторической жизни Хазарии написано многое – написано о правящей верхушке, которая была чужой для покоренных народов, как по крови, так и по исповедуемой религии иудаизма. Много написано о тюрках, входивших в состав разноликих азиатских орд, на которые распространялась власть царя и еврейской общины.

Уже в советское время серьезный специалист по Хазарии, видный ученый М. И. Аргамонов писал: «До сих пор точно не установлено местонахождение главнейших городов Хазарии – Итиля и Семендера, неизвестны их вещественные остатки. Не обнаружены не только могилы хазарских каганов, но, вообще, не известны собственно хазарские погребения». Так и не найдено местоположение и руины роскошного дворца кагана, в котором жили эти восточные деспоты, соблюдая законы престолонаследия.

Все в той же своей переписке царь Иосиф подтверждает это. Продолжая повествование в своем письме о Хазарии, он перечисляет всех хазарских каганов, начиная, естественно, с праведного Булана и кончая им самим. Их было тринадцать: Булан, после Булана – «сын его сыновей» – Обадия, далее Езения, Манассия, затем брат Обадии – Ханукка, сын Ханукки – Исаак и потом Хавуллон, Манассия, Нисси, Манахем, Вениамин, Аарон и Иосиф.

Иосиф подчеркивает, что власть всегда передавалась у них в роду от отца к сыну: «Чужой не может сидеть на престоле моих предков, но только сын садится на престол своего отца».

Как видим, Хазарский каганат не тяготел к республике, социал-демократии и парламентским дебатам, разрушающим могучую централизованную власть самодержца.

Советский историк Плетнева пишет: «Вновь прибывающие евреи, гонимые в христианских и в мусульманских странах, быстро заселили целые кварталы хазарских городов, особенно крымских. Большое количество их осело в Итиле. Они плотным кольцом окружили трон Обадии. Иосиф писал, что после многочисленных войн, которые вели, очевидно, дети и внуки Булана, „воцарился из сыновей его сыновей“ царь по имени Обадя. Он поправил веру надлежащим образом и по правилу. Он выстроил дома собрания (синагоги) и дома учения и собрал мудрецов израильских, дал им серебро и золото, и они объяснили ему 24 книги священного писания, Мишну, Талмуд и сборники праздничных молитв”.

Наивно думать, что Хазария была неким раем, где разноликие племена жили душа в душу, взаимно уважая друг друга. Из многих исторических свидетельств явствует, что царь-диктатор заботился не только о сборе пошлин с проезжающих по Волге купцов, но и желал бы твердой рукой карать «неверных», распространяя по мере возможности иудейскую веру. Так, например, «усиление мусульман представляло серьезную опасность для правительства Хазарии, исповедующего иудейскую религию. Неизвестно, что предприняли хазары для противодействия болгарам, но внутри своей страны, вероятно, с целью положить предел мусульманской пропаганде и продемонстрировать силу правительства, хазарский царь, под предлогом разрушения синагоги в каком-то Дарал-Бабундж приказал разрушить минарет соборной мечети в Итиле и казнить муэдзинов. При этом он будто бы сказал: «Если бы, право же, я не боялся, что в странах Ислама не останется ни одной не разрушенной синагоги, я обязательно разрушил бы (и) мечеть.^[62]

Так же Аргамонов пишет о том, что «...евреи во множестве устремились в Хазарию. Царь Иосиф на преследование единоверцев ответил репрессиями против христиан. Тогда византийское правительство обратилось к русскому князю, прислало ему богатые дары с тем, чтобы русы выступили против хазар».

К сожалению, маститый знаток Хазарии М. И. Артамонов не был сведущ в древней истории России, так как он исповедовал идеологию норманизма – о неполноценности славянства, которое якобы всем обязано германской расе, – как и его коллеги (включая ученика и друга Л. Н. Гумилева), которые до сего времени, вопреки исторической правде, считают внука новгородского князя Гостомысла Рюрика «шведским конунгом». Свидетельства же великого русского историка Татищева, Ломоносова и других они не принимают. Но именно великий славянин Святослав, создатель могучего русского государства, один из величайших полководцев и государственных деятелей древности; в пух и прах разбил могучий Хазарский каганат после чего он навеки исчез со страниц мировой истории. Кто из нас не помнит А. С. Пушкина и грозный облик Олега, который желал отомстить «неразумным хазарам» за их «буйные набеги» и сборы дани с мирного славянского населения. Наши эпические былины помнят о неустанной борьбе русских богатырей, в частности, Ильи Муромца и Добрыни, сражавшихся с Козарином и великаном Жидовином.^[63] Как известно, многие норманисты вообще считают нашего исторического Рюрика легендой, признавая, однако, реальность сына легенды князя Игоря. Святослав Игоревич, перед стальными дружинами которого трясась даже великая Византия, как известно любому школьнику, неустрашимо и благородно объявлял противнику: «Иду на вы». Хазария пала, но куда же девались хазары и мощная еврейская община, управляющая ею во главе с суровым каганом, поколения которого перечислены в письме царя Иосифа? Выше упоминаемый советский ученый Артамонов объясняет, что случилось с Хазарией и с хазарами после их рассеяния стальными дружинами великого русского князя Святослава. Некоторые ученые полагали, что современные евреи Восточной Европы хазарского происхождения в составе половцев бежали от татар на запад и поселились в пределах Галицко–Волынского княжества, откуда затем и распространились в Польшу и Центральную Европу.

Еще чаще и настойчивее потомками хазар-иудеев выставляют крымских и литовско-украинских караимов, говорящих на тюркском языке^[64]. (Вниманию поклонников Гумилева! – И.Г.).

Думается, что рассуждения все того же Артамонова отвечают на вопрос о судьбе Хазарского царства: но принятие иудейской религии было для них (хазар – И.Г.) роковым шагом. С этого времени был потерян контакт правительства с народом и на смену развитию скотоводства и земледелия наступила эпоха посреднической торговли и паразитического обогащения правящей верхушки. Думается, что правящий класс Хазарии, исповедующий иудаизм, вместе с многочисленными представителями главным образом тюркских племен ринулись на Запад в эмиграцию. Не случайно все та же Еврейская энциклопедия отмечает, что в Венгрии антисемиты наших дней называют евреев хазарами. Известно, что во многих городах и весях Европы создаются новые общины так называемые правитель-ашкенази. Достаточно назвать соперника Царьграда Киев, где издавна проживало большое количество евреев. И не хазарские ли евреи пытались обратить в свою веру князя Владимира, который, однако, – что общеизвестно – принял святое крещение по греческому православному обряду, как и его бабушка великая княгиня Ольга, мать великого Святослава, причисленная, как и он, к лику святых. Всемирно известный историк и публицист, бывший корреспондентом лондонского «Таймса», Дуглас Рид в своем спорном, но интересном историческом исследовании «Спор О Сионе», опять же ссылаясь на Еврейскую энциклопедию, отмечает еще раз, что «сефарды, покинув Пиренейский полуостров, не переселились в Польшу и не смешались с прочими евреями, расселившись по Западной Европе». Дуглас Рид приводит точную цитату из Еврейской энциклопедии, изданной не в России:

«Они (сефарды – И.Г.) считали себя высшим классом, еврейской знатью и долго смотрели на своих единоверцев с верху вниз, а эти последние признавали их таковой. Сефарды никогда не занимались торговством и ростовщичеством и не смешивались с низшими классами. Хотя они и жили в мире с остальными евреями, сефарды очень редко заключали с ними смешанные браки... В настоящее время утратили власть, которой они пользовались над другими евреями в продолжение нескольких столетий».

Английский ученый Рид считает, что «Талмудическое правительство стало готовиться к очередной встрече с Европой, обосновавшись в новой ставке посреди азиатского народа хазар, обращенных в иудейство за много. веков до того... Хазары были народом татарским или тюркско-монгольской расы... Еврейские историки не сомневаются в подлинности этой переписки (уже известной нам царя Иосифа и раввина из Кордовы – И.Г.), где впервые встречается слово „ашкенази“ в применении к ясно обозначенной, до того неизвестной группе „восточных“ евреев и их славянским связям.

Эти тюркско-монгольские «ашкеназы» не имели, таким образом, кроме веры, абсолютно ничего общего с евреями, известными до тех пор западному миру – сефардами»...

Я хотел бы знать точку зрения еврейских историков о нижеследующем утверждении их английского коллеги: «Власть талмудического правительства над разбросанными по Европе еврейскими общинами в последующие столетия все более слабела, однако тесно спаянной общиной евреев Востока оно правило поистине железной рукой. Евреи семитского вида становились в Европе все большей редкостью, а в наше время среди евреев все сильнее преобладает тюркский тип, в чем нет ничего удивительного. Никто, кроме евреев, никогда не узнает, почему 13 столетий тому назад правящей сектой было разрешено это

единственное в истории массовое обращение многочисленных „язычников“ в талмудистский иудаизм. Было ли это случайность, или уже тогда сионские мудрецы способны были предвидеть все возможные последствия?... Таким образом, после 1500 г. в мире жили отличные друг от друга группы евреев: сефардские по происхождению, рассеянные общины Запада и тесно сколоченные массы талмудистских „евреев“ Востока». (Я не понимаю, почему английский историк ставит «евреев» Востока в кавычках... – И.Г.) Далее с беспощадной уверенностью Дуглас Рид считает восточных евреев – ашкеназов организаторами двух величайших процессов жизни европейских народов. Первый – организация всех антихристианских революций в Европе, включая русскую революцию; и второй – создание национального еврейского течения – сионизма, под которым я понимаю возвращение евреев на свою историческую родину. Мне бы хотелось в заключение главы о Хазарии лишь предвосхитить мои главы о Марксе и личных впечатлениях от посещения государства Израиль, упомянув незаслуженно преданное забвению имя историка, философа и политического деятеля Моисея (или, как его называл Маркс, Мозеса) Гесса, родившегося в Бонне в 1812 году в семье раввина (дед по матери. – И.Г.), эмигрировавшего из Польши в Германию. Изучение его личности и философии поможет нам еще глубже осознать мировые процессы нашего времени. Меня поразило, в частности, что Гесс считается многими историками духовным отцом коммуниста-интернационалиста Карла Маркса, утверждавшего, что у пролетариата нет отечества, и одновременно доктора Теодора Герцля, идеолога создания еврейского национального государства. Может, Гесс, написавший «Красный катехизис» с его пафосом необходимости социалистической революции, насмеялся над немецкими представлениями об отечестве? В другой книге он пишет: «...Всякий, кто отрицает еврейский национализм – не только отступник, изменник в религиозном смысле, но и предатель своего народа... Каждый еврей должен быть прежде всего – еврейским патриотом».

Любопытно, что М. Гесс, автор нашумевшей книги «Рим и Иерусалим», умер в Париже в 1875 году. В то время будущему лидеру и вождю сионистского движения Теодору Герцлю (родился в Будапеште) было 15 лет, а Карлу Марксу, творцу пресловутого «Комманифеста» и «Капитала» – 57 лет. Как известно, 29 августа 1897 года в Базеле на знаменитом сионистском конгрессе Теодор Герцль провозгласил доктрину возрождения еврейского государства в Палестине, вызвавшую бурное ликование участников конгресса. Стали крылатыми слова Герцля: «Да отсохнет рука моя, о Иерусалим, если я забуду тебя». Думается, с той поры история XX века определяется борьбой трех начал: коммунизм-большевизм, сионизм и, как их антитеза, фашизм-национал-социализм.

Спор молодых историков

Помню мой случайный разговор в моем родном городе на берегах Невы с двумя историками, когда я у них допытывался, почему сегодня многими постсоветскими учеными раздувается кадило интереса к великой, но враждебной нам Степи – к тюркам, а еще точнее – туранцам, исконным врагам нашей расы, в частности, славянского племени.

Мой собеседник средних лет – и, как он утверждал, демократ по убеждениям – походил всем своим видом на преподавателя университета, который, несмотря на потертость своего костюма, смотрел на меня бесцветными глазами с выражением глубокого превосходства, дающего человеку верой в непререкаемую истинность исповедуемой им доктрины. «Видите ли, – тянул он, – Илья Сергеевич, многие прогрессивные ученые считают сегодня, что мы должны заниматься не историей вашей любимой России с ее славянским великодержавием, а народами Великой Степи: тюрками и монголами, которые и вершили подлинную историю, оказывая огромное влияние на исторические процессы Древней Руси и Причерноморья. Надеюсь, вы знаете, что „Слово о Полку Игореве“ насквозь пронизано, я бы сказал, тюркизмом, а вот когда оно написано, в каком веке – это дело научных изысканий. Сегодня многие из нас стоят на платформе Льва Николаевича Гумилева». Опустивший голову в книгу второй историк, доселе не обращавший на нас внимания, поднял голову и, сверкнув глазами, глядя на своего как я считал приятеля, произнес: «Максим, не вводи в заблуждение великого художника – далеко не все стоят на платформе, как ты выразился, Гумилева. Я лично даже не считаю его историком». Встрепенулся и Максим и, глядя в прищуренные глаза Виктора (так звали его тридцатилетнего коллегу), зло отрубил: «Это ты, Витюша, не наводи тень на плетень, а точнее, на научные деяния Льва Николаевича Гумилева». Виктор резко перебил его: «Да какой он историк, с моей точки зрения – всего лишь антинаучный фантаст, чьи смехотворные концепции не может оправдать даже феноменальная память на имена и факты азиатской истории и ее народов. Но когда начинаешь проверять многие из этих фактов, которые словно горох насыпаны во все произведения Гумилева, поражаешься их антиисторической „правде“ – я имею в виду ряд откровений „дяди Левы. в области русской истории, которой я, в отличие от тебя, занимаюсь серьезно“. Я почувствовал, что назревает бурная дискуссия, молчаливым свидетелем которой я невольно становился. Максим снова стукнул кулаком по столу: «Во-первых, не смей так фамильярно называть Льва Николаевича, он тебе не дядя, тамбовский

волк тебе дядя, имей уважение хотя бы к его родителям, гениальным поэтам Гумилеву и Ахматовой. Вся его жизнь – аресты, тюрьмы, допросы, лагеря и ссылки! Да и жил-то он, в отличие от тебя, до

последних лет жизни в крохотной комнате коммунальной квартиры. Его гениальные труды рассчитаны только на ученых: раз ты их не приемлешь, значит, ты не ученый., – выдохнул одним махом побагровевший Максим, глядя в лицо своему коллеге. Виктор бесстрастно смотрел на своего оппонента: «Прошу тебя, Максим, не кипятиться; речь идет не о достойных и пусть даже гениальных родителях, тем более о размерах советской жилплощади, а о работах Льва Николаевича Гумилева».

Он нарочито подчеркнул имя, отчество и фамилию. Обхватив большой костистой ладонью низ своего лица, которое было скрыто коротко стриженной бородой, еще не украшенной сединой, со скрытым холодом продолжал: «Объясни мне, Максим, если „суперэтнос – ЧК-КГБ со свойственной ему пассионарностью, – его глаз дрогнул насмешкой, – так надолго оторвал молодого ученого от занятий, когда же он учился? Ведь советские лагеря, как известно, не лучшие университеты в мире. Не бей на жалость, у меня у самого деда и бабушку расстреляли только за то, что он был священником. Расстреливали, наверное, все те же „пассионарии субэтнуса“ – революционеры, проводящие великий эксперимент“. И неожиданно перебрался на новую тему: „Не приемлю я также твоих любимых евразийцев, считаю этот термин идиотски вымышленным и антинаучным!“ Виктор вдруг неожиданно посмотрел на меня, как яотреагирую на это заявление: а не евразиец ли Глазунов?

Я старался быть невозмутимым свидетелем столь интересного для меня диспута, – я не был поклонником евразийской теории, столь модной ныне. Не давая противнику опомниться, Виктор продолжал: «Есть Европа, есть Азия, есть Африка, есть Америка! Есть их границы! Есть мужчина и женщина. Можно ли согласиться с термином мужеженщина? Думаю, что нельзя, но напомним, что сатанинский образ Бафомета: двуполой – это и есть, по-моему, аналогия с термином Евразия. Уместно говорить не об искусственно объединенных землях Европы и Азии, а о великом значении русского племени, о культуре и о государственных уложениях, которые русские принесли в Азию, не вторгаясь в самобытный мир ислама, буддизма и язычества. Россия не знала колоний».

Чувствуя, что Максим хочет его перебить, уже скороговоркой продолжил: «Еще некто Бердяев писал, что евразийцам ближе Чингисхан, чем святой Владимир. Можно ожидать, что вскоре появится новый термин: „Америка – Евразия“ в связи со стремлением к мировому господству магнатов международного капитала».

Наморщив лоб, Виктор продолжал: «Евразия, с моей точки зрения, такой же идиотский термин, как „красно-коричневые“! Как известно, Маркс и Ленин – непримиримые антиподы Гитлера. Их непримиримость выражена не просто в символике красного и коричневого цвета – непримиримы их мировоззрение и политические цели. Не могу понять, почему термин „красно-коричневые“ стал таким расхожим в наши дни: я не могу себе представить идущих в обнимку национал-социалиста с его антиподом – коммунистом».

Максим смотрел на Виктора (я так и не узнал их отчеств), как застывшая кобра, а тот невозмутимо рубил воздух ладонью: «Все эти „пассионарии“, „кормящие ландшафты“, „пассионарные толчки“, которым предшествуют, по выражению твоего Гумилева, „инкубационные периоды“, словно речь идет о цыплятах, чепуха!» Виктор перешел на тон прокурора: «Не интересуют меня сомнительные побасенки о древних тюрках, гуннах, китайцах – и все это сегодня, когда нет даже настоящего учебника по истории России! А мы все молчим и пытаемся заниматься никому не нужным, придуманным Гумилевым этногенезом, попросту становлением нового народа. Спасибо, что Лев Гумилев в Шамбалу не верит и прочие бредни теософии Блаватской и Рерихов! Никаких новых народов и рас нет и быть не может. Их только можно убить или скрестить друг с другом, получив гибриды, как это делают ботаники с растениями, но получается из этого не новый народ, а метисы; или как в народе говорят, полтинники».

Максим властно простер руку: «Мы с тобой ведем научный разговор!» Виктор повысил голос: «А почему это наука, если я говорю непонятно и запутанно – как авангардисты в искусстве?» Он снова бросил взгляд на меня. «Я ненавижу слово „этнос“, которое, словно трупные пятна, покрывает работы не только историков, но даже общественных деятелей и, – увы, духовенства! Почему не сказать – народ? Как известно, „этнос“ в переводе с греческого и означает народ. Может быть, вы, гумилевцы, – Виктор разъяренно ткнул указательным пальцем в онемевшего от ненависти Максима, – продолжите это дальше и будете называть: аква Невы или Ладоги, аква Волги, аква Тихого океана? Можно продолжить: турецкая гео, русская гео, израильская гео и т. д. – что, и это будет великое научное „элитарное“ открытие и язык современной науки? Вот и дошли-доехали до сегодняшнего дня, когда русский президент проводит „саммит“, или, как известно, по-английски встреча, а потом идут бесконечные рейтинги, маркетинги, доходящие до порнографических шопов и супермаркетов».

Ярости Виктора не было предела: «Хоть и шиворот-навыворот, но тоже твоя гумилевщина, а попросту – неуважение к русскому языку, который, с моей точки зрения, самый богатый и духовный язык человечества, напрямую связанный с совершенным языком санскрита».

«Ты не апеллируй к художнику Глазунову, – внушительно предупредил Максим, – мы знаем его урапатриотические убеждения: „Славься, Отечество наше свободное“ – даже подпел тенором слова

советского гимна историк. – Или что для меня одно и то же – „за Веру, Царя и Отечество“, – с несколько извиняющейся улыбкой он посмотрел в мою сторону, хотя глаза отнюдь не улыбались. Я впервые за все время их шумной перепалки нарушил молчание:

«Да, в отличие от Вас, уважаемый Максим, простите, не знаю Вашего отчества – я люблю Россию. Следовательно, да – я патриот! Но не „ура-патриот“ в Вашем понимании. Не знаю, как Вы, но я никогда не был членом компартии или какой-либо другой политической группировки. Не надо фальсифицировать и фантазировать, как Ваш учитель – я имею в виду Льва Гумилева, смешивая с легкостью необыкновенной прямо противоположные понятия: советский „ура-патриотизм“ и имперскую триаду „за Веру, Царя и Отечество“. И политику это не всегда сходит с рук, а историку вообще непростительно! Кстати, в спорах, как я думаю, истина не рождается», – закончил я свой монолог, не желая, как понимает читатель, принимать дальше участие в этом непримиримом зло-запальчивом споре.

Но Виктор остервенело бросил, кивнув на Максима: «Эту истину ему половецкий этнос из Великой Степи в уши насвистел!»

«Господа, – продолжил я как можно серьезнее, – вернитесь же, наконец, к проблемам истории. Вы историки, и я, как художник, с великим интересом слушаю ваш научный и глубоко современный диспут. Поверьте мне: все, что вы говорите, – очень важно».

Виктор, вдруг снова обратившись ко мне, но отнюдь не ища у меня поддержки, словно продолжая давний спор со своим коллегой, заявил: «Я внимательно изучил три Ваши работы – „Мистерия XX века“, „Вечная Россия“ и „Великий эксперимент“. Каждая из них, по моему глубокому убеждению, – вызываясь посмотрел он на Максима, – может быть приравнена к диссертации. К сожалению, у многих сильное предубеждение против вас, Илья Сергеевич, при этом оно искусственно подогревается теми, кто не желает принимать очевидное. Я, например, увидев на картине „Вечная Россия“ гору Хараити, изображение Перуна и многое другое, сразу понял, что за каждым вашим образом скрывается глубина исторических познаний».

Я был крайне смущен таким комплиментарным поворотом разговора и, глядя на раздраженного Максима, сказал: «Помилуйте, я готов залезть под стол от смущения, когда слышу такие высокие оценки моих работ, тем более от историка. Я себя чувствую лучше, когда определенные люди меня поносят».

...Глядя в стол, не меняя позы, Максим произнес как бы нехотя: «Ну, насчет диссертации я не согласен, но, бесспорно, что ваша картина „Мистерия XX века“ – смелый и бесстрашный документ нашего времени».

Воспользовавшись секундной паузой, Максим, сидевший за столом в позе академика Павлова с портрета Нестерова – два сжатых кулака, выброшенных вперед, – пожелал, видимо, вернуть разговор в «научное» русло: «Разве ты можешь отрицать, – обратился он к Виктору, – что Гумилев утвердил особую научную дисциплину – этнологию, объединяющую естественные и гуманитарные науки? Лев Николаевич предложил три главенствующих параметра: пространство, время и этнос – „коллектив людей, творящих историю».

Виктор встал: «Подумаешь, три параметра – зло вдохнул он. – Это такое же открытие, как если я назову свои параметры: человек, чтобы жить, должен есть, пить и спать. Буду ли я иметь честь называться историком, даже если переложу это на греческий язык и придуманную „пассионарность“: биосфера, этногенез и влияние почвы на почерк? Разве норманист, каким был Гумилев, равно как и его учителя – идеологи и сподвижники – ученики, могут называться историками? Твой Лев Гумилев ничего не понимал в русской истории; более того, считал, что нашествие азиатов на Русь было милым культуртрегерским пикником в стране пьяных варваров! Он не понимает смысла и сути истории, что она есть борьба религий и рас, Бога и сатаны. Важно; – хочу в твоих глазах оставаться историком, – чтобы „этнос“ и его история рассматривались с этих позиций. Историю делают единицы и народные массы, верящие в Бога или в дьявола и своего, не боюсь этого слова, национального вождя. Дарвин, Ницше или Маркс тут ни при чем. У нас есть серьезные историки, но они выступают против амбиций Гумилева. Я хочу быть историком России, а ты – исповедовать антинаучные абстрактные теории – бредни Льва Николаевича».

Я увидел, как вскочил со стула Максим, и почувствовал, что дело вот-вот перейдет в рукопашную. Оба оппонента тяжело дышали, не замечая меня. Успокаивая их, я попросил обоих отвлечься и высказать свою точку зрения на проблему Хазарии. Максим неохотно ответил: «Прочтите „Открытие Хазарии“ Гумилева, там все сказано». Неумный Виктор возразил: «Не читайте гумилевское „Открытие Хазарии“. Это мнимое открытие, которое не состоялось. Очень трогательно, что они потеряли во время подводных исследований акваланг, но странна самоуверенная датировка найденных черепков древней посуды, которые безапелляционный Лев Николаевич считает свидетельством найденных им хазар. Итиль до сих пор не найден вообще! Нигде не найдено остатков фундаментов домов, синагог, дворцов, мечетей и городских зданий. Это только гипотеза со ссылками на изменение почвы якобы из-за смены уровня воды Каспия. Где доказательства, что это Хазария и что найденные захоронения именно хазарские? Обнаруженные останки в захоронениях, названные хазарскими, не прошли главного – научной „этнической“ атрибуции. Чьи это черепа? Индоевропейские, семитские или монголоидные? Но должен

сказать, – продолжал Виктор, – что книга Гумилева „Открытие Хазарии“ написана живо, и не случайно наш ученый Артамонов назвал ее научным детективом, хотя археологи встретили, как мне говорили, тогда его сообщение вяло и кисло».

Поняв, что большего от них не добьюсь, я задал последний вопрос: куда бесследно исчезли хазары? Беря инициативу в свои руки, севший снова за стол Виктор, подумав, ответил: «Еврейская община и обращенные в иудаизм иногородцы под видом евреев покинули Хазарию, а другие племена, входившие в Хазарский каганат, но не принявшие иудаизм, так и остались жить на своих местах, но уже не назывались хазарами». Кивнув головой на Максима, улыбнувшись, сказал: «Пусть я стану заклятым врагом моего коллеги-гумилевца, но выскажу крамольную мысль: хазары и масоны – это тайна нашего времени, которая пока не может быть исследована до конца ни одним ученым. Например, вы знаете, что потомки хазар участвовали в убийстве первого и последнего русского самодержца?»

«Ка– ак?» – встрепнулся, снова приподнимаясь, Максим. Признаться, и я не ожидал такого пассажа. «А очень просто», – иронически, но уже глядя на меня, сказал, поглаживая свою коротко стриженную бороду, историк. «Первое убийство было в 1174 году в Боголюбове, находящемся, как известно, недалеко от Владимира. Вам обоим, конечно, известно, кто такой Андрей Боголюбский?»

«Да, да, известно», – неожиданно хором ответили мы с Максимом.

«Не сомневаюсь, – ехидно подчеркнул Виктор, – но, тем не менее, прежде хочу сказать два слова – и не о полководцах, не о татаро-монгольских ордах и не об усобицах, которые разрывали Киевскую Русь, а о том, что в результате всего этого у могучего русского племени созрела необходимость двигаться на северо-восток в Залесскую Русь, то есть в землю за великим лесом. Добавлю, что оставшиеся руссы, подверженные влиянию Великой Степи и католицизма, стали называться малороссами, а сегодня украинцами – от слова „окраина“. Напоминаю, что еще Владимир Мономах понял эту необходимость, когда в 1108; году основал на крутом берегу Клязьмы богохранимый до наших дней город Владимир, дав ему свое имя. Его сын Юрий Долгорукий, известный памятник которому стоит перед московской мэрией, будучи суздальским князем, после долгой борьбы правил Киевом. Очень знаменателен тот факт, что сын Юрия Долгорукого Андрей, будущий Боголюбский, самовольно уехал на север и стал, согласно летописи, „самовластцем всей суздальской земли“. Обладая гениальным чутьем великого государя, нарушив все традиции, он перенес княжеский стол во Владимир. Как говорит предание, в селе Боголюбово построил прекрасные храмы и терема...»

Прервав свою лекцию, Виктор посмотрел на меня и спросил: «По-моему, Вы не раз изображали на своих картинах храм Покрова на Нерли, стоящий неподалеку от резиденции Андрея Боголюбского. Правитель Земской Руси вел себя с энергичной активностью, стараясь объединить близлежащие земли, и даже неудачно воевал с Новгородом.

Многие враги, видя государственный разум и неустанный рост собирания русских земель, имели все основания бояться и ненавидеть Андрея Боголюбского – русского православного князя. – Улыбнувшись саркастической улыбкой, Виктор неожиданно произнес: – Я не знаю, какие «большевики» организовали убийство властителя Залесской православной Руси, но общеизвестно, что после убийства князя Андрея долго не утихала смута на Владимиро-Суздальской земле...»

Опять обратясь ко мне, размахивая, как мечом, Бог весть откуда взявшейся указкой, подытожил: «Но тем не менее вскоре Всеволод Большое Гнездо принял титул великого князя, а автор „Слова о полку Игореве“, которое Максим вместе со своим антирусситом Мазоном и кампанией считает подделкой попов и капиталистов, писал о великом князе Всеволоде: „Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать!“ „Не шеломами, а шлемами,“ – буркнул Максим. А Виктор с воодушевлением продолжал: „Политический гений многих поколений русских князей, ведомых Церковью Христовой, строил могучее государство. Да, свеча русской государственной идеи, несмотря на черные вихри истории, не погасла. И не случайно верный заветам Киевской Руси боголюбивый князь Андрей вывез в новую столицу Владимир самую чтимую икону Матери Божией, написанную, по преданию, евангелистом Лукой. С тех пор, как известно, она называется Владимирской. В лихую годину нашествия Тохтамыша она была перенесена в Московский Кремль“.

«Может, хватит читать лекцию? Мы не школьники, – недовольно буркнул Максим. – Переходи ближе к теме, кто убил Андрея Боголюбского и Николая II? Руби, раз уж замахнулся». – «Не пытайся сбить меня с темы, – огрызнулся Виктор. – Я продолжаю.

Из недр славной Залесской Руси выросла великая Московия, которой позавидовали и, ненавидя ее, боялись как в Европе, так и в Орде. Великороссы Московии и явились создателями великой русской Империи. Окрыленные победой поля Куликова и гордые историческим предопределением хранить чистоту православия после падения Константинополя, уничтоженного туранцами – исконными врагами нашей расы, они утвердили идею, что Москва – это Третий Рим. Кто об этом сегодня не знает?»

И вот Виктор, глядя на меня, подвел итог предварительному экскурсу.

«Итак, были древние скифо-сарматское, антовенетское и многие другие государственные образования великих славянских племен. Потом Византия, Киев, Владимир, Москва – такова историческая эстафета религиозной и государственной преемственности великороссов, создавших могучую и славную империю – защитницу и надежду всех угнетаемых племен славянских».

Максим снова не выдержал и по-своему подытожил слова коллеги:

«Значит, Лев Николаевич Гумилев прав: теперь-то ваша, а точнее, наша пассионарность иссякла. Русский этнос сходит с арены истории...»

Виктор словно прорычал:

«Какая пассионарность! Но раз уж ты говоришь о так называемой пассионарности, то никакого угасания, несмотря на проведенный геноцид русского народа нет: мы существуем, мы боремся, и я уверен – мы возродимся, как птичка Феникс. Рано ты, Максим, хоронишь русский народ! Хотя весь мир навалился на последний бастион нашей христианской цивилизации. Наполеон и Гитлер потерпели крах, потому что недооценили силу патриотизма, лежащего в душе русского человека. Так что заткнись со своей пассионарностью и осознай, что сегодня наши враги больше всего боятся возрождения национальной России, которое неизбежно грянет и сведет счеты со всеми твоими суперэтносами».

Словно спохватившись, что в споре далеко отошел от поднятой им тем, Виктор быстро взглянул на часы и стал «врубаться» в самую суть.

«Думаю, излишне напоминать о царственном величии и заслугах Андрея Боголюбского. Как известно, его княжеская дружина была многонациональной. Андрей Боголюбский не жалел ничего для своей дружины и, как говорится, многих вывел из грязи в князи. Но случилось так, что в заговоре против князя приняло участие 20 человек, многих из которых русский князь безуспешно старался обратить в православие. Его доверенным лицом – ключником – стал Анбал; может быть, это от него до сих пор в народе и сохранилось понятие „здоровенный амбал“. Вторым особо доверенным лицом Андрея Боголюбского был Ефрем Мойзич – Моисеевич. Обоих летописец называет жидовинами, которые, и это, с моей точки зрения, очевидно, были родом из Хазарии, разгромленной задолго до этого события Святославом. (Летопись сообщает, что Анбал был по происхождению ясом (аланом). И если верный слуга Андрея Боголюбского Кузьма Киевлянин называет его жидовином, можно предположить, что он был из хазар, обращенных в иудейство. – И.Г.). Словом, что я буду рассказывать – лучше я вам дам выписку из сочинения русского историка Нечволодова, рекомендованного государем императором для всех учебных заведений России – „Сказание о русской земле“. Написано просто и понятно!»

Я вежливо отказался от предложенного «популистского» текста ротапринта, а придя домой, открыл книгу любимого историка, умершего в Париже, Нечволодова и, открыв страницу 171 второго тома, прочел нижеследующее.

«Выждав глубокой ночи, злодеи отправились в опочивальню Андрея; однако там ужас напал на них; они поспешно бежали из сеней и бросились в погреб, где, напившись вина, ободрившись и пошли опять в сени. Один из них стал звать князя: „Господин, господин“, – чтоб узнать, здесь ли он. Он спросил: „Кто там?“ и услышал в ответ: „Прокопий“. Андрей узнал по голосу, что это не Прокопий, и хватился своего меча, который принадлежал святому Борису при его жизни. Но меч этот был украден днем из спальни Анбалом, а между тем заговорщики выломали двери и вломились в опочивальню. Двое злодеев бросились на Андрея, но были отброшены сильным князем. Тогда ворвались остальные, ранили в темноте одного из своих, поваленного Андреем, и затем бросились на своего Князя и начали со всех сторон сечь его саблями и мечами и колоть копьями.

Андрей долго отбивался, говоря им: «Нечестивцы! – зачем хотите сделать то же, что Горясер (убийца святого Глеба. – И.Г.)? Какое я вам сделал зло? Если прольете кровь мою, то Бог отомстит вам за мой хлеб». Наконец он умолк и свалился. Думая, что он скончался, убийцы, дрожа всем телом, вышли из его покоя. Но Андрей скоро очнулся, поднялся и, громко стоная, пошел в сени. Тогда заговорщики возвратились назад. Не найдя его в опочивальне, они сильно испугались, полагая, что он куда-либо скрылся. «Погибли мы теперь, – говорили они, – станем искать его скорей», и, зажегши свечу, нашли его по кровавому следу за склоном лестницы. Тогда Петр Кучкович отсек ему руку, а другие несколькими ударами прикончили его.

После этого злодеи убили также и Прокопия, и стали грабить и вывозить Андрееву казну. Затем они оделись в его одежду и, взяв его оружие, собрали целый полк своей дружины, боясь, что придет к отмщению дружина Владимирская. Собравшись, полк этот налег на грабеж». «Страшно было это видеть», – говорит летописец. Следуя примеру полка, принялись также за грабеж и княжеские дружины, и горожане Боголюбова. (Знакомая ситуация – грабить чужое, ненаграбленное!).

Тело неотпетого князя во все время этих грабежей оставалось непогребенным. В первый же день убийства преданный слуга Андрея – Кузьма Киевлянин, видя, что тела нет на том месте, где Андрей был убит, стал спрашивать: «Где господин?» Ему отвечали: «Вон лежит выволочен в огороде; да ты не смей

брать его; все хотят выбросить его собакам; а если кто за него примется, тот нам враг, убьем и его». Кузьма пошел к телу и начал плакать над ним. Увидя Анбала, Кузьма сказал ему: «Анбал! Вражий сын! дай хоть ковер или что-нибудь подостлать и прикрыть господина нашего». «Ступай прочь, – отвечал Анбал, – мы хотим бросить его собакам». «Ах ты, еретик, – сказал ему на это Кузьма, – собакам выбросить? Да помнишь ли ты, в каком платье пришел ты сюда? Теперь ты стоишь в бархате, а князь нагой лежит; но прошу тебя честью, сбрось мне что-нибудь». (В летописи это описано лаконичнее и страшней. – И.Г.)

Анбал усовестился и сбросил ковер и княжеский плащ.

Наконец, верному и бесстрашному Кузьме после многих усилий удалось отпеть своего господина. После этого, когда волнение, вызванное заговорщиками, утихло, тело Андрея было перенесено во Владимир с честью и плачем великим. Увидавши издали княжеский стяг, который несли перед гробом, владимирцы, оставшиеся ждать у Серебряных ворот, не могли удержаться от слез. Они встретили и проводили в могилу во Владимирский собор, расписанный много лет спустя великим Андреем Рублевым – И.Г.) своего доброго князя с великим плачем и воплем, которые далеко были слышны, по словам летописца. Здесь, на его похоронах, о нем рассуждали как о невинном страстотерпце, получившем за свою добродетель мученический венец и омывшем кровью свои грехи, и причислили его к первым князьям-мученикам Борису и Глебу...

Андрей окончил свой земной путь 63 лет от роду. По словам летописца, он был невелик ростом, но широк в плечах и красив лицом, с черными и кудрявыми волосами, высоким челом и светлыми очами».

У меня в мастерской уже много лет находится икона богоматери Боголюбской...

Но закончу рассказ о нашем разговоре с историками. Посмотрев на часы и, видимо, куда-то опаздывая, Виктор скороговоркой произнес: «Общеизвестна сегодня-трагедия ритуального убийства коминтерновцами-большевиками последнего русского самодержца государя-великомученика Николая II. Уж вы-то должны знать значение каббалистического знака на стене подвала дома Ипатьевых, где была убита царская семья в 1918 году: „Убит русский царь, чтобы разрушить народ и государство“. Так трактует его честный Вильтон. А ведь так и неизвестно, кто написал по-немецки стихи Генриха Гейне об убийстве царя Валтазара его слугами. Имя Валтазар написано, как Валта-царь, значит, кроме немецкого языка, участник убийства, очевидно, прекрасно знал и русский». Обращаясь к нам обоим, уже уходя историк-антигумилевец добавил: «Советую прочесть недавно изданную книгу „Дорогами тысячелетий“, книжечка во многом спорная, но там приведено свидетельство очевидцев, что, когда после смерти Ленина в его кремлевском кабинете вскрыли сейф, то нашли заспиртованную голову последнего русского самодержца „при усах и бороде“^[65]. Вот почему, кстати, я, не верю, – закончил Виктор, – в «липу» чудесного нахождения черепов государя, и государыни бывшим милиционером Рябовым, который шел по дороге и «вдруг» их нашел. Я бы поверил в это, если бы честно сказали, что они хранились где-нибудь в подвалах Лубянки, а теперь переданы мировой общественности для достойного погребения. Историк – это тот, кто изучает документы и делает из них подлинно научные выводы, а не занимается фантазиями и личными амбициозными гипотезами, выдавая их за истину в конечной инстанции, как твой любимый Лев Николаевич Гумилев, – и не случайно ты пропагандируешь Рерихов».

«Раз ты полностью отрицаешь Гумилева, кого же ты считаешь настоящим историком в наше постсоветское время?» – насмешливо спросил Максим.

«Как кого? Мне и думать не надо – конечно же, владыку Иоанна, великого пастыря и выдающегося историка России. Неужто ты не знаешь его сочинений, Максим? – удивленно, в свою очередь, ответил Виктор вопросом на вопрос и продолжил: „Правда, я боюсь за его жизнь – слишком он смел и отважен, как, впрочем, и подобает истинно православному пастырю“^[66].

Максим прямо-таки вскинулся на своего «заклятого друга»: «Ну-ну, иди расшибай лоб о церковный пол, а я буду по-прежнему заниматься наукой.

«На– у-кой!» – патетически заявил он.

Виктор, не удостоив его ответом, подчеркнуто галантно поклонился нам и закрыл дверь университетской аудитории с обратной стороны. Я взглянул в окно. Невдалеке высился знакомый с детства силуэт Исаакия. Могучая Нева гордо катила к морю свои свинцовые воды...

Вернувшись в Москву, я поспешил найти еще не прочитанные мною книги о. Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского. В «Самодержавии духа» нашел то, что меня интересовало, что не давало покоя – о Хазарии, о Святославе и крещении Руси. Вернемся, читатель, к хазарской «тайне» и убедимся, как глубоко, пронзительно, научно – в самом точном смысле этого слова. – проник в эту тайну владыка Иоанн. Признаюсь, это было для меня большой неожиданностью! Мудрый интеллект владыки увидел в ней непосредственную и жгучую связь с древней русской историей, постиг в самом существовании Хазарского каганата злейшего врага христианства. Как известно, борьба с благой вестью Христа «воинствующих безбожников» И многочисленных сектантов – трудноизлечимая болезнь и нашего времени.

Приведу лишь несколько выдержек из книги о. Иоанна, изданной в 1995 году незадолго до внезапной кончины великого митрополита «Самодержавие духа», стр. 17 и 18).

«Хазарский каганат встал на пути молодой русской державы в IX веке, когда еврейская община Хазарии добилась господствующего политического и экономического положения в стране».

«Политика каганата осуществлялась в интересах торговой еврейской диаспоры, извлекавшей огромные прибыли из работорговли и Великого шелкового пути, пролежавшего через земли Хазарии».

«Славянские земли в IX-X веках стали для иудейских купцов источником „живого товара“. Русские рабы и рабыни во множестве отправлялись в страны исламского мира, где юноши высоко ценились за здоровье и силу, а девушки – за красоту. Но главная цель славянской политики Хазарского каганата была иной. Собственно, этих целей было две. Ближайшей – являлось всемерное политическое и военное ослабление русского государства, его превращение в младшего партнера и данника, чьи войска можно было бы с успехом использовать против ненавистной православной Византии. Конечной же целью было разрушение Киевского славянского княжества с последующим включением его земель в состав каганата или создание еще одного иудаизированного, подобно Хазарии, государства на торговом пути „из варяг в греки“. Такой исход сделал бы евреев финансовыми и торговыми господами всего евроазиатского пространства – от границ Китая до Пиренейского полуострова».

ИЗ ДНЕВНИКОВ СТУДЕНТА АКАДЕМИИ

Теперь я вновь возвращаюсь ко временам моей юности, когда, вернувшись из очередной поездки на Волгу, я снова с головой погрузился в напряженные будни борьбы за овладение мастерством, за крепость духа. Мне было тогда восемнадцать! Я заканчивал Художественную школу, а потом вскорости поступил в Институт имени И. Е. Репина Академии художеств СССР.

* * *

...Вокруг шумела жизнь, звенели каплейю синие весны. Мы любили, страдали, проводили бессонные ночи в спорах, жадно проглатывали книги, много ездили по стране, делая для себя захватывающие дух открытия, которые потрясали нас всей противоречивой сложностью человеческого бытия и наглядно убеждали в справедливости слов Достоевского, что нет ничего фантастичнее реальности.

Я каждый день с утра до вечера работал в академических аудиториях и последним выходил из старой – такой роскошной и уютной библиотеки. Мне, как, впрочем, и всю жизнь, сопутствовало чувство тревоги и одиночества, отразившееся в моих дневниках. Прочитав по прошествии многих лет большую тетрадь в картонном переплете куда я записывал некоторые размышления, наблюдения и факты, я решил, что они могут представить интерес как документ тех лет, когда я был студентом.

Как это время отражалось в моей душе? Привожу некоторые из сохраненных моей женой дневниковых записей.

* * *

25 сентября 1950 г.

Нужно стараться брать сразу главное, т. е. делать отбор, брать наиважнейшие переломы формы (подчеркивать их, «как великие старики» – мастера прошлого), изучить череп. Решил рисовать только череп, пока не научусь рисовать его во всех ракурсах. Натюрморт. Рисовать. Быть независимым. Гнуть везде свою линию. Хватит копаться в себе. Мои летние этюды очень хороши (В целом). Головы отвратительны. Читать литературу. История философии (французская и русская).

29 октября 1950 г.

Как страшно что никому нельзя верить до конца! Почувствовал свою одинокость – это даже хорошо. Думать и писать... вот и все.

21 ноября

Очень тяжело и больно все ворошить в себе. Это потом Я напишу. Главное – сила духа. Об этом думаю.

8 апреля 1951 г.

Решил снова начать дневник. Дело в том, что я очень одинок. Это очень странно и не странно... Пришел к выводу, что я замечаю людей и люблю их за то, что отражаюсь в них, – если отражаюсь хорошо... Хочу вести дневник для оценки, как бы для собеседника, может быть, как пишет о себе Делакруа, – «я стану лучше от этого»...

Теперь о главном: сейчас у меня кончилась старая боль, связанная с М. Войцеховским, с тем, кто был для меня всем, т. е. другом во всех фазах. Как страшно психическое заболевание!

Теперь, когда я встретил его, я, помню, дрогнул. Трепет прошел по коленям... и все. Умерло или может возродиться заново? Он первый должен прийти, а я посмотрю, чем он стал.

Мне нужны умные собеседники, открывающие горизонты. Как важен разум. Хладнокровие. И я не написал главное – о работоспособности. Я за это время упал. Почему? Мой новый друг Ю. Егоров – он сам по себе обыкновенный, с немного вывернутой психикой, но у него есть вот то, что я мечтал бы иметь, – воля к победе.

Результат для него не играет той огромной роли, как для меня. Он сидит и тупо-напряженно делает, делает.

* * *

Я вообще не способен к рассуждению и логике. А форма – сплошная логика... И в то же время отчего-то чувствую себя выше многих, почти всех, с кем я имею дело (из сверстников). Виногато ли в этом мое пресловутое обаяние? Настороженность и поклонничество до известной степени окружающих? Но если мне не о чем говорить с моими соучениками, то мне неинтересно то, что волнует их. Это все кажется мне не то, «типично не то». Сегодня я почувствовал еще раз, что жизнь требует сил и огромной ответственности за себя, свои поступки. Собранность! Меня безумно нервирует шум, вечный шум в этой темной квартире, крики, голоса. Надо раньше вставать и раньше ложиться... Поминутно мучает ужас выхолащивания души. Нужно иметь свое внутреннее миропонимание. Это главное.

11 апреля 1951 г.

Пришел к выводу, что мне все-таки нужно учиться у Мыльников. Был у него. Начатые пейзажи – жидко, с нагрузкой. Он сам довольно сух, с «черт знает откуда привязавшейся икотой». Говорит о том, что «что» – нам говорит природа, а «как» – мастера. Дышит ими. Портреты в духе Ван Дейка, – все они начаты очень хорошо, но музейно. Это, мне кажется, не совсем хорошо.

Ему у меня больше всего понравился все-таки этюд «Наблюдение», правдивее остальных (а он в духе скорее передвижников – Сурикова).

Оставил пить чай, в разговоре стал более мягок, т. е. задушевнее. Говорил, что главное – это понимать то, что делается у нас в стране, и помогать этому чем можем – искусством.

Я говорил, «да-да». Мне хочется узнать поглубже его. Либо он мастер, натасканный по Эрмитажу, – и все, либо настоящий художник... «Нет большого мастера, который бы не копировал» – от Репина до Ренуара.

Жена – балерина. Споры о том, что опыт не передается и т. п. Я говорил, желая растормошить М. Умно-мальчишески рассказывал о себе и т. п. Говорят, что он читает библию. Хочет (вернее, я хочу) сходить в Эрмитаж со мной «как-нибудь». И «как-нибудь» показать свои академические работы...

Помнить одно, главное. Мыльников – Мыльниковым, а мое «я» – художественное и ученическое – должен быть я сам...

Сейчас научиться рисовать. О контурах. Они – все, прав Делакура.

18 апреля

Утром СХШ. Рисовал и писал, стараясь что-то сделать... Думал о Репине, о непосредственности и о Веласкесе.

Вечером делал композицию – писал немцев с Виктора. При переделке своего немца с движением Виктора почувствовал вдруг радость, прилив сил – попал, попал! Мазал до 9 часов, не обращая внимания на весенние стоны птицы и натурщицы Гали.

Вечер. Пуссен в Академии. Дивный ритм и законченность. Подумать об этом. «Публичка». Гете. «Поэзия и правда». Мне, очевидно, сейчас нужно читать. Или это всегда нужно. Такой покой, такая доброжелательность, такая ясность с образами. У него так непохожа жизнь. Грубо думал: вот его бы в наше время с борьбой за кусок хлеба, в трамвай бы его. «Людам свойственно забывать добро». Но в то же время всего заполняет покой и тихая радость, что я живу.

19 апреля – четверг

Утром СХШ. Писал, ища страсти и забвения, как праздника. Что-то вышло... 8 часов. Дочь Шаляпина (Дом писателей, по протекции Зои Ал. Никитиной).

Слезы иногда вскипали, а сердце щипало. Вот они выразители всего народа – Суриков, Репин, Шаляпин, Горький. Картины Волги сменяли одна другую... А Шаляпина трогательно закончила речь о

Волге. В ее каюте грузчик заметил фото «знакомого артиста»... Собравшиеся грузчики просили «написать отцу поклон от казанских грузчиков», которые помнят и любят Шаляпина.

4 мая

...Да, да, доброжелательность... но быть художником-мыслителем. Среди шума знать свое и собирать его. Не трястись по-детски из-за слоновьей мухи. Разум. Не уставать...

Страсть в искусстве слепа без точки приложения И умения – ремесла...

6 мая

...Опять боль, боль. Одиночество. Безделье. Что я сделал? Что сделаю? Мне грустно и тревожно. Выход из этого – развивать душу, закалять ее знанием. Думаю о том, что познание дает силу и волю. Очень плохо, что у меня и в самом деле есть балованность ребенка – хотеть, что нельзя, «запретную игрушку». Боль, боль и мысль: я человек, как Бетховен, и много могу...

7 мая

СХШ. Заметил, что настал перелом... Смотрел картины галереи в библиотеке Академии художеств. Точность отношений пятен с контуром – вот принцип красоты и правды... Смотрел дивного Рембрандта – прекрасно полное выражение сущности человека. Тянет к многим автопортретам.

Нет ничего увлекательнее написания лица с соответствующей мыслью... Изображать объективно, как есть, Суриков велик, как Рембрандт, тем, что они делали, как есть.

Дело показать – а что в этом – интеллект художника. «Вот ты стремишься нравиться, ты потерпишь крушение». Эпиктет. Думать об этом.

14 мая

Скованность от Ани из Варшавы проходит. Работаю с увлечением. Приходят мысли о полезности работы к сроку, на заказ – выкладываешь все и делаешь это быстро, с подъемом, со страстью.

Мысли о себе и людях. Я во многом завишу от людских мнений. Шаткость. Бороться с этим. Был у коллекционера с животом, как куб, всунутым в чулок. Борода. Русское радушие. Недопонимание искусства. Картины пятипроцентного достоинства, но очень мило. Дочь с собаками и книгами – «Питательная еда», «Рукоделие», «Интегралы» и т. п. Потом смотрел Головина. Пришел Оленев (папа Музы О.) – в духе старого Арлекина, который мало смеется, но от старого смеха сеть мудрых горьких морщинок вокруг глаз...

Ругали Мыльников – он-де под влиянием Брэговина (первый раз слышу – смотрел и ничего, интересно).

Я увлечен композицией. Компоновать!!!

Пишу с усталой головой. Безумно устаю. Решил делать все по порядку и последовательно. Прочесть «Этику» Спинозы. Думать и думать. О задуманности работ и выдержанности. Все делай сам – ни на кого не рассчитывать, и не ждать, и не обижаться: «яблоня дает яблоки, смоковница – финики».

31 мая

...Тревога и смятение уходят прочь, если их волей влить в искусство. Рисую микеланджеловского раба. Портреты... Понял что-то цельное – пишу лучше и хорошо. Компоную... Ближе к жизни, имея компас – свое мнение о жизни – из себя, из подсознательной жизни. Ни на минуту не переставать думать об искусстве – моем счастье и жизни. Теперь, когда я вкладываю что-то свое и иногда намеком выражаю это в картине, – приходят счастье и сила.

5 июня

...Главное – мое искусство... Я не занимался, прежним усердием (весь день). Но успехи явные. С каждым портретом я иду дальше. Как и в этюдах, – я что-то понял и иду, уверенно схватывая общее.

Мыльников. Хлопки по плечу и вечная занятость. Портреты хвалит. Каждый раз говорит «шаг вперед». Я думаю о композиции. Очень хочу делать по-настоящему.

Вынашивать вещи в голове. Не надейся на других, а на свою силу.

6 июля

...Читал сегодня старых мастеров об искусстве. Понял, что должен упорно и просто учиться: рисовать, писать – старательно, в поту... И думаю, мне нужно посвятить себя тому, что всегда ощущал главным – композиции.

Копировал классиков. Рафаэль. Немного понял конструкцию стоячей фигуры. Нужно идти дальше.

7 июля

Держу экзамены в Академию. Народу – тьма. – Большинство левых – бездарь, но я уверен, что я почти также. Сказали, что у меня лучше всех. Я не стал допытываться – в шутку или нет, но повеселел... Копирую в музей, это очень нужно.



Уже 1952 год. Быстро летит время...

«Зуб»^[67] говорит: писать дневник нельзя в зрелом возрасте. Это она думает потому, что нельзя вскрыть всех противоречий – или же принято вскрывать.

Я хочу быть правдивым. Сейчас странное состояние. Мне 21 год. К этому времени люди меняются – узел жизни, как я читал, 7, 14 и т. п.

Женщины. Раскрытие души. Женщина опустила меня на обычную, реальную, «будничную» почву.

Моя жизнь удивительна от сознания своей свободы от всего. О, юность! Прочел сегодня милые записи 1948-49 гг. М. Войцеховский. Я его видел сегодня. Больной, безумный шизофреник. Больно бьет жизнь. Для меня пафос – покорять людей, чтобы я мог их любить. Живу в общежитии. Кругом простые люди. Жизнь, как у всех, или это опускание? Молюсь на свое внутреннее чистилище. В мечтах шевелятся замыслы больших картин. Уверенность, несмотря на свою неуверенность. Может быть, это дала сейчас моя «Ноа-Ноа»^[68] с ее поющим роялем? Свою неуверенность я отдаю ей, в ее горячие и ласковые глаза артистки.

...Сейчас искусство и жизнь слились в одно. Надолго ли? На неделю? На день? Реализм! Реализм! Пятно, гармония пятен – плоскостей. Я так нечутко к красоте в музыке.

Покоряет только сила. Вчера – Скрябин. «Поэма экстаза». Мечтаю быть человеком, мастером. Мне не хватает гигаитских сдвигов в работе. Я должен продумать свой путь в Академии. Ничего даром! Сегодня поют птицы – радостно в душе. Видел в Русском музее мальчика – подошел ко мне (СХШ – 18 лет). В том же состоянии разлива души, становления и неуверенности. «Спасибо вам за помощь, другие не говорят так с нами».

Я – старший товарищ... Я люблю чудо жизни, когда вижу где-нибудь море, облака над шумящими полями.

Иду сегодня вечером на концерт. Там будут люди. Они не знают меня. Я буду смотреть на них и разгадывать. Жизнь хороша! Она так хороша и противоречива, что должна сделать меня художником.

Копия в Эрмитаже с Веронезе. Думать и не терять головы.

12 января 1952 г.

Думать о том, что должно говорить твое искусство, и рисовать надо много, щеночек ничтожный! Я столько отдал искусству, что, может быть оно и улыбается мне? Искусство! Это правда жизни, прежде всего. Думаю о людях в картинах и небе над ними...

16 марта 1952 г.

...Еще очень важное – стараться сдерживать себя в проявлении гнева, неудовольствия, ревности – вообще; а главное – в тех случаях, когда сердиться нарочно, т. е. так, зная, что она или он любит тебя. Ссора в мелочи – пролог к большим душевным распрям.

Не зазнавайся, подлец. Пока не напишешь картины зазнаваться нечего... Компонуй больше, мальчик. Сегодня праздник на душе. Он часто теперь. Почему? Не знаю. Помни, если ты захочешь обмануть искусство, оно тоже не простит. Знай это. Строй красивые отношения с людьми, чтобы они помогали искусству!

16 января 1953 г.

Как трудно выразить мысль! Выразить в форме музыкальное ощущение... Смотрел «Историю искусств». Увидел Тициана, Веронезе и Тинторетто. Подумал о том, что Тинторетто более глубок, чем его современник Веронезе. Что это значит – быть глубже. Это значит находить противоречия. Вот один тип художника. Это художник-философ, мыслитель.

Что значит зримо показать противоречие? Дать кусок жизни и... – через жизненную правду.

Боярыня Морозова. Меньшиков. Развитие – всегда борьба противоречий, из которых что-то побеждает, а что-то должно сдаться. В некоторые периоды противоречия доходят до разительного болезненного контраста.

Синтез: гармоническое сочетание, и, может быть, я не прав, думая о том, что Тициан, Рафаэль – не глубокие художники. Может быть, от них веет покоем и величием синтеза, в отличие от Микеланджело.

Может быть, мне нравятся не приведенные к синтезу противоречия?

...Рембрандт умел заметить и дать миру этот контраст противоречий, а, например, Маяковский отразил только цвет матрешек (мой пример, что развитие – это ряд матрешек, вставленных одна в другую, и так до бесконечности). Каждая матрешка состоит, сделана из борьбы противоречий и имеет свою внешнюю окраску, форму (хотя бы выражающуюся в имени – феодализм, капитализм, первобытный строй,

социализм и т. д.). Так вот, Маяковский изображал только окраску «краской матрешки», – не изображая противоречий, свойственных ей, т. е. из которых она соткана.

Рембрандт же изображал противоречия в окраске, свойственной именно этим противоречиям, этой матрешке...

А есть художники, которые, как индусы за покровом «Майи», видят, ощущают огромную, вечно неподвижную Вселенскую душу... Вглядевшись в движущуюся полосу – «Майю», видишь неподвижный квадрат окна – Вселенскую душу иначе Вечность, с которой, как верю я, и сливается душа во время экстаза.

Это и есть ощущение матери, чувство скрытого противоречия.

Настроение. Много у Левитана. Коро – из пейзажистов. Вообще у пейзажистов. У нас Мыльников, Ге. «Старикам» позволено угадывать в женщине Мадонну, святых. «Благовещение» – через простую иногда женщину... Святой тот кто отдает себя идее служения людям.

Леонардо в «Тайной вечере» красивый изобразитель, а Ге более работает на ощущении. «Иуда» – дорога, темнота и вдаль уводят с факелами Христа.

Это одна сторона, и именно она меня всегда волновала с детства. Эль Греко, Нестеров, Пюльвис де Шаванн, «Лаокоон», Эль Греко!

И все это лежит на изучении внешнего материального, окружающего нас мира.

«Помни, что ты нужен народу, и береги себя во имя народа» – Е. Мальцев. Но что я должен, что нужно народу? Чтоб он знал о своем подвиге и о роли. И о фанатичных чертах народа, и о доброте и незлобности России.

Я мало знаю Россию, заменяя это «хождением в народ». Помню, мужики подошли, сзади встали и говорят: «А ты зачем это делаешь?» – «А вот напишу здесь вид, а потом где-нибудь на море. Люди посмотрят, какие места...» (Глупо сказал, но было 19 лет и что мог сказать?) – «Ты бы лучше нам, е... твою мать, путевку на море дал». Логично.

Что я должен говорить искусством, кому и зачем? Первая мысль – я вторгаюсь в жизнь. В Греции рисовали божество и советовали молодым людям (может быть, это был Полигнот?) смотреть на живопись для совершенствования души...

Все это должно быть... но пока, в Академии, что я должен делать? Рисовать, т. е. уметь взять пропорцию, сделать форму. И главное – правду отношений в живописи. Знать человека, вот это главное...

...Надо всегда задумать работу. Задумать – значит знать основные соотношения и отношения. Стараться как можно приближеннее к натуре. Я же могу писать! Могу и чувствую это! Надо любовнее и тоньше...

Начать копию в Эрмитаже.

...Сегодня А. П. Кузнецов говорит: «Ты хочешь втолкнуть литературное содержание в живопись? Это бы все звучало на бумаге, а живопись не то».

Изображение предмета как такового меня не влечет, ибо я не вижу в этом смысла или красоты. Мне нужно содержание, чтобы я мог уложить силы на предмет.

...И еще. Художники, воссоздающие жизненные явления... примыкают к логике и жизненным правдам. Они постигли тип и дают его. Шаляпин в музыке. Суриков. Отчасти Рембрандт. Репин и Иванов. Веласкес. Они не создают, а воссоздавали Христа, «стариков», то они его творили, как греки – Аполлона, богов.

О важности идей... Я ищу тип пророка, лжеца, убийцы, рабочего. Все происходит от идей, без которых не видишь фактов. Леонардо искал тип Иуды и Христа. Долго думал. Мы часто изображаем – и все, не понимая, что за идеи в этом лице. Веласкес часто умел это увидеть – Иннокентий X, Оливарес, Филипп.

И надо:

- а) проникновение и любовь к внешней оболочке (форме),
- б) выражение через красоту внешней оболочки (формы).

* * *

...Будь очень преданным живописи, ни о чем не думай. Будь трудолюбив, скромн и тверд. Я получаю громадное наслаждение от учения. Может быть, еще больше получу от копий старых мастеров.

История России. Искусство и общество.

* * *

Умер Сталин. Над народом мгла и почему-то солнце. На траурном митинге в Академии многие плакали. Плакал Выржик: «Что теперь с нами будет?» Я и Мальцев, разумеется, не плакали. Нервозность и паника.

* * *

Приехал из Москвы с похорон И. В. Сталина. Лежу и долго думаю. Все свои впечатления хочу выразить на бумаге...

18 августа 1953 г.

Прошло время. Был на практике. Волга. Марийцы, чуваша. Композиция «В столовой». Этюды с более музыкальным чувством цвета. Это хорошо...

Все мои работы в юности сделаны волей через «не могу» – работал все время с утра до вечера так долго, что не было того, что делает пророком художника:

– Молчит его святая лира,
Душа вкушает сладкий сон,
И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но чуть божественный глагол
Слуха чуткого коснется...

и т. д.

Я все время хотел слушать этот божественный голос, он звучит иногда в определенные периоды, а я шел, если можно так сказать, на эхо этого голоса. Шел, чтобы двигаться к чему-то; под ногами хрустели ветки жизни, цеплялись за ноги огромные щупальца страсти, и за этим треском, гонимый страстью и эгоистическими поступками, я не слышал голоса Бога, который вложил бы мне в грудь «божественный глагол». И я озираясь и слушал шум тишины... И горько думал... И страсть удовольствия сдавливала меня, и не хотелось мириться, я ждал Ее – мою Подругу. А Ее нет, и я устал ждать...

И неужели вся жизнь такова? Я ищу кочки, на которые можно опереться. Жизнь меня шлифует, и я приобретаю... что-то житейское, будничное.

Работаю в копийном цехе, начал сегодня. Там тоже люди, они живут и имеют свою «копийстическую» психологию». Один из них шел за мной до общежития, где меня ждала Эва, и долго говорил о пристрастности комиссии и о манерах халтурить и как это важно для художника. Я кивал и чувствовал себя рядом с гойевским офортом.

Показались смешными и незначительными мои огорчения в связи с нашей академической братией. Важно проявление человеческого духа, силы, творчества.

Но где люди, которые могут поддержать мой дух, когда я слаб, занят мелкой страстью и препровождением времени? Книжки? Они мертвые. Где люди? Мой Миша, дорогой друг, как я бы теперь славил жизнь, будь ты со мной!... Бетховен, Микеланджело – я так его начинаю ценить теперь! Эти гиганты, эти стихии человеческого духа. И нет у меня тем, кроме «Песни о подвиге», где мог бы зацепить и понять что-то большое, как у «Блудного сына» Рембрандта.

Делаю: «Столовая», «Рождение тельца»... Где дух? Где человек? Где влияние на душу человека? Где сам источник силы и Высоты?

Выдумывать каких-то гигантов? Чтобы набатом гудело творчество. А сил понять это, разума – нет. Важно понять время, а оно так сложно.

Лиля хорошо сказала в Москве: «Чем сильнее отношение художника к действительности, тем сильнее искусство».

Нас воротит от всех «опять двойка», «На побывке» и т. п. А действительность влечет... Угадать, к чему, к какому идеалу зовет история, народ. И, угадывая время, делать открытия, которые бы завтра подтверждались жизнью.

А сегодня – «сегодняшнее окаменевшее г...» перед глазами – и что сквозь него увидишь? А надо видеть. Уметь хотя бы поставить вопросы, волнующие общество...

Будь тверд и спокоен. Деньги ты сумеешь добыть, хоть и дорогой ценой. Будь тверд и думай больше, думай, ты много можешь...

Пошли мне судьба, друга, который был бы лучше меня, я бы молился на него. И хотел бы быть с ним всю жизнь. Если это будет женщина – большего счастья не будет для меня!...

Пиши обо всем откровенно!

...У тебя не должно быть иллюзий, – а Разум и Воля. Интересно, у Маленкова есть дочь, и Ариадна говорит, что ее зовут Воля, она с ней училась в школе. Красиво. Я тоже назову так. Будь тверд, умен и настойчив и не бойся обходиться с людьми, как они того заслуживают. А главное – не корчи из себя что-то особенное. Ты тщеславен, эгоистичен и хитер, хоть это и проходит. Больше внутренней жизни! Живи для Души и для Добра. Думай об этом постоянно!...

* * *

Давно не писал. Сегодня 1 декабря 1953 года. Сейчас в 1 час ночи уехала Надя Д. Как тяжело женщине, влюбленной до беспамятства, когда каждая поза принадлежит тебе и она на все согласна... «Хочешь, Я останусь у тебя навсегда?» Я: «Это невозможно»...

Господи! Как ужасно женщине, любящей нас и нам ненужной! Я буду работать теперь.

Уже декабрь, а ничего нет. Усталость. Делание пейзажей, не нужных никому, кроме денег. Вот молодец В. Холуев – я завидую его целеустремленности – никаких женщин. А что у меня? Желание взять женщину, чтобы она, замирая от любви, сказала: «Ты для меня все, Бог, Повелитель»... Стыдись! Где человеческое чувство? Какое гнусное, пустое самолюбие, сексуальное отношение к жизни! Искусство! Когда я спал по вечерам, не ездил никуда, не предавался мелкой страсти, а работал, – все было хорошо, как никогда.

Теперь надо работать. Женщины, от вас пустота и боль. Душа обрастает вашими безделушками, как ракушками днище корабля...

2 декабря

Приехал от Оли Колоколовой. Пустозвонил опять о себе под видом каяния и рассказов о своих женских делах, возвеличивая всячески себя. Самолюбование. В результате – сейчас 1 час ночи. Душа снова пуста. Звонил М. Войцеховский. Он, как всегда по-старому, светел, умен и по-трауготовски верит в победу и расцвет «измов».

Что делать завтра: лекция по истории искусств; читать, как сегодня, дневник Толстого; поработать над копией Рафаэля; рисунок; вечером – поехать на концерт.

3 декабря

Что писал вчера – сегодня исполнил. Кроме дневника Толстого. Завтра. Утро – семинар. Рафаэль – копировать всю правую часть. Вплоть до Аристотеля. Потом посмотреть дневник Толстого. С 3 до 7 рисунок. В 8 – сборище «поэтов» МГУ. Вечером – пейзаж.

Не забывать взять холст из А. Х. Читать Ключевского на ночь. Сердце болит за все.

Надя сегодня утром стучит в окно. Когда продрал глаза, завел 7 прелюд Скрябина. Красиво. Он как жемчуг в волны ручья бросает...

* * *

...Гложет сердце Ада. (Это у меня всю жизнь кто-то должен глотать сердце.) Больно, одиноко. Не пойду к ней, хоть убей. У нее такой тип, которого она не целует, но он ее целует. Чувствую, если она откажется от него – радость, и вместе с тем, что-то обовьется вокруг меня, а если нет – цинизм, пустота...

...Если она колеблется, то это плохо – мне надо ломать в себе что-то чистое к ней... Ее фото смотрит на меня прекрасными черными глазами.

Будь тверд, будет много еще всего. Не боли, сердце: все проходит, а она придет...

2 марта 1954 г.

Ада, Ада! И только она! Пишу и рисую лучше, чем когда-либо. Удивительно, сколько дает любовь – сознание силы жизни. Можно писать много-много.

Самое ужасное – квартирный вопрос. Лицевой счет, скандал (неизвестно из-за чего)... Какая мелочность, – хоть плачь, рыдай и рви волосы. Или это верно – я неудобоварим в общежитии? Ужасно. Черт, неужели Микеланджело жил так же и был такой же слабый как я? Прямо смешно.

Хочу писать, любить и быть безумно любимым... Порисую, лягу спать.

Будь тверд, Иди на смерть из-за своих убеждений, но не обижай людей.

Господи, зачем мы друг друга мучаем!

20 апреля

Лежу в постели. Это время проходит так плохо... Самые мои светлые годы – это Луга и Волга. Я был одинок, любил слушать музыку неба, тишины. Так хочу сделать что-то, а то живешь для шума, суеты...

7 октября

Приехал с Украины. Леонардо: «Пропорция – это внутренняя необходимость предметов». Возрождение – момент, когда рушилось старое. Пикоделла Мирандола. О достоинстве человека: «Бог создал человека, чтобы он познал законы вселенной, научился любить ее красоту, дивился ее величию... Тебе дана возможность пасть до степени животного, но также и возможность подняться до степени существа богоподобного – исключительно благодаря внутренней силе.

О, дивное назначение человека, кому дано достичь, к чему он стремится и быть тем, чем он хочет...»

Титанические прорывы – Микеланджело. Отсюда монументальность образа.

17 декабря

Болею. Делаю нечто вроде цикла «Любовь городская»... Но я еще в таком состоянии, что живу в будущем – вот я созрею, я сделаю... Больше плана, последовательности и напряжения!

У меня есть светлое эхо. Нина, милый, чистый барашек – облачко небесное, несущее в себе зародыш и грозного обвала, и чистоты! Рафаэлевой. Пусть эта страсть будет спокойной, нежной, чистой, как и она сама.

* * *

Прерываю выдержки из записей моего дневника тех далеких студенческих лет, чтобы познакомить моего читателя с главой «Поиски», где хочу рассказать, как мы, борясь – каждый по-своему – ложью партийной доктрины, тянулись к правде отражения окружающей нас жизни.

Хочу рассказать, как, будучи закатанными под непробиваемый асфальт предложенных условий жизни и творчества, некоторые из нас стремились прорасти сквозь него, а другие, приспособляясь к нему, очевидно, считали, что свобода – это осознанная необходимость, как учили нас на лекциях по марксизму-ленинизму.

Теперь, как и в юности, знаю: не бытие определяет наше сознание, а наоборот – сознание определяет бытие человека. Бытие – это то, что «надо преодолеть»! Свобода – неосознанная необходимость! Мы свободны лишь в подвиге выбора: служить Богу или сатане. Существует на земле лишь свобода «от» и свобода «для». Как давно ушла от нас мгlistая обнаженность безутешной веры юности, а как будто это было вчера! Но именно тогда – в те, словно приснившиеся мне годы каждый из нас делал решающий выбор: вступать добровольно на путь Голгофы служения или осознавать, как умирает в приспособлении к «осознанной необходимости» твоя душа, лишенная пламени служения осознанного долга, неистовости и ярости победы, счастья и горечи подвига! Умирает, не узнав также смысла жизни и не поняв многовековых глубин самосознания и души своего народа, стремящегося к Богу...

«Царство Мое не от мира сего». «Царство Божие внутри вас есть». Вера в Бога не может быть подменена обрядом, но без обряда нет пути к Богу. Надо жить, слушая голос совести, отражение правды Божией в нашем сердце. Совесть – это не химера, а реальность, которую можно убить, но освободить от нее человека никто не может. Заглушить и искалечить голос совести не может даже подлое, сатанинское безбожие XX века. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Кто же твой ближний, читатель?

ПОИСКИ

Было время надежды и веры большой...

Александр Блок

Истинный художник-тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости.

Михаил Нестеров

...Вокруг шумела жизнь, звенели каплей синие весны. Мы любили, страдали; проводили бессонные ночи в спорах, жадно проглатывали книги, много ездили по стране, делая для себя захватывающие дух открытия, которые потрясали нас всей противоречивой сложностью человеческого бытия и наглядно убеждали в справедливости слов Достоевского – нет ничего фантастичнее реальности. Жизнь опровергала то, чему нас учили на лекциях по диалектическому материализму. Жизнь не отражалась в большинстве картин наших художников.

Как это время отражалось в моей душе?

В Академии все было по-прежнему. Шли 50-е годы. Первокурсники рисовали гипсы, старшекурсники – обнаженную модель, дипломники компоновали композиции в соответствии с выбранной темой. Предполагалось, что у художника не всегда хватает собственной фантазии и творческих замыслов, и потому дипломникам и даже студентам давали «темник», который предназначался главным образом для больших союзных выставок. Этот «темник», по мнению нашего начальства, мог оказать и оказывал неоценимую услугу как в выборе сюжета, так и в его разработке. «Темник» охватывал самые разные

стороны жизни нашей страны, где были и такие, например, темы, как «Прибавил в весе». Имелся в виду человек, вернувшийся из санатория, который после отдыха, взвесившись на медицинских весах, обнаружил, что он прибавил в весе к великой радости окружающих.

Всякая ложь должна быть правдоподобной. Как известно, Чернышевский, о чем я уже говорил, считал, что прекрасное есть жизнь. Слепок жизни – это фотография. Итак: реализм фотонатуралистический, а содержание социалистическое.

В библиотеке студентам стали давать монографии Ренуара, Дега и Моне. В Эрмитаже говорили о новой расширенной экспозиции искусства нового времени; в Русском музее вывесили Врубеля и Коровина; говорили, что выйдет скоро полное собрание сочинений Достоевского... И вот, наконец, в Эрмитаже открылась выставка Пикассо, монографии с репродукциями которого до этого времени считались чуть ли не подпольной литературой. И вот сейчас Пикассо показался многим «голым королем», скрывающим свою несостоятельность за холодными ребусами выдумок, выдаваемых за свободу индивидуальности. Яростная жажда разрушения духовных и эстетических ценностей, – с которой Пикассо выступил в начале века, произвела впечатление на некоторую часть его современников, склонных видеть в нем зачинателя нового направления. Лично мне всегда казалось, что разрушение не может служить основой искусства, так как искусство есть созидание. Поэтому Пикассо не новое слово в культуре, а разрушение старого. Мне нравится у Пикассо его так называемый «голубой период», а особенно лучшая вещь этого периода «Странствующие акробаты», проникнутая большой гуманностью и грустью. Люди, как две больные птицы, прижавшись друг к другу, смотрят с невыразимым чувством тоски и опустошенного одиночества. В западном искусстве XX века это, может быть, одна из самых сильных вещей.

Но та выставка в Эрмитаже не показала нам ничего, кроме свободы выдумки и пустого трюкачества. А ведь мы ждали новых пророческих слов, могущих помочь нам найти ответы на мучившие вопросы современности!

Некоторые, исполненные естественного чувства протеста, приветствовали выставку Пикассо, видя в ней вызов искусству периода «культы личности». Уходя с третьего этажа Эрмитажа; спускаясь вниз по скрипучей лестнице, к сентиментальному Грезу и изысканно-грустным пасторальям Ватто, я думал, что искусство распада, уйдя от человека, от его внутреннего мира, творчески воплощаемого в конкретных формах объективно существующей вокруг нас реальности, завело многих современных художников в тупик и открыло дорогу фальсификаторам несостоявшейся индивидуальности. Думалось о курсе на понижение духовных ценностей в современной культуре XX века, когда художественный мыслеобраз в живописи заменяется произволом случайных пятен или раскрашенной фотографией, мелодия вытесняется ритмом или «конкретной» музыкой и т. д.

Некоторые мои старшие товарищи очень быстро и энергично овладели формой, становясь, как у нас говорили, «мастерюгами». К ним принадлежали в первую очередь те, путеводной звездой которых были старые мастера. Используя музыкальный строй классической композиции, «мастерюги» подчас насиловали ее в угоду современной теме. Впечатление получалось такое же, как от певца, который, не зная языка, имитирует его созвучия. Формальное правдоподобие таких картин более всего напоминало финал оперы или «немую сцену», где все персонажи замерли в мертвых патетических позах, являясь, по сути, карикатурами на живую жизнь.

Но все же эти картины выгодно отличались от огромных, словно любительских фотографий, исполненных на холсте масляными красками. Если б это была действительно художественная фотография с живой, трепетной реальной фиксацией неповторимой красоты, непридуманной случайности, всего, что делает фотографию одним из художественных явлений XX века! Глядя же на эти картины, казалось, что художник, припудрив и прихорошив натурщиков, делал с них снимок, а потом переносил это на холст, композиция складывалась почти всегда из ранее известных «социальных» компонентов, где обязательными были старый рабочий с моржеподобными усами, который сквозь сползшие на нос очки ласково, лукаво, но взыскующе смотрит на молодых специалистов, чаще всего горящих энтузиазмом ремесленников, одетых в чистенькие новые синие формы. Тот же дед, но в одежде, приспособленной к условиям сельской местности, балагурил с норовящими пуститься в пляс розовощекиими девками. Некоторые из них, разодетые в невиданные национальные костюмы, радовались на других картинах по поводу получения заслуженной награды. Те же девчата торжественно и величественно, как на параде, шли на покос или, исступленно хохоча, грузили весьма тяжелые мешки с зерном или невиданно огромные кочаны капусты. Но, конечно, наряду с триумфами и праздниками в колхозе была тема лирического отдыха, когда в крепдешиновых платьях и кокетливых платочках те же девушки, поддавшиеся чарам встающего над стогами и силосной башней месяца, задумчиво грустили, очевидно, по поводу того, что лихой гармонист с медалью вот-вот уедет в институт...

Шли месяцы, на наших выставках уже не было огромных массовок парадного ликования. Уже было провозглашено, что нам нужны Салтыковы-Щедрины и Гоголи. От искусства потребовали «конфликта». Как же понимался этот конфликт? На деле это был обывательский, мещанский конфликт, ограниченный

рамками жэка: сорванец мальчишка, разбивший стекло, не выучивший урок школьник и т. п. На выставках появились: «Таня, не моргай», «Родное дитя на периферию», «Разоблачили бракодела», «На школьном вечере» и другие. Мелкое зубоскальство подменяло подлинный драматизм.

И все-таки я хочу еще раз сказать о величайшем положительном значении Академии как школы, противопоставившей наследие системы Чистякова – с его высоким пониманием трудного пути освоения и передачи на холсте природы, с его постижением законов формы объективного мира, воплощением в композиции творческого замысла – нигилистической разнузданности 20-х и 30-х годов. Именно тогда античными статуями мостили дворы и разрезали на этюды студентам гениальное панно Рериха «Битва при Керженце», а натурщику платили не за то, что он позировал ученикам, а за то, что он ритмично двигал качели со стоящими на них натюрмортами. Ученики, не умеющие нарисовать простого горшка, должны были написать композицию «Ритм движения».

Чистяков с его твердой системой познания природы, как известно, считал, что познание лишь необходимый фундамент, без которого не может развиваться в искусстве неповторимая индивидуальность художника. Неслучайно его учениками были люди, определившие лицо русского искусства на рубеже XIX-XX веков, – Суриков, Серов, Врубель, Васнецов... Они навсегда сохранили любовь к своему великому учителю, давшему им ключ к тайнам профессионального мастерства, без которого невозможно индивидуальное самовыражение любого художника. Великой школой рисунка отмечен также и наш XVIII век.

Конечно, в послевоенной Академии, при всех ее положительных сторонах, бытовали и некоторые недостатки, присущие старой Академии, против которой бунтовали еще передвижники. Она, безусловно, давала прекрасную школу, однако несколько стесняла рамки творчества художников, предлагая изображать преимущественно мир мифологических героев, не имеющий ничего общего с окружающей русской жизнью. Отчего, как я выше говорил, и произошел знаменитый «бунт четырнадцати» во главе с Крамским. Послевоенная Академия в известной мере тоже культивировала штампы, сглаживающие шероховатости жизни, весьма облегченно трактуя конфликты и противоречия... То была ложь о жизни социальных манекенов, «строителей светлого будущего».

Академия считала своим долгом «поправлять» натуру, саму жизнь, идеализируя ее, игнорируя ту трудную, суровую жизненную правду, которая бурлящим потоком врывается в цитадель Академии и обступала нас, как только мы покидали ее стены. Я мучительно чувствовал всю пропасть, которая разделяла эти два мира – придуманного «типического» и «нетипически» реального, вставшего огромным вопросом. Ответа я тогда не мог найти. Жизнь неслась грохочущим экспрессом, а я, словно связанный, безъязыкий и оглушенный стуком колес, чувствовал всю ненужность своего труда и бесплодную горячку поисков. Ну, попробуй уразуметь, что означает догмат: «Национальное по форме, социалистическое по содержанию»?.

В перерывах между лекциями, в столовой, в общежитии у нас постоянно велись споры о последних событиях в жизни и искусстве. Из разговоров, от посещения выставок у меня складывалось впечатление, что в нашей художественной жизни наметились вполне определенные тенденции. Вспоминаются четыре спора, раскрывающие настроения и мысли моих товарищей по Академии в те уже далекие 50-е...

Один мой товарищ по Академии, который готовился в аспирантуру и всегда ходил в выцветшей военной гимнастерке (хотя сам непосредственно в боях и не участвовал), сказал мне однажды:

– Да брось ты свою заушь. Пиши этюды, выбери хорошую тему в предложенном списке, покажи выставкому, может, проскочишь на молодежную выставку. По-моему, все ясно: написал картину – и жми дальше, вкалывай! Жизнь сама по себе так богата! Думать не о чем – поезжай в колхоз, на предприятие, на лесозаготовки, всюду жизнь кипит, в ней столько революционных преобразований! Отрази эту жизнь – вот тебе и будет тема. Жизнь – вот наша тема. Машина по асфальту проехала, дворник метет улицу – вот уже жизнь. Умей ее видеть, а видеть это не просто. Мудро сказал товарищ Маленков: типическое – это не среднеарифметическое, а то, что должно быть. Например, поедешь ты в колхоз, увидишь лошадь – правильно, не всюду у нас есть еще трактора! Но... они будут всюду, и потому ты, как художник, должен увидеть трактор, а не лошадь. Раньше, конечно, легче было: прочел темник, выбрал неизбежную тему, решил по-своему – и порядок! Сейчас, сам знаешь, темников нет, самому извилиной шевелить надо – новое время наступило. Вот я видел твои работы, которые ты с Волги привез, не нашел ты типического, не теми глазами смотрел.

– Я делал, как видел в жизни, не думая – типическое или нет.

– Вот это и плохо, надо выбирать из действительности, не все же подряд писать! – сказал он снисходительно. – Надо видеть то, что будет, а не то, что есть.

Другой посоветовал мне писать о народе и для народа. Крепкий, нарочито простоватый, он сам казался мне одним из персонажей картин, посвященных лесозаготовкам.

– Не будь гнилым интеллигентом, будь ближе к народу, как Суриков, Репин, в народе вся сила, народ ведь все понимает.

Я был совершенно согласен с ним, но тотчас же мне пришла в голову мысль: ведь, например, Врубель, Кустодиев, Рерих или Коровин не писали бурлаков и косарей, но были глубоко народными художниками. И разве они менее нужны людям, чем Репин или Суриков? И разве не являются они сами плоть от плоти народа, выразителями его духовного самосознания?

– Кого ты подразумеваешь под понятием «народ»? – спросил я.

Он задумался.

– Ну, уж конечно, менее всего интеллигентов.

– Но разве Пушкин, Достоевский, Блок, Врубель Мусоргский, Бунин – не народ?

После некоторого колебания он растерянно сказал:

– Да, конечно, тоже народ...

Я порою замечал, что иногда люди, постоянно упоминающие о своем рабоче-крестьянском происхождении, очень далеки от жизни, интересов и нужд тех самых «работяг», на кровную связь с которыми постоянно ссылаются. Более того, мне довелось видеть, как именно такие, «кость от кости», смущенно прятали от столичных гостей своих родителей, приехавших из деревни или далекой провинции. В их постоянном «народ», «для народа» сквозило порой глубоко запрятанное сознание своего превосходства над этим самым народом. В своих картинах, говоря с народом, такой художник как бы «сниходил», опускался на несколько ступеней ниже, чтобы быть «понятнее и ближе» народу. И не замечал при этом со своего мнимого пьедестала, в что в действительности народ гораздо глубже и духовно выше этой оторвавшейся от него «кости».

С горечью и сожалением приходилось и приходится видеть таких деятелей культуры, которые заявляют, что они сами – народ, но давно утратили всякую связь с жизнью народа, не желая на деле так постичь его насущные задачи, его реальную жизнь и устремления. Их понимание русской народности сводится к смакованию и выпячиванию случайных, нарочито огрубленных, низменных сторон внешнего облика и внутреннего характера народа. По их мнению, особенности характера русского народа таковы: пить не закусывая, купаться на сорокаградусном морозе, матершинничать и все в таком духе. Для русских якобы характерно отсутствие мысли, которую заменяет зубоскальский задор во время ударной работы. А ведь, по сути, все это клевета на русский народ, незнание, неуважение и непонимание внутренней его духовной культуры, воспитанной веками, как это было характерно для искусства той поры.

Такие деятели культуры, чтобы подчеркнуть свой демократизм. «глубокое» знание народа, любят в обиходе пустить в ход крепкое словцо, нарочитую грубость. Но с таким видом, что, дескать, я-то сам человек культурный, слушаю Баха, Бетховена, знаю Рафаэля, а вот вы другое, вы примитивны, вот я для вас и делаю примитивное искусство, снисходительно опускаюсь до вашего уровня, чтобы вы меня лучше поняли. Это касается, к сожалению, не только некоторых художников, но и писателей, поэтов, музыкантов, создающих для народа массовые песни вроде: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка...»

Если же говорить о внешних признаках некоторых «соцреалистических» картин, то ноги у женщин напоминают неотесанные сваи, а слоновья сила, комплекция, вероятно, символизирует крепость физической организации. Непонятно, откуда только берут свои прототипы подобные художники? Для мужского типажа у таких живописцев – набор красных рож, неказистость и примитивная недалекость облика, сочетаемая с грубой физической силой. Позже эта тенденция обрела статус новаторского «мужественного стиля».

Если уж говорить о народности, то вернемся вновь к Пушкину. Вот уж кто никогда не заявлял о том, что он «сам – народ», но был по-настоящему, в полном и высоком смысле слова народен, любил все, что дорого народу, любил все созданное им – его песни, былины, предания, постигал дух народа, историческую жизнь его. Пушкин любил природу русскую до страсти, любил деревню русскую, любил русские национальные характеры, любил народ свой таким, каким он был, со всеми его положительными и отрицательными свойствами, любил в его непосредственной данности и реальности жизни. И нигде, никогда не почувствуете вы у Пушкина снисходительно-покровительственного тона или умильно-идеализированной сусальности в отношении к простому мужику. То же можно сказать о Сурикове, Мусоргском и о других гениальных сыновьях великого народа русского, Православного!

...Хрупкий блондин, выглядевший гораздо моложе своих лет, с лицом мечтателя, с прямым взглядом, исполненным внутренней силы, сказал мне:

– Искусство – удел избранных. Художник работает для себя... Его поймут лишь единицы, а большинству вообще не нужно искусство. Так называемый народ жаждет хлеба и зрелищ. Это было – советское было!

– Так зачем же тогда искусство? – спросил я.

– А кто знает, зачем мы живем, почему растет трава, зачем мы любим женщин? Я не знаю, почему, – он задумчиво, меланхолически глядел мимо меня, – нас волнует полет облаков, согнутое осенним ветром дерево... Я могу часами смотреть на его скрюченные ветви и думать, на что они похожи. Как чувствовали гармонию мира старые мастера! Я долго рассматривал Рембрандта, откуда у него такой изумительный желто-золотистый цвет, как расплавленный янтарь, и потом понял – это лессировка^[69].

– Значит, ты совершенно исключаешь страстное служение художника какой-то духовной, точнее религиозной идее? Разве искусство не средство выражения этой идеи?

– Какие идеи? – Он удивленно пожал плечами. – Суриков написал «Боярыню Морозову», увидев ворону на снегу, а «Стрельцов» – увидев отблеск свечи на белой рубахе.

– Но позволь, – прервал я его, – по-моему, это был лишь толчок, помогший Сурикову воплотить давно живущий в его душе мир образов! Дело именно в них, а не в вороне на снегу, которую могли видеть многие художники, не написавшие, однако, «Боярыню Морозову».

– Допустим, – согласился он, – но вот какая была «духовная идея» (я повторяю твои слова) у Врубеля, которого я люблю еще более, чем ты, когда он писал «Раковину»? А твой любимый Рерих говорил: «Умейте прочитать душу камня...» Что это значит?

– Но ведь цело не в раковине, – возразил я, – она у Врубеля лишь повод для выражения собственного мира волшебных грез и фантастических образов мечты, ассоциируемых с перламутровыми переживаниями этого морского чуда. Твои примеры далеко не исчерпывают всех идей творчества

Врубеля и Рериха. Но и в этих вещах проявилось умение русских художников одухотворить неживую природу, наполнить и преобразить ее собственным, глубоко интимным переживанием. Еще Нестеров говорил...

– Ну вот, ты все русские, русские, как будто в этом дело, – перебил он меня. – Вермеер, Ван Дейк, Моне, Дега, Хокусаи, Утамаро – все они служат одному: красоте. И в этом их общность. Ты согласен?

– Нет. – Я волновался, мне хотелось быть понятым. – Дело в том, что я всех художников, независимо от величины, делю на «Изобразителей» и «Выразителей». Выразители не пассивно отражают мир (хоть «изобразители» могут достичь в этом отражении высочайшего мастерства и гармонии), а несут в себе некий прометеев огонь, преображают мир высотой своих духовных идеалов, борением духа. Веласкес, Репин, Франс Хальс, малые голландцы, Клод Моне – гениальные «изобразители». А. Рублева, Врубеля, Эль Греко, Рериха я считаю выразителями глубочайших переживаний человеческого духа, раскрытого индивидуально, в конкретных формах объективно существующего мира. Одни творят характеры и типы, а другие – философские мыслеобразы, выражающие нравственные, социальные и эстетические категории. Здесь формы внешнего мира служат для выражения мира внутреннего. Дух, по-моему, всегда национален, как национально понятие о красоте. История доказала, что чем более национален художник, тем он и более интернационален в высшем смысле этого слова. Разве не свое понимание красоты и гармонии мира у Эль Греко, Хокусаи, Рубенса, Врубеля? Интернационального искусства не существует, есть только национальное искусство.

Он внимательно слушал меня, но не соглашался... Однажды я поздно вечером, по обыкновению, сидел в академической библиотеке за монографией Эль Греко и рассматривал (в который раз!) бесподобные по своей конструктивной ясности и одухотворенности головы из «Похорон графа Оргаса». Ко мне подошел представитель «мансардной» оппозиции, которого я уже несколько раз видел в Академии ожесточенно жестикулирующим в окружении студентов. Глаза его фанатически горели, он был подчеркнута не брит, в неряшливом свитере и брюках, по которым сразу было видно, что он занимается живописью. Он всегда смотрел только иностранные журналы, изучал Пикассо, Сезанна, Брака, реже – Матисса. Я слышал, что он был исключен со второго курса Академии и сейчас работает оформителем в каком-то театре. Увидев Эль Греко, он сказал:

– Что ты каждый вечер со всяким старьем сидишь? Ведь даже в нашем болоте в последнее время стали давать настоящую литературу, о которой раньше нечего было и мечтать. В XX веке должно быть новое искусство, понимаешь – новое! Старые формы отжили навсегда! Как этого в вашей богадельне не понимают! Как можно в век атома, кибернетики, кино, радио и авиации работать так, будто живешь в XIX веке? Чем шесть лет скрипеть в Академии, купи фотоаппарат,ставляй свои фото в золотых рамках, как это делают твои маститые учителя, но не выдавай это за живопись. Да и вообще с изобретением фотографии реализм отдал концы, глаз объектива раскрепостил искусство, снял с него эту ненужную функцию точного изображения.

Я не мог согласиться с ним.

– Цель науки – изучать и познавать законы окружающей действительности, раскрывать тайны процессов природы и космоса, а искусство, по-моему, решает проблемы духовной жизни человека. Важнейшая задача искусства – познавать и совершенствовать внутренний мир человека, создавать и

укреплять его нравственные идеалы. Наука может раздробить скалу, сплющить глыбу металла, но не может ни на йоту сделать добрее черствое, жестокое сердце!

– Ну, это моралистическое слюнтяйство, – нетерпеливо перебил он меня. – Будущее за технократией. Нравственный прогресс стоит в прямой зависимости от роста науки и техники. – Он презрительно смотрел на меня.

Я не сдавался:

– Ни о каком нравственном прогрессе в связи с научными достижениями говорить невозможно. Можно быть дикарем, а ездить в «кадиллаках» или летать на сверхскоростных самолетах. В век космоса культура западной цивилизации во многом стремится к каменному веку. Но существует еще так называемая научность, то есть спекулятивное использование научных понятий, терминов и т. п. Возникает наукообразие, подменяющее в искусстве подлинную художественность.

История человеческого общества богата великими научными открытиями. Но почему ни одно из них прежде не влекло за собой стремление художника обратить свой глаз в окуляр микроскопа Карла Линнея как это делают многие абстракционисты теперь? С открытием Коперника художники не стали писать мир сидя на вращающейся карусели, а с изобретением пороха не брались изображать скорость летящей пули. Изобретение телескопа и первые открытия Галилея потрясли мир, может быть, больше, чем расщепление атома (о существовании которого говорил еще античный философ Лукреций Кар в своей знаменитой книге «О природе вещей»), но не заставили современника Галилея Рембрандта обратиться к копированию неведомых прежде ландшафтов Луны. Наоборот, художник всю силу своего духовного напряжения сконцентрировал на внутреннем мире человека, полном просветленного страдания и любви к людям. Равно как во времена Пушкина было открыто электричество, а в его поэзии об этом – ни слова!

Мой оппонент зло и насмешливо смотрел на меня:

– Но человек XX века – совершенно новый человек, у него новое видение, иная психология!

Разве наш реализм способен передать основную тему, которой живет мир, – расщепление атома, распад его ядра? Эти открытия перевернули учения о вселенной! Ваш реализм XIX века, по сути, есть бегство от новой реальности!

Меня возмутило такое упорное непонимание самых элементарных вещей.

– Неужели ты думаешь, что научное открытие может так повлиять на человека, что в корне изменится характер его ощущения, что он начнет воспринимать электромагнитные колебания и улавливать ухом ультразвук? С изобретением кибернетической машины разве люди обрели седьмое чувство? Они так же любят, рожают детей, радуются и страдают, как во времена Гомера, Данте, Шекспира, Гоголя, Достоевского, Толстого. Изобретение фотоаппарата, конечно, ударило по натуралистам, которые бездумно копируют природу, а не выражают через конкретный эмоциональный образ философские идеи, мысли, чувства, свое отношение к миру...

– Ну, хорошо, это ты пока не понимаешь, – не отступал он; – но постарайся понять хотя бы другое. Ты видел здание ЮНЕСКО Корбюзье, фрески Сахары, слышал современный джаз? Тебе не показалось, что это подлинное интернациональное искусство? Ведь человечество идет к слиянию национальностей, стиранию различий между ними.

– С моей точки зрения, джаз – это глубоко национальная ритуальная музыка первобытных негритянских племен, и я не понимаю, почему первобытное искусство и стремление ему подражать мы должны считать «передовым» интернациональным искусством XX века. Под интернациональным я понимаю содружество национальных культур – букет национальностей. Я всегда считал, что архитектура – это окаменевшая музыка. Что же касается Корбюзье, который говорил, что его дома – машины для жилья, это, по-моему, чисто функционально-инженерные конструкции. Это то же самое, что видеть в человеке только... «функциональный» скелет.

– Ты, конечно, и против Фрейда? – Его гневу, казалось, не было предела.

– Что ж, при всех заслугах Фрейда у него все-таки упрощенное понимание жизни человеческого духа, нравственного мира человеческой натуры, низведение его к низшим инстинктам, к «подполью» человека. Беда в том, что некоторые считают прогрессом движение назад, в каменный век доисторического бытия.

– А тебе нужны оконца с петушками в архитектуре XX века?

– Русская архитектура – это не петушки, равно как русская народность – не квас и лапти, хотя в ряде случаев петушки мне кажутся уместными в прикладном искусстве. Ты, наверное, просто не знаешь русской архитектуры. В ней нет никаких петушков, зато есть особое понятие незабываемого архитектурного образа, есть свое национальное чувство красоты, пропорций, свой творческий метод мышления, создавший такие индивидуальные и неповторимые, объединенные общим понятием русской архитектуры шедевры, как Спас-Нередица и Киевская София, псковские звонницы и Покров на Нерли, Владимирский Успенский собор, церковь Вознесения в Коломенском, Иван Великий, Кижский, дом Пашкова, Меншикова башня и многие другие. Где ж тут петушки?

– Ну, ну, пошел, смешал все в одну кучу. В России вначале работали греки, Московский Кремль весь строили итальянцы, а Петербург и говорить нечего – Растрелли и разные прочие шведы.

Он победоносно захохотал. Но я и уступить не мог.

– Нет уж, извини. В России действительно, как и в других странах Европы, работало много иностранцев, однако нельзя же считать, скажем, Эль Греко – греком, а не испанцем, Бетховена – голландцем, а не немцем. Иностранные мастера, которых приглашали на Русь, были вначале исполнителями воли заказчика. Но впоследствии лучшие из них, подпав под неотразимое обаяние русской культуры, творчески преломив ее принципы, вносили свой вклад в наше искусство и, не потеряв своей индивидуальности, становились русскими художниками. Вот почему у нас в России среди памятников архитектуры, построенных ими, нет ни одного повторяющего тот или иной европейский образец, – даже в Петербурге! Мы можем с полным правом говорить о «русском классицизме», «русском барокко» и т. п. Это общеизвестно!

– Ну, вот и Корбюзье пригласили, чтобы он создал новый революционный стиль. – Он злорадно засмеялся. – В XX веке стекло, бетон, пластмассы определяют лицо архитектуры, открывая перед ней такие возможности, которые раньше архитекторам и не снились...

– Никогда ни одному художнику материал ничего не диктовал и не мог диктовать, – не соглашался я. – У настоящих творцов материал всегда был лишь средством выразить их творческую волю. Материал может облегчить или затруднить осуществление замысла. Например, русская идея шатра из деревянного зодчества была перенесена и воссоздана в новом материале – камне. И думаю, что могла бы быть перенесена и в железобетон, и в пластик, и даже в стекло. Дело не в материале, а в богатстве замысла, силе духа, воплощенных в архитектурном образе. И несмотря на все богатство и возможности нового материала, архитектура XX века во многом превращена в инженерные сооружения, одинаковые во всем мире и отличающиеся друг от друга большими и меньшими удобствами для человека. Как говорил один герой Достоевского: «Необходимо только необходимое». Вот лозунг этой «архитектуры».

– Теперь не могу твоего Достоевского.

– Это вполне естественно. Ты вообще русскую культуру не любишь. Ты – «левый».

– Мне, во-первых, все равно, русская она, французская или турецкая, я думаю об искусстве XX века, об искусстве будущего. У людей будут совсем другие представления о жизни. Люди изменяются даже физически. У них должно быть совсем другое искусство. Тех., кто сегодня работает для будущего, поймут через сто лет. Так всегда было с великими людьми, которых современники травил.

– А мне казалось, что великих людей, за редчайшим исключением, всегда понимали современники, и чем активнее было их отношение к миру, чем более страстно исповедовали они свои идеи – тем яростнее разделялись их современники на друзей-единомышленников и врагов. Художник обязан понять и выразить прежде всего свое время с его расстановкой сил, с его пониманием добра и зла, с его идеалами красоты, с его пониманием гармонии мира и назначения искусства. Путь в будущее лежит через сегодня.

– Ну, это все литературщина! – с жаром сказал он. – Современное искусство должно от нее избавиться. Современная форма должна стать содержанием. Претворить материал в форму – вот задача художника. Отец современного искусства Кандинский указал своим гением дорогу в будущее: он первый сказал, что художник должен разрушить все старые представления об искусстве. Малевич, Татлин – подлинные революционеры.

– По-моему, ты валишь в одну кучу и содержание художественного образа, и «литературный рассказ в красках», который я тоже не люблю. «Блудный сын» Рембрандта, «Демон» Врубеля, «Сикстинская мадонна» – все это тоже литературщина?

– Конечно.

– Ну, а что не литературщина?

– Хотя бы Сезанн, Миро, из наших – ранний Кончаловский, Машков, Штеренберг. У них сама форма говорит без всякой литературы.

Но тут заговорил долго молчавший мой сокурсник:

– Просто этим людям нечего было сказать! С Сезанна началась обывательщина, «мясная» живопись с ее равнодушием к человеку и его внутреннему миру. Сезаннизм с его мнимым глубокомыслием расчленяет трепетную живую гармонию мира на прокрустовом ложе примитивных геометрических объемов – куба, конуса и шара. Логическое завершение этой «научной» теории – произвол, инспирированный хаос и бессмыслица абстракционизма.

– В общем, я тебя понял, – сказал «мансардник», обращаясь ко мне. – Ты никогда ничего в искусстве не сделаешь. Здорово вас всех покалечили. Но мы вас все равно раздавим. Хоть ты и симпатичный боярин, но уж больно отсталый...

С тех пор прошло много лет, но споры эти памятли мне и по сей день. В те дни упорных поисков и сомнений мучительно осознавалась разница между ремесленнической работой и творческим трудом. Творчество – высший дар человека и смысл его бытия, выражение его свободной воли, стремящейся к добру и гармонии.

Творческий, созидающий дух человека строит новую жизнь, создавая гармонию из противоречий – красоту! Творческий дух вечно пребывает в искусстве. Первоисток творчества – воля к бессмертию!

Изучая жизнь великих художников, я все более убеждался в индивидуальности, неповторимости того пути, которым каждый из них шел к откровению. В трудном процессе самоопределения одни быстро и безошибочно обретали свое лицо, как Рафаэль и Рубенс, Серов и Рерих. Другие, как Ван Гог и Федотов, Нестеров и Гоген (судьба их особенно поучительна), находили себя в зрелые годы, приходили в искусство после длительного пути исканий, мучительных жизненных скитаний познавшими и высоту взлета, и глубину падения. (Многое я потом пересмотрел в оценках художников, о которых мы тогда спорили.)

Художник творческой волей создает свой мир. В сложном процессе образного познания реальности он осуществляет свое призвание – преобразовать, совершенствовать духовный мир человека. И здесь прежде всего предполагается глубокая искренность художника, познающего мир во всей глубине его сложных противоречий. Не «подгон» к духовному идеалу, а суровый неподкупный суд над соответствием или несоответствием идеала и жизни. Каждое художественное произведение, несущее правду о человеке, о тьме и свете в душе его, – это подвиг, требующий от художника гражданского мужества. Искусство не монолог с самим собой, оно всегда обращено к кому-то. Важно, во имя каких духовных ценностей ведет разговор художник с миром. Велика ответственность художника перед людьми, перед нацией, перед человечеством.

Думая о смысле творчества и задачах искусства, я сделал для себя вывод, что главное в искусстве – это личное отношение – художника к миру. И в самом деле, художник тогда получает удовлетворение от творчества, а его искусство тогда имеет силу воздействия на людей, когда становится проводником в тайники человеческого духа.

Разумеется, наличие профессионального мастерства предполагает умение передавать гармоническую взаимосвязь форм реального мира. Живая искренность, непосредственность индивидуального переживания художника становятся магической палочкой, превращающей мертвую материю в искусство. Страшна в искусстве риторика, мертво мастерство, лишенное искренности живого чувства. Вот почему нас порою волнует беспомощный с точки зрения высокого мастерства детский рисунок или искусство так называемого примитива, но оставляют холодными виртуозно исполненные холсты, где есть все, но нет главного: правды чувства, непосредственности глубокого переживания.

* * *

Эта глава «Поиски» написана давно и отражает правду духовных поисков умонастроений моих сверстников – тогда молодых художников, стоящих на пороге жизни. Многие изменилось с тех пор – «иных уж нет, а те далече»... по-разному сложились судьбы спорящих. Большинство после окончания Академии попадали в стойло «социального заказа». Жить-то ведь надо! Борьба за деньги, интриги, поиски работы в пресловутом Худфонде... Знаменитые «комбинаты», где талантливые художники, попав в трясины «осознанной необходимости», нередко спивались, гоняясь за прибыльными заказами на заданные «партийные» темы, размножая портреты вождей, копируя во множестве «рекомендованные» худсоветом оригиналы, созданные корифеями Союза художников... А ведь душа художника уязвима и нежна, и каждый мастер в глубине души знает цену жизни, искусству и себе самому.

В 60-е годы поднимался из руин «русский авангард». Его приверженцев пресса называла гонимыми, подробно смаковалось, как их картины давили бульдозером, который, как и самих художников, снимали на телекамеры специально ждущие этого акта советского вандализма иностранные журналисты. Многие считали, что, поддерживая наследников комиссаров от искусства 20-х годов, они помогают русской культуре стать на ноги в ее борьбе за свободу – против тоталитарной советской идеологии.

Но зато идея возрождения основ русской национальной культуры всегда вызывала бешеную злобу модернистов Европы, Америки и Азии. В возрождении «русской идеи» видели они самую большую опасность для мира и прогресса, забывая при этом, что именно Россия была в свое время гарантом мира и спокойствия Европы. Некоторые художники левых течений мечтали эмигрировать «туда, где их оценят». Отбыв на Запад, многие влачили существование еще более тяжелое, чем все мы в Москве. Ну, а наиболее ловкие, спекулируя на зачастую раздутых и даже мнимых политических гонениях в СССР, достигали известности и материального благополучия. Сегодня, когда рухнули основы прежней советской жизни, они любят приезжать на Родину, выдавая себя за мучеников. Но уехали-то они все свободно и добровольно!...

Я убежден, что наши художники, режиссеры, актеры, поэты, музыканты – самые талантливые! Жаль только, что они лишены сегодня как государственной поддержки, так и заботы, любви, внимания со стороны ставших богатыми на руинах Русской беды, но, увы, не меценатствующих бизнесменов и банкиров. Не могут понять они, гуманитарная помощь России миру всегда заключалась в попираемой ныне духовности русской национальной культуры и великой православной цивилизации.

* * *

Я поставил задачу начать своего рода дневник, то есть постараться языком живописи выразить все, что меня волнует, является содержанием моей духовной жизни. В поэзии это называется лирикой.

Была весна... Наставления многих великих художников молодым воспитанникам старой Академии, ищущим свой путь в искусстве, сводились к следующему: сними себе мастерскую, запришь в ней, чтобы тебе никто не мешал своими советами, и сделай хоть одну работу, которая бы удовлетворила тебя самого. Я решил последовать второй части этого совета, так как мастерской у меня не было, а была маленькая комнатка на территории Ботанического сада. Я просто поплотнее запер дверь, чтобы не слышать беспрестанных криков многочисленных обитателей большой коммунальной квартиры, обращенных, в частности, к моей тетушке: «Агнесса Константиновна-а-а, ваш чайник кипи-и-ит.»

Для начала я, робея, взял маленький холстик 40х30 и приступил к работе. Меня давно волновала тема пришествия весны в большой современный город. Огромные глухие стены домов с одним тюремному маленьким окошечком, выходящим на задворки. Тоненькие, чахлые деревца с зелеными огоньками нежной листвы отмечают приход весны. Лужи, словно куски битых зеркал, отражают голубое летнее небо, и главное – человек снова празднует, снова постигает бесконечную тайну возрождения жизни после долгой холодной зимы. Кто из нас не видел старых людей, подолгу сидящих на скамейках в маленьких ленинградских сквериках. Весеннее солнце пробуждает в них воспоминания о далекой юности с ее безвозвратно ушедшими днями. У ног их играют дети, в лужах отражается бездонная весенняя синева, загороженная громадами каменных ульев.

Я долго трудился, стараясь передать все эти настроения на маленьком холсте, сосредоточить внимание на главном. Глухая стена, молодое деревце, к которому привязана веревка с просыхающим на весеннем солнце бельем, лицо старой женщины поднято вверх навстречу солнечным лучам, в углу детская головка, как яркий цветок, контрастный черной одежде старушки. Мне хотелось сконцентрировать все внимание на ее лице...Живая реальность интересовала меня не просто в своем жанровом бытии – мне хотелось выложить мозаикой живой конкретности свой замысел, рожденный городской весной. Я был влюблен в живописную фактуру стены старого дома, в голубую легкость небес, золотистый свет дрожащего воздуха, в холодные рефлексии теней...

Когда я принес свою новую работу в Академию и показал ее преподавателю, тот спросил:

– Ну, и что ты этим хотел сказать?

– Ленинградская весна.

– Это не весна, а тем более не ленинградская весна. Для Ленинграда что характерно? Летний сад, Парк Победы, ЦПКиО, а ты какие-то задворки раскопал и называешь это Ленинградом.

– Но в Ленинграде тысячи таких сквериков. Многие из них – разбиты на месте разбомбленных домов, – попробовал вступиться за меня товарищ.

– Садик-то садик, но как его увидишь? Весна с молодостью ассоциируется, с материнством, вон у нас сколько картин на эту тему написано. Посмотришь на такую картину, и жить хочется. А если старуху взял, так хоть бы детворы побольше дал. У Яблонской видел? Та же тема, а как решена? Да и потом, у тебя все образно как-то, холста что ли у тебя мало? Тришкин кафтан получился, неба мало, ноги срезал, фигуру-то нарисовать трудно целиком? Чего все молчишь-то? – возмутился А. Д. Зайцев.

Мне действительно нечего было сказать. Я начал было говорить об особом настроении ленинградской весны, о поэзии ничем не примечательных на первый взгляд ленинградских дворики, о том, что весна – это не просто смена времен года, а великое явление, философское понятие, говорящее о возрождении жизни и юности, мечтами о которой живет даже старое сердце...

– Ну, это все интеллигентщина. Народ всего этого не поймет. Народу это не нужно. Что народу до твоих задворков? Написал бы хоть «Парк Победы» к 1-му Мая!

Если прежде я соглашался с авторитетным мнением преподавателя, то теперь уже ничего не мог изменить в своей работе не потому, что был так уверен в своей непогрешимости, – нет, мы просто говорили на разных языках!

Каждый день я спешил домой из Академии, чтобы снова сесть за работу, которая приобретала для меня новый смысл, являясь источником неведомой ранее, ни с чем не сравнимой радости.

В следующей своей работе я хотел выразить впечатления от ночного города. Огромный дом, глядящий десятками освещенных окон, за каждым скрыта своя сложная жизнь – кто-то ссорится, кто-то одиноко грустит у окна... Огни, огни... А внизу, у подножия дома, влюбленные. Мне так хотелось передать всю хрупкую нежность навсегда запомнившегося мне юного женского лица и маленькой, как лепесток, руки – совсем как у Нины.

Эту работу я закончил в 1955 году. Она потом неоднократно выставлялась на многих выставках. Вслед за этой работой я написал «Последний автобус», потом «на мосту», «Осеннее окно» – дневник души человека, затерянного в большом городе двадцатого века, и, наконец, портрет Достоевского.

Я чувствовал себя счастливым: я видел в жизни новый смысл И новый путь.

* * *

В стремлении обрести себя, в поисках смысла жизни, тайны бытия и сменяющихся, как облака в небе, цивилизаций, я любил бродить по пустынным залам Эрмитажа, стараясь понять взгляд скульптур древнего Египта. Они смотрели мимо меня – смотрели в вечность. Воля к бессмертию – основополагающая черта этой давно ушедшей цивилизации.

Архаика первых греческих скульптур, триумф врага тьмы Аполлона, великолепие и мощь древнего Рима... Кто из нас, соприкасаясь с тайной времен, не задавал себе вопрос: откуда мы и куда идем? Наши серые будни становятся такими преходяще-ничтожными перед ликом великой тайны, и мы, дети сегодняшней духовно выжженной цивилизации, благодаря свободной воле, данной Богом человеку, если устоим перед всепоглощающей бездной материального мира, еще сумеем ощутить дыхание вечности и обрести себя, борьбе за утраченные идеалы.

...За окнами было серое небо, моросил холодный осенний дождь... Я до сих пор люблю это малоизвестное стихотворение Александра Блока, написанное им в самый канун революции:

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух,
– Да, таким я и буду с тобой:
Не для ласковых слов я выковывал дух.
Не для дружб я боролся с судьбой.
Ты и сам был когда-то мрачней и смелей,
По звездам прочитать ты умел,
Что грядущие ночи темней и темней,
Что ночам не известен предел,
Вот – свершилось. Весь мир одичал, и окрест
Ни один не мерцает маяк,
И тому, кто не понял вещания звезд, —
Нестерпим окружающий мрак.
И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,
Что грядущего ночь не пуста, —
Затуманила сердце усталость и месть,
Отвращенье скривило уста...
Было время надежды и веры большой —
Был я просто доверчив, как ты.
Шел я к людям с открытой и детской душой,
Не пугаясь людской клеветы...
А теперь – всех надежд не отыщешь следа
Все к далеким звездам унеслось.
И к кому шел с открытой душой тогда,
От того отвернуться пришлось.
И сама ты, душа, что пылая ждала,
Треволнениям отдаться спеша, —
И враждой и любовью она изошла,
И сгорела она, та душа.
И остались – улыбкой сведенная бровь,

Сжатый рот и печальная власть
Бунтовать ненасытную женскую кровь,
Зажигая звериную страсть...
Не стучись же напрасно у плотных дверей,
Тщетным стоном себя не томи:
Ты не встретишь участия у бедных зверей,
Называвшихся прежде людьми.
Ты – железною маской лицо закрывай,
Преклоняясь священным гробам,
Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.
9 июня 1916 г. ^[70]

Мой учитель Борис Владимирович Иогансон

После III курса студенты распределялись по мастерским известных художников. У нас были тогда два конкурирующих направления. Б. В. Иогансон – представитель московской школы училища живописи, ваяния и зодчества и В. М. Орешников – представитель ленинградской школы, возросшей на эрмитажной музейности. Их объединяло верное служение партии и правительству.

Иогансон чтил своего учителя К. А. Коровина, Орешников – Эрмитаж и Эль Греко. У Иогансона была плотная реалистическая живопись и стремление к жизненной правде, когда речь шла о передаче «натуры», у В. М. Орешникова (ректора института имени Репина, где я учился) дамское заученное эпигонство – эклектическая интеллигентность, почерпнутая в Эрмитаже. Многим из нас это не нравилось. Его картина «Ленин сдает экзамены» была написана сдержанно по колориту, в ее композиции мы прочли уроки старых мастеров. Юный Ленин был, разумеется, неотразим, и на лицах экзаменуемых его профессоров было отражено изумление перед глубиной знаний брата цареубийцы – будущего вождя мирового пролетариата. Виктор Михайлович Орешников очень заикался, и на защите дипломов «боги» соцреалистического Олимпа любили поспорить между собой, порой сводя личные счеты в присутствии болеющих за оценки дипломников, гостей и студентов. Защита дипломов тем не менее всегда была торжественной и значительной. Она происходила в старом академическом зале с высоким куполом потолка, где когда-то, по преданию в 1863 году, произошел «бунт четырнадцати» во главе с Крамским. Это был бунт во имя России, позднее, под воздействием «социальных установок», он превратился в тенденциозное отражение русской действительности. Кто из нас не знает и не чтит передвижников? Хотя, разумеется, по степени таланта они были очень разными.

Итак, я написал «прошение» в мастерскую Иогансона, чем, очевидно, вызвал раздражение непосредственного руководства института имени Репина, бывшего в скрытом антагонизме с «москвичами», возглавляемыми А. Герасимовым и Б. Иогансоном. Зоркие студенты многое подмечали в жизни Академии. Мой разум, преклонение перед великими мастерами Европы и прежде всего Ренессанса постоянно напоминали мне о необходимости изучать старых мастеров, или, как мы называли их – «стариков». Но сердце и все естество, внутреннее «я» принадлежало русской школе, выражающей правду высокого реализма. А когда я для себя открыл мир русской иконы, побоюсь повторить ныне избитой фразы – «умозрение в красках», я стал на многое смотреть по-другому.

* * *

Много лет спустя уважаемый мною Андрей Андреевич Мыльников, который в ту пору перешел на дорогу современного, я бы сказал, «левого» искусства, не скрывал своего раздражения ко мне. «Куда ты все спешишь: сколько у тебя работ! Помнишь, раньше говорили – лучше меньше, да лучше». Он испытующе смотрел на меня из-за больших роговых очков – в его бороде было много седины. «Вот твоя „Русская Венера“, – продолжал он, – разве Рафаэль или Боттичелли допустили бы такой рисунок? Вокруг тебя шумихи много, а ты, повторяю, все спешишь». Тонем мэтра добавил: «Служенье муз не терпит суеты».

«Андрей Андреевич, – ответил я как можно уважительнее, – эти слова относятся ко всем художникам, но если большинство из них выносятся волной конъюнктуры, которая убивает искусство, то они, действительно, суетятся: борьба за заказы, совещания, заседания, триумфы, награждения». С высоты своего положения он внимал мне снисходительно. «В своих работах я не спешу, – продолжал я, – хотя работаю много и довольно быстро. Я борюсь за выживание, а вы, как никто другой, знаете, какими тяжелыми были годы моего учения. Вы были моим первым учителем, а каждый учитель имеет и неудачных

учеников вроде меня». В ответ Мыльников не улыбнулся. Про себя же я думал: «Почему и как мой учитель столь далеко ушел в своем творчестве от принципов старых „эрмитажных“ мастеров высокого реализма?» Но, однако, ответил ему: «Андрей Андреевич, а почему вы только меня судите с позиций Рафаэля и Леонардо, не применяя этих оценок к себе и другим художникам? Почему, например, исходя из критериев Рафаэля, Леонардо и Микеланджело, вы не говорите ничего критического о вашем талантливом друге Евсее Евсеевиче Моисеенко?»

Мыльников, уклонясь от ответа и, видимо, уже давно не испытывая ко мне добрых чувств, как всегда было во времена моей юности, вдруг сказал: «Ты вот все о России кричишь, русская, русское, – а для меня важно: „вещь в искусстве или не в искусстве“. Потому я люблю и икону, и Сезанна, и даже Петрова-Водкина, не говоря уже о голландцах и мирискусниках. Это все – в искусстве». Про себя я сделал вывод: очевидно, первый учитель считает, что мои «торопливые» работы – «не в искусстве». Желая больше ударить меня, может быть, и не думая так, он сказал: «Будем откровенны. Русский музей – барахло в сравнении с Эрмитажем». (Слово «барахло» он произнес как «барахо», не выговаривая букву «л».) «Не могу согласиться с такой категоричностью», – возразил я.

Разговор этот происходил у него в мастерской и неподалеку от домика Петра Великого, а через Неву напротив шумели на ветру золотые осенние кроны сумеречного Летнего сада. Все такая милая, словно не подверженная быстротекущему времени, его жена Ариша, в прошлом балерина, желая переменить разговор, с ласковой улыбкой спросила меня о моей преподавательской деятельности в Суриковском институте: «У Андрея это всегда отнимало столько энергии». Андрей Андреевич захлопнул подаренную мной книгу, на переплете которой красовался фрагмент моей картины «Иван Грозный». «Издали тебя шикарно, мало кого из современных художников так издают, – заметил он. – И все-таки, Илья, говорю тебе, не спеши». И вдруг, глядя на меня в упор: «Ну, а что думаешь о моих картинах?» Он обвел рукой мастерскую, где стояли его последние работы, посвященные Испании. Понимая, что это «вопрос на засыпку», я как бывший студент ответил, глядя на ставшего вдруг очень серьезным учителя: «Андрей Андреевич, мое мнение ведь своеобразно; вы знаете, как я восхищался и восхищаюсь вашей „Клятвой балтийцев“^[21]. Для меня сегодня очень важно, от имени какого народа и во имя какого народа говорит художник. Не вправе обсуждать достоинства ваших прекрасных работ, сделанных вами без свойственной мне спешки, скажу почему они меня не волнуют. Гарсиа Лорку как личность я не люблю, хотя у него есть прекрасные стихи. Меня волнует судьба расстрелянных или затравленных русских поэтов: Николая Гумилева, Александра Блока, не говоря уже о Пушкине и Лермонтове. Я знаю, что вы ушли с корриды, сказав, что этот кровавый спорт не для вас. Я люблю Испанию, но больше всего люблю Россию».

Мыльников перебил: «Ну, а разве ужасы испанской гражданской войны тебя не трогают?» Он показал на третью работу испанского цикла, где женщина с ребенком прижалась, если не ошибаюсь, к большому кресту. Я старался отвечать как можно мягче: «Гражданская война всегда трагедия для любого народа, но самой страшной гражданской войной я считаю войну в России и как русский зритель хотел бы видеть понимание русской трагедией. Вы ведь русский художник, и меня понимаете. Кому, как не Вам, донести до людей ужас нашей кровавой братоубийственной гражданской войны?» Я более русский, чем ты», – раздраженно прервал меня мой профессор.

* * *

После третьего курса меня назначили в мастерскую профессора Ю. М. Непринцева, известного тогда своей картиной «Отдых после боя», показывающей хохочущих красноармейцев на привале и магическое действие шуток героя из поэмы А. Твардовского (тогда еще яростный сталинист, а потом редактор журнала «Новый мир», который сыграл огромную роль в нашей общественной жизни). Подав заявление в мастерскую Иогансона, я не осознавал, что могу чем-то обидеть нашего ректора Орешникова и его ученика и друга А. А. Мыльникова. Но мне не хотелось учиться у Непринцева.

Дождавшись приезда Иогансона, я записался к нему на прием. Тогда его кабинет выходил окнами на Румянцевский садик и здание бывшего кадетского корпуса, директором которого был, как знает читатель, мой дед генерала Григорьев. Перефразируя Шульгина, я «легкой белогвардейской походкой» вошел в назначенное время в кабинет. Вступив на красную дорожку, ведущую к столу всесильного вице-президента Академии художеств, я невольно присмирел дойдя. За столом, не двигаясь, сидел Борис Владимирович. По-барски, равнодушно и иронично глядя на меня и не предлагая сесть, он спросил: «Почему ты не хочешь учиться у Непринцева, а подал заявление ко мне? Моя мастерская не резиновая – всех не примешь». Как всегда в решающие минуты моей жизни, когда мне совсем становилось плохо, я ощутил дикий прилив энергии и волю к победе. Не спрашивая разрешения, сел на стул, поймав изумленно заинтересованный взгляд вице-президента. Глядя ему в глаза, четко и раздельно произнес: «Борис Владимирович, я буду учиться только у Вас, ученика Коровина, и Вы должны подписать мое заявление. Никто так не хочет учиться у Вас, как я!». Неожиданно, склонив голову набок, грозный Иогансон

доверительно... сказал: «Ты мне нравишься. Я таких люблю. Видно, что ты творческий человек, меня предупреждали, что ты неуправляем, но работаешь как вол, день и ночь. Как Врубель, в поговорку вошел у студентов!» Посмотрев задумчивыми, небольшими и глубоко спрятанными глазами, распорядился: «Напиши заявление на имя секретаря Академии Сысоева и отдай ему, но только в Москве. Я приму тебя в мастерскую – мне нравится твоя настойчивость». Я встал со стула и, как в модном тогда фильме «Красное и черное», где играл Жерар Филипп, склонил голову перед «кардиналом» советской живописи: «Борис Владимирович, никогда не забуду этого дня, и Вы можете быть уверены, что я вмещу все, чему вы нас будете учить как носитель идеи русского реализма».

Иогансон смотрел на меня почти ласково: «Ты мне понравился», и, махнув, скорее, помахав мне рукой, сказал: «Ступай, Глазунов, ступай, у меня еще много дел сегодня». У же у дверей он окликнул меня: «А как тебя зовут?» «Илья». – «У спехов тебе, Илья Глазунов», – царственно напутствовал меня будущий учитель.

* * *

Читатель может спросить, а почему именно Глазунов так рвался поступить в мастерскую Иогансона? Я уже коротко говорил об этом, но думаю, что гораздо лучше привести обширную цитату из выступления моего будущего учителя, где он достаточно объемно высказался о задачах воспитания молодых художников. Сегодня этот забытый доклад на VIII сессии Академии художеств СССР может представить несомненный интерес. Он красноречиво свидетельствует о позиции художника и опытного царедворца, каким был вице-президент Академии. Сегодня, когда я являюсь ректором созданной мною Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, вижу, как и все, упадок и сознательное растление реалистического начала в наших учебных заведениях, считаю даже необходимым раскрыть позицию моего учителя, что будет особенно интересно для молодых художников.

Иогансон объясняет и дает ответ на многие вопросы образования художника, основы которого он сам получил еще в Москве в стенах Училища живописи, ваяния и зодчества. Было это еще до «залпа Авроры» и тоталитарного господства партийной идеологии, ставшей душой мертвого соцреализма. Мертвого потому, что ложь не дает жизни художественному образу картины. Но чтобы люди верили в ложь, ее облекали в вечные формы искусства, отражающие реальные формы Божьего мира.

Мы, студенты, изучали тогда натуру и великие заветы старых мастеров. Классику не отрицали, а изучали. Сегодня, как в 20-е годы погрома, снова, по сути, отрицают классику. Художники во власти рынка. А разве рынок не есть форма социального заказа? Самое мощное орудие воздействия на душу человека – искусство, если в основании его лежит правда жизни, понимание расстановки борющихся сил добра и зла в мире.

Социальный заказ неизбежно ведет к prostituiрованию таланта художника. А рынок – тем более. Раньше художники были куда свободнее; их картины создавались душой и совестью творца, а не приспособленца.

* * *

Итак, как и обещал, цитирую доклад Б. В. Иогансона^[72].

«В настоящем докладе я поделюсь мыслями художника о методе преподавания живописи, расскажу о моем представлении, что такое „цельность“ „единство“ в живописи, и какое значение эти понятия имеют в достижении высокой формы искусства. Мысли о цельности и единстве всего существующего рождались у меня в процессе работы как художника-профессионала постепенно, с ранних ученических лет.

Все, кто начинал заниматься рисованием и живописью самоучкой, не могли иметь об этом ни малейшего понятия. Все, что мы делали, было противоположно цельности и единству. Наше мышление было коротким, подобно мышлению дилетанта-шахматиста, который предвидит лишь один ход, тогда как мысль профессионала гораздо шире и охватывает возможности многих комбинаций.

Рисуя карандашом или красками, мы попросту, без затей старались скопировать виденное и даже получали некоторое удовлетворение, когда нам вдруг казалось, что становится похоже на натуру. Впоследствии, когда нам попадалось на глаза это бесхитростное, наивное малеванье, где местами случайно, видимо, от неосознанного стремления к истине, пробивалось что-то живое, конечно, ясно отдавали себе отчет в своей наивной безграмотности.

Перед тем как поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, мне посчастливилось для подготовки к конкурсному экзамену по искусству поступить в частную студию замечательного

художника-педагога Петра Ивановича Келина. Там, главным образом, и занимался рисунком головы с живой натуры.

С какими знаниями я мог прийти в студию? Робко, наивно, беспомощно, прицепляя к ноздре хрящик носа, я углем, черточка за черточкой, полз по листу бумаги, как муха, желая точно срисовать то, что видел перед собой.

– О, дорогой мой, так ничего не выйдет, – услышал я голос учителя. – Раскройте широко глаза, смотрите на всю голову сразу. Посмотрите таким взором, как будто вы задумались. Что вы видите?

Я пытался растопырить глаза, кожа на лбу собиралась в складки, даже уши двигались. Но должен был признаться, что видел, как и раньше, то же самое: отдельно ноздри, глаза, уши...

– Вы, вероятно, глаза переводите на отдельные части головы? Попробуйте не скользить глазами, а увидеть все сразу.

– Пробовал, но тогда я ничего не вижу.

– Так-таки ничего?

– Вижу расплывчато отдельные пятна.

– Уже успех, – сказал Петр Иванович. – Теперь таким же рассеянным взором посмотрите натуру и сразу же на ваш рисунок.

– Это очень трудно – отвечал я.

– Но все же попробуйте, добейтесь.

От непривычного усилия разболелась голова, но я добился.

– Ну, теперь скажите, нарисованное вами производит то же впечатление, что и натура?

Я должен был признаться, что ничего общего.

Итак, я получил первый урок профессионального искусства – видеть целое. На первых порах было очень трудно уходить от привычной цепочки прикрепления одного звена к другому, затем к третьему, и т. д., и т. д. При таком методе рисования головы натурщика маленькая ошибка в одном звене, затем в другом, в третьем вырастала в общем итоге чуть ли не на сантиметр. Это для рисунка головы ужасно. В портрете не должно быть ошибки даже на толщину линии. Когда же я приучил себя идти от целого, что было очень трудно, тогда ошибки уменьшились. Глаз мой постепенно охватывал все более и более широкое поле видения, причем общее видение становилось все менее и менее расплывчатым. Глаз приучался видеть детали, но в строгом подчинении целому. Так свершился профессиональный и одновременно философский переворот. Мысленно я уже задавал самому себе вопрос: не так ли нужно смотреть все в жизни? То есть важно в конце концов целое.

Не так ли наше Советское государство, имея в виду конечную цель – коммунизм, идет к нему через строительство всех отдельных звеньев, имея в виду целое? Не так ли умный руководитель, отвечая за порученное ему дело, которое есть часть целого, стремится его развивать, опять-таки имея в виду огромное общее? И так везде. Возьмите нам любое проявление жизни – во всем есть эта идея. А если это так, давайте посмотрим, какие же плоды она может принести в искусстве.

Рисунок. Существует много методов обучения рисунку. Рисунок есть результат знаний точных пропорций, понимания формы и т. д. Но над всем этим существует нечто, именуемое нами главным. Каким бы точным глазом ни обладал рисовальщик, если он не постиг это нечто, что является признаком высокохудожественной формы, его рисунок будет мертвым. Попробую рассказать об этом на примере рисунка портрета.

Всем нам хорошо известны гениальные рисунки портретов Репина и Серова. В них поражает нас исключительная жизненная правда высокохудожественного исполнения. Я глубоко убежден, что поразительное жизненное сходство и высокая художественность портретов Репина и Серова есть результат особого цельного видения. Те из художников, кому приходилось работать над портретом, знают, что этот процесс сопряжен со многими мучениями неудовлетворенности и радостями находок. Лично я всегда терпел неудачу, когда хотел писать точь-в-точь, то есть ерзал глазами по деталям. И дело начинало налаживаться, когда взгляд растворялся в целом, все лишнее куда-то исчезало, оставалось нужное, основное.

Начинаешь задумываться, почему это происходит: старался-старался, а ничего не вышло. Семь потов с тебя сошло, а толку чуть. И вдруг как-то удалось увидеть целое, удалось кистью выразить то, что ощутил, – и нарисовалось красиво, свободно, жизненно. Почему же так получилось? – вот вопрос. Думаю, что все потому же. Удалось потому, что попал в закон целого, а не удавалось потому, что нарушал его.

Попробуем разобраться в этом сложном и важнейшем вопросе. Представим себе, что садимся мы перед листом бумаги или перед холстом с самыми благими намерениями воспроизвести натуру так старательно и точно, чтобы удивить мир. Если эта мысль – удивить мир – есть даже в зародыше, это уже

опасное дело. Искусство не выносит, когда ему подходят с корыстным расчетом, муза живописи отвечает художнику взаимностью только при бескорыстной любви к ней и к истине законов ее природы.

Ну, тогда допустим, что мы выкидываем из головы мысль удивить мир. Мы просто производим опыт. Начинаем добросовестно, кропотливо, скрупулезно точно копировать натуру, точка за точкой, срисовывая каждую пору и даже капельки пота, отражающие блеск неба. Провели адову работу, затратив лучшие часы своей жизни, изумили тех, кто любит смотреть на живопись как на фокус обмана зрения, – и тем не менее никакого удовлетворения не получили. Более того, вам просто эта работа стала противной. Почему? Что произошло? Вы нарушили закон цельности. Сколько миллионов раз вы взглянули на натуру и на холст отдельно, столько же отдельных разрозненных деталей, не связанных между собой единством, легло на холст ненужным, напрасным трудом.

Чем меньшее поле зрения способен охватить глазами художник, тем меньшие возможности сравнения находятся в его распоряжении. Каждый живописец-профессионал, прошедший хорошую реалистическую школу, знает, что метод писания с натуры основан на сравнении тончайших соотношений близких между собой тонов как по силе света, так и по оттенкам цвета. Знает, что процесс писания с натуры заключается в выявлении различий на холсте, заложенных в натуре, разниц светосилы и напряженностей оттенков цвета. Если природу представить как картину, написанную тончайшим мозаичистом, то ни один камушек этой мозаики не будет похож на другой (конечно, я беру это условно). В природе переходы одного тона в другой настолько мягки, что грани этих переходов почти незаметны, но тем не менее мы у многих художников видим сопоставление граней мазков очень четко. Мягкость достигается не затушеванностью, не смазанностью, а точно найденными соотношениями мелких граней. Пример тому – акварели Фортюни или Врубеля. Но этот пример я привожу здесь только для того, чтобы наглядно показать сущность живописи.

Каким образом достигается цельность живописи, то есть изображение формы и цвета предметов в пространстве? Природа настолько разнообразна, что если, условно выражаясь, передавать ее мазочками наподобие мозаики, то не только каждый мазочек не будет похож на другой, но и любая видимая точка не будет похожа на другую. Но мы прекрасно знаем, что в живописи изображение форм и цвета предметов находит свое выражение в обобщенной форме.

Очень часто обобщение и единство некоторыми художниками понимается прямо противоположно тому, как следует понимать. Когда-то этих качеств достигали при помощи асфальта (краска смолистого происхождения). Если ее примешать к любой краске, получится очень красивый тон, с белилами она звучит прекрасным серым. Художники, прибавляя ее всюду, как бы объединяли картину серо-жемчужным тоном. Получалось своего рода искусственное единство. Правда, через некоторое время авторы очень жалели о своих погибших и почерневших вещах. Но дело-то даже не в этом, а в том, что они принципиально неверно понимали цельность и единство. Природа настолько многопланова, предметы ее настолько разнообразны, состояние ее настолько неповторимо, что разобраться во всем ее блеске, разнообразии, подходя с какими бы то ни было готовыми рецептами, невозможно. Надо подойти к ней не с рецептами, а с методом живописи, который позволит написать с натуры все что угодно.

Я позволю себе напомнить присутствующим о реалистическом живописном методе писания с натуры, который нам, учившимся в Московской школе живописи, дали лучшие педагоги этой школы, превосходные художники, в особенности К. А. Коровин, горячий поклонник метода живописи, построенного на воспитании и развитии глаза. Коровин часто восклицал про великих колористов: «Ах, какой глаз!» Его любимым художником был Веласкес. И это понятно, ибо трудно найти в мировой реалистической живописи такого артиста живописать непосредственно с натуры, художника с таким удивительным глазом, такого безошибочного снайпера художественной точности. Так попадать без промаха в цель мог живописец невероятной способности к широкому зрению.

«Широкое видение» – это тайна искусства дана немногим. Она приходит при упорной работе над собой, обычно в зрелом возрасте мастера, а к иным и вовсе не приходит. В картине «Менины» Веласкес написал самого себя в зеркале. Обратите внимание на оси зрения его глаз. Они становятся у художника такими только тогда, когда он овладел искусством общего видения.

Но вернемся к тем принципам живописи, которым нас обучали в Московском училище живописи.

Когда мы обучались в головном, фигурном или натурном классах, мы писали, «как бог на душу положит». Учились больше друг у друга. Замечания наших учителей сводились к тому, что здесь следовало бы прибавить, там убавить; здесь слишком темно, там слишком рыжо, и т. д. и т. п. Все указания были правильные. Никаких сомнений у нас не было. Мы и не подозревали, что существует метод живописи. И он открылся нам, когда мы попали в мастерскую К. А. Коровина. Он никогда последовательно не излагал своего метода, а говорил о нем к случаю, в процессе писания с натуры. Например, подходит к одному ученику и говорит: «Почему это у вас в этюде все тени черные? Разве в натуре так? Вероятно, вы полагаете, что слово „тень“ происходит от слова „тьма“. Тень есть ослабленный свет – рефлекс на предмете. Это ясно каждому. Но дело не в этом, важно, как написать ее».

Можно ли тень написать верно, взяв ее изолированно от окружающего?

Нельзя. В живописи не существует ничего отдельного. Чем точнее связь, тем красивее. Тень нельзя написать отдельно от полутона и света так же, как нельзя ее написать без сравнения с другой тенью.

Представьте, что перед вами в классе сидит обнаженная натурщица на фоне различных, со вкусом подобранных тканей; несколько впереди ее стоит новая табуретка, очень близкая к тону тела, имеет зеленоватый оттенок. Самое трудное в живописи – передать близкие друг к другу тона. Они – камень преткновения для всех неопытных художников. Стараясь написать их возможно точнее, художник незаметно для себя впадает в однообразие. Он так пристально вглядывается в изображаемое, желая возможно точнее воспроизвести его, что получается обратный результат: вместо точно найденной разницы близкие тона становятся как две капли воды похожи друг на друга.

Отчего это происходит? Глаз живописца имеет свойство в процессе пристальной работы терять остроту восприятия. В таких случаях рекомендуется обежать глазом целое, тогда точнее поймешь искомое.

Как же правильно поступать при писании с натуры предметов, близких друг к другу по общей тональности, например обнаженное тело, новую табуретку и ткань, близкую по тону к телу? Секрет здесь заключается, повторяю, только в том, чтобы выискать различия между всеми оттенками сначала в тенях: насколько тень табуретки отличается от тени обнаженного тела; затем, насколько тень табуретки, отличаясь по тону и оттенку цвета от тени тела, отличается, одновременно от тени ткани, близкой по тону к телу; то есть процесс письма будет заключаться только в отыскании разниц тонов по силе и оттенку цвета между тремя предметами – сначала в тени, потом тот же процесс в отыскании разниц по силе тона и оттенку цвета в полутонах и затем тот же процесс в отыскании различий, только различий по силе тона и оттенку цвета в светах.

Направленность воли художника, который ясно отдает себе отчет в том, что живопись есть разнообразие переходов тонов, заключенных в самой природе, приводит к единству правды натуры. Для того, чтобы извлечь живопись, заключенную в природе, на холст, надо знать, как это делать. Чем точнее следует этому методу художник, тем правдивее, разнообразнее и красивее становится его живопись, воспроизводящая правду натуры.

Мы мысленно проделали этот опыт только тремя близкими по характеру цвета и тона предметами, а в поле нашего зрения попадают их десятки и сотни, притом в различных планах по отношению друг к другу, – и со всем этим необходимо справиться. Приучая себя работать методом сравнения, методом выявления различий, заключенных в самой природе, не упуская из орбиты своего зрения целое, общее, художник все ближе и ближе подходит к истине. Сначала, подмалевав, он находит какую-либо сотню верных, но грубоватых отношений тонов между собой, выражающих формы предметов, их цвет в пространстве, – так сказать, находит сотню крупных камней мозаики. Затем каждый крупный камень как бы дробит по цвету и тону на детали, на части все более и более мелкие. При этом живописец не имеет права хотя бы на минуту забыть о целом, иначе он напестрит и разобьет единство.

При большом опыте работы с натуры, абсолютно веря в непогрешимость рассказанного метода, приучив свое зрение всегда видеть целое, художник уже не ломает голову над тем, как он будет писать. Он знает, как подойти к натуре. Главная его забота – передать точно свое целостное ощущение увиденного, причем это цельное представление о предмете состоит из тысячи тончайших отношений, которые наносит на холст его рука – верный друг глаза художника.

Ни тени фальши не должен допускать его глаз, эта фальшь должна так же резать глаз, как фальшивая нота слух музыканта. Художник обязательно будет мучиться, будет искать выражение точности своего ощущения от природы на холсте.

Быть может, некоторые возразят мне: о каком методе вы говорите? Какой может быть метод в выражении живого чувства? Был бы талант, темперамент, хороший глаз художника да хорошие краски. А остальное – все слова, слова... Таким самоуверенным живописцам-недоучкам я хочу возможно нагляднее показать метод обучения живописи, которым я руководствуюсь в своей педагогической практике. Основы этого метода я воспринял от К. Коровина в то счастливое время, когда он бывал ежедневно у нас в мастерской в Московском училище живописи.

Однажды он подходит к ученице, этюд которой был написан сплошной грязью. «Неужели вы так видите? – спрашивает Коровин. „Нет, конечно, но я не умею, у меня ничего не выходит. Ах, если бы вы показали, Константин Алексеевич, как это делается“. Девушка была очень привлекательной внешности, а Коровин был вообще эстет, он любил все красивое. И он согласился дать нам наглядный урок живописи. В классе стояла все та же обнаженная натурщица со светло-пепельными волосами, перед ней стояла новая табуретка, около – красивая ваза с искусственными розами – и все это на фоне различных тканей, одна из них близкая по тону к обнаженному телу, другая – густого черного бархата.

«Прежде всего очистите от грязи палитру, а кисти вымойте в нефти. Сам же я займусь вот чем». И Коровин начал ножом снимать с холста всю грязь, мало того, чистой тряпкой он стер ее елико возможно. На чистую палитру выложил свежие краски фирмы Лефранка (как вам ни покажется странным, но мы, студенты, писали лефранком). И приготовился к бою. В процессе письма Коровин его все время объяснял: «Я люблю начинать с самых густых темных мест. Это не позволяет влезть с белесостью. Колорит будет насыщенный, густой».

И он составил на палитре тон черного бархата чернее черного; туда входила берлинская лазурь в чистом виде, краплек темный и прозрачная краска типа индийской желтой – желтый лак. На грязновато-бурым холсте (вычистить его добела не удалось) был положен исчерна-черный мазок, который смотрелся посторонним телом на холсте. Далее, на палитре же он оставил теневые части различных материй и теневую часть волос, находя все тона вокруг черного бархата, цвет которого лежал на палитре, как камертон. «Видите, на палитре я приготовил эту кухню как начало для предстоящих сложных поисков дальнейших отношений». Все найденное на палитре было положено на холст, но на палитре остался след от найденного, и к нему подбиралось дальнейшее. Такой способ поисков на палитре оказался для нас новостью. Мы, как истинные поклонники непосредственной мази и возни на холсте, были удивлены таким строгим контролем над собой – и кого! – «самого» Коровина, который, как нам казалось, с лету возьмет красиво любой тон. На самом же деле под этой легкостью лежали кропотливые поиски точного. И, чтобы найти эту предельную точность, мастер цеплялся за все.

«Надо в процессе живописи быть хитрым. Вы, вероятно, видите, что мне не удастся верно взять тон ножки табуретки в тени. Вот этот тон тела в тени взят, смотрите теперь на палитру, я к нему подбираю разницу тона ножки табуретки в тени: кажется, близко, но не то, не точно. Придется написать точно окружающее, чтобы уж на верно найденном фоне безошибочно ударить». И пошли на палитре поиски «окружающего» для того, чтобы безошибочно, одним мазком «ударить» тень ножки табурета. Технически это было сделано так: когда все «окружающее» было найдено на палитре, с «найденного» было соскоблено лезвием ножа то место, где точно был составлен тон теневой части табуретки, – и все это с поразительной легкостью перенесено на холст.

Палитра в грубом виде представляла нечто вроде эскиза или подмалевка. Временами прямо на холст вмазывалась та или иная чистая краска, но основные цветовые отношения были на палитре одно к другому впритирку.

Когда Коровин закончил писать, он спросил ученицу: «Ну как, нравится?» – «Очень!». И она уже считала себя счастливой обладательницей этюда Коровина. Но он неожиданно для всех взял мастихин и счистил все написанное им. „А вот теперь пишите сами“, – закончил он свой наглядный урок.

Этот рассказ. я привел к тому, чтобы не думали «talанты», что живопись – «наитие» «вдохновение», «неведомое» и т. д. Вдохновение-то вдохновением, но под ним лежит ремесло, школа, метод.

Порой с ужасом смотришь на безалаберную мазню «вдохновенников». Помню, был у меня один ученик бурного темперамента. Он верил в «удар кисти». Отойдет, бывало, на десяток метров от натуры, потом, думая, что что-то понял, стремглав несется к холсту, опрокидывая на ходу банки с красками, табуретки, чужие палитры, так сказать, «преодолеывая трудности», задевая товарищей, и, наконец, с размаху – ляп на холст! – потом несется обратно с такой же скоростью посмотреть, «что произошло». Бедняга носился, как раненый зверь по клетке. Слышался темпераментный треск ударов по холсту. От него шарахались как от чумы. Палитра этого студента была загажена и не чищена годами, как будто она побывала в курятнике. Сам он носил халат, о который вытирал кисти под мышками. Халат с годами получился такого густого наслоения, что, когда он его снимал, халат стоял на полу, как колокол.

Но самое главное то, что на холсте ничего хорошего не происходило – беспорядочная серая мазня, и только. Я его уверял, что живопись – в общем «тихое дело». Нужно только взять краску верно, какую надо, и положить, куда надо, и все. «Не могу, темперамент не позволяет!» – отвечал он мне.

Каждый художник вырабатывает в жизни свою систему. Она будет хороша тогда, когда ведет к наиболее разумному преодолению трудностей, связанных с воплощением на холсте чувства натуры, с искусством видеть целое. Это целое – точнейшая цепочка взаимосвязей элементов живописи.

Но живопись мы понимаем не только как искусство брать точнейшие соотношения и тем самым творить живую форму предмета в пространстве. Не только разнообразие тончайших соотношений играет роль при писании живой формы натуры, но и все то, что способствует выявлению характера видимых предметов.

Мы прекрасно знаем, какую огромную роль занимает в живописи силуэт, особенно в композиции. Греческие вазы, помпейские фрески, китайское и японское искусство основаны на силуэте, на изыске его декоративной художественной формы. Итальянское искусство эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль – также придавали огромное значение силуэту, понимая его организующую роль в структуре композиции.

На ином в основе принципе построено искусство Рембрандта. Здесь, если так можно выразиться, как из аквариума, наполненного драгоценного тона живописью, выступают объемные головы, освещенные куски одежды, руки... Все это великолепно по густой лепке. Но силуэт не играет в картинах Рембранда значительной роли. Разве частично иногда выступит где-либо и сейчас же пропадает.

В живописи Веласкеса соединились два принципа: объемность реальной формы и силуэтность. Это проходит красной нитью по всем его произведениям («Взятие Бреды», «Пирующие», «Бахус», великое множество портретов и т. д.).

По-видимому, соединение этих двух начал: силуэта темного на светлом и наоборот – светлого на темном, с глубиной пространства – наиболее совершенный принцип реалистического искусства, завоевавший себе прочное положение. Шедевры мирового искусства XIX и XX веков – яркая иллюстрация этого принципа.

Понимают ли значение этого принципа наши студенты; наши выпускники? По-моему, почти нет. Разбирали ли наши заведующие кафедрами живописи значение этого принципа, анализировали ли на примерах мирового реалистического искусства организующую роль силуэта в композиции? Сомневаюсь. Вот поэтому-то так банально по композиционному построению большинство наших дипломов (на расстоянии их видишь как сумбурную смесь или заслонку). Иногда диву даешься, насколько заброшено это великое средство выразительности. Я не раз приводил в качестве шедевра композиции картину Федотова «Сватовство майора». В этой маленькой картинке настолько угадан принцип соединения силуэтного пятна и глубины пространства, что она приобретает монументальное звучание. В библиотеке Академии художеств в Ленинграде есть тысячи репродукций, которые являют яркие примеры значения силуэта, и тем не менее все это происходит как бы перед пустыми глазами студентов. Винаваты, конечно, педагоги, не объясняющие учащимся организующей роли силуэта в композиции. А иные преподаватели и сами в этом деле не разбираются».

Не правда ли, читатель, как мастерски раскрыты в этом докладе-монологе многие «тайны» реалистической живописи? Мне кажется, он интересен не только для молодых художников. Есть над чем подумать всем нам в дни, когда высокое понятие школа утрачивается все быстрее и быстрее...

* * *

Когда я закрываю глаза и засыпаю, словно переходя границу жизни и смерти, я вдруг вспоминаю, как обратился к Борису Владимировичу, приехавшему к нам из Москвы с просьбой посетить вместе со своими студентами Эрмитаж. Эта дерзость была продиктована тем, что я, будучи одним из любимых учеников Иогансона, хотел узнать, что наиболее ценит известный стремлением к колориту и многофигурности ученик Константина Коровина. Иогансон приезжал к нам, в свою мастерскую (здесь когда-то располагалась мастерская И. Е. Репина), раз в месяц. Там работали мы, студенты четвертого и пятого курсов. А Илья Ефимович Репин раньше тоже ставил здесь постановки для своих учеников, среди которых были Кустодиев, Куликов и многие другие. Все вокруг нас было овеяно памятью и духом великих русских художников.

Мы заранее оповещались, когда к нам войдет грозный вице-президент Академии. Открывалась дверь, и заявлялся он – в гробовой тишине, сопровождаемый своим неизменным ассистентом «Александром Дмитриевичем Зайцевым, который, как всегда, держал правую руку в кармане и чуть иронично улыбался, вертикальным шрамом на щеке. Весь вид его как бы говорил: „Ну вот, опять Борис приехал – наш великий гастролер, которого вы так боитесь и чтите. Но он-то уедет, а я останусь с вами. Поймете, кто здесь настоящий хозяин и воспитатель“.

Иогансон, перешагивая порог мастерской, почему-то всегда держал руки так, как премьер В. С. Черномырдин на недавнем предвыборном плакате «Наш дом – Россия».

В верхнем свете мастерской его глаза были серыми – а иногда, особенно весной, даже голубыми (тот самый рефлекс, о котором Энгр говорил, что это – господин, стоящий в дверях и который вот-вот должен уйти. Как известно, импрессионисты утверждали прямо противоположное: все в мире – рефлекс. И потому многие художники по сей день понимают живописность не как единство цвета и тона, а как набор дребезжащих разноцветных мазков, разрушающих это единство; «Натура», Эрмитаж и русский музей учили нас видеть по-другому. Я и по сей день считаю, что разложение цвета – это начало катастрофы искусства: субъективность впечатления, становящаяся каналом навязывания «манеры» видения. Иогансон любил рефлекс, но в меру).

Глядя поверх нас, но прежде всего на обнаженную модель, которую мы писали, Борис Владимирович почему-то сразу подходил к моему соседу (нас было 15-20 студентов), румынскому студенту Петрику Акиение, с которым я дружил и даже изучал с его помощью азы румынского языка. Иогансон неизменно спрашивал его: «А вы к нам откуда приехали?» «Я приехал из Румынии», – всякий раз смущенно отвечал

Патрик. Скользя мимо его холста взглядом, Борис Владимирович, не переставая держать руки домиком, нервно ударяя пальцами о пальцы, убежденно и душевно констатировал: «Это хорошо: пишите, пишите!» Через несколько минут он подходил ко мне и, кладя сзади руку на плечо, другой надевал очки: «Ну, а что тут наш Илья делает?» Притихший Зайцев и студенты удивлялись, что он называл меня по имени.

У нас в ту пору позировала для портрета черноволосая студентка из консерватории. Я хотел, используя технологию старых мастеров, вначале уделить внимание только форме, делая темперой так называемую гризайль, как учили старые мастера в Эрмитаже. А. Д. Зайцев не одобрял моих стремлений использовать уроки Ренессанса: «Не выкобенивайся, пиши все а ля прима, без всяких подготовок и „подкладок"! Все равно Рембрандта не переплунешь. Бери прямо краски с дощечки на холст, не мудрствуй лукаво».

Вытащив руку из кармана пиджака, грозно предупредил: «Вот приедет Иогансон, он тебе даст по башке за твои кривлянья». Его кулак словно стукнул по воздуху. И он продолжал в тишине притихшей мастерской: «Тебе же поставили тройку на обходе за увлечение Врубелем; перед тобой натура, передавай ее без дураков, в упор, а ля прима».

Вспомнив эти слова Зайцева, высказанные накануне приезда мэтра, мои товарищи с интересом смотрели из-за мольбертов на Иогансона, подошедшего к моей темперной гризайли. Через очки он внимательно посмотрел на мою начатую работу и вдруг неожиданно обернулся к застывшему и, как всегда, держащему руку в кармане Зайцеву: «Саша, ты ему не мешай – я понимаю, чего он хочет. Он молодец». И, обращаясь ко мне, деловито спросил: «Ты темперой, что ли, подготовку делаешь?» «Темперой», робко ответил я, внимательно следя за сужившимися глазами Зайцева. «Венецианцы любили делать подготовку темперой», – ни к кому не обращаясь, сказал Борис Владимирович. И тут же бросил почтительному ассистенту: «Его работа „Последний автобус“, – он домиком сложенных ладоней показал на меня, – говорит о его романтизме, стремлении увидеть в буднях их внутренний смысл. Пускай ищет, не грызьте его».

Этот портрет девушки, к слову сказать, сохранился у меня и по сей день. Он был несколько раз напечатан в монографиях, посвященных моему творчеству. Завершая анализ моего скромного холста, профессор Иогансон заключил: «Конечно, мой учитель – Костя Коровин не так писал. „Смотри на природу глазом быка“, – говаривал он нам. Это значит – передать красоту отношений, взяв их точностью реалистического видения! Ну, а венецианцев изучать надо, здесь нет ничего плохого».

Я стоял близко от своего учителя и рассматривал его лицо: лысеющая голова, прилизанные волосы, делающие его покатым лоб большим, очень нервный рот с тонкими губами. Мне иногда казалось, что он похож на усталого клоуна из персонажей Вертинского. Лицо его напоминало маску, которую он должен смыть, как грим после спектакля. Очень непростое лицо. О чем он думает на самом деле? Он никого не пускал в свою душу.

Мой друг, работавший с ним в «творческой бригаде» по созданию картин, рассказывал, как они трудились над огромным полотном „Ленин на съезде комсомола“. Эта картина должна быть известна читателям, потому что висела в Большом Кремлевском дворце и всего несколько лет назад была снята. Иогансон лично трудился над образом Ленина – стоя на лесенке, с засученными рукавами клетчатой серой рубашки.

Образы Ленина у многих ленинградских художников чем-то напоминали друг друга. Говорили, что это происходит потому, что все они были написаны с одного и того же натурщика, удивительно похожего на Ленина. Да и ходил он одетый, как Ленин, от кепки до ботинок с загнутыми вверх носами. Плату он брал во много раз большую, чем другие натурщики, понимая свою значимость для создателей историко-революционных полотен. Я его однажды увидел в академическом коридоре, когда он шел твердой ленинской походкой. Сходство поразительное – даже красный бант на отвороте пальто с бархатным воротничком! И вот он, открыв дверь творческой мастерской Иогансона, увидел мэтра с палитрой в руках, быстро уловил позу Ленина, над которой трудился Иогансон, принял ее и громогласно спросил: «Вам Ленин нужен?» Спустившись с лесенки, вице-президент Академии, пристально разглядывая застывшего в позе Ленина, зычно рявкнул: «Мне такого Ленина не нужно, пошел отсюда к едреной матери. Закрой, подлюга, дверь с обратной стороны».

Другие очевидцы этой сцены рассказали мне, с какой поспешностью это проделал незаменимый для многих ленинградских художников «Ленин».

Иогансона все боялись... И потому, возвращаясь к моему рассказу о просмотре им наших работ, продолжу: услышав похвалу и одобрение моего желания приблизиться к технике старых мастеров, я, набравшись смелости, выпалил: «Борис Владимирович, мы все мечтали бы сходить с Вами в Эрмитаж».

Иогансон на минуту задумался, и я успел заметить лишь пробор побагровевшего Зайцева, который тихо вздохнул: «Ну и ну».

Борис Владимирович вдруг очень просто ответил: «Ну что ж, айда, давайте сходим. Я, кстати, давно не был в Эрмитаже». Обращаясь к Зайцеву, спросил: «Ну что, завтра в два часа дня?» «Я не могу, – буркнул тот. – У меня в два совет». Иогансон, как старый Пьеро, иронически улыбнулся: «Ну вот и сиди на своем совете, а мы одни сходим».

Итак, на следующий день мы встретились у служебного входа Эрмитажа. Пришел и Зайцев. Все пришли как на праздник. Проходя по залу Рембрандта, Иогансон остановился перед «Блудным сыном»: «Вот моя любимая картина». Словно с его лица сняли знакомую нам неприступную маску Пьеро, исполненную, я бы сказал, амбициозного пафоса, сознания значимости своей личности с истерически жестокой надменной складкой рта. Это было лицо истинного художника.

Помню, была тревожная петербургская весна. За окнами Эрмитажа по синей Неве плыл и крошился весенний лед Ладоги. Иогансон, словно спохватившись, сказал, подведя нас к «Апостолам Петру и Павлу» Эль Греко: «Я вам лекций не намерен читать, я лишь показываю, что я люблю и что на меня производит особое, неизгладимое впечатление». И неожиданно для меня изрек: «После Эль Греко не плохо бы посмотреть Сезанна с его густой живописью».

«Ну и ну, – на этот раз совсем как Зайцев удивился я, – при чем тут Эль Греко и Сезанн?» Я не любил, не люблю и никогда не буду любить Сезанна, с которого начинаются все монографии о «современном» искусстве. грубый материализм, дилетантство формы и это пресловутое: все в мире можно разделить на куб, конус и шар. Здесь рукой подать до Карла Маркса – материалиста и сатаниста, разбившего человечество, подобно тому, как Сезанн природу, на вымышленных пролетариев и буржуев. Сезанн открыл пути к кубизму и сменившему его авангардизму.

Я на всю жизнь запомнил и остался благодарен моему учителю, что он открыл для меня значение великой картины Креспи «Смерть Иосифа». Какая великолепная композиция, какие поэтические рифмы тона и цвета, как скорбно лицо умирающего Иосифа! И сейчас, когда я пишу эти строки, словно стою в Эрмитаже перед этой гигантской картиной и глаз не могу оторвать от дивной певучести ее композиции. Как мало мы знаем о Креспи, дивный голос которого звучал в хоре великих художников позднего Ренессанса и последующих бурных столетий великой духовности Европы!

Моя первая выставка, изменившая мою жизнь

Итак, моя первая выставка состоялась в начале февраля 1957 года благодаря тому, что в 1956 году я стал обладателем Гран-при Всемирной выставки молодежи и студентов в Праге. Я храню благодарную память о тех людях, которые тогда поверили в меня и поддержали никому не ведомого ленинградского студента института имени Репина. До отъезда в Москву я почтительно зашел к нашему ректору, чтобы испросить разрешения на открытие, выставки сроком в две недели в Центральном доме работников искусств в Москве. Виктор Михайлович с некоторой брезгливостью ответил: «Вс-с-туденче-ские к-каникулы с-с-студент м-м-может делать, что х-х-х-очет». Он импозантно сидел в кресле, как всегда с гладко зачесанными назад сидящими волосами, глаза маленькие, расстояние от носа до верхней губы – большое... Лицо его задергалось конвульсией, свойственной многим заикам: «На-на-надеюсь, вы будете в-в-выставлять не у-учеб-ные р-работы? Если да, то на это н-нужно особое ра-ра-разрешение ученого совета». Я ответил ректору, что это работы домашние и не имеют никакого отношения к учебным программам. Орешников отмахнулся: «Т-т-тогда вы мо-можете их в-вы-ставлять б-без нашего р-разрешения, как м-молодой ху-ху-художник. Тем более в с-с-сво-бодное от учебы в-в-время». Аудиенция длилась несколько минут, и я, зная его нерасположенность к беседам со студентами, поспешил ретироваться, поблагодарив за внимание.

* * *

Мои восемьдесят работ – живопись и графика – наконец были развешены в большом зале ЦДРИ и прилегающем к нему коридоре. Помню, идущий в ресторан Дома знаменитый актер, заглянув в зал, бегло осмотрев висащие работы, выдохнул: «Ого, а как фамилия художника?». «Илья Глазунов», – ответила моя жена Нина. «Родственник композитора Глазунова?» – продолжал допрос актер, словно сошедший с экрана кино. «Нет, однофамилец», – хором сказали мы. Разглядывая образы Достоевского, он продолжил: «Силища! А художник-то помер или живой?» «Пока живой», – ответил я первому посетителю моей выставки.

Директор ЦДРИ Борис Михайлович Филиппов, небольшого росточка, с седой копной волос, заходил со своим неизменным другом, голова которого была выбрита, как у Юла Бриннера, – Михаилом Минаевичем Шапиро. Они о чем-то шептались, глядя на мою работу, на которой был изображен «черный ворон», съезжающий в сторону «большого дома» на Литейном проспекте, по зелено-утреннему небу неслись рвано-косматые облака, прищемленная дверью «воронка», женская юбка алела, как сгусток крови. «Ильюша, – обратился ко мне Борис Михайлович, – может быть, эту картину снимешь. Ежу ясно,

что это 37-й год... – И потом добавил: – И так много трагедии – Достоевский, блокада, будни города». Глаза у моих благодетелей выражали настойчивость, в которой сквозила опасливость. «Но официально, – сказала Нина, – можно сказать, что это о молодогвардейцах: тяжкие годы немецкой оккупации». Борис Михайлович усмехнулся и не в первый раз сказал: «Партбилет у меня один, а дураков нет! Наверняка скажут, что „Русский Икар“, как ты его называешь, – это икона, а у „Поэта в тюрьме“, Фучика, связаны руки... Неважно, что рядом висит свидетельство о получении тобою Гран-при».

В результате долгих переговоров и пререканий мне пришлось снять только одну картину – «Бунт», в которой они заподозрили отражение недавних венгерских событий: в гамме этой работы они усмотрели сочетание цветов флага венгерских повстанцев.

* * *

Я не спал всю ночь перед открытием выставки. Нежная и сильная духом, мой ангел-хранитель Нина, глядя на меня с любовью, успокаивала меня, тихо поглаживая по голове: «Ты победишь! Ты должен их всех победить. Если де ты, то кто же?» – улыбнулась она своей чарующей улыбкой.

...И снова нахлынула волна воспоминаний. Жили мы тогда, по приезду в Москву, в крохотной ванной комнате у столь любимой мною, чудесной и трагически одинокой Лили Ефимовны Поповой. Вторую комнату, поменьше, занимала красавица Любочка Миклашевская – с зелеными глазами и чувственным ртом, с чуть презрительно опущенными уголками ярко накрашенных губ. Любочка была не только красива, но и умна, дружила со многими писателями, режиссерами, художниками. В ее комнате всегда стояли цветы: Вскоре она стала женой великого пианиста Якова Флиера.

У Лили в углу стояла урна с прахом ее вечно возлюбленного Владимира Николаевича Яхонтова – великого чтеца и актера, погибшего при странных обстоятельствах в 1947 году. Говорили, что это было самоубийство. Лиля не любила говорить об этом.

С какой радостью я входил в старый московский дворик бывшей дворянской усадьбы! Теперь здесь, перенесенный с бульвара, грустит одинокий Гоголь – творение скульптора Андреева. Там, где памятник находился раньше, – на бульваре, высится теперь истукан, внешне похожий на Гоголя, работы советского скульптора Томского. Справа от памятника Гоголю – флигель, где произошло знаменитое «самосожжение» жившего здесь гениального писателя. Налево – вход в другой флигель, где на первом этаже жили мои друзья, которым я столь многим обязан. И теперь, по прошествии стольких лет, когда я вновь захожу в знакомый дворик, с грустью смотрю на окна первого этажа. На них появились стальные решетки, а входная дверь превратилась в железную и наглухо, будто стальной сейф, захлопнута для «посторонних». На фоне гигантских «коробок» Нового Арбата долго смотрю в грустное, задумчивое лицо Гоголя, так прекрасно увековеченное в бронзе талантом русского скульптора. В пропастях между безликими колониальными небоскребами клубятся, словно объятые пламенем, вечерние облака. Я вспоминаю далекие дни, когда дверь в мою юность была распахнута, а не замурована новыми владельцами старого особняка...

Но возвращаясь к событиям вокруг выставки – к началу февраля 1957 года. Никогда не забуду море людей, пришедших на открытие выставки неизвестного ленинградского студента. Волны зрителей, как прибой, нарастали с каждым днем. А в день обсуждения выставленных мною работ накатил просто «девятый вал», для укрощения которого была вызвана конная милиция. Я пребывал словно в полусне – все происходящее казалось мне миражем. Величайшее счастье для каждого художника – вот такая жгучая реакция зрителей, на суд которых вынесены результаты его одиноких размышлений, крики отчаяния, сплав веры, любви и ненависти. Боже мой, неужели я нужен людям, неужели могу влиять на них! Неужели, наконец, мое одиночество рассыплется в прах от дружеских объятий, сердечных рукопожатий и слов душевной благодарности к никому доселе не нужному и не известному труду?

В разгар выставки вдруг раздался звонок из Ленинграда, и мой друг сказал, что я исключен из института. «Вражьи голоса» вещали о том, что советское искусство размораживается, что никто не ожидал такого смелого и яростного удара по искусству социалистического реализма. Выставку посетил министр культуры Н. А. Михайлов, который привел с собой польского посла. ЦДРИ был забит зрителями, когда шло обсуждение выставки. Запомнилась одна из восторженных записок, подписанная неизвестным мне тогда именем – Евгений Евтушенко, который вместе со своей женой Бэллой Ахмадулиной – тоже поэтессой, хотел встретиться со мной. Помню лица молодых Миши Козакова, Марика Хромченко, темпераментного Василия Захарченко... Выступавшие говорили, что наконец они увидели в картинах молодого художника Ильи Глазунова долгожданную правду жизни, затоптанную в землю ликованием и парадами социалистического реализма. Много раз на моей выставке я видел Юрия Олешу, многих других писателей, музыкантов, поэтов и даже молодых восторженных

художников. Спустя несколько лет один из них, слушая своих друзей – авангардистов, поносивших меня, сказал: «Что бы вы ни говорили об Илье Глазунове, скажите ему спасибо, что он первый подставил бесстрашно грудь под пули наших общих врагов. Без него и вас бы не было – так бы и пробоялись всю жизнь!...»

К сожалению, эта моя первая атака на великую ложь официального искусства сегодня старательно замалчивается как нашей, так и мировой прессой. Очевидно, потому, что мне были чужды в одинаковой степени как догматы соцреализма, так и великая ложь и террор авангарда «передового коммунистического искусства» 20-х годов. Да, я против бездушного натурализма и абстракционизма во всех формах и проявлениях!

За несколько дней до закрытия выставки мне снова позвонил мой друг из Ленинграда и обрадовал, что меня восстановили в звании студента и я получу стипендию. Рассказывают, что это произошло так. Когда побывавший на моей выставке министр культуры СССР Михайлов на одном из официальных приемов в лоб спросил у Иогансона: «Глазунов ваш ученик?» – Иогансон (я представляю его лицо в этот момент!) ответил: «Он не мой ученик, а в настоящий момент даже не студент института имени Репина – мы его исключили». Министр коротко ответил: «А я бы от такого ученика не отказался, пусть наша молодежь дерзает!» К этому добавлю, что через некоторое время бывший комсомольский лидер, ставший министром культуры, возглавил кампанию травли против меня, называя «идеологическим диверсантом». Но тогда, после его реплики о пользе дерзости, меня восстановили в институте – наверняка потому, чтобы не раздувать скандал в мировой прессе, да и не злить людей, терпеливо выстаивающих, чтобы попасть на выставку, огромные «хвосты» очередей.

Из выступления печати у меня сохранилась статья критика Анатолия Членова, того, которого я уже упоминал в связи с его выступлениями против Александра Герасимова. Хочу привести отрывки из этой статьи. Я с благодарностью храню ее по сей день. Называлась она «Искания молодости» и была напечатана в «Литературной газете».

«Персональная выставка молодого студента-художника, скажем прямо, вещь необычная. А ленинградец Илья Глазунов, чья выставка сейчас открыта в ЦДРИ, по-настоящему молод – и потому, что ему 26 лет, и потому, что он охвачен молодой жадой открытий и свершений...

Одна из тем Глазунова – любовь. Глазунов пишет о любви снова и снова, во всем ее увлечении, тревогах, упоении, разлуках, замирании сердца, как писали о ней в русской поэзии. Первый поцелуй среди пустого хмурого двора, горечь расставания на аэродроме, хмельной ветер, овевающий влюбленных на весенней набережной, скамья в парке белой ночью, голова любимого, прижатая к груди... Один из рисунков называется «Ушла». Метель крутит снег над Невой, мужчина с поднятым воротником стоит спиной к нам и глядит вдаль, и снег заносит следы торопливых шагов «ее». Картина «Утро» посвящена, напротив, полноте счастья. Юноша стоит у распахнутого окна. За окном голубое утро и панорама Ленинграда с величественным куполом Исаакя. А его любимая, юная и прекрасная, еще покоится в полусне.

Изображение нагого тела в нашей живописи, скажем мягко, не поощрялось. Ханжи и доктринеры, администраторы от искусства с завидным успехом пытались изгнать из обихода живописи социалистического реализма, как «безнравственный», бессмертный мотив, вдохновлявший столько великих реалистов! В последние года три у нас происходит его возрождение, но, ах, это все одни купанья да физкультурзарядки. А классические Данаи и Венеры покоились на ложе любви – и ничего, в безнравственности не упрекнешь... Нельзя не похвалить Глазунова за смелость, с которой он нарушил нелепейшее табу и вернул этой теме земную прелесть и поэзию чувств.

А возле новые и новые мотивы – страшные образы «Блокады», «Голода» снедаемые душевными терзаниями лица героев Достоевского, сам Достоевский, облокотившийся у трактира на балюстраду петербургского канала, сумрачный, погруженный в думы. Дальше лицо блоковской «Незнакомки», сам Блок, уголки Ленинграда, множество портретов (все больше людей искусства).

Глазунов чуток к темам трагического звучания, да это и не удивительно – он потерял в ленинградскую блокаду отца и мать. Когда смотришь его работы этого плана, понимаешь, что страдания и утраты для него не пустое слово. Видимо, поэтому он умеет в ленинградском пейзаже подметить не только лирические и величавые черты, но и то, что созвучно таланту Достоевского и Блока, он умеет представить себе в прошлом «страшный мир» и людей, «обожженных языками преисподнего огня».

Не обладай Глазунов глубоким чувством трагической коллизии, он не создал бы и своего Фучика, не задумал, бы и «Дорог войны». Страстность – одна из наиболее сильных сторон его таланта. Вместе с тем здесь сказывается и юношеская неопытность, порой он «рвет страсть в клочья». Широко расширенные глаза уместны в портрете вдовы трагически погибшего артиста Яхонтова, уместны и в образе Настасьи Филипповны из «Идиота», но когда такие расширенные глаза видишь в целом ряде работ, поневоле вспоминаешь, что есть на свете и другие средства выразительности.

Хорошо, что мы увидели эту выставку. И неплохо бы закрепить добрый почин ЦДРИ, сделав его малый зал постоянной творческой трибуной молодых художников, московских и иногородних. Серия небольших персональных выставок молодежи будет как нельзя более уместна накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве»^[73].

Я привел выдержки из статьи Членова как свидетельство благожелательности и желания оградить меня от приклеивания политических ярлыков. Но «исканий» у меня никогда не было. Надо находить, а не искать. Даже Пикассо обронил: «Нельзя искать того, чего не потерял». Я всегда знал то, что, хочу выразить. Муки творчества это есть поиск и воплощение в форме замысла –мыслеобраза художника.

Известный и почтенный искусствовед Машковцев в коридоре ЦДРИ тихо, чтобы не слышали рядом стоящие и ждущие автора люди, сказал: «Берегитесь: Ваша выставка есть полное отрицание социалистического реализма. Правда жизни и поэтичность видения – основа Вашего успеха. На будущее счастье социального рая у Вас и намека нет. Вам будут шить политическое дело – так легче уничтожить. За „мракобесие“, за Достоевского, которого Вы так чувствуете, сажали и сажать, очевидно, будут... Вы показали одиночество человека, уставшего от лжи... Вы русский художник, и это все объясняет. Вы вступили на свою Голгофу». Машковцев, пожилой, чуть болезненный в движениях, смотрел на меня изучающе. Заметив, что нас окружает все плотнее и плотнее кольцо зрителей, нагнулся к моему уху и прошептал: «Скажу одно: Вы художник пламенной души и отважного таланта».

Из Харькова приехал молодой художник Брусиловский, ныне один из столпов современного авангарда. Помню, крутил головой и говорил, что моя выставка поможет расковать наше искусство, поможет всем молодым художникам. Мы до сего дня уважительно относимся друг к другу – хоть пути наши разные. Кто только не побывал в ЦДРИ за 14 дней! Очень запомнилось выразительное лицо Паустовского, книги которого я так любил.

Я возвращался в Ленинград исполненный тревоги, в ожидании последствий моего выступления, которое никто не сможет вычеркнуть из истории русского искусства. «Антиконформист №1 Советского Союза»! Держись, Илья, – мы с тобой!» (из книги отзывов, февраль 1957 Г., ЦДРИ).

* * *

Чтобы завершить рассказ о Борисе Владимировиче Иогансоне, упомяну еще, что благословив меня на первую выставку в Москве во время студенческих зимних каникул, он не нашел времени посетить ее. Я долго звонил в его дверь на Масловке, пока она не открылась. Видимо, горничная, а по-советски домработница, взяв у меня пригласительный билет, тут же захлопнула дверь, сказав: «Сейчас». Я услышал сквозь дверь приглушенный голос учителя: «Скажи, что меня нет дома. Некогда мне по разным выставкам шастать!» Приоткрыв дверь, пожилая домработница ответила, что передаст приглашение Борису Владимировичу, которого сейчас нет дома.

Выставка «ударившего ножом в спину соцреализма» Ильи Глазунова прогремела с великим шумом и триумфальным успехом – так писали западные газеты. Среди многих тысяч людей, посетивших ее особенно запомнился Игорь Эммануилович Грабарь, сказавший мне добрые слова.

Сопровождавший его человек предложил: «Игорь Эммануилович, напишите о молодом художнике, поддержите его, если он вам так нравится». Позднее узнал, что, придя домой, Грабарь вынес такой приговор: «Думаю, что его растопчут. Он как с неба упал. Парень талантливый. Если буря не размажет его, может быть, и напишу о нем. Надо подождать! Думаю, ему никто не простит этой выставки»...

А вот мой учитель не стал ждать и после того, как я получил за диплом тройку и был назначен учителем черчения в провинцию, выступил против своего бывшего ученика. Б. В. Иогансон заклеил, вернее прямо-таки расстрелял своего ученика, думая, что я никогда не воскресну. После выдачи такого по-советски продуманного «волчьего билета», после безжалостного приговора передо мной, если бы не хрущевская «оттепель», могли бы распахнуться ворота архипелага ГУЛАГ. Но и «оттепель» повеяла на меня холодом вечной мерзлоты.

Вот что написал о своем еще недавно любимом студенте вице-президент Академии художеств в своей программной статье «Путь, указанный партией», напечатанной в газете «Советская культура» 19 октября 1957 г. (через год он уже стал президентом Академии художеств СССР):

«В статье Н. С. Хрущева „За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа“ со всей отчетливостью выражена позиция партии по коренным вопросам дальнейшего развития советской социалистической культуры. Этим документом партия еще раз подтверждает незыблемость основных принципов, которыми она руководствуется в вопросах литературы и искусства на протяжении всего существования Советского государства. Наша задача состоит в том, чтобы, поняв идейные богатства и принципиальное значение этого партийного документа, сделать из него практические выводы для своей работы...

...Нашлись, однако, в нашей среде отдельные товарищи, которые пытались реабилитировать формалистические направления. На страницах наших газет и журналов снова было замелькали имена представителей формалистического искусства Запада. Авторы некоторых статей старательно толковывали советскому зрителю, что это будто бы великие художники, «открыватели» новых горизонтов в искусстве.

К большому нашему огорчению, эти идеи проповедуют авторитетные деятели литературы и искусства. Так, например, И. Эренбург не раз выступал с апологетическими восхвалениями ряда последовательных формалистов современного изобразительного искусства Запада.

Что же удивляться после этого, когда студент художественного вуза И. Глазунов возомнил себя новоявленным «гением» и организовал свою персональную выставку. Мы считаем необходимым в интересах дела установить первопричину такого явления. Студент Глазунов не виновник, а скорее жертва безответственных выступлений, подобных тем, о которых мы только что говорили. Молодой человек рассудил просто: «Если произведения формалистов – это искусство, а я без труда могу сделать штучки в этом роде не хуже, то почему и мне не прославиться!» И ведь не ошибся – прославился. Нашлись организаторы выставки – не кто-нибудь, а дирекция Центрального дома работников искусств. Нашлись пропагандисты его творчества: «Литературная газета» предоставила свои страницы критику А. Членову, который беспомощные декадентские кривляния охарактеризовал как «жажду открытий и свершений».

Нужно прямо сказать, что опасность распространения подобных тенденций в нашем искусстве бала налицо. И сегодня партия оказала неоценимую помощь художественной интеллигенции в решении сложных и острых вопросов борьбы с идеологическими извращениями в области искусства...»

Жесткая позиция партийных инстанций и руководства Союза художников СССР заставила Иогансона унижаться до политической клеветы. Кто-кто, а уж он-то знал, что мне всегда были чужды «формалистические штучки» и «культура» современного Запада. Но политический ярлык, выдуманный моим учителем, навсегда снял с него вину за появление непокорного «новоявленного гения».

Ополчились против меня, действительно, все. По окончании института имени Репина Академии художеств СССР я никогда больше не встречал Бориса Владимировича. Правда, пару раз мы оказались вместе то ли на приемах, то ли на открытии каких-то выставок, но он сделал вид, будто меня не замечает. Однажды я попытался заговорить с ним об охране памятников архитектуры нашей древней столицы. Но, увы, отклика не нашел. Что поделаешь, «партия всегда права»...

Не помню, кто из художников клятвенно заверял меня, что Борис Владимирович. Иогансом закончил дни свои в сумасшедшем доме, будучи почти ослепшим. Говорили, что там, в палате, он прятался за кресло, и оттуда доносились его скорбные слова: «Боже, Боже, за что ты меня так караешь?» До сих пор не знаю, правда это или домыслы недоброжелателей...

Я не держу зла на моего учителя, верой и правдой служившего советскому режиму. «Прощайте врагов ваших». И потому в моей памяти живут незабываемые минуты, когда ученик Константина Коровина подвел нас, молодых и чистых в своих помыслах художников, к картине Рембрандта «Блудный сын», и мы в почтительном молчании в который раз пытались осознать великую драму человека, который после страшных мытарств вернулся в отчий дом, чтобы, преодолевая смертную муку вины и боли, стоя на коленях, целовать одежду ослепшего отца, так долго ждавшего его возвращения...

* * *

Сегодня, когда рушится все и вся вокруг, мне подарили две ксерокопии из Центрального архива общественных движений г. Москвы (бывший Московский партийный архив). Думаю, что эти документы заинтересуют моих читателей, а некоторых скорее заставят задуматься и многое переосмыслить в «феномене Ильи Глазунова», как любила говорить обо мне американская пресса.

Из информации зам. зав. отделом науки и культуры МГК КПСС Е. Соловьевой секретариату горкома. 7 февраля 1957 года. «О выставке ЦДРИ живописи студента Ленинградского института им. И. Е. Репина Ильи Глазунова в дни зимних каникул» (см. ЦАОДМ, ф.4, оп. 104, д. 12, лл.6-9). Идею выставки подали Яков Флиер (пианист), Б. Филиппов (директор ЦДРИ) и члены правления ЦДРИ Б. Ефимов и О. Лепешинская.

Выставка не согласована с МОСХом и Главным управлением ИЗО Министерства Культуры и другими организациями, вт. ч. с Б. В. Иогансоном – учителем Глазунова, в то время как известно, что в персональные выставки студентов, как правило, не проводятся.

...Дирекция института им. Репина и тов. Б. В. Иогансон, когда узнали, что открылась выставка Глазунова, возмутились этим вопросом. Они считают, что в творчестве Глазунова много путаного, есть тенденции увлечения импрессионизмом, декадентством, в некоторых картинах проявляются упадничество

и пессимизм. И нельзя было предоставлять ему такую площадку, как ЦДРИ. Это не приносит пользы ни ему как художнику, ни окружающим (л. 7).

И далее:

...Но выставка активно посещалась молодежью. 5.2.1957 г. состоялось обсуждение выставки Глазунова, присутствовало более 1000 человек, главным образом студентов. Люди толпились в коридорах, толпа на улице слушала выставленные динамики.

Председательствовал на обсуждении художник Яр-Кравченко. В прениях выступил Ральф Паркер, б. работник английского посольства, живущий в Москве. Он говорил, что все течения в искусстве имеют право на существование, говорил о необходимости свободы в творчестве художника. Были другие подобные выступления, прерываемые аплодисментами и выкриками: «Надоело официальное искусство!», «Глазунов – это свежее слово в живописи!» и т. п.

На другой день Филиппов (директор ЦДРИ) был вызван в МГК КПСС. Тот сообщил, что в подготовке выставки активную роль играл ЦК ВЛКСМ, она была утверждена Главлитом, на ней дважды побывал и весьма одобрил Министр культуры Н. А. Михайлов.

Вопрос о выставке И. Глазунова обсуждался на Бюро МГК КПСС. Было решено: ни одно культурное мероприятие не должно проводиться в Москве без ведома горкома партии.

Из стенограммы совещания художников в ЦК КПСС 22 и 23 Февраля 1957 г. (См. Центр хранения современной документации (бывший архив ЦК КПСС), ф.5, оп. 36, д.47, лл...11-15, 23 и 181).

(Совещание состоялось накануне съезда Союза художников РСФСР. Его открыл секретарь ЦК Д.Т. Шепилов. – И.Г.)

Иогансон Б. В. (председатель оргкомитета СХ) – Благодарит партию, правительство за заботу о советских художниках.

«...Мне кажется, что одним из центральных творческих вопросов является вопрос о границах реализма. Где пределы многогранного реалистического искусства, после которых уже начинают проступать черты иного искусства?

Я не употребляю сознательно слово «формалистическое» искусство потому, что не так просто определить начало формализма... Импрессионизм был началом отхода от реализма, и он вошел как сезон в искусстве, который возвестил о том, что следующей формой может быть конструктивизм, сведение к геометрическим формам – куба, призмы, цилиндра, шара. Отсюда пришел кубизм и все прочие несчастья. (Своим студентам он советовал «иногда посматривать на Сезанна! – И.Г.).

Что эта удобная для упрощенчества схема дает в практике советского искусства? Среди советских художников можно сейчас найти поклонников кубизма, но тем не менее, может встать вопрос о том, что было положительного в импрессионизме. Этот вопрос об импрессионизме и является главным. Он довольно ясен. Есть прекрасные цветы в этом течении искусства, и их надо четко назвать, почему они прекрасны, и есть ядовитые цветы целого ряда течений и направлений, запах которых не дар природы, а искусственно созданный, не выражающий своеобразие человека. Мы знаем, что ядовитые газы могут пахнуть сиренью, и наша неопытная молодежь иногда принимает искусственное за настоящее и поддается влиянию враждебной нам идеологии...

Расскажу яркий пример. В институте имени Репина в Ленинграде есть, студент Глазунов, который путем долгих усилий добился того, что попал после третьего курса в мою мастерскую. Он так себе, средних способностей по своим данным как живописец. Я поощрял его за то, что он, не в пример своим товарищам, много работал над эскизами, много времени посвящал историческим темам... Но в дальнейшем его работы начали приобретать специфический характер, налет пессимизма, соединенного с урбанизмом. Например, серые камни, девушки с истощенными лицами и с огромными глазами. Здесь страх перед жизнью, вроде как бы любовь нерожденных душ, одним словом Достоевщина. К тому же все это выражено в той полудилетантской форме утверждения дурного вкуса, который так процветал в предреволюционные годы.

Конечно, я старался убеждать его лаской, что это совсем не то, что ему нужно делать. Но он уже хлебнул поощрения иностранцев, которые стали бывать в его дипломной мастерской.

Вместо колхозной темы он летом, когда студенты уезжают на летнюю практику, с разрешения дирекции закатил огромный холст 4 метра на 3 по эскизу, отвергнутому Ученым советом и мною, на тему «По дорогам войны»^[74]. Что представила из себя эта картина? Кровавое небо с летящими черными воронами, группа беженцев, лежат девушки в позах, вызывающих определенные мысли, то есть та остринка... ужасов, которые так притягательны и поощряемы некоторыми деятелями за рубежом в пику, как они выражаются, пресному социалистическому реализму...

Недавно я узнал, что Центральный дом работников искусств устроил персональную выставку работ Глазунова, что она имела раздутый успех, что на выставке был американский посол, что при обсуждении выставки выступил студент МГУ (! – И.Г.), журналист Паркер с требованием свободы искусства, говорилось о том, что наряду с социалистическим реализмом должны расцвести другие методы и т. д. и т. п.

Совершенно ясно, что выставка Глазунова явилась только поводом для тех идеологических диверсий, от которых мы не застрахованы ни на одну минуту. Я этот пример привел, как характерный пример «работы» среди молодежи...

Мы пришли сюда, в это дорогое нам и высокоавторитетное учреждение, как ссорящиеся дети к отцу. Мы знаем, что отец рассудит и скажет веское слово, пожурит нас, но всегда поможет (напоминаю: совещание было в стенах ЦК КПСС – И.Г.).

Алпатов М. В. – «...В отдельных случаях можно заметить и другие недостатки (в искусстве), например, объективизм, граничащий с фотографизмом, который не удовлетворяет современного зрителя, или какая-то растерянность и готовность к всякого рода вывихам, как у молодого Глазунова, что очень подробно и правильно охарактеризовал Б. В. Иогансон.

Я должен здесь только отметить, что не сам по себе Глазунов должен привлечь наше внимание, а тот факт, что он обратил на себя внимание и что несомненно имеет успех, несмотря на то, что наша пресса ничего для этого не сделала, имеет успех потому, что довольно много элементов однообразия, серости, потому, что здесь действительно видим очень невысокое качество и неглубокое, поверхностного характера стремление только к эффекту, к остроте ради остроты...»^[75].

Герасимов С. В. – назвал в своем выступлении Илью Глазунова «шпингалетом», хотя показал отношение весьма мирное.

Рюриков Б. (Отдел культуры ЦК КПСС) «...Глазунов молодой, по-моему способный художник. По его работам видно, что у него есть искра божья, но он еще не сформировался ни идейно, ни художественно. у него нет устойчивости ни в мировоззрении, ни в художественных приемах. Вместо того, чтобы спокойно, с профессиональным анализом и товарищеской критикой помочь начинающему художнику преодолеть его недостатки и шатания, твердо встать на верный путь в искусстве, вокруг выставки создали атмосферу ажиотажа. Одни поспешили произвести его в скороспелые гении, другие, наоборот, видят в нем только плохое. Это, я считаю, мешает росту молодого художника...»

* * *

Из текста стенограммы видно, как рьяно взялись за дело Ильи Глазунова верные борцы за чистоту партийной идеологии. Против меня стала работать запущенная моим учителем машина советского бюрократического тоталитаризма. Вот уже почти сорок лет назад состоялась эта судьбоносная для меня выставка, после которой я скитался по углам московских общежитий, жил у новых друзей в ваннх комнатах, работал грузчиком, нанимался ради московской прописки (но, увы, безуспешно) кочегаром в бойлерную. Пятнадцать лет меня не принимали в Союз художников, я никогда не имел и не имею официальных заказов и государственных премий^[76]. Меня шесть раз прокатывали злобствующие академики на выборах в члены-корреспонденты. Последний раз это было в 1995 году. Времена меняются, а ненависть официальных художников и равнодушие меняющихся властей остается^[77].

Клеймо «идеологического диверсанта» потом заменили новыми: «церковный художник», «салонный портретист», «сомнительная духовная пища», «вообще не художник». Теперь навесили новый ярлык – «кич» (то есть «низкопробная халтура»).

Но и он вытесняется самоновейшим ярлыком «темная аура шовинизма». «Левые» пишут, что я «правый», а «правые» – что я «левый». Клички у них для меня разные, а ненависть, как у Каина – древняя, нетерпимая, неугасимая!

Забегая вперед, скажу, сколь неизбывна моя благодарность, что Господь не дал меня растоптать черным силам, помог выстоять в этой страшной борьбе не на жизнь, а на смерть. Выражая правду жизни и духовные основы нашей цивилизации, я как русский художник всегда ощущал в своей душе моральный императив – служить России, выражать самосознание моего народа, пытаюсь в меру сил возрождать растоптанные великие традиции нашей славянской православной духовности. Моя неугасимая любовь к России и есть источник моих побед и поражений. О тайне моего творчества не скажу ничего: тайна есть тайна. Мое понимание тайны времени выражают мои картины и книга, которую сейчас читает мой читатель.

СИБИРЬ

После первой выставки в Москве

При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного) – хотя и известен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему. Меня зовут психологом, неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой.

Ф. М. Достоевский «Дневник писателя», 1873 год

Итак, возвращаюсь снова к тем дням, когда после признания мировой печати, триумфального успеха моей первой выставки в Москве, разделившей мир на моих друзей и врагов, в конце февраля 1957 года я подъезжал к Ленинграду, запорошенному голубым снегом, в морозном и мгlistом рассвете. Прошло всего две недели, но как они изменили мою жизнь, которая ранее делилась на «до войны и после войны», а теперь, когда резко изменилось и гражданственное, и государственное отношение ко мне как к художнику, словно только начиналась. Навсегда ушли в мою память одиночество размышлений ощущение смутной тревоги не покидавшей, впрочем, меня всю жизнь, и мучительная вера в правоту моего предназначения. Я уезжал из Ленинграда в Москву никому не известным студентом, а возвращался художником, имя которого стало известно как у нас, так и в дальних странах. Мне было 26 лет. Как будто все это произошло не со мной...

Я ощущал тревогу, и не представляя себе всю силу удара беспощадной советской системы, с которой мне предстояло многолетнее сражение не на жизнь, а на смерть, Справедливости ради отмечу, что в постсоветское время, несмотря на свободу болтовни и, казалось бы, кардинальные изменения в политической системе управления оставшимся обрубок когда-то великой империи, – возможность выживания художника стала еще жестче и невыносимее. Из огня да в полымя. Сегодня, при всеобщем хаосе и равнодушии к судьбе русской культуры, вместо пусть советской, но все же государственной системы отношения к ней (при всем том, что правителей интересовала прежде всего чистота марксистско-ленинской идеологии) – появилась не менее страшная диктатура колониального рабства, когда нами правит на деле произвол кулака и доллара. Вместо намордника пролетарского интернационализма и искусства «национального по форме и социалистического по содержанию» Россия заковывается в кандалы «массовой культуры» американской «цивилизации» с ее «современным искусством», вышедшим из нашего авангарда 20-х годов. По-прежнему не существует понятия русской культуры, а сам русский народ превращен в нищее, полуголодное население, которому предложено строить теперь уже капиталистический рай с помощью рыночных отношений и шоковой терапии. Производство русского предпринимателя сдавливает петля непомерных налогов, а когда-то великая держава с «россиянским» населением, как ныне называют бывших советских людей, обречена на нищету и вымирание. Система структур больших и малых мафий заменила государственную систему управления страной, когда – что общеизвестно – людям месяцами не выплачиваются деньги за их работу, а миллионы русских оказались гражданами второго сорта в так называемых странах «ближнего зарубежья»; когда развалены, по выражению Александра III, «единственные союзники России» – ее армия и флот. Нам остается уповать на приход сильной, исходящей из интересов государства и прежде всего русского народа власти национально-мыслящего вождя, президента или государя, который наведет порядок и вернет воскрешаемой русской державе государственную честь, подлинную свободу и процветание. Назовите мне хоть одного человека любой национальности, который не хотел бы быть гражданином великой, свободной и богатой страны? Простите, отвлекся...

* * *

Придя, как всегда, в Академию со знакомой надписью над входом «Свободным художествам», сразу почувствовал перемену к себе – как у преподавателей, так и у студентов. «Ну, зазнался, зазнался», – сказал мне один из профессоров, любивший и знавший меня давно. «Как зазнался? – удивился я. – Разве художник может зазнаться?» Облокотившись на подоконник окна нашего высокого и узкого академического коридора, он, пристально разглядывая меня, задумчиво произнес: «Да-а-а, на триумфатора ты не очень похож, бледный, осунувшийся». Неожиданно спросил: «Ну, деньжонки-то хоть заработал – сколько картин продал? Слава должна приносить и материальный успех художнику, так было всегда». «Да нет, – отвечал я моему доброму профессору, – это было, как вы знаете, до революции, а я в Москве одну работу, „Девушка с одуванчиком“, подарил по ее просьбе Тамаре Макаровой – великой советской актрисе, а „Незнакомку“ за 100 рублей у меня выторговала жена академика Опарина. так что с трудом оплатил несколько ящиков с моими картинами, отправленных малой скоростью домой».

«А тут о тебе слухи множатся, о триумфе, о визитерах твоей выставки от министра культуры до послов иностранных государств, „враждебные голоса“ надрываются – тебя то выгоняют из Академии, то восстанавливают, словом, черт знает что». Заметив, что нас слушают, сказал: «Мне пора. Держись, Илья».

Я всегда был убежден, что слово «зазнался» не может быть применено ни к одному художнику, музыканту, писателю и поэту. Настоящий художник всегда чувствует все свое несовершенство перед тайной замысла и его воплощения, перед страшной и мучительной правдой мира и его гармонии, разрываемой жизнью человеческой. И ведь то, что Пушкин, написав «Бориса Годунова», с мальчишеской радостью сказал, приговаривая: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» – относится к радости воплощения замысла, а не к зазнайству. «Зазнавшийся» художник – не художник, а рвущий и получающий, обычно не по заслугам, от жизни материальные блага и начальствующие должности человек с душой ремесленника.

Сколько я впоследствии видел таких и в самом деле зазнававшихся не только художников, но и политиков! Приспосабливаясь к той или иной конъюнктуре, вынесенные на гребень руководства партийно-общественной, а ныне мафиозной жизни, они становились жалки, лишившись тех благ, к которым так стремились всей своей карьерой и поступками. Мой друг по Академии Рудольф Карклин однажды обронил парадоксальный афоризм: «Понимаешь, одни любят жрать, а другие любят смотреть, как люди жрут. Первые – материалисты, обыватели, вторые – художники». Дело было в столовой, где кормились студенты. «А если серьезно, – продолжал он, – это так: один человек смотрит на лес и говорит – здесь 100 тысяч кубов леса! Другой, глядя на этот же лес, говорит: „Как красиво!“ Резюме, – Рудольф поднял ложку вверх, – первый человек материалист-мещанин, второй – художник!» Мои друзья, которые учились со мной, не изменили отношения ко мне, и, зная о моей неустанной работе в мастерской ночью и днем, жали руку и искренне поздравляли с первой выставкой. Руководство Академии было подчеркнуто холодно и корректно, однако это не помешало им выгнать из Академии одного из студентов-искусствоведов, который осмелился на так называемом весеннем «капустнике» исполнить «кантату» на музыку Глинки:

Славься, славься во веки веков

Суриков, Репин, Илья Глазунов

По дороге в свою дипломную мастерскую, находившуюся на втором этаже, на ступенях лестницы, смыкающейся с помещением музея, я встретился с идущим вниз, очевидно, из кабинета вице-президента Иогансона моим профессором Александром Дмитриевичем Зайцевым. На этот раз он был очень серьезен, и я, ожидая поток ругани в мой адрес, был удивлен его обращением ко мне на «вы». Раз на «вы», подумал я, значит, дело новое и не доброе: «Вы, очевидно, знаете, что по просьбе Иогансона вас восстановили и даже снова на стипендию назначили». Пока я разглядывал не меняющегося Зайцева(все тот же темный костюм, тот же сидящий пробор, правая рука, как всегда, в кармане), его серые небольшие глаза отчужденно и как будто равнодушно смотрели на меня. Однако он сорвался: «Пока вы по Москве шумели, Совет поставил мне, вашему руководителю, на вид, что у вас нет дипломной работы, а защита – через три месяца. Хуже положения для студента не бывает!» «Как нет дипломной работы? – удивился я. – Вы же ее видели, Александр Дмитриевич. Я же несколько раз показывал вам ее в процессе работы, а также более ста этюдов и рисунков, сделанных к „Дорогам войны“. Я даже, как вы помните, Александр Дмитриевич, – продолжал я, – копировал в Эрмитаже „Бурю“ Верне, чтобы изучить бурное грозное небо. Вы хвалили мои сибирские этюды к картине год назад!»

Зайцев смотрел на меня спокойно и недоумевающе: «Я никогда ничего не видел, и вы мне ничего не показывали, в отличие от других студентов». Вытащив руку из кармана, почесал кончик носа: «В нашей стенгазете „За социалистический реализм“ нарисована на вас карикатура: у огромного холста – своего „шедевра“ стоит в обличии стилиста мой дипломник Глазунов, считающий, что бегство беженцев и отступление наших войск в 1941 году и есть советское решение темы победы над ордой фашистских захватчиков». Профессор смотрел на меня с плохо скрываемым, но клокочущим внутри раздражением: «Вы напрасно думаете, что эта антисоветчина пройдет! К счастью, вы мне не показывали этой многометровой орясины, но учитывая, что времени мало, мы советуем вам попытаться в оставшийся короткий срок все-таки написать дипломную картину, взяв за основу ваш эскиз первого курса „Рождение теленка“.

Подобие усмешки скользнуло по его лицу, и я снова узнал прежнего Зайцева: «Итак, товарищ Глазунов, фигура вы уже всемирно известная, кое-чему научились в стенах Академии и потому, не валяя дурака, завтра же приступайте к работе – времени фактически у вас нет. Успеете – хорошо, не успеете – „волчий билет“ в зубы, диплома тебе не видать. Понял?» И он твердым шагом пошел по коридору первого этажа в сторону парткома института. Я стоял оторопевший, с мучительной гадливостью в душе, чувствуя, как нас разделила стена травли, конъюнктурного страха и лжи.

Читателю нетрудно догадаться, как меня дружно «несли» столпы Академии при защите диплома, за который была поставлена тройка («скажи спасибо, что не двойка»). Мне долго не выдавался диплом в отделе кадров, пока я не подпишу добровольно свое назначение преподавателем в ремесленное училище Ижевска, смененное, правда, затем аналогичным назначением в город Иваново. На мой вопрос, почему всем другим художникам дают вольное распределение согласно их прописке или согласовывают с ними направление на работу в Союзе художников, тощая высокая начальница отдела кадров, с которой мы всегда мило здоровались, вдруг доверительно сказала: «Скажи, Илья, спасибо, что все так хорошо кончилось, раньше бы ты мог и костей не собрать! Советую не фордыбачить, а согласиться с назначением и сгинуть с глаз долой, подальше от Ленинграда и Москвы».

«Но я не хочу уезжать из Ленинграда и не хочу преподавать в ремесленном училище», – пытался возражать я. Она была непреклонна: «Мы здесь, в отделе кадров, знаем больше, чем ты думаешь. Как ты можешь объяснить, что, будучи талантливым студентом, блокадником, ты никогда не выдвигался на Сталинскую или другие стипендии? Значит, были причины – очевидно, руководство правильно чувствовало, что ты человек с гнильцой – некий попутчик, что ты и доказал своей саморекламной шумихой

в Москве. В Ленинграде теперь тебе житья не будет, даже если министр культуры Михайлов, – она многозначительно посмотрела на меня, – отдаст тебе под мастерскую весь Эрмитаж, коллектив наших ленинградских светских (она подчеркнула „советских“. – И.Г.) художников тебя не примет».

Завязывая папку с личными делами, давая понять, что аудиенция окончилась, не глядя на меня, добавила: «В наше время человек без бумажки – ноль, или, как говорят, букашка. Здесь, в Ленинграде, тебя никогда в Союз художников не примут – это я тебе ответственно заявляю, а что будет на периферии – посмотрим. Уезжай немедленно. Не распишешься здесь, – она ткнула пальцем в графу, – о согласии на наше распределение, диплома не увидишь как своих ушей. Понятно? Распишись», – грозно, но тихо требовала начальник отдела кадров Раиса Прокофьевна. Я расписался, чувствуя всю безысходность моего положения. Но сопротивлялся как мог: «Меня пригласили участвовать в международной выставке молодежи и студентов в Москве, и даже рисовать вместе с другими нашими молодыми художниками в студии, которая будет располагаться, как мне сказали, в Московском ЦПКиО». Не обсуждая со мной уже ничего, она встала из-за стола и вдруг неожиданно ласково улыбнулась: «Ты сам заварил кашу, я тебе сказала все, что должна была сказать – хоть ты и не подарил мне на память свой каталог московской выставки. На прощание, – добавила она, – вот, полюбуйся, у всех студентов личные дела, как личные дела, а у тебя, хоть ты, как и все, комсомолец, – распухшее, как „Война и мир“, целое „дело“. Нет дыма без огня, как говорится». Закрыв дверь отдела кадров, я посмотрел на полученный диплом, дающий мне право называться художником – на темно-синей «корочке» его красовался герб Советского Союза.

* * *

Но снова возвращаюсь к той минуте, когда после разговора с Зайцевым на винтовой лестнице открыл ключом свою дипломную мастерскую и, скользнув глазами по знакомым и столь любимым мною пластинкам Шуберта Грига, Вагнера, Баха, Чайковского, увидел свой большой холст, или, по выражению Зайцева, орясину, которым думал защищать диплом через три месяца. Тихо звучала бессмертная музыка Листа «Торквато Тассо», за высоким окном уже вечерело сумеречное безотрадное небо, и короткие весенние сумерки переходили в промозглую темноту. Московские впечатления переполняли меня, но, очутившись снова в мастерской наедине со своей почти законченной дипломной работой, я невольно вспомнил, как, еще на первом курсе, задумал эту картину. Я давно вынашивал замысел многофигурного драматического полотна, которое должно выразить жгучую правду страшных дней нашего отступления 1941 года. Я должен увековечить события, свидетелем которых был и о которых молчало советское искусство.

Навсегда запомнились первые недели войны, когда я с родителями шел в бесконечной веренице таких же беженцев под палящим солнцем, под грозовым необъятным небом. Моя будущая картина виделась мне как великая народная трагедия. Я помню, словно это было вчера, как сквозь клубы пыли и дыма нескончаемым потоком шли солдаты, беженцы, стада овец, словно гонимые бурей войны. Каждую минуту из разорванных грозовых туч могли появиться немецкие самолеты. Смерть, горе, рев моторов... золотая рожь втоптана гусеницами танков...

У обочины пыльной дороги, возле деревенского колодца собрались мучимые жаждой люди – разноплеменная и разноязыкая Россия. В центре группы беженцев и местных жителей – русский солдат. В нем словно бы воплотился собирательный образ вечного воина русской истории, героя Куликова поля и Бородина, того самого русского солдата, которого почитали за образец лучшие полководцы мира. Мне запомнилось навсегда: выцветшая гимнастерка с кругами пота, темное от загара лицо, синие брызги глаз под выгоревшими пшеничными бровями. В руках как чашу смертную или как чашу жизни он держит наполненное до краев водой железное ведро, сверкающее на солнце. Он улыбается по-крестьянски красивой девушке, которая дала ему напиться.

«Ничего, мы все равно вернемся!» Этот немой диалог словно луч надежды в смятенном вихре остальных персонажей картины. Сидит на земле, охваченный усталостью и горем, опершись руками и потным лбом на палку, старик. На переднем плане, у обочины дороги – русская женщина-мать со скорбным и мужественным лицом, на руках ее белоголовый, как одуванчик, ребенок. Мимо нее движется нескончаемый поток людей. Сквозь пыль проступает темная от грозового неба река, словно охваченная кровавым заревом горизонта. У колодца в водовороте людей маленькая плачущая девочка, потерявшая в этом аду своих родителей, держащая в руках смеющуюся куклу, и азиат на белой вздыбленной лошади с развевающимся на ветру крылом простреленной плащ-палатки и забинтованной головой. Каждый участник моей картины – а их предполагалось не меньше тридцати – должен был передать не только свою биографию и психологию, но и раскрыть отношение и свое участие в стихии народного горя, мужества и страдания.

Мне особенно хотелось показать в толпе солдат и беженцев могучую спину воина, снявшего с себя гимнастерку, который крутит ручку колодца, поднимая со дна ведро холодной воды. Я невольно стремился следовать могучей лепке фигур картины Рубенса «Союз Земли и Воды». С пристрастием изучал спины многих наших натурщиков. Однажды в мою мастерскую зашел наш приятель, студент искусствоведческого факультета по фамилии Суслов. Зная, что он занимается спортом, я попросил его попозировать для моего солдата, вытаскивающего воду из колодца. Наконец я нашел то, что мне нужно! Мой приятель позировал несколько часов, пока я тщательно не сделал рисунок сангиной. К моему огорчению, рисунок потом куда-то запропастился, как, впрочем, и многие этюды, сделанные мной для картины «Дороги войны». И вот несколько лет назад, будучи в Эрмитаже с приехавшей группой моих студентов, я отправился «за подписью» на разрешение копировать старых мастеров к заместителю директора Государственного Эрмитажа. На стенах приемной прекрасные гобелены XVII века, а за окном все та же Нева и Петропавловская крепость... Я сразу узнал, хоть прошло много лет, крепко сколоченного приятеля Суслова. После разговора, провожая меня, он вдруг сказал: «А у меня, между прочим, рисуночек, который ты делал с моей спины, хранится. Хорошая память о нашей юности. У меня тогда спина была лучше, чем у твоего любимого персонажа Рубенса», – пошутил он.

Я узнал только в 1995 году, что мой учитель Б. В. Иогансон скорбную фигуру лежащей на земле старой, обессиленной от долгого пути еврейки, чья голова лежала на коленях внучки, девочки-подростка, представил ни много ни мало как «многочисленные женские фигуры, лежащие в сексуальных позах», которыми автор якобы хотел привлечь незадачливого зрителя. Естественно, ему легче было свалить идеологическую сомнительность картины ученика на эротику, чем вдаваться в характеристику историко-философского содержания картины своего дипломника, отражающей правду отступления 1941 года, за которую он мог получить нагоняй в ЦК КПСС: как же это он, Борис Владимирович Иогансон, проморгал не только скандальную выставку своего ученика в ЦДРИ, но и допустил к диплому его глубоко несоветское произведение!

Мне хотелось в этой картине использовать все уроки, полученные от изучения старых мастеров с их пониманием логически-напевного строя композиции. Я снова и снова ходил в Эрмитаж, копировал и листал альбомы, в который раз поражаясь энергии светотени, беспримерной фантазии ракурсов Тинторетто и праздничным рифмам Веронезе, одного из величайших поэтов классической композиции, героическому речитативу влюбленного в плоть мира Рубенса, лирической ясности Рафаэля, могучему творческому монологу с Богом Микеланджело, который сам, как Саваоф, творил свой трагический мир. С восхищением я наблюдал, как во время скучных лекций мой друг Рудольф изрисовывал с виртуозной легкостью свои альбом вариациями на темы старых мастеров, воссоздавая поэтические строки человеческих фигур, связывая их в двустипшия, трехстипшия и целые поэмы.

Был у нас и «рыцарь» старых мастеров Юра Никоноров, мы его называли «старик». Всегда небритый, с детскими пухлыми губами, он всем своим видом говорил: «Сделанное вами невероятно убого. Самое лучшее, что вы можете, – копировать старых мастеров. Я уж не говорю о Микеланджело или Рафаэле – хотя бы Джулио Романо, Андреа дель Сарто или Аннибале Карраччи...» Каждый вечер, не пропуская ни одного дня, он сидел, уединившись в библиотеке, и священнодействовал, копируя великих, – молчаливо беседуя со старыми мастерами. До боли в глазах разглядывая знакомые и всегда новые творения, мы все более ясно ощущали принципиальное различие в понимании искусства и композиции художниками старого и нового времени. Это проблема правды жизненной и правды художественной. Старая Академия XVIII – XIX веков, по-моему, очень глубоко понимала проблему обучения композиции. Подобно тому, как певцу ставят голос, художнику необходимо «поставить глаз», то есть изучить мир в его гармоническом единстве противоположностей, научить убедительно излагать свои художественные замыслы. Смотреть и видеть – это две разные вещи. Нас во многом учили «смотреть». Фотоаппарат тоже «смотрит» и тоже фиксирует видимый мир. Видеть мир с точки зрения правды художественной меня, как и многих моих товарищей, учили старые мастера, говорившие с нами убедительным языком живого примера в залах Эрмитажа и Русского музея. Да и монографии нашей старой академической библиотеки были богаты репродукциями. Чувство композиции врожденно, но культуру композиции может и должна воспитывать Академия – школа!

Каждый элемент композиции, будь то поворот головы, движение руки, тень и свет, форма облака или складка одежды, должен в согласном звучании разных инструментов оркестра исполнять единую мелодию, соответствующую замыслу художника. Каждая тема требует своего композиционного строя. Василий Суриков, владевший абсолютным композиционным слухом, удивительно точно сформулировал это свойство построения композиции, когда поставленная точка меняет все. Каждый художник в известной мере заново создает свои законы композиции, учась у предшественников. Рецепты здесь неуместны. Незыблемых законов нет, кроме одного: цельность гармонического чувства взаимосвязи отдельных элементов сочетания, если хотите – пластических рифм, организующих гармонию картины. Старые мастера обладали этим чувством, умели связать воедино две, три, четыре фигуры и целую толпу, не потеряв человеческих индивидуальностей и дав каждому персонажу свою роль, смысл и значение. Каждый

персонаж лишь выигрывал от соседства и противопоставления другим персонажем. Когда мы смотрим на картины Эль Греко, Тициана, Веронезе, Креспи, Тинторетто, то уже издали, одним лишь своим композиционным строем тона и цвета, они неумолимо действуют на нашу психику, как музыкальный аккорд, как звучание бессмертных симфоний Бетховена, Рахманинова или Чайковского. Картина – это вершина искусства!

Из русских художников мне вновь хотелось бы в этой связи назвать среди многих величайших «композиторов», владевших в совершенстве тайнами создания картины, – Александра Иванова и Василия Сурикова. Иванов, решая сложнейшие композиции с виртуозной легкостью, равной мастерам Возрождения, наибольшее внимание уделял рисунку. Суриков – цвету: «Есть колорит – художник, нет колорита – не художник». «Я на улицах всегда группировку людей наблюдал, – говорил Василий Иванович. – Приду домой и сейчас зарисую, как они комбинируются в натуре. Ведь этого никогда не выдумаешь. Случайность приучился ценить. Страшно ракурсы любил. Всегда старался дать все в ракурсах. Они очень большую красоту композиции придают. Даже смеялись товарищи надо мной. Но рисунок у меня был не строгий – всегда подчинялся колоритным задачам».

И все-таки недостаточно быть рисовальщиком, колористом и владеть композицией, необходимо главное: иметь – что сказать людям. Художник велик тем, что, постигая тайны мира, создает свой мир. Картина – окно в этот мир. Колорит, рисунок, композиция – лишь средство донести его до зрителя. И самая страшная ошибка в искусстве (да и в жизни!), когда средство становится целью. Многие критики и художники, современники Сурикова, говорили – и, вероятно, справедливо, – что у него есть погрешности в рисунке и композиции. Однако именно Суриков вписал свою страницу в историю не только русского, но и мирового искусства. Ему было что поведать людям, в его душе жил целый мир образов древней России, философских идей, связывающих эти образы в единую концепцию. Вобрав в себя неисчерпаемые богатства наследия мирового искусства от Рафаэля до открытий импрессионизма и новейших течений французской школы, Суриков сумел все это переплавить в неповторимый слиток на своем самобытном языке. Он рассказал людям о мире древней вечной Руси, о борениях народной стихии, о таинственном взаимодействии личности и толпы, трагедиях исторической жизни нации. Как обеднели бы мы, если б в нашем искусстве не было этого загадочного человека, так много сделавшего для утверждения национальных идеалов красоты, страстно влюбленного в бытие русского народа! В своих композициях Суриков создал вдохновенные поэмы о духовной красоте русского национального характера, явил миру образы незабываемой силы, они сродни образам Достоевского и Мусоргского своей истовой страстью, способностью к подвижническому служению и самопожертвованию. В конце жизни Суриков под воздействием разных причин отошел от своего эпического начала. Это был его конец... Русская школа может гордиться своим, во многом ныне потерянным, искусством создавать картину-роман. Не забудем также великую православную духовность картин Виктора Васнецова и Михаила Нестерова...

* * *

Когда в мастерской стало совсем темно, я включил свет и после перерыва в две недели, которые казались мне вечностью, словно совсем по-новому в который раз смотрел на свою картину, на втопанную рожь, изнемогающих от усталости и жары беженцев, опять в ушах моих слышался рев немецких истребителей, когда я с родителями среди руин шел с рюкзаком в сторону моего родного города. Я все равно ее закончу!... «Если против тебя все – это значит, что ты самый сильный», – гордо провозгласил Юлий Цезарь.

Рядом у стены стояла огромная по размерам другая неоконченная работа: Джордано Бруно, под звездным небом, в таинственной ночной тиши. На крыше католического собора монах Джордано стремится приобщить свой дух к тайне Вселенной, созданной всемогущим Богом. На кого из нас не действует, обрекая еще на большее одиночество, созерцание ночного неба, сверкающего мириадами звезд? В одном из сонетов Джордано Бруно вопрошает:

Кто дух зажег,

Кто дал мне легкость крыльев...

Неспроста считается, что если человек любит смотреть в ночное небо и на далекие звезды – это значит, что он одинок и осознает таинственную связь со своими предками или с отцом и матерью, когда они уже не живут на земле. Я навсегда запомнил, как в темные ноябрьские ночи ленинградской блокады мой отец показывал мне и называл имена далеких звезд, которые будут сиять и тогда, когда нас не будет на земле.

* * *

Моя жена Нина с маминой сестрой тетей Асей ждали меня в Ботаническом саду в доме ботаников, куда я снова переселился из общежития после смерти мужа тети Аси, Николая Николаевича Монтеверде. Тетя Ася была очень одинока, и я помню частые слезы на ее столь дорогом для меня лице. Вот уже два года, как в мою жизнь вошла нежная, удивительная, сильная и преданная Нина. Я был очень рад, что тетя Ася так полюбила мою жену. Придя домой из Академии, несмотря на поздний час, мы любили выходить в ночной сад, шумящий кронами столетних деревьев. В Ботаническом было всегда тихо и безлюдно – словно попадаешь в давно ушедший мир старинной русской усадьбы. В эти поздние часы небо над городом казалось в розовой мгле – словно от далекого зарева, которое отражалось в прудах старого парка. Сколько раз, видя напряженную скомканность моей усталости, Нина говорила мне о том, что я преодолею все и ее жизнь теперь принадлежит мне. Обнимая меня в темноте шумящего парка, она говорила нежно и истово: «Ты победишь, я сразу поверила в тебя – моя преданность и любовь будут всегда с тобою...»

В темноте старого парка, помню, Нина рассказывала мне о том, что, когда она была совсем юной, любила бродить одна по осенним паркам нашей блоковской Петроградской стороны, неподалеку от церкви у моста на каменноостровском, на берегу Невки, построенной в масонско-готическом стиле безутешной матерью на месте дуэли ее сына. Это были места поединков (происходивших обычно рано на рассвете) петербургской аристократии – неподалеку от места убийства Пушкина на Черной речке. Наискосок от церкви на том берегу Невки был дом, построенный сразу после войны, где жила семья отца Нины – архитектора Виноградова. Набережные заросли крапивой и были закиданы проржавленными старыми кроватями когда-то, еще до бомбежек и голода блокадных месяцев, живших там ленинградцев. Днем аллеи парка были особенно безлюдны, и ей казалось, что по одной из аллей, где стены черных стволов деревьев кажутся бесконечными, теряясь в весенней мгле, придет тот, кого она ждет и будет любить всю жизнь. Как зеленые огоньки, распускались почки на старых деревьях. Ни с чем не сравнимая весна в Петербурге... Навсегда останутся в сердце моем сказанные ею тогда пронзительные слова: «Тебя не было, только лед звенел и крошился на синей Неве. Но я дождалась тебя, такого красивого и неподкупного рыцаря, пахнувшего краской, с вечно усталым, бледным лицом. Мои родители, как ты знаешь, сразу невзлюбили тебя, считая беспутным и несерьезным, хотя и талантливым человеком. Они считают, как, впрочем, и твой дядя Миша, что будешь со мной несколько месяцев. Все проходит, как говорит Библия... Они не знают, что мы будем вместе до конца. Я знаю, я перенесу все и буду предана тебе, как Сольвейг...»

В темноте сумерек по воде черного пруда расходились, словно золотые кольца, всплески на воде. А после темного одинокого парка – как шумно бурлит и горит огнями Петроградская сторона! Как мощно и красиво стоят многоэтажные дома, построенные накануне революции на Каменноостровском проспекте. Светящиеся глаза окон. И в каждом окне своя жизнь, свои судьбы и трагедии. Вот она, одна из тайн реальности мира во всей ее поэтической простоте и несказанности. Огни окон, переходя в звездное небо над городом, отражались в Нининых глазах. Прикрытые пушистыми ресницами, они излучали любовь и чистоту нежности. Ей было тогда 18 лет... Свечение оконных огней сливалось с мерцанием одиноких звезд мглистого ночного неба. Они становились особенно яркими, если смотреть с булыжников по-петербургски глубокого и темного двора-колодца.

...Через 30 лет в Москве мне принесут из 83-го отделения милиции ее обручальное кольцо с привязанной к нему картонкой. На бирке простым карандашом было написано: Нина Александровна Виноградова-Бенуа, год рождения 1936, умерла 24 мая 1986 года... Били по мне – попали в нее. Я плохо помню сквозь черный туман горя те страшные дни ее гибели... Почему ее обручальное кольцо мне не отдавали полгода? И почему и кто отдал? Не могу, нету сил касаться этой непреходящей боли...

* * *

А тогда – как я был счастлив, что она, сидя рядом со мной в мастерской, восторженно и проникновенно рассматривала мои работы. Она училась на искусствоведческом отделении ЛГУ. Я видел ее профиль, похожий на римскую камею, и ощущал великую духовность ее натуры, свойственную многим представителям столь славной для истории России семьи Бенуа.

Помню, как однажды, работая над холстом «Дороги войны», Я обнаружил, что у меня кончились краски. Денег не было. Навсегда запомнил, как появилась в дверях моя добрая фея – радостная Нина: «Вот краски», – сказала она, ставя на пол тяжелый пакет. Глядя в ее счастливые глаза, спросил: «Откуда?» На секунду опустив глаза, она ответила: «Мне дали деньги родители». – «Мне не хотелось бы брать от твоих родителей ничего. Я чувствую, как твой отец меня активно не любит». Восторженно глядя на мою картину, она, садясь рядом со мной, сказала: «Эти краски от меня, а не от них. Ты должен закончить свою гениальную работу – она несет великую правду, от которой все отвыкли...» Через несколько дней, не помню при каких обстоятельствах, из ее паспорта выпал зеленый билетик. Я нагнулся, поднял и прочел: «Донорский обед». Догадка сверкнула в моей голове – вот почему она стала такой

бледной за последнее время. Никакая это не усталость! Моя жена продавала свою кровь и меняла ее на краски, которыми я писал, не подозревая, какой ценой они получены!

Когда я вспоминаю об этом сегодня, то, как и тогда, не могу найти слов удивления, благодарности и гнева на себя. Мое сердце сжимается от нежности, на глаза наворачиваются слезы. Словно я слышу ее голос: «я всю жизнь отдаю тебе, я верю, что через тебя действует высшая сила, и мое назначение любить тебя и быть преданной. Ты говорил однажды, что никогда, ни на ком не сможешь жениться – ты воин и должен быть свободен в своих действиях. Я знаю, что мой долг и смысл моей жизни – это служение тебе».

Вера жены в мою предначертанную Богом миссию давала мне великую силу и спокойствие, которые помогали выстоять в страшной борьбе. Не случайно мои московские друзья называли ее позднее боярыней Морозовой. Лишить меня моей нерушимой стены – неукротимой, нежной, волевой и неистойвой Нины – было мечтой многих черных людей и тайных сил. Конец ее потряс меня до основания смертной болью и ужасом, он был предопределен, приговор приведен в исполнение. Она оставила у меня на руках двоих детей, глядя на которых я часто вздрагиваю от неожиданного ее взгляда, движения, интонации, которые нахожу в наших детях – в Иване и Вере... Икона Матери Божией «Взыскание погибших» дает мне тихую радость, хоть на время приглушает безысходное горе ушедших навсегда лет моего счастья с Ниной, нашей общей яростной борьбы за Россию. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Сегодня, как никогда, я понимаю горестный смысл этих слов всеобъемлющего русского гения. Покоя нет, а воля есть. А счастье в служении... Среди злобного воя и непримиримости врагов, в радости и любви моих зрителей.

* * *

А тогда, слушая «Торквато Тассо» великого Листа, я продолжал, как я уже говорил, словно по-новому рассматривать висящие на стене и стоящие на полу этюды к моей картине, невольно вспоминая могучую Сибирь, Енисей, так не похожий на русские реки, его берега, связанные у меня с работой по собиранию материала к моей будущей картине. Это было наше свадебное путешествие с Ниной, которое навсегда оставило неизгладимую печать в моей душе и моей жизни художника. Это было начало начала.

Почему я поехал именно в Сибирь в поисках материала для моей дипломной картины? Мой товарищ, крепко сколоченный сибиряк, с напряженной мыслью в глазах, восхищавший меня своим серьезным и вдумчивым отношением к искусству, своим пониманием задач композиции, сказал мне однажды:

– Ты можешь сколько угодно копировать «Небо над Толедо» Эль Греко или виртуозные композиции Франка Бренгвина, но ты ничего не сделаешь без конкретных живых людей. Тебе нужны народные русские типы. Поезжай в Сибирь, вот где люди-то настоящие, самобытные, удивительные!

Мой друг был абсолютно прав. Создание картины немыслимо без серьезной и вдумчивой работы над этюдами, в которых художник должен найти живую конкретность образа, которую может дать только жизнь. И если еще Леонардо, работая над «Тайной вечерей», мучительно искал воплощение образов апостолов, то русская школа с ее культом картины – неугасимый пример подлинного творчества, выражение мировоззрения художника, когда мысли и образы его становятся мощным средством воздействия на души современников, донося и до будущих поколений понимание добра и зла, где поле битвы – сердце человека, а главное – правду о нашем времени, которое так запутано и кроваво...

Я еду в Сибирь

Итак, решено: на преддипломные каникулы еду в Сибирь. Куда ехать? Только в Красноярск, на Енисей, на родину великого Сурикова. Для сбора материала к дипломной работе всем студентам полагалась творческая командировка. И когда я попросил послать меня в Красноярск, это не вызвало возражений. «Главное, попади на целину – Никита Сергеевич Хрущев знает, что делать», – напутствовал меня декан.

Пять суток не перестаешь удивляться великой протяженности нашей Родины и бесконечному многообразию человеческой жизни. Вот уже позади знаменитая граница Европы и Азии – Урал с поэтически суровыми обрывами скал, поросших лесом... Прошлые Сибиря благодаря исследованиям русских ученых конца XIX и начала XX века предстает в фантастических красках древних культур, еще неизвестных археологии и европейским историкам. Думается, что в этой области особая роль принадлежит Томскому университету. Археологические раскопки древних курганов в Сибири говорят о могучей и древней культуре арийских народов, которые до сих пор мало изучены. В наше время огромный шум в научных кругах вызвали раскопки древнеарийского города Аркаим, найденного несколько лет назад в Приуралье. Участники экспедиции рассказывали мне, сколько трудностей они преодолели во время раскопок древнего Аркаима, который не так давно пытались покрыть толщей воды искусственного водохранилища. Пытались силы, не заинтересованные в исследовании культуры древней арийской расы. Но поскольку речь сейчас идет не об арийских древностях великого сибирского края или их похожести на древнюю культуру Крита, Микен, Трои и древних пеласгов, я возвращаюсь к поезду Ленинград –

Красноярск, за окнами которого вырастали горные цепи, бескрайний океан тайги и однообразные советские полустанки Транссибирской магистрали Сибирь! Какая это даже при современных фантастически быстрых средствах передвижения отдаленная, богатая неожиданностями величаява страна! Еще не открыта в искусстве красота неизмеримых ее пространств! Еще не найдены отточенные образы ее людей, хотя пути к воплощению красоты Сибири и были указаны Суриковым и Аполлинарием Васнецовым. В бумагах Пушкина обнаружены следы интереса к сибирской истории. Смерть помешала русскому гению осуществить свой замысел. Сибирь ждет своих певцов. Не только протяжные острожные песни подарила нам старая Сибирь, но сохранила память о древнем русском укладе жизни, о мирном освоении громадных просторов русскими поселенцами...

Как данники монголов, русские узнали юг Сибири в XIII веке. Но еще в XI веке новгородские дружины воевали Югорскую землю – север и запад Сибири, привозя драгоценные меха и продавая их заморским купцам на шумных новгородских торгах. При Иване III знамена Третьего Рима – Москвы уже развевались на снежном хребте Каменного пояса (так в старину назывались Уральские горы). Воображение современников Геродота населяло суровые скалы фантастическими грифами, стерегущими золото Уральских гор, известных отцу истории под именем Рифейских. Двуглавый орел с кремлевских башен неотступно смотрел на далекий восток, куда через «железные ворота» Урала вливалась неудержимым потоком могучая русская сила. С ружьем и топором в руках шел по тайге русский мужичок-страстотерпец, строящий свою избушку, свой национальный дом – Россию... Глядя из окна вагона на таежные дебри, я особенно остро ощутил глубочайшую правду картины Сурикова «Покорение Сибири». В пяти тысячах верст от златоглавой Москвы горсть казаков, ведомых атаманом Ермаком Тимофеевичем, идет на стену несметных полчищ хана Кучума. Достоин внимания, что с дружиной Ермака пришел в Сибирь с далекого Дона предок Сурикова. Знали именитые купцы Строгановы, каких удальцов посылать в Сибирь! Картина словно спаяна из блеска стальных кольчуг и ружей, мутных вод Иртыша и низкого северного неба. И пусть на высоком берегу шаманы бьют в бубны и призывают на помощь Кучуму своих древних злых духов – победа будет за Ермаком, за его властным жестом «вперед!». «Две стихии встретились», – говорил о своем замысле Суриков. Ядро войска Кучума все те же враги Руси – татары. Но с ними остяки, вогулы и эвенки, охотники на оленях. Столкнулись два мира. Первобытная Сибирь ураганом стрел и завыванием шаманов встречала казаков, без страха идущих вперед. Рядом с Ермаком есаул Кольцо, который впоследствии бил челом грозному царю Ивану, прося принять под свою могучую руку земли сибирские. Знамя с изображением Спаса, увиденное Суриковым в Оружейной палате, осеняет в картине дружину Ермака: оно развевалось над полками Дмитрия Донского на Куликовом поле, а позднее под стенами Казани, штурмуемой войском грозного царя Ивана Васильевича. Оно подчеркивает историческую преемственность завершения вековой и кровавой борьбы русских с татарской Ордой, последним оплотом которой и было Сибирское ханство Кучума. Работая над этой живописной былинной, Суриков проделал путь Ермака в несколько сот верст, плыл на лодке, скакал на коне... «Все увидеть, пережить самому, ко всему прикоснуться...» – объяснял свой творческий метод Суриков. Из Красноярска художник ездил в Туруханский край, рисовал эвенков и остяков... Побывал Василий Иванович в Минусинском музее, где хранилась большая этнографическая коллекция культуры первобытных народов Сибири, делал зарисовки с одежд, сшитых из шкур и украшенных узорами из бисера. Изучал форму стрел, луков, из которых стреляло войско Кучума в дружину Ермака. Работая с натуры над образами хакасов и остяков, Суриков открыл поразительный закон красоты: «Пусть нос курносый, пусть скулы, а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали, – сущность красоты. Греческую красоту можно и в остяке найти». Гармоническую красоту Суриков увидел в Руси, в типах русского характера и в типах сибирских народностей, входивших в орду Кучума, объединившего сибирских татар. Хан Кучум убил сибирского князя Едигера, просившего Ивана Грозного «взять Сибирскую землю в свою волю и под свою высокую руку». Кто не помнит смелость и предприимчивость купцов Строгановых, организаторов похода Ермака? Прошу заметить читателя, что несмотря на то, что русский православный мир поначалу вошел в Сибирь с боем, за этим не последовал геноцид народов Сибири. Если возлюбленная демократами всего мира «страна свободы» Америка проводила жесточайший геноцид коренного населения Северной и Южной Америки, платя, как известно, 6 долларов за скальп взрослого индейца и 3 доллара за скальп ребенка, то совсем по-другому вели себя русские в Сибири. Россия всегда была страной, не знавшей колоний, строившей свою политику на мирном содружестве и братском prijatii разноплеменных народов, образовавших со временем великую Российскую империю. В Америке столь модные сегодня по голливудским фильмам «коровьи мальчишки» – так называемые ковбои – бешено охотились за последними могиканами, стреляя при этом друг в друга из-за найденных золотых приисков. А переселенцы из Европы строили свое счастье на уничтожении коренного населения завоеванного материка и к тому же занимались работоторговлей, чему покровительствовала «добрая старая Англия». В трюмах кораблей, как рабочий скот, свозились в новую землю обетованную черные рабы из Африки, которые подвергались нещадной эксплуатации. Между прочим, в войне между Севером и Югом победе христианского милосердия способствовала политика самодержавной России. Об этом сегодня не любят вспоминать те,

которые хотели бы обратить в «русскую пустыню» океан когда-то богатых и щедрых земель, где жил великий «народ-богоносец», по определению Федора Михайловича Достоевского. Россия не торговала чукчами и никогда не стремилась уничтожить разноликие племена, уважая их свободу, самостоятельность и веру. Царь Алексей Михайлович издал даже указ, по которому карались те купцы, которые спаивали представителей так называемых инородцев, желая по дешевке купить у них дорогие сибирские и северные меха. Глядя на подступающую временами к окнам вагона непроходимую тайгу, я представлял себе Ермака и его сподвижников, которые из-за густых еловых ветвей смотрели в ночи, как при свете костров, ударяя в бубны, вершат свои ритуальные танцы шаманы. Я каюсь, что до сих пор не написал эту картину. Но, как писал Лев Толстой: ЕБЖ напишу (так великий русский писатель сокращенно писал «если буду жив»). Как дико звучит для уха слово «Евразия», так дико было бы объединить в единое слово «православно-шаманский мир». Нет ничего общего между духовностью Веры Христовой – православием и столь далеким от нас, арийцев миром, где правит воля шамана. И не случайно безжалостные завоеватели Чингисхан и его внук Батый исповедовали учение и веру шаманов. Они, монголы, не знали, что такое любовь к ближнему, сострадание и милосердие. Они убивали на своем пути все, что живет и дышит, все, что не подчиняется воле завоевателей мира... И повторяю еще и еще раз слова не любимого мною философа Бердяева (в отличие от любимого мною Ивана Ильина и митрополита Иоанна Петербургского и Ладожского), который сказал, что евразийцам ближе Чингисхан, чем святой князь Владимир. И если я не согласен с его тезисом, что «коммунизм детерминирован русской историей», то абсолютно согласен с характеристикой евразийства, которое сегодня снова дурманит головы определенной части русской интеллигенции. От себя добавлю: стыдно, господа-товарищи, быть сегодня евразийцами!

...В поезде я не расставался с монографией В. Никольского о Сурикове. Отрываясь от книги, я снова смотрел в окно душного вагона, до отказа переполненного людьми. Что я найду в Сибири для моей картины? Сибирь влекла меня как родина великого русского художника, к миру которого мне хотелось приобщиться. Сибирь была для него, как мать-земля для Антея. В Сибири до сих пор есть места, где ни разу не ступала нога человека, сохранились такие углы, где холодной ночью у жарких костров танцуют шаманы. И в той же Сибири не по дням, а по часам растут новые города из железобетона и стекла. А в глухой тайге, отделенные от всего мира вековыми непроходимыми лесами и топями, живут по законам отцов старообрядцы. Уединившись в новых лабораториях, разгадывают тайны мироздания ученые-атомщики, конструкторы межпланетных кораблей. Сибирь – это колыбель казацкой вольницы. Сибирь – это историческое воспоминание о звоне кандалов по бесконечным дорогам. На полустанках душа Сибири смотрела на нас узко прищуренными глазами, звучала короткими и гортанными именами, хранящими древние поверья таинственной Азии, манила разлетами черных бровей молодых казачек, праправнучек славных донских удалцов...

И вот наконец Красноярск. Жара. На мешках, на чемоданах и прямо на земле сидят, спят и жуют, запивая молоком из бутылок, сотни людей в ожидании поездов. Я прямо ахнул: как будто специально для моей картины собрались изумительные, незабываемые на всю жизнь люди, загорелые, усталые, в выгоревших платках и линялых пыльных пиджаках и рубашках. Удивительны ясноглазые дети. Сразу повеяло древней Русью, стерлись грани времен, сотнями глаз смотрел на меня русский народ. А рядом с русскими иные народы, в чьих раскосых глазах, в чьей невозмутимости живет неразгаданная тайна Азии, так непохожая на таинство нашего русского мира.

А далеко за ними – высокая гора с маленькой часовней наверху. Красноярск, как и многие сибирские города, возник на месте деревянной крепости – острога Красный Яр, заложенной русскими еще в XVII веке. В числе имен основателей города упомянуты Суриковы, предки художника. Дом-музей Сурикова за небольшой оградой, на одной из тихих улиц. В этом двухэтажном, по-сибирски прочном доме с крылечком, построенным еще дедом Сурикова, родился великий художник. В глубине двора бывшей конюшни Суриковых – одноэтажный дом, переоборудованный под здание местного художественного училища. Здесь мы прожили три недели среди гипсовых голов и учебного скелета, стоящего в углу за мольбертами. Спали прямо на полу, на газетах положив под голову сложенные пальто. По музею нас водила Анастасия Михайловна – дальняя родственница Сурикова, женщина средних лет со следами былой красоты. Одухотворенное лицо ее напоминало мне женские образы Сурикова. Художник с детства вобрал в себя мир древней Руси, сохранившийся в далекой Сибири, с дикой ее природой, ее самобытной силой характеров, с семейными преданиями и жизненным укладом, своеобразная красота которого определила историческую правду его творчества. Рассказывая об этом, Анастасия Михайловна напомнила нам суриковские слова: «Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства, она же дала мне дух, и силу. и здоровье».

«Первое, что у меня в памяти осталось, – рассказывал Василий Иванович, – это наши поездки зимой в Торгошинскую станицу. Мать моя из Торгошиных была... А Торгошины были торговыми казаками – извоз держали... Жили по ту сторону Енисея – перед тайгой... Семья была богатая. Старый дом помню. Двор мощный был. У нас тесаными бревнами дворы мостят. Там самый воздух казался старинным. И иконы старые и костюмы. И сестры мои двоюродные – девушки совсем такие, как в былинах поется про

двенадцать сестер. В девушках была красота особенная – древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Все здоровьем дышало.

...Рукоделием они занимались: гарусом на пальцах вышивали. Песни старинные пели тонкими певучими голосами. Помню, как старики Федор Егорыч и Матвей Егорыч под вечер на двор в халатах шелковых выйдут, гулять начнут и «Не белы снеги поют». А дядя Степан Федорович с длинной черной бородой. Это он у меня в «стельцах» – тот, что, опустив голову, сидит «как агнец» жребию покорный».

О Бузимовской станице, где работал отец художника, Василий Иванович писал: «Место степное. Село. Из Красноярска целый день лошадьми ехали. Окошки там еще слюдяные, песни, что в городе не услышишь. И масленичные гулянья, и христовославцы. У меня с тех пор прямо культ предков остался... Иконы льняным маслом натирали, а ризы серебряные мелом. Во всех домах в Бузуме старые лубки видели – самые лучшие».

Все, что с детства окружало художника в Сибири, в Красноярске, говорило о страстной тяге наших предков к красоте – наличники окон, утварь, иконы, вышивки, яркие туесы, расписные розвальни, каретный сарай, сложенный из могучих, замшелых бревен. В кованых сундуках хранились старинные сарафан, шушун, старые мундиры казачьего полка, в котором из поколения в поколение служили предки художника. Его отец, Иван Васильевич Суриков, любил петь старинные казачьи песни, аккомпанируя себе на гитаре. Дом Суриковых соблюдал старинные русские обычаи. Масленица с бубенцами под расписной дугой, святки с веселыми ряжеными прочно жили в быту Красноярска. Хорошо, что есть музей Сурикова в Красноярске, но как развеяна ветрами истории красота русского быта...

Хорошо, что есть музей. Но думается, что было бы не менее важно, чем развеска этюдов и репродукций с картин Сурикова воссоздать атмосферу старого дома Суриковых, быт, в котором вырос и сформировался великий национальный художник России.

– Сама жизнь Красноярска того времени, – продолжала Анастасия Михайловна, – была необычайно самобытной. Остроги со зловещими частколами, клейменные лица, эшафоты с палачом в красной рубаше, свист кнута и бой барабана, заглушавшего вопли наказуемого, – все это было обычными впечатлениями жителей старого Красноярска. Суриков мальчиком видел смертную казнь. Гуляя по улицам родного города ребенком, Суриков встретился со ссыльным Буташевичем-Петрашевским.

Анастасия Михайловна помолчала, потом встрепенулась:

– Помните, как Василий Иванович любовно говорил о народном искусстве: «Когда я телегу видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться. В дровнях какая красота... А в изгибах полозьев, как они колышутся и блестят, как кованые. Я, бывало, мальчонком еще переверну санки – как это полозья блестят, какие извивы у них! Ведь русские дровни воспеть нужно!...» – Анастасия Михайловна наизусть цитировала многое из того, что писал о своем детстве ее великий родственник, о котором она знала буквально все. Усталое лицо ее вдруг помолодело: – Путь Сурикова-художника начался странно и романтично. Забывшись, юноша Суриков, работавший переписчиком бумаг в губернской канцелярии, нарисовал с большим искусством на листке бумаги муху. Лист с случайно попал в папку столоначальника, идущего на доклад к губернатору. Сделав доклад, столоначальник ушел. Папка осталась на столе. В задумчивости взглянув на раскрытую папку, губернатор рукой смахнул сидевшую на бумаге муху, а та не улетает. Изумленный губернатор нагнулся и увидел, что муха не живая, а нарисованная!

Губернатор предложил Василию Сурикову учить его дочку рисованию и послал его работы в Академию художеств Петербург. Оттуда последовал ответ, что Суриков по своим данным заслуживает быть помещенным в Академию художеств. Золотопромышленник П. И. Кузнецов, влюбленный в искусство, дал денег не только на поездку в Петербург, но и выплачивал Сурикову стипендию все годы, пока художник не закончил академию. Сколько часов я провел в Третьяковской галерее и Русском музее, погружаясь и очищаясь душой в стихии его великих образов. Будучи в Петербурге, Василий Иванович не забыл своего красноярского благодетеля: написал ему небольшой, но удивительный по настроению ночной пейзаж Петербурга, где так знакомо блестит под луной купол Исаакиевского собора, а знаменитый Медный всадник окружен оградой, снесенной большевиками, которую до сих пор не может «восстановить» мэрия Санкт-Петербурга.

...Бродя по городу с альбомом в руках, я жадно всматривался в лица людей, восхищаясь приземистыми домами старого Красноярска. И вот однажды мне посчастливилось. Когда я делал набросок с белоголового мальчика с курносом бронзовым лицом, подошла его мать. Она давно звала его, но мой исправный натурщик не шевелился и не отвечал на зов матери. Она появилась встревоженная и рассерженная. «Ты что, оглох, что ли?» – услышал я, обернулся и... остолбенел. Редко можно встретить такой тип русской красоты. Ну поистине «есть женщины в русских селеньях»! Ее волевое лицо с капельками пота, с выбившейся русой прядью из-под белого с выгоревшим нехитрым узором платка на фоне темно-синего Енисея представилось мне ожившим фрагментом моей будущей картины. С огромным трудом я буквально умолил ее постоять полчаса с ребенком на руках. А потом никак не мог найти подходящего молодого парня, с которого можно было бы написать солдата. Анастасия Михайловна, муж

которой был военным, посоветовала мне поехать на край города, где был военный гарнизон и молодые солдаты проходили обучение. Командир части выслушал меня с вниманием.

– Понимаю вас, – взгляд его был серьезен, – вам нужен собирательный тип русского солдата. Дело ответственное. Советом я вам помочь не могу, – он улыбнулся, – но я сделаю по-другому – выстрою роту солдат в одну шеренгу, и вы, как командующий парадом, сделаете смотр. Того, кто вам понравится, предоставляю вам в полное распоряжение. Сколько вам нужно времени для зарисовки?

– Час-два, – ответил я.

– Ну вот, на час.

Я ликовал,. На откосе Енисея в палящий зной рота солдат, выстроенная в одну длинную цепь, насмешливо смотрела на штатского советника – студента с альбомом в руках, который обходил строй. Ротный с суровым лицом давал убийственные юмористические характеристики своим подчиненным. Ребята с трудом подавляли смех. Я был готов провалиться сквозь землю от смущения, как вдруг мое внимание привлек крепкий загорелый парень в лихо заломленной пилотке и выгоревшей гимнастерке, испачканный мазутом, с пшенично-белыми бровями и коротко остриженными волосами. Синие глаза его озорно смотрели на меня. Вблизи я увидел, что он небрит, и темная от загара кожа напоминала в миниатюре только что сжатое ржаное поле. Это был «он». Какое счастливое мгновение я пережил тогда!

– Иванов, – сказал ротный, – отдаю тебя в распоряжение товарищу художнику на два часа. Теперь он твое начальство. Если голая натура от тебя потребуется, – в любой позе без штанов стоять будешь, – закончил он под прорвавшийся наконец гомерический хохот роты. Обращаясь ко мне, командир доверительно добавил: – Парень он хороший, волжский тракторист, не подведет.

У него была та же выгоревшая гимнастерка с кругами пота, как и у «того», в 1941 году, которого я никогда не забуду...

– Возьми ведро в руки, как будто выпить его готов.

– Это можно, – улыбнулся он как Васька Буслаев, – хотя вода не водка – много не выпьешь, – белозубо шутил солдат, стоя на солнцепеке, не шевелясь, как заправский натурщик.

Из окна нашей «конюшни» я увидел, как во двор суриковского дома, заросшего травой, вошла старушка с березовым посохом, лицо ее было словно из обожженной терракоты. Устало опустившись на траву, она развязала котомку, вынула хлеб, огурцы и приготовилась к скромной трапезе.

– Откуда ты, бабушка? – спросил я старушку, словно пришедшую из глубины Руси.

– Издалече, сынок, издалече, – певуче ответила старушка.

Мы разговорились. Много поведала она мне. «А вот шел однажды Христос с апостолами по деревне. Праздник был. Люди молились. Летом дело было. А Спаситель-то идет, идет вдоль изб, о своем думает. Дошел до последней избы у самой околицы, – а там мужик песню поет. Остановился Христос и слушает. Апостолы-то и говорят: „Что же ты, Учитель, прошел мимо, не слушая тех, кто молился, а здесь песню простую слушаешь?“ Ответил им Сын Божий: „Потому не слушал, что слова они повторяли молитвы, а здесь человек поет и песней своей будто Бога славит и благодарит его за счастье жить на нашей многогрешной земле. Поет как молится – душой Бога славит“.

Много раз я думал над этой народной притчей, рассказанной мне старушкой – староверкой из далекого Красноярского края. Для многих из нас, художников, поэтов и писателей, понятна и близка эта народная мудрость.

Обветренная сибирскими ветрами странница впоследствии вошла в мою картину с этюда, сделанного в те незабываемые дни.

– Вам неплохо бы проехать по Енисею, – однажды посоветовала мне Анастасия Михайловна. – Красота берегов удивительная, совсем непохожая на среднерусские реки. Поезжайте по Енисею, тем более что вы интересуетесь Минусинском. Рядом с Минусинском – Абакан, столица Хакасии. Вот где вы богатую натуру найдете.

Для поездки было необходимо поправить наш бюджет. Местное отделение Художественного фонда, войдя в положение бедного студента, неожиданно радушно тут же предложило мне исполнить, точнее скопировать, – три метра на два – репродукцию известной советской картины «Ленин с детьми», автора которой я не помню. Работать пришлось в помещении копийного цеха. Во всех наших городах в таком цехе всегда была группа художников, работающих преимущественно над портретами вождей. Это своего рода серийное производство, когда художник, набив себе руку на определенном сюжете, становится специалистом, например по Ленину, Горькому или Тимирязеву. В тесной мастерской, заваленной многочисленными портретами, холстами и припорохами для портретов, я работал бок о бок с мастерами серийного портрета Красноярского Союза художников.

Художники работали заученными, четкими движениями, почти не глядя на холст, как не глядит на рояль виртуоз-музыкант, без умолку разговаривали, рассказывали анекдоты, балагурили и обсуждали

психологию членов художественного совета, принимающих портреты. Рассказывали о художнике, который облегчал задачу художественного совета, рисуя на портретах Сталина пуговицы большего размера, чем полагалось, чтобы сразу сконцентрировать внимание совета на этих деталях, исправить которые не стоило большого труда. Обсуждали Борьку Рязова, который, если не ошибаюсь, был тогда главой Красноярского Союза художников: «Наш Борька молодец, съездил в Туруханский край – там-сям пейзажики мазнул, представил в Москву серию работ под названием „По местам ссылки Иосифа Виссарионовича Сталина“. Каждый у нас такой пейзажик смастерить сможет, да не каждый до такого додумается. Так наш Рязов премию получил и начальником стал», – беззлобно рассказывали мастера фонда. Я понял, почему так быстро получил заказ. Платили за политическую фигуру, если не ошибаюсь, 300 рублей. Ленин и сорок детей – 300 рублей. Сталин – у больного Горького – 2 фигуры – 600 рублей. Никто не хотел брать этот заказ, а тут я как снег на голову. Местное РОНО осталось очень довольным, что их заказ наконец-то готов! «Работаешь ты, как паровоз! Оставайся у нас подольше – будешь как Крез», – шутили мои коллеги.

Я очень долго трудился над огромным холстом. За то и был вознагражден замечательным путешествием по Енисею; берега его будто высечены рукой скульптора, гигантские звери, великаны, фантастические чудовища навсегда превратились в глыбы разноцветного известняка. Как величественно и дико!

Даже певчие птицы не живут в тайге. Уютной и обжитой в своей кроткой красоте кажется русская земля, оставшаяся к западу от Уральских гор. Сибирь другая. Еще дымятся в отрогах Саянских гор и на Камчатке непотухшие вулканы, напоминая о том, что века и тысячелетия – только миг в таинственном процессе мироздания. Глядя на неприступные утесы, покрытые могучими кедрами, на ярко-красные горы, думаешь о тех, кто в первобытном порыве творческого самопознания начертал красной глиной на скалах таинственные символы человеческих фигур. Приходится лишь удивляться и горько сожалеть, что наши сибирские наскальные рисунки, куда более интересные, чем нашумевшие изображения Сахары, мало изучаются, не вызывают дискуссий и даже безжалостно уничтожаются...

На енисейских кручах невольно вспоминаешь одну из ярчайших фигур нашей истории – протопopa Аввакума. Высланный в Сибирь, он писал: «О, горе стало. Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена, стоит, в горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси, утицы, вороны черные и галки серые, орлы и соколы, кречеты и лебеди и иные дикие». Другой стала Сибирь. Вряд ли сегодня узнал бы ее опальный протопop...

...На пароходе старый моряк рассказывал о шамане, которого он видел в юности. Тот шаманил ночью в свете костра. Одежда на нем из крыльев большого орла и разноцветных лоскутков. Сначала шаман ударяет в бубен тихо, потом все сильнее, сильнее. Он кричит, бормочет непонятные слова, лает по-собачьи, мяукает и падает на землю. Говорят, что он в это время видит духов, к которым обращается с разными просьбами. Хоронят шаманов в тайге или на вершинах гор – все как не у нас...

– Вот вам бы за Минусинск съездить, там в степи много древних могил, на них до сих пор стоят камни, которым приданы черты человеческих существ.

* * *

Минусинск чем-то напоминает волжские города – крепкие дома, резные окна со ставнями.

– Идите в наш театр. Там вас устроят... Большинство артистов по колхозам разъехались на гастроли, – сказали нам в райкоме. – Он рядом тут напротив церкви. Найдете.

На белом, двухэтажном, с отбитой штукатуркой, давно не отремонтированном здании театра висела афиша: «Репертуар колхозно-совхозного драматического театра имени М. Ю. Лермонтова». Напротив театра одноэтажный длинный дом с надписью: «Городская баня». Так как главный вход театра был закрыт, мы зашли во двор, где увидели человека, склонившегося над разобранным велосипедом. Он обернулся на стук калитки, и мы увидели, что человек пожилой. Удивили яркие черные глаза, горбатый нос благородного рисунка, сильно запавшие худые щеки и седые элегантные усики. Если бы не сильно потрепанная рабочая блуза, он казался бы персонажем, словно сошедшим с портрета XVIII века в духе Левицкого или Боровиковского. Человек с любопытством посмотрел на нас.

– Вам кого? – поднявшись, добавил: – Судя по всему, вы не из Минусинска и не из Красноярска.

Мы представились и объяснили цель нашего приезда.

– Так-так, – лукаво сощурив умные глаза, чуть насмешливо сказал он. – За русским типом приехали! Суриков тоже искал его на приисках своего благодетеля Кузнецова. А интересных типажей здесь сейчас гораздо больше, чем во времена Сурикова. – Пристально посмотрев на меня, он иронически улыбнулся беззубым ртом: – Вот могу быть для вас тоже небезынтересен как исконный русский тип. Наш княжеский род частенько вспоминается в русских летописях, в XIII веке нашим предкам, черниговским князьям Оболенским, был пожалован целый город. Мы с Иваном III на Новгород ходили, татар из Переяславля

Рязанского выгоняли, брали Смоленск в 1514 году... К сожалению, члены нашей семьи даже участвовали в восстании декабристов, за что получили пожизненную каторгу. Были сенаторами, дипломатами, историками, философами. Мой отец одно время был фактическим шефом Эрмитажа... Ну вот, я постариковски заболтался, встретившись с земляками. Надеюсь, у нас еще будет время поговорить. – Он оглянулся на велосипед. – Видите ли, я не только специалист по ремонту велосипедов, но и совмещаю одновременно целый ряд должностей в театре, от режиссера до осветителя. Сейчас вам придется иметь дело со мной – все разъехались по колхозам, а я и кукольники остались.

Любезно пропуская нас вперед, он сказал:

– Я думаю, что самое лучшее, если вы устроитесь на втором этаже рядом с нами, в комнате, где хранятся куклы. – Он по-юношески легко взбежал на второй этаж и в полутемном коридоре открыл дверь в маленькую каморку, где по стенам и на полу висели, стояли и лежали куклы.

– Думаете, что только Образцов в Москве этим занимается? В Минусинске дело еще шире поставлено. Здесь и бюрократов, и бракоделов, и лодырей, не желающих работать на колхозных полях, – всех настигает карающий бич нашего театра. А вот и мое палаццо – «Мольто белле»! Как видите, немногим больше вашего. – Он распахнул дверь в соседнюю комнату. Кроме портрета Ленина и ходиков, на стенах не было ничего. В углу стояла кровать, накрытая одеялом. За столом на одной из двух табуреток сидела деревенская женщина лет сорока, по-крестьянски повязанная белым в горошину платком. Леонид Леонидович представил:

– А вот моя жена – Аннушка. Княгиня Оболенская – как сказали бы у нас в Петербурге до великих и грозных событий. – Заметив мое изумление, он остался, однако невозмутим и серьезен.

Прошло несколько дней. Я ближе познакомился с Леонидом Леонидовичем, не переставая удивляться его необыкновенному уму, всесторонней эрудиции и драматической, сложной судьбе. Его профессия – кино. Он работал с Пудовкиным, Эйзенштейном. Когда началась война, Леонид Леонидович оставил ВГИК, где преподавал, и пошел в народное ополчение. «Первый бой, контузия, упал без сознания, сверху землей присыпало. Вечером очнулся. Поднялся, увидел – вокруг трупы и развороченная земля. Кругом немцы. Дальше – концлагерь для военнопленных, потом – по этапу в Германию. В Берлине в разгар войны сподобился даже ставить оперы Вагнера и Глинки – „Жизнь за Царя“. Все было, дорогой Ильюща. Но о самом страшном – все равно не расскажу. Не хочу, чтобы ваша роскошная, как у Дягилева, шевелюра вдруг поседела!»

...Мы сидели на песчаном берегу Минусинки под огромными старыми тополями, листья их словно из серебра. Было удивительно тихо. Пыльный городок застыл в жаре, и только белые облака плыли в голубой реке... Я вспомнил «Водоем» Борисова-Мусатова.

– Давайте выкупаемся, а то мой обеденный перерыв кончается. Слышите, уже где-то в рельсу бьют. У нас социалистическая дисциплина, а не разболтанность чиновников кровавого царского режима! Как говорится, кто не работает, тот не ест, – с усмешкой сказал он.

Он выходит из воды, высокий, стройный и загорелый, как индус, садится на песок, поджав ноги, как Будда, и, закуривая, говорит:

– Удивляюсь, что еще живу! Сколько замыслов для потрясающих сценариев и фильмов я вынес за эти окайнные годы! И древние правы: человек может подняться до Бога, а может стать животным. Сюжеты шекспировской силы подсказывает нам жизнь.

Леонид Леонидович зажигает угасшую сигарету.

– Жизнью я обязан Аннушке, ее самоотверженному золотому сердцу русской крестьянки. Она меня выходила, когда я тяжело заболел. у нее тоже трудная судьба. Муж, танкист, погиб в начале войны, сгорел заживо в танке, сын остался. Я для него как раз велосипед чинил, когда мы с вами познакомились. В шестой класс ходит, любопытный мальчуган. А моя первая жена, узнав, что я попал в лагерь для перемещенных лиц, отказалась от меня – не все могут, как Сольвейг, ждать или, как жены некоторых декабристов, ехать в Сибирь. Не сомневаюсь, что Ниночка последует примеру жен декабристов. Если не дай Бог с вами что-нибудь случится.

Он улыбнулся. А затем вдруг стал очень серьезным – у него вообще беспрестанно менялось выражение лица – и, посмотрев на нас темными, загадочными, «рокоотовскими» глазами, сказал:

– Я всегда верил в человека; в его совесть и разум, в конечное торжество общественной, боголюбивой справедливости на земле. История рано или поздно все поставит на свое место – хоть жертвы будут неисчислимы! Я еще в юности занимался упражнениями древних индийский йогов – это помогло мне выжить в лагере. – Он улыбнулся. – Вы, конечно, знаете о джианана-йога, бхакти-йога и раджа-йога? Вы должны, если еще не читали, прочесть сочинения Вивекананды, познакомиться с удивительной личностью Рамакришны. Они говорили, что мы, европейцы, последние сто лет штурмуем бастионы материального мира, в то время как они – бастионы духа. В свое время русская интеллигенция увлекалась теософией – пока их всех не пересажали. И вот сейчас, говоря с вами, дорогие мои друзья, я,

как и всегда, вдыхаю прану – источник жизни на земле. И это счастье, пока я жив, никто не в силах у меня отнять...

Только много лет спустя, вспоминая наши долгие разговоры с Леонидом Леонидовичем, я понял, что он многими нитями своей души был связан с петербургским «серебряным веком» во всей его противоречивой сложности. Когда для многих в те времена Вивеканаида и Рамакришна были, увы, ближе, чем Сергей Радонежский, Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский, о которых никогда не говорил Леонид Леонидович... Полюбив его как представителя уходящей со сцены нашей истории русской интеллигенции, я до сего дня восхищаюсь его врожденным аристократизмом и многогранной духовностью. Он глубоко читал Достоевского, понимая его философию и значение для русской и мировой культуры.

За фанерной ширмой жили кукольники, Борис Ефимович с женой Любой, жизнерадостной брюнеткой. В свое время они оба были коммунистами, но обвинение в приверженности троцкизму сыграло роковую роль в их судьбе. Пришивая стеклянный глаз кукле, изображающей Буратино, Борис Ефимович рассказывал мне о своей жизни, о журналистике, о Харькове, откуда он был родом. О годах, проведенных в лагере, они говорить не любили. К концу рассказа он уже успел пришить к головке Буратино шапочку с кисточкой.

В Минусинске жили в то время и бывшие эмигранты, вернувшиеся на родину из Китая, «возвращенцы». Главным образом это были дети тех, кто уехал в Китай или попал туда случайно накануне революции. Часть из них решила остаться на целине, где им была предоставлена работа, другие, живя в Минусинске, ждали решения своей судьбы, чтобы поехать в Ленинград, Москву, Киев. Однажды, войдя в комнату кукольников, я стал свидетелем жаркого спора. Речь шла о Достоевском. Творчество русского писателя с юности восхищало меня, но я тогда был лишь у порога познания всей необъятной сложности творчества и личности православного гения.

С тех пор прошло много лет, и я, работая над иллюстрациями к произведениям ставшего моим любимым писателя, все более и более приближался к пониманию Достоевского. Я считаю его единственным писателем, которого не затронули масонские внушения мнимого освободительного движения. Весь жар своей души Ф. М. Достоевский отдал сопротивлению силам тьмы и разрушения. Он верил и утверждал всем своим бытием нравственное здоровье, провидя пути процветания России, исповедуя самодержавие, православие и народность. Он считал Европу нашей второй родиной, восхищаясь всемирной отзывчивостью русских. Примиряя западников и славянофилов, он провозглашал единение славян, видя в этом путь обновления больного мира, лежащего во зле. Отсюда его знаменитый призыв: «Константинополь должен быть наш!». Константинополь, или, как называли наши предки, Царьград, должен был стать, по идее Достоевского, столицей великого православного славянского царства. В своем «Дневнике писателя» за 1877 год Федор Михайлович размышляя о судьбах славянства, заметил, что еще «тишайший» царь Алексей Михайлович был озабочен восточным вопросом. Вопрос этот приобрел особое историческое звучание, когда началась война с турками за освобождение наших братьев-славян от многовекового мусульманского ига. Кстати, отец Петра Великого еще за двести лет до Ф. М. Достоевского говорил: «...И порешил в своем уме, если Богу угодно, что потрачу все свои войска и свою казну, пролью свою кровь до последней капли, но постараюсь освободить их».

Достоевский всей душой своей поддержал освободительную миссию России. Он писал: «Это сам народ поднялся на войну с царем во главе. Когда раздалось Царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали Царский манифест, народ крестился, и все поздравляли друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и все это даже здесь, в Петербурге...»

Я думаю, что читателю, особенно сегодня, будут интересны соответствующие выписки из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского:

«Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь „братьев-Славян“, измученных Турками, поднимаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте. Мудрецы кричат и указывают, что мы погибаем и задыхаемся от наших собственных внутренних неустroйств, а потому не войны желать нам надо, а напротив, долгого мира, чтобы мы из зверей и тупиц могли обратиться в людей, научились порядку, честности и чести: „Тогда и идите помогать вашим братьям– Славянам“, – заканчивают они, в один хор, своим...»

«...И какую услугу оказали нам эти мудрецы перед Европой! Они так недавно еще кричали на весь мир, что мы бедны и ничтожны; они насмешливо уверяли всех, что духа народного нет у нас вовсе, потому что и народа нет вовсе, потому что и народ наш и дух его изобретены лишь фантазиями доморощенных московских мечтателей; что восемьдесят миллионов мужиков русских суть всего только миллионы косных, пьяных податных единиц; что никакого соединения Царя с народом нет, что это лишь в прописях, что все, напротив, расшатано и проедено нигилизмом; что солдаты над нами бросят ружья и побегут как бараны; что у нас нет ни патронов, ни провианта, и что мы, в заключение, сами видим, что расхрабрились и зарвались не в меру и изо всех сил ждем только предлога, как бы отступить без последней степени

позорных пощечин, которых „даже и нам уже нельзя выносить“, и молим, чтоб предлог этот нам выдумала Европа. Вот в чем клялись мудрецы наши, и что же: на них почти и сердиться нельзя, это их взгляд и понятия, кровные взгляд и понятия. И действительно, да, мы бедны, да мы жалки во многом; да, действительно у нас столько нехорошего, что мудрец, и особенно если он наш „мудрец“, не мог „изменить“ себе и не мог не воскликнуть: „капут России, и жалеть нечего!“ Вот эти-то родные мысли мудрецов наших и облетели Европу, и особенно через европейских корреспондентов, нахлынувших к нам накануне войны изучить нас на месте, рассмотреть нас своими европейскими взглядами и измерить наши силы своими европейскими мерками. и, само собою, они слушали одни лишь „премудрых и разумных“ наших. Народную силу, народный дух все проглядели, и облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия, ничто была, ничто и есть и в ничто обратится. Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уже досаждаем в Европе...»

«...В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России, ничего не понимают в России! Они не знают, что мы непобедимы ничем в мире, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным...»,

В своей страстной проповеди Достоевский утверждает: «Не всегда война бич, иногда и спасение». С трудом удерживаюсь, чтобы не продолжить выписки из «Дневника писателя» за 1877 год, зная, что заинтересованные читатели прочтут Достоевского сами.

Закончу, однако, вопросом нашего писателя: «Спасает ли пролитая кровь?» И в начале этой главы пишет: «Но кровь все-таки кровь», – наладили мудрецы (под «мудрецами» Достоевский имеет в виду многих представителей «либерального» антипатриотического лагеря. Достается всем и особенно Льву Толстому с выразителем его идей Левиным из «Анны Карениной»). Достоевский подчеркивает свою скорбь об оторванности русской интеллигенции от многомиллионного русского народа. Разумеется, эта тема требует серьезного исторического разговора: как, какими путями и кем осуществлялась трагедия отъединения многих представителей духовно-политической элиты России от национальных интересов государства и народа русского. – И.Г.), и, право же, все эти казенные фразы о крови – все это подчас только набор самых ничтожнейших высоких слов для известных целей. Биржевики, например, чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности. И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгующие гуманностью».

Можно лишь догадываться, как сегодня Достоевский отнесся бы к тому, что славян поделили на мусульман и сербов, подвергающих друг друга взаимному истреблению, а наши православные братья тщетно ждут помощи от когда-то великой России. Что бы написал Достоевский, если бы знал, что нынче миллионы русских сами стали людьми второго сорта и очутились в рассеянии?

Сознание собственного достоинства в истории есть одно из лучших оснований народного достоинства в настоящем и семя будущего; питать и укреплять это сознание в народе есть прямая обязанность писателей...

В. М. Флоринский. Из книги Первобытные славяне»

...Положим и мы свой камень к общему основанию истории древних Славянорусов!

Егор Классен, великий русский историк

Достоевский

Никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не истребишь, не замертвишь и не искоренишь в сердце народа нашу жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего...

Ф. М. Достоевский

Тогда в Минусинске я, конечно, заинтересовался спором, стараясь вникнуть в субъективные, зачастую чисто эмоциональные оценки как друзей, так и недругов великого писателя.

– Ваш Достоевский не понял революционной демократии. Он малодушный человек, отказавшийся от идей социализма, которые исповедовал в юности. Прекрасно начав как союзник Чернышевского и Белинского, он дошел до того, что был другом Победоносцева, и его – каторжника! – пригласили быть воспитателем царского наследника. Позор! – говорила порозовевшая от волнения Люба. – Я понимаю, что идейное развитие Достоевского было грубо прервано, и на десять лет он был вычеркнут из жизни каторгой... Отсюда, наверное, его неверие в революционные теории, его надежды на христианскую кротость и доброту как, самые сильнодействующие средства прогресса...

Актер Саша успел вставить реплику:

– Христианская кротость относительна: «Не мир, но меч принес я вам», – сказал Христос. Православие – это не размагниченное непротивление Льва Толстого, а великая воинствующая сила добра!

Возвращенец, преподаватель русского языка, полнеющий сорокалетний мужчина, на лице которого словно застыло непонятное изумление перед тем, что он слышит, выпустив колечком дым, заметил:

– Хемингуэй говорил, что истинный писатель и художник должен познать и пройти через три испытания: любовь, войну и каторгу. Вот что формирует писателя и человека.

– Вот именно, – протянул к нему руку Леонид Леонидович. – Без Сибири, без Омского острога не было бы Достоевского. Сибирская каторга, четыре года невыразимых страданий создали и дали миру Достоевского, которого всю жизнь мучила тема человека, непостижимые глубины его загадочной души с ее злыми и добрыми движениями. Каторга для Достоевского, – продолжал Леонид Леонидович, – была великой школой познания русской народной души и переосмысления идей социализма, которыми прельстили его друзья-петрашевцы. Достоевский вернулся из Сибири, как сегодня бы сказали, пламенным антикоммунистом и, судя по его роману «Бесы» и «Дневнику писателя», возненавидел со всей страстью мировую «интернационалку», грозящую миру вселенской катастрофой.

Глядя на Любу, Леонид Леонидович добавил:

– Внимательно изучая философию и идеологию Федора Михайловича, можно убедиться, что именно здесь, в Сибири, в остроге, наш писатель познал и по-настоящему полюбил русский народ, поверил в него – и возненавидел великую ложь социальных утопий. – Обратившись затем к харбинскому учителю колледжа – чуть вызывающе, словно втягивая его в дискуссию, заявил: – Когда сегодня имя Достоевского гремит по всему миру, его изучают во всех колледжах и университетах Европы и Америки, прискорбно не только то, что его творчество урезано и изуродовано в школьных и университетских программах нашей необъятной Родины. Печально другое: к его имени пытаются подверстать учения, философские взгляды тех, кого так не любил Достоевский.

– Ну, и кого вы имеете в виду? – спросил учитель колледжа, сидящий в американской застиранной ковбойке.

– Всех не перечислишь, – ответил Леонид Леонидович. – Многие на Западе говорят, что Достоевский с непревзойденной силой раскрыл темные стороны психики человека – силы разрушения и утилитарного эгоизма, страшные инстинкты, тающиеся в «подполье» его души. Дескать, Достоевский опередил теорию Фрейда, и в том его заслуга. Какая лукавая ложь! В отличие от Фрейда Достоевский не сводил весь сложный комплекс человеческой психики к низменным инстинктам темного «подполья», сексуального либидо. Он с величайшим оптимизмом утверждал веру в возрождение души человека, славил небесный купол совести, стремление к победе добра над злом, к познанию высшего назначения человека на земле. Итак, – твердо сказал Леонид Леонидович, – к Достоевскому примазываются многие, любя его и ненавидя. Помню, как возмутили меня слова Альфреда Розенберга, который видел в нашем великом писателе и мыслителе только сумбур и хаос, типичный, по его понятиям, для русской души. С другой стороны, общеизвестно, что Ленин и Горький еще до революции делали все, чтобы не осуществилась постановка «Бесов» в театре.

Вздохнув, Борис Ефимович грустно произнес:

– Леонид Леонидович, мы-то уж с вами повидали людей без совести, на своей шкуре испытали «богоносие» русского народа...

– Вот именно, – темпераментно подхватила Люба, – ваш Достоевский давал поводы причислить его к лагерю черносотенцев. Не случайно многие, в связи с грубыми антисемитскими выпадами, считают писателя мракобесом. Как нельзя Сталина назвать настоящим коммунистом, так и Нечаев не был настоящим революционером. Не случайно Верховенский в ваших любимых «Бесах» говорит: мы мошенники, а не социалисты. И вообще – разве революцию в России сделали евреи? – в упор посмотрела она на Леонида Леонидовича.

Леонид Леонидович, опустив глаза, покачал головой:

– Достоевский говорил, что в мире все за всех виноваты. Общеизвестен большой процент евреев в революционном движении, но были ведь также латыши и даже китайцы, не говоря уже о сознательных русских рабочих и крестьянах.

Актер Саша порывисто вытащил записную книжку и, открыв ее, сказал:

– Люба права, Достоевский в своем «Дневнике писателя» написал: «Интернационализм распорядился, чтобы еврейская революция началась в России. И начнется... Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств... Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии... Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лица мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит кровью...»

Прочтя цитату, Саша обвел нас вопрошающими глазами.

– Ну вот, что я говорила, – победоносно сказала Люба, – опять во всем евреи виноваты! Что же, по-вашему, и Николай Иванович Ежов тоже еврей? И мы, евреи, очутились в Минусинске благодаря евреям? Нас допрашивали, как, очевидно, и всех присутствующих, в большинстве своем русские следователи. А приснопамятный 37-й год был во многом погромом евреев, как и пресловутые процессы «врагов народа», которыми руководил Вышинский. – Обращаясь к Леониду Леонидовичу, она с вызовом спросила: – А где

же был ваш богоносный народ, когда царя свергали и грабили награбленное? Словом, чужд мне ваш Достоевский с его мраком, патристическими химерами и антисемитизмом.

Все замолчали. Потом учитель колледжа задумчиво произнес:

– Возможен и такой взгляд. Но учтите: влияние Достоевского на мировую культуру огромно, интерес к нему все возрастает. Вы не представляете, сколько на Западе о нем написано чепухи, каждый философский или литературный лагерь кричит: «Достоевский наш!» – и пытается присвоить его наследие. Иные критики договариваются до какой-то «полифоничности» произведений Достоевского. Он, дескать, противоречив, многолик, якобы не имеет своего определенного, ярко выраженного социально-философского взгляда на добро и зло. Трактуй его, дескать, вкривь и вкось, как пожелаешь.

Леонид Леонидович не удержался от реплики:

– Дорогой профессор, все ваши критики, исследователи и теоретики на деле боятся яростного и непримиримого монолога Достоевского, обращенного прежде всего к России, а потом уже и ко всему миру. Разговоры о полифоничности, якобы присущей его творчеству, – не что иное, как стремление запутать, исказить взгляды могучего мыслителя.

Посмотрев на меня, князь Оболенский посоветовал:

– Здесь, в Минусинске, сохранилась неплохая библиотека, которой чудом не коснулись цензурные изъятия. когда-то предписанные еще женой нашего Ильича Крупской. Я нашел там, например, книжку о Чернышевском, которая свидетельствует, что перед смертью он покаялся и отказался от многих своих социальных бредней. – Настороженно обведя нас глазами, пояснил: – Я не знаю, правда это или нет, но только пересказываю содержание книги, изданной еще до революции, кажется, в Красноярске. Но вот чему я искренне рад, – сверкнул он глазами, – это тому, что нашел в Минусинской библиотеке «Дневник писателя» за 1877 год. Дневник этот был изъят из большинства библиотек – уж слишком резко и ясно выражена в нем гражданская позиция Достоевского.

Он открыл лежащую на столе книгу и, перелистывая страницы, не спеша читал:

– Вот о трех идеях: католическая, протестантская и, наконец, наша славянская – православная. – Подняв голову, как учитель в школе, сказал мне: – Вы вот, Ильяша, все ищите русских героев. Прочтите главу «Фома Данилов, замученный русский герой». Удивительно проникновенно, – продолжал он листать книгу дальше, – написаны главы «Еврейский вопрос», «Pro i contra», «Сорок веков бытия»...

– Ну вот, Леонид Леонидович, – сказала Люба со скрытой издевкой, – давайте откроем вашей лекцией Минусинский колледж, посвященный пропаганде реакционных взглядов Достоевского.

– Позвольте! А разве в наши дни устарела критика Достоевского в адрес буржуазного мира? Разве он, пусть в строго определенных границах, не союзник нам в борьбе с духом цинизма, одичания, стяжательства, разрозненности? Этот мир, в котором нам довелось жить, увы, стал еще бездушнее и бесчеловечнее, чем был во времена Достоевского, – возвращенец подыскивал слова, торопясь, видимо, высказать наболевшее. – Светлый символ европейской гармонии Аполлон, равно как и относительное душевное благополучие культуры XIX века – не говоря о средневековье и даже Ренессансе! – ныне уже невозможны. Симптоматично, что в западной науке и философии теперь доминируют психоанализ да экзистенциализм с его культом эгоцентрического отчаяния. Всеобъемлющий гений Достоевского, умевшего как никто видеть силу зла в мире, может принести большую духовную пользу России и Западу, короче, всему человечеству. Потому и растет его популярность в мире!

Я слушал профессора с интересом.

– Да. – поднял голову Саша, молодой актер, – позвольте важный вопрос, можно ли совершить зло ради – добра, может ли благородная цель оправдывать убийства и насилие? Ведь нет и не может быть справедливости для всех, равно как нравственное понятие добра неотделимо от социального его толкования. И каждое общество заново решает эти «вечные» проблемы.

– А что тут ломать голову? – иронически и холодно произнесла Люба. – Слабонервный молодой человек, оказавшийся на дне капиталистического общества, решает убить никому не нужную паразитку общества, старуху-процентщицу, для того чтобы воспользоваться ее деньгами и для устройства личной судьбы, и для помощи людям. Решил, но замысла не довел до конца – типичный русский интеллигентик, сам на себя пошел доносить.

Леонид Леонидович замахал руками.

– Раскольников, выросший из пушкинского Германа, произвел чудовищный эксперимент. Все ли дозволено ему? Если нет Бога, то я сам Бог! Поклонение самому себе! Это, кстати, позднее было блестяще воплощено в «Бесах». Но ведь убийство старухи задумано Раскольниковым якобы по гуманистическим мотивам. Получается, что от гуманизма до сатанизма – рукой подать! Страшны результаты самообожествления человека, потерявшего Бога и законы совести. В таких именно раздумьях и рождается знаменитая теория Раскольникова о «праве на преступление» для людей, стоящих по своему развитию и

морали, как они думают, выше толпы. Достоевский отвергает философию «сверхчеловека», разоблачает ее аморальность, пророчит ее неизбежное вырождение.

...Вспоминая сегодня беседы тех далеких дней среди бывших заключенных, живущих в Минусинске, я понимаю, что тогда очень многое Леонид Леонидович не хотел или не мог по политическим соображениям расшифровать вслух до конца. Думаю, он понимал уже тогда, что Раскольников – это первый политический убийца, отраженный в русской литературе гением Достоевского. Ну, а те, кто готовили и вершили революцию в России, не были похожи на Раскольникова. Будучи в большинстве своем нерусскими, они ненавидели нашу страну, Россию, по-своему понимали добро и совесть, заменяя их химерой классовой ненависти. Их верой была несостоявшаяся всемирная революция. Достоевский убедительно показал, что идейное, политическое убийство несет миру много крови и хаоса. Помните, в «Бесах» Шигалов признается, что он начал с провозглашения свободы, а неотвратимо пришел к безграничной деспотии. «Кто не православный, тот не русский!» – провозгласил он. А где-то обмолвился, что если отнять у русского народа его православную веру, то окажется он народом дрянным, частью общечеловеческого муравейника.

Трогательно и свято верил Достоевский, что «чаша сия» – атеизма и социализма – минует Россию. Но непременно падет на готовую к погрому Европу – нашу вторую родину. Даже он, пророк, не мог постигнуть, провидеть сквозь там и сям вспыхивающие зловеющие огоньки бесовского пламени что вселенский пожар разгорится на просторах Святой Руси, что миллионы русских начнут истреблять друг друга, что за черным дымом пожарищ навсегда скроются от нас слава и богатство Отечества с его градами, храмами и святыми ликами угодников Божиих, уничтожаемых с мстительной злобой. Мы не были «проклятым заклейменным» – и не были рабами. Как же, как это все могло случиться с Россией?...

* * *

Много-много лет прошло с тех пор, когда в далекой Сибири я впервые, благодаря моим новым друзьям, задумался над творчеством и философией великого русского писателя. Разумеется, еще в юности меня пронзили образы петербургского мечтателя князя Мышкина, Настасьи Филипповны, Рогожина. Я уже тогда понимал, что такое реальность мечты и иллюзия реального мира. Поражало, что у Достоевского все его герои, несмотря на их жизненно-индивидуальную психологию, – идееносцы, люди, душа и совесть которых находятся в постоянной битве за овладевшую ими социальную, философскую, но прежде всего нравственную идею, четко очерченную писателем в каждом персонаже. Я уже не говорю о завещании, которое оставил нам великий сын России в романе «Братья Карамазовы». Именно тогда, в Минусинске, я задумал – тотчас по возвращении в Ленинград-Петербург взяться за воплощение образов «неудавшейся идеи христианства» – князя Мышкина и столь волновавшей меня Настасьи Филипповны.

Трудна и ответственна работа художника-иллюстратора, высшей наградой для которого являются слова читателя: «Я именно так представляю себе князя Мышкина, и я так вижу, к примеру, Ставрогина». Я понимаю, почему такую ненависть левого фронта вызывали «Бесы» Достоевского, – «написанные руками, дрожащими от гнева». Я благодарен моим доброжелателям и верившим в мой дар художника издателям, доверившим мне проиллюстрировать полное собрание сочинений моего кумира. Я навсегда сохраню память об Анатолии Владимировиче Софронове, бывшем редакторе журнала «Огонек», благодаря которому смог попробовать свои силы в доверенных мне подписных изданиях русской классики: Достоевского, Мельникова-Печерского, Блока, Алексея Толстого и других великих мастеров русской литературы. Анатолий Владимирович имел свою непоколебимую точку зрения – ему нравились мои работы и мои иллюстрации.

Достоевский во многом оболган и оклеветан, несмотря на благородную справедливую идею о всемирной отзывчивости русских. Он понимал, что с падением России падет и весь славянский мир, свидетелями чему мы являемся сегодня. Он видел и предупреждал весь мир о грядущей опасности «человеческого муравейника».

Через всю творческую жизнь Достоевского неизменно проходит мотив Петербурга... Дома – ульи с подслеповатыми окнами, в которых отражено низкое тяжелое небо севера; белье на ветру, деревянные сараи, рябые от ветра лужи; пробирающиеся к помойке тощие грязные кошки, которые в белые ночи кричат, гоняясь друг за другом по крышам...

Мир униженных и оскорбленных героев Достоевского! Каким глубоким настроением полны эти кварталы города, где так жива и трепетна память о великом писателе! В белые ночи в тишине спят громады домов, и одинокие юные мечтатели, склонившись над водой каналов, думают о чем-то своем, глядя на медленный поток мутно-зеленой воды.

Достоевский, как пишет в своих воспоминаниях дочь писателя, любил блуждать «по самым темным и отдаленным улицам Петербурга. Во время ходьбы он разговаривал сам с собой, жестикулировал, так

что прохожие оборачивались на него. Друзья, встречающиеся с ним, считали его сумасшедшим. Он останавливался, неожиданно пораженный взглядом, улыбкой незнакомца, которые запечатлеваются в его мозге». Во время этих прогулок рождался образ города, живущий той напряженной внутренней жизнью, которая так характерна для романов Достоевского. Не случайно его герои бродят без всякой цели по улицам и площадям «умышленного» города. Какая-то неудержимая сила влечет их к этому общению с ним. Свидания Мечтателя из «Белых ночей» на берегу канала с незнакомкой; подросток, исходивший Петербург из конца в конец; князь Мышкин, испытывавший необыкновенную страсть к уединению среди самых людных мест...

Достоевский... Большой лоб с могучими, как у новгородских соборов, сводами надбровных дуг, из-под которых смотрят глубоко сидящие глаза, исполненные доброты и скорби, глубокого раздумья и пристального волевого напряжения. Болезненный цвет лица, сжатый рот, скрытый усами и бородой. Его трудно представить смеющимся. Достоевский...

Известно, что однажды в детстве, оставшись совсем один в ясный предосенний день на опушке леса, он услышал над собой среди глубокой тишины громкий крик: «Волк бежит». Вне себя от испуга, отчаянно крича он выбежал в поле, прямо на пашущего мужика Марея; разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав. Тот успокоил мальчика: «Что ты, что ты?. Какой волк? Померещилось... Уж я тебя волку не дам... Христос с тобой!» И мужик перекрестил мальчика «с почти материнскою улыбкою пальцами, запачканными в земле». В этом воспоминании Достоевского как бы предвосхищена вся будущая философская концепция писателя, видевшего спасение от всех социальных бед в незыблемом укладе бытия русского народа, в образе землепашца, былинного Миклулы Селяниновича.

* * *

Часто можно услышать: «Не люблю я Достоевского с его „Достоевщиной“ – мрак, истеричные типы, психопаты, смакование болезненности». Все не так! Я считаю его самым оптимистическим светлым писателем мира. Федор Михайлович верил в воскресение души человека, даже если тот дошел до смертельной черты вседозволенности. Покаяние, совесть и вера не дадут погибнуть человеку миру, лежащем во зле. Мне представляется, в частности, что братья Карамазовы – это воплощенные идеи, которыми определялась духовная жизнь России, неустанно и противоречиво ищущей пути к свету и смыслу жизни. Православие – это судьба Алеши. Дмитрий – это страсть к жизни с ее «половодьем чувств». Иван – это атеизм и, естественно, отрицание законов Божьего мира. Без Ивана ведь не было бы и Смердякова, убившего их отца.

Смердяковщина – огромное философское понятие! Смердяков, презирающий все русское, не знает любви к родине, готов приветствовать нового Наполеона, которому вздумается завоевать Россию, это лакей, полный надменного презрения к отечеству. Его логика, циничная и изворотливая, оправдывает любую подлость, любое злодеяние. Как проявились черты Смердякова во многих бывших советских людях и демократии нынешнего времени! Лакеи дождались завоевателей и остались у них лакеями...

Проблема Достоевского действительно трудна, сложна и мучительна, как мучительны поиски смысла жизни, понимание добра и зла и осознание причин краха нашей когда-то великой и могучей Российской империи. Достоевского вообще можно не замечать, равнодушно называть великим писателем и проходить мимо. Но для того, в ком горит желание найти ответы на «проклятые вопросы» человеческого бытия и судьбы России в которую он так свято верил, Достоевский становится спутником всей жизни – мучением, загадкой, утешением.

Любящее, за всех людей на земле страдающее, отзывчивое сердце, неподкупная совесть его, чутко и безошибочно чувствующая зло, какой бы личиной оно ни прикрывалось, – вот что влечет к Достоевскому через все возможные несогласия ним.

Оказал ли влияние Достоевский на изобразительное искусство? Этот вопрос во всей его глубине еще не исследован. Он очень любил живопись. В его комнате над рабочим столом висела репродукция «Сикстинской мадонны». Картина Клода Лоррена в «Подростке» служила писателю образом счастливого «золотого века» человечества, а мрачное «Снятие с креста», висящее в доме Рогожина, вплетает свой жуткий мотив в трагический финал романа. В тех же случаях, когда Достоевский принимался писать о живописи, он очень точно вникал в суть произведения, в котором прежде всего, как и в других видах искусства, видел средство выразить философскую идею. Изумителен по точности и убедительности разбор им одной из самых знаменитых картин Репина. «Чуть только я прочел в газетах о „Бурлаках“ г. Репина, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет – ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу... И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: „Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!“

И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении... И знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете – именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какой любовью!) к этому мужичонке или к этому плуту – подлецу-солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя и уйти, их не любя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта их бурлацкая „партия“ будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты – не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины».

Как современна и актуальна позиция Достоевского, его неприятие вульгарной «тенденции», выхолащивающей живое, искреннее чувство правды. Я не касаюсь жизненного уровня бурлаков, который, несмотря на тяжкий труд, судя по отзывам современников, был очень неплох. Как известно, остались сделав одну «ходку» по Волге, многие из «несчастливых» могли купить себе дом и обзавестись хозяйством. Все познается в сравнении – скажем, быт политкаторжан царского времени и участь узников ГУЛАГа.

После глубокой статьи Ф. М. Достоевского какой запрограммированной ложью звучат сентенции народного печальника Некрасова:

Выдь на Волгу,
Чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,
То бурлаки идут бечевой.

Некрасов фигура сложная, но понятная. Тогда многие правдолюбцы и демократы, масонствующие либералы своей «любовью к народу» расшатывали государственные устои России!

Многие из заступников за народ не дожили до революции, которую они готовили и ждали. Но на примере В.Г. Короленко можно убедиться, как правдолюбец и радатель «освободительного движения», дожив до революции, ужаснулся творимому большевиками массовому террору. Известны пять писем Короленко Луначарскому. Возможно, именно они стоили русскому писателю жизни. В своем дневнике в Полтаве 13 ноября 1918 года Короленко записывал: «То, что большевизм преследует так ожесточенно независимое слово – глубоко знаменательно и симптоматично... Он говорит: только тот, кто прославит меня, имеет право на существование. Подчинитесь, или погибнете». Как известно, Ленин предложил оградить заболевшего нервной болезнью Короленко от общения с окружающим миром. Приехавшая к почтенному писателю, находящемуся фактически под домашним арестом, бригада врачей из Харькова провела курс лечения, после которого автора «Детей подземелья» и других трогательных рассказов, отражающих мрак жизни в самодержавной России, похоронили. Повторяю, мы можем только догадываться о реакции многих «страдальцев за народ» и предположить, к примеру, что даже Лев Толстой мог бы на этот раз не по масонскому внушению, а по глубине совести великого русского писателя рывнуться: «Не могу молчать!»

* * *

Но я отвлекся от темы «Достоевский и живопись». В то время вызвала большой общественный шум картина Николая Николаевича Ге «Тайная вечеря». Глубоко и верно вскрывал Достоевский суть и воплощение художником исторического евангельского сюжета. Вот что писал Федор Михайлович: «Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но, спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г. Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут все фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарево Кесареви»; тогда бы стало тотчас понятно. В картине же г. Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла

фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уж вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом».

Николай Николаевич Ге удивительно верно, до щемящей боли в сердцах зрителей, передал одиночество Иуды, оставшегося на ночной дороге и смотрящего вслед уводимому стражей Тому, кого он предал. Выход Христа из дома, где была тайная вечеря, словно излучает таинство лунной ночи, полной мистического смысла и глубокого религиозного чувства. Меня всегда поражал «Христос на Голгофе», несмотря на то, что это неоконченное произведение.

Но картины «Распятие» или «Что есть истина?», с моей точки зрения, далеки от воплощения образа Христа, Сына Божьего, и сути евангельского повествования. В образе Христа Спасителя угадываешь истерическую боль и забвение основ православного русского искусства, ушедшего от величавого образа Того, чьим именем названа наша цивилизация. Не случайно масонская доктрина, включающая в себя положения теософии, видела и видит в Христе лишь одного из великих учителей человечества и основателя христианства. Это Лев Толстой оказал на Н.Н. Ге, как мне думается, пагубное влияние: теряя в душе образ Христа, художник видел в нем лишь мятущиеся страдания русского интеллигента, и это привело к тому, что Россия потеряла еще одного великого художника. Превратившись в исправного толстовца, Ге стал больше заниматься деятельностью «прогрессивного помещика», и его все дальше и дальше уводили от высокого предназначения русского художника его «братья», неизвестные нам...

Проповедь Льва Толстого, заставлявшего не бороться со злом силою, а создавать коммуны и лечиться трудом, на многих оказывала самое тлетворное воздействие. Из русских писателей в XX веке только двоим были оказаны великие всемирные почести – Льву Толстому и Максиму Горькому. Один – «зеркало русской революции», другой «жаждал бури». Они оба отдали все силы уничтожению самодержавия и «свинцовых мерзостей» русской национальной жизни. Достоевский же победил мир вопреки воле темных сил «мировой закулисы». Его светносную проповедь по сей день пытаются исказить и замолчать. Но трудно замолчать правду, как трудно тучам закрыть свет солнца!

* * *

Я горжусь тем, что в меру своих скромных сил проиллюстрировал почти все важнейшие произведения великого писателя. В моей работе над образами Достоевского мне помогал Петербург, люди, которые меня окружали, желание вникнуть в суть вопросов добра и зла, терзающих нашу жизнь. Когда мне было 25 лет, я создал три столь волнующих меня образа: князя Мышкина, Настасьи Филипповны и Рогожина и начал работать еще над одним – Неточки Незвановой.

Как я уже упоминал, ключ к образу князя Мышкина дала старая фотография моего дяди Константина Прилуцкого, которого в семье называли князем Мышкиным. Каким аккомпанементом к основной идее «неудавшегося христианства» вплетается в действие романа реально дошедшая до нас историческая правда событий, разворачивающихся не только в Петербурге, но и в столь любимом мною Павловске! А Настасья Филипповна... Она загадочна, как загадочна вообще душа женщины. В ней переплетается образ, я бы, сказал, «красоты страшной силы» с мистическим реализмом чувства любви, преданности, своеволия, истерического накала – словом, все, что было свойственно женщинам, которых любил Достоевский. Это его тип женщины...

Вместе с тем этот образ вечной женственности, как сказал бы Гете, не может быть понят вне атмосферы Петербурга. Я помню выражение глаз некоторых женщин, в которых был в ту пору влюблен. Помню присущую им тиранию любви и таинственной нежности. Трагична и бездонно опасна душа Евы, которая внимала внушениям Сатаны и дала Адаму вкусить плод от древа познания добра и зла... И мы потеряли Рай.

Считаю, что в мировой литературе нет более сложного и волнующего образа, чем Настасья Филипповна. Она как больная птица, не могущая лететь; она и жертва, и насильница.

Каким могучим контрастом князю Мышкину вылеплена фигура бешеного в своей страсти, по-русски беззаветно, до смертной черты любящего женщину купца Рогожина! Думая над этим образом, я почему-то нашел некоторые его черты в фактуре лица у друга моих юных лет художника Евгения Мальцева, который, ... правда, давно перестал быть моим другом. Жил он тогда (не по совпадению ли?) недалеко от Подъячевской улицы, на берегу канала, в районе, где томились и страдали многие герои Достоевского. Там же, на Подъячевской, находится мой самый любимый дом с невероятно мрачным колодцем двора, который с моей точки зрения, воплощает всю атмосферу жизни униженных и оскорбленных, мятущихся героев петербургских романов Достоевского.

Я помню, как приехал в Москву в музей Достоевского, расположенный в квартире, где некогда жил отец писателя. Это одна из памятных дат в моей жизни: мне посчастливилось тогда познакомиться с великим русским интеллигентом, писателем и историком – петербурговедом Николаем Павловичем

Анциферовым. Да, с тем Н. П. Анциферовым, который написал лучшие книги, посвященные нашему великому городу. Сегодня почти все знают их: «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга». Годы репрессий и советских лагерей не сломили его. Меня поразили его серые, как Нева в белую ночь, глаза, молоджавое лицо с большим лбом мыслителя, тихий задумчивый взгляд, выразительность которого подчеркивали белоснежная борода и усы». «Он сам как персонаж Достоевского. Редко теперь встретишь такое лицо», – думал я, расставляя на полу музея три принесенные иллюстрации к «Идиоту».

Четвертой была чуть позже сделанная работа одному из самых любимых мною пронзительных творений Достоевского – «Нечка Незванова». В темноте петербургской комнаты трепетно горит свеча. Маленькая девочка с ужасом ощущает близость мертвого тела. Ребенок и смерть... Работая над этим образом, я вспоминал дни ленинградской блокады, нашу ледяную квартиру и все то, что мне довелось пережить самому, будучи почти сверстником Нечки Незвановой. Выставил я также на суд Николая Павловича и сотрудников музея Достоевского вертикальный холст, изображающий моего любимого писателя, стоящего облокотившись на чугунный парапет на набережной канала смотрящего в ветреные сумерки на плывущие воде весенние льдины. За Достоевским рваное сумеречное небо и громады мрачных наемных домов...

В зале музея воцарилось молчание. Я с волнением ждал реакции на расставленные работы, выполненные черным соусом^[78] и пастелью. Тишину нарушил спокойный вопрос Николая Павловича: «Сколько вам лет?» – «Двадцать пять», – ответил я. «Вы родились в Петербурге?» – «Да», – подтвердил я затаив дыхание. Добрая и грустная улыбка озарила лицо Анциферова. Обращаясь к сотрудникам музея, он произнес: «Это феноменально. Считаю это лучшим из того, что сделано в области иллюстраций к произведениям нашего любимого классика. Им место в музее. Сопереживание художника с писателем потрясает. Из иллюстраторов Достоевского я любил до сих пор только одного художника, которого считаю гением, – он посмотрел на меня, – Добужинского. Его „Белые ночи“...».

Директор музея Галина Коган – маленькая женщина с живыми одухотворенными глазами, приветливо улыбаясь мне, подвела итог: «Я согласна с Николаем Павловичем. Мы не можем выпустить эти работы из музея. Они должны находиться здесь, но так как вы студент, то мы не можем заплатить больше трехсот рублей за работу. Суммы выше – прерогатива министерства культуры». Я залепетал, что хотел бы подарить эти работы, но Николай Павлович, отечески положив мне руку на плечо, произнес: «Вы должны согласиться принять эти деньги, ибо, судя по всему, вы нуждаетесь. Возьмите их и постарайтесь посоревноваться с Добужинским. Я уверен, что у вас „Белые ночи“ должны получиться по-своему. – И, ободряюще посмотрев на меня добавил: – Я бы на вашем месте не искал натуру для Мечтателя. Нарисуйте себя. У вас самого лицо петербургского мечтателя». Опустив глаза долу, вспотевший от волнения, я не знал, куда деваться от смущения – столь высокой была оценка моих студенческих работ Н. П. Анциферовым.

На всю жизнь мне будут памяты часы работы над портретом Николая Павловича. Бедная обстановка московской квартиры, книги на столе, гора листов бумаги, исписанных твердым почерком. Николай Павлович сухо прокомментировал, что лишился всего, когда его посадили в лагерь. И если мне не изменяет память, он оказался в числе первых, сосланных на Соловки. Я счастлив, что судьба свела меня с этим великим представителем русской патриотической интеллигенции.

Следующие мои работы были посвящены «Белым ночам». Да простит меня читатель и поймет правильно, что я привел выше столь лестный отзыв обо мне Н. П. Анциферова. Позднее я слышал много хулы в адрес моей работы, в частности над Достоевским. Это ставили мне в вину, когда в 1957 году на моей первой выставке в ЦДРИ и позднее появились иллюстрации к «Идиоту» и «Бесам». Вспоминали при этом, как ненавидели. «Бесов» Ленин и Горький, клеймили писателя как мракобеса, монархиста, религиозного фанатика, уводящего Русь в монастырь, клеветника на русское освободительное движение.

Когда меня в Москве в очередной раз «прокатили» при вступлении в Союз художников (а шел я по секции графики), один из партийных лидеров Московского союза (МОСХа) хамовато и бесцеремонно спросил: «А что это вы так на Достоевском зациклены? Почему не иллюстрируете Хемингуэя, Ремарка или хотя бы Шолохова? Иллюстрируя мракобеса, сами стали мракобесом – достоевщина, одно слово!»

«Белые ночи» с моими иллюстрациями вышли, когда Анциферова уже не стало. Работая над этой чудесной повестью, живя уже в Москве, я снова погружался в магию петербургских белых ночей, ощущал всю реальность мечты и ирреальность яви. В памяти вставали громады наемных домов, марево над Невой, и слезы наворачивались на глаза, когда я вспоминал, как видел на канале перед зарей нового дня девушку, которую любил, но которая уходила с другим, скользя рукой по чугунной решетке канала...

В образе Мечтателя, как мне советовал Н. П. Анциферов, я старался передать частицу жизни своей души. «Это вы себя рисовали?» – спрашивали потом многие. «И да, и нет», – отвечал я. Но расскажу об одном интересном совпадении. В бывшем Гослитиздате я просил дать мне заказ проиллюстрировать «Нечку Незванову». Главным художником издательства была тогда женщина по фамилии Вебер. Не

любя меня, она с иронической улыбкой отвергла мое предложение: «У нас нет в плане такого издания. А вы посоревнуйтесь пока с Добужинским. Займитесь „Белыми ночами“. Они у нас в плане». – «Но зачем это предлагать мне, когда уже есть его гениальные иллюстрации к „Белым ночам“?» – пытался возразить я. «Но ведь всегда приятно посоревноваться с гением», – раздался чей-то сладкий голос из-за соседнего стола. Но художники Гослита Данилов и Кононов стали моими друзьями.

И все-таки мне выпала честь «посоревноваться» с моим любимым художником, произведения которого я так трепетно люблю, как и иллюстрации Бенуа, Билибина, Кардовского. Главная тема Добужинского – город и человек. Например, мы видим, что Настенька у Добужинского повернута спиной к зрителю, и можно только сожалеть, что нельзя рассмотреть ее лицо – и то, что отражено в нем. Какая бездна настроения... Я же хотел решить свою задачу по-другому: не город и человек, а человек и город. Я старался увидеть Настеньку, стоящую у такой же решетки канала, где на противоположном берегу навис мост со знаменитыми крылатыми львами. Хотел вблизи, в упор показать лицо героини, которая ждет своего Мечтателя, а думает о другом, которого любит. Как всегда, я работал, обуреваемый желанием сделать внутренний образ, как он мне представлялся, – зримым. Как труден труд художника-иллюстратора!...

Я всегда не мог начать работу, пока в душе не видел ее всю – законченной. Это очень трудно – выразить свое понимание образа, создавая иллюстрацию, так чтобы потом большинство читателей сказало: «И я так чувствую, и я так вижу – да, это Настенька». Как нужно любить или ненавидеть тот или иной образ!

Традиции русской иллюстрации, как и вся наша культура, понесли огромные утраты за последние восемьдесят лет. Разве сегодня мы видим наследников иллюстраторов, какими были великие Врубель, Бенуа, Добужинский и Кардовский? Высокое искусство художника книги выродилось в заученные штампы оформительства. Работа художника над книгой – это сложная творческая задача, требующая сопереживания с писателем. Организм книги должен быть живым, эмоциональным и глубоко духовным. Художник книги – это как пианист или дирижер, который должен, осмысливая произведение, раствориться в нем, чтобы органично выявить присущую ему индивидуальность, не превращая себя в такого оформителя, амбиции и своеволие которого довлеют над духовным миром писателя или поэта. Страшно прокрустово ложе манерки-художника!

Не говоря уже об искусстве оформления священных книг Древней Руси, можно по праву гордиться русскими художниками-иллюстраторами рубежа XIX – XX веков. Особо велика заслуга художников круга «Мира искусства» в создании высочайшей культуры оформления книг, журналов, открыток. Какое восхищение вызывает, например, «Песнь о вещем Олеге», проиллюстрированная Виктором Васнецовым! Сказки Ивана Билибина вошли в ткань души многих поколений русских людей. Они – наши великие учителя.

Немногие сегодня говорят о работе в этой сфере Нестерова, Рябушкина, Сурикова. А в качестве непререкаемых авторитетов признаны В.Фаворский с его так называемой «школой», да еще, пожалуй, А. Гончаров, калибром поменьше – Бисти или Митурич. Их работа, с моей точки зрения, отмечена не вдохновением, а ремесленничеством – по заданным рецептам и штампам, которые пронизаны идеями, отвечающими «духу времени» – но не духу самого произведения. Вот почему иллюстрации художников этого возобладовавшего направления, причем к произведениям самых разных авторов и эпох, несут на себе печать унылой одинаковости заученных приемов... Почему это «современно»?

Из ныне живущих художников книги мне нравятся эмоциональные и глубокие, продолжающие традиции русской иллюстрации, работы Дегтярева. Об искусстве и принципах иллюстрирования книги у нас очень мало написано. Нагло-примитивное стереотипное оформление не только книг, но и даже спектаклей во многом убило образность, эмоциональное воздействие искусства художников книги и театра. Сегодня русское понимание задач художников книги накрыла черная волна бездушных «фотоиллюстраций», а также американских комиксов с их исполняемой ловкой рукой ремесленника раскадровкой ужасов, ковбойских приключений и походов главного героя вроде мышонка Микки-Мауса: вот дожили, докатились...

Забыто духовное богатство, красота фантазии многогранного и доброго мира русских сказок. Забыты гениальные иллюстрации Врубеля к Пушкину и Лермонтову. Кого сегодня можно назвать истинным иллюстратором произведений русской классической литературы? Не знаю, не знаю...

Увы, это не только наша беда – это поистине моровое поветрие XX века.

* * *

Возвращаюсь вновь к теме Достоевского. Спустя многие годы я снова пришел в музей писателя. Его работники радушно встретили меня, сообщив; что мои иллюстрации к Достоевскому пользуются большим

успехом у посетителей: «Кстати, что вы думаете об иллюстрациях Шмаринова, которые мы здесь выставили?» – спросили меня. «Многие мне очень нравятся, – ответил я. – Вот, например, старуха-процентщица, очень петербургская работа, хотя в ней и сквозит душок современной коммунальной квартиры». – «А мы не знаем, что и делать. Шмаринов раньше часто бывал в музее. А когда увидел ваши работы в экспозиции, сказал, что это музей Глазунова, и перестал ходить к нам». – «Но здесь так много работ и других художников, – резонно возразил я. – Почему же только мои работы вызывают такую неприязнь? Я со многими художниками не согласен, но все равно, это очень хорошо, что они увлечены образами Достоевского». Пусть Достоевского иллюстрируют все художники!

После того, как моя картина «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию» была подарена советским правительством ЮНЕСКО (в штаб-квартире этой международной организации она находится и по сей день, соседствуя с работами Пикассо и Миро), президент ЮНЕСКО попросил меня быть эмиссаром выставки памяти Достоевского, открывавшейся в Париже в дни юбилея писателя. Я добросовестно развесил разные работы. Поскольку места было не особенно много – снял часть своих. От многих работ, честное слово, я содрогался, но пересилил себя, чтобы не быть похожим на своих коллег. Раньше в России художники были терпимыми и уважительными друг к другу. Как хотелось бы, чтобы так стало и теперь!

А искусствоведы должны помнить, что «нет критики без любви»...

* * *

Говоря о хронологии моей работы над образами Достоевского, скажу, что следующей была работа над «Неточкой Незвановой». Я помню, как в поисках модели долго стоял около школы, находящейся вблизи моей мастерской, вглядываясь в лица современных школьниц, идущих веселой гурьбой после уроков. На них я не прочел ничего. Но художник, когда он работает над определенной темой, должен обязательно оттолкнуться от живой реальности образа, найти искомые черты в окружающих людях. «Витамины жизни, витамины натуры...» Однажды я сидел в отчаянии у мольберта, разглядывая свои рисунки. Закрывая глаза, я видел внутренним взором и ощущал образ Неточки, но не мог найти его зримого воплощения. Вдруг раздался звонок в дверь мастерской: На пороге стояла Неточка... Маленькая девочка смотрела на меня встревоженными серьезными глазами. Моя жена Нина увидела ее на улице у гастронома на Арбате. Стоя у коляски, в которой лежал малыш, девочка ожидала маму, покупавшую в магазине молоко. Я не хочу утомлять читателя дальнейшим повествованием об этом эпизоде. Каждый может познакомиться с моими иллюстрациями в книгах, а часть оригиналов находится в фондах Третьяковской галереи.

Размеры настоящей книги не могут вместить полного рассказа о моем восприятии образов великого Достоевского и работе над их воплощением. Но позволю себе привести такой важный в моей жизни факт. В приложении к журналу «Огонек» готовилось к выпуску собрание сочинений Достоевского (тиражом 600 тысяч экземпляров). Я читал и перечитывал снова и снова все творения самого, с моей точки зрения, великого в мире писателя. Ездил в Петербург. Изучал костюмы, интерьеры того времени. Иллюстрирую «Бесов», я словно по– погружался в пучину нашей жизни и, невольно вторя Федору Михайловичу, рисовал их «руками, дрожащими от гнева»... Вспоминались слова писателя: «В России истина всегда имеет характер вполне фантастический...»

Работая над образами Достоевского в течение долгих лет, я убедился, что знаменитый «Дневник писателя», наиболее полно выражающий гражданскую и философскую позицию Федора Михайловича, издававшийся им с 1873-го по 1881 год предан мировой, в том числе и русской, критикой заговору забвения. А именно «Дневник» и является ключом, открывающим двери ко всем произведениям великого русского мыслителя, художника, пророка и гражданина.

Ожидая великих потрясений в Европе, он, увы, верил, что «чаша сия» минует Россию. В то же время именно Достоевский провидчески говорил, что «без единящего огромного своего центра – России – не бывать славянскому согласию, да и не сохраниться без России славянам, исчезнуть с лица земли вовсе». «Дневник писателя» издавался Ф. М. Достоевским, являясь страстной и непримиримой публицистикой, откликающейся на злобу дня в доверительном разговоре с современником. До сего дня как могучий набат звучат такие статьи из гражданского дневника писателя, как «Кое-что о молодежи», «Римские клерикалы у нас в России», «Не всегда война бич, иногда и спасение» и проникновенная историческая и вместе с тем столь современная статья «Еврейский вопрос». Особенно интересен дневник за 1877 год, который начинается рассуждением о «трех идеях», определяющих, по мысли писателя, жизнь Европы и России во второй половине XIX века. Никто, как Достоевский, не чувствовал великую пагубу идеи социализма, видя в ней воплощение атеизма. Но даже он, верный сын мощной монархической и православной России, не предполагал, что Европа худо ли, бедно устоит от удара, а десятки миллионов

расстрелянных и замученных представителей лучших людей всех сословий России падут жертвою в борьбе с безжалостной силой мирового зла. Достоевский предупреждал и видел, откуда идет смертельная угроза; но русское общество, разлагаемое изнутри ядом «масонского либерализма», не видел подготовленное к неожиданно смертельному удару, не вняло предостережениям вопиющего об опасности писателя. Россия не смогла организовать ответного сопротивления, а когда началась революция, уже было поздно... «Кругом была трусость, предательство и измена». По горькому признанию свергнутого и обреченного на смерть государя.

Осмысление «Дневника писателя», верю, особенно необходимо нам сегодня, когда новое поколение русских говорит и мечтает о возрождении России. Читайте и перечитывайте Достоевского!

Второе рождение

Поколение, которому впервые открылась красота и значительность древнерусской живописи, должно почитать себя счастливым.

П. Муратов

В Минусинске я сделал для себя открытие, сыгравшее большую роль в моей жизни художника. Проходя мимо церкви, я вдруг остановился пораженный: на белых стенах висели древние иконы. Я никогда не видел, чтобы иконы висели снаружи, прямо на стене. С темной доски смотрел старец с окладистой русской бородой лопатой. Его взгляд поражал жизненной энергией и глубокой, проникновенной мыслью. Он чем-то напоминал мне фаюмские портреты, которые я до сих пор считал непревзойденным воплощением портретного искусства, передающего высшее напряжение человеческого духа, сложную загадку внутреннего мира. Но люди, жившие во втором веке до нашей эры в Фаюмском оазисе, так далеки от нас жизненным укладом, национальным типом, складом лица! А здесь на стене было изображение, не уступающее Фаюму своей концентрацией духа, удивительно родное, близкое – и потому глубоко волнующее. Рядом висело другое древнее произведение, сюжет которого мне был не понятен, но я долго стоял, очарованный певучими линиями, каким-то неясным волнением, заключенным в композиционном строе иконы.

В театре, где я жил, мудрый Леонид Леонидович, чинивший у себя в комнате будильник, в ответ на мои восторженные расспросы только ласково улыбался.

– Древнерусское искусство – это тот мир, который должен открыть для себя каждый художник, тем более русский. Матисс приезжал в Россию, чтобы поучиться у наших иконописцев. Я помню, как он в Москве сказал, что Италия для современного художника дает меньше, чем живописные памятники Древней Руси. История искусства утверждает, что только подлинно национальное может стать интернациональным, то есть общечеловеческим. – Он остановил пальцем звонок вдруг зазвонившего будильника. – Неужели вы раньше никогда не обращали внимания на иконы? Русский музей и Третьяковская галерея имеют бесподобные собрания древней живописи! Наши иконы с их несравненной красотой сейчас в центре внимания художников и искусствоведов всего мира. Без икон нет Русской Православной цивилизации!

– Да, конечно, я знаю эти залы, хоть они не были моими любимыми. Честно говоря, я был к ним почти равнодушен, несмотря на то, что Киевская София потрясла меня.

– Наверно, воспитаннику Академии, влюбленному в Сурикова и итальянский Ренессанс, казалось, что иконописцы Древней Руси не умели рисовать, что у них нет «пленера»? – Он засмеялся.

– Не то чтобы не умели рисовать. Иконопись для меня слишком условна. Мне кажется, что иконы – это пройденный этап искусства, который не может так обогатить современного художника, как Эль Греко, Тициан, Рембрандт, Ван Гог, Суриков, Рерих, Врубель.

– Так вы и не должны ждать от них реализма, в вашем понимании. Это то же самое, если вы будете, придя в балет, удивляться, почему люди не ходят, «как в жизни», а почему в опере не говорят, а поют... Задачей иконы не было изображать повседневную жизнь – мускулы, землю, леса, дома... Условность языка проистекает не от неумения, а от стиля – тогда художник не живописал материальный мир, а создавал мир духовных понятий, нравственных категорий. Символов, если, хотите точнее – Евангельской Истины.

– Но разве язык Рембрандта или Врубеля не подходит для выражения философских категорий духа? – спросил я. – Разве только язык иконы может передать эти понятия?

– Видите ли, – Леонид Леонидович помолчал. – Я много думал об этом, и мне кажется, что мир иконы – это не мир материальной конкретности, а мир, если хотите, идей Платона. А как изобразить художнику понятие добра, зла, ненависти, любви и другие нравственные категории? Не надо забывать, что такое средние века как на Руси, так и в Европе, когда искусство было мостом между небом и землей, где на одном берегу существовал мир чуда, а на другом – бренный, будничный, бурлящий человеческими греховными страстями мир. И простой человек должен был почувствовать эту разницу, всю отдаленность идеального бытия, реаль воплощающего нравственные категории – добро, например. Нигде в искусстве так тесно не сплетаются воедино мир чудесного – людей, способных творить чудеса, – и реальная

жизненная правда, как в мире русской живописи, которую можно сравнить лишь с музыкой. Эйзенштейн говорил о том, что иконы с житийными клеймами, рассказывающими о жизни изображенного, напоминают киноленту, где гениально раскадрована в предельно лаконичной форме жизнь героя. К сожалению, здесь нет музея, но, может быть, есть что-нибудь интересное внутри церкви. Вы не были там?

– Нет, не был.

– Так как я закончил наконец ремонтировать свой проклятый будильник, за которым должен зайти заказчик, то попробую быть вашим Вергилием в горном мире Русской Иконы...

В церкви не оказалось ничего интересного.

– Как наш обыватель говорит: «типичное не то». Да, это XIX век, то есть эпигонская сусальность провинциальных богомазов, подслащенные иллюстрации академизма на тему священной истории. Как жаль, – сказал Леонид Леонидович, – я думал, что мы найдем здесь какой-нибудь безымянный шедевр строгановской школы, завезенный дружинниками Ермака или беглыми раскольниками. Не может быть, чтобы в минусинской церкви не было древних икон!

Всезнающий Леонид Леонидович не ошибся. В маленьком церковном помещении был своего рода запасник: на полке рядами стояли черные от времени иконы. На них почти ничего нельзя было разобрать. Леонид Леонидович, попросив немножко масла, протер темную поверхность, на которой выступили таинственные изображения, певучие и прекрасные. Как будто затонувший мир Атлантиды, скрытой под черными водами времени. Церковный староста, напоминающий «мужичка из робких» на репинском портрете, наблюдал с интересом эту сцену. Вдруг сказал:

– У нас их раньше видимо-невидимо было, часть пришлось снаружи храма повесить, часть по домам разобрали, а что осталось, мы сюда сложили. Уж больно черные они, ничего не видать сквозь копоть. Подновлять хотели, да художников нет.

Это вы что – для театра интересуетесь? – опасливо спросил он.

– Нет, что вы! Вот художник из Ленинграда приехал, искусством древнего иконописания интересуется. Я привел его показать, что к чему, – объяснил Леонид Леонидович.

– Ну раз так – дело другое. Если не для озорства и не для хулиганства какого, могу маленькую иконку подарить. Выбирайте. Для церкви все равно это не нужно. Ничего на них от копоти не видно.

– Берите вот эту, – шепнул Леонид Леонидович. – Думаю, что отличная вещь – XV или XVI век. Домой придем, слегка промоем спиртом. В Ленинграде отнесете к специалистам-реставраторам. Очень опасно самому что-либо делать – можно безвозвратно испортить живописный слой.

У меня до сих пор хранится этот замечательный образец древнерусского искусства. Черты Иоанна Крестителя с его острым пронзительным лицом, красивыми глазами, одухотворенными большой мыслью, мне всегда чем-то неуловимо напоминают Леонида Леонидовича.

В библиотеке Минусинска в «Истории русского искусства» под редакцией Игоря Грабаря я нашел на 311-й странице изображение, близкое к моему Иоанну Крестителю. Там же было написано, что это икона XVI века из московского Благовещенского собора. В библиотеке я познакомился и с замечательной заметкой Н. К. Рериха «Иконы», в которой он писал: «...Всего десять лет назад, когда я без конца твердил о красоте, о значительности наших старых икон, многие, даже культурные люди еще не понимали меня и смотрели на мои слова как на археологическую причуду. Но теперь мне пришлось торжествовать. Лучшие иноземцы, лучшие наши новаторы в иконы уверовали. Начали иконы собирать не только как документы религиозные и научные, но именно как подлинную красоту, нашу гордость, равноценную в народном значении итальянским примитивам.

...Наконец мы прозрели; из наших подспудных складов добыли еще чудное сокровище... Значение для Руси иконного дела поистине велико. Познание икон будет верным талисманом в пути к прочим нашим древним сокровищам и красотам, так близким исканиям будущей жизни».

На склоне лет своей долгой жизни Игорь Грабарь в предисловии к изданию ЮНЕСКО «СССР, древнерусские иконы» вдохновенно и справедливо писал, что русская икона – одно из величайших явлений мирового искусства: «Сила больших художественных традиции, отличавшихся беспримерной устойчивостью, в сочетании с неистощимой творческой изобретательностью художников породили глубоко национальное и совершенное в своем роде искусство, которое в течение восьми столетий – вплоть до XVIII века – сохранило свою внутреннюю энергию и жизнеспособность и представляет собой неповторимое явление в истории живописи... В формах иконописи получили своеобразное отражение общественные явления и исторические события – страдания и подвиги народа в борьбе за национальную независимость, пафос становления могучего русского государства. Иконы запечатлели также литературные образы, мифологические представления, – идущие от жизнерадостного язычества. И в то же время древнерусская икона раскрывала внутренний мир человека, чистоту и благородство его души, способность к самопожертвованию, глубину мысли и чувства...»

Вернувшись из Сибири, я с моим товарищем отправился в Эрмитаж к Федору Антоновичу Каликину, о котором очень много слышал как о большом знатоке иконописи и опытейшем реставраторе.

Прошло несколько минут ожидания, и вдруг на мраморной лестнице императорского петербургского дворца появился старичок-полевичок, словно ожившая скульптура Коненкова. Это и был Каликин.

– Ну, если чего принесли интересного, – показывайте, а то время дорого, меня Никола XV века ждет, – сказал он, поглаживая белую, как кудель, чуть не до пояса, бороду.

Умные, глубоко сидящие глаза его под мохнатыми, как мох, бровями внимательно изучали нас.

– Странно мне вас видеть: нынешняя молодежь все больше к иностранному искусству тяготеет, а свое, отечественное, не знает и не любит. Таких, как Виктор Михайлович Васнецов, нет теперь, а я ведь его хорошо знал, для него в свое время поработал. Он большой радетель был родного искусства! Ну да ладно. Показывайте, показывайте! А где нашли?

– Я из Сибири привез.

Федор Антонович взял в руки темную от времени доску иконы.

– Ну, а сами вы что думаете, что здесь изображено, по-вашему, и какого это времени живопись?

– Безусловно, мадонна, – ответил мой товарищ.

– Мадонна, говорите. Это не по-русски, у нас этот образ называется Богородицей. Изображений ее много, да все разные по рисунку. У вас это – Казанская.

Федор Антонович испытующе посмотрел на меня и спросил:

– Каким веком определяете?

– Судя по всему, – ответил я (так мне определили на искусствоведческом факультете Академии), – XIV или XV век.

– Эка хватил, – лукаво улыбнулся старичок-полевичок. – Русский художник, а своей истории не знаешь. Казань-то когда взяли?

– При Иване Грозном, – смущенно ответил я.

– То-то, в одна тысяча пятьсот пятьдесят втором. Следовательно, до этого времени русских в Казани не было, и икона казанская могла появиться только в XVI веке, а ваша и того моложе – вторая половина XIX века, владимирских богомазов, не представляющая ни исторической, ни художественной ценности.

Помолчав, Федор Антонович продолжал:

– Вы думаете, что только в наше время по случаю исторических побед ставятся монументы и архитектурные памятники? В старину то же самое было. Казань взяли – Василия Блаженного поставили, и была по этому случаю написана, можно сказать, одна из первых русских батальных картин – «Церковь воинствующая», ныне находящаяся в Третьяковской галерее. На ней изображена не только горящая побежденная Казань, но, как в всегда в средневековом искусстве – в символической форме: «Грозный царь Иван Васильевич во главе войска, возвращающегося в Москву. По этой иконе можно изучить боевой костюм русского воинства того времени. Само слово „икона“, знаете, что означает.

– Нет, – честно сознались мы.

– Слово это греческое, означает в переводе «образ», или, по-нашему, портрет, изображение. Вот так и предполагают, например, что Дмитрий Солунский в Третьяковской галерее обладает реальными чертами Всеволода Большое Гнездо, про которого в «Слове о полку Игореве» сказано, что он может шеломами своего войска Дон вычерпать. А есть и в прямом смысле портрет Кирилла Белозерского, тоже находящийся в Третьяковской галерее. Написан Дионисием Глушицким; вполне реальное историческое лицо – основатель знаменитого монастыря. И вообще, на иконах воспроизводились величайшие события в истории нашего государства. Например, битва новгородцев с суздальцами, Ледовое побоище, Куликовская битва. Ну, я с вами заболтался, заходите – сами все узнаете, об этом многие труды написаны, а еще больше будет написано. Каждый день новые открытия приносит.

Я поспешил показать Федору Антоновичу вторую икону.

Леонид Леонидович не ошибся, когда определил ее XVI веком, московского письма времен Ивана Грозного.

– Иконка небольшая, вполне вероятно, пропутешествовала в Сибирь во время похода Ермака Тимофеевича, а может, и старообрядцы завезли, спасаясь от преследований.

– Федор Антонович, – спросил я, – а можно ее отреставрировать, чтобы не было вот этой черноты?

– Дело-то нехитрое, но мастера боится. Пойдемте в лабораторию, уж покажу вам, как мы трудимся. В реставрационной мастерской на большом столе лежала большая черная доска.

– Вот икона, о которой я вам говорил. Новгородских писем XV века.

Федор Антонович берет маленький квадрат ткани, опускает его в неведомую жидкость и кладет на поверхность иконы, прикрыв сверху стеклышком. Проходит несколько томительных минут ожидания. «Компресс» сделал свое дело. В руках у реставратора хирургический скальпель. С величайшей осторожностью он снимает скальпелем черную от времени олифу и поздний слой записи.

– На вашей-то, – не отрываясь от работы, говорит Федор Антонович, – одна олифа, а на Николе, который постарше будет, кроме олифы, еще четыре записи. Теперь картины стеклом покрывают, а тогда олифой, которая служила не только защитой, но и сообщала краскам особую звонкость. Олифа же от копоты и от времени темнела приблизительно за 70-100 лет, и тогда владельцы иконы приглашали художника подновить ее. А подновить эту икону – значило сверху фактически написать новую. И так несколько раз за долгие века. Дело реставратора – добраться до самого древнего авторского слоя, не повредив его. Короче говоря, это похоже на работу хирурга, только у одного в руках жизнь человека, а у другого – жизнь художественного произведения. Как славятся хирурги на весь мир своим искусством, так и реставраторы, спасающие жизнь бесценных сокровищ искусства. Наши реставраторы известны во всем мире: реставратор рублевской «Троицы» Гурьянов, Иван Андреевич Баранов, Чураков и другие. Молодежь талантливая растет. В Москве это дело широко поставлено, с легкой руки Игоря Эммануиловича Грабаря. Филатов – из молодых – серьезный и знающий специалист, семья Брягиных... Дело великое, потому что они – первооткрыватели красоты искусства, во многом еще неведомого миру. И будущие поколения художников всего мира, а особенно наши, русские, будут воспитываться на этой спасенной красоте.

– Сам я вологодский, – отвечал на наши вопросы Федор Антонович. – Отец иконописцем был, меня к своему делу сызмальства приучать стал. Еще до революции работал реставратором для знаменитого собирателя Лихачева Николая Петровича. Многие из его икон вошли ныне в собрания наших музеев. Позже пришел в Эрмитаж, где проработал 25 лет и основал реставрационную мастерскую. Пришлось много в экспедициях бывать. Сколько прекрасных вещей спасли наши реставраторы! Когда церкви закрывали, иконы большей частью уничтожались, чаще всего шли на дрова: Страшно подумать, сколько первоклассных произведений нашей древней живописи погибло безвозвратно, да и сейчас погибает. Вот, например, мною спасен «Георгий» XIV века новгородской школы, ныне гордость Русского музея. На красном фоне, помните? Если бы не взял тогда – наверняка сожгли. Так на лошади верхом и довез до станции. Помню, – продолжал Федор Антонович, – был в деревне неподалеку от Старой Ладogi. Это еще до войны. Подъехал к церкви – на звон топора. Смотрю, как выяснилось, местный учитель исполняет поручение сельской партийной власти: все иконы до одной изрубить на дрова. Огромная гора разрубленных темных досок высится перед ним на лужайке, а он снова топор занес. Я как почувствовал толчок в сердце, закричал: «Стой, не руби!» Успел из-под топора выхватить. Прижал к себе древнюю икону, где изображено чудо Георгия о змие... Говорю учителю: «У меня мандат из Эрмитажа» (хоть мандат-то я оставил в пиджаке в соседней деревне). И поскакал на лошади, прижимая к себе икону. А он остался добывать древний иконостас. Время было такое – страшно вспомнить...

– Вот на ваших глазах, – продолжал Федор Антонович, – снимаю последнюю запись...

И мы явились свидетелями чуда!

Как врывается луч солнечного ликующего дня в мрачные безрадостные стены темницы, так чудинным светом сквозь смытую тьму веков засверкали юные мажорные звучания древней живописи русской иконы. Никогда, никогда не забудется этот счастливый миг!

Спасенная Федором Антоновичем Каликиным икона Георгия Победоносца на красном фоне находится в Русском музее и ныне известна всему миру. И всякий раз, проходя по залам прекрасной коллекции древних икон Русского музея, глядя на одну из любимых своих икон новгородской школы, я с нежностью вспоминаю великого подвижника Ф. А. Каликина, его встречу с молодежью клуба «Родина», который я основал в начале 60-х годов, уже живя в Москве.

...Огромным событием в жизни православного мира было решение VII Вселенского Собора, происходившего в городе Никее в 787 году, об иконопочитании. С тех пор икона стала неотъемлемой частью православной веры. Никейский Собор утвердил равнозначность Божественного слова и иконы. Почитание икон – это путь к спасению души христианина.

Шли века. Заветы великой Византии, например в Италии, были размыты и потеряны художниками итальянского Возрождения под влиянием растущей силы католицизма, помноженной на культ языческой античности Греции и Рима. Многие называют Джотто последним великим византийцем. Одна Русь не изменила вере православной, сохранив и приумножив чистоту религиозного искусства.

Читая разглагольствования иных столпов советской искусствоведческой мысли, например М. В. Алпатова, поражаешься их тенденциозной нечуткости, когда они пытаются приписать даже Рублеву дух итальянского Возрождения. Стыдно!... Наоборот, мы должны гордиться тем, что Ренессанс ничуть не растлил своим влиянием великое религиозное искусство России. Русская икона никогда не изменяла православной вере. Разумеется, речь не идет, как мы уже говорили, о «столичном» влиянии петровской реформы, когда древняя иконопись стала подменяться светской религиозной живописью.

Мы сегодня безошибочно можем отличить русскую икону от византийской. Великая славянская духовность, неповторимая «самость» нашего племени явили миру нетленную красоту великорусской иконы. Любовь и творческая мощь русской народной души поражают нас в иконе глубиной духовного образа, богатством и изысканностью гармонии цветосочетаний, неожиданностью красоты силуэта и линии, всегда по-новому выражающих нерушимые догматы веры. Для нас, русских, очень важно решение Стоглавого Собора при Иване Грозном, который предписывал всем иконописцам следовать традициям великого Андрея Рублева.

Икона воплощает Иисуса Христа, сына Божия, в человеческом образе, но она дает этот образ не как приземленный и бытовой, а как образ идеи плоти, очищенной от всего бренного, суетного и материального. При этом еще с евангелиста Луки особое внимание уделялось иконографии, то есть сходству Богородицы, Христа и Апостолов с первообразами.

Древнее церковное предание свидетельствует, что Христос был высокого роста, ходил с чуть наклоненной вперед головой, имел голубые глаза, русые волосы и бороду. Лик его был настолько прекрасен, что нельзя было на него смотреть без восторженного трепета. Современные научные исследования, связанные со всемирно известной туринской плащаницей, подтвердили сходство образа Христа Спасителя с традиционным изображением на православных иконах. Ученые XX века определили даже группу крови Христа и обнаружили на древней ткани следы бессмертного пота, свидетельствующего о глубоком физическом страдании Распятого.

Когда пала великая Византия, в далекой Московии возгоралась все сильнее и сильнее свеча древнего благочестия и веры. При общем единстве особенно важно подчеркнуть неповторимую индивидуальность новгородского, ростово-суздальского, ярославского, строгановского и столичного московского иконописания. Реформы Петра способствовали вытеснению традиций древнего благочестия великорусской иконы католической живописью европейского Возрождения. Икона вынуждена была отступить в русскую провинцию, где сохраняется подлинное иконописание, называемое многими философами «умозрением в красках». Возвращением к древней традиции иконописания отмечен рубеж XIX и XX веков, когда создавался так называемый «новорусский стиль», остановленный завоеванием России большевиками. Великий поиск возвращения к древнерусскому, точнее православному, мышлению в архитектуре был заклеямен многими как «псевдорусский», с чем никак нельзя согласиться. Новорусский стиль – это проявление русского национального возрождения. И мы можем только скорбеть сегодня, что он был задушен в своем светоносном младенчестве. Сколько уничтожено дивных по архитектуре храмов, ансамблей древних городов – взорваны, затоплены, разобраны на кирпичи, превращены в щебень. Многие специалисты считают, что Россия обладала несколькими миллиардами икон... Сколько из них было сожжено, продано и расхищено! Я, как и многие из нас, был свидетелем варварства и атеистического глумления «верного ленинца» Хрущева. Сколько вреда и неисчислимых утрат мы понесли во времена его яростной богоборческой деятельности!... Я помню, как последовательно проводилась политика уничтожения русской культуры, в особенности во всем, что было связано с православием. Я видел, как иконостасы пилились на дрова. Иконами заколачивались окна складов, в которые были превращены церкви; школьники собирали на металлолом дивные оклады икон, литые древних крестов и медных икон. Зная, сколько всего уничтожено, можно лишь удивляться неисчерпаемому богатству России и щедрости ее художественного гения, когда и по сей день видишь, хоть и убывающий, но по-прежнему могучий поток духовных сокровищ русского православного мира.

ФЛОРИНСКИЙ

Не так давно довелось мне беседовать с писателем–сибиряком – образованнейшим человеком, – и я спросил его: «Что ты знаешь о знаменитом своем земляке Флоринском?» Он призадумался. Потом, вспыхнув глазами, ответил: «По-моему, он основал Томский университет. Угадал?»

Да, мой талантливый друг действительно образованный человек. К кому бы я до сих пор ни обращался, все, словно сговорившись, вспоминали Флоренского: «Ну как же, как же не знать! Священник. Философ. Богослов. Сослан был на Соловки». И невдомек многим и многим, какая громада ума и таланта, какая удивительная любовь к России кроется за этой неведомой им фамилией Флоринский. И думаю я с тоской и удивлением: сколько же понадобилось усилий тем, кто ставил своей целью привить русским историческое беспамятство, отринув «проклятое прошлое», чтобы многие великие имена канули во мрак забвения...

Конечно, если был в России такой гений всемирного размаха, как Михайла Васильевич Ломоносов, каково потом кому-либо дотянуться до него – или оспаривать у него право на память и любовь потомков?

И уж раз вспомнил я о величайшем из сынов России, скажу еще раз всего несколько слов о нем как об историке (ибо это имеет прямое отношение к содержанию этой главы моей книги). Почти 250 лет тому назад М. В. Ломоносов, дерзкий и непоколебимый в своей ненависти ко всем, кто пытался унижить Россию и русских, открыто выступил против расистской теории норманизма и ее «основоположников» в лице всех этих Шлецеров, Мюллеров и Ко, кому так хотелось представить нашу историю «низкой и подлой». С той

поры и по сей день не стихает битва вокруг основополагающего вопроса – «откуда есть пошла Русская земля», кто мы такие – великий самостоятельный народ или, по высокомерному выражению Гегеля, «навоз истории». И нам, русским, от природы свойственно «внутреннее варварство» и «виртуозное искусство раболепствовать», как утверждал автор «Капитала» – вождь мирового пролетариата Карл Маркс? Что это, как не оголтелая, откровенная фальсификация истории и пропаганда «расовой неполноценности» славян!

В упорной и принципиальной битве этой исключительное место принадлежит Василию Марковичу Флоринскому – истинному ученому – медику, археологу, историку, слависту и общественному деятелю, посвятившему себя служению России. Должен сказать, что его труды (и особенно книга «Первобытные славяне», которую я читаю и перечитываю) оказали самое глубокое воздействие на меня как на художника, вызвали к жизни лавину чувств и образов, что нашло потом свое отражение во многих моих картинах – раздумьях о судьбах Родины.

Вообще, я убежден, что сегодня как никогда, важно, думая о будущем, опираться на научную археологию (а не на археологическое любопытство, ведомое идеологией). Нужно твердо знать, кто мы и куда идем. Только в напряжении силы духа, в возрождении национального самосознания русских – спасение России, стоящей на краю исторической пропасти. Только изучая и постигая бытие наших предков, историю могучего русского племени как части славянского мира, мы сумеем избавиться от дьявольского дурмана чуждых нам идей и учений, насильственное внедрение которых обошлось России, возведенной на Голгофу, морем крови, унижением, нищетой и атеистической бездуховностью. Вот почему на одной из моих последних картин «Россия, проснись!» русский юноша, за плечами которого великая история – образы подвижников и спасителей Отечества в страшную годину смуты – Минина и Пожарского, поднимает в неистовом волевом порыве в одной руке Новый завет, а в другой – готовый к бою автомат. Россия, проснись! – зовет он.

Труды русских ученых, мыслителей, философов, включая Флоринского, вошли в ткань моей души и наполняют ее уверенностью в правоте исповедуемой мною исторической концепции преодоления русской смуты. Суть ее проста: зачеркивая и фальсифицируя прошлое, мы искажаем и убиваем будущее.

* * *

Не пытайтесь, дорогой читатель, отыскать хоть самые скудные биографические данные о Флоринском в пухлых энциклопедических словарях послереволюционных лет. Члена политбюро ЦК компартии Германии и Коминтерна Вильгельма Флорина – вы найдете. Советского ученого-механика В. А. Флорина тоже отыщете. Но только не Флоринского. Вот так составлялись советские якобы «научные» словари...

...22 июля 1888 года в Томске был торжественно открыт императорский университет. Это был общерусский великий праздник науки, твердо укрепившейся теперь на просторах необъятной и загадочной Сибири. Флоринский всю душу свою вложил в святое дело народного просвещения. Кроме того, он организовал при университете археологический музей, столько сделавший потом для изучения неведомых курганных сибирских древностей. Добавлю к этому, что огромное внимание новому очагу русской науки уделял главный, как теперь бы сказали, «куратор» университета – император Александр III, осуществивший идею своего венценосного отца.

Василий Флоринский (1834—1899) прожил 65 лет. Окончил Петербургскую медико-хирургическую академию. Блестящие способности выпускника были замечены, и уже через несколько лет ему присвоено звание профессора. Но не медицинскими своими познаниями и способностями проложил этот человек дорогу в бессмертие. Его судьбой и всепоглощающей страстью стала археология. Точнее, сравнительная археология.

Выдающийся русский ученый искал – и не нашел – ответ на жгучий вопрос: каким народам и какой расе принадлежат тысячи древних курганов, разбросанных на просторах Сибири? Ответ Флоринского был четок и однозначен: древнейшее население Сибири принадлежало к арийской расе, а точнее, племенам, ставшим позднее известными истории под именем славян. Василий Маркович провел гигантскую работу сравнивая археологические находки раскопанной Шлиманом Трои, адриатических венетов (общеизвестно, что венеты – это славяне, чего не могут отрицать как наши, так и западные историки), а также венетов прибалтийских с находками в северорусских и южнорусских курганах. Сходство найденных предметов быта, орнаментов, посуды из венетских – точнее, славянских – земель с сибирскими курганными предметами было настолько поразительно, что не оставалось сомнения – речь идет об историческом бытии разных ветвей единого могучего арийского народа – протославян.

Кстати только Флоринский приводит свидетельства Птолемея, который уже в 140 году от Рождества Христова называл славян славянами. Советские же ученые относили появление исторического понятия «славяне» только к V – VI веку н.э. Энциклопедист Флоринский владел санскритом, латынью, знал многие

европейские языки, что во многом помогло ему, вслед за тоже подвергнутым ныне забвению русским историком Гильфердингом, приблизиться к тайне арийской прародины. Мир ведийских и авестических арийцев он осмысливал как часть исторического бытия протославянских племен – праотцов великорусского племени.

Флоринский пишет, что адриатические или италийские славяне – венеты, входившие в союз троянских племен, покинув Трою, основали один из самых загадочных городов мира Венецию, а также Патаву (от славянского слова пта – птица, ныне Падую), а впоследствии стали гражданами Римской империи, навсегда добровольно растворившись в ней.

Вспоминаю Венецию, которую как город (после Петербурга) люблю больше всего. Глядя на бесшумно скользящие по зеленым водам канала гондолы, переполненный впечатлениями от встреч с творениями великих художников венецианской школы, я невольно думал об основателях города на сваях – наших предках венетах. В соборе Святого Марка ловишь себя на мысли, будто побывал на родине: такая вдруг возникает в душе таинственная связь с матерью нашей – Византией, с блестящей эпохой Юстиниана – между прочим, славянина по происхождению.

Благодаря Василию Флоринскому я узнал, какую огромную роль сыграли наши предки в становлении Европы. Оказывается, наиболее полно о венетах написал великий полководец Юлий Цезарь, воевавший с нашими предками. Они, по его свидетельству, «славились больше всех народов Галлии, Бельгии, Британии и Германии, вели цветущую морскую торговлю, имели отличный флот и хорошо укрепленные города, понимали стратегию не хуже римлян...»

«Венеты, по свидетельству Юлия Цезаря, – пишет Флоринский, – не только не уступали Галлии, но в некоторых отношениях шли даже впереди ее. Подобно нынешней Великобритании, венеты держали в своих руках северную морскую торговлю... Все города венетов были расположены так, что, находясь на оконечностях мысов, вдававшихся в море, были недоступны для войск, потому что прилив морской, случающийся по два раза в сутки, совершенно прекращал сообщение с сушей, корабли же могли подходить к стенам их только во время прилива, а с отливом они остались бы на мели»^[79]. В. М. Флоринский тонко и глубоко замечает, что описание венетских городов у Цезаря позволяет провести параллель – почему почти все русские и сибирские городища непременно устраивались «по-венетски», то есть на выдающихся мысах или при слиянии двух рек. Добавлю от себя, что точно также наши предки поставили и старую Москву. Это и был «общеславянский» принцип.

Но прислушаемся далее к суждениям Флоринского о судьбе италийских венетов. Как злободневно, воистину пророчески, звучат сегодня слова о временах, казалось бы, давно минувших! Слияние италийских венетов с Римом, особо подчеркивает ученый, произошло незаметно, без каких-либо кровавых потрясений. «Это началось около 200 лет до Р.Х. В век Юлия Цезаря италийские венеты получили уже право римского гражданства, и область их превратилась в нераздельную римскую провинцию. Причину недолговечности этих венетов, так же как в Галлии, служила оторванность занимаемой ими страны от коренного местожительства остальной одноплеменной им массы народа и преждевременное увлечение соблазнительным блеском чужой цивилизации. (Подчеркнуто мною. – И.Г.) Пример поучительный для некоторых народностей и нынешнего западного славянства!» И, добавлю от себя – отнюдь не только для западного.

...Италийские венеты, основав дивный город на сваях, поселились по соседству с легендарными и загадочными этрусками, считающимися также предками итало-римской цивилизации. Напомню, что язык этрусков долго не могли расшифровать европейские ученые. Этруски «заговорили», когда лингвисты и историки XX века ключом славянского языка раскрыли многовековую загадку исторического бытия столь значимого для европейской истории племени. Но, увлеченные «блеском чужой цивилизации» (по выражению Флоринского), они растворились в конгломерате народов, подчинившись идее Великой Римской империи. Растворились, утратив национальную самобытность, свою особую духовность и характер.

И здесь я невольно обращаюсь мыслью к современному «котлу» иноплеменных народов – Соединенным Штатам Америки. Все жители этой страны сегодня говорят на английском и называют себя американцами. Но надо всем царит грубый материализм, культ денег: США сегодня – это гигантский человеческий муравейник, преуспевающий в бизнесе, но – не в Духе. Эмигранты, создавшие США (в том числе и славянского происхождения), построили великую цивилизацию, но не могли построить, как считают многие, новую духовность.

Я убежден, что подлинная культура и духовность возможны только на национальной почве. Почему французы, англичане, да и другие народы, помнящие свою историю и традиции, так настороженно и опасливо относятся к американской «массовой культуре»? Я не раз слышал, бывая в Европе, презрительные шутки о «пластмассовой цивилизации кока-колы и Микки Мауса». Добавлю, что, будучи впервые в Нью-Йорке по приглашению Генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма, был поражен материальным процветанием единственной сегодня сверхдержавы, остро ощущая при этом потерянность

человека в джунглях гигантских небоскребов. Невольно глазами ищешь «своих», но вместо этого видишь многоликую толпу, делающую деньги. И лишь одно объединяет их – «американский образ жизни», который сегодня хотят навязать всему миру. Удастся ли это? Что победит: национальная идея или новый мировой порядок, многими ныне именуемый демократией?...

* * *

Но вернемся снова к истории первобытных славян. Особо жгучий интерес представляет для нас трагическая история и судьба балтийских славян, противостоявших германскому натиску на протяжении более тысячи лет. Сегодня как никогда важно осмыслить и увязать исторические уроки порабощения балтийских славян – наших прямых предков – с нынешней судьбой славянского племени.

«Каким образом, – ставил вопрос русский ученый, – эта многочисленная и сильная ветвь славянской народности могла так быстро ослабеть (в X-XI в.) и так легко уступить свое место немецкому племени (в XII-XIV в.)? Обыкновенно это объясняют, с одной стороны, недостатком у славян национального самосознания и единства, с другой стороны – бесцеремонной настойчивостью и бессердечной суровостью немцев при насильственной германизации славянских земель. Германская политика, в этом отношении весьма любопытна и поучительна. Меры, направленные к уничтожению славянства, состояли: 1) в лишении славян земельной собственности под разными предлогами, 2) в насильственной германизации, шедшей рука об руку с таким же водворением католицизма, 3) в ограничении прав славян сравнительно с немцами и 4) систематическом заселении немецким народом отнятых или запустевших славянских земель». Иными словами, это была политика беспощадно и умело проводимого геноцида славянских племен, не собранных тогда в кулак единого государства. Только Русь – Россия благодаря политической мудрости наших правителей-царей сумела создать великое государство – хранителя славянской идеи, которое не раз давало сокрушительный отпор разноплеменным завоевателям. Но так было до 1917 года... Наше время свидетельствует о небезуспешном продолжении попыток уничтожить славянскую расу. Сегодня со скорбной улыбкой вспоминается национально-патриотический подъем 70-80-х годов XIX века, вызванный близким, казалось, объединением славян и освобождением Константинополя, над минаретами которого должен был вновь засиять православный Крест. Но, увы, после долгого господства коминтерновцев, завоевавших Россию, мы вновь оказались на краю исторической пропасти, перед реальной угрозой колонизации. Ведя нас «от разочарования к разочарованию», всемогущие силы мировой тайной политики, растоптав и отринув навязанную России идею коммунизма, заменяют ее идеалами «рыночной» демократии. Из огня да в полымя! Только называют нас теперь не кличкой «советские», а «россияне», хотя мы были, есть и останемся русскими. Но как унижен сегодня русский человек, создатель и творец великого государства Российского! В суверенных республиках бывшего СССР русские фактически становятся людьми второго сорта – бесправными, униженными и обездоленными. В России – русские беженцы... Могло ли такое привидеться нам в самом страшном сне?

Вот почему сегодня особенно важно помнить, как и отчего погибли, растворились в чужом немецком племени бывшие хозяева балтийских земель, наши славянские предки. Тогда меченосцы Тевтонского ордена, которых инструктировали небезызвестные храмовники-тамплиеры, столь чтимые мировым масонством, развернули геноцид под лозунгом обращения славян-язычников в христианство (точнее, в католицизм).

И снова даю слово Флоринскому: «...Почему славяне X-XII в. так ослабели, что почти сразу потеряли способность противодействовать германским вожделям? Этого нельзя объяснить ни духом принятого ими христианства, ни преклонением перед немецкою культурой... Чтобы сломить и искоренить народность, нужно прежде ослабить ее численно и духовно и после того уже принимать меры к насильственной ассимиляции. В этом роде должен был происходить и процесс обезличения балтийских славян». Какое верное и современное наблюдение! Разве не то же самое происходит сегодня на Балканах? Кулаки сжимаются от боли и бессильного гнева, когда видишь, как «миротворческие силы» Запада терзают разделенное на сербов и мусульман славянское племя, безнаказанно наносят бомбовые удары по нашим православным братьям. Но напрасно сербы по привычке оглядываются на Россию. Помощи нет и вряд ли может быть...

* * *

Помню, как в Германии, точнее в ГДР, где я работал над воплощением сценических образов «Князя Игоря» и «Пиковой дамы», меня неудержимо влекло на знаменитый остров Рюген, где находилась славная Аркона – древний религиозный центр, если хотите, Мекка наших предков – прибалтийских славян.

Советские учебники по истории, равно как и сами наши ученые, очевидно, имея на то свои причины, словно забыли о тысячелетнем бытии наших предков на берегах Балтики.

По пути к острову Рюген мне временами казалось, что я еду по дороге Москва – Ярославль. Шумели березовые рощи, за окнами машины проносились зеленые поля и леса. Остров поразил меня первобытной пустынною, высокими и неприступными берегами, о которые разбивались и пенились жемчужно-серые волны Балтийского моря. Аркона – какое напряженное и красивое слово! Ее храмы с дивной деревянной резьбой и изваяниями чтимых славянами богов известны по историческим свидетельствам и описаниям тех, кто осуществлял натиск на Восток.

Остров Рюген, по-славянски Руя, находится севернее земли древних лютичей. На этом острове жило славянское племя, называвшееся рюянами, или ранами. Другие источники называют их ругами. Между прочим, византийцы называли княгиню Ольгу королевой Ругорум – то есть королевой русских. Из нашей истории вычеркнута и память о великом вожде русинов, как их в старину называли, который четырнадцать лет правил самим Римом! Имя этого великого полководца – Одоакр (или, по другому произношению, Одонацер). Не случайно, когда умер Богдан Хмельницкий, один из близких сподвижников, стоя над его гробом, назвал его – Одонацер Российский! Нужны ли еще доказательства того, что славянский могучий мир на протяжении столетий боролся с Римской империей и ее «новым порядком»!

* * *

Ныне остров Рюген (Руя) кажется пустынным и заброшенным. Впереди бескрайний простор Балтийского моря. Огромные, тихо плывущие облака и дикие скалы невольно переносят нас в далекие времена, когда по берегам Варяжского моря кипела активная и деятельная жизнь наших далеких предков.

Суровая и нежная красота Севера... А ведь более тысячи лет здесь процветала цивилизация венетов-славян. Но не сумев объединиться в мощное единое государство, запутавшись во взаимной вражде, они не выдержали германского натиска и погибли. Однако ничто в этом мире не исчезает бесследно! «Русская культура явилась продолжением некогда передовой в славянстве венетской культуры, слившейся впоследствии с другим, еще более богатым и обильным источником византийским... Известно, что ни в географических, ни в личных именах Древней Руси, ни в старом русском языке не имеется ни малейшей скандинавской или немецкой примеси, что было бы неизбежно, если бы Варяги – Русы были не славянского поколения, – подчеркивал В. М. Флоринский. И затем подводил горестный итог: – Так закончила свое существование самая древняя и самая передовая в географическом и культурном смысле ветвь северо-западного славянства. Сверстница древней Греции и Рима, она под именем венетов ознаменовала себя в истории народом предприимчивым, отважным, разумным и храбрым».

Мы, русские – восточные славяне, должны с прискорбием отметить, что к XIII и XIV веку земля, принадлежавшая балтийским славянам, стала всецело немецкой.

Но балтийские славяне все-таки возродились, слившись со своими единокровными братьями на широких просторах Древней Руси, ставшей со временем великой Русской империей. Расцвет Господина Великого Новгорода нельзя не связать с бытием прибалтийских славян и их славными вольными городами. Кто из нас не влюблен и не очарован самобытной могучей культурой древнего Новгорода. Кто не знает о его кипучей государственной жизни и великой духовности русской культуры. А не найди наш археолог Арциховский знаменитых берестяных грамот, свидетельствующих о том, что даже дети в Новгороде умели читать и писать, до сих пор бы «ученые» талдычили о темной и дремучей бескультурности Древней Руси.

* * *

Будучи на острове Рюген и узнав об археологических раскопках, я поспешил познакомиться с молодыми археологами, студентами Берлинского университета. Они встретили меня крайне радушно, а один из них, высокий блондин в синей джинсовой рубашке, сокрушенно покачивая головой, сказал: «Как жалко что вы опоздали! Я был, кстати, на премьере оформленной вами и вашей женой оперы „Князь Игорь“. Вы знаток древнего славянства».

«Почему опоздал?» – удивленно спросил я.

Молодой человек рассказал мне, что несколько дней назад они откопали славянскую деревянную ладью IX века и за ненужностью вчера снова засыпали ее землей. «Как? – не мог сдержать я своего удивления и огорчения. – Зачем вы это сделали?» Молодой археолог уклончиво ответил: «А кому она нужна?» – «Как кому? – я не мог прийти в себя от изумления, – ну, послали бы в Москву!» Посмотрев на меня серыми глазами викинга, немецкий юноша отвел взгляд: «Москва этим не интересуется». «Ну, как же, помилуйте, у нас есть знаменитый историк и археолог академик Рыбаков». Викинг нахмурил загорелый

лоб: «Мы знаем имя геноссе Рыбакова от нашего руководителя, ученого с мировым именем геноссе Германа. Наше дело копать, а результаты находок докладывать профессору». Будучи в глубоком волнении, я спросил у моего нового знакомого, какие же самые интересные находки были обнаружены немецкой экспедицией. Потомок тевтонов пожал плечами и произнес раздраженно фразу, которая врезалась в мою память на всю жизнь: «Здесь все до магмы славянское!»

Потом мы пили чай из жестяных кружек, а я все сокрушался о славянской лодке IX века – времен Рюрика, которая, будучи найденной, была снова закопана. Я действительно опоздал! Работающие на раскопках студенты подарили мне на память черепки глиняной славянской посуды VIII века. Целый горшок они вытащили из целлофана, к нему был аккуратно прикреплен соответствующий номер. Я радостно вздрогнул, как будто увидел неожиданно в толпе лицо забытого друга. Я вспомнил годы, когда мы жили в деревне Гребло Новгородской области на берегу озера Великое. До сих пор наши крестьяне пользуются точно такими же горшками.

На прощание молодые археологи посоветовали мне попасть на прием к руководителю археологической науки ГДР геноссе Герману. Возвратясь в Берлин, я приобрел его книгу на немецком языке, где с научной обстоятельностью и немецкой аккуратностью описаны результаты археологических раскопок на Балтийском побережье, где когда-то в течение тысячелетия жили славные венеты. Благодаря нашему послу в ГДР Петру Андреевичу Абрасимову, которого я очень любил и многим ему обязан, я сумел пробиться на прием – но не к самому геноссе Герману; выяснилось, что его нет в Берлине. Меня принял его заместитель. К сожалению, не помню его фамилии, но помню, что ему было лет 45. Он чем-то неуловимо походил на работника советского посольства. Смотрел на меня настороженно, а во время разговора то и дело поглядывал на часы. Мой первый вопрос был несколько провокационным. Я спросил, кто жил на острове Рюген и какие самые новейшие археологические находки обнаружены на побережье, где находился знаменитый храм Аркона. Заместитель Германа ответил уклончиво, что на острове Рюген жило некое племя ранов, особо интересных находок не было, а что касается Арконы, то до войны немецкие ученые вели там раскопки, но их результаты он недостаточно хорошо помнит. Подумав, добавил: «Море неумолимо наступает на Аркону, и вряд ли она будет представлять интерес для современной археологии». Вопросительно посмотрев на меня, всем видом своим показал, что аудиенция идет к концу. Я напоследок сказал: «Меня как художника особо интересуют древние скульптуры, памятники быта, оставшиеся от древнего славянского населения». Он откинулся в кресле, стоявшем под большим портретом мрачного Карла Маркса, в стекле которого отражался висящий напротив портрет улыбающегося Хонеккера. «Могу вам сказать одно, что у нас в ГДР существует огромный склад, набитый славянской археологией и древнейшими книгами, написанными по-старославянски. После окончания войны мы многое свезли в это хранилище, и до сих пор никто в нем не копался». Он снова посмотрел на часы, барабанив пальцами левой руки по стеклу, накрывающему стол. «А может быть, там есть книги, написанные на деревянных дощечках?» – не унимался я. Он равнодушно посмотрел на меня: «Может быть, и есть, я повторяю, но никто из ваших советских или наших ученых не проявлял пока к этому интереса». Вставая и чувствуя, что у меня осталось несколько секунд, я спросил: «А можно посетить это хранилище?» Протягивая мне руку, улыбнувшись прощальной улыбкой, ученый геноссе сказал: «Поскольку, кроме вас, никто столь живо не интересовался этим – думаю, если разрешит начальство, все возможно...»

Вернувшись в Москву, я встретил писателя и публициста Дмитрия Анатольевича Жукова, известного своим интересом к русской старославянской культуре, и рассказал ему о посещении Рюгена и фирмы геноссе Германа. Жуков махнул рукой: «Я думаю, ни Рыбакова, ни Лихачева эта информация не заинтересует – они заняты другим». И, посмотрев на меня с высоты своего роста, спросил: «А ты не посетил живущих словно в резервации, вроде индейцев Америки или Австралии, представителей последнего славянского племени сорбов?» Грустно улыбнувшись, сузил темные умные глаза: «Все, что осталось в Германии от славян – это небольшое племя сорбов, их в ГДР, правда, никто не обижает. Мне как лингвисту и знатоку южнославянских наречий было очень интересно поговорить с ними».

* * *

Меня до сих пор мучает вопрос, почему наши ученые не занимаются всерьез археологией мира балтийских славян. Ведь до революции русская историческая мысль сделала много для того, чтобы обратить внимание на глубинную связь италийских, балтийских и русских славян. А В. М. Флоринский путем сравнительной археологии указал на родство курганного населения Сибири с его арийскими протославянскими корнями.

Считаю нужным обратить внимание читателя на еще один очень важный факт, связанный с более чем тысячелетним противоборством балтийских славян с их вечными соседями и недругами – германцами. Известно, что в Хазарии в иудаизм были обращены по преимуществу тюркские народы, которые затем, как утверждают многие историки, в том числе и Еврейская энциклопедия, образовали стихию восточного

еврейства, превосходя своей активностью даже испанских евреев. Не менее феноменальна история немецкого племени пруссаков и самой Пруссии. Не могу в этой связи не привести завершающую наш разговор о славянах и немцах цитату из Флоринского. «Много раз обращал на себя внимание тот факт, что немецкое племя образовало значительные государственные тела только на завоеванной земле и преимущественно на славянской: таковы Пруссия и Австрия, в противоположность всем другим немецким владениям, на которые раздроблены коренные земли Германии». Такой вывод делает Гильфердинг в конце своего прекрасного исследования о Балтийских славянах... Государственное начало нынешней объединенной Германии зародилось, как известно, на Бранденбургской^[80] почве и потом в Пруссии, которая до сих пор стоит во главе Германской империи. Все наиболее выдающиеся в науке творческие умы и государственные деятели в Германии выходили отсюда. И это нельзя считать явлением случайным. С точки зрения социальной физиологии здесь должна была иметь значение помесь двух, одинаково даровитых, но разных по характеру и направлению народностей, давшая в результате улучшение расы. Славянская натура носила в себе идею политического единения, ширину взгляда на задачи жизни и мысли, смелость в предприятиях и упорство в достижении цели; отличительным свойством немецкого характера были: индивидуализм, сосредоточенность в самом себе, глубина мысли в частностях, тщательность и усидчивость в разработке деталей. Из слияния таких и других свойств, взаимно умеряющих и пополняющих крайности того и другого племени, сложился нынешний тип северо-германской народности, превосходящей по таланту и энергии народонаселение Южной Германии.

Каждое человеческое племя, при многовековой исторической жизни, требует подновления, если можно так выразиться, освежения крови. Национальный тип, предоставленный исключительно самому себе, неизбежно со временем мельчает и вырождается. То же самое мы видим в замкнутых сословиях и изолированных кастах. Индивидуальный талант редко передается по прямой наследственной линии. Прогрессивное умственное возрастание народа точно так же требует освежения старых запасов новыми элементами, притекающими извне. Применение этого исторического закона мы видим на всех древних и новых народностях (Греция, Италия, Франция, Англия, Россия). Для Германии это составляло такую же физиологическую необходимость, которая и была восполнена ассимиляцией остатков Балтийских славян».

Следует добавить, что в Германии сохранялась масса фамилий с окончанием на – ов: свидетельство древнего славянского происхождения. Например, фон Бюлов, знаменитый ученый Вирхов и т. д. Мой судебный процесс против клеветников из так называемой «третьей волны» – эмиграции, который я триумфально выиграл, вел почетный адвокат доктор Базедов, гордившийся своим прусским происхождением. Потому еще и еще раз следует отметить преступную халатность и нерадение советских историков и археологов, проморгавших такие возможности для научных разысканий славянских древностей в дружественной нам тогда ГДР! А ведь еще Флоринский говорил, как бы обращаясь к своим будущим коллегам: «Балтийское поморье могло бы указать нам немало и других следов, подтверждающих связь его прежнего населения с народившеюся новой жизнью России. Следы эти окажутся в языке поморян, в существующих у них обычаях, привычках, в религиозных (языческих) верованиях, в складе социальной жизни и т. д. Из совокупности этих источников можно почерпнуть гораздо более веские и убедительные доказательства о происхождении варяжской Руси нежели из филологического толкования имени Варангов и нескольких других русских слов, искаженных в переделке у византийских писателей (напр., название Днепровских порогов у Константина Багрянородного), на которых зиждется, вопреки историческому смыслу, норманская теория».

* * *

...Читатель, наверное, уже успел подзабыть, что глава эта, начатая публикацией в No7, называется «Сибирь». Возвращаясь к ней – хотя мы и не покидали ее духовно, размышляя о судьбах славянства вместе с сибиряком В. М. Флоринским.

После Минусинска, где я собирал материалы для диплома, где открыл мир русской иконы, Я вернулся в сибирские края много лет спустя, в 1978 году. После грандиозного политического скандала, возникшего вокруг моей картины «Мистерия XX века», я был «сослан в Сибирь» – на перевоспитание в героический трудовой коллектив Байкало-Амурской магистрали.

Мистерия – это значит чудо, потому что только воля художника может объединить на одном холсте людей, живших в разное время, которые никогда не были знакомы друг с другом. Этот прием не нов. Достаточно вспомнить знаменитую «Афинскую школу» Рафаэля. Я задумал свою работу в Париже, когда мне довелось быть невольным свидетелем ставших потом знаменитыми студенческих волнений, поводом для которых послужило, в частности, требование увеличения стипендии.

В Сорбонне словно снимался фильм о нашей революции! Сновали молодые люди в кожаных куртках с красными от бессонницы глазами. Все стены оклеены листовками и разрисованы крикливыми лозунгами.

Возводись баррикады – у Сорбонны для этой цели были спилены несколько столетних каштанов. Войдя в гулкий и высокий вестибюль знаменитого университета, я увидел мраморную доску с именами бывших его студентов.

Она была измазана дерьмом, а в правом нижнем углу, очевидно пальцем, все тем же «материалом» какой-то анархист написал крупно: «хорошо, что вы подошли!» Навсегда запомнились пылающие костры, сражения между студентами и полицейскими, грандиозные манифестации в тревожно притихшем Париже. Газеты и журналы не выходили. Знаменитая «Пари матч» успела, правда, опубликовать репортаж о том, как я писал портреты членов кабинета министров генерала де Голля: Эдгара Фояра, Жокса, Перфита. Именно тогда я познакомился с Жан Мари Ле Пенем, был в его клубе, видел простреленную фуражку генерала Салана, героя ОАС, кумира патриотической молодежи Франции. Помню суровые лица молодых людей которые смазывали и заряжали автоматы: «Если коммунисты не остановятся, мы должны помешать им заварить очередную кашу». Я написал в те дни портрет моего нового друга Жана Мари.

Я мучительно думал, как отразить в одной картине великую смуту нашего времени. На стенах Парижа – портреты Ленина, Маркса, Че Гевары, Троцкого, Мао Цзэ-дуна. Кто-то рассказал мне, что секретарь Эдит Пиаф, подойдя к вечному огню у символа Франции – могилы Неизвестного солдата, вытащил припасенную сковородочку и поджарил себе яичницу, которую с аппетитом съел. У одних французов это вызвало восторг, у других гнев возмущения. Во время моего пребывания в Париже узнал я также, что главой Союза художников Франции был некогда личный секретарь Троцкого...

Не буду описывать содержание моей «Мистерии». Знаю, что очень многие видели ее, – если не в оригинале, то хотя бы в многочисленных репродукциях. Скандал был огромный. Выставка, которую я ждал долгие годы так и не открылась, потому что я отказался убрать картину, столь важную для моего творчества. Тогдашний министр внутренних дел Щелоков, ранее относившийся ко мне уважительно, позвонил по телефону и предупредил, что я должен немедленно снять свою «антисоветчину», а если нет, то для таких, как я, есть лагеря: «Подумайте о своих детях». Враждебные «голоса» надрывались по поводу скандала, неслыханного в истории советского искусства. «Картина, которую никогда не увидят русские», – провозгласил итальянский журнал «Эпока». На самых верхах, как мне говорили потом, всерьез обсуждался вопрос о моем выселении из страны. Мне грозила участь Солженицына... Это решение не прошло всего одним голосом! Секретарь МОСХа Попов злобно прошипел: «Теперь ты навсегда спекся, Глазунов!»

До позднего вечера в Выставочном зале на Кузнецком мосту мы ждали, какое же решение о выставке принято. Толпа народа, запрудив улицу, несмотря на уговоры милиции, не расходилась до вечера. Спасибо, великое спасибо моим зрителям!

Пытались действовать и через мою жену, но она тоже была непреклонна. «Скажите ему, – говорили Нине, – пусть он переписет Солженицына на Брежнева и уберет Голду Меир и Моше Даяна. Что же это получается: наверху Христос, а под ним в луже крови плавает Сталин, и протягивает руку страшный в своем фанатизме Ленин», – убеждал мою жену заместитель министра культуры СССР Владимир Иванович Попов. Который раз я остался в полном одиночестве – решалась моя судьба. Я несколько раз снимал телефонную трубку: может быть, никто не звонит потому, что отключили телефон? Нет, работает. Лишь через несколько дней позвонил неизменный благодетель мой Сергей Владимирович Михалков: «Передаю тебе указание ЦК КПСС – причем с самого верха: собирай манатки и немедленно с глаз долой, уезжай в Сибирь, на БАМ. Хочу добавить что ты должен быть благодарен, раньше бы тебя расстреляли как врага народа. Нина пусть остается в Москве. Поработаешь, а там видно будет».

За два года до этого мою небольшую выставку организовал в клубе парфюмерной фабрики его директор, ныне знаменитый Дмитрий Дмитриевич Васильев. Он занимался также фотографией, подрабатывал на фотозаказах. Я был у него несколько раз дома, в коммунальной квартире. Меня огорчила нищенская обстановка, но особо тронуло сердце то, что он воспитывает, разойдясь с женой, двоих детей, мальчика и девочку. «Как же ты поедешь один в Сибирь? – удивился Дим Димыч. – Мало ли что может случиться в тайге, на стройке, где, наверное, не только ударники труда, но и уголовнички шалят?» Решили ехать вместе.

Представляю, какая реакция и какие комментарии могут возникнуть у многих: «Не кто-нибудь, а основатель общества „Память“ сопровождал Глазунова!» Но спешу успокоить общественность. Когда мы были в Сибири, Дим Димыч еще и не помышлял о создании общества «Память», которое получило потом такую свирепую и шумную огласку, породило столько измышлений о «русском фашизме». Во время нашего сибирского житья-бытья он, тогда просто скромный фотограф и мой друг, рассказывал мне о службе в армии, о том, что всегда мечтал быть актером и режиссером. До встречи со мной он несколько раз разговаривал с академиком Сахаровым и, между прочим, сочувствовал нашим «гонимым» авангардистам. Он был очень артистичен, остроумен, прошел суровую жизненную школу. Он мне говорил тогда, что его потрясла моя картина «Мистерия XX века», восхитила непримиримость моей гражданской позиции, непреклонность в борьбе за право свободно выражать свои философские и эстетические взгляды.

В течение года после поездки в Сибирь Дима отдал немало сил созданию фильма об Илье Глазунове. Однако его «зарубил» председатель телерадиокомитета Сергей Георгиевич Лапин (мой земляк, родом из Петербурга). Многое не понравилось ему в отснятой картине. Не понравилось, в частности, обилие церквей и монастырей. Я настоятельно шептал Васильеву, что надо соглашаться с требованием вырезать из фильма некоторые церковные мотивы – во имя одного, самого важного сюжета: взрыва храма Христа Спасителя. Но именно эти кадры и вызвали наибольший гнев Сергея Георгиевича. Он был непреклонен.

Чтобы сместить акцент в его нападках на «церковность», я спросил грозного Лапина: «А почему ваши редакторы вырезали снятые в старой Ладогe кадры, где ваш покорный слуга цитирует Татищева и обрушивается на норманистов, отрицающих славянское происхождение Рюрика?» Должен сказать, что Сергей Георгиевич относился ко мне в принципе неплохо, несмотря ни на что. Он чуть смутился и уже миролюбивым тоном объяснил: «Поскольку я себя не считаю знатоком русской истории, хоть и очень люблю ее, я решил эти кадры показать Дмитрию Сергеевичу Лихачеву». Лапин, пожилой, небольшого роста, с аккуратно расчесанными на пробор седыми волосами, сверкнув очками, заявил: «Прямо скажу – никак не ожидал такой реакции прославленного советского академика». Сергей Георгиевич подчеркнул слово «советский». «Так вот, Лихачев сказал: „Не дело художника рассуждать об истории“. И я, продолжал Лапин, согласен с Дмитрием Сергеевичем: живописью должен заниматься живописец, а историей должны заниматься историки. Рюрик же ваш, если не легенда, был норманский конунг!»

Глядя в усталые глаза руководителя советского телевидения, я огрызнулся: «Но ведь советский академик Лихачев по профессии лингвист, а не историк, а он ведь даже и о живописи любит порассуждать. История, как и искусство, принадлежит всем, и каждый человек может иметь свое о ней понятие».

Дело тем и кончилось: фильм лег «на полку». А вот отношения мои с Дим Димычем с того момента разладились. Он обвинил меня... в соглашательстве с Лапиным. «Если ты думаешь, что я угробил фильм о самом себе – считай, что ты прав.» – с нескрываемой обидой сказал я. После этого разговора наши пути разошлись навсегда.

И лишь позже узнал я о «Памяти», которую организовал и возглавил Дмитрий Васильев. Несколько лет назад, в начале перестройки, занимаясь созданием Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, я попал на прием к секретарю ЦК КПСС Александру Николаевичу Яковлеву, которого уже тогда называли главным архитектором перестройки. Усадив меня перед собой, он спросил: «Вы знаете, почему я вас так долго не принимал, хотя вы задумали хорошее дело с вашей академией?» «Наверное, потому, что вы были заняты», – высказал я безобидное предположение. «Нет, совсем не поэтому, – вскинул на меня глаза бывший идеолог партии, а ныне лидер демократического движения. – Мне со всех сторон уши прожужжали, что вы основатель „Памяти“ и активно поддерживаете это движение. Мне пришлось обратиться напрямую в КГБ, где мне ответили, что вы никакого отношения к „Памяти“ не имели и не имеете. Для меня это очень важно, ведь я за Россию больше, чем вы. Я родом из ярославской деревни, и по моей инициативе сейчас восстанавливают Толгский монастырь, где, как известно, была найдена рукопись „Слова о полку Игореве“. Прощаясь, Александр Николаевич показал глазами на ксерокопию книги, лежащей у него на столе: „Вы вот все за Русь выступаете, а я уверен, этой книги не читали“. Я прочел название книги: Сергей Лесной. „Откуда ты, Русь“. На этот раз улыбнулся я, чувствуя благожелательность начальства: „Александр Николаевич, вам ксерокс, надеюсь, не общество „Память“ прислало. А вот у меня давно купленный в Париже экземпляр. Должен вас предупредить, что маститые советские историки патологически ненавидят как эту книгу, так и ее автора, профессора Парамонова, взявшего псевдоним Сергей Лесной“.

* * *

Помню Иркутск, настороженную встречу в горькоме партии, где мне начертали мой предстоящий маршрут. После красоты старого Иркутска, где когда-то жили некоторые ссыльные декабристы, я снова, выйдя из самолета, увидел стену непроходимой, бескрайней, как океан, тайги и рабочий поселок, где предстояло прожить месяц. Начальство было предупреждено и сразу предложило список ударников труда, которых мне предстояло рисовать. «Я буду рисовать тех, кто мне понравится», – стараясь придать голосу твердость, сказал я представителю местной власти. «И потом, наверное, у вас все хорошо работают», – предположил я. Начальник-бамовец простодушно улыбнулся: «Вообще-то вы правы, все пришли сюда работать и заработать – лодырям здесь места нет».

Действительно, молодежь на БАМе была боевая и работающая. Сюда съехались, словно по призыву, представители всех тогда братских советских республик. Со многими я подружился, узнал, какими судьбами они оказались в Сибири. Забегая вперед, скажу, что спустя два года меня в Москве навестил один из моих новых бамовских друзей. Рассматривая вышедшую к тому времени «молнией» (учитывая политическую актуальность БАМа) папку репродукций бамовского цикла моих работ, грустно сказал:

«Рисовал ты их, рисовал, и все, что от них осталось, – твои портреты. Их уже там нет». «Как нет?» – удивленно спросил я. Мой бамовский друг невозмутимо ответил: «Да так – часть посадили, часть разогнали, кроме Лакомкина». Я недоумевал: «Что же произошло?»

А произошло вот что. Ребята из моего строительного отряда, где я жил, работал, с кем вместе ходил в столовку, сооруженную наспех из досок, завершили очередной отрезок железнодорожной линии. По нему должен был пройти первый состав. А это на стройке – большой праздник. Естественно, ребятам было обещано, что они станут пассажирами почетного первого поезда. Но не тут-то было. Наехало столько начальства – из ЦК партии, из ЦК комсомола, Иркутского обкома и горкома, не говоря о сонме журналистов, кино- и фотокорреспондентов, что ни одному строителю из моей бригады ни одного места не досталось. Их обманули, лишили чести быть первыми пассажирами на ими построенной дороге. Под рев оркестра поезд с гостями, стуча колесами, скрылся в глухой тайге. Настроение у гостей торжественное и радостное – большинство, само собой, было в подпитии по случаю праздника. Но вдруг поезд остановился. Все бросились к окнам: что случилось? А случилось то, что на рельсах поезд встретила большая толпа строителей, среди которых были и те, кого я рисовал. Они потребовали, чтобы высокие гости вышли из вагонов. Оставив заезжую номенклатуру в тайге, подступавшей к насыпи, ребята скомандовали машинисту: «Трогай!»

«Сам понимаешь, – закончил свой рассказ мой бамовский друг, – как трудно было замять тот скандал, а ребят раскидали, кого куда». Перелистывая репродукции, он добавил: «Береги свой альбомчик – эти люди и есть настоящая история БАМа».

Помню, в строительном поселке была библиотека, школа, где я читал детям лекции о русском искусстве. А вечером мы все посещали клуб, где показывали старые фильмы и временами веселили публику самодеятельные ансамбли песни и пляски. Однажды я разговорился с руководителем такого ансамбля, приехавшего из Богом хранимого града Екатеринбурга. «Ну, как тебе наши девочки?» – спросил он меня. И сам ответил: «Танцуют, как огонь!» Подумав, добавил: «Мы бы больших результатов достигли, если бы было где репетировать». Я спросил: «А где вы репетируете?» Да, знаешь, дали нам подвал, где царя Николашку с семьей хлопнули – в Ипатьевском доме. Расстреливать там, может, и удобно, а вот танцевать, повторяю, тесновато: нам же профессиональная сцена нужна». Я был ошеломлен. Наш разговор на этом и прервался...

За несколько километров от рабочего поселка я набрел на разрушенную деревню. Не знаю, сохранились ли у Д. Васильева ее фотографии. Старушка, чуть ли не последняя жительница деревни, сказала, что молока здесь ни у кого нет. Потом поведала, что их семья родом из Ярославля, что они столыпинцы, приехавшие в Сибирь. Раньше царское правительство во всем помогало крестьянам. «У нас коров двадцать было, лошади, овцы, да и то в богатых не числились», – деловито, беззлобно вспоминала старушка. Тогда я впервые узнал, что, согласно реформе великого Столыпина, в Сибири крестьянам, давали столько земли, сколько они обработают. Налогом не облаживали – наоборот, деньги на подъем хозяйства из банка давали без процентов. На мой вопрос, как распоряжались крестьяне избытками зерна и прочих продуктов, «столыпинка», улыбнувшись беззубым ртом и посмотрев на меня удивленно, ответила: «Как куда? Везли на ярмарки, где цены само собой устанавливались».

Многое успела рассказать мне дочь переселенцев. Малолюдность когда-то большой деревни она объяснила просто: «Церкви все в округе порушили, ни одной не оставили... Ждем, когда нам раз в неделю хлеб привезут, а со своих оставленных шести соток картошку и овощи получаем». Горько, больно было сознавать, что случилось с некогда цветущим краем... В Сибири, на БАМе, я работал день и ночь. В Иркутске уже через месяц я смог показать свыше двухсот работ, как живописных, так и графических. «Вы сделали больше, чем все члены нашего Союза художников», – говорило очень потеплевшее ко мне иркутское начальство, которое сочло возможным вместе с руководством строительства направить в ЦК партии телеграмму, выражающую благодарность строителям художнику Глазунову.

На мою встречу с общественностью Иркутска пришло много народа – среди них Валентин Распутин и скептически молчавший Евгений Евтушенко, который тогда не забывал Сибирь, зная, что БАМ – великая стройка коммунизма, не меньшая по значению, чем воспетая им ранее Братская ГЭС. Еще в тайге, в рабочем поселке, где не было радиоглушителей, все строители, оказывается, слышали, как западные радиостанции комментировали скандал вокруг «Мистерии XX века». Все, видя мой каторжный труд и узнавая себя в работах, хотели мне помочь, – и помогли! После многочисленных писем и телеграмм с БАМа, направленных руководству ЦК КПСС, мой труд и добрая поддержка людей (моих зрителей) смягчили гнев высокого начальства. Ему опять не удалось вырвать палитру из моих рук! Но они никогда не простили мне «Мистерию XX века!»

После БАМа мне стала как-то по-особому понятна страсть, охватившая – на всю жизнь – В. М. Флоринского при виде безмолвных и горделивых сибирских курганов. разбросанных, точно огромные копны сена, по высоким равнинам.

Впрочем, я прикоснулся к этой тайне России еще в детстве, до войны, на берегах Древнего Волхова, когда мы жили на летней даче под Лугой. Мою детскую душу охватывало неопишное волнение при виде древних курганов, вот уже столько веков высящихся среди полей и лесов русского Севера. Помню и рассказы отца, влюбленного в русскую историю, о стольном граде Киеве, о Господине Великом Новгороде, о Рюрике и его братьях. Помню огромный красный закат на берегу Волхова, одинокую фигуру отца, стоявшего неподалеку от поросшего травой кургана, над которым кружились стаи готовящихся к ночлегу птиц.

Именно с того времени, как я себя помню, рисование было моим любимым занятием. Однажды, глядя на силуэт кургана, чем-то напоминавший богатырский шлем, я задумал нарисовать пушкинского Руслана, который подъехал к огромной говорящей голове. Осенью, когда я показал эту акварель моему учителю в детской художественной школе, художнику Глебу Ивановичу Орловскому, он, похвалив красоту силуэта, деликатно намекнул, что фигура Руслана на коне напоминает ему «Витязя на распутье» Васнецова. Я, с детства обожающий творения Виктора Михайловича, которые столь часто рассматривал в Русском музее Ленинграда, смутился и покраснел. Учитель был прав, хотя в мыслях моих отсутствовало желание подражать.

Заметив мой интерес к курганам, мать подарила мне книгу, изданную до революции, под названием «Что говорят забытые могилы». На обложке в духе Билибина был изображен курган, опоясанный, словно ожерельем, белыми замшелыми камнями, а за ним на холме виделся древнерусский град. С той поры живет во мне мечта когда-нибудь принять участие в раскопках. Не потому ли так близко к сердцу принял и труды В. М. Флоринского? Он ответил на многие вопросы, которым раньше не было ответа!

Обратимся вновь к его великой книге – теперь уже к тем ее главам, где поведаны изумительные догадки о жизни наших предков в Сибири. которая (и это было открытием!) никогда не была чужой землей. Не завоевал ее Ермак, а вернул потомкам прашуров наших, что испокон веков жили на ее бескрайних просторах!

Продолжу цитировать В. М. Флоринского.

«Помпейские древности – это изящная виньетка к одной главе Римской истории. Сибирские же древности – это затерянный том самого текста из жизни древнейших народов.

Глядя на Тобольские курганы и обнимая умственным взором громадную полосу их распространения почти по всем пределам Российской Империи, неволь но приходит мысль: не имеют ли эти памятники более прямого отношения к древнейшим судьбам славянского народа?

А что, если географические совпадения их с нынешней русской территорией – не простая случайность, если это действительно могилы наших предков, сооруженные в назидание и воспоминание потомству? Не будет ли тогда с нашей стороны святотатством отречься от этих прадедовских могил, с таким пренебрежением попирает их священную память, с легким сердцем уступая их то финнам, то татарам? Добро бы мы делали это сознательно, не желая менять нечто известное на проблематическое, могли бы указать на другое, более определенное место нашей первоначальной родины; но наши историки не указывают такого места. Всю среднюю и северную полосу России они отдают финнам, южные степи – скифам и сарматам, не позволяя видеть ни в тех ни в других наших родоначальников, – всю Сибирь приурочили к туранским племенам, Балканский полуостров – фракийцам, западную Европу – кельтам и германцам, Малую Азию – эллинам и семитам, а колоссальному славянскому организму не оставили ни одного клочка земли, который он мог бы назвать своей колыбелью».

Не могу не воскликнуть, прочитав эти пронзительно-горькие слова: вот что нужно читать нашим псевдопатриотам, «норманистам» и «гумилевцам», отрекающимся от прадедовских могил. То, что исповедуют и проповедают они, лишая славян истории, – воистину святотатство! «Для народной совести, – подчеркивает Флоринский, – и для предчувствия будущего далеко не все равно, будем ли мы сознавать, что славянское племя водворилось в нынешних землях путем насилия и захвата, хотя бы и слишком отдаленного от нашей эпохи, или оно наследует родную землю и в дальнейших территориальных приобретениях – лишь возвращает себе то, что было неправильно отнято в минувшие века». (разрядка моя. – И.Г.). И далее:

«Такие мысли навевали на меня Тобольские курганы. Чувствуется мне, что народная русская волна недаром стремится на юг и восток. Не одни материальные выгоды и политические соображения влекут нас сюда, а народный инстинкт, бессознательно сохранившийся в коллективной памяти народных масс, подобно инстинкту перелетных птиц». (Какая великая мысль! – И.Г.).

По Флоринскому. археология, изучающая «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», овеществленные в материальных памятниках и предметах стародавних эпох, является наукой глубоко

злободневной, идеологически и даже политически актуальной. Добавлю. что невозможно переоценить роль этой науки в деле формирования и – в сегодняшней нашей смуте – возрождения национального самосознания.

«Всякий археологический факт, – утверждает ученый, – имеет значение не сам по себе, а только по отношению к древним судьбам того или другого народа. Напрасно мы стали бы отклонять эти назойливые вопросы под тем предлогом, что ископаемые древности могли относиться к племенам, теперь уже не существующим. Народы не исчезают с лица земли так же быстро, как имена их со страниц древней истории. Кажущееся исчезновение доказывает только неустойчивость (перемену) народных названий, или, в более редких случаях, эти слияние части того или другого племени с соседним господствующим народом. Китайцы, индусы, евреи, древние персы, эллинские и латинские племена с тех пор, как знает их история, и по сие время не утратили своих племенных черт. То же самое можно сказать о галлах, германцах и славянах. Давность их начинается не с летописной истории, а с отдаленнейшей седой старины, когда эти народности выделились из общей арийской семьи. В этом бесконечно длинном ряду веков каждая народность должна была оставить свои следы как в себе самой, т. е. на своем духовном облике, так и в местах своего пребывания. Места народной жизни меняются, еще более изменчивы географические и исторические имена; но плоды национального творчества большею частью сохраняют свой национальный отпечаток, если не во все время существования народа, то, во всяком случае, в продолжение очень долгого времени. Привычки, вкусы, наклонности и верования обыкновенно соблюдаются народом, как святыя, по инстинктивному чувству народного самосознания. Поэтому перемены в основных народных привычках являются только в исключительных случаях, напр. с переменою религии или с усвоением новой заимствованной цивилизации, и при том они все же не распространяются на весь склад народной жизни. Эти-то национальные черты, ведущие свое начало из глубины доисторических веков и выраженные вещественными памятниками, могут служить точкою опоры при национальном направлении археологических разысканий (разрядка моя. – И.Г.).

* * *

Возможно, я утомил читателя обширными выписками из книги великого русского ученого. Но поверьте: так хочется, чтобы его мысли и гражданская позиция завладели умом и душою как можно большего количества русских, мечтающих о возрождении и укреплении чувства своего национального достоинства.

И тут невольно возникает вопрос: а все ли (и что именно) сделано в этом направлении современной наукой? Конечно, советская археология добилась некоторых результатов. Печаталось много трудов, проводились научные конференции, симпозиумы, съезды и т. д. Однако, по моему убеждению, долголетнее господство марксистско-ленинских установок, видящих смысл бытия прежде всего в развитии товарно-экономических отношений, сковало мысль многих русских ученых.

Я, напротив, исхожу из антимарксистского определения, что история есть не что иное, как борьба рас, племен и религиозных идей. Флоринский, как и другие дореволюционные русские ученые, внимательно изучал антропологию, стремился определить расовую принадлежность находимых при раскопках черепов. Советовал бы молодым историкам и археологам хотя бы пробежать глазами одну из работ ученого, в которой он подвергает научному анализу 23 черепа, находящихся в музее организованного им Томского университета. Меня потряс в этой коллекции череп, найденный на дне Иссык-Куля, – бесспорно индоевропейский, точнее, арийский!

Разумеется, для науки крайне важны форма и орнаменты древней посуды, предметов быта. Но ведь это лишь камешки из сложной мозаики. Разве, например, археологи, которые будут вести раскопки через тысячу лет после нас, сочтут исчерпывающей характеристику истории народов мира, опираясь на факт нахождения бутылок пепси-колы в Москве, Париже, Нью-Йорке, Риме или Нью-Дели? Будет ли правильным их вывод о том, что повсюду жила «американская раса»? Один наш археолог рассказывал мне, сколько не так давно тратилось усилий и средств, чтобы непременно найти норманские (шведские, немецкие и т. п.) предметы быта в наших древних поселениях и курганах. Так и не нашли – кроме, если не ошибаюсь, двух-трех мелочей, в частности в Смоленске. А вот Флоринский, сравнивая находки в курганах первобытных арийских племен в Сибири, считал, что именно отсюда за долгие века до Рождества Христова ушли в Германию племена, которые через наш Север достигли побережья Прибалтики, где и поселились, дав со временем Тациту материал для исторического описания германцев.

Естественно, позиция ученых-антирусов диаметрально противоположна. К примеру, француз Масон (Мазон), печально знаменитый тем, что считал великое «Слово о полку Игореве»... подделкой XVIII века, в своей книге о кельтах, пришедших в Европу из глубин России, иронически восклицал: «Уж не русские ли мы все по происхождению?» Отнять у славян прошлое и сделать их «неисторическим» народом

– давняя мечта многих. Европа боялась и ненавидела непонятного им, доброго, но могучего «русского медведя». Извне ни Дарий, ни татаро-монгольские орды, ни Наполеон не смогли нас сломить и завоевать. Русского колосса свалила привитая ему либеральная терпимость и несопротивляемость злу силою, сочетаемая с воинствующей денационализацией нашего самосознания. Она проникла к нам и осуществилась через идею классового самоистребления, изобретенную сатанинским умом Карла Маркса. Именно поэтому я считаю наиважнейшим делом реабилитацию и привлечение к нашей сегодняшней жизненной борьбе достижений тех русских ученых, кто был вместе с проклятым прошлым «Тюрьмы народов» – царской России – сброшен с борта современности.

В Сибири, как известно, центром научной мысли является Академгородок Новосибирска. Кому, как не им, осуществлять и продолжать дело таких ученых, каким был Василий Флоринский? Советская наука чтит труды ныне покойного археолога академика Окладникова, специалиста по наскальным рисункам... каменного века. Не могу взять в толк, как мог он написать неуклюжую и конъюнктурную статью о творчестве Рериха, под именем которого, к сожалению, множатся антихристианские силы, распространяются бредни о Шамбале и теософские сатанинские доктрины Блаватской и Елены Рерих. Мне несколько раз довелось слышать выступления Окладникова, корифея научной мысли Сибири. Говорил он скучно и вяло, окрыляясь лишь во время благодарности партии и правительству за внимание к нашей науке. Я долго изучал, когда он сидел в президиуме Колонного зала, его рослую фигуру странно неподвижное и словно мертвое лицо... Для понимания атмосферы в советской научной среде характерен весь Академгородок Новосибирска, который, когда это еще было «запрещено», славился интересом к художникам-комиссарам авангарда 20-х годов – и восхищался буддийскими работами позднего Рериха и его сына Святослава, который в предыдущей жизни был якобы Тицианом. Перерождение, Шамбала и Махатмы – какая это ересь!

Несколько лет назад вышла роскошно изданная книга, посвященная раскопкам кургана в районе Иссик-Куля. Это было большое открытие. Найденный там костюм из золота, принадлежавший представителю, как сказал бы Флоринский, «курганного» племени, буквально потряс меня. Но особое волнение вызвал браслет из кургана с надписью буквами неизвестного алфавита. – Но почему же, подумал я, ученые не опубликовали крупным планом текст на браслете? Лихорадочно снова пробегаю текст, надеюсь найти комментарий к этому великому научному открытию. Читаю: «Участница экспедиции Рабинович высказала предположение (! – И.Г.), что буквы на браслете, очевидно, носят следы влияния финикийского алфавита». Каков пассаж!

Брошенное вскользь замечание участницы экспедиции госпожи Рабинович я могу сравнить лишь с категоричностью госпожи Жуковской, которая в свое время «раз и навсегда» заклеила текст Влесовой книги, назвав его поздней подделкой. Не так ли поначалу многие ученые Европы реагировали на научный подвиг своих коллег, которые впервые опубликовали текст Авесты! Теперь смешно и недостойно говорить, что тексты Авесты и Ригведы – подделка. Но сегодня в России, как и в бывшем СССР, провозглашается научная анафема тем, кто стремится изучать Влесову книгу. Я помню в Киеве разговор с ведущим специалистом древнеславянского языка, лингвистом Высоцким. У него подлинность алфавита Влесовой книги не вызывает никакого сомнения. Исторические факты, я считаю, надо изучать, не пачкая себя досужими разговорами о подделке «дощечек» неким Сулакадзевым, офицером-коллекционером, пристававшим в свое время к Пушкину с просьбой купить у него что-нибудь из древностей.

Моя глава о Сибири была бы не полной, если бы я в конце ее не напомнил читателю, что только с 111 и IV века н.э. южная Сибирь стала населяться татаро-монгольскими племенами, не имеющими никакого отношения к древним арийским курганам и городищам, верность которым сохранили славяне до времен, уже известных истории.

В степях Хакасии, куда я попал из тайги и с берегов могучих рек Красноярского края, там и сим неожиданно вдруг появлялись уходящие в небо заснеженные вершины горных хребтов, отчего голубое небо казалось особенно бездонным, а волнуемые ветром ковры степей своей бескрайностью возбуждали подсознательное желание идти все дальше и дальше, удивляясь безграничности и красоте мира. Здесь ощущаешь биение сердца Азии, вековую загадку бытия. В моем русском «я» как бы просыпалась тревожная историческая память.

* * *

Повитые легендами далекие таинственные земли Монголии породили одного из самых безжалостных и кровавых завоевателей, знаменитого Темучжина, ставшего известным всему миру как Чингисхан. Великая имперская идея мирового господства монголов была внушена ему знаменитым шаманом Кокочу. Он всегда приходил к владыке и говорил: «Бог повелел, чтобы ты был государем мира!»

Чингисхан не знал жалости даже к своим близким, подымаясь по трупам на престол всемирного владыки. (Не случайно Бухарин называл Сталина Чингисханом!) Он объединил монгольские, татарские и тюркские племена, которые со временем стали называть себя монголами, за исключением сильных в своей племенной идее татар, ассимилировавших под своим именем многие тюркские племена. Но великое государство, созданное Чингисханом, именовалось Да Менгу го – Государство великих монголов. Это было в конце XII и в начале XIII века. Историки до сих пор спорят, почему у Чингисхана были серо-зеленые глаза и рыжая борода. Он отличался исполинским ростом, образованностью и изумительным, я бы сказал, знанием людей. Страшное сочетание ума, стальной воли и безграничной жестокости! Четко организованная им государственная машина существовала только за счет грабежа завоеванных и истребленных народов.

...Сидя на земле с альбомом в руках, я рисовал море диковинных трав, стараясь передать в своих этюдах бездонную синеву небес и далекие бирюзовые отроги горных вершин.

Чингисхан особенно чтит небо. Он до конца дней исповедовал шаманизм с его культом духов и приемов черной магии. Приведу программные слова завоевателя мира: «Счастливее всех на земле тот, кто гонит разбитых им неприятелей и грабит их добро, любит слезами людей, им близких, и целует их жен и дочерей». Современные историки считают, что войска Чингисхана насчитывали не меньше миллиона воинов, словно сросшихся с лошадьми.

Несколько слов – о простых, но очень действенных приемах укрепления государственности безжалостных монгольских ханов. Чингисхан, борясь за владычество над всеми монгольскими племенами, однажды схватил непокорных ему князей, как бы сейчас сказали, сколачивающих оппозицию против него, и сварил их в семидесяти котлах. Любопытно, что влюбленный в «великую степь», Л. Н. Гумилев трактует этот акт чуть ли не как свидетельство пассионарности руководителя столь любимого им этноса, немало сделавшего для «обогащения духовности» славянских варваров. Стараясь оправдать жестокости великих монголов, он обмолвился однажды, что это просто была жестокая эпоха и, между прочим, провел параллель между Чингисханом и походами крестоносцев, стремившихся освободить гроб Господень в Иерусалиме. И далее – просто поразительные слова: «Ожесточение монголов объяснимо как психологическая реакция» И, наконец, вывод «историка», не требующий комментария: «Винить победителя, перенесшего поле сражения на территорию противника, бессмысленно и аморально» (Чего не сделаешь ради любимого героя! – И.Г.)^[81] Гумилев ради своей «концепции» закрывает глаза даже на всеобщую резню при взятии городов. Известен факт, когда племенные писцы после резни в Мерве тринадцать дней подсчитывали убитых. А кто дал право забывать уничтоженные, стертые с лица земли русские города?!

Чингисхан, окрыленный утверждением шамана, предсказавшего, что он будет повелителем мира, сформулировал четко: «Для врагов государства нет лучше места, чем могила». Свидетель тех лет констатирует: «Во времена же войны они убивают всех, кого берут в плен, разве только пожеляют сохранить кого-нибудь в качестве рабов». Соприкасаясь с великими мировыми религиями, христианством, буддизмом, мусульманством, он всегда оставался шаманистом. Таким же был Батый...

Страшный человек, порождение сатаны! И не кощунственно ли изображать свирепого убийцу чуть ли не безобидным носителем культуры, благодетелем для темных русских варваров? Стыдно, господа. Печально, что таких, с позволения сказать, историков многие до сих пор считают патриотами России. Боже, избавь нас от подобного «патриотизма»!

* * *

Сибирь напоила меня густыми запахами своих трав, очаровала бескрайней тайгой, могучими реками, голубыми грядами гор на далеком горизонте. Благословенные, влекущие края!

Вспоминается Абакан, столица древней волшебной Хакасии. Там, среди неохватных ковыльных степей, впервые родился образ, который много лет спустя помог мне глубже осознать значение и смысл Куликовской битвы, Эскиз к моей будущей работе я назвал тогда «Юность Чингисхана».

Хакасия... В конце 50-х она была охвачена «целинной» лихорадкой. Могучие трактора вздымали вековой чернозем – во имя сиюминутных экономических выгод, обрекая землю на оскудение и эрозию. Я видел эту жестокую битву с природой во время дипломной поездки в Сибирь. Сколько же лет – или десятилетий – понадобится, чтобы вернуть хакасским степям их красоту и плодородие.

Хакасия... Позже, уже в Москве, открылись для меня и страницы ее истории – жуткие, леденящие душу. Один мой друг родом из тех мест, поведал мне как сражался с большевиками отряд атамана Ивана Семенова. На подавление его был направлен ЧОН (часть особого назначения) – кровавая «гвардия» чекистов. Особой свирепостью отличался среди них юный командир – каратель Аркадий Голиков. Впоследствии страна узнала его в совсем иной, благостно-умильной «ипостаси» детского писателя.

А псевдоним его, Гайдар, происходил от хакасского «хайда» (куда). «Куда?» – спрашивал чоновец Голиков местных жителей о передвижениях семеновской «банды». За сокрытие, за отказ от ответа – к стенке! Женщин, стариков, детишек – в заложники, под пулеметные очереди. Трусами безвинных набивали колодцы... Много сегодня уже написано о преступлениях Гайдара на берегах Соленого озера в Хакасии. Это была жуткая «шоковая терапия» лицемерного сочинителя трогательной сказки о Тимуре и его команде, борца за новый мировой порядок. Но в Хакасии помнят навечно злодеяния Аркадия Голикова – Гайдара – карателя и садиста...

* * *

Итак, заканчивается мой рассказ о том, как открыл для себя Сибирь, какую неповторимость сыграла она в моей судьбе. И в этом открытии духовным поводырем моим был В. М. Флоринский – один из влюбленных в нее сыновей России, всю свою жизнь отдавший тому, чтобы богатство России, по завету Михайлы Ломоносова, «прирастало» Сибирью.

В 1992 году друзья из Исторической библиотеки подарили мне авторское издание «Библиографии опубликованных трудов В. М. Флоринского», принадлежащее перу не известного мне Е. В. Ястребова. Я был ошеломлен энциклопедической широтой научных интересов основателя Томского императорского университета. Помимо трудов по археологии, в библиографии значились «Собрание медицинских рукописей XVI и XVII столетий», «Проект соединения Каспийского моря с Черным и Азовским», «Русская дорога на Индию», «О торговле с Китаем» и целый ряд других фундаментальных работ. И все это находится втуне, никогда не переиздавалось... Какой родник истинного подвижничества, струящийся из-под коросты забвения!

Из публикации Ястребова узнал я и адрес, по которому жил когда-то в Петербурге великий ученый: улица Итальянская, дом 20. Могу только гневно скорбеть, что на доме этом нет мемориальной доски, увековечивающей память В. М. Флоринского, вдохновенные труды и многогранная просветительская деятельность которого должны быть известны не только у нас в России, но и во всем мире. Слава русской науке!

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось...

Александр Пушкин

Я как в Москву приехал... – прямо спасен был... Я на памятники как на живых людей смотрел – расспрашивал их: «Вы видели, вы слышали – вы свидетели»...

Стены я допрашивал, а не книги.
Василий Суриков

МОСКВА

Неприкаянность

Я хотел бы объяснить читателю, почему в моей книге, столь личной и откровенной, так много исторических материалов, основанных на трудах забытых или замалчиваемых историков России.

Во-первых, сегодня делается все, чтобы после ночи марксистско-ленинской историографии лишить нас не только исторической памяти, но, более того, воспитать в русских сознание национальной неполноценности, когда нам вроде бы ничего другого не остается, как стесняться проклятого прошлого и проклятого настоящего, которые якобы вытекают друг из друга. Во-вторых, у нас до сих пор нет настоящих учебников русской истории – советские учебники устарели, а новые не написаны. И все те же «благодетели», в свое время организовавшие «великую русскую революцию», пытаются всеми силами пресекать всякую возможность возрождения религиозных, экономических и культурных основ нашего исторического бытия. Небезызвестный Сорос, метастазы «культурного фонда» которого раскинуты по многим странам мира, очевидно, как и многие «спонсоры» новой России, видит самую страшную угрозу для западного мира в возрождении русского национального начала. Понятно, с какой целью щедро рассылаются бесплатные учебники фонда Сороса. Те, кто читал их, говорили мне, что нет предела возмущению от «бесплатной» фальсификации нашей истории, в том числе в созданных ныне школьных программах по русской литературе и истории. Доколе будем терпеть глумление над всем, что связано со словом «русский».

Я понимаю, что для многих, может быть, было бы гораздо интереснее прочесть, как, например, я писал портреты королей и кинозвезд, заглянуть в «замочную скважину» моей личной жизни. Но, думаю, все-таки важнее понять, как в борьбе и неустанном познании вырастала и крепла моя бесконечная любовь к России, во имя которой я живу и работаю, считая, что и один в поле воин – тем более когда миллионы

моих современников, или, как их сейчас называют – «россиян», поддерживают меня, поскольку я выражаю их самосознание, следуя неотступному отражению правды жизни.

Знакома читателя с обширными конспектами и записями моих исторических изысканий, я ввожу его в «святая святых» моего внутреннего мира, в ту келью души, где зреют многие мои работы – от «Вечной России» до «Поля Куликова». Зайдя однажды в гости к одному актеру, я был поражен, что во всех комнатах, включая туалет и ванну, были развешаны его фотографии в разных ролях, сыгранных им в кино и театре. Я видел подобное у многих художников, у которых стены мастерских завешаны их картинами. В этом, разумеется, нет ничего плохого. у меня же другой склад души: в моей мастерской и квартире не висит ни одной собственной работы – я их храню на стеллажах и счастлив, когда мои гости и друзья хотят их видеть. С туманной юности по сей день в моей мастерской, когда я работаю, звучит музыка, которая дает мне великую силу, помогает сосредоточить творческую волю и энергию. Такую же роль в моей жизни играют труды историков и философов России. Они формируют мой внутренний мир, становятся самыми сокровенными страницами жизни художника и гражданина.

* * *

Возвращаясь, однако, к тем дням, когда я, получив тройку за диплом и назначение преподавателем в ПТУ города Иваново, в 1957 году приехал в Москву по приглашению Комитета молодежных организаций на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Столица, как всегда, потрясла меня своей кипучей деловой жизнью. Оставив в камере хранения рулон с картиной «Дороги войны», я и Нина сели в такси, которое должно было доставить нас в здание университета на Ленинских горах, где в студенческом общежитии размещались прибывающие гости фестиваля. Чувствовалось по всему, что зреет великое событие: на улицах развевались флаги многих стран мира, проносились автобусы, набитые участниками фестиваля, там и сям фланировали милицейские патрули. Улыбаясь во весь рот, шофер такси сказал нам: «Вчера в гараже инструктировали: если мужик в юбке сядет, не удивляйся – шотландец, ежели баба в штанах – а ты ноль внимания, только вежливо обслуживай».

В ЦПКИО в многочисленных павильонах разместилась выставка молодых художников разных стран, а руководил ею известный советский художник-мэтр Павел Петрович Соколов-Скаля, человек высоченного роста, в немалых годах и с очень выразительным лицом. Мне показалось, что он чем-то похож на коршуна. Удивило, что он назвал меня по имени. Он сказал, что три мои работы вывешены, и разрешил привезти в один из пустующих павильонов мои «Дороги войны» и показать ему, но ни под каким видом не показывать больше никому. Похлопав меня по плечу (я вполне ощутил его богатырскую силу), он пронзительно посмотрел на меня и сказал: «С открытием фестиваля будешь работать в студии молодых художников – рисовать портреты гостей. Там работают главным образом московские ребята».

После шумного открытия великой международной акции по сплочению молодежи и студентов, которые, как предполагалось, тянутся к светлому будущему всего мира – коммунизму, я приступил к работе в студии. Нас было человек тридцать. К нам приводили почетных гостей фестиваля, и мы за двадцать минут должны были сделать портреты, затем выставлять их вдоль стены, а гость сам выбирал лучший, чтобы увезти потом в свою далекую страну на память о Москве. Я был очень смущен, но в течение двух дней приводимые гости почему-то всегда выбирали мой портрет. Если не ошибаюсь, на третий день к нам в студию привели знаменитую французскую актрису вьетнамского происхождения. Я с упоением рисовал, как и мои коллеги, ее пряное, острое и выразительное лицо, обрамленное словно бы тропическим ливнем черных длинных волос. Как со всеми нашими гостями, с ней был переводчик. Глядя на выстроенные портреты, гостя, поражая всех красотой фигуры, как пальма под ветром, склонилась над моим портретом. Отбросив водопад волос на спину, распрямившись, она что-то сказала переводчику. Тот, обведя толпу молодых художников глазами, произнес: «Наша гостя в восторге от этого портрета и будет счастлива увезти его в Париж, – а кто автор?» Я, покраснев, вышел из толпы тут же расступившихся направо и налево напряженно молчавших моих молодых коллег. Она протянула мне руку, и улыбающийся переводчик спросил: «Как ваше имя и фамилия?» «Илья Глазунов», – ответил за меня директор студии. «Она говорит, что вы очень тонко почувствовали ее душу», – сказал переводчик. Я, не зная тогда ни одного из языков, пробормотал «мерси» и, стараясь не запачкать ее углем, по-петербургски галантно поцеловал протянутую руку.

Возвращаясь на место, ощутил на себе исполненные зависти взгляды своих соратников по студии. А ведь с большинством из них я даже не успел как следует познакомиться...

На следующий день утром я, как всегда, одним из первых пришел в студию. Староста мастерской, который впоследствии стал одним из крупных деятелей Союза художников, бросил через плечо: «Глазунов, тебя просил зайти директор». «Сейчас или позже?» – спросил я. «Сейчас», – сухо ответил мой сверстник. Директор был лаконичен: «Товарищ Глазунов, мне известно, что вы используете работу в

международной студии для личных жалоб иностранцам, занимаясь при этом недопустимой саморекламой. – Он был невозмутим и спокоен. – Справедливо написано в каталоге нашего советского павильона, что ваши работы, если не ошибаюсь, „Сумерки“ и „Любовь“, резко выпадают из мажорного оптимистического тона творчества молодых». Тем же равнодушным ледяным тоном он заключил: «Ваши работы не могут быть названы советскими. И я, получив заявление ваших коллег, считаю, что двери нашей студии должны быть закрыты для вас – такие художники нам на фестивале не нужны».

Я отправился к Соколову-Скаля. «Павел Петрович, я не знаю ни одного иностранного языка, никому из иностранцев не жаловался, работал вместе со всеми». Великий соцреалист развел руками: «Ничем помочь не могу, братец мой, отвечаю за экспозицию, и три твоих работы выставил вопреки воле многих. Студия не в моем подчинении... Вдруг он улыбнулся своим словно провалившимся ртом, наклонился ко мне и сказал на ухо: „Не надо так хорошо рисовать. Белых ворон не любят. Так что не обессудь“.

Мой друг, сотрудник КМО Коля Дико, проявил ко мне трогательную заботу и внимание. Вечно закрученный вихрем неотложных дел, он всю свою необычайную энергию отдавал работе на фестивале. В ответ на мои слова, что я вынужден уехать, только не знаю, куда и когда, он замахал руками: «Даже и не думай, не забывай, что я твой друг. Тебе и Нине дадим комнату на Ленинских горах в общежитии, будешь рисовать один, без „дружеского“ коллектива».

Коля – крепкий, спортивный парень с глубоко сидящими усталыми глазами – навсегда запомнился мне в те дни страшной «общественной мясорубки» сжигающим себя на работе. Поселил меня Коля, который был тогда на комсомольском «олимпе», в общежитии университета, недалеко от комнаты, которую занимал сам, день и ночь проводя на фестивале. Никогда не забуду, как я зашел однажды к нему в два часа ночи. Мой бедный друг сидел на кровати, и спина его сотрясалась от глухих рыданий. Я ни за что не мог бы представить, что он может быть таким! Сколько безнадежного одиночества было в его согбенной спине и мокро от слез загорелом лице. «Коленька, что с тобой, что случилось?» – обнял я моего благодетеля. Какой же силы была обида, чтобы железного Дико превратить в беззащитного, плачущего ребенка! Отвернувшись от меня, пряча свое лицо, Коля отмахивался рукой, говоря: «Прошу тебя, уйди. Завтра все будет по-прежнему... Но почему, почему столько сволочей в мире?»

Я подарил Коле свою работу, написанную в Ботаническом саду в Ленинграде. На следующий день он вернул мне ее и сказал: «Никогда ничего не дари мне – это испортит наши отношения». И сегодня, много лет спустя, испанист, специалист по Латинской Америке, Николай Дико неугомонно работает, стараясь принести пользу обществу, несмотря ни на какие жизненные условия. Николай Сергеевич, как всегда полный энергии, Всего себя отдает работе в Международном фонде гуманитарной инициативы и Международном комитете гражданской дипломатии. Недавно встретившись, мы снова и снова вспоминали 1957 год, фестиваль, МГУ на Ленинских горах, где в корпусе «В» мне была тогда предоставлена большая комната под студию. «Не надо меня благодарить – это Бог направил меня, чтобы я помог тебе реализовать твой гений». Улыбнувшись доброй улыбкой, так преображающей его лицо, словно не подверженное влиянию времени, он добавил: «Тогда операция „Глазунов“ прошла блестяще: в одной комнате были развешаны твои работы, в другой ты как бешеный работал. Ты же сам знаешь, как тебе подло завидовали – ведь интерес к тебе был огромен. Я помню, как мне, ответственному за научную студенческую программу, Звонили многие и благодарили за то, что я тебя поддержал. Были и другие звонки, в частности от моего шефа, Сергея Романовского, – он тогда возглавлял Комитет молодежных организаций. Представляешь, он орал, что интерес к тебе чуть ли не затмил интерес к фестивалю. Да что там! Требовали прикрыть твою студию в университете, клеили политические ярлыки, угрожали... Я отбивался, как мог. Кстати, – Коля вытащил из портфеля листочки ксерокса, – я принес тебе документ тех лет – там есть о тебе. Вот:

«Большую эмоциональную роль играет колорит и в картине И. Глазунова „Сумерки“. Необычный зеленоватый свет за окном оттеняет бледность молодого художника, стоящего лицом к зрителю. В руках палитра и кисти, а из-за спины выглядывает молодая женщина. Ее хрупкое лицо похоже скорее на трагическую маску, чем на живого человека. В лице художника с высоким лбом и скорбно сдвинутыми бровями можно прочесть выражение мучительного раздумья и затаенной боли. в этом образе, по-видимому имеющем автопортретные черты, переданы творческие муки художника, его колебания и сомнения, его вечная неудовлетворенность.

Само собой разумеется, что проникнутый духом индивидуализма образ художника, созданный И. Глазуновым, даже если он правдиво отражает состояние духа автора, никак нельзя признать типичным для человека нашего социалистического мира. Истоки этих настроений следует искать в некритическом увлечении отдельных наших художников, и Глазунова в частности, болезненными явлениями современного буржуазного искусства.

Здесь же коренятся и первоисточки той подчеркнуто экспрессивной, грубоватой живописной манеры, в которой написано это полотно: резкие сочетания открытых цветов, неясность пространственного построения, фрагментарность композиции, нарочитое абстрагирование от всего бытового, конкретного и

т. д. Поэтому-то картина И. Глазунова как по своему настроению, так и по форме отличается от подавляющего большинства произведений советского отдела, проникнутых духом жизнеутверждения и активного, волевого отношения к жизни...»^[82]

«Прочел? – спросил Коля, когда я поднял на него глаза. – Еще тогда они начали клеить тебе политические ярлыки. Ты, Илья, был всегда для них „нетипичен“, неудобен, чужд как правдолюбец и певец Святой Руси. Я все эти долгие годы собирал все, что о тебе пишут, и восхищаюсь твоей борьбой». Защелкивая замок портфеля, дико убежденно произнес: «Даже если бы ты создал только одну твою Академию живописи, ваяния и зодчества, только ее, – и тогда бы Россия оценила великий твой подвиг. Это в наше-то время, когда многое летит в тартарары! Но ведь ты еще и Художник Милостью Божьей! Однако тебя как травили, так и травят. Это у нас умеют. Но очереди на твои выставки как были, так и, есть». Улыбнувшись, Коля закончил: «По-моему, пришло время создавать международный фонд Ильи Глазунова, чтобы помогать молодым художникам, которые идут твоей дорогой служения России и реалистическому искусству, отражающему правду жизни, а не сатанинские кривлянья, становящиеся модой».

...Живя в общежитии университета, я познакомился со многими хорошими и интересными людьми. А один из них, друг Эдуардо де Филиппо, знаменитый итальянский критик Паоло Риччи, вернувшись в Италию, написал обо мне книгу, которая вышла в Неаполе и сыграла огромную роль в моей жизни. Когда я редко, но все же бываю на Ленинских горах и вижу засыпанные снегом, мрачные в своем сталинском величии архитектурные контуры университета, устремленные вверх бесконечные этажи, то невольно вспоминаю жаркое лето 1957 года, разноплеменную, разноцветную толпу делегатов Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, подъезжающие и уезжающие автобусы.

* * *

Фестиваль давно кончился, а мне некуда было податься. Мои работы были сложены в комнатах друзей – студентов Агарышева и Рушайло. Была уже глубокая осень – а меня почему-то не выгоняли из университета. Видимо, ко мне привыкли. Единственной трудностью были воскресные дни, когда в общежитии веселились, и чтобы оградить студентов-иностранцев от нежелательных контактов с сомнительными девушками, все входы и выходы усиленно контролировались пикетами. В эти дни мы с моей женой повторяли подвиг красногвардейцев, известных нам по фильму Эйзенштейна, которые лезли на высокие ворота арки Генерального штаба, штурмуя Зимний. В новогоднюю ночь я все-таки сорвался с обледеневшей чугунной решетки ограды и долго ходил с забинтованной рукой.

Я ходил устраиваться на работу грузчиком на Рижский вокзал. Потом меня долго водили за нос обещая дать работу истопника в бойлерной, и всякий раз требовали бесконечные пол-литра, обещая за это работу и временную прописку с предоставлением комнаты, Идеал «лимиты»... Случилось и так, что мы с Ниной три ночи провели на Ленинградском вокзале, среди множества вечно спешащих пассажиров...

Именно в это время я познакомился с представителями будущей советской элитарной интеллигенции. Евгений Евтушенко даже написал стихи, как мы из университета перевозили мои работы, и снежные струи били в лицо Ксюши Некрасовой, портрет которой он нес на своих руках.

Я до сих пор считаю, что она – одно из самых интересных, необычных явлений современной поэзии. Своего рода русский Уолт Уитмен в образе юрдовитой. Когда мы познакомились, ей было сорок, но она, как девочка, любила ходить с косичкой, в которую вплетала красную ленточку. Одевалась обычно в длинное ситцевое платье с бантиками. Жила Ксюша как птица Божия, без дома, без семьи, без денег. Ее лицо, некрасивое, круглое как луна, поражало своей асимметрией. Но когда Ксюша читала свои стихи, она буквально преображалась: таинственное гармоническое начало, правящее ее странной душой, поднималось к ее глазам, делая все лицо светящимся, восторженным и вдохновенным.

День осенний, обнажая замыслы растений,
Удлиняя мысли человечьи,
От земли до неба встал перед людьми...
Иногда она говорила вдруг, по-детски растягивая слова.
– Ты художник, я тебе лучше про Рублева прочту...
Поэт ходил ногами по земле,
а головою прикасался к небу.
Была душа поэта словно полдень
и все лицо заполнили глаза.
– Или вот, о себе написала:

Я долго жить должна —
я часть Руси.
Ручьи сосновых смол —
в моей крови.
Пчелиной брагой из рожка
поили прадеды меня...

У Ксюши за плечами была тяжелая жизнь. Во время войны ее муж ушел на фронт. Когда она отступала с толпой беженцев по выжженным украинским дорогам, во время бомбежки осколком убило ее ребенка. Она еще долго несла его на руках, не замечая, что он уже мертв.

Очарованная душа русской юрдовкой, потерянная в большом современном городе, выражала в стихах свое удивление и детский восторг. Необычная духовная настроенность их покорила меня...

На всю жизнь я сохранил дружбу с Томом Колесниченко, умным, обаятельным, исполненным глубокого юмора, талантливым человеком. Он тогда предоставил мне свою квартиру. К нему заходили его друзья по университету Женя Примаков (ныне министр иностранных дел России) и Степа Ситарян. Многие из нас жили впроголодь, и Том любил подкармливать друзей — его отец был в то время заместителем министра. Было одно деликатное обстоятельство: нам с Ниной было предложено спать на постели его папы «Не все же тебе по ванным ютиться», — шутил Том. Но отец Тома, живущий на даче, имел обыкновение иногда в половине девятого перед работой заезжать домой — посмотреть, как живет его непутевый сын, приютивший опального художника. Это значило, что мы, естественно, не должны были раздражать нагрянувшего отца Тома и за минуту до его приезда чинно сидеть на кухне, поглядывая через дверь на аккуратно заправленную постель. «Папа, между прочим, — комментировал Том, — как и многие люди, не любит, чтобы чужие спали на его постели. Он, к сожалению, не понял, что ты гений. А впрочем, вряд ли бы сделал исключение даже для Леонардо да Винчи».

Журналистская карьера моего друга стремительно пошла вверх. Он стал «большим начальником» в самой газете «Правда» и много доброго сделал для утверждения меня как художника в жизни и искусстве. Он же знакомил меня со сменяющимися редакторами «Правды» — Сатюковым, потом с Зимяниным и Афанасьевым. Том ликовал, когда мой вьетнамский цикл понравился М. В. Зимянину, который сказал, что будто снова побывал во Вьетнаме — «это правда жизни». Пробивая очередную заметку, посвященную творчеству «известного советского художника Ильи Глазунова» и даря мне экземпляр газеты, еще пахнувший типографской краской, Том многозначительно, по-партийному подняв палец, говорил: «Напечатано в „Правде“ — значит, согласовано и одобрено! Понял, нет, товарищ Глазунов?»

Стремясь помочь мне, мой друг познакомил меня с дочкой Булганина и дочкой зам министра иностранных дел Ритой Фирюбиной. Портреты их были написаны, но помочь развеять черные тучи вокруг Ильи Глазунова их родители не считали нужным. «Скажи спасибо, что не гадят», — комментировал Том.

Для нас были памяты приезды в Москву его друга Льва Володина, журналиста, аккредитованного «Комсомольской правдой» в Венгрии. Лев считался у нас миллионером, мы ликовали, когда он нам дарил по зарубежной рубашке. Юмор, подначки, анекдоты, «советчина» и антисоветчина — все было! Лева нередко приглашал нас обычно отобедать в ресторан «Прага», неподалеку от дома полярников, где тогда жил Том. Володин, холостяк, приезжая на 3 — 5 дней в Москву, со сквозящей сквозь юмор застенчивостью предупреждал: «Ребята, я сегодня буду с девушкой, только что познакомился. Она обо мне ничего не знает — вы должны поработать». Том весело откликался: «За каждую историю у нас с Ильей право заказать то, что мы хотим, еще и еще раз». Шевеля пшеничными усами, Лева говорил: «Согласен, только не разоряйте. Не забывайте: советский журналист за границей получает меньше, чем мусорщик в Будапеште, а многие мои коллеги жрут говяжьи консервы для собак — на машину копят».

Сидя на открытой веранде ресторана «Прага», любуясь вечерней Москвой (откуда мне было знать, что по прошествии 10 лет я буду жить в доме Моссельпрома, который был так хорошо виден сверху?), мы чопорно здоровались с очередной избранницей Левы и, жадно поглотив суп, принимались за «работу». Глядя на даму своими серыми глазами, Том спрашивал: «А вам Лева не рассказывал разве, что с ним произошло в Париже? — и приступая ко второму, искренне удивившись, продолжал: — Ну как же, дело было у Эйфелевой башни, когда глубокой ночью, в свете фар Лева увидел удивительно красивую девушку, которая молила о помощи. В этот самый момент наш друг заметил в боковом зеркале мчавшуюся из-за угла машину. Это был шикарный „роллс-ройс“. Лева успел открыть дверцу, крикнул: „Немедленно садитесь!“ (я тут же шепотом вставил, что Лева говорит по-французски с парижским акцентом, и потому французы обычно принимают его за парижанина). Девушка, задыхаясь от страха, пролепетала: „Я дочь сенатора, меня хотят похитить“. Не буду утомлять читателя длинными рассказами о придуманных нами похождениях Льва Володина. Предполагаю, что сегодня, будучи напечатанными, они продавались бы как „бестселлер“ на лотках у всех станций метро!

...Между тем новая знакомая Льва не сводила с него восторженных глаз, а сам он на наш вопрос: «Может, закажем еще по бифштексу и мороженое?» – милостиво кивал головой. Он бывал порою сам потрясен запутанностью детективных происшествий, придуманных нами в его биографии. Однажды, видя, как наша парочка, словно счастливые молодожены, мчится по Арбату в такси, я, вытирая слезы смеха, спросил Тома, как это он так лихо придумал историю приключений Льва в Ливерпуле. Обняв меня, Том ответил с юмором: «Ты гениальный художник, а я гениальный журналист, и потом – надо читать Агату Кристи, а не только Юлика Семенова». Много воды утекло с тех пор, «иных уж нет, а те далече»... Все проходит – кроме истинных человеческих отношений, кроме подлинной мужской дружбы!

Живя в общежитии университета и удивляясь, что меня до сих пор не выгнали, я по предложению великой актрисы Тамары Федоровны Макаровой и ее мужа Сергея Аполлинарьевича Герасимова приступил к работе в качестве художника над фильмом о сбитом во время Великой Отечественной войны американском летчике, который спустя много лет возвращается в Россию, чтобы снова посетить деревню, куда занесла его буря войны. Как и все, я любил кино, а лучшим фильмом считал французскую картину с Жаном Габеном в главной роли – «У стен Малапаги». Не скрою, меня особо интересовали обещанная московская прописка с комнатой и, само собой, гонорар.

Режиссером фильма была тогда начинающая Татьяна Лиознова.

Я увлеченно работал над эскизами и как-то не придавал особого значения тому, что предварительно надо заключить договор на работу. Мои эскизы понравились. Лиознова отвергла лишь один из них – избу председателя колхоза: «Вы должны показать не нищенскую обстановку, а изобразить интерьер побогаче, чтобы вернувшийся американский летчик понял, как много изменилось у нас после войны. Надо чтобы в избе был городской гарнитур – ведь наши колхозы богаты!» Я был горяч, молод и наотрез отказался создавать липовый интерьер в столь знакомых мне колхозных избах. «Я за правду жизни, а не за правду социалистического реализма», – пытался я убедить Лиознову. Она была непреклонна. «Оставьте ваши эскизы, в конце фильма мы с вами рассчитаемся».

Прошло несколько месяцев, и я узнал, что за главным художником фильма назначен некто Ной Сендеров – работник Свердловской киностудии. Никогда не забуду, как я, нищий и голодный, буквально оглушенный безнадежностью своего положения, пришел на киностудию имени Горького получить обещанный гонорар. Меня встретил сидящий за столом синклит неведомых мне лиц. «Чем вы докажете, что в фильме использованы ваши эскизы?» – зло спросил один из сидящих за столом. «Это видно по съемочному материалу», – ответил я. «А где ваши эскизы?» – продолжался допрос. «Как где? Оставил на студии по требованию Лиозновой». – «Мы никаких эскизов не видели, а если вы оставляли, покажите документ – когда и какое количество вы оставили». – «У меня нет никаких документов», – ответил я растерянно. «Неужто вы работали без договора? – удивился допрашивающий. – Но по договору над этим фильмом работает художник Ной Сендеров. И все ваши претензии на оплату несуществующих эскизов в высшей мере странны и пахнут уголовщиной». Вмешался другой член «трибунала»: «Сколько раз я говорил, что не надо приглашать никого с улицы, в кино должны работать профессионалы и честные люди! А вам же, – он посмотрел на меня, – за подобные домогательства может не поздоровиться. Не советую вам больше появляться на студии».

Я ушел подавленный, с гадливым чувством наглости и поехал к столь уважаемой мною Тамаре Федоровне Макаровой, которая жила в высотном доме на Кутузовском проспекте. «Ильяша, я и Сергей Аполлинарьевич относимся к вам с искренней любовью. Каждое утро любим вас нашей „Девочкой с одуванчиком“, которую вы подарили мне. В ней столько чистоты и нежности! Но здесь я ничем помочь не могу. У студии свои законы. Главный человек – это режиссер. Меня саму пригласили играть в этом фильме. Вы же отказались предложению сделать то, что просила Танечка Лиознова». И, улыбнувшись своей очаровательной светской улыбкой, добавила: «Лиознова – режиссер фильма, талантливая и интеллигентная, кстати, папа у нее генерал КГБ». После многозначительной паузы Тамара Федоровна продолжила: «Наша семья восхищается вами как художником, я очень рада, что вы подружились с моим племянником Артуром Макаровым. Я знаю, что вы сделали прекрасные эскизы к фильму, но Таня выбрала другого художника, и особо никто не знает сейчас, где ваши эскизы, и потому вы не сможете получить гонорар, обещанную прописку и однокомнатную квартиру, о которых поначалу шла речь». И снова она одарила меня обворожительной улыбкой, знакомой мне с детства по многим кинофильмам: «Вот я, например, всю жизнь мечтала сыграть героиню, которую бы мысленно не хлопала по плечу. До сих пор жду своей заветной роли. Художникам легче – они творят в одиночку».

* * *

После Ленинграда Москва поражала своими контрастами. Рядом с огромным высотным домом – маленькие, покосившиеся, уютные избушки с пунцовыми геранями в окнах. А длинные корпуса

полуфабричного типа чередовались то и дело с очаровательными особняками, хранящими дух старой дворянской Москвы. Не зря сказано: «Пожар Москвы способствовал ей много украшенью». Чудесные московские бульвары, Арбат, по которому входили в Москву войска Наполеона... Читатель помнит, что познание Москвы началось с 1944 года, когда я, после эвакуации, впервые был потрясен неповторимостью Кремля и великого своею красой и значением для России Храма Василия Блаженного. Вместе с тогдашним моим другом Мишей Войцеховским мы были в столице в торжественные дни празднования ее 800-летия. Запомнилось море людей на Красной площади, многоцветье праздничных фейерверков, которые, словно букеты цветов, таяли в ночном небе, а над ними, где-то над Манежем, словно из космоса, смотрел на нас из глубины темного неба с огромного, подвешенного на аэростатах портрета сам светоносный вождь и учитель передового человечества Иосиф Виссарионович Сталин. Впечатление было грандиозное.

Мишины родственники, у которых мы остановились, жили в Калашном переулке, в каком-то ныне не существующем дворике за японским посольством. Запомнился мне дом, который был тогда покрашен в серо-сиреневый цвет с проступающей из-под краски надписью: «Моссельпром». Мог ли я думать, что проживу долгие десятилетия в этом доме, в башне которого будет находиться моя мастерская. В той самой башне, на крыше которой во время войны стояла зенитная батарея, нацеленная своими жерлами в небо в ожидании немецких бомбардировщиков.



Уже давно наступили московские холода. Меня все более и более охватывало безнадежное отчаяние: жить было негде и не на что. Нет ничего страшнее одиночества в толпе. Нет ничего интереснее, сидя на скамейке в метро, рассматривать лица людей, куда-то спешащих по эскалаторам вверх и вниз. Эти наблюдения легли потом в ткань моего лирического цикла «Город».

Еще до 1951 года, когда я стал студентом института имени Репина, друг Ариадны Жуковой, о которой я уже писал, будущий скульптор Олег Буткевич, познакомил меня, ученика художественной школы, с Эрнстом Неизвестным. Приезжая в Москву, я тотчас же мчался, к моим друзьям, столь непохожим, но таким талантливым и интересным людям, у которых многому учился. С их помощью я начинал постигать хитросплетения политической и художественной жизни, которой жила тогда наша страна. Оба моих старших товарища шли разными путями, но были твердо уверены, что подчинят себе судьбу и станут, несмотря ни на что, великими. И сегодня, когда прошло столько лет, когда имя Эрнста Неизвестного стало широко известно у нас и в других странах, когда он вот уже столько лет живет в Америке, я вновь вспоминаю годы нашей юности, когда мы с ним быстролетящими часами сидели на скамейках в метро, споря о проблемах творчества и ждущих нас впереди неумолимо-жестоким барьерах, которые предстоит одолеть. Я восхищался энергией и напором фантазии Эрика, его грандиозными творческими замыслами, о которых он так просто и уверенно говорил. Мы говорили обо всем – о философии, о запрещенных тогда писателях и художниках. Эрнст был старше меня и успел побывать на фронте. За свой буйный нрав он попал в штрафную роту. Приехав в Москву из Свердловска, он вскоре уже чувствовал себя как рыба в воде.

Однажды он приехал в Ленинград со своей женой Диной Мухиной, художником-прикладником, и я повел ее в нашу академическую библиотеку. Любящая меня пожилая библиотечарша, выдававшая мне книги, шепнула: «Какая очаровательная девушка, вот вам бы такую же найти». Я невольно вспыхнул, потому что мне очень нравилась Дина. Она была хрупкая, нежная, а Эрнст – уверенный в себе и все преодолевающий конквистадор. Тогда он был еще приверженцем реализма и дружил с семьей вице-президента Академии художеств Г. Манизера. Его рисунки были выразительны и монументальны, он любил Микеланджело. Советовал мне прочесть сочинения Бэкона, Джойса и Кафки. Прочитанные по его совету «Лже-Нерон» и «Испанская баллада» Фейхтвангера произвели на меня глубокое впечатление.

Обедая однажды в забегаловке, которая находилась на набережной Москвы-реки, в квартале старой Москвы, который был потом целиком снесен в хрущевские времена при строительстве бесконечно уродливого здания гостиницы «Россия», Эрнст поделился со мной своими мыслями об Иосифе Флавии, которым он восхищался. Тогда как раз разгоралась борьба с космополитизмом, Готовилось «Дело врачей». «Иосиф Флавий многими считается предателем своего народа, а я с этим не согласен, – убежденно говорил Эрнст. – Он вынужден был стать гражданином Рима, оставаясь евреем. Он, автор „Иудейской войны“, остался жить в веках, донес до нас историю своего народа и эпохи». Когда мы, заплатив по рублю за порцию московских пельменей, вышли на набережную, шел снег, стеной заслоняя от нас Василия Блаженного и высокие башни Кремля. Эрнст не застегивал пальто, словно его согревала внутренняя энергия. Вдруг он остановился и, глядя мне в глаза, спросил: «Ответь на самый главный для меня вопрос – от твоего ответа многое зависит». Глаза его стали очень серьезными: «Как ты считаешь, может ли еврей быть русским художником?» Не задумываясь, я ответил: «Конечно, может, если он любит Россию». Мне

нравились ранние работы Неизвестного: «Русский Икар», голова человека, срывающего с себя противогаз и жадно вдыхающего свежий воздух, портреты, многочисленные эскизы монументальных памятников.

Помню, как накануне фестиваля Эрнст говорил мне: «Когда международная выставка современного искусства откроется в Москве, ни одно партбюро не поможет нашим художникам – они во многом должны будут перестроиться, многое осмыслить по-новому. Идет бурная смена вех...» Помолчал – и неожиданно посоветовал: «Хоть тебя зажали и будут жать со всех сторон, никогда не жалуйся, говори, что у тебя все хорошо». Улыбнувшись только ему свойственной улыбкой ума, иронии и скрытых подтекстов, он шутливо добавил: «Секрет успеха не нов: все пришли в шапках, а ты – без шапки; все пришли без шапок, а ты надень шляпу. Не так ли?» Он дружески хлопнул меня по плечу. «И повторяю тебе все то же: первый художник – всегда друг короля, если он даже спорит с королем».

Впоследствии Эрнст Неизвестный стал окончательно «левым», но продолжал получать заказы, например, на гигантскую скульптурную стену-барельеф в «Артеке» и многое другое, – до известного скандала в Манеже, когда взбешенный Хрущев спросил у наших художников, уж не педерасты ли они. Тем не менее родственники Хрущева, как известно, заказали надгробие на могилу Никиты Сергеевича именно Эрнсту Неизвестному. XX век имеет свои законы и своих хозяев...

Многие мои друзья тех лет не ожидали, что скромный и кажущийся порой не уверенным в себе студент Илья Глазунов первым осмелится нанести удар по диктатуре соц. реализма. После моей первой выставки я редко виделся с Эрнстом. «Левый» лагерь поэтов, писателей, художников навесил на меня ярлык «националиста», воспевающего идеализированное прошлое царской России, православие и творчество «реакционного» философа и писателя Достоевского. Правда, позднее Эрнст тоже проиллюстрировал Достоевского. Но скажу честно: я совсем не так понимаю Достоевского... Меня наотмашь были «слева» и «справа». Тех и других бесили многотысячные очереди на мои выставки, успеха которых они не желали видеть и замечать. Настоящий заговор молчания... Я оставался по-прежнему один, надеясь только на себя да на случайную поддержку случайных людей.

Шло время. Однажды кто-то показал мне газету, в которой Эрнст Неизвестный объяснял, почему покидает СССР: «Раньше у меня ничего не было, но были надежды. Теперь у меня есть все, – но нет надежд, потому я и уезжаю». Ручаюсь за смысл цитаты, хотя и не уверен, что журналист правдиво передал объяснение Эрнста Неизвестного.

...В июне 1996 года по телевидению показывали волнующую сцену, как Президент Б.Н. Ельцин вручает Государственную премию России знаменитому русско-американскому скульптору Эрнсту Неизвестному. Я порадовался за моего старого приятеля и вспомнил его слова: «Первый художник всегда друг короля». По другому давнему совету, данному мне Эрнстом, не жалуясь, скажу правду: я никогда не получал ни от коммунистов, ни от демократов никаких премий за свои произведения.

Не получил и на этот раз, – хотя на Государственную премию России были выдвинуты три мои известные всему миру работы: «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и «Великий эксперимент». Не всегда первых из художников любят короли...

Недавно в интервью по телевидению меня спросили: «Правда ли что вы придворный художник?» Я ответил: «О каком дворе идет речь? Меня приглашали короли Испании, Швеции, Лаоса, я писал великого герцога Люксембургского, Индиру Ганди, министров правительства де Голля, президента Италии Сандро Пертини, генеральных секретарей ООН и ЮНЕСКО». Красивая журналистка воскликнула: «Остановитесь, вы положили меня на лопатки».

Совет же, данный мне в свое время Эрнстом, – никогда не жаловаться – никак не был воспринят большинством добровольно уехавших из России многочисленных деятелей нашей советской культуры. Можно назвать лишь одного действительно насильственно выворенного за рубежи нашей Родины писателя Александра Солженицына. Большинство же деятелей нашей культуры, повторяю, как «левых», так и «правых», уехали добровольно, были отпущены суровым КГБ на постоянное место жительства в Европу и Америку. Иных известных музыкантов, что мне известно доподлинно, уговаривали не уезжать, но они, получившие в свое время все возможные награды и высокие звания, считали для себя выгодным уехать. Зато сколько до сих пор разговоров и жалоб о мнимых политических гонениях, обидах, притеснениях. Слушая все это, приходится лишь удивляться, как легко творятся политические легенды.

Кстати говоря, не все из так называемой «третьей волны» эмиграции достигли успеха на Западе, а тем, которые чего-то добились, помогло то, что они успели сделать на родине, присовокупив затем к этому ореол «политических страдальцев», гонимых советским режимом. Известны имена художников, которые когда-то гремели на запрещенных авангардных выставках, а после отъезда на Запад пропали в безвестности, а иные работают малярами на отделке квартир Париже.

* * *

Но – возвращаюсь снова к Москве. Огромным событием в моей жизни стала реальная помощь моего нового знакомого, племянника актрисы Т. Ф. Макаровой, Артура Макарова, известного сценариста и писателя. Приятель Артура – испанец, скульптор Дионисио Гарсиа, привезенный к нам когда-то в числе других детей-эмигрантов во время гражданской войны в Испании, предложил мне и Нине жить в принадлежавшей ему кладовке в огромной коммунальной квартире на улице Воровского (ныне Поварской). Размер кладовки 2х2 метра, было даже окно, выходящее на море заснеженных крыш, за которыми, заслоняя небо, возвышался гигантский силуэт сталинского дома на площади Восстания. Все, что было в кладовке, – это старая раскладушка из алюминиевых трубок с провисающим чуть не до пола зеленым брезентом. Крепко скроенный, занимающийся боксом Артур^[83], сняв с головы кепочку, пригладил рукой свой коротко стриженный пробор и сказал: «Живи сколько хочешь – в тесноте, да не в обиде». Не рискуя сесть на койку – единственную «мебель», добавил: «На койке будет спать Нина, а ты, пока я схлопочу какую-нибудь подстилку, на газетках – рядом». А сам хозяин предложенной площади, Дионисио Гарсиа, напоминая чем-то героев Веласкеса, словно предупреждая мой вопрос, улыбнулся: «Платить ничего не надо. Ты – художник, я – скульптор. Оба мы, можно сказать, эмигранты, живущие в Москве, хоть я испанец, а ты русский. И оба мы нищие». Дионисио зарабатывал тогда тем, что на кладбищах делал надгробия, бюсты и кресты, потом изучал философию, а ныне, как мне говорили, пишет философско-религиозные трактаты.) До конца дней я сохраняю благодарную память об Артуре и Дионисио, которые в те страшные дни дали мне кров и самую возможность жить в столице нашей Родины Москве. Было это накануне нового, 1958 года.

Жильцы коммунальной квартиры, а их было, судя по многочисленным индивидуальным звонкам и почтовым ящикам, прибитым на дверь, около десяти, встретили нас поначалу приветливо, радушно. Выражаясь сегодняшним языком, «субъекты коммунальной федерации» попросили только не пользоваться их кастрюлями и согласовывать час и день нашего мытья в ванне, поскольку жильцов много, а ванна одна. Дверь кладовки, в которой мы разместились с Ниночкой, выходила прямо в кухню, и нас, живущих впроголодь, с утра до вечера «душили» ароматы варимых жильцами супов и жарящихся котлет, которыми словно были пропитаны стены нашей кладовки.

Большинство обитателей коммуналки были люди преклонного возраста. Мы погрузились в атмосферу угрюмой недоброжелательности, столь характерную для коммунальных квартир. На всю жизнь я убедился в том, что коммунальные квартиры – одно из средств разложения общества на взаимоненавидящих друг друга людей. Когда мы приходили поздно, стараясь не шуметь, обычно становились свидетелями одной и той же сцены. Седой, небольшого роста пенсионер с розовыми щечками дрессировал кошку. Я такого никогда не видел даже в цирке. Он кидал в дальний конец коридора, ближе к входной двери, тугосвернутый жгут из оберточной бумаги, кошка, как собака, бросалась за ним, хватала зубами и возвращала хозяину. Старик проделывал это каждый вечер, никого не замечая вокруг. Однажды я спросил у пожилой женщины, кипятившей белье на кухне в эмалированном ведре (вонючий пар заполнял всю кухню, как на картине Архипова «Прачка»; сегодня певцы нашего шоу-бизнеса любят «паровые» эффекты, мечутся в клубах пара, как в аду, а я всегда невольно вспоминаю кошмар нашей московской коммуналки), кто этот человек, так упорно дрессирующий кошку. Она выразительно pokrutila пальцем у виска. и безнадежно махнула рукой, ответив вопросом на вопрос: «А разве вам не понятно?»

Как-то раз дрессировщик кошки, хлопая ночными туфлями по полу, подошел с таким видом, как будто давно нас ждал. «Хочу сообщить вам три вещи, – начал он без предисловия. – Первое: в честь моего брата, бойца Красной Армии, назван город Тутаев на Волге, раньше он назывался Романов-Борисоглебск. Теперь он носит имя нашей семьи, – и укротитель торжествующе посмотрел на нас. – Второе: вы видели, чтобы когда-нибудь кошка делала то, что делает собака? А моя делает! Это результат моего труда и умения подойти не только к людям, но и к животным. Я член партии с 1925 года. Теперь третье, более веселое: московский анекдот. Рассказываю его потому, что в нашей коммунальной квартире ваша жена – самая молодая женщина!» Он, стараясь кокетливо улыбнуться, сверкнул металлическим зубом. «Сколько вам лет?» – обратился он к Нине. «Двадцать два года», – ответила она. «Ну, так вот, одна молодая женщина, живущая в такой же коммунальной квартире, как наша, пошла мыться в ванну. Включила душ, моется. под потолком, как и у нас, было такое же стеклянное окно». Старик хихикнул и с упоением продолжал: «Подняла она голову, а в окне сосед: во все глаза на нее пялится. На стремянку влез! А она, не обращая внимания, помылась, надела халат, выходит в коридор и говорит ему: „Иван Иванович, как вам не стыдно, вы что, голой женщины не видели?“ А тот разобиделся и с гневом ей в ответ – вы, мол, пошлачка, я на вас и не смотрел вовсе, просто хотел узнать, чьим вы мылом моетесь. Закончив свое повествование, брат большевика Тутаева хитро подмигнул нам: „Намек поняли? Я за вашей женой подглядывать не буду, но мыло свое надо положить и на кухне, и в ванне“.

Со временем к нам стало приходиться все больше и больше гостей. Очень кстати оказалась найденная мной во дворе старая табуретка, выкинутая кем-то за ненадобностью. Все мои работы из университета с помощью Евгения Евтушенко были перевезены в дом на Кутузовский, где жили деятели советского кино, – в квартиру актрисы Алисовой, широко известной по фильму «Бесприданница», одному из лучших в

истории советского кино. Я написал портрет ее очаровательной дочери, ныне тоже знаменитой актрисы Ларисы Кадочниковой, живущей ныне в Киеве, которая тогда училась во ВГИКе. Я был очарован загадочным лицом дочери Алисовой. Ее тогда совсем юный брат Вадик – ныне известный оператор Вадим Алисов. Семья Алисовых всегда будет жить в моем сердце, как и их долготерпение – им приходилось принимать массу гостей, желающих видеть мои работы^[84].

* * *

Шли долгие томительные месяцы. Очевидно, нашим соседям по коммуналке я изрядно надоел. Каждый день в восемь утра они начинали свою возню на кухне. Дряхлой двери, отгораживающей нашу кладовку от кухни, словно не существовало. Все назойливее и с явной целью быть услышанными нами звучали голоса: «Вот, говорят, в Москве без прописки жить нельзя – живут, сволочи, и живут, хоть милицию вызывай. Если не съедут, как обещал Дионисио, придется так и сделать». Я помню встречу с испанцами, друзьями Дионисио. Испанская колония крепко держалась друг за друга. Я подружился с Альберто Кинтано, ставшим навсегда моим другом, которому я очень обязан в жизни. Мы поддерживаем наши братские отношения до сего дня. Я помню удивительной красоты испанские песни, которые так проникновенно пели испанцы. Горящая свеча, скрывающая убогость московского жилища... Гортанная напевность, словно напоенная красотой далеко лежащей от нас родины Сервантеса, Кальдерона и Веласкеса... Никогда не любил Гарсиа Лорку, но одна из песен на его стихи тронула меня до слез. Мне перевели ее слова: «Когда я уезжал на корабле из гавани, ты стояла на причале и махала мне белым платком. Корабль уплывает все дальше и дальше – и я уже не вижу тебя. Только белые чайки, кружащиеся за кормой, напоминают мне платок, которым ты мне махала в гавани, которую я покидал навсегда». Я слушал дивные песни моих друзей и почему-то вспоминал свое детство, когда в начале войны во всех книжных ларьках Ленинграда лежала книга Диккенса «Большие надежды». На обложке был нарисован мальчик и согбенный пожилой человек, смотрящие на уходящий в море корабль. Сколько раз в моей жизни чаша души была переполнена нестерпимым горем и одиночеством. И когда, казалось, уже не было мочи терпеть, Божественной волею наводнение скорби прекращалось, снова возрождая надежду продолжить свой путь и совершить то, что мне предназначено.

Люди и дела московские

Совсем неподалеку от улицы Воровского, у Никитских ворот, высится прекрасный по своей архитектуре особняк Рябушинского, на фронте которого запечатлена в керамике изысканная фантазия Врубеля. Странное впечатление производят цветы, созданные таинством души Михаила Александровича. То эти цветы казались мне красивыми и нежными, то заставляли вспомнить цветы зла современника Врубеля – Бодлера. Это он сказал: «Все прекрасное странно, но не все странное прекрасно». Мы не знаем, что чувствовал Максим Горький – Алексей Пешков, когда он вселился в особняк своего приятеля Рябушинского, милостиво подаренный ему Сталиным. Какой изысканный интерьер, какое очарование в зданиях русского модерна начала XX века! Только сегодня начинаешь ценить этот стиль, являющий собой одухотворенную связь разных эпох, которые творческой волею объединяли такие архитекторы, каким был, например, великий Шехтель.

Живя уже столько лет у Никитских ворот, я сегодня всякий раз, проходя мимо музея А. М. Горького, вспоминаю лето 1957 года, когда семья Пешковых пригласила меня быть их гостем. Жена Максима – сына Горького, которую все называл Тимошей, посетив мою выставку в ЦДРИ, был инициатором этого приглашения. Вспоминается ее портрет работы П.Д. Корина, друга семьи Пешковых. Тимоша под его руководством занималась живописью. Как известно, в свое время Алексей Максимович дал ему мастерскую и определил название будущей картины, так и не написанной Кориним, «Русь уходящая». Друг семьи и Тимоши по имени Александр Александрович ввел меня в столовую, где когда-то на месте хозяина сидел сам Горький, и, подняв мою руку, как поднимает судью руку победителя на ринге, громко сказал: «Знакомьтесь: Илья Глазунов – человек, взорвавший атомную бомбу в Москве. Если бы не вмешательство нашего друга, министра культуры СССР Михайлова, его бы растерзали на части». – «Не конфузьте молодого художника, – сказала с нежной улыбкой Тимоша, – а лучше предложите ему чаю». Запомнились красивые внучки Горького – Дарья и Марфа. «Какие у Марфы глаза чудесные, прямо как у нестеровских героинь», – шепнул я Александру Александровичу. «Да, Марфа у нас красавица, – восторженно подтвердил мой гид. – Многие художники и скульпторы заглядываются на Тимошу, на Марфу и Дарью, – закивал он. – Мы давно с Коненковым дружили, а портрет Корина Тимоша вам сама покажет. Он наверху». Переходя на шепот, доверительно спросил: «Вы, наверное, знаете, что мужем Марфы был сын Берии?» Посмотрев на меня, усмехнулся: «А что вы так удивляетесь?» И снова перешел на шепот: Но мы себя очень правильно повели (говоря о Тимоше и Марфе, он почему-то говорил «мы» – И.Г.), когда разоблачили Берию. Мы сразу подали на развод – ничего общего с этой семьей не желаем иметь».

Во время фестиваля, памятуя приглашение приходить к ним «как к себе домой», я привел в бывший особняк Рябушинского несколько моих новых друзей по фестивалю – Збышека Цибульского, талантливого актера, известного зрителю по фильму «Пепел и алмаз», который стал эпохой в мировом кино наряду с фильмами Феллини, Висконти, Антониони. Збышек просил разрешения взять с собой знаменитого актера Кобеля. Человек сатирического ума, помноженного на импульсивность, он буквально мучил меня вопросами: «Илья, коханий, как же так, Рябушинский с Горьким приятели были, тот ему „пеньёны“ (деньги – И.Г.) на революцию давал для Ленина, а потом – трахбах– вселился в это чужое величие?»

После фестиваля, оказавшись в глухой пустоте одиночества и памятуя, что семья Пешковых дружит с министром культуры СССР Михайловым, я позвонил им из телефона-автомата. Меня встретил Александр Александрович, который на этот раз был один в пустой столовой. «Против меня словно заговор, – начал я, – я был у Сергея Васильевича Герасимова с просьбой принять меня в Союз художников хотя бы кандидатом – тогда, может быть, и прописка засветилась бы и заказишко подкинули. А то ведь не только на краски, даже на еду денег нет». Лицо Александра Александровича было невозмутимо. Желая расшевелить его, я перешел на живой рассказ: «Прихожу на улицу Горького в Союз художников, Герасимов принял меня дружелюбно, выслушал и с улыбкой ответил: „Вот ко мне бы сейчас Микеланджело зашел. – Здравсьте, Сергей Васильевич! – „Здравсьте товарищ Микеланджело. Чего изволите?“ А он бы, как и вы: хочу в Союз художников города Москвы».

«Ну, и что дальше?» – перебил меня Александр Александрович. «А дальше Герасимов продолжил: „А какая у Вас прописка, товарищ Микеланджело“, – спросил бы я у него, а он бы ответил: „Римская, Сергей Васильевич“. Я показал, как он развел руками. „Не могу принять вас в московский Союз, товарищ Буонаротти“. У Вас, товарищ Глазунов, прописка ленинградская, но и туда вам дорога навсегда заказана, хоть это и ваш родной город». А потом Сергей Васильевич не выдержал и сорвался: «У меня ученики поталантливее вас, а ни с какими выставками не лезут. Саморекламщик вы! Всех восстановили против себя в Союзе художников, вот и расхлебывайте кашу, которую заварили. вот уж поистине – художник от слова худо, как в народе говорят». На этом аудиенция окончилась.

Друг Тимоши Александр Александрович оставался холоден и невозмутим: «А теперь, Илья, послушайте, что я вам скажу. Министр культуры, друг нашей семьи, товарищ Михайлов сказал нам, что если мы вас будем принимать, то он перестанет к нам приходить. Вы ухитрились восстановить против себя всех. Да еще хотели отступление советских войск на осенней выставке показать. Я вам рекомендую одно – уехать по предписанию в провинцию, преподавать в ремесленном училище, и тогда вас, очевидно, обеспечат работой. Если вы этого не сделаете, к нам дорога вам заказана. А так по прошествии времени, может, и увидимся».

Страшно сказать, но более тридцати лет я не имел желания посетить дом Рябушинского. Пару раз на улице встретил Марфу, вроде бы совсем не подверженную процессу старения. У нее, были все те же тихие серые глаза. И лишь в конце июня 1996 года впервые после долгих лет вошел я в знакомые залы, созданные гением Шехтеля. Все то же, словно время остановилось. Никто из работников музея не мог мне назвать фамилию последнего друга семьи Пешковых. «Телефон Марфы и Дарьи тоже не знаем». С щемющим чувством скоротечности времени, выйдя на улицу, поглядел на цветы Врубеля. Они все такие же – цветы злого добра или доброго зла. Цветы, словно выросшие на могиле русского «Серебряного века»... Горька и поучительна судьба у Максима Горького. Он столько сделал для приближения революции, а она же его и уничтожила, когда он ей стал больше не нужен. Горький-Пешков был всего лишь пешкой в механизме темных сил, обрекших Россию на долгие годы геноцида и разорения. Умный был он, «сознательный» запевала грядущей бури да продал свою душу...

* * *

Многие представители московской интеллигенции видя кампанию развернутой против меня травли, стремились протянуть мне руку, помочь выбраться из ледяного водоворота советской действительности. Когда я с женой обосновался в каморке в доме номер 29 по улице Воровского, мы часто заходили в находившийся наискосок от нашего дома Дом литераторов, принадлежавший до революции семье Олсуфьевых (их наследница Олсуфьева-Боргезе проживала в эмиграции в Риме). К дому этому примыкала очаровательная по архитектуре московская усадьба, которую старые москвичи и поныне называют «Дом Ростовых». Именно здесь, по преданию, Наташа Ростова из «Войны мира» велела скинуть с телег вещи и мебель положить на них солдат, раненных в Бородинском сражении. Потом в доме этом был Союз писателей СССР.

...Когда в концертном зале ЦДРИ происходило бурное обсуждение моей выставки, я получил восторженный отзыв – записку о моей выставке желанием познакомиться. Подпись: Евгений Евтушенко. В выставочном зале ЦДРИ я увидел высокого, худощавого молодого человека. Как выяснилось, он был

моложе меня на три года, улыбаясь своей, я бы сказал, «неопределенной» улыбкой, в которой сочетались уверенность в себе, желание понравиться и неназойливое изучение собеседника: «Илья, познакомься, моя жена – Белла Ахмадулина, она тоже поэтесса». Женя был элегантно одет, но меня удивила его, как мне показалось, женская шуба из серого меха с затянутым под воротником на французский манер темно-синим шарфом, У Жени всегда было много народа, и он в своем застолье познакомил меня с грузинскими поэтами, которых он тогда переводил. Вино лилось рекой. Женя явно преуспевал, и почти каждый год у него, несмотря на его молодость, выходило по книге стихов. Я сразу ощутил неугомонную талантливость моего нового приятеля, который стартовал в жизнь как ракета, ежесекундно набирающая высоту.

Будучи человеком непьющим, я не желал мешать веселой компании московских и грузинских поэтов, обсуждающих свои дела, и стал листать его книги. В одной из первых я обратил внимание на стихотворение 1950 года «Ночь шагает по Москве»:

Я верю:

здесь расцветут цветы,
Сады наполнятся светом.

Ведь об этом мечтаем

и я

и ты,

Значит, думает Сталин

об этом.

Не скрою, уже тогда в 1957 году, меня удивили, насторожили и покорили эти его стихи.

Я знаю:

грядущее видя вокруг,

склоняется

этой ночью

самый мой лучший на свете друг

в Кремле

над столом рабочим.

Весь мир перед ним

необъятной ширью!

В бессонной ночной тишине

он думает о стране,

о мире,

он думает

обо мне.

Подходит к окну,

любясь столицей,

тепло улыбается он.

А я засыпаю,

и мне приснится

очень

хороший

сон.

А как бесконечно далеки от меня и чужды по содержанию строчки, написанные Евтушенко в 1955 году.

Милая, не надо слов обидных,

Что ищу тревог и суеты.

У меня на свете две любимых —

Это революция и ты.

Как мне известно, Женя никогда не был членом партии, и потому я недоумевал, читая его стихотворение «Партийный билет», написанное, если не ошибаюсь, тогда же, в 1957 году:

Над своим ребячьим сердцем

Партийный чувствовал билет.

А в другом стихотворении Евтушенко высказал очень смелую мысль, что «Интернационалом» баюкают детей». Позднее, много лет спустя, читая его автобиографию, напечатанную на Западе, я не мог во многих местах сдержать улыбку. Прогрели «Наследники Сталина», стяжав нашему советскому поэту мировую славу борца со сталинизмом. «Бабий яр» сделал Евгения Евтушенко всемирно известным поэтом... Отношение его ко мне как к художнику эволюционировало от позитивного к резко отрицательному. И это естественно – потому что я не мог принять утверждение Жени, что «моя религия – Ленин». Мне нравились и нравятся его искренние лирические стихи, в которых нет политической запрограммированности и любви к коминтерновскому авангарду. Благодаря этим стихам Евтушенко навсегда останется в истории советской поэзии 60-х – 70-х годов. Я же буду помнить наши встречи тех давних лет, когда я написал и подарил ему мои портреты: самого Жени и его жены Беллы Ахмадулиной. В те годы Женя частенько заходил в нашу «мансарду» на улице Воровского. Ему очень нравилась моя работа «Александр Блок». Я был тронут, что Евтушенко посвятил мне стихи о Блоке – как и многие его лирические стихи, они мне очень понравились:

Когда я думаю о Блоке,
Когда тоскую по нему,
То вспоминаю я не строки,
А мост, пролетку и Неву.
И над ночными голосами
Чеканный облик седока —
Круги под страшными глазами
И черный очерк сюрика.
Летят навстречу свету, тени,
Дробятся звезды в мостовых,
И что-то выше, чем смятение,
В сплетенье пальцев восковых.
И, как в загадочном прологе,
Чья суть смутна и глубоко,
В тумане таит стук пролетки,
Булыжник, Блок и облака.

* * *

Женя Евтушенко подкупал меня своей неумной энергией, каким-то особым умением быть всегда на поверхности, широтой и шикарностью своих оценок, демократическим направлением мыслей. Меня восхищало также яростное его стремление к самоутверждению. «Вокруг тебя, вокруг твоей дерзости и таланта нужно сколотить группу поддерживающих тебя людей. Твой цикл „Город“, где ты показываешь правду жизни и поэзию города, мне близок как поэту».

«Ты действительно, Женя, так любил Сталина?» – настороженно спросил я однажды. Потирая подбородок ладонью, он махнул рукой: «Не обращай внимания на грехи юности! Религия нашей семьи – Ленин. Я горжусь тем, что мой дед, Ермолай Евтушенко, принимал участие в расстреле Колчака, но сегодня мы должны бороться за человека, которого давит бюрократическая машина несправедливости. Давай прямо сейчас, – на секунду задумался Евтушенко, – поедим в Переделкино к Пастернаку, он о тебе слышал и хорошо к тебе относится. Это великий поэт XX века». Сказано – сделано. Сели в Женину машину и мы уже в Переделкино. Звоним в калитку, где жил автор «Доктора Живаго». Я молчал и наблюдал радостную встречу юного и маститого поэтов. Через час мы ушли, и я навсегда запомнил выразительное, интеллигентное и столь характерное лицо поэта, имя которого сегодня широко известно у нас и в других странах. Остаюсь и поныне поклонником его замечательных переводов Шекспира. Не скрою, однако, что, прочитав через несколько лет после нашей единственной встречи «Доктора Живаго», я был разочарован несколько поверхностным освещением всей глубины трагедии русской революции. Должен отметить, что американский фильм, снятый по роману Пастернака, несмотря на некоторую «клюковку» трактовки тех страшных лет России, смотрел, будучи на Западе, с большим интересом. «Доктор Живаго», как ни один советский фильм, вызвал в мире волну симпатии и интереса к России. Спасибо за это авторам, спасибо Пастернаку. При всем при том этот фильм, снятый через очки Голливуда, еще раз показал всю жгучую необходимость создания фильмов, которые будут по плечу лишь тем русским режиссерам, которые с сыновней любовью передадут весь ужас уничтожения миллионов людей и разграбления несметных богатств некогда свободной и процветающей страны. Очевидно, такой фильм не получит «Оскара» и

международных премий на фестивале в Каннах: ведь столько сил сегодня заинтересовано в погребении или фальсификации правды страшных десятилетий развала великой державы.

Заканчивая свою беглую зарисовку, вспомню нашу поездку с Женей в дом поэта Михаила Луконина, графический портрет которого я должен был нарисовать для очередной книжки его стихов. Жене Михаила Кузьмича Гале, как помнится, портрет не понравился: «Он у вас прямо как герой Достоевского, а я его вижу совсем другим», – сказала она, погладив его по голове. А я ощущал в преуспевающем советском поэте скрытую от посторонних глаз трагедию, боль и одиночество, несмотря на внешнее процветание. Портрет этот до сих пор хранится у меня. Прошло года два с момента нашей первой встречи, и вот однажды, когда он пришел ко мне со своей новой женой Галей Лукониной, я почувствовал в них какой-то внутренний протест моим восторженным речам о Москве, об открывшейся мне ее поруганной красоте. Помню, Галя сказала сухо и враждебно: «От нас бесконечно далеки ваши православные страсти вокруг древних уничтожаемых икон или сносимых церквей. Это все навсегда ушло и не вернется. Но интерес ко всему этому может пробудить страсти русского шовинизма. Женя обращен к современности и к будущему – и от нас ваши увлечения далеки и чужды». Женя кивал головой и молчал. С той поры наши пути навсегда разошлись. Этот давний разговор я не могу передать точно, но за смысл ручаюсь. Привожу его потому, что он типичен для отношения ко мне многих наших «левых» интеллигентов, которым была чуждой и неприемлемой моя борьба за великую историческую Россию, а я так до сих пор и не понимаю, чей «пепел» стучал в сердцах наших талантливых современников? Неужели «пепел» расстрелянной Сталиным «ленинской гвардии», свершившей октябрьскую революцию? Не могу согласиться и с тем, что 1937 год был самым страшным в постреволюционном времени. Главной-то жертвой был прежде всего великий русский народ, его культура и православие. Почему для многих Ленин – это хорошо, а Сталин – это плохо? Споры об этом не смолкают и по сей день. Определенная часть нашей интеллигенции не может простить мне то, что я люблю всем существом своим и помышлением нашу Россию в ее духовном значении русской национальной соборности. Что же любят они? Не историческую Россию, а некую демократическо-масонскую абстракцию «прав человека»? Но нельзя любить химеру вымысленности. Стыдно жить в России и не любить ее! Вот и договорились уже до изуверского лозунга: «Бей русских – спасай Россию». Сегодня это становится нашей трагической действительностью.

Я думаю, что многие ошиблись, когда видели во мне «таран» для реабилитации «подлинного ленинизма», «социализма с человеческим лицом» и возрождения растоптанного Сталиным авангарда передового коммунистического искусства. Мне пришлось еще раз осознать всю глубину известного изречения философа древности: «Враги моих врагов не всегда мои друзья». Я был всегда привержен православию, самодержавию и народности и не считал, как Андрей Вознесенский, что джинсы – это форма желанной демократии.»

С Андреем я познакомился в те же годы. Архитектор по образованию, он не случайно вместе с могучим и все могущим Зурабом Церетели как архитектор участвовал в создании памятника «Дружбы грузинского и русского народов» на Тишинской площади, которым по сей день могут любоваться москвичи и гости столицы. Помню, как, знакомясь со мной, юный поэт протянул мне руку и сказал: «Андрей Вознесенский – любимый ученик Пастернака». Мне такой способ знакомства не понравился, я огрызнулся: «Пастернака я знаю, а вот твои стихи еще не читал». Андрей тогда был, как и я, опальным. Его первая книга – «Мозаика» почему-то печаталась в городе Владимире. Для нее по просьбе поэта я сделал графический портрет. Поэтическая форма его стихов побуждала меня вспомнить «золотые» 20-е годы. Да и направленность мировоззрения поэта, как мне показалось, отдавала ЛЕФом. Он пропел гимн Ленину в поэме «Лонжюмо» и, как считали многие, превзошел этим своего учителя; чьи восторженные ленинские стихи («Он был как выпад на рапире» и т. д.) давно считаются советской классикой. Несмотря на все это, в Вознесенском, как и в Евтушенко, жила муза поэзии, особенно когда он выражал свои лирические переживания, находя порой яркие и свежие образы. Как испортил многих советских поэтов призыв Маяковского «делать стих»! Но в моих приятелях тех лет, несмотря на все их «поиски», было одно удивительное постоянство: забвение и неприятие великой исторической православной России. До сих пор не могу, например, взять в толк, почему Вознесенский считает лучшим русским художником Марка Захаровича Шагала, когда он на самом деле является великим национальным художником еврейского народа. Правда, нынче ветры демократических перемен побудили, его, как говорят, обратиться к религиозной тематике. И если молодой Пушкин провозглашал, что его поколение – дети Петра Великого, то мне думается, что многие советские поэты, включая Евтушенко и Вознесенского, могут быть названы «детьми» великого Ленина. Да еще – «детьми XX съезда», так говорили они сами о себе тогда, в те «шестидесятые». Забыли, наверное, что «Сталин – это Ленин сегодня».

Я уже упоминал, как восторженно отзывался юный Евтушенко о своем деде Ермолае. Впрочем, до конца никогда не понимал, где у него правда, где поэтический вымысел, тем более что он всегда говорил с подкупающей искренностью. Это не мешало ему однако менять свои оценки в соответствии с мировой и советской политической конъюнктурой.

Хочу познакомить читателя с короткой публикацией, приуроченной к годовщине гибели адмирала А. В. Колчака, в одной из эмигрантских газет. Не премину заметить по ходу, что и сегодня, в дни «демократических свобод», так мало исследуются бесценные исторические публикации в многочисленных русских эмигрантских газетах и журналах. Значение их переоценить невозможно – особенно для тех, кто занимается историей России и великим исходом миллионов русских беженцев. Что мы знаем о судьбе элиты русской нации, очутившейся в изгнании? Газетная бумага истлевает и превращается в прах, унося с собой то, что так необходимо не только для нас, но и для будущих поколений историков России. Перечисление одних только названий газет, журналов и научных трудов, издаваемых «дальним русским зарубежьем», потребовало бы сотни страниц.

В газете «Русская жизнь», как и в других эмигрантских газетах, широко отмечались юбилеи антикоммунистических лидеров белого движения. Еще были живы многие помнящие страшное лихолетье нашего отечества и всеми помыслами души своей преданные исторической России, которую они навсегда потеряли. Поддерживаемые в основном американскими спецслужбами, многие представители так называемой «третьей волны», выдавая себя за русских, еще не начали подминать под себя патриотизм старой русской эмиграции («первой волны» – беженцев и второй – послевоенной). «Третья волна» в подавляющем большинстве своем растоптала и уничтожила патриотизм старой русской эмиграции и начала фактически пропаганду антирусизма. Видя своего врага в тех, кто хочет возродить историческую Россию и самосознание русского народа, небезызвестная радиостанция «Свобода» уже давно в большинстве своих передач ничем не отличается от наших демократических «голосов». Представители национальной русской эмиграции изгнаны и оттуда. Одним из последних «могикан», державшихся дольше всех, был широко известный во всем мире, как и у себя на Родине, великий патриот России Олег Антонович Красовский^[85], издатель русского патриотического журнала «Вече». Прискорбна его кончина...

Итак, в газете «Русская жизнь», разумеется, еще до появления на Западе «мучеников» третьей волны, читаем статью «Скорбная годовщина»: «...Кажется, мировая история последних лет не знает такого низкого предательства, какое было учинено над одним из доблестнейших сынов России в начале рокового для нее 1920 года. В этом предательстве принимали видное участие представители чехословацкого командования в Сибири. Голова Колчака должна была, видимо, служить чехословакам выкупом за их свободный уход на восток.

В момент передачи Колчака красным властям, так называемому Политическому Центру, адмирал воскликнул с горечью: «Значит, союзники меня предают!»

(Я опускаю характеристику научной и военной деятельности адмирала Александра Васильевича Колчака, зная, что заинтересованный читатель и без меня прочтет биографию этого великого сына России. Во время гражданской войны Колчак являлся Верховным Правителем. – И.Г.)

...«Адмирал принял кончину с недогнувшим сердцем, так же смело и мужественно, глядя прямо в глаза смерти, как всегда доблестно боролся и жил...

Но дадим слово его презренным убийцам. Вот что сообщает в газете «Советская Сибирь» палач Г. Чудновский, руководивший убийством адмирала: «Председатель ревкома товарищ Ширенков принял мое предложение убить Колчака без суда. Я проверил, что караул тюрьмы состоит из верных и надежных товарищей и рано утром 7 февраля вошел в камеру Колчака. Он не спал. Я прочел ему постановление ревкома, и Колчак меня спросил: „Таким образом, надо мною не будет суда?“ Должен сознаться, что этот вопрос застал меня врасплох. Я ничего не ответил и спросил его только, не имеет ли он какой-нибудь последней просьбы. Колчак сказал: „Да, передайте моей жене, которая живет с сыном в Париже, мое благословение“. Я ответил: „Хорошо, постараюсь исполнить вашу просьбу“. Колчак и находившийся тоже в тюрьме министр Пепеляев были выведены на холм на окраине города на берегу Ангары. Колчак стоял спокойный, стройный, прямо смотрел на нас. Он пожелал выкурить последнюю папиросу и бросил свой портсигар в подарок правофланговому нашего взвода... Наши товарищи выпустили два залпа, и все было кончено. Трупы спустили в прорубь под лед Ангары».

...Расстреляны они были нарядом левоэсеровской дружины, в присутствии председателя следственной комиссии Чудновского и члена Военно-Революционного Комитета Левинсона.

Для издевательства над казнимыми вместе с Колчаком и Пепелиевым был расстрелян китаец-палач, приводивший в исполнение смертные приговоры в Иркутской тюрьме».

В заключение следует отметить, что далеко не все из наших сверстников разделяли коммунистическую религиозность веры в Ленина, присущей тогда Евтушенко. Позднее один из представителей нашей национальной писательской элиты рассказал мне, как он с друзьями посещал – и гордились этим – женщину, которую полюбил позднее расстрелянный предателями русского народа адмирал А. В. Колчак. Звали ее Александра Васильевна Тимирева, и умерла она в конце 70-х годов в

Москве в нищете и забвении. Впервые «полярный» Колчак (как известно, он занимался исследованиями Русского Севера) встретил ее в Гельсингфорсе в 1913 году... История их любви сегодня интересует многих, как и судьба этой русской дворянки, избежавшей расстрела, но не избежавшей ада советских концлагерей. Те, кто знал ее, был покорен ее романтической душой и верностью своей любви, которую она пронесла через свою трудную жизнь, сохранив ее до гроба...

Но вернемся к нашим либералам. У этого крыла интеллигенции я не нашел понимания и поддержки своей любви к Святой Руси, православию, монархизму, к необходимости создания общества охраны памятников. Когда я говорил о нетленной красоте русской иконописи, которую мы должны возрождать и охранять от гибели, у многих это вызывало ироническую улыбку и равнодушное пожимание плечами. Иные говорили: «Нам чуждо это русопятство, от которого несет шовинизмом и антисемитизмом». «Левые», надежды которых я, очевидно, не оправдывал, стремительно отходили от меня, особенно после моей первой статьи, направленной против абстрактного искусства. Поводом для ее написания послужила одна занимательная история, которую я вкратце хочу сообщить читателям.

«Князь Тютин»

Один из моих новых московских знакомцев – Давид Маркиш – тоже был поэтом. Очень талантливым поэтом. Его отец, Перец Маркиш, погиб во время одной из сталинских чисток. Сидя на табуретке в моей кладовке на улице Воровского, Давид нараспев читал свои стихи:

О, Израиль, страна родная,
Вам – чужбина, мне – край родной.
Лучше не было в мире края,
Потому что край этот мой...

Он жил с матерью и братом у Белорусского вокзала. Брат Сима работал редактором в Гослитиздате. Мечтой Давида было уехать в землю обетованную. Он начал изучать иврит. Однажды Давид сказал: «Нас приглашает к себе известный коллекционер Георгий Дионисович Костаки. Он миллионер, работает фактически завхозом в канадском посольстве. Гордится своей коллекцией». Давид поднял на меня глаза. «Там есть древние иконы, но главное – это коллекция художников двадцатых годов. Он буквально помешан на Шагале, Кандинском, Малевиче. Давай сходим. Он покупает и молодых художников».

Я вспомнил, как за несколько дней до этого, взяв папку со своими работами, пошел в комиссионный магазин на Арбат – он находился около взорванного храма. Я спросил у директора: «Вы можете купить мои работы?» Директор бегло оглядел меня с головы до ног, задержавшись взглядом на моем сильно поношенном пальто, и, иронически сощурившись, ответил: «Мы купим ваши работы, товарищ Глазунов (как выяснилось, он тоже был на моей выставке в ЦДРИ), но только когда вы умрете». Видя мою обескураженность, улыбнувшись, пояснил: «Комиссионные магазины Москвы покупают картины только умерших художников. У таких талантливых и молодых, как вы, покупают Министерство культуры СССР и Союз художников, если вы являетесь его членом». Я грустно посмотрел на стены и полки магазина, где были развешаны работы старых западных и русских мастеров, сверкал старинный фарфор и русское серебро. словно филиал Эрмитажа, подумал я. И стоило тогда все это – копейки, но у меня не было даже копеек.

Ко мне подошел товаровед, похожий на сантехника из московского ЖЭКа, имеющий, как я впоследствии узнал, смелую по тем временам кличку «Косыгин», полученную за врожденное косоглазие. Без предисловия он сказал: «У нас прелюбопытные вещицы бывают. Недавно одна дипломатическая дамочка – жена посла, купила чашечку французской работы, троячок-то всего стоила – у нас их много проходит». «Косыгин» показал на полку, где действительно стояла тьма-тьмущая красивых и разных чашек. «А потом приходит снова через месяц и говорит: „Ваша чашечка сенсацию в Париже вызвала; не скрою, я за нее тысячи долларов получила“. Оказывается, – „Косыгин“ перешел на заговорщический шепот, а я старался понять, каким глазом он смотрит на меня, – чашечка была из личного сервиза Наполеона! Дело на Березине было во время отступления. „Казаки, казаки“, – закричала свита. Очевидно чашечку, из которой он кофе пил, впопыхах и забыли. Наверно, кто-нибудь из русских офицеров ее подобрал и хранил трофеем как святыню, – а она потом вынырнула на наш арбатский прилавок». Кстати, при Брежневе магазин этот прикрыли из-за разных спекуляций, а «Косыгин» уехал в Америку, где стал, как говорили, одним из ведущих экспертов по русскому антиквариату. Сегодня, когда я пишу эти строки, мэр Москвы Юрий Лужков вместе с Патриархом объявили, что будет восстановлена церковь, снесенная неподалеку в тридцатые годы. Дай-то Бог!

Но возвращусь к визиту в дом всемирно известного коллекционера Георгия Костаки. Он радушно поздоровался с Давидом Маркишем, а мне небрежно протянул руку: «Очень рад, очень рад, столь нашумевший художник». Он сразу приступил к делу: «Я бы хотел, чтобы вы поучились у тоже молодых, как и вы, но истинно современных русских художников. Одного из них я вам сейчас покажу, фамилия его Зверев». Глядя в мою сторону, добавил: «Хотите, чтобы вас покупали, будьте как он – будьте

современным». Торжественно, как на праздник в церкви выносят икону, Костаки поставил на мольберт первую работу. Под стеклом, в дорогой раме на белой бумаге была обозначена черной тушью клякса. Я онемел. Костаки между тем церемонно ставил одну «работу» за другой. Все происходило в гробовом молчании. Он, видимо, не хотел нарушать словом торжественность показа. Я, ко всему уже привыкающий, долгое время был невозмутим. Но, скосив глаза на молчащего Давида, заметил, как тот чуть ли не содрогается от внутреннего смеха, безуспешно стараясь скрыть его и покраснев от напряжения. Тут не выдержал и я – захохотал во все горло. Неподвижно окаменелое лицо Костаки с тяжелыми веками и опущенными книзу уголками глаз налилось багровой злостью. Растягивая слова, произнес: «Вы недостойны смотреть работы этого великого художника! Его реакции, – он ткнул пальцем в мою сторону, – я не удивляюсь, но как вам не стыдно, Давид, вы же поэт».

За чаем Костаки не замечал меня вовсе. Давид старался исправить положение: «Георгий Дионисович, вот вы больше всех на свете Шагала любите». Костаки величественно перебил его: «Нет, почему же только Шагала, я люблю всю плеяду великих художников 20-х годов», – и постучал чайной ложечкой о край стола. Первый и последний раз бросил взгляд в мою сторону. «Запомните: недалек тот час, когда в Москве повсюду будут стоять памятники мученикам искусства, гениям XX века – Кандинскому, Малевичу, Татлину и, конечно, Шагалу. А я делаю все, чтобы помочь их последователям, которых сегодня пока не признают. Достаточно назвать имена того же Зверева, Рабина, Крапивницкого, Немухина, Плавинского, Мастеркову и даже Эрнста Неизвестного, который все дальше уходит от „партийного реализма“».

Почтительно подождав, когда Костаки закончит свою тираду, Давид продолжил: «Недавно в Москве, как вы, может быть, знаете, была дочь Шагала, Ида Марковна Мейер-Шагал». «Ну кто же ее не знает, – расплылся в улыбке Костаки. – Великая дочь великого отца». «Так вот, – продолжал Давид. – Ида Марковна в восторге от работ Ильи, который так непохож, как вы говорите, на „партийных“ художников. Она сказала, взяв фотографии с Ильиных картин, что добьется его выставки в Париже. На днях мы получили копию письма, направленного в Министерство культуры галереей Ламберт, которая хочет организовать выставку Глазунова. Разумеется, Министерство культуры СССР, как и вас, это ввергло в ярость – ведь и с их, и с вашей точки зрения, как я понимаю, Глазунов не художник». Костаки, задумавшись на полсекунды, твердо произнес: «Враги современного искусства – это мои враги. Современное искусство, еще раз повторяю, – это авангард. Если бы ваш друг, – Костаки кивнул головой на меня, – вступил на путь современного художника, я бы с удовольствием продавал его картины». Чувствуя, что пора расставаться навсегда, я не менее решительно, чем Костаки, ответил: «Я иду своим путем, убежден в своей правоте и не могу писать иначе, чем я пишу. Идея высокого реализма, как я понял, ненавистна вам, собирателю авангарда, и в равной степени партийным боссам от искусства, как вы изволили выразиться». Мы встали из-за стола. Возвышаясь на фоне картин своих любимых художников, знаменитый Костаки подытожил: «Вы отрицаете современных художников потому, что вам недоступна их высота, их высокое стремление в будущее. Все, что вы любите, давно устарело. Весь мир признал русский авангард. Или вы тоже их всех считаете ничего не смыслящими в искусстве идиотами?»

Мы вышли от Костаки, словно оплеванные, и, придя в мою кладовку, рассказали о нашем визите Нине, которая, сидя на койке, трудилась над прекрасной акварелью, изображающей окраины Москвы со страшными домами-коробками, поднятыми ввысь руками электровышек, у подножия которых куда-то спешили одинокие фигуры людей. Чтобы рассказать ей о том, что мы видели, я взял лист бумаги и, обмакнув кисть в черную акварель, воспроизвел одну из клякс любимца Костаки, великий смысл которой мы с Давидом так и не поняли. «А вот еще такой шедевр, – я провел кистью крест-накрест. – Ну а „черный квадрат“ Малевича, я думаю, сможет каждый!»

В который раз мы пришли к выводу, что в искусстве, как и во всем, должны существовать критерии, а не политический террор имени одних и тех же художников. И тут Давида осенило: «А что, если сделать несколько работ в таком же духе и показать их Костаки, как он на них прореагирует?» Идея вызвала у нас взрыв веселья, столь редкого за последние месяцы. Мы энергично брызгали краской на листы бумаги, положив их на пол, ходили по ним ногами, придумывая с ходу названия: «Вопль», «Композиция №3», «666», «999», «Надежда», «Зов космоса».

...Давид разложил наши «акварели» на столе у Костаки и стал рассказывать, что странный художник, автор этих работ, по имени Тютин уверяет, будто он княжеского происхождения, а после того как его семья была репрессирована, живет на окраине Загорска. Костаки надел очки и долго любовался акварелями неведомого ему авангардиста: «Наверное, многие хамы прошли своими ногами по жизни художника, – комментировал Костаки. – Какое смелое и неожиданное сочетание цвета! Он так похож и непохож на своих коллег-единомышленников из прогрессивного лагеря». И отечески укорил Давида: «Как вам не стыдно дружить с Глазуновым и как вам не стыдно вместе с ним смеяться над символическим и сложным искусством графики гениального Зверева. А я могу встретиться с этим художником?» – спросил у Давида Костаки. «В данный момент нет, – нашелся Давид, – у него тяжелая депрессия, но вы можете помочь ему материально, если купите эти работы». Костаки сразу стал серьезен: «Если бы они были на

холсте, они стоили бы дороже, почему он пишет только на бумаге?» «Видите ли, Георгий Дионисович, – снова нашелся Давид, – я только что с ним познакомился. Видимо, это его техника, а потом, на холст нужны деньги». Костаки размышлял: «Эти работы очень хорошо пойдут в дипломатическом корпусе. Многие иностранные журналисты и дипломаты, которых я знаю, хотят поддержать свободу творчества в Советском Союзе. И уж, естественно, надо помогать таким, как ваш Тютин, а не черносотенцу Глазунову с его царями и Достоевским. Я сделаю на вашем новом приятеле хороший бизнес». Неожиданно Костаки показал Маркишу холст, стоящий на диване: «Вот, посмотрите – кое-кто промышляет на подделках Шагала, а я через мое канадское посольство отправляю к нему на экспертизу. И вот, полюбуйте, – улыбнулся Костаки, – что я получил вчера от Марка Захаровича!» Картина, стоящая на диване, напоминала работу Марка Шагала, но была перечеркнута широкой красной чертой крест-накрест. Полкартины занимала надпись: «Это не Шагал. Марк Шагал». «Так что, получается, вы зря выкинули деньги, Георгий Дионисович?» – посочувствовал Давид. «Это еще как сказать, вы знаете, чего стоит одна подпись великого Шагала! Двое дипломатов уже хотят купить эту картину. А вот подпись вашего друга Глазунова для меня, пардон, ни хрена не стоит».

Вскоре Давид, оглушив коммунальную квартиру звонками, пришел с огромной суммой денег. «Разумеется, они ваши», – сказал гордый нищий поэт. Я не согласился с Давидом: «Мы работали вдвоем, как Кукрыниксы! Ты, Нина и я должны поделить все на три части». Мы немедленно отправились в Дом литераторов и наконец-то досыта наелись, чувствуя себя почти такими же богатыми, как Евтушенко или Луконин. «Я потрясен не меньше тебя, Ильюша, – смеясь, сказал Давид. – Этот случай на многое открыл мне глаза. А денег нам еще на десять обедов хватит!»

Через несколько дней деньги кончились. А меня мучила совесть. Хоть, конечно, Костаки сволоочь и мой враг, но на душе оставался неприятный осадок. Нина, сидя все на той же рваной койке, сказала: «Ты должен позвонить Костаки и все ему рассказать, пока эта история не зашла далеко; мы его проучили, а со временем вернем ему эти, в общем-то небольшие деньги». После некоторого раздумья я набрал номер Костаки: «Георгий Дионисович, добрый вечер, я звоню вам, чтобы извиниться за нашу шутку». «Какую шутку?» – барски и лениво спросил Костаки. «Акварели „авангардиста Тютина“, которые вам так понравились, сделал я, чтобы проверить ваши вкусы любителя современного искусства». После затянувшейся паузы Костаки упавшим голосом произнес: «А Давид, который принес мне эти работы, он знал?» «Давид в этом не принимал участия, он такая же жертва моего розыгрыша, как и вы. Я нарисую очередной портрет и непременно отдам вам невольный долг». Но потом, не удержавшись, я сорвался: «А вообще-то надо понимать в искусстве, господин Костаки, тем более если вы делаете на нем свой бизнес». Костаки молча повесил трубку. Я представляю, как он был взбешен. Был взбешен и Давид, когда я ему все рассказал: «Чертов князь Мышкин, кто тебя просил проявлять свою идиотскую честность? Этот кретин был в искреннем восторге от нашей работы. Я даже принес пачку бумаги с собой и акварель. Костаки умолял меня скупить все работы Тютина! Сидишь в полном г..., а туда же – мы гордые! Никто не заставлял Костаки покупать эти акварели, и никакого обмана здесь нет. Дело в его интересе к этим работам, а не в легенде о том, кто их сделал!»

Я больше никогда не бывал у Костаки. Один из приближенных к нему людей через несколько лет сказал мне: «Ты даже не представляешь, сколько людей, интересующихся твоим творчеством, отвел от тебя Костаки. Он меняется в лице, когда слышит твое имя. Каких только гадостей о тебе он не рассказывал в дипломатическом корпусе, иностранным журналистам и западным коллекционерам, интересующимся твоим творчеством! Все эти люди проходят через руки Костаки». По прошествии нескольких лет Костаки на одном из приемов неожиданно подошел ко мне, держа в руке бокал шампанского. Растянув рот в деланной улыбке, с неизменной барской интонацией процедил сквозь зубы: «Поздравляю вас с многочисленными победами: ваша схватка с советской системой многих восхищает, – и, чокаясь со мной, добавил: – Я хочу выпить за художника, самого большого из тех, которых я не признаю». Я отпарировал: «А из всех бизнесменов, которых я не уважаю, вы самый большой знаток и коллекционер». Ныне о Костаки и его коллекционерской деятельности выходят статьи и книги. Наконец-то эмигрировав, он был вынужден оставить часть своей коллекции в музеях СССР, но большую часть, естественно, вывез. Многие страны, как мне известно, отказывали ему в визе, ссылаясь на то, что он кадровый агент КГБ. Его очень милая, симпатичная дочка стала владелицей одной из галерей в Лондоне. Ее бывший муж, Константин Страментов, мой давний приятель, сын известного советского архитектора Страментова, до своего отъезда за границу, где он уже многие годы живет постоянно, рассказал мне кое-что о Костаки. Я не буду приводить факты (Много чести!) – скажу только, что одно из пророчеств Костаки, пожалуй, сбывается. В связи с углублением диктатуры демократии мы доживем таки до открытия памятников красным комиссарам от искусства – Кандинскому, Малевичу, Татлину и другим отцам «авангарда»...

Я прекратил свои хождения по московским жэкам, поняв, что никто не возьмет меня работать в бойлерной и не предоставит комнаты хотя бы с временной пропиской. Оставалось неприкаянно ждать и надеяться на победу в борьбе за выживание. Старая Москва, оставшаяся островками среди океана современного города, столицы прогрессивного человечества, все более очаровывала меня своей

красотой, открывая мир трагической русской истории и былого величия православной русской духовности. Выросшие в Петербурге, мы с Ниной с упоением открывали для себя нетленную красоту Новодевичьего и Донского монастырей, где, как на кладбище, хранились спасенные обломки когда-то всемирно известных святынь нашего церковного зодчества. Какое скорбное чувство вызвали фрагменты скульптурного убранства фасадов храма Христа Спасителя... Среди старых надгробий и столетних деревьев, шумящих под ветром черными голыми ветвями, мы, утопая в снегу, подходили к монастырской стене, где запорошенный снегом мраморный Сергей Радонежский благословлял на Куликовскую битву коленопреклоненного Дмитрия Донского. Над кладбищем Донского монастыря, как и при Иване Грозном, кружилось в вечернем небе воронье, а на ветвях сидели нахохлившиеся от мороза неизменные спутники русской зимы – воробы. Начались наши поездки в Загорск, как тогда назывался Посад Троице-Сергиевской лавры, в Переславль-Залесский и, наконец, в потрясший наши души Ростов Великий – одно из чудес света, несмотря на тогдашнюю мерзость запустения его дивного кремля и храмов.

* * *

Что может быть страшнее, чем попранная красота национальных святынь народа, к которому ты принадлежишь как частица его соборной жизни? Мы все виноваты и в ответе за обрушившееся на нас национальное бедствие. Тогда, в те страшные годы борьбы за выживание, я понял, что героями являются те, кто не смирился и не принял условий, предложенных новыми хозяевами России. Я считал и считаю, что истинные герои нашего времени это пастыри русской православной церкви, монахи и непреклонные миряне, приближающие время Русского Национального Возрождения, – но как окружающий нас мир XX века не хочет этого! Самое страшное для них – воскресающее русское национальное самосознание. Сколько заслонов создано для тех, кто стремится к возрождению былой славы и процветанию отечества! Сегодня, в дни демократической перестройки, множество лжепророков и лжеучителей ядом сатанинских ересей пытаются повернуть нас на ложные пути «спасения» духа и государства. Муны и асахары, колдуны и пророки, – словно воронье, терзают они еще живое русское национальное тело...

По подсчетам великого патриота России Дмитрия Ивановича Менделеева, приведенным в его «Заветных мыслях», численность русских к концу XX века должна была приближаться к 500 миллионам человек. Как известно, на 1 января 1995 года в России осталось 147 миллионов, а вместе с русскими «ближнего зарубежья» – 172—174 миллиона человек. И сегодня каждый день приносит новые волны демографической катастрофы. Как никогда нам нужна твердая государственная власть, которая бы исходила только из национальных интересов России. Пусть наши политики помнят недавнее изречение одного американского лидера: «В своей мировой политике мы исходим только из интересов Америки!» И это нормально для любого государства. Нас слишком долго приучали к мысли, что Россия должна быть трамплином для коммунистического будущего во всем мире. Сегодня нам оставили два пути: американской капиталистической демократии или возвращения к былой диктатуре КПСС. Но есть третий путь, есть третья сила возрождения великой исторической России. Как боятся этого пути и этой силы наши враги! Как жаждут новых великих потрясений!

* * *

Но возвращаюсь к тому времени, когда я, сидя в чужой четырехметровой кладовке, боролся за жизнь и право быть художником. После успеха в ЦДРИ были люди, которые хотели мне помочь, и, как я уже говорил, я жил только случайными портретами, которые мне заказывали представители московской интеллигенции. Известный актер Максим Штраух, так в жизни непохожий на Ленина, заказал мне портрет своей жены, актрисы Глезер. Вдова поэта Владимира Луговского Майя, удивительно красивая и интеллигентная женщина, жила в писательском доме напротив Третьяковской галереи. Она познакомила меня с живущим в этом же доме известным поэтом Павлом Антокольским, поразившим меня маленьким ростом, почтенностью возраста и очень живыми молодыми глазами, в которых светился ум и юмор.

Во время фестиваля я познакомился с Борисом Абрамовичем Слуцким. Он был удивлен, что до знакомства с Евтушенко я не знал о его существовании. Слуцкий, родившийся в 1919 году, прошел фронт. Евтушенко рассказывал мне, как он, будучи старше «молодых» поэтов, выступал вместе с ними, борясь за свою поэзию и популярность. Это был коренастый человек с рыжевато-русыми волосами, выдержанный и невозмутимый. В разговоре он был немногословен и иногда от внутренней деликатности и смущения становился багровым, от чего усы на его лице светлели, а глаза становились серо-стальными. «Вам, Илья, нужны заказчики, иначе вы умрете с голоду, – сказал он, рассматривая мою „квартиру“. – Я знаю, что вы уже нарисовали портрет Анатолия Рыбакова – он очень доволен вашей работой. Я говорил, – продолжал он, – с Назымом Хикметом; он хочет, чтобы вы нарисовали его жену. Как вы знаете, он турецкий поэт, а

сейчас влюбился в почти кустодиевскую русскую женщину, очень простую на вид, – милая баба, и его очень любит».

Я заволновался: как, сам Назым Хикмет, великий поэт, друг Арагона, Пабло Неруды!... В свое время Лиля Яхонтова, его поклонница, подарила мне книгу стихов Хикмета, сказав, что это сложный и глубокий современный поэт. «Тебе будет особенно интересно, Ильюша, прочесть его поэму о Джоконде». Уже тогда я прослышал о его шибко коммунистических взглядах и даже о том, что в 20-е годы он рекомендовал занавеси Большого театра порезать на куски и раздать комсомолкам на юбки. Стихи Хикмета, не скрою, не произвели на меня никакого впечатления – они мне показались надуманными и непонятными, но я об этом постеснялся сказать Лиле, подарившей мне книгу его стихов. Лиля поняла это и, улыбнувшись сказала: «Блок тоже для многих непонятен, однако ты его любишь. Кстати, я бы тебе посоветовала – сделай рисунок, на котором бы предмет был нарисован с трех сторон – это было бы многоплановое познание мира. Не упирайся в академизм. Стремись выразить новое видение мира».

И вот передо мной сидит яркая блондинка, действительно с красивым простонародным миловидным лицом – жена Назыма Хикмета. Во время чая поэт рассказывал мне о своих встречах с Пикассо и передал, что слышал от посетившего его недавно друга, будто Пикассо отозвался весьма одобрительно о моей работе «Сумерки». Я с удивлением спросил: «А как же он мог о ней отозваться положительно, если он ее не видел?» «Ваша работа, – ответил Назым, – была напечатана в журнале „Иль Контемпоранео“, в статье Паоло Риччи „Свобода реализма“. Это известный орган прогрессивной интеллигенции Италии, и даже я ее прочел», – пояснил турецкий поэт. Боясь, что Хикмет ждет от меня портрет жены в духе последних работ Пикассо, я тем не менее старался передать абсолютное сходство, а главное – ту особую задумчивость, которая, с моей точки зрения, была свойственна этой женщине. Легкими прикосновениями пастели я хотел дополнить ее «фарфоровость» и нежность голубых глаз. «Действительно, кустодиевская купчиха», – думал я. Ей портрет понравился, а он был явно недоволен: «Вам будет странно, Илья, но я особенно люблю ее ржанные, светлые ресницы, а вы явно с этим не справились». Быстрым движением Хикмет открыл ящик письменного стола и вытащил круглую лупу. Наведя ее на глаз жены, а потом на глаз, нарисованный мною на портрете, сказал: «Сосчитайте, сколько ресниц у нее и сколько у вас на портрете». Поначалу я, как и Слуцкий, судя по выражению его лица, решил, что заказчик шутит. В голове пронеслось: «Наверное, он не приемлет мой реализм и хочет намекнуть, что я отстал от столь любимого им авангарда». Но Назым Хикмет отнюдь не шутил. Забыв «Даму С веером» и другие портреты Пикассо, он требовал от меня именно перечисления ресничек на веках столь любимой им супруги. Прикасаясь острием карандаша к верхним и нижним векам портрета, я, не нарушая цельность «пятна», старался сделать ресницы как можно конкретнее, разумеется, не в ущерб художественности...

К моей радости, они остались очень довольны портретом. Спускаясь в лифте, Слуцкий задумчиво произнес: «Как странно, Назым яростно выступает за свободу художника, за его право видеть все по-своему, а тут пристал к вам с этими ресницами». Нахлобучивая свою шапку, заключил: «Но самое главное сделано – портрет ей понравился, сто рублей получены». Ласково улыбнувшись, продолжил: «Теперь вы должны нарисовать жену самого богатого писателя Саши Галича. Учтите только, что он, впрочем, как и я, – улыбнулся Слуцкий, – большой коммунист, и у власти, в отличие от меня, в большом почете. Мастерит даже, как я слышал, какой-то фильм о чекистах. Денег, повторяю, прорва – человек в зените».

* * *

Жил Галич, как мне помнится, у метро «Аэропорт» в писательском доме. Чистая, но какая-то будто казенная квартира, на полках тьма книжек: Новиков-Прибой, Куприн, Лев Толстой, Шолохов, Мамин-Сибиряк. Принял он нас равнодушно. Вальяжно развалясь в кресле, похлопывал домашними шлепанцами. Я вытащил доску, на которой был приколот кнопками лист ватмана. Вошла его жена с огромными светлыми глазами, коротко стриженная, худощавая и нежно-хрупкая, своим лицом чем-то напомнила мне Чаадаева. «Вам сколько нужно времени?» – спросил Галич. Поскольку мне сразу стала ясна концепция портрета, то на его воплощение, учитывая бешеное напряжение во время работы, мне нужен был час, не больше.

«Пока вы работаете, мы с Борисом Абрамовичем чайку на кухне попьем», – сказал Галич, улыбнувшись. Прошел час с небольшим, и мне показалось, что я выразил в портрете все, что хотел. У жены Галича, повторяю, было очень интеллигентное лицо, исполненное в то же время какой-то внутренней истерической отстраненности – она даже ни разу не улыбнулась, глядя на меня как в «глазок» телекамеры. Я позвал хозяина, разрешил моей модели наконец посмотреть на законченный портрет (обычно до конца работы я никогда не показываю свои портреты). «Здорово», – вырвалось у Галича. «Всего за час с небольшим», – добавил Борис Абрамович. Собирая пастель и угольные карандаши, чувствуя усталость, как боксер после боя на ринге, я не вслушивался в тихий разговор Слуцкого с Галичем. Расслышал лишь громкий возглас моей модели: «Как, час поработал и сто рублей? Ничего себе!» Борис Абрамович, покраснев и чувствуя неловкость ситуации, сказал, обращаясь к Галичу: «Но портрет-то

хороший. Вам нравится. Он закончен». Чтобы прекратить начавшуюся перепалку, я сказал: «Раз вы считаете, что ста рублей мой портрет не стоит (тогда 100 рублей равнялись почти двум стипендиям студента), я его забираю!» Большие глаза супруги Галича налились яростью: «Ну уж нет, этот портрет из моего дома не выпущу – он мне очень нравится, а вот цена его не нравится. За час – 100 рублей!» – повторила она с возмущением. «Знаете, – обратился я к Галичу, – как рассказывает Джорджо Вазари, одна флорентийская синьора выразила возмущение Рафаэлю, что он работал над ее портретом всего лишь час и потребовал, в отличие от меня, солидную сумму денег». «Ну и что было дальше? – невозмутимо перебил меня Галич, хлопывая своими удобными домашними туфлями. „А дальше Рафаэль ответил, товарищ Галич, что прежде чем сделать так быстро и хорошо свой портрет, он работал долгие годы“. „Но вы же, все простите, не Рафаэль“, – взвизгнула жена Галича. „Зато вы флорентийская синьора, – огрызнулся я. – Ладно. Из уважения к Борису Абрамовичу оставляю вам этот портрет на память“. Я с трудом сдерживал обиду и возмущение.

На улице меня догнал возбужденный Слуцкий. «Признаться, я этого не ожидал от Галича. Ничего себе советский миллионер! Да и она тоже хороша. Но Саша сказал, что отдаст вам ваш гонорар». «Пусть подавится, сволочь сытая, я ему эти 100 рублей в морду брошу», – подвел я итог нашей встрече. А через неделю в нашем длинном коммунальном коридоре вечером раздался звонок, и я услышал грустный голос Бориса Абрамовича: «Илья, вы получили от Галича 100 рублей? Я ему ваш почтовый адрес дал». «Нет, не получил», – так же грустно ответил я. Через неделю мне снова позвонил Слуцкий, без обиняков спросил: «Получили?» Я промолчал. «Тогда надо плюнуть и забыть, – посоветовал Борис Абрамович. – это для меня, может, большее потрясение, чем для вас».

После этого нашего разговора мои отношения с Борисом Абрамовичем Слуцким постепенно угасли. Свой портрет, нарисованный мною в благодарность за его участие, Слуцкий не взял: «Без денег не могу принять вашу работу, а денег у меня, как и у вас, нету. Мне портрет нравится, но пусть он останется у вас на память о наших встречах». Портрет Б. А. Слуцкого по сей день находится у меня. Что же касается Галича, который превратился из советского писателя в диссидента, распевавшего лагерные песни (хоть сам он, как известно, никогда не сидел), то я его никогда больше не видел. Эмигрировав и переменяв вероисповедание и подданство, Галич вместе с другими лидерами так называемой «третьей волны» принял участие в моей бешеной травле, стараясь помешать моему растущему авторитету за границей. (Дома его и так добьют как антисоветчика!) В групповом клеветническом письме, состряпанном в Германии, утверждалось, что я бездарь, «рука Москвы» и агент КГБ. Галич подписал эту пакость. Вряд ли они ожидали, что я подам на них в суд и, более того, выиграю процесс, названный немецким журналом «Шпигель» феноменальным и беспрецедентным. Об этом процессе я расскажу позже. За границей, если не ошибаюсь, Галич «вступил» сначала в католичество; а потом уже и в православие. А. может быть, наоборот...

* * *

Итак, шли долгие месяцы безнадежного ожидания перемен, и мы с моим ангелом-хранителем Ниной пребывали в безысходном отчаянии: все, от кого зависела моя жизнь, были против меня, а те, кто интересовались моей личностью и кому нравились мои работы, ничем не могли помочь. Многие посещали «запрещенного» художника, хотели меня ободрить – спасибо им! Повторяю. если бы не случайные заказы на портреты, я умер бы с голода или, на радость моих врагов, должен был перестать быть художником – изменить профессию. Но вместе с тем один из тяжелейших периодов моей жизни был для меня, временем более глубокого познания России.

Особенно остались в памяти поездки в Боровск – ни с чем не сравнимую по своей красоте и поэзии жемчужину православного русского пространства. Там я задумал свои картины «Русская песня», «Русь», «Боровск зимой» и многие другие работы. Еще будучи в Ленинграде, я в монографии Нестерова любовался работой великого русского художника «Пафнутий Боровский». Во время наших поездок в Пафнутьево-Боровском монастыре располагались ремесленное училище и машинно-тракторная станция. Местные жители пояснили, что купол у храма рухнул в результате работы МТС. Показывали деревянную церковь на холме, где, по преданию, какое-то время размещались кавалеристы наполеоновской армии.

Боровск... Кругом шумят поля, на горизонте синеет бескрайний лес, а зимой все утопает в искрящемся на солнце снегу, когда по дороге, которой, кажется, нет конца, деревенские лошади с добрыми мохнатыми глазами везут одинокие сани.

* * *

Я приходил иногда к Павлу Петровичу Соколову-Скале в его мастерскую, находившуюся в элитарном доме на улице Горького, где также располагалась мастерская Налбандяна, а также певца Ленина и советских детишек Н. Жукова, Кукрыниксов, с таким пафосом изображенных Кориным. Соколов-Скаля открывал дверь, поражая своим ростом и умным лицом. Я уже говорил, что в нем было нечто от коршуна.

«Мы с тобой такие разные, – говорил он. – Но Борька (так называл он Иогансона. – И.Г.) – большая сволочь, что предал тебя. Ему все стали тыкать пальцем: вот кого ты воспитал! Вот какого воспитал ниспровергателя основ – а ты просто честный русский парень». Я помнил, как Соколов-Скаля в составе синклита Академии художеств приезжал в Ленинград для просмотра наших ученических и студенческих работ и на защиту дипломов. И помнил, как, встретившись во время международного фестиваля в Центральном парке культуры и отдыха, он долго меня разглядывал и потом сказал: «Это благодаря мне выставили твои работы». Правда, прихрамывающий, маленького роста с водянистыми глазами искусствовед, фамилия которого была почему-то Толстой, написал в каталоге выставки, что мои работы среди работ художников стран социалистического лагеря резко выделяются своим пессимизмом и упадничеством.

Мне импонировало, что в мастерской Соколова-Скаля гремела классическая музыка, по-моему, Вагнер – «Гибель богов». Работал он, если не ошибаюсь, над большим холстом «Таманский поход». Он мне рассказал, что во время войны в дымящихся руинах Берлина, войдя в числе первых в рейхстаг, был поражен картиной, открывшейся его глазам в одном из подвалов. Огонь, полыхавший там, был таким страшно-всепоглощающим, что бронзовая фигура Донателло, находящаяся в подвале, расплавилась. И из окаменевших металлических волн торчала чудом не расплавившаяся рука Иоанна Крестителя. Павел Петрович принимал большое участие в спасении сокровищ Дрезденской галереи, ругал «проклятых американцев», которые разбомбили прекрасный Дрезден, считая это варварским актом по отношению к великой Европе.

«Раз ты не пьешь – мне двойную порцию, – говорил он, разрезая на газете „Правда“ кусочки сыра. – Я рад, что ты ко мне приходишь. Ты так не похож на них – наших собратьев по кисти. Не можешь себе представить, как я одинок, и все, что у меня есть – это мои работы, а домой я даже не хочу идти. Приду, а она (он имел в виду свою жену, художницу Мясникову) натюрморты пишет. Кругом грязь, жрать нечего... Моя первая жена еврейкой была – хорошая баба...»

Жил он в высотном здании на площади Восстания. «Мы во многом и многими запутаны, Ильюша, – грустно размышлял он, со стуком ставя стакан на стол. – Хочешь – верь, хочешь – нет, а денег нет ни хрена. У меня ведь две семьи. Ну, а что такое Академия художеств СССР, ты и сам знаешь по своему учителю и моему корешу Борьке. А ведь до того, как стать шкуркой, был хорошим художником. Он и теперь, когда выпьет, все про Костю Коровина вспоминает. Я никогда никого не давил, ты это, наверное, в парке культуры на выставке понял».

Гремел Вагнер. За окном омытые дождем крыши Москвы. «Мой Бог – Веласкес! – продолжал пьянеющий Павел Петрович. – Трудная штука – жизнь, Илья! Вот я, помню, вошел в кабинет Гитлера. А на столе у него – альбом. Альбом его собственных акварелей. Я – ни в Бога, ни в черта не верю, только в искусство. Но скажу тебе, дело невероятное, что Гитлер сидел и рисовал разрушенный Берлин. Мы еще не вступили в Германию, Берлин был целехонький, а он, собака, рисовал руины Берлина. Ясновидение какое-то! И время находил для этого». Павел Петрович чокнулся с моей чайной чашкой и продолжал: «По радио немцы орали о грядущей победе, а он сидел и рисовал руины! Надо сказать, неплохие акварели делал фюрер! Он ведь начинал как художник...»

«А где же этот альбом?» – поинтересовался я. «А я его Жукову подарил как трофей. Тот посмотрел, полистал и заметил: „Да-а, любопытно!“ Вообще, Илья, Гитлер – он не простой псих был. Псих до Сталинграда, завоевавши всю Европу, не дошел бы! И врагов нужно на свое место ставить! Какая честь победить идиота? Гитлер идиотом отнюдь не был... На России и гениальный Наполеон споткнулся – Березина, Святая Елена... Россия – сфинкс... Если б не Сталин и партия, неизвестно, чем бы кончилась война. Русский народ победил. Мы победили – партия и народ. Сталин...

Это вот мои соседи Кукрыниксы из Гитлера придурка делают. И непонятно мне, как это они одну работу втроем сотворяют? Но этюды, правда, пишут врозь... Да, а вот Геринг, как известно, Вермеера любил. Вообще, они классику понимали. Кстати, Гитлер всю эту «левую» хреновину запретил. Евреев во всем этом винил... Они, нацисты, еврейскими штучками все это называли, вырождением. Издавалась только классика. Я из Германии много прекрасных монографий о старых мастерах привез, да все раздарил».

«А как Вы думаете, Павел Петрович, – спросил я, – Гитлер в самом деле жив или это легенда?» – «Да, я видел обугленный ковер, в который был завернут труп. Зубной врач Гитлера по зубам признал вроде, его – ему-то видней, какие пломбы он ставил. Остальные гады как крысы разбежались или покончили с собой. Тем не менее история эта не простая... Подумаешь, римские сенаторы. Новый порядок!... Но самое яркое, что помню – застывшую лаву металла и всемирно известная рука Донателло

– словно о помощи взывает. Страшное наше время! Давай выпьем за нашу победу – ты за свою, а я за мою!»

Соколов-Скаля встал, не без труда удерживая равновесие: «...Сколько руин и смертей я видел, – вздохнул он, глядя мимо меня. – Да ты хоть чай допей, Ильюша. Я когда-нибудь тебе такое расскажу, что волосы встанут дыбом... Расскажу я, – он ударил себя в грудь, – певец гражданской братоубийственной войны. Ну ладно, ты иди, а я прилягу и снова за работу... В работе счастье!»...

* * *

Моя жизнь резко изменилась с той поры, когда великий Михалков открыл дверь нашего чулана. Будучи великим и своим ростом, известный детский писатель, автор гимна СССР, не зная размеров нашей «жилплощади», чудом не ударился лбом о противоположную стену. Слева, занимая всю стену, была приколочена моя картина «Джордано Бруно», справа – алюминиевый остов «раскладушки», а у батареи под окном, на табуретке, кастрюля, где плавали в воде несколько пельменей. «Нельзя сказать, что вы живете роскошно», – пошутил «великан», известный всем по стихотворению «Дядя Степа». Не раздеваясь, Сергей Владимирович обвел глазами комнату и сказал: «Так жить нельзя. И это после триумфальной выставки!» Потом спросил: «А сколько тебе лет?» «Двадцать семь», – ответил я. «А тебе?» – задал он такой же вопрос Нине. «Двадцать один», – ответила она. Улыбнувшись, Михалков заметил: «Стоим мы трое, как в тамбуре поезда, – и сесть нельзя. О тебе, старик, – обратился он ко мне, – мне много рассказывал твой приятель мой сын Андрон – потому я здесь».

Я с трепетом рассматривал известное мне по фотографиям в детских книжках благородное лицо дворянина Михалкова, чей род упоминается в русских летописях. Характерный «михалковский» нос, усы и очень добрые, чуть навывкате глаза, которые с каким-то детским изумлением смотрели на нас. «Я живу через два дома от вас – в угловом, что выходит на площадь Восстания, – прямо за Домом кино», – пояснил он. «Несмотря на то, что очень занят, жду вас завтра вечером – постараюсь, чем могу, тебе помочь». И уже в дверях, выходя, обронил: «Только у нас так умеют расправляться с людьми после их успеха. Скажу тебе п-прямо, что ты и твоя жена мне п-понравились». Мы, как студенты Льва Толстого, проводили «дядю Степу» до лифта.

Квартира Сергея Владимировича мне чем-то напомнила жилище моего дяди Михаила Федоровича Глазунова: ампирная красная мебель, шкафы с книгами, по стенам – картины. «Познакомьтесь, – сказал Сергей Владимирович, – это моя жена, Наталья Петровна Кончаловская. Ее отец – великий художник Петр Кончаловский, а дед – гениальный русский художник Василий Иванович

Суриков; вот здесь несколько его малоизвестных работ». Сергей Владимирович продолжал короткую экскурсию: «Это мой портрет кисти Кончаловского – конечно, тогда я был помоложе, – улыбнулся он. – А этот мраморный бюст Коненкова – портрет Натальи Петровны».

Андрон Михалков, ныне более известный как выдающийся кинорежиссер Кончаловский, тогда, во времена нашего знакомства, был студентом консерватории. Своим добродушием и склонностью к благородной дворянской тучности он казался мне похожим на Петра Безухова. Его брат Никита, с удивительно живым и аристократическим лицом, – если уж продолжить сравнение – был похож на юного Петю Ростова. Никите было тогда лет четырнадцать.

Я сразу понял, что душой дома была Наталья Петровна, женщина удивительно талантливая и сердечная. Я рассказал ей, как, будучи учеником средней художественной школы, приехал в Москву, чтобы попытать счастье – познакомиться с Кончаловским, прославленным мэтром советского искусства, чтобы расспросить у него о последних годах жизни боготворимого мною уже тогда Василия Ивановича Сурикова. Жил он наискосок от Зоологического сада, почти напротив метро «Краснопресненская». С робостью позвонил в дверь, объяснил открывшему мне человеку, кто я и почему мечтал бы увидеть Кончаловского. Помню, в квартире было очень много детей и родственников. Знаменитый художник, человек могучего телосложения, сел напротив меня, положив руки на колени широко расставленных ног. «Как боярин на картине Рябушкина „Семья“, – пронеслось у меня в голове. „Судя по всему, молодой человек, вы много читали о жизни Василия Ивановича. Хочу сказать вам только одно: сегодня многие пишут огромные холсты-картины. Идеология в них выражена – а живописи никакой. Василий Иванович, – пытливо глядя на меня, продолжал Кончаловский, – ценил прежде всего живопись, колорит. Он в отличие от многих современных художников предпочитал колористический этюд, например цветы в вазочке, а не многометровые, с позволения сказать, картины. Тогда многие сходили с ума от так называемой французской школы живописи. Вот и Василий Иванович в последние годы отошел от больших монументальных замыслов“. Петр Петрович задумчиво заключил: „Вы должны знать: „Человек со сломанной рукой“, девушка на желтом фоне в профиль, вообще куски жизни, переданные художником во всей полноте цветовой гаммы, были для него, повторяю, дороже трескучих исторических сочинений“. В

комнату попеременно врывались дети, я чувствовал, что злоупотребляю вниманием мэтра ко мне, простому ученику. Уже спускаясь по лестнице, я подумал, не было ли бестактно с моей стороны расспрашивать Петра Петровича только о Сурикове. Но я любил и люблю Сурикова как художника стихии русской исторической жизни, а его последние работы, портреты и этюды и сегодня не волнуют мою душу.

Наталья Петровна Кончаловская объединяла вокруг себя многих музыкантов, поэтов, художников, ученых и историков. И мне посчастливилось войти в этот круг. Она даже слегка ревновала меня – столь отечески добрым было отношение ко мне со стороны Сергея Владимировича. Семья Михалковых стала для меня светом в окошке. Как часто, уходя от моего благодетеля, чувствовал я комок в горле, а в глазах вскипали слезы благодарности за его бескорыстную готовность помочь мне выкарабкаться из жизненной мусорной свалки, куда я попал по воле безжалостной тоталитарной государственной машины. Ведь со студенческих лет и до сего дня я живу и неустанно работаю не «благодаря», а «вопреки». И все, что я достиг в жизни, я добился потому, что не изменял себе и своему внутреннему голосу совести русского человека. Но должен вместе с тем категорически заявить, что я всем обязан прежде всего Сергею Владимировичу Михалкову. Он помогал многим – я не являюсь исключением в жизни и деятельности этого доброго человека. Именно после встречи с ним моя жизнь резко изменилась, словно я был вытащен из омута обреченности, в который швырнули меня мои враги, дабы и другим не повадно было выражать свою, а не их правду, которой я буду верен до конца моих дней.

Семья Сергея Владимировича много времени проводила на даче на Николиной горе, и там, под шумящими соснами, где бескрайние дали и сверкающая на солнце Москва-река, я встречал самых разных по профессии и творческим устремлениям людей. У Михалковых часто бывал талантливейший молодой композитор и дирижер Вячеслав Овчинников. Мы часами спорили с ним о смысле и понимании назначения художника и музыканта. От композитора Шебалина, портрет которого я писал, я впервые услышал о Славе, тогда еще подающем великие надежды студенте консерватории, который считался смелым новатором-авангардистом. Первые впечатления от знакомства: талантлив, красив, напорист и умен, лукавые глаза, пышная шевелюра. Он чем-то неуловимо напоминал мне портрет молодого Бетховена. Сколько мы спорили! По дороге в Ростов Великий останавливались, как правило, в Троице-Сергиевой Лавре, молитвенно чтя память преподобного Сергия Радонежского.

Я был крайне удивлен, что мой новый друг не бывал в Петербурге, не видел Эрмитажа и Русского музея. И Нина, обладавшая великим даром зажигать сердца людей, старалась раскрыть Овчинникову, что такое «душа Петербурга» – столицы русской и европейской культуры. Уже в 1996 году Слава, улыбаясь своей коварно-иронической улыбкой, заявил: «Я всегда буду благодарен тебе и Нине, что вы вырвали меня из объятий сатаны. Ведь когда мы с тобою познакомились, я увлекался додекафонией авангардной музыки. Что было бы со мной?»

Помню, как на Николиной горе, в прохладной тени сосен, Андрон с Андреем Тарковским работали над сценарием фильма «Андрей Рублев». Юный Никита при сем присутствовал, внимательно слушая, как старший брат спорил с Тарковским. Слава Овчинников, напомню, написал музыку для фильмов Тарковского – «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Обожающий его С. Ф. Бондарчук пригласил композитора написать музыку для ставшего шедевром мировой кинематографии фильма «Война и мир». Позднее, через несколько лет, с большим успехом прошла премьера симфонии Вячеслава Овчинникова «Сергей Радонежский». Должен еще раз подчеркнуть, что «Андрей Рублев» Тарковского абсолютно чужд мне по своей концепции. Категорически не приемлю трактовку режиссером русской истории и его характеристики самого Андрея Рублева. Тарковский, когда я с ним познакомился, был совсем молодой, как и все мы. Сегодня он, бесспорно, один из классиков мирового кино, его талант и яркая индивидуальность общепризнанны и неоспоримы. Но тогда в Доме кино, на премьере «Андрея Рублева», Андрей говорил мне, что фактически о Рублеве ничего не известно, и он снял фильм в расчете на искушенных зрителей. Большинство «своих» действительно поняли, что хотел сказать Тарковский, и были от этого в восторге. Как я уже говорил, мне фильм показался... антирусским. Такую именно Россию, с моей точки зрения, хотели и хотят видеть многие члены жюри в Каннах или Венеции. Для нас, русских, думающих так же, как я, образ ныне причисленного к лику святых Андрея Рублева имеет совсем другой смысл и значение. Рублев неотделим от Сергия Радонежского и России и Европы Куликовской битвы.

Непроходимая вечная грязь, жестокость, разруха; духовная аристократия монголов, разгоняющих русское быдло, одетое в белые длинные балахоны: монах, забивающий насмерть палкой собаку; словно бы всем и всегда неудовлетворенный в своих поисках, будто советский интеллигент в рясе, Андрей Рублев; и великий художник гибнущей Византии Феофан Грек, словно дед Щукарь, сидящий на колхозном складе; убивающие друг друга князья... Я лично не верю в реальность проявления и «загадочной души» русских, когда отрок на удивление всем отливает колокол. Как все это далеко, если уж говорить о национальном звучании исторической правды, от фильмов моего любимого режиссера Куросавы! «Расёмон», «Красная борода», «Злые остаются живыми» я считаю великими фильмами, исполненными любви к Японии, восхищения перед деяниями предков. Акиро Куросава, который, кстати, больше всех из писателей любил

Федора Достоевского, – это выдающееся явление общечеловеческой мировой культуры XX века. Сколько наших режиссеров, держа фигу в кармане, были вроде бы в оппозиции к тоталитарной советской идеологии, а на деле поддерживали ее. Смотрите, дескать, коммунистический режим ни в чем не повинен, русские всегда были такими: темными, нищими, тупыми рабами, целующими палку рабовладельцев, не знающими, что такое свобода. Они заслуживают, при всей мнимой «тайне русской души», лишь презрения, и могут вызвать только страх непредсказуемостью рабского бунта... И как тут еще раз не вспомнить высказывание Бердяева: «Коммунизм детерминирован русской историей». Неправда! Ни один народ не обречен на коммунизм. Сегодня, в наше время «диктатуры демократии», когда можно печатать и прочесть многое, о чем раньше боялись даже думать, мы стали все глубже узнавать, кто и как на самом деле готовил крах великой русской империи, как в свое время крах великой Англии и Франции.

Последующие работы Тарковского, как ныне говорят, «фильмы не для всех». Эмигрировав в Европу, Андрей, как мне думается, не получил там той поддержки, о которой мечтал. Мне рассказывали в Италии, что его фильмы не считались такими, которые приносят коммерческий успех продюсерам. И хотя я никогда не был другом Тарковского, мое сердце сжималось от боли, когда я читал о последних годах его жизни, о тяжелой болезни талантливейшего режиссера. Судя по сообщениям эмигрантской прессы, он многое сумел переосмыслить и передумать заново. Когда я стоял на русском кладбище Сен-Женевьев дю Буа и смотрел на черный каменный крест, под которым покоятся останки Андрея Тарковского, я прочел странную надпись, вырубленную в черном граните: «Он видел ангела». Вдумываясь в смысл этих слов Андрея, я вспоминал те далекие годы, когда в жарком мареве Подмосковья, на даче у Михалковых, познакомился с молодым, худощавым, нервным, очень интеллигентным режиссером. Как быстро и неотвратимо летит время...

* * *

Не так давно, показывая мне обложку журнала Андрея с фотографией младшего сына, Сергей Владимирович пошутил: «Раньше говорили: сын Сергея Михалкова – Никита, а теперь говорят: Сергей Михалков – отец Никиты Михалкова. А помню, как на одном приеме у Хрущева, куда была приглашена интеллигенция, я взял с собой сына, он тогда юношей был. Позволил себе в присутствии всех пошутить: „А вот еще один Никита Сергеевич“. Показал на Никиту. Шутка моя понравилась, Хрущев в украинской рубашке долго хохотал и жал мне руку».

И еще об одной встрече у Сергея Владимировича, уже в давние годы. Помню, ежесекундно звонил телефон – он только успевал положить трубку, как снова звонок. Молодой детский писатель Толя Алексин, выдвиженец Михалкова, восторженно шепнул мне: «Он может все». Поднимая глаза на меня, сидя в пижаме, Сергей Владимирович сказал: «Ильюша, я не думал, что у тебя столько врагов. И потому запомни, что язык – главный враг твой, а не только твои картины. Я у одного художника, Ленинского лауреата, спрашиваю: „Ну, а есть у вас художники хуже, чем Глазунов?“ Тот задумался нерешительно говорит: „Да, пожалуй, есть“. – „А много таких?“ – „Много“. Я не выдержал: „Почему же, если они хуже Глазунова, вы их не ненавидите так же, как Глазунова?“ Тому и крыть нечем – он молча отошел от меня».

Прикрыв ладонью телефонную трубку, – секретарша соединяла его с кем-то из больших начальников – улыбнулся: «Человек без бумажки – просто букашка: как ты без прописки». И тихо продолжил: «Был в Кремле на новогоднем балу, танцевал из-за тебя, дурака, вальс с самой Фурцевой». Толя Алексин успел снова шепнуть: «Фурцева больших мужиков очень любит». «Она разругалась, – продолжал Михалков, – а я и говорю ей: хочу, мол, попросить вас за одного человека, очень талантливого. А она, секретарь ЦК КПСС, очень милая женщина, бывшая ткачиха, спрашивает: „А что нужно?“ Я говорю: „Прописать одного человека“. Она спрашивает: „Кого же все-таки?“ – „Илью Глазунова – талантливого художника“. Посмотрела снизу вверх, говорит: „Ради вас готова поддержать, хотя он, как мне говорили, идеологический диверсант“. Михалков снова улыбнулся: „Поздравляю с разрешением на прописку. Весь фокус, куда тебя прописать“. „Это сложный вопрос“, – встрял Алексин. Сергей Владимирович вдруг замахал на нас рукою: «Выйдите на минутку, важный разговор с Ильичевым. Мы с Алексиним поспешно ретировались, чтобы продолжить наш разговор на кухне, где суежилась домработница Поля».

Благодаря Сергею Владимировичу Алексин быстро набирал высоту в Союзе писателей РСФСР, выпуская одну за другой свои многочисленные детские книги. «Я всем обязан Сергею», – говорил он мне, добавляя всякий раз, что обязательно напишет статью обо мне и опубликует ее у Полевого в журнале «Юность». Я авансом благодарил его за желание помочь мне. А статья так и не была написана. Несколько лет назад Алексин, неожиданно для многих, навсегда уехал в Израиль. Грустно глядя в окно, С. В. Михалков в ответ на мой вопрос, куда же пропал Алексин, процедил: «Эх, Илья, он не только письма не написал или хотя бы открытки, но даже не зашел попрощаться! Вот и делай добро людям».

Сегодня редко звонит телефон у Сергея Владимировича. А на столе лежит его новая книга: «Я был советским писателем»...

«Русская сказка»

Я был взволнован и насторожен, когда однажды меня позвали к телефону в нашей коммуналке и кто-то спокойным официальным голосом сказал, что со мной хотел бы встретиться начальник протокольного отдела МИДа СССР Федор Молочков «для решения крайне важного вопроса». Был назначен день и час в главном здании МИДа на Смоленской площади. «Наверное, снова будут стращать и заставлять уехать из Москвы», – в унынии размышлял я. Но у меня же есть теперь, благодаря С. В. Михалкову, временная прописка на жилплощади сестры Майи Луговской, по Краснознаменному переулку. Мой благодетель прорабатывал даже возможность получения однокомнатной квартиры при условии, что я откажусь от двух своих комнат в Ленинграде, владельцем которых я стал после кончины моей тети А. К. Монтеверде. «Надо идти по ступеням, – говорил Сергей Владимирович. – Надеюсь, что я тебе смогу помочь в получении маленькой, но своей квартирki, что даст тебе возможность поступать в Московский Союз художников. Не все же тебе жить на чужих четырех „квадратах“».

Обо всем этом думал я, входя в роскошное здание Министерства иностранных дел. В руках – пропуск, вложенный в паспорт с временной пропиской. Гулкая высота сталинской громады, роскошные бесшумные лифты, и всюду – посты, охрана. Федор Федорович, старый мидовский волк, мужчина лет шестидесяти, в прекрасно сшитом костюме и в белоснежной рубашке, прищурил свои умные глаза. В МИДе он работал очень давно, еще, как говорили, при Сталине. Рассматривая меня с видимым благожелательством, он спросил: «Чаю или кофе?» «Что вы, то и я», – ответил я. «Времени у нас мало, и я сразу перехожу к делу: западная пресса, как вы знаете, о вас шумит, никто не знает, где вы скрываетесь – но очень многие интересуются вами. Я имею указание Никиты Сергеевича встретиться с вами и обсудить весьма важное дело». Не притрагиваясь к чаю, я вцепился в ручки кресла, на котором сидел, и чувствовал себя так, словно на меня на всех парах надвигался паровоз. Ф. Ф. Молочков продолжал: «Самый уважаемый человек в дипломатическом корпусе, аккредитованном в Москве, – это господин Рольф Сульман; он дуайен, что по-нашему – староста всех дипломатов, живущих в Москве. Он дольше других живет в Москве, и потому дипкорпус избрал его дуайеном». Молочков вдруг вскинул на меня глаза, как на допросе, и вкрадчиво спросил: «Вы знакомы с ним и его женой?» «Нет, что вы, – искренне замахал я руками. – Во время моей выставки мне вообще запретили разговаривать с иностранцами». «Короче говоря, – Федор Федорович мельком взглянул на часы, – его жена, мадам Сульман, – княгиня Зинаида Александровна Оболенская. Когда-то княгиня, – продолжал он доверительно. – Молодой Сульман приезжал к нам в Москву еще по линии АРА – комиссии американской помощи голодающим Поволжья, где и познакомился со своей будущей женой. Так вот, княгиня Оболенская во время одного из приемов обратилась напрямую к Никите Сергеевичу Хрущеву. Она восторженно говорила о вас, сказала, что обращалась в своих безуспешных поисках найти вас в Министерство культуры и Союз художников. Ей во всех инстанциях отвечали, что не знают, где вы. Не скрою, распушен слух, что вас посадили. – Он как бы с укоризной посмотрел на меня взглядом доброго следователя: – Вы не догадываетесь, почему она вас разыскивает?» «Н-н-е-ет, не догадываюсь», – ответил я, еще сильнее цепляясь в ручки «сталинского» кресла, поймав себя на мысли, что слово «нет» я словно проблеял. Молочков удовлетворенно кивнул головой: «Она просила Никиту Сергеевича прислать вас, чтобы вы написали ее портрет, который она хочет оставить своим детям на память от русской матери. Она вас считает лучшим портретистом Европы».

Молочков откинулся в кресле и отечески сказал: «Пусть у вас голова не кружится от такого комплимента – это ее личный вкус. Я лично, – добавил он, – очень люблю портреты Крамского, Репина и Валентина Серова. Вашу выставку не видел, хоть о ней очень много читал в буржуазной прессе и радиоперехватах». Он снова перешел к делу: «Где вы живете, сколько возьмете за портрет и есть ли у вас студия, куда бы вы могли пригласить мадам Сульман?» Выслушав меня, он решительно произнес: «Придется писать портрет у них в шведском посольстве». Я занервничал: «Где находится шведское посольство? Как я туда попаду и не будет ли это поводом обвинить меня в том, что я шведский шпион?» Молочков поморщился: «Ну уж, зачем вы так мрачно рисуете ваше будущее – повторяю, это указание самого Никиты Сергеевича, который очень уважает чету Сульманов».

Набирая номер телефона, шеф протокола МИДа сказал: «Я сейчас дам необходимые указания управлению по обслуживанию дипломатического корпуса – УПДК. Его возглавляет товарищ Артемьев, а заместителем у него товарищ Федосеев». Молочков подбадривающе улыбнулся: «Все будет официально, Илья Сергеевич, ваше дело написать хороший портрет и, само собой, не ронять достоинство советского человека».

После этого разговора прошло несколько недель. И снова Сергей Владимирович Михалков возмущался в трубку: «Его выставка в Москве была триумфальной, Паоло Риччи в Италии издал книгу о нашем молодом советском художнике. Я его отвел в журнал „Молодая гвардия“, по заданию которого он будет работать над серией портретов ткачих Трехгорной мануфактуры. Фурцева разрешила его прописать

в Москве, Сейчас я пробиваю ему однокомнатную квартиру. Зачем же давать поводы иностранцам плохо думать о нас?» Сергей Владимирович продолжал говорить с кем-то со всей возможной убедительностью. «Позор, что двери Союза художников для него закрыты! И еще. Сегодня Глазунов пришел ко мне и сказал, что его вызывал Молочков, причем по указанию Никиты Сергеевича. Ему двадцать восемь лет, а жить ему нигде и мастерской у него нет. Я считаю, что отдел культуры ЦК должен проявить к нему интерес, а не записывать его во враги народа». Сергей Владимирович вдруг переменял тон: «Ну, ладно все о Глазунове да о Глазунове, скоро ведь у тебя день рождения? Где ты его будешь справлять? Опять на даче? Обязательно буду, у меня новая книжка вышла, я твоему внуку привезу. Мне тут предлагают создать киножурнал „Фитиль“, как ты к этому относишься?» Заканчивая разговор, снова напомнил: «Я принимаю активное участие в судьбе этого талантливого человека – даже поругался из-за него со своим двоюродным братом, художником Глебовым, который возглавляет молодежную секцию в Союзе художников. Они ему все люто завидуют, а Глазунов в полном г... сидит в своей каморке и никаких заказов не имеет, кроме случайных портретов писателей».

Сергей Владимирович устало посмотрел на меня своими добрыми глазами: «Деру за тебя, дурака, на каждом шагу глотку. В Московском комитете партии обещали помочь. У них за выездом какая-то однокомнатная квартирентка освобождается в Ананьевском переулке, восемнадцать метров, жаль, ванны нет. Напишешь заявление, а я приложу свое ходатайство депутата». Думая уже о чем-то своем, посоветовал: «А насчет портрета дипломатической дамочки пока повремени – такое могут пришить, то не отмоешься. Я сам поговорю с Молочковым – мужик хороший, хитрый как лис: все кругом меняется а он сидит себе на своем кресле».

Мой благодетель, как всегда, был прав... Узнав о том, что я должен писать портрет «матерого врага советской власти» госпожи Сульман, писатель Ажаев (автор книги «Далеко от Москвы») пришел в ужас и тут же отказался от уже заказанного портрета, а в виде компенсации «за моральный урон» прислал мне в подарок свой костюм, в котором, слегка ушив его, в конце концов я явился шведское посольство. Действительно, все было как в русской сказке: шведское посольство находилось как раз напротив дома, где я жил, на улице Воровского (ныне Поварская). Мне оставалось только спуститься в лифте, перейти улицу – и вот он, особняк в стиле модерн, и я перед светлыми очами русской княгини, лицо которой излучало приветливость, а умные серые глаза испытующе разглядывали меня. Скользнув взглядом по «ажаевскому» костюму (который я бережно хранил в целлофановом мешке в своей каморке, как герой из известного тогда фильма «Мечта»), княгиня сказала: «я так рада, что наконец вас вижу, а то уж я невеста что подумала. Такое впечатление, что мы с вами давно знакомы. Мне, кажется, удалось понять вашу душу через ваши искренние и очень русские произведения. Мы сочли своим долгом помочь вам, как можем – и улыбнувшись своею величественно-доброй и чуть насмешливой улыбкой, закончила: – Я очень благодарна господину Хрущеву, который внял моей просьбе!»

* * *

У меня до сих пор хранится официальный документ, подтверждающий, как и почему я начал работать над портретом госпожи Сульман.

Управление по обслуживанию дипломатического корпуса

№ ОК/50 10 апреля 1958 г.

Посольству Швеции

Согласно Вашей устной просьбе Управление по обслуживанию дипломатического корпуса направляет на переговоры об использовании на работе в Посольстве в качестве художника для выполнения портрета г-жи Сульман гр-на Глазунова И. С., рождения 1930 года, проживающего по Кр. Казарменному пер., д.3, кв. 18, паспорт Ш-ПА №522435, выданный 17 отделением милиции в 1953 г.

Зам. начальника управления

(Г. Федосеев).

...Если бы во время вальса с Фурцевой С. В. Михалков не «выбил» бы мне временной прописки, я, очевидно, не имел бы права получить такую бумагу. Я никогда не был в Красноказарменном переулке, потому что Майя Луговская, глядя на свою милую тихую родственницу, сказала: «Не бойся, ты его даже никогда не увидишь, он не претендует жить на твоей площади; ему просто нужен штампик в паспорте, что он временно прописан, а не является бездомной собакой из Ленинграда».

Забыл сказать, что еще в мае 1957 года благодаря содействию Риты Фирюбиной, приятельницы Тома Колесниченко, Е. А. Фурцева на моем письме, где я просил оказать содействие в получении мастерской в Ленинграде, написала лично т. Смирнову Н. И.: «Прошу Вас оказать помощь». Если мне не изменяет память, т. Смирнов Н. И. был тогда председателем исполкома Ленсовета. Он принял меня в своем кабинете в Мариинском дворце. Тучно-отечный, он словно сверлил меня своими глазками и недоумевал, как мне

удалось получить такую резолюцию от секретаря ЦК: «Вы вот тут беспокоите товарищ Фурцеву, желаете получить мастерскую в Ленинграде. Мы, руководство города, объясним товарищу Фурцевой, что вы не имеете права даже на самую крохотную мастерскую, так как не являетесь членом Союза художников и по распоряжению руководства Академии художеств СССР и вашего института имени Репина обязаны будете уехать из Ленинграда преподавать, если не ошибаюсь, в Ижевск. Вы восстановили против себя всех и, опираясь на неизвестно как полученную резолюцию товарищ Фурцевой, хотите толкнуть меня на незаконные действия. Вы обязаны уехать из нашего города согласно подписанному Вами распределению. Ясно? Но если вам даже и Эрмитаж дать под мастерскую, вас все равно никогда не примут в ленинградский Союз художников». Я ушел как оплеванный, а позднее услышал, что Смирнов из-за каких-то махинации был снят с работы, а в рабочем сейфе у него нашли коллекцию бриллиантов. Не могу ручаться, была это сплетня или реальный факт. А тогда, после такого «приема», выйдя на площадь перед Мариинским дворцом, я долго и безнадежно сидел на гранитных ступенях и смотрел – в который раз – на дивный памятник государю Николаю 1, который словно мчался на Сенатскую площадь, чтобы подавить бунт «русских якобинцев» – врагов исторической России. Он отсрочил революцию на сто лет...

* * *

Но возвращаясь к портрету госпожи Сульман. Зинаида Александровна Оболенская во время сеанса доверительно рассказала мне о том страшном времени, когда она встретила в Москве своего будущего мужа, шведа Рольфа, и о дальнейшей судьбе своей: «Мне вначале было очень трудно в Швеции, где издавна царит историческое неприятие русских. – Она грустно улыбнулась. – Ну, знаете – русские варвары, темные, забытые деспотией монархии, ленивые, не умеют работать и т. д. и т. п... Мне понадобилось много усилий и выдержки, чтобы сломить у родственников мужа предубеждение против России, которая стала жертвой международного коммунистического эксперимента».

Мы сидели в высоком зале роскошного дворянского особняка. Почтительные горничные подливали чай, а на придиванном столике в роскошной вазочке горкой громоздились печенья разной формы и вкуса, которые я пробовал впервые. Ее сын Миша был очень похож на мать. Он с любопытством рассматривал русского художника. «А вот наш почтенный, но вечно молодой викинг, господин Дитрикс. Он работает у нас в посольстве, несмотря на свой преклонный возраст. Шведский МИД очень следит за возрастным цензом своих дипломатов». Княгиня Оболенская пригласила господина Дитрикса принять участие в чаепитии. Седой великан с лицом варяжского дружинника, негибачекий в своей военной старорежимной выправке, дружески улыбнулся мне: «Я викинг из Петербурга, где наша семья жила до революции. А вот вошла ваша следующая модель – госпожа Ула Вахмейстер, она жена советника шведского посольства».

Высокие потолки особняка, отданного в аренду шведскому посольству, казались мне гигантскими мембранами, записывающими все наши разговоры, – И потому я старался быть предельно осмотрительным в своих ответах. Видимо, понимая это, Зинаида Александровна предложила мне однажды посмотреть их сад, прилегающий к улице Воровского. Солнечные лучи пробивались сквозь высокие деревья, по-летнему освещали дорожку сада и со шведской аккуратностью посаженные цветы. Княгиня посмотрела на меня и вдруг с мучительной болью в голосе сказала: «Вы не представляете, как мне тяжело жить! Здесь, в Москве, мои родственники, мой старый отец – профессор Московского университета. А я не могу их видеть, зная, какими репрессиями это может – обернуться для них... Вы не представляете, сколько я пытаюсь делать для России, хоть меня сковывает то, что я являюсь женой шведского посла. Вы для меня как глоток свежего русского воздуха; мне так хочется защитить вас и помочь»...

* * *

Геннадий Алексеевич Федосеев, заместитель начальника УПДК, жена которого очень любила «натюрморы» из цветов и фруктов, через некоторое время пригласил меня в свой кабинет. Недовольно изучая меня глазами, по-милицейски отрывисто сказал: «Что это на вас за галстук одет, на какой помойке вы его нашли? Да и костюмчик вроде с чужого плеча. Так, любезный, в дипкорпус ходить нельзя, не забывайте, что вы представляете советское искусство. Вы должны выглядеть прилично». Подавляя в себе бешенство обиды, я ответил: «Вы абсолютно правы, Геннадий Алексеевич, и при первой же возможности я куплю себе костюм, галстук, рубашку и черные ботинки». Удовлетворенный моим ответом, товарищ Федосеев вдруг улыбнулся: «По нашим сведениям, у вас все идет хорошо, Сульманиха довольна вашей работой». И уже с оттенком юмора продолжал: «Я ведь тоже своего рода дипломат, а у меня есть жена Раиса. Хорошо, если бы вы соорудили ее портрет. Приезжайте к нам домой завтра в 17.00».

Я долго трудился над портретом жены Геннадия Алексеевича, у которой было приятное и доброе лицо. Федосеев пожелал, чтобы она надела платье для вечерних приемов. Когда я закончил портрет, он

небрежно посмотрел и как бы мимоходом заметил: «Здорово! Понимаю, почему Сульманиха так вас добивалась. Замечание у меня одно: у моей Райки морда поширше!» И захохотал, а Раиса раздраженно отпарировала: «Илья нарисовал точно – ты на себя лучше посмотри, все костюмы малы стали: не надо на приемах столько жрать!»

...Спустя много лет в Доме журналистов Федосеев познакомил меня со своей новой женой. Обнимая меня, он в пьяном угаре сказал: «Илья, как я рад тебя видеть и представить тебе мою новую жену. Я давно ушел из УПДК». Он вдруг посмотрел на меня совсем трезво: «Я все помню, немало из-за тебя горя хлебнул. Тогда твоя шатия-братия написала донос, что ты не помогаешь строить коммунизм... На тебя всегда со всех сторон стучали, как ни на кого, а я все на свою богатырскую грудь принимал, – и как бы в подтверждение этого он стукнул себя по груди кулаком. – А я сейчас работаю в журнале „Новое время“ – это тебе не хухры-мухры, – да и не из детского сада я туда попал, как сам понимаешь». Жена Геннадия Алексеевича, хрупкая женщина, казавшаяся старше его, улыбаясь, смотрела на нас, а кругом гудело веселье. Посетители ресторана Дома журналистов, чокаясь, принимали «шампанзе на грудь», что на языке тех лет означало выпить шампанского. Праздновали чей-то юбилей!...

* * *

С. В. Михалков с присущим ему юмором говорил: «В гости избегаю ходить: вхожу, здороваюсь и вижу, что у каждого на морде написано: „Что еще у Михалкова попросить?“ А я после встречи с детским писателем выходил, исполненный надежды и веры, что моя жизнь хоть и в тупике, но не безнадежном, откуда, взявши за руку, выводил меня Сергей Владимирович. Как всегда, ежеминутно звонил телефон: звонили из Москвы, из провинции из Европы и Америки.

Однажды, в коротком перерыве между звонками, писатель раздраженно и горестно вздохнул: «Эх, Ильюша, не все, как ты, испытывают благодарность к людям, которые им помогают. Меня попросили помочь твоему собрату, художнику из „Крокодила“ Сойфертису. Живет он плохо, мастерской нет, а карикатурист очень талантливый. Помог. И что же, как мне передали, он сказал? „Подумаешь, один раз позвонил – всего-то хлопот“. Неужели непонятно, – возмущался Михалков; – что когда любой человек просит у начальства, ему делается прокол в „талоне“ его просьб! Нельзя же все время просить! Каждая просьба выпадает в осадок и становится моральным обязательством перед теми, у кого просишь».

Снова зазвонил телефон: «Да, да, я уверен, что наши писатели, когда их возвращаешь и приводишь в движение маховиком общественной жизни, производят иллюзию единства. Когда машина останавливается, они начинают друг с другом ругаться. Но писатели и поэты еще ангелы по сравнению с клоакой Союза художников. Вы спрашиваете, почему клоака? Потому, что я с этим столкнулся, ими в большинстве случаев движет зависть, кастовая предубежденность или идейная несовместимость».

Положив трубку, Михалков сказал: «Может, мне удастся поменять твой Ананьевский переулок на однокомнатную квартиру на проспекте Мира, у нее важное преимущество – шестиметровая кухня и отдельная ванна». Мы с Ниной ликовали, посмотрев эту светлую квартиру на проспекте Мира в новом доме, ставшем известным в Москве как «Дом обуви». По прошествии определенного времени я пришел к Сергею Владимировичу с какой-то очередной просьбой. Он усадил меня против своего кресла под ампирной люстрой с венчающим ее бронзовым орлом и доверительно начал: «Старик, ты вот все повторяешь, что квартира на Ананьевском выданная тебе, принадлежит мне, равно как и с большим трудом выбитая однокомнатная дыра на проспекте Мира. Ты там уже прописан и перевез с Ананьевского диван и стол. У одного нашего друга случилось большое горе. Ты его прекрасно знаешь – это Мишка Кирсанов, с которым я и Юлик Семенов ездим на „партийную“ охоту, хоть я, признаться, не очень люблю охотиться. Ну, так вот. На днях Мишка, придя с работы, открыл ключом дверь – она у него открывается вовнутрь в тамбур. Почувствовал что-то мешает, как будто какой-то мешок изнутри. Он руку между дверей просунул и наткнулся на препятствие. Это был холодный труп его дочери. Ее изнасиловали друзья по классу на одной из вечеринок по случаю окончания школы. Она этого не могла пережить и повесилась между дверьми. Он дома не ночует, почернел от горя... Говорит, что больше не может входить в эту квартиру».

Сергей Владимирович провел рукой по своим гладко зачесанным, аккуратно подстриженным волосам и посмотрел мне в глаза: «Поскольку ты, Ильюша, говоришь, что квартира на проспекте Мира моя, я очень прошу: не мог бы ты поменяться с Мишкой квартирами? Однокомнатную на однокомнатную. После бесчисленных разводов Кирсанов проживает в хреновом доме новостроечного района около площади Ромена Роллана на первом этаже, в „хрущевке“, – дома плохие, но жилищная проблема все-таки для таких, как ты, решается». В душе я содрогнулся, представив себе, что мне тоже придется каждый день открывать ту самую дверь...

Кирсанов, военный врач, был поменьше ростом, чем Сергей Владимирович, но носил такие же «белогвардейские» усы, любил охоту и женщин. Я вспомнил, как улыбка преображала его интеллигентное лицо, обнажая два передних зуба, как у веселого зайца Уолта Диснея. Ни секунды не задумываясь и не опуская глаз под пристальным взглядом моего благодетеля, я ответил: «Сергей Владимирович, я всем обязан вам и повторяю, что квартира, равно как и московская прописка, получены мной только благодаря вам, следовательно – она ваша». Сергей Владимирович меня обнял: «Старик, я знал, что ты так ответишь. Ты благородный человек. Я с Мишкой еще с фронта дружу. – И, словно убеждая в чем-то себя, добавил: – Ведь в каждой квартире кто-то когда-то умирал, а люди живут. Жизнь остановить нельзя». Лицо Сергея Владимировича стало серьезным: «А теперь я тебя предупреждаю в последний раз: после того, как ты стал писать дипломатические портреты, ты находишься „под колпаком“, на тебя все стучат. Не надо быть гением, чтобы понять, что твой телефон на Ананьевском прослушивается как и на проспекте Мира будет прослушиваться. Там, где, положено, я думаю, уже скопилось многотомное собрание доносов на тебя. Недаром мне в ЦК говорят, что ты человек с гнильцой и из тебя прет антисоветчина. Пускаешь к себе черт знает кого, каких-то подонков, которые себя выдают за твоих доброжелателей. Если так дальше будет продолжаться, я тебе помогать не смогу, и ты ко мне не ходи. Мне партия и правительство доверяют, меня все знают, я за тебя поручился. Не подставляй меня и себя, дурака. Тебе никогда не простят твою выставку, шумиху капиталистических газет и не в меру смелые суждения».

Сергей Владимирович встал и, размахивая указательным пальцем перед моим носом, почти прокричал: «Пойми, ж..., против тебя все, и единственный, кто тебе хочет помочь – это я. И не такие, как ты, гремели и кончали там, куда Макар телят не гонял.» Он кричал на меня (как, случалось, и на своих детей), а глаза оставались добрыми! И тут скажет, как будто что-то вспомнив, он взял меня за пуговицу пиджака и, глядя сверху вниз, с высоты своего богатырского роста, совсем другим тоном сказал: «Ты ко мне не сможешь ходить».

«Почему? – удивился я. „А потому, что Наталье Петровне сказали, будто ты ругаешь живопись ее отца, Кончаловского“. „Я никогда не ругал Кончаловского, ей Богу, тем более что это отец Натальи Петровны. Михалков улыбнулся саркастически: „Я знаю, у тебя хватит ума не ругать Кончаловского, но „Бубновы валет“ ты же крыл, а Петр Петрович был одним из его столпов, – тебе надо это учитывать, если ты дружишь с моей семьей“. Сергей Владимирович кивнул головой на стену своего кабинета, завешанного произведениями Петра Петровича. „Но ведь работы зрелого и позднего Кончаловского ничего общего с „Бубновым валетом“ не имеют“, – вставил я. „Говорю тебе: язык твой – враг твой“.

Сергей Владимирович заторопился, опаздывая на какой-то очень важный прием, где должны были быть аж два помощника Хрущева. Застегивая пальто, сказал: «Главное, старик, у тебя прописка есть. Теперь тебе нужно три характеристики от членов Союза художников. Большинство из них, как ты знаешь, тебя ненавидят. Единственный, кто согласился, Орест Верейский. Очевидно, готов дать и Георгий Нисский – очень милый и талантливый человек. И Пономарев сказал, что подумает, но добавил при этом, что, поддержав тебя, он обрушит на свою голову гнев не только Союза; но и Академии художеств СССР. Все боятся твоего учителя Иогансона после его статьи „Путь, указанный партией“. Целуя меня у дверей распахнутой черной „Волги“, С. В. совсем ласково сказал: „Не мешай мне помогать тебе во имя твоего таланта“.

* * *

Мне памятна моя дружба в те годы с польским журналистом и аспирантом Московского университета Здиславом Дудзиком. Бешеной активности, небольшого роста, всюду успевающий Здислав всячески поддерживал дух моего сопротивления, считая меня, в свою очередь, фантастически энергичным «фацетом» (фацет – по-польски парень). Он как ребенок радовался свидетельству великого мексиканского художника Сикейроса, написавшего на портрете, для которого он позировал мне в гостинице «Москва» всего 10 минут, так как опаздывал на самолет: «Глазунов – великий художник... Все, кто его не понимают, – дураки. Я его приветствую. 1958 год». По просьбе Здислава для польских журналистов я сделал портрет талантливой и красивой, сразу завоевавшей мировое признание Тани Самойловой. Сегодня фильм «Летят журавли», где она играет главную роль, созданный режиссером Калатозовым, стал мировой классикой кинематографа. Не помню точно, когда я рисовал портрет Калатозова, но помню, как после работы, за чаем, его мужественное лицо изменила неожиданно лукавая усмешка: «Вам нравится мой костюм?» – спросил он у меня. «Да, весьма элегантно», – несколько смутившись, ответил я. «Я до сих пор не могу понять, как его сшили за сутки». «Как это так? – полюбопытствовал я. – Почему за сутки и кто шил?» «Вам не надо объяснять, Илья, что режиссер, как и актер, должен присутствовать на приемах и всегда элегантно выглядеть. Костюм – это наша форма, – сказал Калатозов. – Мне его сшили в Варшаве». При этих словах мой друг Дудзик радостно заулыбался и закивал головой. «Все наши, – продолжал великий режиссер, – попадая в Варшаву, заказывают костюмы

у старого портного, еврея, фамилия которого не то Шнейдерович, не то Рабинович». Стукнув чашкой о блюдечко, Калатозов продолжал: «Я не люблю рассказывать анекдоты, но этот не анекдот звучит как анекдот. Старый, чуть ли не восьмидесятилетний чудо-портной, кстати, по-моему, выходец из России, судя по знанию им русского языка. Обмеряя мою грудную клетку, он спросил: „Пан Калатозов, а кто вам шил этот костюм?“ „Я не помню имя портного, шили мне его в Литфонде, в Москве“. „Угу“, – хмыкнул в ответ варшавянин в жилетке. Через несколько минут, – продолжал Калатозов, – держа во рту булавки, старик снова спрашивает: „Пан Калатозов, кто вам все-таки шил этот костюм, который на вас?“ Забыл, думаю, по старости, что он об этом только что спросил, – улыбнулся Калатозов. – Когда маэстро опустился передо мной на колени, обмеряя длину и толщину ног, он поднял на меня снизу безучастные глаза и в третий раз задал тот же самый вопрос. Не скрою, я уже с нескрываемым раздражением ответил, что не помню имя портного, но шили его в Литфонде в течение трех недель. Рот старика-еврея раздвинулся в иронической улыбке: „Ну почему вы такой нервованный, пан Калатозов? Мне вовсе не нужно знать имя портного, мне нужно знать, кто он по профессии“. И вот, – Калатозов показал ладонью от галстука до колен, – я до сих пор хожу в костюме, сшитом мне всего за сутки старым маэстро из Варшавы».

Все засмеялись. Нина подливала чай, а Дудзик вкрадчиво спросил: «Некоторые критики считают, что ваш замечательный оператор Урусевский испытал влияние Глазунова судя по построению и настроению его кадров». «Этого я не знаю, – сухо ответил Калатозов, – но выставку Ильи мы видели, и она произвела на нас большое впечатление».

На Ананьевском у меня впервые в жизни появился свой личный телефон – нашей радости с Ниной не было предела. В Ленинграде и в Москве я всегда пользовался, как и большинство советских людей, коммунальным телефоном, стоящим в общем коридоре. И я был так рад этому обстоятельству, что не сердился на моего польского друга, когда он звонил мне в восемь утра с очередной просьбой-приказанием: «Старик, – слышался голос неугомонного Здислава, – после того, как ты нарисовал три недели назад Элизабет Тейлор и Майкл Тодда, наш драгоценнейший польский журнал „Фильм“ просит тебя нарисовать портрет Марио дель Монако, который тоже приехал в Москву – читай советские газеты! Он, как и Элизабет Тейлор, остановился в гостинице „Националь“, запиши его телефон». Помню, спросонья я ответил бешено-энергичному Здисеку: «Мне звонить, как ты знаешь, неудобно, я никому не навязываюсь, а если это нужно журналу, то было бы неплохо, если бы ты сам договорился». Через несколько часов пан Дудзик позвонил снова: «Марио дель Монако тебя ждет, он много слышал о тебе. Мы пойдем к нему вместе, а для начала он пригласил нас на свой концерт. Москва гудит – билетов не достать». Я повесил трубку и только потом осознал, какая великая встреча меня ждет. Марио для меня больше, чем певец – это непостижимая духовная тайна. Его божественный голос давал силу, звал к подвигу. Как мне помогало встать с колен великое искусство! Мой любимый певец Федор Иванович Шаляпин, – слушая его, я ощущаю себя русским. Слушая Джильи, Марио дель Монако, а сегодня Паваротти, я ощущаю себя европейцем.

Музыка звучит

Напротив Русского музея, в бывшем здании Дворянского собрания находится филармония. Как любили мы, усталые от лекций, в приподнятом настроении вбегать в зал с роскошными колоннами и люстрами. С замиранием сердца ожидал мгновения, когда дирижер взмахом магической палочки вызовет к жизни невидимые миры волшебных звучаний, подчиняющие волю человека так, как не может подчинить ее самое реальное физическое насилие. Музыка – самое магическое, самое могучее таинство человеческого духа. Не случайно в древнем Египте музыка была под жестким контролем жрецов, понимавших ее великое воздействие на людей, а в Абхазии, согласно древней традиции, музыкой лечили больных.

Человеческий дух сообщает звуку – первоисточнику музыки – гармонию. Понятие прекрасного во многом определяется национальным бытием. Художник-творец создает свой мир образов, в котором находят выражение его философские национальные идеи. В творчестве всегда содержится волевой элемент, желание преобразовать мир согласно высокому духовному идеалу. Творчество есть созидание новых духовных ценностей, внесение новизны в бытие. В этом вечная юность творчества, вечная юность его свободы.

Бетховен утверждал, что главное для творца быть добрым. «Чувства добрые я лирой пробуждал», – говорил наш Пушкин. Джильи с детства помнил слова своей матери: «Если хочешь быть хорошим певцом, будь добрым человеком». И как же много зла в «современном» искусстве XX века!

В век понижения духовных ценностей стремление к духовному совершенству заменено погоней за материальным комфортом. Живопись порой доведена до уровня рабского фотографирования мира, исключаящего дух творчества, или до ребуса ответа, когда произвол «самовыражения», согласно инспирируемой моде, выдается за свободу индивидуальности. Скульптура выродилась в муляж паноптикума или бессмысленное нагромождение из металлолома; «окаменевшая музыка» архитектуры заменена инженерно-функциональной конструкцией, которая не функциональна. Купание Фрины в

голубых волнах морского прибоя обернулось порнографией и стриптизом. Все на продажу! «Деньги – товар – деньги»!

Те цельность, гармония и понимание высокого назначения человека на земле, которые бессмертно живут в искусстве античности, в XX веке сохранились, мне кажется, в культуре итальянского пения. Бастионом классической оперы остается, несомненно, Миланский театр Ла Скала.

Вот почему для нас сегодня особенно дорого высокое искусство и совершенное мастерство итальянских певцов – Карузо, Пертиле, Тито Гобби, Тито Руфо, Галли Курчи, Марио дель Монако и других певцов итальянской школы. Слушая пьянящий голос Джильи, уносишься под синие небеса Италии, в словно ожившие гравюры Пиранези, когда сладостно сжимается сердце и хочется благодарно удивляться человеческой красоте земного бытия. Кто хоть раз услышит Джильи, тот навсегда попадает под волшебство ее поющей души. Джильи – это сила и нежность, как живопись у мастеров венецианской школы высокого Возрождения... Это Джорджоне в музыке!

Когда северный злой ветер леденил душу, когда ненастье мокрым снегом заметало одинокие следы по-петербургски пустынной набережной Екатерининского канала, мы, трое друзей, уходили от собирателя музыкальных записей и пластинок, напоенные радостной, все преодолевающей силой великого искусства. Голоса Джильи и других мастеров бельканто сопутствовали нам как солнечные лучи, мы забывали пронизывающую стужу и морозную мглу, шагая вдоль бесконечных решеток ночных каналов, стараясь не разговаривать, чтобы дольше сохранить в душе чары гениальных итальянцев.

...В пустой холодной квартире в ящике старого буфета я нашел десятки старых пластинок из коллекции двоюродного брата, убитого в первые месяцы войны на острове Эзель. Большие, черные, маленькие, прозрачные, гнущиеся, как лист бумаги, они дарили такую несказанную радость, когда старый довоенный патефон преображал немую тишину унылого жилища. Музыка Глинки, Чайковского, Рахманинова заполняла, казалось, все пространство души и мира...

Когда я слышал торжественно-просветленного Баха; героического Бетховена с его мужественным преодолением страдания; Моцарта, исполненного искрящейся солнечной радостью; или таинственно-прозрачный, строгий, как древняя сага, концерт Грига, – то в быстротекущей повседневности словно выявлялся сокровенный смысл жизни, постигаемый с помощью музыки. И в течение всей моей жизни, в самые трудные минуты она была моим другом, наставником и утешителем. Музыка была тои атмосферой, в которой мое смутное, как у каждого в юности, «я» обретало необходимую силу для борьбы, помогающую найти себя и свой путь, свое призвание. Каким родным и трогающим душу был голос Федора Ивановича Шаляпина! Как близки и понятны его образы русской душе!...

* * *

...Юность – это бунт, половодье чувств, бурные стремления, прибой слепых страстей, думы о подвиге и бессмертии, постоянное самоуглубление и самопознание. Вера и неверие в авторитеты. В чем суть моего «я»? Если кто-то что-то отвергает, может быть, именно там и правда? Формальные запреты и фактическое отсутствие «массовости» убеждений всегда притягивают к себе неосознанной бунтарской силой. Одиночество – удел ли только XX века? Искусство – мост, соединяющий сердца и души.

Теперь как-то особенно понимаю, что в те годы петербургской юности я был совсем другим, нежели стал потом в Москве. Пути и чары «серебряного века», великая Европа с ее «святыми камнями» и мощью католической культуры прошедших веков незримо и мощно влияли на меня. Я был словно замурован в себе, в своих симпатиях, мучительно искал выхода... И только в Москве, соприкоснувшись с православной культурой Древней Руси, которую так не любил основатель великого города на невских берегах император Петр Первый, я по-настоящему осознал себя русским.

Великие творцы, вы всегда светите нам, как звезды во мраке! Как прожили вы свою жизнь на земле? Какими были в малом, какой духовной аскезой, каким подвигом открыли Бытие Божье и врата в вечность?

...Один мой сокурсник-студент зло говорил: «Не надо мне Баха, Бетховена и Рахманинова. К черту классику! Соприкасаясь с нею, я чувствую, как я плох, как низменна моя духовная жизнь. Послушаем лучше современную музыку, ее веселые ритмы. Ритм баюкает и подчиняет. Я на „ты“ с ритмом. К черту мелодию!» Как мог я с этим согласиться! Классическая музыка наполняет душу восторгом и жадной жаждой подвига. Как высится, словно Гималаи, великая музыкальная культура нашей цивилизации над всеми этими пошлыми будничными нашептываниями в микрофон или немыслимым грохотом «рока» (вот уж действительно злой рок века!). А о чем грохочут? О мелких мыслишках и ничтожных чувствах самодовольного обывателя, попавшего в западню сатаны! А ведь то же самое вползло и в живопись...

Мы мучительно искали ответа на сжигающие нас вопросы, стремясь понять великие уроки и наставления «Вечных спутников человечества». И каждый раз убеждались, как они вроде бы далеки от

нас и как вместе с тем глубоко современны в сравнении с изысками преходящей моды, что именует себя современной. А что и кому дает право называться современным?

...Дом спит, как огромный человеческий улей. Говорят, здесь жил когда-то художник Максимов. Должно быть, и он, поднимаясь по лестнице, видел внизу поленицы мокрых дров, лужи и трепещущее на ветру белье на веревке, при вязанной одним концом к водосточной трубе, другим к тумбе у помойной ямы в углу...

Дома тепло. За стеной спят соседи. Хорошо, глядя в мертвый зеленый глаз приемника, отыскать в эфире и войти в могучий ураган духовных сражений гениального Бетховена, насладиться печалью просветленных слез великого Баха. Странно слышать аплодисменты большого далекого зала, смеющегося где-то над неуклюжим, сытым юмором конферансье. Чужды мне и ритмы негритянского дикого джаза, горящего радостно-животным жаром первобытной жизни...

* * *

Рядом с Академией на Второй линии Васильевского острова жила Марина Дранишникова, удивительно талантливое музыкальное явление. Пишу – явление, потому что в Марине переплелись для меня воедино чудо музыки, глубокий трагизм ее судьбы, созвучной и неуловимыми нитями связанной с миром музыкальных образов Скрябина и Рахманинова. Сколько раз, входя в мрачный колодец старого петербургского двора, мощенного булыжником, поднимаясь по стоптанным каменным ступеням бывшего наемного дома, я уже был захвачен могучим прибором музыки – она вырывалась из узкого ущелья двора и рассыпалась в бездонной неяркой синеве ленинградской весны. Это означало, что Марина дома. Стройная, сочетающая в себе женственную хрупкость с напряженной силой, она отворяла незапертую дверь, из которой стремительно выскакивали многочисленные кошки. Ее лицо поражало: я, наверное, никогда не смогу его описать, потому что у нее, как мне казалось, целая тысяча лиц. Постоянными были лишь огромные серо-зелено-фиалковые глаза. Она жила одна в маленькой квартире с необычайно высоким, как во многих старых домах Ленинграда, потолком, темным от копоти. На стене висел большой портрет ее отца, знаменитого советского дирижера Владимира Дранишникова, и известной певицы Тугариновой – бабушки Марины, которая в свое время пела с Шаляпиным. Обои свисали по углам комнаты, в которой не было ничего, кроме рояля, продавленного дивана и огромного количества нот, партитур, запылившихся статуэток, свежих и давно увядших цветов. Она играет без конца. Я никогда не слышал лучшего исполнения Скрябина! Ее зрачки, как две планеты, то озарены пожаром, то затихают в темных провалах глаз. Часами слушаешь, забывая о времени. Марина своим побледневшим лицом и огромными глазами, обращенными словно внутрь себя, становится похожей на врублевскую «Музу». Она не просто исполнитель, она – творец, подчиняющий себе могучую музыкальную стихию. Кажется, что звуки, творимые ее сильными руками, обретают почти материальную силу, так что невольно рождается мысль о каком-то магическом действе. Двенадцатый этюд Скрябина – вихрь огневых звуков, окрыляющих душу. В восторге Скрябина есть и светлая радость, и нечто мучительно-жуткое, демоническое. Это тема непримиримой борьбы добра и зла – лучезарного света и беспросветного мрака. Бурный динамизм, напор чувств, свойственные гениальной душе Скрябина, делают его столь родственным Врубелю и Блоку. Он, как и они, весь устремлен к поэтическому постижению смысла человеческого бытия, скрытого мглой повседневности. Их объединяет творческая интуиция, безошибочное чувство времени, абсолютный слух Истории. Для их философии искусство – лишь средство постижения высших ценностей человеческого духа.

Уже в юности Марина виртуозно, по-мужски, исполняла сонаты Листа, «Полет Валькирий» Вагнера, «Пляску смерти» Сен-Санса – Листа, «Франческу да Римини» Чайковского и многое другое. Зная Марину долгие годы, радуясь ее растущему мастерству, я удивлялся не только тайне ее артистической натуры, но и тому, что эта блестящая пианистка и композитор не выступает с концертами перед широкой аудиторией – как много могла бы она сказать современнику, особенно молодежи, ищущей себя в мире. Потрясенные и переполненные до краев щедростью ее таланта, мы просим ее перед уходом спеть хотя бы один романс Рахманинова. Марина, как всегда, отказывается, ссылаясь на то, что она не певица, но наконец сдается. Ее немного глухой голос, низкий и страстный, звучит необыкновенно. Тонущая в сумерках петербургская комната. Золотой пожар заката зажигает окна в узком колодце двора. И волшебная музыка, и страстные стихи Дм. Мережковского...

О, нет! Молю, не уходи!

Вся боль ничто перед разлукой,

Я слишком счастлив этой мукой.

Сильней прижми меня к груди,

Скажи: люблю...

Стало почти совсем темно. Мы уходим под впечатлением последнего романа великого Сергея Васильевича Рахманинова, наполнившего душу радостью надежды:

Спросили они, как забыть навсегда,
Что в мире юдольном есть горе, беда?
...Любите – оне отвечали...

Как святыню, храню я рукописную книгу XVII века, подаренную мне Федором Антоновичем Каликиным, моим наставником в горнем мире русской иконы. Я всегда буду помнить его... Небольшая, в черном кожаном переплете с медными застежками, она изумляет высоким мастерством графического искусства. Какие затейливые буквицы, как радостно и чудно цветут причудливые травы на орнаментальных заставках! Над буквами, напоминающими клинопись, располагаются неведомые мне знаки.

«Это древнерусские ноты – крюки, – пояснил Каликин. – Сейчас. всему миру известны великие художники Древней Руси, а наши Рублевы в музыке до сих пор в забвении. И фактически большинство наших музыкантов и композиторов их игнорирует, несмотря на то, что более ста лет некоторые наши ученые ведут работу по изучению великого наследия древнерусской музыки, имеющей многовековую историю». «Но неужели до сих пор никто не овладел тайной прочтения древнерусских нотных знаков?» – спросил я. «Пока нет такого человека в мире, который постиг бы эту мудрость. Только нотная система уже второй половины XVII века доступна нам, да и то дальше кабинета ученого не идет», – сказал Федор Антонович сокрушенно.

И в самом деле: ученые спорили и спорят о происхождении, начале и путях развития русской средневековой музыки. Древняя Русь создала величайшую культуру, выраженную в зодчестве, литературе и живописи. Что мы знаем о древнерусской музыке? А на Руси любили и знали толк в музыке. Например, былинного героя Василия Буслаева отдавали учить искусству пения: «Пение ему в наук пошло, а и нет таких певцов у нас, в целом славном Нове-городе супротив Василия Буслаева».

А Садко, подобно Орфею, чарующий игрою на гуслях людей, зверей и даже мир подводный!
Не имел он золотой казны,
А имел он гусельки яровчаты...

Один поэт рассказывал мне, как в конце 60-х годов на Псковщине подарил ему старец свои гусли. Дарил и плакал: «Оставался я последний гуслиар, стар стал, света белого не вижу, умру скоро». Его слегка дрожащие старческие руки последний раз любовно коснулись струн: «Ах вы, гусли, гусли – гусельчики мои, заиграйте вы, гусли, при мне». Рассказывая мне это, молодой поэт смахнул слезу... Поэта звали Владимир Фирсов.

Приходится удивляться тому, как мы без жалостны, как преступно равнодушны к сокровищам русской народной культуры. Не бережем, не изучаем, не пропагандируем. До сих пор нет пластинок с записями наших древних былин. А они звучат словно гимны Ригведы. Какая родовая близость с ведическим миром славянских ариев!

Как и в живописи, в музыке русские создали свой мелодический стиль русского «знаменного» пения. В советские годы мало кто занимался этим. Мягко говоря, это не поощрялось! Зачем строителям светлого будущего знать эту устаревшую культуру церковников, когда нет Бога, а у пролетариев нет и Отечества?

Считаю нужным сказать об этом несколько слов. В древнейшем периоде на Руси существовали две самостоятельные нотации (системы нотных знаков) – кондакарная и знаменная. Первая из них была совершенно забыта, и даже ключ к ней, по мнению исследователей, потерян. Вторая же имела гораздо большую жизненную силу и, пережив татарское иго, послужила основой для знаменной нотации (крюковое письмо). Советский музыковед В. Беляев утверждает, что знаменная, или столповая, нотация является русским изобретением, «поскольку и по принципу ее строения и по значению ее знаков не сходна ни с греческой, ни с иными видами безлинейной нотации».

С XVII века началось активное проникновение на Русь западноевропейской культуры, что привело к столкновению двух ветвей культуры: – старорусской и новой, иноземной. В живописи это характеризуется явлением Ушакова, а в музыке появлением новой системы нотной записи, где напев излагался двумя нотациями – в две строки. Так называемые двоезнаменники дают ключ к пониманию древней нотации, как бы переводят «крюки».

Древняя Русь знала такое учреждение, как придворная капелла, члены которой назывались «государевыми дьяками». В XVI веке, например, пение входило в программу воспитания. В Москве существовала специальная школа пения Сильвестра Медведева. А известных новгородских «распевщиков» (певцов) Иван Грозный вызывал в Москву. Сам государь был композитором – он сочинял церковные песнопения.

Многое могли бы рассказать древнерусские певческие рукописи, хранящиеся в наших библиотеках, если бы их смогли расшифровать. Как это обогатило бы современную музыкальную культуру! Сколько у нас говорят о массовой хорошей песне – а толку? Думается, изучение заветов русской народной музыки помогло бы решить эту проблему.

Мелодии древнерусского пения сыграли огромную роль в формировании русской классической музыки. Гениальный Глинка, особенно в последние годы жизни, изучал наши древние напевы и русские народные песни. Балакирев, сочиняя фортепьянный концерт, решил использовать в одной из его частей старинную церковную тему, что вызвало горячее одобрение Стасова. Творчество Мусоргского и Римского-Корсакова также напоено красотой церковной музыки Древней Руси.

Римский-Корсаков! Никто, пожалуй, не ощущал, как он, музыкальных тональностей в цвете. Не случайно его связывала дружба с Врубелем, которого можно назвать музыкантом живописи, как самого Римского-Корсакова – живописцем музыки. Образы композитора вдохновляли Врубеля на создание удивительной «Волхвы», «Садко», «Берендея», «Весны», «Мизгиря», «Леля», «Купавы»...

«Пение и музыку он любил чуть ли не больше всех других искусств, – вспоминала певица И. Забела, жена художника. – Не обладая никакими специальными знаниями, Михаил Александрович часто поражал меня своими ценными советами и каким-то глубоким проникновением в суть вещи. Так было с партией Морской царевны и вообще с оперой „Садко“... Мне пришлось петь эту партию около 90 раз, и мой муж всегда присутствовал на спектаклях. Я однажды как-то спросила его: „Неужели тебе не надоело?“ „Нет, – отвечал он, – я могу без конца слушать оркестр, в особенности мелодии моря. Я каждый раз нахожу в них новую прелесть, вижу какие-то фантастические тона...“ Навсегда ушли гении тех лет, но нам они оставили искусство, веру и надежду...

Тесная связь музыки Римского-Корсакова с музыкальным искусством русского народа не ограничивается песенными цитатами и обработкой народных напевов. Связь эта гораздо глубже. Композитору удалось проникновенно, по-рублевски гармонично и совершенно вызвать к жизни былинный образ русского Одиссея – Садко, новгородского гостя который силой своего искусства побеждает враждебные стихии и покоряет человеческие сердца. Гений Римского-Корсакова дал новую жизнь миру духовного стиха древнерусской повести «Сказание о невидимом граде Китеже». Музыка его воплотила мерную поступь летописного повествования в «Псковитянке» и частушечное скоморошество, нашедшее выражение в «Сказке о царе Салтане». А «Снегурочка» – изумительная поэма о русской весне и русской любви, путешествие в страну русского народного языческого мифа! Как люблю я ее, как жаль мне тех, кто глух к этой красоте несказанной!

Но самым могучим выразителем великорусского духа в музыке был, конечно, Мусоргский, как никто воплотивший в своем творчестве подлинную Русь. В Пскове я впервые узнал о том, что детские годы Мусоргского прошли здесь, на Псковщине, где Россия открывалась ему во многом благодаря дружбе с няней-крестьянкой.

«Няня близко познакомила меня с русскими сказками, – писал Мусоргский, – и я от них иногда не спал по ночам. Они были главным импульсом к музыкальным импровизациям на фортепиано». А поездки Мусоргского в деревню, хождение по базарам в поисках «интересных русских типов», так роднящие его с Пушкиным! А желание проникнуть в «нутро», в самую сущность, самую душу человека? Вся жизнь Мусоргского странно перекликается с судьбой Федотова, с его терзаниями, со службой в канцелярии и департаментах, с непризнанием и страшной материальной нуждой, с полным пренебрежением к своему гению. А трагический финал жизни на железной койке Николаевского военного госпиталя, куда национальный гений был помещен – с учинением подлога – под видом денщика? Странная, трагическая судьба...

Как до Сурикова у нас не было исторической народной драмы в живописи, не было правдивых исторических типов, подлинной толпы, так до Мусоргского не было народной музыкальной драмы. «Не музыки нам нужно, не слов, не палитры, не резца; нет, черт бы вас побрал, лгунов, притворщиков e tutti quanti – мысли живой подайте, живую беседу с людьми ведите, какой бы сюжет вы ни выбрали для беседы с ними», – писал Мусоргский. Музыка гениального композитора Мусоргского, стремившегося к изображению «тончайших черт человека», распахнувшего драму русской жизни, ширь души русской, явила огромный размах эпических характеров и стала совершенно новым и пока последним значительным словом во всемирной оперной музыке.

* * *

Когда я думаю о народности музыкальной культуры, с благодарностью вспоминаю подвижников-пропагандистов народного хорового пения. Имена их все более и более забываются... А как нужны их деяния и творчество сегодня, в годину русской смуты, бешеных атак на нас сатанинского искусства.

Одним из страстных пропагандистов русской народной песни был Митрофан Ефимович Пятницкий. Как-то у букиниста мне встретила книга, на обложке которой были изображены русские крестьяне в народных костюмах. Книга называлась «Концерты Пятницкого с крестьянами». Перелистывая чуть пожелтевшие страницы, я еще и еще раз думал о том, как мало знаем мы о нашей музыкальной культуре, а ведь песня – это душа народа. Не могу удержаться, чтобы не познакомить читателя с выдержками из этой редчайшей книги:

«Вся музыкальная Москва приходила слушать концерты Пятницкого с крестьянами. Музыкальные критики помещали на столбцах московских газет восторженные отзывы: „Песни исполняемые крестьянами, очень интересны и по словам и по напевам: среди них есть прямо жемчужины, но особенную окраску и значение они получают в народном исполнении“ („Русские ведомости“). „Громадная заслуга М. Е. Пятницкого именно в том, что он привез поющую деревню из медвежьих углов сюда, в сердце России, оторванное от этих углов. Песни удивительно, стройно и хорошо поют, так поют именно для себя, в силу накопившейся в груди потребности – петь“ („Русское слово“). „Искатели новых форм музыкального творчества забрели в тупик, запутались в хитрых комбинациях хроматических модуляции, энгармонических замен, гармонии на тоновой гамме и проч. Но они слепо не видят, что есть новая оригинальная область, открывающая огромные перспективы, – русская песня. Здесь могут быть найдены новые законы гармонии, дано новое направление искусству, здесь – новый источник вдохновения“ („Новь“).

Не правда ли, читатель, как злободневно звучат эти слова сегодня, когда мы живем в мире агрессивно-грохочущей, назойливой, «рваной» музыки, калечащей людские уши и, главное, души?

В глухих, заброшенных деревнях, хранящих живые предания далекой старины, Пятницкий отыскал и соединил вместе народную песню – и художников этой песни, живущих ее образами. Музыкальные полотна его хора, словно былины, напоминали слушателям, что русская земля рождала великих правителей и могучих богатырей, воплощений народного разума, духовной и телесной мощи. Песни изумительного нашего хора всегда живут в сердце каждого, кто любит шум наших лесов, родное русское приволье лугов и полей, ясную гладь наших рек и кто сохранил идущее из глубины веков чувство молитвенного восторга перед красотой Божьего мира. Никогда не исторгнутся из души моей певучие могучие старые русские песни!

И еще одно важное обстоятельство. Благодаря деятельности Пятницкого во многом разрушилось представление о примитивности и несложности русской песни. Русская народная музыка, как и всякое настоящее искусство, выработала в течение веков ряд художественных ценностей – не только относительных, но и абсолютных.

Песня – правда, говорит народ. В старину русские крестьяне говорили музыкальным языком, близким к языку творцов песнопений, возносящих хвалу Всевышнему. Русский народ без помощи учителей и книг создал целый ряд музыкальных средств, которыми по сей день пользуются наиболее серьезные и образованные композиторы. Разве это не удивительно? Думается, ни у одного народа нет таких богатых в гармоническом отношении песен, как песни русские. Обстоятельство это – общепризнанный факт. Даже не любящий славян Фридрих Ницше – обронил однажды многозначительный афоризм: «Каждый великий народ имеет великие песни. Но почему же русские имеют великие песни?»

К сожалению, все больше и больше удаляемся мы от живительных истоков русской народной музыки. Волны шоу-бизнеса с каждым днем захлестывают и размывают нашу родовую музыкальную память, подменяя ее унылостью интернациональной духовной жвачки. Извращаются до ритмических спазмов великие достижения всемирного симфонизма. Гаснет профессионализм православного церковного хорового пения.

...Будучи за границей в гостях у известного итальянского композитора, я услышал «русский реквием», то есть, по-русски, панихиду, записанную на пластинку, которую хозяин поставил специально для сравнения с реквиемами Моцарта и Верди. Не могу передать всю силу впечатления от нашей русской панихиды по убиенным за Отечество на поле брани! Мужественная скорбь, рыдание народной души, вековое страдание по верным павшим сынам России... Мы были потрясены глубиной и строгой напевностью древних мелодий, столь из близких высотой своего духа бесценным откровением всемирной музыки.

Там много лет назад я узнал о том, что весь мир издает в пластинках «Сокровища мировой классики» творения русских, порою безымянных композиторов, о которых я никогда не слышал на Родине! Хорошо работали в свое время воинствующие безбожники. Все, что связано с церковью, подлежит запрету и забвению... как опиум для народа! И не давала покоя горькая мысль: почему мы можем слушать, знать, исполнять и пропагандировать западную религиозную музыку – и при этом предавать полному забвению свою православную музыку средневековья?

К счастью, многое переменялось у нас с тех пор. Должен вместе со всеми радостно отметить, что за последние годы, когда церковная православная культура уже не преследуется, интерес к ней нарастает с

каждым днем. Мы видим, что продаются пластинки и компакт-диски с русской православной церковной музыкой, от древних песнопений до XX века, когда в церкви пели выдающиеся голоса, и прежде всего Федор Шаляпин. Появляются иконописные мастерские, отливаются колокола и, что самое главное, повсеместно возрождаются и реставрируются храмы Божии. Несмотря на яд экуменизма (предполагаемое кое-кем объединение церквей при полном растворении в них русской апостольской православной веры), самосознание бывших советских русских людей неуклонно стремится вернуться после ночи атеизма к божественному Свету православия – к Богу, единению и добру.

Сейчас не место говорить об опасностях многочисленных ересей, теософах, масонах и других лжепророках, пытающихся увести нас от веры Христовой. Я отсылаю читателя к трудам и деяниям великого подвижника земли русской наших дней митрополита Санкт-Петербургского и Ладужского Иоанна, чьи труды и воззвания звучат как набатный колокол, на звук которого должен идти заблудившийся в ночи человек. Общеизвестно, какое возмущение у миллионов моих соотечественников вызывает разлагающая деятельность многочисленных сект и проповедников при отсутствии последовательной и планомерной поддержки государством миссионерской деятельности русской православной церкви. Достаточно сказать, что для святого дела – трансляции пасхальной службы по телевидению – православная церковь ищет «спонсоров» – да простит меня читатель за это гнусное слово. Неужели государство, раз уж оно провозгласило свободу и поддержку русской православной церкви, которой оно многим обязано, не может стать ее «спонсором»? Ведь она вот уже тысячу лет созидает душу народа, охраняет устои и традиции государства Российского.

«Страшны волки в овечьих шкурах», предупреждает нас святое Евангелие. Страшны и непредсказуемы в своих последствиях безнаказанные учения лжепророков. Горе народу, который забывает свое прошлое. Тупоумное следование за пророками лжедуховности, капитуляция перед террором агрессивных разлагающих тенденций не просто вошли в моду. Их активно инспирируют так называемые средства массовой информации. Заметьте, какая борьба идет со всем русским, а если порой и слышится малая правда, то всего лишь ради большой лжи! И ложь эта имеет целью не допустить возрождения национальной исторической государственности России. Безмятежный либерализм, измена и трусость привели нас к порогу национального самоуничтожения. По телеканалам всего мира, по всем каналам демократического телевидения звучит только сатанинская музыка – «поп», «рок», «панк». «рэп» и прочее, празднуют свой триумф бесноватые сатанисты, топчущие основы нашей христианской цивилизации. Как больно ощущать, что великая духовность таинства от нас уходит все дальше и дальше. Европа, кстати, еще не переступила до конца последнюю черту – у нас же свирепствует шабаш вседозволенности в растлении нации и общества...

До чего одинаковы все «звезды» современной музыки! И разве убожество их кампаний, сопровождаемое трюкачеством клипов, не преследует цель оглушения широких масс во всех странах? Если убрать костыли клипов, то убогие примитивы «современных», с позволения сказать, песен явят миру всю свою пустоту, ничтожную несостоятельность и агрессивность. Чего стоит один только «эффект облака», превращающий сцену в ад, где злобно и извращенно дергаются; словно в конвульсиях, разнузданные «звезды» шоу-бизнеса. Известно, что думают по этому поводу врачи всего мира. Особенно яростно ведется подрывная работа у нас в России. Нам не дают ни малейшего шанса хотя бы заявить свое несогласие с духовным растлением «россиян». Наше телевидение и радио словно и не знают, что есть мир духовный, горный и высокий. Пусть все летит в тартарары вместе с великими духовными традициями культуры России и Европы! Как это все невыносимо безрадостно, отвратительно, когда унылое ничто множит свое ничтожество... «За человека страшно мне», как некогда сказал Шекспир. Человек есть образ и подобие Божие. Не склонимся же перед идущим на нас «девятым валом» все повергающего в прах и мерзость сатанизма. Это касается всех!

* * *

Я был счастлив познакомиться с Марио дель Монако. В обращении он был прост и обаятелен. Встреча его с Москвой проходила триумфально – все мечтали послушать великого итальянского певца. На его гримерном столе стояли фотографии двух его сыновей. Как он волновался перед каждым выступлением! Я нарисовал его в разных, столь не похожих друг на друга ролях, а в основном портрете постарался, при полном сходстве, выразить всю глубину его гениальной натуры.

И вот в Ананьевском переулке, на первом этаже, где была моя комнатенка, появился великий певец со своей женой, итальянкой чешского происхождения. Поскольку у меня не было ванны, то я поставил как декорацию на нашей кухне вплотную к газовой плите обнаруженную Ниной на помойке тяжелую, на львиных лапах ванну из старого мрамора, пожелтевшего от времени. Видимо, ее выкинули при сносе одного из близлежащих старых особняков. Как в капле, здесь отразилась сатанинская суть сталинского

«генплана реконструкции Москвы», придуманного Кагановичем и утвержденного еще в 1935 году. На деле это был план тотального сноса нашей древней столицы.

Марио дель Монако сразу обратил внимание на мою ванну – «как у древних римлян», с высокими бортами, вырубленную из цельной глыбы мрамора. Постучав по ней ногтем, он весело прокомментировал: «Илья, у нас такие ванны показывают только в национальных музеях, – я представляю, сколько ты проявил энергии, чтобы притащить сюда это сокровище!» Жена Марио, с короткой стрижкой рыжеватых волос, закивала головой: «Это просто чудо! Я уверена, что эта ванна времен Возрождения – я точно такую видела на выставке в Капитолийском дворце в Риме!» Боже, как мы не ценили московские помойки! Когда громили старую Москву, людей выселяли далеко на окраины. Зачем им везти туда старье? Его выбрасывали на помойку. В «старье» входили в том числе иконы и оклады, самовары, люстры и мебель, мраморные камины. «Утиль и барахло!» Советским людям это не было дорого в те годы...)

Переводчик из министерства культуры напомнил, что времени очень мало – супругов ждут на правительственном приеме в честь дружбы советского и итальянского народов. «Потому скорее показывайте свои картины! Он так хотел их увидеть!» – руководил переводчик. А Монако вдруг спросил с раздражением: «Объясни, пожалуйста, почему меня, артиста, поволокли на выставку достижений сельского хозяйства? Меня это абсолютно не интересует – я бы хотел прикоснуться к древней культуре русского народа, его истории, которая воплощена в великих русских операх».

Он положил мне руку на плечо: «Илья, я счастлив видеть твои работы и эти иконы – и ты должен сводить меня в древние соборы Кремля». Поймав настороженный взгляд переводчика, снова сказал настойчиво: «Я хочу видеть древнюю Россию, меня не интересуют фабрики, достижения вашей социалистической экономики, я певец, мне нужно увидеть иконы, фрески, старые монастыри... Какие идиоты составили в Министерстве культуры мою программу пребывания в Москве?» – набросился он на оробевшего «соцреалиста в штатском», как мы называли некоторых переводчиков. «Илья покажет, а я буду переводить», – неожиданно запетлял тот, кивая в мою сторону. Остроту стычки смягчил Здислав Дудзик, напомнивший, что «Глазунов – это прекрасно, его работы потрясают, но польские читатели ждут ответов Марио на вопросы». Он сидел на диване, отхлебывая русский чай с диковинными для него медовыми пряниками. «Именно такие любили москвичи при Борисе Годунове», – улыбнулась ему Нина, говорящая по-английски.

«Итак вопрос первый, – начал Дудзик. – Кому вы обязаны тем, что стали певцом?» Марио, словно попробовав звучание своего голоса – божественного инструмента, – сверкнул темными глазами: «Во-первых, я как католик благодарен Богу, а во-вторых, сержанту».

Как вскинулись мы: «Почему сержанту и какому?» Монако спокойно оглядел наши озадаченные лица. «А очень просто, – объяснил он. – Дело было на фронте. Я был очень молод, горяч и первый старался выскочить на бруствер окопа, чтобы ринуться в атаку. Свистели пули – мы теряли многих солдат. И вдруг наш сержант отдал приказ: всем в атаку, кроме Марио – пусть караулит окоп. И так было много раз. Я готов был побить его, если бы не армейская дисциплина. Приказ сержанта – закон для подчиненных!» Марио посмотрел внимательно на Дудзика: «Наверное, это закон и в Красной армии, и в Польской?».

И продолжал рассказ. «Однажды я спросил его, когда нас не слышали, зачем он оставляет меня в окопе, а другие ходят в атаку?» Марио опустил глаза и откинулся на спинку дивана. «Сержант отчеканил: твое горло и твой голос принадлежат Италии – я слышал, как ты поешь. Мой долг сделать все, чтобы ты уцелел в этой мясорубке».

Марио вдруг увидел фотографию Александра Бенуа: «Откуда у вас она?» – обратился он к Нине. «Это родной брат моего прадеда, Леонтия Бенуа, императорского архитектора из Санкт-Петербурга». Марио вскочил: «Боже мой, сын Александра Бенуа, Николо, мой друг! Он 25 лет директор сцены и главный художник Ла Скала, где промчались золотые годы моей жизни!» Он обнял Нину: «Вы – племянница Николо! Ваш дядя гений с великой русской душой. В театрах Европы и Америки ему нет равных – он декоратор, извергающий такой бесконечный поток творческой фантазии! У него нет отбоя от приглашений из самых лучших театров мира!» Радости и восторгам Марио дель Монако не было предела. «Кто бы мог подумать, что жена Ильи Глазунова Нина – племянница нашего любимого „Коки“, как он называет себя по-русски», – улыбнулась почти родственной улыбкой жена Марио. Быстрый и темпераментный в своих решениях великий певец сказал: «Завтра же передайте мне во время прогулки по Кремлю письмо моему другу и вашему дядюшке! Я сам выскажу ему мои восторги о вас! Только, пожалуйста, не называйте его дедушкой, точнее, двоюродным дедушкой!» Жена Марио пояснила: «Никто не хочет быть старым, к тому же Бенуа очень молодо выглядит. Его энергии завидуют многие, как и его гению театрального художника. У него молодая жена – певица из Ла Скала».

О многом мы еще успели за эти дни поговорить с моим любимым певцом. Уезжая, Марио трогательно попрощался с нами и подарил мне на память свою фотографию, где он в роли Каварадосси – держит в руках кисти и палитру. На обороте размашисто написал: «Великому таланту и другу Илье Глазунову. С уверенностью в мировой славе! Марио дель Монако, 1959 год».

В Риме в 1963 году он был на открытии моей первой европейской выставки и приобрел две работы. Одна из них – «Царь Иван Грозный». Письмо, написанное Ниной Николаю Александровичу Бенуа, он передал ему в Милане, вернувшись в Ла Скала. Ответ от Николая Александровича пришел незамедлительно. После этого в течение ряда лет наша переписка с одним из последних осколков разбитой революцией русской культуры согревала меня, открывая многое, становясь звеном в цепи времен, связующим нас с эпохой русского национального возрождения. Русская эмиграция уже тогда была для нас истинной носительницей культуры дореволюционной России, детьми которой мы себя ощущали. Но что мы знали тогда о русских беженцах «великою исхода»? Мы жили за «железным занавесом»...

(Конец первой части)

Примечания

1

До войны мы всегда жили под Лугой и на Волхове – в деревнях Кут, Карпове и Бетково, где случился большой пожар. Он и заставил нас в тот роковой 1941 год уехать на станцию Вырица.

2

Тетя Вера Григорьева – дочь генерала Ф. А. Григорьева, директора Первого Петербургского кадетского корпуса, с дневником которого читатель уже знаком.

3

Елизавета Флуг.

4

Инна Александровна Мальвини – актриса, жена К. К. Флуга. После смерти матери я ничего не знаю о ее судьбе. Говорили, что она погибла во время эвакуации.

5

Александр Георгиевич Ермолаев – муж А. Ф. Глазуновой, инженер завода «Северный пресс» на Охте,

6

Вера Константиновна Берхман, принявшая монашеский постриг, дворянка, потерявшая в революцию всю свою семью. Наша дальняя родственница. Умерла в конце 1950-х годов. Ее лицо, светлое, доброе и скорбное, я никогда не забуду.

7

«Дядя Федя» – конспиративное обозначение действий немцев: налеты, бомбежки и обстрелы города.

8

Антонина Федоровна Глазунова – сестра отца и Михаила Федоровича.

9

Письмо К. Глазуновой – Н. Флуг, жене дяди Валериана Константиновича Флуга, сосланного брата моей матери.

10

К с е н и я Евгеньевна Глазунова – жена Михаила Федоровича, брата отца.

11

В. К. Флуг – А. К. Монтеверде. Валериан Константинович Флуг, брат матери, был выслан в 30-е годы. Его жена и дети были также репрессированы.

12

Елизавета Дмитриевна Флуг-Прилуцкая – моя бабушка. Ее сестра – жена генерала Ф. А. Григорьева.

13

Напоминаю: «дядя Федя» – условное название немецких бомбежек, зашифрованных так по наличию цензуры в письмах.

14

День рождения Ильи Глазунова (прим. ред.).

15

Под огородом Агнессы Константиновны подразумевала участок лекарственных растений на территории Ботанического сада напротив взорванной дачи Столыпина. Во время войны под бомбежкой Николай Николаевич выращивал дигиталис – лекарственное растение, необходимое для военных госпиталей, за что он и был награжден орденом «Знак Почета».

16

Удивительна эта история с маленькой рыбкой! Когда в нашей квартире все умерли, то тетя Ася унесла банку со льдом, в котором она была заморожена, к себе. Рыбка ожила и прожила несколько лет! Позже тетя Ася выпустила ее у дома, где жил А. Блок, в речку Карповка, рядом с Ботаническим садом.

17

Письмо сестре Нине Меревольф.

18

Речь идет о песнях времен Великой Отечественной войны.

19

Гостиница «Новомосковская*» – напротив Кремля.

20

«Учиться, учиться и учиться» (нем.)

21

Анна Филипповна Подлесская – учитель литературы, мать известного художника Юрия Подлесского.

22

Юрий Никаноров – прекрасный художник, живет в Санкт-Петербурге.

23

Андрей Андреевич Мыльников – прекрасный художник-колорист и рисовальщик, автор любимой нами картины «Клятва балтийцев». В юности мы его боготворили за знание и любовь к старым мастерам. Ныне – увы! – сильно «полевел». Как, впрочем, и многие другие художники.

24

Э. Я. Выржиковский – один из лучших ныне здравствующих русских пейзажистов. Известен у нас и за рубежом.

25

Михаил Войцеховский.

26

Башилов Борис Иванович, русский дворянин, эмигрант «первой волны». Жил в Аргентине. Сотрудничал в газете русской эмиграции «Наша страна». Над своим капитальным трудом о русских масонах работал до самой смерти. Умер в 1957 году. Биография его до сих пор во многом окутана тайной.

27

В. Ф. Иванов. «А. С. Пушкин и масонство», стр. 16.

28

Н. К. Шильдер. Николай I. Том I, стр.427.

29

А. Тыркова-Вильямс. Жизнь Пушкина, т. II, стр.72

30

А. Тыркова-Вильямс. Т. II, стр.393

31

Употребляя понятие «Орден Русской Интеллигенции», Б. Башилов считает его прямым духовным потомком запрещенного Николаем I русского масонства. В этот «Орден» Башилов записал левую т. н. западническую, чуждую историческому пути России часть русской интеллигенции.

32

Известно, что в доме у этой графини вообще не полагалось говорить по-русски. – И.Г.

33

В. Иванов. Пушкин и масонство

34

В. Иванов. Пушкин и масонство, стр. 51—52

35

С. Ф р а н к. Пушкин как политический мыслитель

36

А. Щербатов. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич-Эриванский. СПб, т.V, стр.229.

37

А. О. Смирнова. Записки.

38

39

Платонов О. А. Терновый венец России. Москва, изд-во «Родник», 1995 г. – I том; 1996 г. – II том.

40

Бенкендорф Александр Христофорович из прибалтийских немцев. Отмечен как талантливый военачальник на русской службе. Входил в масонскую ложу «Соединенных друзей. (1810 г.). 1826 г. Николай I сделал Бенкендорфа начальником Отделения собственной Е.В. канцелярии и шефом жандармов удостоив в 1832 г. графским титулом. Многие считают, что опала последних лет связана с „делом Пушкина“. После оставления Москвы армией Наполеона был назначен ее комендантом.

41

Шульгин В. В. Что нам в них не нравится. С. – Петербург, 1992, с. 119—120.

42

Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2, 2-е издание. YMCA-PRESS, Париж, с. 158—179.

43

Чаадаев П.Я. Сочинения. М., Правда, 1989, с. 513—514.

44

Там же, с. 140.

45

Чаадаев П. Я. Сочинения. М. Правда, 1989, с. 515.

46

Там же, с. 165.

47

Чаадаев П. Я. Сочинения. М., Правда, 1989, с. 523.

48

Чаадаев П. Я. Сочинения. М., Правда, 1989, с. 225—229.

49

См. напр., Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, кн. 75, с. 353.

50

Платонов О.А. Терновый венец России. М. 1955; 181 с.

51

Чаадаев П. Я. Сочинения. М., Правда. 1989, с. 528—529.

52

Чаадаев П. Я. Сочинения. М., Правда, 1989, с. 533—534.

53

Чаадаев П. Я. Сочинения. М., Правда, 1989, с. 527.

54

Там же, с. 287—290

55

Священные книги знаний Веды и древнейшая часть Авесты – Гаты, автором которой считается великий Заратуштра (по-гречески – Зороастр), свидетельствуют о близости санскрита, на котором говорили и слагали свои гимны Всемогущему Богу наши предки, славянскому языку. (Санскрит означает «совершенный»). – И.Г.

56

Я всегда считал, что лучшие переводы великих книг рождаются, когда гении переводят гении. Увы, это бывает редко. Великие трудности переложения Ригведы на другой язык доказывает недавно вышедшая (и пока единственная) работа г-жи Т. Я. Елизаренковой. Понимаю, сколь нелегко современному ученому постичь религиозные гимны, исполненные истинной поэзии, созданные вдохновенными творцами нашей арийской древности. Увы, как трудно читать «научный перевод»! А иные комментарии Т. Елизаренковой порой вызывают просто изумление

57

Разумеется, и г-жа Мэри Бойс тоже не знает, где находились страны арийского мира. Так, она утверждает, что «Заратуштра (Зороастр) жил в глубокой древности в азиатских степях к востоку от Волги. Неужто она, как и Дармштеттер, например, руководствуется не фактами, а определенной идеологией? У нас в стране избранные гимны Авесты переводил русский профессор И.М. Стеблин-Каминский

(опубликованы недавно в Душанбе), которого М. Бойс, покровительственно похлопывая по плечу, назвала „способным ученым“. – И.Г.

58

Заклинаю и предупреждаю иных доверчивых «рерихнувшихся» читателей о пагубности веры в «Шамбалу», которую якобы и искали старообрядцы – И.Г.

59

Древнерусское слово «вапить» означает «красить».

60

Гора Хараити упоминается в Авесте. Читатель вскоре убедится, что Сарасвати – священная река Веды – это река Авесты, именуемая Ардвисура-Анаита. Она омывала разнородные страны Арии, которых было семь и они делились на шестнадцать областей.

61

Плетнева С. Хазары. Изд. «Наука». 1986.

62

Артамонов М. И. «Хазары и Русь», «Арабески» истории. Москва, 1994.

63

Знаменательно и часто упоминаемое в русских былинах и сказках «Чудо-Юдо», тоже связанное с Хазарией. – И.Г.

64

Артамонов М. И. «История хазар. Ленинград. Изд. Государственного Эрмитажа, 1962.

65

См. «Дорогами тысячелетий», М... «Молодая гвардия», 1991 – в статье В. Родикова «Легенда о царской голове». Версия эта до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута. – Ред.

66

Со своей стороны, уже сегодня, могу добавить: многие серьезные историки, читая опусы Гумилева, поражаются тенденциозности антиисторических трактатов сына великих русских поэтов. Например, общеизвестно, что представляла собой страшная империя, созданная Чингисханом. Кочевники ничего не создавали, они могли только потреблять и разрушать. Смехотворно поэтому утверждение Л. Гумилева, будто фактически и не было монгольской империи – Великой орды. Тем более неприемлема придуманная им легенда, что, дескать, не монголы нападали на Русь, а князья русские нанимали их для братоубийственной междоусобной борьбы. В своей неудержимой экспансии степные орды, все сметая на своем пути, дошли до Венеции на западе и до Японии на востоке.

Сердцем Золотой Орды была так называемая Синяя орда в Монголии и знаменитый монастырь Эрдени-Дзу, где принимались решения о выдаче покоренным врагам охранных золотых пайз, дающих право на жизнь, но ценой унижительной дани. Представьте, что творилось в душе побежденных русских князей, когда их заставляли кланяться чужим идолам, а не поклонившихся – предавали смерти. (Кстати, упомянутые пайзы интересны для историков и лингвистов тем, что они написаны «квадратным письмом», идущим от древней тибетской письменности.) Великие русские правители, проходя сквозь страшные муки унижения, несли в душе своей святую веру в возрождение поруганного Отечества.

67

Прозвище двоюродной сестры Нины Мервольф.

68

«Ноа-Ноа» – благоуханный остров Гогена, искусство которого я раньше любил. Этим именем я называл Манюру Гамбарян, известную пианистку, маленькую и грациозную, как колибри. Помню, она любила Шопена.

69

Лессировка – технический прием в живописи: тонкие, прозрачные или полупрозрачные слои краски наносят на просохшие или полупросохшие поверхности красочного слоя для того, чтобы изменить, усилить или ослабить цветовые тона картины, обогащая их колористическое звучание.

70

Мне близки эти строки с юности и по сей день своим мироощущением. Они звучат как кредо художника и нашего времени.

71

Помню, как во время защиты диплома «Клятва балтийцев» И. Э. Грабарь сказал, что после репинского диплома «Воскресение дочери Иаира» – это второе по значимости событие.

72

Академия художеств СССР. Восьмая сессия. Вопросы художественного образования. Б. В. Иогансон. «О состоянии и задачах по дальнейшему улучшению преподавания живописи... Изд. „Искусство“, 1957 г.

73

«Литературная газета», 1957 г., 5 февраля.

74

Ученый совет, недопустив ее к защите диплома, объяснил мне, что война должна изображаться как наша победа, и не иначе. Только враг может смаковать отступление 1941 года. Суть войны – это разгром немцев и взятие рейхстага, а не беженцы в пыли, дыму, на полях вытоптанной ржи. Для искусства тогда это была запретная тема. Позднее картина была уничтожена в Москве, а в 1986 году я повторил ее в том же размере 5х2,5 м. До меня никто в изобразительном искусстве не осмеливался так отразить тему войны. Я пережил трагедию 41-го, отступая от немцев и видя все своими глазами: мужество и горе, безысходность и надежду.

75

Эта «глубоко партийная установка жива до сей поры. Сколько „киллеров“ от искусствознания по сей день кормятся на „уничтожении“ Глазунова! Достаточно назвать именующую себя искусствоведом М. Чегодаеву, да еще некоего Шевчука и пр. Что для них очереди, полные залы на выставках Глазунова. Так ведь это народ, быдло, любители „кича“, ничего в искусстве не понимающие. А ведь чтимые этими „искусствооведами“-комиссарами эпигоны „русского авангарда“ уныло бродят в одиночестве по пустынным залам своих никому не нужных выставок. Может, для них в пустоте этой и заключен „признак успеха“? Для меня же любовь и признание народа – высший смысл и оправдание творчества любого художника. Но народ – разве это не мы с вами? Так неужто и в наше, демократическое время будет господствовать партийно-кастовая нетерпимость „элиты“, презирающей демос?

76

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени – получил от М. С. Горбачева, и еще «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени – выдан мне Президентом Б. Н. Ельциным по случаю моего 65-летия в 1996 г.

77

Сегодня, после соцреализма, снова, как в годы военного коммунизма, чуть ли не официальным искусством СНГ стал авангард (точное первоначальное название авангарда – «авангард передового коммунистического искусства»), который насаждается ныне под кличкой „современное искусство“. Точнее – кто во что горазд.

78

Черный соус – удивительный по возможностям тона жирный уголь. Нет для меня прекраснее материала для графических работ, чем глубокий и мощный «соус». По богатству и тоновому звучанию дерзну сравнить его со скрипкой Паганини.

79

Здесь и далее цитирую по книге: Флоринский В. М. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни, Томск. 1894.

80

Славянский город Бранибор был переименован германцами-завоевателями в Бранденбург, Липецк в Лейпциг. Примеры бесчисленны!

81

Гумилев Л. Поиски., стр. 189.

82

Толстой Вл. П. Искусство Советского Союза. (Обзор). М., «Искусство... 1959 г. (VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва, 1957. Международная выставка изобразительного и прикладного искусства). с. 40—41.

83

Когда этот номер уже готовился к печати, пришло известие зверском убийстве Артура. Он, говорят, в последние годы занимался бизнесом... – И.Г.

84

Над их квартирой жил выдающийся кинорежиссер Марк Донской, который тоже позировал мне для портрета. А сын его ныне известен как личный фотограф Б. Н. Ельцина, нашего президента.

85

Председатель Российского национального объединения в ФРГ. Один из самых ярких-представителей эмиграции «второй волны». Блестящий публицист и историк России XX века.